This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

891.72
C511
v.4-6

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

STANFORD LIBRARY

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Красавицы.—Слѣдователь.—Старый домъ.—Весной.—Бѣлолобый.—У предводительши.—Пѣвчіе.—Послѣдняя могиканша.—Беззаконіе.—Актерская гибель.—Мелюзга.—Зеркало.—Старость.—Горе.—Устрицы.—Тоска.—Егерь.—Мечты.—Пустой случай.—Не доброе дѣло.—Дома.—Вѣдьма.—Вѣрочка.—Въ судѣ.—Безпокойный гость.—Панихида.—На пути.—Несчастье.—Событіе.—Агафья.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕКА

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

320320

КРАСАВИЦЫ.

I.

Помню, будучи еще гимназистомъ V или VI класса, я ѣхалъ съ дѣдушкой изъ села Большой Крѣпкой, Донской области, въ Ростовъ-на-Дону. День былъ августовскій, знойный, томительно-скучный. Отъ жара и сухого, горячаго вѣтра, гнавшаго намъ навстрѣчу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотѣлось ни глядѣть, ни говорить, ни думать, и когда дремавшій возница, хохолъ Карпо, замахиваясь на лошадь, хлесталъ меня кнутомъ по фуражкѣ, я не протестовалъ, не издавалъ ни звука и только, очнувшись отъ полусна, уныло и кротко поглядывалъ вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни? Кормить лошадей остановились мы въ большомъ армянскомъ селѣ Бахчи-Салахъ у знакомаго дѣдушкѣ богатаго армянина. Никогда въ жизни я не видѣлъ ничего карикатурнѣе этого армянина. Представьте себѣ маленькую, стриженую головку съ густыми низко нависшими бровями, съ птичьимъ носомъ, съ длинными, сѣдыми усами и съ широкимъ ртомъ, изъ котораго торчитъ длинный, черешневый чубукъ; головка эта неумѣло приклеена къ тощему, горбатому туловищу, одѣтому въ фантастическій костюмъ: въ куцую, красную куртку и въ широкія, ярко-голубыя шаровары; ходила эта фигура разставя ноги и шаркая туфлями, говорила не вынимая изо рта чубука, а держала себя съ чисто-армянскимъ достоинствомъ: не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своихъ гостей какъ можно меньше вниманія.

Въ комнатахъ армянина не было ни вѣтра, ни пыли, но было такъ же непріятно, душно и скучно, какъ въ степи и по дорогѣ. Помню, запыленный и изможенный зноемъ, сидѣлъ я въ углу на зеленомъ сундукѣ. Некрашенныя, деревянныя стѣны, мебель и наохренные полы издавали запахъ сухого дерева, прижженнаго солнцемъ. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи... Дѣдушка и армянинъ вполголоса говорили о попасѣ, о толокѣ, объ овцахъ... Я зналъ, что самоваръ будутъ ставить цѣлый часъ, что дѣдушка будетъ пить чай не менѣе часа и потомъ заляжетъ спать часа на два, на три, что у меня четверть дня уйдетъ на ожиданіе, послѣ котораго опять жара, пыль, тряскія дороги. Я слушалъ бормотанье двухъ голосовъ, и мнѣ начинало казаться, что армянина, шкапъ съ посудой, мухъ, окна, въ которыя бьетъ горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану ихъ видѣть въ очень далекомъ будущемъ, и мною овладѣвала ненависть къ степи, къ солнцу, къ мухамъ...

Хохлушка въ платкѣ внесла подносъ съ посудой, потомъ самоваръ. Армянинъ не спѣша вышелъ въ сѣни и крикнулъ:

— Машя! Ступай наливай чай! Гдѣ ты? Машя!

Послышались торопливые шаги, и въ комнату вошла дѣвушка лѣтъ шестнадцати, въ простомъ ситцевомъ платьѣ и въ бѣломъ платочкѣ. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мнѣ спиной, и я замѣтилъ только, что она была тонка въ таліи, боса, и что маленькія, голыя пятки прикрывались низко опущенными панталонами.

Хозяинъ пригласилъ меня пить чай. Садясь за столъ, я взглянулъ въ лицо дѣвушки, подававшей мнѣ стаканъ, и вдругъ почувствовалъ, что точно вѣтеръ пробѣжалъ по моей душѣ и сдунулъ съ нея всѣ впечатлѣнія дня съ ихъ скукой и пылью. Я увидѣлъ обворожительныя черты прекраснѣйшаго изъ лицъ, какія когда-либо встрѣчались мнѣ наяву и чудились во снѣ. Передо мною стояла красавица, и я понялъ это съ перваго взгляда, какъ понимаю молнію.

Я готовъ клясться, что Маша, или какъ звалъ отецъ, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умѣю. Иногда бываетъ, что облака въ безпорядкѣ толпятся на горизонтѣ, и солнце, прячась за нихъ, краситъ ихъ и небо во всевозможные цвѣта: въ багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка въ

чалмѣ. Зарево охватило треть неба, блеститъ въ церковномъ крестѣ и въ стеклахъ господскаго дома, отсвѣчиваетъ въ рѣкѣ и въ лужахъ, дрожитъ на деревьяхъ; далеко-далеко на фонѣ зари летитъ куда-то ночевать стая дикихъ утокъ... И подпасокъ, гонящій коровъ, и землемѣръ, ѣдущій въ бричкѣ черезъ плотину, и гуляющіе господа—всѣ глядятъ на закатъ и всѣ до одного находятъ, что онъ страшно красивъ, но никто не знаетъ и не скажетъ, въ чемъ тутъ красота.

Не я одинъ находилъ, что армяночка красива. Мой дѣдушка, восьмидесятилѣтній старикъ, человѣкъ крутой, равнодушный къ женщинамъ и красотамъ природы, цѣлую минуту ласково глядѣлъ на Машу и спросилъ:

— Это ваша дочка, Аветъ Назарычъ?

— Дочка. Это дочка...—отвѣтилъ хозяинъ

— Хорошая барышня,—похвалилъ дѣдушка.

Красоту армяночки художникъ назвалъ бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцаніе которой, Богъ вѣсть откуда, вселяетъ въ васъ увѣренность, что вы видите черты правильныя, что волосы, глаза, носъ, ротъ, шея, грудь и всѣ движенія молодого тѣла слились вмѣстѣ въ одинъ цѣльный, гармоническій аккордъ, въ которомъ природа не ошиблась ни на одну малѣйшую черту; вамъ кажется почему-то, что у идеально красивой женщины долженъ быть именно такой носъ, какъ у Маши, прямой и съ небольшой горбинкой, такіе большіе, темные глаза, такія же длинныя рѣсницы, такой же томный взглядъ, что ея черные, кудрявые волосы и брови такъ же идутъ къ нѣжному, бѣлому цвѣту лба и щекъ, какъ зеленый камышъ къ тихой рѣчкѣ; бѣлая шея Маши и ея молодая грудь слабо развиты, но чтобы сумѣть изваять ихъ, вамъ кажется, нужно обладать громаднымъ творческимъ талантомъ. Глядите вы, и мало-по-малу вамъ приходитъ желаніе сказать Машѣ что-нибудь необыкновенно пріятное, искреннее, красивое, такое же красивое, какъ она сама.

Сначала мнѣ было обидно и стыдно, что Маша не обращаетъ на меня никакого вниманія и смотритъ все время внизъ; какой-то особый воздухъ, казалось мнѣ, счастливый и гордый, отдѣлялъ ее отъ меня и ревниво заслонялъ отъ моихъ взглядовъ.

«Это оттого,—думалъ я:—что я весь въ пыли, загорѣлъ, и оттого, что я еще мальчикъ».

[illegible]-малу забылъ о себѣ самомъ и весь [illegible]ты. Я ужъ не помнилъ о степной [illegible]шалъ жужжанья мухъ, не понималъ [illegible]чувствовалъ, что черезъ столъ отъ меня [illegible]шка.

[illegible] какъ-то странно. Не желанія, не [illegible]ніе возбуждала во мнѣ Маша, а тя[illegible]ую грусть. Эта грусть была неопре[illegible], какъ сонъ. Почему-то мнѣ было жаль [illegible] армянина, и самой армяночки, и было [illegible], какъ будто мы всѣ четверо потеряли [illegible]ужное для жизни, чего ужъ больше ни[illegible]. Дѣдушка тоже сгрустнулъ. Онъ ужъ не [illegible] объ овцахъ, а молчалъ и задумчиво [illegible] Машу.

[illegible] дѣдушка легъ спать, а я вышелъ изъ дому и [illegible]. Домъ, какъ и всѣ дома въ Бахчи-Са[illegible] на припекѣ; не было ни деревьевъ, ни навѣ[illegible]. Большой дворъ армянина, поросшій лебе[illegible], несмотря на сильный зной, былъ ожи[illegible] весельем. За однимъ изъ невысокихъ плетней, [illegible] пересѣкавшихъ большой дворъ, происходила [illegible]. Вокругъ столба, вбитаго въ самую середку гумна, [illegible] въ рядъ и образуя одинъ длинный радіусъ, [illegible] шестнадцать лошадей. Возлѣ ходилъ хохолъ въ длин[illegible] жилеткѣ и въ широкихъ шароварахъ, хлопалъ бичомъ [illegible] кричалъ такимъ тономъ, какъ будто хотѣлъ подразнить [illegible]шадей и похвастать своею властью надъ ними:

А-а-а, окаянныя! А-а-а... нѣту на васъ холеры! Боитесь?

Лошади, гнѣдыя, бѣлыя и пѣгія, не понимая, зачѣмъ это [illegible] заставляютъ ихъ кружить на одномъ мѣстѣ и мять пшеничную солому, бѣгали неохотно, точно черезъ силу, и обиженно помахивая хвостами. Изъ-подъ ихъ копытъ вѣтеръ поднималъ цѣлыя облака золотистой половы и уносилъ ее далеко черезъ плетень. Около высокихъ, свѣжихъ скирдъ копошились бабы съ граблями и двигались арбы, а за скирдами, въ другомъ дворѣ, бѣгала вокругъ столба другая дюжина такихъ же лошадей и такой же хохолъ хлопалъ бичомъ и насмѣхался надъ лошадями.

Ступени, на которыхъ я сидѣлъ, были горячи; на жид-

кихъ перильцахъ и на оконныхъ рамахъ кое-гдѣ выступилъ отъ жары древесный клей; подъ ступеньками и подъ ставнями въ полоскахъ тѣни жались другъ къ другу красныя козявки. Солнце пекло мнѣ и въ голову, и въ грудь, и въ спину, но я не замѣчалъ этого и только чувствовалъ, какъ сзади меня въ сѣняхъ и въ комнатахъ стучали по дощатому полу босыя ноги. Убравъ чайную посуду, Маша пробѣжала по ступенямъ, пахнувъ на меня вѣтромъ, и, какъ птица, полетѣла къ небольшой, закопченой пристройкѣ, должно-быть, кухнѣ, откуда шелъ запахъ жареной баранины и слышался сердитый армянскій говоръ. Она исчезла въ темной двери и вмѣсто ея на порогѣ показалась старая, сгорбленная армянка съ краснымъ лицомъ и въ зеленыхъ шароварахъ. Старуха сердилась и кого-то бранила. Скоро на порогѣ показалась Маша, покраснѣвшая отъ кухоннаго жара и съ большимъ чернымъ хлѣбомъ на плечѣ; красиво изгибаясь подъ тяжестью хлѣба, она побѣжала черезъ дворъ къ гумну, шмыгнула черезъ плетень и, окунувшись въ облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохолъ, подгонявшій лошадей, опустилъ бичъ, умолкъ и минуту молча глядѣлъ въ сторону арбъ, потомъ, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила черезъ плетень, онъ проводилъ ее глазами и крикнулъ на лошадей такимъ тономъ, какъ будто былъ очень огорченъ:

— А, чтобъ вамъ пропасть, нечистая сила!

И все время потомъ слышалъ я не переставая шаги ея босыхъ ногъ, видѣлъ, какъ она съ серьезнымъ, озабоченнымъ лицомъ носилась по двору. Пробѣгала она то по ступенямъ, обдавая меня вѣтромъ, то въ кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успѣвалъ поворачивать голову, чтобы слѣдить за нею.

И чѣмъ чаще она со своей красотой мелькала у меня передъ глазами, тѣмъ сильнѣе становилась моя грусть. Мнѣ было жаль и себя, и ея, и хохла, грустно провожавшаго ее взглядомъ всякій разъ, когда она сквозь облако половы бѣгала къ арбамъ. Была ли это у меня зависть къ ея красотѣ, или я жалѣлъ, что эта дѣвочка не моя и никогда не будетъ моею, и что я для нея чужой, или смутно чувствовалъ я, что ея рѣдкая красота случайна, не нужна и, какъ все на землѣ, не долговѣчна, или, быть-можетъ, моя грусть была тѣмъ особеннымъ чувствомъ, которое воз-

буждается въ человѣкѣ созерцаніемъ настоящей красоты, Богъ знаетъ!

Три часа ожиданія прошли незамѣтно. Мнѣ казалось, не успѣлъ я наглядѣться на Машу, какъ Карпо съѣздилъ къ рѣкѣ, выкупалъ лошадь и ужъ сталъ запрягать. Мокрая лошадь фыркала отъ удовольствія и стучала копытами по оглоблямъ. Карпо кричалъ на нее «наза-адъ!» Проснулся дѣдушка. Маша со скрипомъ отворила намъ ворота, мы сѣли на дроги и выѣхали со двора. Ѣхали мы молча, точно сердились другъ на друга.

Когда часа черезъ два, или три вдали показались Ростовъ и Нахичевань, Карпо, все время молчавшій, быстро оглянулся и сказалъ:

— А славная у армяшки дѣвка!

И хлестнулъ по лошади.

II.

Въ другой разъ, будучи уже студентомъ, ѣхалъ я по желѣзной дорогѣ на югъ. Былъ май. На одной изъ станцій, кажется, между Бѣлгородомъ и Харьковомъ, вышелъ я изъ вагона прогуляться по платформѣ.

На станціонный садикъ, на платформу и на поле легла уже вечерняя тѣнь; вокзалъ заслонялъ собою закатъ, но по самымъ верхнимъ клубамъ дыма, выходившаго изъ паровоза и окрашеннаго въ нѣжный розовый цвѣтъ, видно было, что солнце еще не совсѣмъ спряталось.

Прохаживаясь по платформѣ, я замѣтилъ, что большинство гулявшихъ пассажировъ ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто въ этомъ вагонѣ сидѣлъ какой-нибудь знаменитый человѣкъ. Среди любопытныхъ, которыхъ я встрѣтилъ около этого вагона, между прочимъ находился и мой спутникъ, артиллерійскій офицеръ, малый умный, теплый и симпатичный, какъ всѣ, съ кѣмъ мы знакомимся въ дорогѣ случайно и не надолго.

— Что вы тутъ смотрите?—спросилъ я.

Онъ ничего не отвѣтилъ и только указалъ мнѣ глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая дѣвушка, лѣтъ 17—18, одѣтая въ русскій костюмъ, съ непокрытой головой и съ мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а должно-быть, дочь, или сестра

начальника станціи. Она стояла около вагоннаго окна и разговаривала съ какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чѣмъ я успѣлъ дать себѣ отчетъ въ томъ, что я вижу, мною вдругъ овладѣло чувство, какое я испыталъ когда-то въ армянской деревнѣ.

Дѣвушка была замѣчательная красавица, и въ этомъ не сомнѣвались ни я и ни тѣ, кто вмѣстѣ со мной смотрѣлъ на нее.

Если, какъ принято, описывать ея наружность по частямъ, то дѣйствительно прекраснаго у нея были одни только бѣлокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на головѣ черной ленточкой, все же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. Отъ особой ли манеры кокетничать, или отъ близорукости, глаза ея были прищурены, носъ былъ нерѣшительно вздернутъ, ротъ малъ, профиль слабо и вяло очерченъ, плечи узки не по лѣтамъ, но тѣмъ не менѣе дѣвушка производила впечатлѣніе настоящей красавицы, и, глядя на нее, я могъ убѣдиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекраснымъ, нѣтъ надобности въ строгой правильности чертъ, мало того, даже если бы дѣвушкѣ вмѣсто ея вздернутаго носа поставили другой—правильный и пластически непогрѣшимый, какъ у армяночки, то, кажется, отъ этого лицо ея утеряло-бы всю свою прелесть.

Стоя у окна и разговаривая, дѣвушка, пожимаясь отъ вечерней сырости, то и дѣло оглядывалась на насъ, то подбоченивалась, то поднимала къ головѣ руки, чтобы поправить волосы, говорила, смѣялась, изображала на своемъ лицѣ то удивленіе, то ужасъ, и я не помню того мгновенія, когда бы ея тѣло и лицо находились въ покоѣ. Весь секретъ и волшебство ея красоты заключались именно въ этихъ мелкихъ, безконечно изящныхъ движеніяхъ, въ улыбкѣ, въ игрѣ лица, въ быстрыхъ взглядахъ на насъ, въ сочетаніи тонкой граціи этихъ движеній съ молодостью, свѣжестью, съ чистотою души, звучавшею въ смѣхѣ и въ голосѣ, и съ тою слабостью, которую мы такъ любимъ въ дѣтяхъ, въ птицахъ, въ молодыхъ оленяхъ, въ молодыхъ деревьяхъ.

Это была красота мотыльковая, къ которой такъ идутъ вальсъ, порханье по саду, смѣхъ, веселье и которая не вяжется съ серьезной мыслью, печалью и покоемъ, и, ка-

жется, стоитъ только пробѣжать по платформѣ хорошему вѣтру, или пойти дождю, чтобы хрупкое тѣло вдругъ поблекло и капризная красота осыпалась, какъ цвѣточная пыль.

— Тэкъ-съ...—пробормоталъ со вздохомъ офицеръ, когда мы послѣ второго звонка направились къ своему вагону.

А что значило это «тэкъ-съ», не берусь судить.

Быть-можетъ, ему было грустно и не хотѣлось уходить отъ красавицы и весенняго вечера въ душный вагонъ, или, быть-можетъ, ему, какъ и мнѣ, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всѣхъ пассажировъ, которые вяло и нехотя брели къ своимъ вагонамъ. Проходя мимо станціоннаго окна, за которымъ около своего аппарата сидѣлъ блѣдный, рыжеволосый телеграфистъ съ высокими кудрями и полинявшимъ, скуластымъ лицомъ, офицеръ вздохнулъ и сказалъ:

— Держу пари, что этотъ телеграфистъ влюбленъ въ ту хорошенькую. Жить среди поля подъ одной крышей съ этимъ воздушнымъ созданіемъ и не влюбиться—выше силъ человѣческихъ. А какое, мой другъ, несчастіе, какая насмѣшка, быть сутулымъ, лохматымъ, сѣренькимъ, порядочнымъ и неглупымъ, и влюбиться въ эту хорошенькую и глупенькую дѣвочку, которая на васъ ноль вниманія! Или еще хуже: представьте, что этотъ телеграфистъ влюбленъ и въ то же время женатъ и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, какъ онъ самъ... Пытка!

Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоялъ кондукторъ и глядѣлъ въ ту сторону, гдѣ стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, непріятно сытое, утомленное безсонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиленіе и глубочайшую грусть, какъ будто въ дѣвушкѣ онъ видѣлъ свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, дѣтей, какъ будто онъ каялся и чувствовалъ всѣмъ своимъ существомъ, что дѣвушка эта не его и что до обыкновеннаго человѣческаго, пассажирскаго счастья ему съ его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирнымъ лицомъ такъ же далеко, какъ до неба.

Пробилъ третій звонокъ, раздались свистки и поѣздъ лѣниво тронулся. Въ нашихъ окнахъ промелькнули сначала кондукторъ, начальникъ станціи, потомъ садъ, красавица со своей чудной, дѣтски-лукавой улыбкой...

Высунувшись наружу и глядя назадъ, я видѣлъ, какъ она, проводивъ глазами поѣздъ, прошлась по платформѣ мимо окна, гдѣ сидѣлъ телеграфистъ, поправила свои волосы и побѣжала въ садъ. Вокзалъ ужъ не загораживалъ запада, поле было открыто, но солнце уже сѣло, и дымъ черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и въ весеннемъ воздухѣ, и на темнѣвшемъ небѣ, и въ вагонѣ.

Знакомый кондукторъ вошелъ въ вагонъ и сталъ зажигать свѣчи.

самой заразительной веселости, безпечности и того умнаго, хорошаго легкомыслія, которое бываетъ только у мыслящихъ, простодушныхъ, веселыхъ людей. Можетъ ли тутъ быть рѣчь о мистицизмѣ, спиритизмѣ, дарѣ предчувствія, или о чемъ-нибудь подобномъ? Надъ всѣмъ этимъ она смѣялась.

Докторская бричка остановилась около колодца. Слѣдователь и докторъ напились воды, потянулись и стали ждать, когда кучеръ кончитъ поить лошадей.

— Ну-съ, отчего же умерла та дама?—спросилъ докторъ, когда бричка опять покатила по дорогѣ.

— Умерла она странно. Въ одинъ прекрасный день входитъ къ ней мужъ и говоритъ, что не дурно бы къ веснѣ продать старую коляску, а вмѣсто нея купить что-нибудь поновѣе и легче, и что не мѣшало бы перемѣнить лѣвую пристяжную, а Бобчинскаго (была у мужа такая лошадь) пустить въ корень.

Жена выслушала его и говоритъ:

— Дѣлай, какъ знаешь, мнѣ теперь все равно. Къ лѣту я буду уже на кладбищѣ.

Мужъ, конечно, пожимаетъ плечами и улыбается.

— Я нисколько не шучу, — говоритъ она. — Объявляю тебѣ серьезно, что я скоро умру.

— То-есть какъ скоро?

— Сейчасъ же послѣ родовъ. Рожу и умру.

Словамъ этимъ мужъ не придалъ никакого значенія. Онъ не вѣритъ ни въ какія предчувствія и къ тому же отлично знаетъ, что женщины въ интересномъ положеніи любятъ капризничать и вообще предаваться мрачнымъ мыслямъ. Прошелъ день, и жена опять ему о томъ, что умретъ тотчасъ же послѣ родовъ, и потомъ каждый день все о томъ же, а онъ смѣялся и обзывалъ ее бабой, гадалкой, кликушей. Близкая смерть стала idée fixe жены. Когда мужъ не слушалъ ее, она шла въ кухню и говорила тамъ о своей смерти съ няней и кухаркой:

— Не много еще мнѣ осталось жить, нянюшка. Какъ только рожу, сейчасъ же и умру. Не хотѣлось бы умирать такъ рано, да ужъ знать судьба моя такая.

Нянька и кухарка, конечно, въ слезы. Бывало, пріѣдетъ къ ней попадья, или помѣщица, а она отведетъ ее въ уголъ и давай душу отводить — все о томъ же, о близкой

смерти. Говорила она серьезно, съ непріятной улыбкой, даже со злымъ лицомъ, не допуская возраженій. Была она модницей, щеголихой, но тутъ въ виду скорой смерти все бросила и стала ходить неряхой; уже не читала, не смѣялась, не мечтала вслухъ... Мало того, поѣхала съ теткой на кладбище и облюбовала тамъ мѣсто для своей могилки, а дней за пять до родовъ написала завѣщаніе. И имѣйте въ виду, все это творилось при отличномъ здоровьѣ, безъ малѣйшихъ намековъ на болѣзнь или какую-нибудь опасность. Роды — трудная штука, иногда смертельная, но у той, про которую я вамъ говорю, все обстояло благополучно и бояться было рѣшительно нечего. Мужу въ концѣ-концовъ вся эта исторія надоѣла. Какъ-то за обѣдомъ онъ разсердился и спросилъ:

— Послушай, Наташа, когда же будетъ конецъ этимъ глупостямъ?

— Это не глупости. Я говорю серьезно.

— Вздоръ! Я бы тебѣ совѣтовалъ перестать глупить, чтобы потомъ самой не было совѣстно.

Но вотъ наступили и роды. Мужъ привезъ изъ города самую лучшую акушерку. Роды были у жены первые, но сошли какъ нельзя лучше. Когда все кончилось, роженица пожелала взглянуть на младенца. Поглядѣла и сказала:

— Ну, а теперь и умереть можно.

Простилась, закрыла глаза и черезъ полчаса отдала Богу душу. До самой послѣдней минуты она была въ сознаніи. По крайней мѣрѣ, когда ей вмѣсто воды подали молока, то она тихо прошептала:

— Зачѣмъ же вы мнѣ вмѣсто воды молока даете?

Такъ вотъ какая исторія. Какъ предсказала, такъ и умерла.

Слѣдователь помолчалъ, вздохнулъ и сказалъ:

— Вотъ и объясните, отчего она умерла? Увѣряю васъ честнымъ словомъ, это не выдумка, а фактъ.

Размышляя, докторъ поглядѣлъ на небо.

— Надо было бы вскрыть ее,—сказалъ онъ.

— Зачѣмъ?

— А затѣмъ, чтобы узнать причину смерти. Не отъ предсказанія же своего она умерла. Отравилась, по всей вѣроятности.

Слѣдователь быстро повернулся лицомъ къ доктору и, прищуривъ глаза, спросилъ:

— Изъ чего же вы заключаете, что она отравилась?

— Я не заключаю, а предполагаю. Она хорошо жила съ мужемъ?

— Гм... не совсѣмъ. Недоразумѣнія начались вскорѣ же послѣ свадьбы. Было такое несчастное стеченіе обстоятельствъ. Покойница однажды застала мужа съ одной дамой... Впрочемъ, она скоро простила ему.

— А что раньше было, измѣна мужа, или появленіе идеи о смерти?

Слѣдователь пристально поглядѣлъ на доктора, какъ бы желая разгадать, зачѣмъ онъ задаетъ такой вопросъ.

— Позвольте,—отвѣтилъ онъ не сразу.—Позвольте, дайте припомнить. — Слѣдователь снялъ шляпу и потеръ себѣ лобъ.—Да, да... она стала говорить о смерти именно въ скорости послѣ того случая. Да, да.

— Ну, вотъ видите ли... По всей вѣроятности, она тогда же рѣшила отравиться, но такъ какъ ей, вѣроятно, вмѣстѣ съ собой не хотѣлось убивать ребенка, то она отложила самоубійство до родовъ.

— Едва ли, едва ли... Это невозможно. Она тогда же простила.

— Скоро простила, значитъ, думала что-нибудь недоброе. Молодыя жены прощаютъ не скоро.

Слѣдователь насильно улыбнулся и, чтобы скрыть свое слишкомъ замѣтное волненіе, сталъ закуривать папиросу.

— Едва ли, едва ли...—продолжалъ онъ.—Мнѣ и въ голову не приходила мысль о такой возможности... Да и къ тому же... онъ не такъ ужъ виноватъ, какъ кажется... Измѣнилъ какъ-то странно, самъ того не желая: пришелъ домой ночью навеселѣ, хочется приласкать кого-нибудь, а жена въ интересномъ положеніи... а тутъ, чортъ ее побери, навстрѣчу попадается дама, пріѣхавшая погостить на три дня, бабенка пустая, глупая, некрасивая. Это даже и измѣной считать нельзя. Жена и сама такъ взглянула на это и скоро... простила; потомъ объ этомъ и разговора не было...

— Люди безъ причины не умираютъ,—сказалъ докторъ.

— Это такъ, конечно, но все-таки... не могу допустить, чтобы она отравилась. Но странно, какъ это до сихъ поръ мнѣ въ голову не приходило о возможности такой смерти!.. И никто не думалъ объ этомъ! Всѣ были удивлены, что ея предсказаніе сбылось, и мысль о возможности... такой

ченіи, то онъ добродушно улыбался и говорилъ: «Ну, вотъ еще! Не люблю я этихъ расписокъ!» Жилъ онъ бѣдно, но чисто. Въ этой средней комнатѣ помѣщались четверо ребятъ и ихъ бабушка; тутъ варили, спали, принимали гостей и даже танцовали. Въ этой комнатѣ жилъ самъ Путохинъ; у него былъ столъ, за которымъ онъ исполнялъ частные заказы: переписывалъ роли, доклады и т. п. Тутъ, направо, обиталъ его жилецъ, слесарь Егорычъ—степенный, но пьющій человѣкъ; всегда ему было жарко, и оттого онъ всегда ходилъ босикомъ и въ одной жилеткѣ. Егорычъ починялъ замки, пистолеты, дѣтскіе велосипеды, не отказывался чинить дешевые стѣнные часы, дѣлалъ за четвертакъ коньки, но эту работу онъ презиралъ и считалъ себя спеціалистомъ по части музыкальныхъ инструментовъ. На его столѣ, среди стального и желѣзнаго хлама, всегда можно было увидѣть гармонику съ отломаннымъ клапаномъ, или трубу съ вогнутыми боками. Платилъ онъ за комнату Путохину два съ полтиной, всегда былъ около своего верстака и выходилъ только для того, чтобы сунуть въ печку какую-нибудь желѣзку.

Когда я, что бывало очень рѣдко, заходилъ вечерами въ эту квартиру, то всякій разъ заставалъ такую картину: Путохинъ сидѣлъ за своимъ столомъ и переписывалъ что-нибудь, его мать и жена, тощая женщина съ утомленнымъ лицомъ, сидѣли около лампы и шили; Егорычъ визжалъ терпугомъ. А горячая, еще не совсѣмъ потухшая печка испускала изъ себя жаръ и духоту; въ тяжеломъ воздухѣ пахло щами, пеленками и Егорычемъ. Бѣдно и душно, но отъ рабочихъ лицъ, отъ дѣтскихъ штанишекъ, развѣшанныхъ вдоль печки, отъ желѣзокъ Егорыча вѣяло все-таки миромъ, лаской, довольствомъ... За дверями, въ коридорѣ бѣгали дѣтишки, причесанныя, веселыя и глубоко убѣжденныя въ томъ, что на этомъ свѣтѣ все обстоитъ благополучно и такъ будетъ безъ конца, стóитъ только по утрамъ и ложась спать молиться Богу.

Теперь представьте себѣ, что посреди этой самой комнаты, въ двухъ шагахъ отъ печки, стоитъ гробъ, въ которомъ лежитъ жена Путохина. Нѣтъ того мужа, жена котораго жила бы вѣчно, но тутъ эта смерть имѣла что-то особенное. Когда я во время панихиды взглянулъ на серьезное лицо мужа, на его строгіе глаза, то подумалъ:

«Эге, братъ!»

Мнѣ казалось, что онъ самъ, его дѣти, бабушка, Егорычъ—уже намѣчены тѣмъ невидимымъ существомъ, которое жило съ ними въ этой квартирѣ. Я глубоко суевѣрный человѣкъ, быть-можетъ, оттого, что я домовладѣлецъ и сорокъ лѣтъ имѣлъ дѣло съ жильцами. Я вѣрю въ то, что если вамъ не везетъ въ карты съ самаго начала, то вы будете проигрывать до конца; когда судьбѣ нужно стереть съ лица земли васъ и вашу семью, то все время она остается неумолимо послѣдовательной, и первое несчастье обыкновенно бываетъ только началомъ длинной цѣпи... По своей природѣ несчастья—тѣ же камни. Нужно только одному камню свалиться съ высокаго берега, чтобы за нимъ посыпались другіе. Однимъ словомъ, уходя послѣ панихиды отъ Путохина, я вѣрилъ, что ему и его семьѣ не сдобровать...

Дѣйствительно, проходитъ недѣля, и нотаріусъ неожиданно даетъ Путохину отставку и на его мѣсто сажаетъ какую-то барышню. И что же? Путохина взволновала не столько потеря мѣста, какъ то, что вмѣсто него посадили именно барышню, а не мужчину. Почему барышню? Это его такъ оскорбило, что онъ, вернувшись домой, пересѣкъ своихъ ребятишекъ, обругалъ мать и напился пьянъ. За компанію съ нимъ напился и Егорычъ.

Путохинъ принесъ мнѣ плату за квартиру, но уже не извинялся, хотя просрочилъ 18 дней, и молчалъ, когда бралъ отъ меня расписку въ полученіи. На слѣдующій мѣсяцъ деньги принесла уже мать; она дала мнѣ только половину, а другую половину обѣщала черезъ недѣлю. На третій мѣсяцъ я не получилъ ни копейки, и дворникъ сталъ мнѣ жаловаться, что жильцы квартиры № 23 ведутъ себя «неблагородно». Это были нехорошіе симптомы.

Представьте вы себѣ такую картину. Хмурое, петербургское утро глядитъ въ эти тусклыя окна. Около печки старуха поитъ дѣтей чаемъ. Только старшій внукъ Вася пьетъ изъ стакана, а остальнымъ чай наливается прямо въ блюдечки. Передъ печкой сидитъ на корточкахъ Егорычъ и суетъ желѣзку въ огонь. Отъ вчерашняго пьянства у него тяжела голова и мутны глаза; онъ крякаетъ, дрожитъ и кашляетъ.

— Совсѣмъ съ пути сбилъ, дьяволъ!—ворчитъ онъ.— Самъ пьетъ и другихъ въ грѣхъ вводитъ.

Путохинъ сидитъ въ своей комнатѣ на кровати, на которой давно уже нѣтъ ни одѣяла, ни подушекъ, и, запустивъ руки въ волоса, тупо глядитъ себѣ подъ ноги. Онъ оборванъ, нечесанъ, боленъ.

— Пей, пей скорѣй, а то въ школу опоздаешь!—торопитъ старуха Васю.—Да и мнѣ время идти къ жидамъ полы мыть...

Во всей квартирѣ только одна старуха не падаетъ духомъ. Она вспомнила старину и занялась грязной, черной работой. По пятницамъ она моетъ у евреевъ въ ссудной кассѣ полы, по субботамъ ходитъ къ купцамъ стирать, и по воскресеньямъ, съ утра до вечера, бѣгаетъ по городу и разыскиваетъ благодѣтельницъ. Каждый день у нея какая-нибудь работа. Она и стираетъ, и полы моетъ, и младенцевъ принимаетъ, и сватаетъ, и нищенствуетъ. Правда, и она не прочь выпить съ горя, но и въ пьяномъ видѣ не забываетъ своихъ обязанностей. На Руси много такихъ крѣпкихъ старухъ, и сколько благополучій держится на нихъ!

Напившись чаю, Вася укладываетъ въ сумку свои книги и идетъ за печку; тутъ рядомъ съ платьями бабушки должно висѣть его пальто. Черезъ минуту онъ выходитъ изъ-за печки и спрашиваетъ:

— А гдѣ же мое пальто?

Бабушка и остальные ребятишки начинаютъ вмѣстѣ искать пальто, ищутъ долго, но пальто какъ въ воду кануло. Гдѣ оно? Бабушка и Вася блѣдны, испуганы. Даже Егорычъ удивленъ. Молчитъ и не двигается одинъ только Путохинъ. Чуткій ко всякаго рода безпорядкамъ, на этотъ разъ онъ дѣлаетъ видъ, что ничего не видитъ и не слышитъ. Это подозрительно.

— Онъ пропилъ!—заявляетъ Егорычъ.

Путохинъ молчитъ, значитъ, это правда. Вася въ ужасѣ. Его пальто, прекрасное пальто, сшитое изъ суконнаго платья покойной матери, пальто на прекрасной коленкоровой подкладкѣ, пропито въ кабакѣ! А вмѣстѣ съ пальто, значитъ, пропитъ и синій карандашъ, лежавшій въ боковомъ карманѣ, и записная книжка съ золотыми буквами «Nota bene»! Въ книжкѣ засунутъ другой карандашъ съ резинкой и кромѣ того въ ней лежатъ переводныя картинки.

Вася охотно бы заплакалъ, но плакать нельзя. Если отецъ, у котораго болитъ голова, услышитъ плачъ, то закричитъ, затопаетъ ногами и начнетъ драться, а съ похмелья дерется онъ ужасно. Бабушка вступится за Васю, а отецъ ударитъ и бабушку; кончится тѣмъ, что Егорычъ вмѣшается въ драку, вцѣпится въ отца и вмѣстѣ съ нимъ упадетъ на полъ. Оба валяются на полу, барахтаются и дышатъ пьяной, животной злобой, а бабушка плачетъ, дѣти визжатъ, сосѣди посылаютъ за дворникомъ. Нѣтъ, лучше не плакать.

Оттого, что нельзя плакать и возмущаться вслухъ, Вася мычитъ, ломаетъ руки и дрыгаетъ ногами, или, укусивъ себѣ рукавъ, долго треплетъ его зубами, какъ собака зайца. Глаза его безумны и лицо искривлено отчаяніемъ. Глядя на него, бабушка вдругъ срываетъ со своей головы платокъ и начинаетъ тоже выдѣлывать руками и ногами разныя штуки, молча, уставившись глазами въ одну точку. И въ это время, я думаю, въ головахъ мальчика и старухи сидитъ ясная увѣренность, что ихъ жизнь погибла, что надежды нѣтъ...

Путохинъ не слышитъ плача, но ему изъ его комнатки все видно. Когда, полчаса спустя, Вася, окутанный въ бабушкину шаль, уходитъ въ школу, онъ съ лицомъ, которое я не берусь описать, выходитъ на улицу и идетъ за нимъ. Ему хочется окликнуть мальчика, утѣшить, попросить прощенія, дать ему честное слово, призвать покойную мать въ свидѣтели, но изъ груди вмѣсто словъ вырываются одни рыданія. Утро сырое, холодное. Дойдя до городского училища, Вася, чтобы товарищи не сказали, что онъ похожъ на бабу, распутываетъ шаль и входитъ въ училище въ одной только курткѣ. А Путохинъ, вернувшись домой, рыдаетъ, бормочетъ какія-то несвязныя слова, кланяется въ ноги и матери, и Егорычу, и его верстаку. Потомъ, немного придя въ себя, онъ бѣжитъ ко мнѣ и, задыхаясь, ради Бога проситъ у меня какого-нибудь мѣста. Я его обнадеживаю, конечно.

— Наконецъ-таки я очнулся!—говоритъ онъ.—Пора ужъ и за умъ взяться. Побезобразничалъ и будетъ съ меня.

Онъ радуется и благодаритъ меня, а я, который за все время, пока владѣю домомъ, отлично изучилъ этихъ господъ жильцовъ, гляжу на него, и такъ и хочется мнѣ сказать ему:

— Поздно, голубчикъ! Ты уже умеръ!

Отъ меня Путохинъ бѣжитъ къ городскому училищу. Тутъ онъ шагаетъ и ждетъ, когда выпустятъ его мальчика.

— Вотъ что, Вася!—говоритъ онъ радостно, когда Вася наконецъ выходитъ.—Мнѣ сейчасъ обѣщали мѣсто. Погоди, я куплю тебѣ отличную шубу... я тебя въ гимназію отдамъ! Понимаешь? Въ гимназію! Я тебя въ дворяне выведу! А пить больше не буду. Честное слово, не буду.

И онъ глубоко вѣритъ въ свѣтлое будущее. Но вотъ наступаетъ вечеръ. Старуха, вернувшись отъ жидовъ съ двугривеннымъ, утомленная и разбитая, принимается за стирку дѣтскаго бѣлья. Вася сидитъ и рѣшаетъ задачу. Егорычъ не работаетъ. По милости Путохина онъ спился и теперь чувствуетъ неодолимую жажду выпить. Въ комнатахъ душно, жарко. Отъ корыта, въ которомъ старуха моетъ бѣлье, валитъ паръ.

— Пойдемъ, что ли?—угрюмо спрашиваетъ Егорычъ.

Мой жилецъ молчитъ. Послѣ возбужденія ему становится невыносимо скучно. Онъ борется съ желаніемъ выпить, съ тоской и... и, конечно, тоска беретъ верхъ. Исторія извѣстная...

Къ ночи Егорычъ и Путохинъ уходятъ, а утромъ Вася не находитъ бабушкиной шали.

Вотъ какая исторія происходила въ этой квартирѣ. Пропивши шаль, Путохинъ ужъ больше не возвращался домой. Куда онъ исчезъ, я не знаю. Послѣ того, какъ онъ пропалъ, старуха сначала запила, а потомъ слегла. Ее свезли въ больницу, младшихъ ребятъ взяла какая-то родня, а Вася поступилъ вотъ въ эту прачечную. Днемъ онъ подавалъ утюги, а ночью бѣгалъ за пивомъ. Когда изъ прачечной его выгнали, онъ поступилъ къ одной изъ барышень, бѣгалъ по ночамъ, исполняя какія-то порученія, и его звали уже «вышибалой». Что дальше было съ нимъ, я не знаю.

А въ этой вотъ комнатѣ десять лѣтъ жилъ нищій-музыкантъ. Когда онъ умеръ, въ его перинѣ нашли двадцать тысячъ.

ВЕСНОЙ.

Съ земли еще не сошелъ снѣгъ, а въ душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали отъ тяжелой болѣзни, то вамъ извѣстно блаженное состояніе, когда замираешь отъ смутныхъ предчувствій и улыбаешься безъ всякой причины. Повидимому, такое же состояніе переживаетъ теперь и природа. Земля холодна, грязь со снѣгомъ хлюпаетъ подъ ногами, но какъ кругомъ все весело, ласково, привѣтливо! Воздухъ такъ ясенъ и прозраченъ, что если взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную отъ края до края. Солнце свѣтитъ ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются въ лужахъ вмѣстѣ съ воробьями. Рѣчка надувается и темнѣетъ; она уже проснулась и не сегодня — завтра зареветъ. Деревья голы, но уже живутъ, дышатъ.

Въ такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду въ канавахъ, пускать по водѣ кораблики, или долбить каблуками упрямый ледъ. Хорошо также гонять голубей подъ самую высь поднебесную, или лазить на деревья и привязывать тамъ скворешни. Да, все хорошо въ это счастливое время года—въ особенности, если вы молоды, любите природу, и если вы не капризны, не истеричны, и если по службѣ не обязаны сидѣть въ четырехъ стѣнахъ съ утра до вечера. Не хорошо, если вы больны, если чахнете въ канцеляріи, если знаетесь съ музами.

Да, весною не слѣдуетъ знаться съ музами.

Вы поглядите, какъ хорошо, какъ славно чувствуютъ себя обыкновенные люди. Вотъ садовникъ Пантелей Пе-

тровичъ спозаранку нарядился въ широкополую, соломенную шляпу и никакъ не можетъ разстаться съ маленькимъ сигарнымъ окуркомъ, который онъ поднялъ еще утромъ на аллеѣ; посмотрите: онъ стоитъ подбоченясь, передъ кухоннымъ окномъ и разсказываетъ повару, какіе онъ вчера купилъ себѣ сапоги. Вся его длинная и узкая фигура, за которую его вся дворня зоветъ «стрюцкимъ», выражаетъ самодовольство и достоинство. На природу глядитъ онъ съ сознаніемъ своего превосходства надъ ней, и во взглядѣ у него что-то хозяйское, повелительное и даже презрительное, точно, сидя у себя тамъ въ оранжереѣ, или копаясь въ саду, онъ узналъ про растительное царство что-то такое, чего не знаетъ никто.

Было бы напрасно толковать ему, что природа величественна, грозна и полна чудесныхъ чаръ, передъ которыми долженъ склонить свою шею гордый человѣкъ. Ему кажется, что онъ знаетъ все, всѣ тайны, чары и чудеса, а прекрасная весна для него такая же рабыня, какъ та узкогрудая, исхудалая женщина, которая сидитъ въ пристройкѣ около оранжереи и кормитъ постными щами его дѣтей.

А охотникъ Иванъ Захаровъ? Этотъ въ истрепанной драповой курткѣ и въ калошахъ на босу ногу, сидитъ около конюшни на опрокинутомъ боченкѣ и дѣлаетъ изъ старыхъ пробокъ пыжи. Онъ собирается на тягу. Въ его воображеніи рисуется путь, по которому онъ пойдетъ, со всѣми тропинками, зажорами, ручьями; закрывъ глаза, онъ видитъ длинный, прямой рядъ высокихъ стройныхъ деревьевъ, подъ которыми онъ будетъ стоять съ ружьемъ, дрожа отъ вечерней прохлады, отъ сладкаго волненія и напрягая свой тонкій слухъ; ему чудятся звуки, которые издаетъ харкающій вальдшнепъ; онъ уже слышитъ, какъ въ монастырѣ, по сосѣдству, послѣ всенощной, пока онъ стоитъ на тягѣ, трезвонятъ во всѣ колокола... Ему хорошо, онъ безмѣрно, безтолково счастливъ.

Но теперь поглядите на Макара Денисыча, молодого человѣка, который служитъ у генерала Стремоухова не то писаремъ, не то младшимъ управляющимъ. Онъ получаетъ вдвое больше, чѣмъ садовникъ, носитъ бѣлыя манишки, куритъ двухрублевый табакъ, всегда сытъ и одѣтъ и всегда при встрѣчѣ съ генераломъ имѣетъ удовольствіе пожимать бѣлую, пухлую руку съ крупнымъ

брильянтовымъ перстнемъ, но тѣмъ не менѣе, все-таки какъ онъ несчастливъ! Вѣчно онъ съ книжками, выписываетъ онъ на двадцать пять рублей журналовъ и пишетъ, пишетъ... Пишетъ онъ каждый вечеръ, каждое послѣ-обѣда, когда всѣ спятъ, и все написанное прячетъ въ свой большой сундукъ. Въ этомъ сундукѣ, на самомъ днѣ лежатъ аккуратно сложенные брюки и жилеты; на нихъ еще не распечатанная пачка табаку, десятокъ коробочекъ изъ-подъ пилюль, пунцовый шарфикъ, кусокъ глицериноваго мыла въ желтой оберткѣ и много всякаго другого добра, а по краямъ сундука робко жмутся стопки исписанной бумаги, и тутъ же два-три нумера «Нашей Губерніи», гдѣ напечатаны разсказы и корреспонденціи Макара Денисыча. Весь уѣздъ считаетъ его литераторомъ, поэтомъ, всѣ видятъ въ немъ что-то особенное, не любятъ его, говорятъ, что онъ не такъ говоритъ, не такъ ходитъ, не такъ куритъ, и самъ онъ однажды на мировомъ съѣздѣ, куда былъ вызванъ въ качествѣ свидѣтеля, проговорился некстати, что занимается литературой, причемъ покраснѣлъ такъ, какъ будто укралъ курицу.

Вотъ онъ, въ синемъ пальто, въ плюшевой шапочкѣ и съ тросточкой въ рукѣ, тихо идетъ по аллеѣ... Сдѣлаетъ шаговъ пять, остановится и уставитъ глаза въ небо, или на стараго грача, который сидитъ на ели.

Садовникъ стоитъ подбоченясь, на лицѣ у охотника написана строгость, а Макаръ Денисычъ согнулся, робко кашляетъ и кисло смотритъ, точно весна давитъ и душитъ его своими испареніями, своей красотой!.. Душа его полна робости. Вмѣсто восторговъ, радости и надеждъ, весна порождаетъ въ немъ только какія-то смутныя желанія, которыя тревожатъ его, и вотъ онъ ходитъ и самъ не разберетъ, что ему нужно. Въ самомъ дѣлѣ, что ему нужно?

— А, здравствуйте, Макаръ Денисычъ! — слышитъ онъ вдругъ голосъ генерала Стремоухова.—Что, еще не пріѣзжали съ почты?

— Нѣтъ еще, ваше превосходительство,—отвѣчаетъ Макаръ Денисычъ, оглядывая коляску, въ которой сидитъ здоровый, веселый генералъ со своей маленькой дочкой.

— Чудесная погода! Совсѣмъ весна! — говоритъ генералъ.— А вы гуляете? Чай, вдохновляетесь?

А въ глазахъ у него написано:

«Бездарность! Посредственность!»

— Ахъ, батенька! — говоритъ генералъ, берясь за вожжи.—Какую прекрасную штучку я прочелъ сегодня за кофе! Пустячокъ, въ двѣ странички, но какая прелесть! Жаль, что вы не владѣете французскимъ языкомъ, я далъ бы вамъ почитать...

Генералъ наскоро, пятое черезъ десятое, разсказываетъ содержаніе прочитаннаго имъ разсказа, а Макаръ Денисычъ слушаетъ и чувствуетъ неловкость, словно его вина въ томъ, что онъ не французскій писатель, который пишетъ маленькія штучки.

«Не понимаю, что онъ тамъ нашелъ хорошаго? — думаетъ онъ, глядя вслѣдъ исчезающей коляскѣ. — Содержаніе пошлое, избитое... Мои разсказы гораздо содержательнѣе».

И Макара начинаетъ сосать червь. Авторское самолюбіе — это боль, это катаръ души; кто болѣетъ имъ, тому уже не слышно пѣнія птицъ, не видно блеска солнца, не видно весны... Нужно лишь чуть-чуть прикоснуться къ этой болячкѣ, чтобы сжался болѣзненно весь организмъ. Отравленный Макаръ идетъ дальше и черезъ садовую калитку выходитъ на грязную дорогу. Тутъ, подпрыгивая всѣмъ тѣломъ на высокой бричкѣ, спѣшитъ куда-то господинъ Бубенцовъ.

— А, господину писателю!—кричитъ онъ.—Наше вамъ!

Будь Макаръ Денисычъ только писаремъ, или младшимъ управляющимъ, то никто бы не посмѣлъ говорить съ нимъ такимъ снисходительнымъ, небрежнымъ тономъ, но онъ «писатель», онъ бездарность, посредственность!

Такіе, какъ господинъ Бубенцовъ, ничего не понимаютъ въ искусствѣ и мало интересуются имъ, но зато, когда имъ приходится встрѣчаться съ бездарностями и посредственностями, то они неумолимы, безжалостны. Они готовы простить кого угодно, но только не Макара, этого неудачника-чудака, у котораго въ сундукѣ лежатъ рукописи. Садовникъ сломалъ старый фикусъ и сгноилъ много дорогихъ растеній, генералъ ничего не дѣлаетъ и проѣдаетъ чужое, господинъ Бубенцовъ, когда былъ мировымъ судьей, разбиралъ дѣла только разъ въ мѣсяцъ и, разбирая, заикался, путалъ законы и несъ чепуху, но все это прощается, не

замѣчается; но не замѣтить и пройти молчаніемъ мимо бездарнаго Макара, пишущаго неважные стихи и разсказы, никакъ нельзя, не сказавъ чего-нибудь обиднаго. Что свояченица генерала бьетъ горничныхъ по щекамъ и бранится за картами, какъ прачка, что попадья никогда не платитъ проигрыша, что помѣщикъ Флюгинъ укралъ у помѣщика Сивобразова собаку, никому до этого дѣла нѣтъ, но то, что недавно изъ «Нашей Губерніи» возвратили Макару плохой разсказъ, извѣстно всему уѣзду и вызываетъ насмѣшки, длинные разговоры, негодованіе, и Макара Денисыча уже называютъ Макаркой.

Если кто не такъ пишетъ, то не стараются объяснить, почему это «не такъ», а просто говорятъ:

— Опять этотъ сукинъ сынъ чепуху написалъ!

Наслаждаться весной мѣшаетъ Макару мысль, что его не понимаютъ, не хотятъ и не могутъ понять. Ему почему-то кажется, что если бы его поняли, то все было бы прекрасно. Но какъ могутъ понять, талантливъ онъ, или нѣтъ, если во всемъ уѣздѣ никто ничего не читаетъ, или читаетъ такъ, что лучше бы совсѣмъ не читать. Какъ втолковать генералу Стремоухову, что та французская штучка ничтожна, плоска, банальна, избита, какъ втолковать ему, если онъ, кромѣ такихъ плоскихъ штучекъ, никогда не читалъ ничего другого?

А какъ раздражаютъ Макара женщины!

— Ахъ, Макаръ Денисычъ!—говорятъ онѣ ему обыкновенно.—Какъ жаль, что васъ сегодня не было на базарѣ! Если бъ вы видѣли, какъ смѣшно дрались два мужика, вы навѣрно бы описали!

Все это, конечно, пустяки, и философъ не обратилъ бы вниманія, пренебрегъ бы, но Макаръ чувствуетъ себя какъ на угольяхъ. Душа его полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, какую испытываютъ только очень одинокіе люди и большіе грѣшники. Никогда, ни разу въ жизни онъ не стоялъ такъ подбоченясь, какъ стоитъ садовникъ. Изрѣдка развѣ, этакъ разъ въ пять лѣтъ, встрѣтившись гдѣ-нибудь въ лѣсу, или на дорогѣ, или въ вагонѣ съ такимъ же неудачникомъ-чудакомъ, какъ онъ самъ, и заглянувъ ему въ глаза, онъ вдругъ оживетъ на минутку, оживетъ и тотъ. Они долго говорятъ, спорятъ,

восхищаются, восторгаются, хохочутъ, такъ что, со стороны глядя, ихъ обоихъ можно принять за безумныхъ.

Но обыкновенно и эти рѣдкія минуты не обходятся безъ отравы. Словно на смѣхъ, Макаръ и неудачникъ, съ которымъ онъ встрѣтился, отрицаютъ другъ въ другѣ таланты, не признаютъ другъ друга, завидуютъ, ненавидятъ, раздражаются, расходятся врагами. Такъ и изнашивается, таетъ ихъ молодость безъ радостей, безъ любви и дружбы, безъ душевнаго покоя и безъ всего того, что такъ любитъ описывать по вечерамъ въ минуты вдохновенія угрюмый Макаръ.

А съ молодостью проходитъ и весна.

БѢЛОЛОБЫЙ.

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ея волчата, всѣ трое, крѣпко спали, сбившись въ кучу, и грѣли другъ друга. Она облизала ихъ и пошла.

Былъ уже весенній мѣсяцъ мартъ, но по ночамъ деревья трещали отъ холода, какъ въ декабрѣ, и едва высунешь языкъ, какъ его начинало сильно щипать. Волчиха была слабаго здоровья, мнительная; она вздрагивала отъ малѣйшаго шума и все думала о томъ, какъ бы дома безъ нея кто не обидѣлъ волчатъ. Запахъ человѣческихъ и лошадиныхъ слѣдовъ, пни, сложенныя дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями въ потемкахъ стоятъ люди, и гдѣ-то за лѣсомъ воютъ собаки.

Она была уже не молода, и чутье у нея ослабѣло, такъ что, случалось, лисій слѣдъ она принимала за собачій и иногда даже, обманутая чутьемъ, сбивалась съ дороги, чего съ нею никогда не бывало въ молодости. По слабости здоровья, она уже не охотилась на телятъ и крупныхъ барановъ, какъ прежде, и уже далеко обходила лошадей съ жеребятами, а питалась одною падалью; свѣжее мясо ей приходилось кушать очень рѣдко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нея дѣтей, или забиралась къ мужикамъ въ хлѣвъ, гдѣ были ягнята.

Въ верстахъ четырехъ отъ ея логовища, у почтовой дороги стояло зимовье. Тутъ жилъ сторожъ Игнатъ, старикъ лѣтъ семидесяти, который все кашлялъ и разговаривалъ самъ съ собой; обыкновенно ночью онъ спалъ, а днемъ бродилъ по лѣсу съ ружьемъ-одностволкой и посвистывалъ

на зайцевъ. Должно-быть, раньше онъ служилъ въ механикахъ, потому что каждый разъ, прежде чѣмъ остановиться, кричалъ себѣ: «Стопъ машина!» и прежде чѣмъ пойти дальше: «Полный ходъ!» При немъ находилась громадная черная собака неизвѣстной породы, по имени Арапка. Когда она забѣгала далеко впередъ, то онъ кричалъ ей: «Задній ходъ!» Иногда онъ пѣлъ и при этомъ сильно шатался и часто падалъ (волчиха думала, что это отъ вѣтра) и кричалъ: «Сошелъ съ рельсовъ!»

Волчиха помнила, что лѣтомъ и осенью около зимовья паслись баранъ и двѣ ярки, и когда она не такъ давно пробѣгала мимо, то ей послышалось, будто въ хлѣву блеяли. И теперь, подходя къ зимовью, она соображала, что уже мартъ и, судя по времени, въ хлѣву должны быть ягнята непремѣнно. Ее мучилъ голодъ, она думала о томъ, съ какою жадностью она будетъ ѣсть ягненка, и отъ такихъ мыслей зубы у нея щелкали и глаза свѣтились въ потемкахъ, какъ два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлѣвъ и колодецъ были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно-быть, спала подъ сараемъ.

По сугробу волчиха взобралась на хлѣвъ и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, такъ что волчиха едва не провалилась; на нее вдругъ прямо въ морду пахнуло теплымъ паромъ и запахомъ навоза и овечьяго молока. Внизу, почувствовавъ холодъ, нѣжно заблеялъ ягненокъ. Прыгнувъ въ дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно-быть, на барана, и въ это время въ хлѣву что-то вдругъ завизжало, залаяло и залилось тонкимъ, подвывающимъ голоскомъ, овцы шарахнулись къ стѣнкѣ, и волчиха, испугавшись, схватила, что̀ первое попалось въ зубы, и бросилась вонъ...

Она бѣжала, напрягая силы, а въ это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали въ зимовьѣ потревоженныя куры, и Игнатъ, выйдя на крыльцо, кричалъ:

— Полный ходъ! Пошелъ къ свистку!

И свистѣлъ, какъ машина, и потомъ—го-го-го-го!.. И весь этотъ шумъ повторяло лѣсное эхо.

Когда мало-по-малу все это затихло, волчиха успокоилась

немного и стала замѣчать, что ея добыча, которую она держала въ зубахъ и волокла по снѣгу, была тяжелѣе и какъ будто тверже, чѣмъ обыкновенно бываютъ въ эту пору ягнята, и пахло какъ будто иначе, и слышались какіе-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снѣгъ, чтобы отдохнуть и начать ѣсть, и вдругъ отскочила съ отвращеніемъ. Это былъ не ягненокъ, а щенокъ, черный, съ большой головой и на высокихъ ногахъ, крупной породы, съ такимъ же бѣлымъ пятномъ во весь лобъ, какъ у Арапки. Судя по манерамъ, это былъ невѣжа, простой дворняжка. Онъ облизалъ свою помятую, раненую спину и, какъ ни въ чемъ не бывало, замахалъ хвостомъ и залаялъ на волчиху. Она зарычала, какъ собака, и побѣжала отъ него. Онъ за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; онъ остановился въ недоумѣніи и, вѣроятно рѣшивъ, что это она играетъ съ нимъ, протянулъ морду по направленію къ зимовью и залился звонкимъ радостнымъ лаемъ, какъ бы приглашая мать свою Арапку поиграть съ нимъ и съ волчихой.

Уже свѣтало, и когда волчиха пробиралась къ себѣ густымъ осинникомъ, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые пѣтухи, обезпокоенные неосторожными прыжками и лаемъ щенка.

«Зачѣмъ это онъ бѣжитъ за мной?—думала волчиха съ досадой.—Должно-быть, онъ хочетъ, чтобы я его съѣла».

Жила она съ волчатами въ неглубокой ямѣ; года три назадъ во время сильной бури вывернуло съ корнемъ высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на днѣ ея были старые листья и мохъ, тутъ же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и всѣ трое, очень похожіе другъ на друга, стояли рядомъ на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидѣвъ ихъ, щенокъ остановился поодаль и долго смотрѣлъ на нихъ; замѣтивъ, что они тоже внимательно смотрятъ на него, онъ сталъ лаять на нихъ сердито, какъ на чужихъ.

Уже разсвѣло и взошло солнце, засверкалъ кругомъ снѣгъ, а онъ все стоялъ поодаль и лаялъ. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами въ тощій животъ, а она въ это время грызла лошадиную кость, бѣлую и сухую; ее

мучилъ голодъ, голова разболѣлась отъ собачьяго лая, и хотѣлось ей броситься на непрошеннаго гостя и разорвать его.

Наконецъ щенокъ утомился и охрипъ; видя, что его не боятся и даже не обращаютъ на него вниманія, онъ сталъ несмѣло, то присѣдая, то подскакивая, подходить къ волчатамъ. Теперь, при дневномъ свѣтѣ, легко уже было разсмотрѣть его... Бѣлый лобъ у него былъ большой, а на лбу бугоръ, какой бываетъ у очень глупыхъ собакъ; глаза были маленькіе, голубые, тусклые, а выраженіе всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя къ волчатамъ, онъ протянулъ впередъ широкія лапы, положилъ на нихъ морду и началъ:

— Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенокъ ударилъ лапой одного волчонка по большой головѣ. Волчонокъ тоже ударилъ его лапой по головѣ. Щенокъ сталъ къ нему бокомъ и посмотрѣлъ на него искоса, помахивая хвостомъ, потомъ вдругъ рванулся съ мѣста и сдѣлалъ нѣсколько круговъ по насту. Волчата погнались за нимъ, онъ упалъ на спину и задралъ вверхъ ноги, а они втроемъ напали на него и, визжа отъ восторга, стали кусать его, но не больно, а въ шутку. Вороны сидѣли на высокой соснѣ и смотрѣли сверху на ихъ борьбу; и очень безпокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему, и пѣтухи, то и дѣло перелетавшіе черезъ сосну, поваленную бурей, при блескѣ солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи пріучаютъ своихъ дѣтей къ охотѣ, давая имъ поиграть добычей; и теперь, глядя, какъ волчата гонялись по насту за щенкомъ и боролись съ нимъ, волчиха думала:

«Пускай пріучаются».

Наигравшись, волчата пошли въ яму и легли спать. Щенокъ повылъ немного съ голоду, потомъ тоже растянулся на солнышкѣ. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечеромъ волчиха вспоминала, какъ прошлою ночью въ хлѣву блеялъ ягненокъ и какъ пахло овечьимъ молокомъ, и отъ аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть съ жадностью старую кость, воображая себѣ, что это ягненокъ. Волчата сосали, а щенокъ, который хотѣлъ ѣсть, бѣгалъ кругомъ и обнюхивалъ снѣгъ.

«Съѣмъ-ка его»...—рѣшила волчиха.

Она подошла къ нему, а онъ лизнулъ ее въ морду и заскулилъ, думая, что она хочетъ играть съ нимъ. Въ былое время она ѣдала собакъ, но отъ щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпѣла этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь..

Къ ночи похолодѣло. Щенокъ соскучился и ушелъ домой.

Когда волчата крѣпко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Какъ и въ прошлую ночь, она тревожилась малѣйшаго шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящіе кусты можжевельника, издали похожіе на людей. Она бѣжала въ сторонѣ отъ дороги, по насту. Вдругъ далеко впереди на дорогѣ замелькало что-то темное... Она напрягла зрѣніе и слухъ: въ самомъ дѣлѣ, что-то шло впереди, и даже слышны были мѣрные шаги. Не барсукъ ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все въ сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спѣша, шагомъ, возвращался къ себѣ въ зимовье щенокъ съ бѣлымъ лбомъ.

«Какъ бы онъ опять мнѣ не помѣшалъ»,—подумала волчиха и быстро побѣжала впередъ.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлѣвъ по сугробу. Вчерашняя дыра была уже задѣлана яровой соломой, и по крышѣ протянулись двѣ новыя слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идетъ ли щенокъ, но едва пахнуло на нее теплымъ паромъ и запахомъ навоза, какъ сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенокъ. Онъ прыгнулъ къ волчихѣ на крышу, потомъ въ дыру и, почувствовавъ себя дома, въ теплѣ, узнавъ своихъ овецъ, залаялъ еще громче... Арапка проснулась подъ сараемъ и, почуявъ волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльцѣ показался Игнатъ со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко отъ зимовья.

— Фюйть!—засвистѣлъ Игнатъ.—Фюйть! Гони на всѣхъ парахъ!

Онъ спустилъ курокъ—ружье дало осѣчку; онъ спустилъ еще разъ—опять осѣчка; онъ спустилъ въ третій разъ—и громадный огненный снопъ вылетѣлъ изъ ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!» Ему сильно отдало въ плечо;

и, взявши въ одну руку ружье, а въ другую топоръ, онъ пошелъ посмотрѣть, отчего шумъ...

Немного погодя, онъ вернулся въ избу.

— Что̀ тамъ?—спросилъ хриплымъ голосомъ странникъ, почевавшій у него въ эту ночь и разбуженный шумомъ.

— Ничего...—отвѣтилъ Игнатъ.—Пустое дѣло. Повадился нашъ Бѣлолобый съ овцами спать, въ теплѣ. Только нѣтъ того понятія, чтобы въ дверь, а норовитъ все какъ бы въ крышу. Намедни ночью разобралъ крышу и гулять ушелъ, подлецъ, а теперь вернулся и опять разворошилъ крышу.

— Глупый.

— Да, пружина въ мозгу лопнула. Смерть не люблю глупыхъ! — вздохнулъ Игнатъ, полѣзая на печь. — Ну, Божій человѣкъ, рано еще вставать, давай спать полнымъ ходомъ...

А утромъ онъ подозвалъ къ себѣ Бѣлолобаго, больно оттрепалъ его за уши и потомъ, наказывая его хворостиной, все приговаривалъ:

— Ходи въ дверь! Ходи въ дверь! Ходи въ дверь!

У ПРЕДВОДИТЕЛЬШИ.

Перваго февраля каждаго года, въ день св. мученика Трифона, въ имѣніи вдовы бывшаго уѣзднаго предводителя Трифона Львовича Завзятова бываетъ необычайное движеніе. Въ этотъ день вдова предводителя Любовь Петровна служитъ по усопшемъ именинникѣ панихиду, а послѣ панихиды—благодарственное Господу Богу молебствіе. На панихиду съѣзжается весь уѣздъ. Тутъ вы увидите теперешняго предводителя Хрумова, предсѣдателя земской управы Марѳуткина, непремѣннаго члена Потрашкова, обоихъ участковыхъ мировыхъ, исправника Кринолинова, двухъ становыхъ, земскаго врача Дворнягина, пахнущаго іодоформомъ, всѣхъ помѣщиковъ, большихъ и малыхъ, и проч. Всего набирается человѣкъ около пятидесяти.

Ровно въ 12 часовъ дня гости, вытянувъ физіономіи, пробираются изъ всѣхъ комнатъ въ залу. На полу ковры, и шаги безшумны, но торжественность случая заставляетъ инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбѣ руками. Въ залѣ уже все готово. Отецъ Евменій, маленькій старичокъ, въ высокой, полинявшей камилавкѣ, надѣваетъ черныя ризы. Діаконъ Конкордіевъ, красный, какъ ракъ, и уже облаченный, безшумно перелистываетъ требникъ и закладываетъ въ него бумажки. У двери, ведущей въ переднюю, дьячокъ Лука, надувъ широко щеки и выпучивъ глаза, раздуваетъ кадило. Зала постепенно наполняется синеватымъ, прозрачнымъ дымкомъ и запахомъ ладана. Народный учитель Геликонскій, молодой человѣкъ, въ новомъ, мѣшковатомъ сюртукѣ и съ большими усами

на испуганномъ лицѣ, разноситъ на мельхіоровомъ подносѣ восковыя свѣчи. Хозяйка Любовь Петровна стоитъ впереди около столика съ кутьей и заранѣе прикладываетъ къ лицу платокъ. Кругомъ тишина, изрѣдка прерываемая вздохами. Лица у всѣхъ натянутыя, торжественныя...

Панихида начинается. Изъ кадила струится синій дымокъ и играетъ въ косомъ солнечномъ лучѣ, зажженныя свѣчи слабо потрескиваютъ. Пѣніе, сначала рѣзкое и оглушительное, вскорѣ, когда пѣвчіе мало-по-малу приспособляются къ акустическимъ условіямъ комнатъ, дѣлается тихимъ, стройнымъ... Мотивы все печальные, заунывные... Гости мало-по-малу настраиваются на меланхолическій ладъ и задумываются. Въ головы ихъ лѣзутъ мысли о краткости жизни человѣческой, о бренности, суетѣ мірской... Припоминается покойный Завзятовъ, полный, краснощекій, выпивавшій залпомъ бутылку шампанскаго и разбивавшій лбомъ зеркала. А когда поютъ «Со святыми упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинаютъ тоскливо переминаться съ ноги на ногу. У болѣе чувствительныхъ начинаетъ почесываться въ горлѣ и около вѣкъ. Предсѣдатель земской управы Мароуткинъ, желая заглушить непріятное чувство, нагибается къ уху исправника и шепчетъ:

— Вчера я былъ у Ивана Ѳедорыча... Съ Петромъ Петровичемъ большой шлемъ на безъ козыряхъ взяли... Ей-Богу... Ольга Андреевна до того взбѣленилась, что у нея изо рта искусственный зубъ выпалъ.

Но вотъ поется «Вѣчная память». Геликонскій почтительно отбираетъ свѣчи, и панихида кончается. За симъ слѣдуетъ минутная суматоха, перемѣна ризъ и молебенъ. Послѣ молебна, пока отецъ Евменій разоблачается, гости потираютъ руки и кашляютъ, а хозяйка разсказываетъ о добротѣ покойнаго Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчиваетъ она свой разсказъ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать другъ другу на ноги, спѣшатъ въ столовую... Тутъ ожидаетъ ихъ завтракъ. Этотъ завтракъ до того роскошенъ, что дьяконъ Конкордіевъ ежегодно, при взглядѣ на него, считаетъ своею обязанностью развести руками, покачать въ изумленіи головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отецъ Евменій, не столько похоже на пищу человѣковъ, сколько на жертвы, приносимыя богамъ.

Завтракъ, дѣйствительно, необыкновененъ. На столѣ есть все, что только могутъ дать флора и фауна, сверхъестественнаго же въ немъ развѣ только одно: на столѣ есть все, кромѣ... спиртныхъ напитковъ. Любовь Петровна дала обѣтъ не держать въ домѣ картъ и спиртныхъ напитковъ— двухъ вещей, погубившихъ ея мужа. И на столѣ стоятъ только бутылки съ уксусомъ и масломъ, словно на смѣхъ и въ наказаніе завтракающимъ, всплошную состоящимъ изъ отчаянныхъ пропойцъ и выпивохъ.

— Кушайте, господа!—приглашаетъ предводительша.— Только, извините, водки у меня нѣтъ... Не держу...

Гости приближаются къ столу и нерѣшительно приступаютъ къ пирогу. Но ѣда не клеится. Въ тыканьи вилками, въ рѣзаньи, въ жеваніи видна какая-то лѣнь, апатія... Видимо чего-то не хватаетъ.

— Чувствую, словно потерялъ что-то...—шепчетъ одинъ мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена съ инженеромъ бѣжала... Не могу ѣсть!

Мароуткинъ, прежде чѣмъ начать ѣсть, долго роется въ карманахъ и ищетъ носовой платокъ.

— Да вѣдь платокъ въ шубѣ! А я-то ищу, — вспоминаетъ онъ громогласно и идетъ въ переднюю, гдѣ повѣшены шубы.

Изъ передней возвращается онъ съ масляными глазками и тотчасъ же аппетитно набрасывается на пирогъ.

— Что, небось, противно въ сухомятку трескать?—шепчетъ онъ отцу Евменію.—Ступай, батя, въ переднюю, тамъ у меня въ шубѣ бутылка есть... Только смотри, поосторожнѣй, бутылкой не звякни!

Отецъ Евменій вспоминаетъ, что ему нужно приказать что-то Лукѣ, и сѣменитъ въ переднюю.

— Батюшка! два слова... по секрету! — догоняетъ его Дворнягинъ.

— А какую я себѣ шубу купилъ, господа, по случаю!— хвастаетъ Хрумовъ. — Стоитъ тысячу, а я далъ... вы не повѣрите... двѣсти пятьдесятъ! Только!

Во всякое другое время гости встрѣтили бы это извѣстіе равнодушно, но теперь они выражаютъ удивленіе и

не вѣрятъ. Въ концѣ-концовъ, всѣ валятъ толпой въ переднюю глядѣть на шубу и глядятъ до тѣхъ поръ, пока докторскій Микешка не выноситъ тайкомъ изъ передней пять пустыхъ бутылокъ... Когда подаютъ разварного осетра, Мароуткинъ вспоминаетъ, что онъ забылъ свой портсигаръ въ саняхъ, и идетъ въ конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, онъ беретъ съ собою дьякона, которому кстати же нужно поглядѣть на лошадь...

Вечеромъ того же дня Любовь Петровна сидитъ у себя въ кабинетѣ и пишетъ старинной петербургской подругѣ письмо:

«Сегодня, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, — пишетъ она, между прочимъ, — у меня была панихида по покойномъ. Были на панихидѣ всѣ мои сосѣди. Народъ грубый, простой, но какія сердца! Угостила я ихъ на славу, но, конечно, какъ и въ тѣ годы, горячихъ напитковъ— ни капли. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ умеръ отъ излишества, я дала себѣ клятву водворить въ нашемъ уѣздѣ трезвость и этимъ самымъ искупить его грѣхи. Проповѣдь трезвости я начала со своего дома. Отецъ Евменій въ восторгѣ отъ моей задачи и помогаетъ мнѣ словомъ и дѣломъ. Ахъ, ma chére, если бъ ты знала, какъ любятъ меня мои медвѣди! Предсѣдатель земской управы Мароуткинъ послѣ завтрака припалъ къ моей рукѣ, долго держалъ ее у своихъ губъ и, смѣшно замотавъ головой, заплакалъ: много чувства, но нѣтъ словъ! Отецъ Евменій, этотъ чудный старикашечка, подсѣлъ ко мнѣ и, слезливо глядя на меня, лепеталъ долго что-то, какъ дитя. Я не поняла его словъ, но понять искреннее чувство я умѣю. Исправникъ, тотъ красивый мужчина, о которомъ я тебѣ писала, сталъ передо мной на колѣни, хотѣлъ прочесть стихи своего сочиненія (онъ у насъ поэтъ), но... не хватило силъ... покачнулся и упалъ... Съ великаномъ сдѣлалась истерика... Можешь представить мой восторгъ! Не обошлось, впрочемъ, и безъ непріятностей. Бѣдный предсѣдатель мирового съѣзда Алалыкинъ, человѣкъ полный и апоплексическій, почувствовалъ себя дурно и пролежалъ на диванѣ въ безсознательномъ состояніи два часа. Пришлось отливать его водой... Спасибо доктору Дворнягину: принесъ изъ своей аптеки бутылку коньяку и помочилъ ему виски, отчего тотъ скоро пришелъ въ себя и былъ увезенъ...»

ПѢВЧІЕ.

Съ легкой руки мирового, получившаго письмо изъ Питера, разнеслись слухи, что скоро въ Ефремово прибудетъ баринъ, графъ Владиміръ Иванычъ. Когда онъ прибудетъ,— неизвѣстно.

— Яко тать въ нощи,—говоритъ отецъ Кузьма, маленькій, сѣденькій попикъ въ лиловой ряскѣ.— А ежели онъ пріѣдетъ, то и прохода здѣсь не будетъ отъ дворянства и прочаго высшаго сословія. Всѣ сосѣди съѣдутся. Ужъ ты тово... постарайся, Алексѣй Алексѣичъ... Сердечно прошу...

— Мнѣ-то что!—говоритъ Алексѣй Алексѣичъ, хмурясь.— Я свое дѣло сдѣлаю. Лишь бы только мой врагъ ектенію въ тонъ читалъ. А то вѣдь онъ на зло...

— Ну, ну... я умолю дьякона... умолю...

Алексѣй Алексѣичъ состоитъ псаломщикомъ при ефремовской Трехсвятительской церкви. Въ то же время онъ обучаетъ школьныхъ мальчиковъ церковному и свѣтскому пѣнію,—за что получаетъ отъ графской конторы шестьдесятъ рублей въ годъ. Школьные же мальчики за свое обученіе обязаны пѣть въ церкви. Алексѣй Алексѣичъ, высокій, плотный мужчина съ солидною походкой и бритымъ, жирнымъ лицомъ, похожимъ на коровье вымя. Своею статностью и двухъэтажнымъ подбородкомъ онъ болѣе похожъ на человѣка, занимающаго не послѣднюю ступень въ высшей свѣтской іерархіи, чѣмъ на дьячка. Странно было глядѣть, какъ онъ, статный и солидный, бухалъ владыкѣ земные поклоны и какъ однажды, послѣ одной слишкомъ громкой распри съ дьякономъ Евлампіемъ Авдіесовымъ, стоялъ два часа на колѣняхъ, по приказу отца благочиннаго. Велиніе болѣе прилично его фигурѣ, чѣмъ униженіе.

Въ виду слуховъ о пріѣздѣ графа, онъ дѣлаетъ спѣвки каждый день утромъ и вечеромъ. Спѣвки производятся въ

школѣ. Школьнымъ занятіямъ онѣ мало мѣшаютъ. Во время пѣнія, учитель Сергѣй Макарычъ задаетъ ученикамъ чистописаніе и самъ присоединяется къ тенорамъ, какъ любитель.

Вотъ какъ производятся спѣвки. Въ классную комнату, хлопая дверью, входитъ сморкающійся Алексѣй Алексѣичъ. Изъ-за ученическихъ столовъ съ шумомъ выползаютъ дисканты и альты. Со двора, стуча ногами, какъ лошади, входятъ давно уже ожидающіе тенора и басы. Всѣ становятся на свои мѣста. Алексѣй Алексѣичъ вытягивается, дѣлаетъ знакъ, чтобы молчали, и издаетъ камертономъ звукъ.

— То-то-ти-то-томъ... До-ми-соль-до!

— А-а-а-минь!

— Адажьо... адажьо... Еще разъ...

Послѣ «аминь» слѣдуетъ «Господи помилуй» великой ектеніи. Все это давно уже выучено, тысячу разъ пѣто, пережевано и поется только такъ, для проформы. Поется лѣниво, безсознательно. Алексѣй Алексѣичъ покойно машетъ рукой и подпѣваетъ то теноромъ, то басомъ. Все тихо, ничего интереснаго... Но передъ «Херувимской» весь хоръ вдругъ начинаетъ сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регентъ отворачивается отъ хора и съ таинственнымъ выраженіемъ лица начинаетъ настраивать скрипку. Минуты двѣ длятся приготовленія.

— Становитесь. Глядите въ ноты получше... Басы, не напирайте... помягче...

Выбирается «Херувимская» Бортнянскаго, № 7. По данному знаку наступаетъ тишина. Глаза устремляются въ ноты, и дисканты раскрываютъ рты. Алексѣй Алексѣичъ тихо опускаетъ руку.

— Піано... піано... Вѣдь тамъ «піано» написано... Легче, легче!

— ...ві .. и... мы...

Когда нужно пѣть piano, на лицѣ Алексѣя Алексѣича разлита доброта, ласковость, словно онъ хорошую закуску во снѣ видитъ.

— Форте... форте! Напирайте!

И когда нужно пѣть forte, жирное лицо регента выражаетъ сильный испугъ и даже ужасъ.

«Херувимская» поется хорошо, такъ хорошо, что школьники оставляютъ свое чистописаніе и начинаютъ слѣдить

за движеніями Алексѣя Алексѣича. Подъ окнами останавливается народъ. Входитъ въ классъ сторожъ Василій въ фартукѣ, со столовымъ ножомъ въ рукѣ, и заслушивается. Какъ изъ земли вырастаетъ отецъ Кузьма съ озабоченнымъ лицомъ... Послѣ «отложимъ попеченіе» Алексѣй Алексѣичъ вытираетъ со лба потъ и въ волненіи подходитъ къ отцу Кузьмѣ.

— Недоумѣваю, отецъ Кузьма!—говоритъ онъ, пожимая плечами.—Отчего это въ русскомъ народѣ пониманія нѣтъ? Недоумѣваю, накажи меня Богъ! Такой необразованный народъ, что никакъ не разберешь, что у него тамъ въ горлѣ: глотка, или другая какая внутренность? Подавился ты, что ли?—обращается онъ къ басу Геннадію Семичеву, брату кабатчика.

— А что?

— На что у тебя голосъ похожъ? Трещитъ, словно кастрюля. Опять, небось, вчерась трахнулъ за галстукъ? Такъ и есть! Изо рта, какъ изъ кабака... Э-эхъ! Мужикъ, братецъ, ты! Невѣжа ты! Какой же ты пѣвчій, ежели ты съ мужиками въ кабакѣ компанію водишь? Эхъ, ты оселъ, братецъ!

— Грѣхъ, братъ, грѣхъ... — бормочетъ отецъ Кузьма.— Богъ все видитъ... насквозь...

— Оттого ты и пѣнія нисколько не понимаешь, что у тебя въ мысляхъ водка, а не божественное, дуракъ ты этакой.

— Не раздражайся, не раздражайся ..—говоритъ отецъ Кузьма.—Не сердись... Я его умолю.

Отецъ Кузьма подходитъ къ Геннадію Семичеву и начинаетъ его умолять:

— Зачѣмъ же ты? Ты, тово, пойми у себя въ умѣ. Человѣкъ, который поетъ, долженъ себя воздерживать, потому что глотка у него того... нѣжная.

Геннадій чешетъ себѣ шею и косится на окно, точно не къ нему рѣчь.

Послѣ «Херувимской» поютъ «Вѣрую», потомъ «Достойно и праведно», поютъ чувствительно, гладенько — и такъ до «Отче нашъ».

— А по-моему, отецъ Кузьма,—говоритъ регентъ:—простое «Отче нашъ» лучше нотнаго. Его бы и спѣть при графѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ... Пой нотное... Потому графъ въ столицахъ, къ обѣднѣ ходючи, окромѣ нотнаго ничего... Небось, тамъ въ капеллахъ... Тамъ, братъ, еще и не такія ноты!..

Послѣ «Отче нашъ» опять кашель, сморканье и перелистыванье нотъ. Предстоитъ исполнить самое трудное: концертъ. Алексѣй Алексѣичъ изучаетъ двѣ вещи: «Кто Богъ велій» и «Всемірную славу». Что лучше выучатъ, то и будутъ пѣть при графѣ. Во время концерта регентъ входитъ въ азартъ. Выраженіе доброты то и дѣло смѣняется испугомъ. Онъ машетъ руками, шевелитъ пальцами, дергаетъ плечами...

— Форте!—бормочетъ онъ.—Анданте! Разжимайте.. разжимайте! Пой, идолъ! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-томъ... Соль... си... соль, дурья твоя голова! Велій! Басы, ве... ве... лій...

Его смычокъ гуляетъ по головамъ и плечамъ фальшивящихъ дискантовъ и альтовъ. Лѣвая рука то и дѣло хватаетъ за уши маленькихъ пѣвцовъ. Разъ даже, увлекшись, онъ согнутымъ большимъ пальцемъ бьетъ подъ подбородокъ баса Геннадія. Но пѣвчіе не плачутъ и не сердятся на побои: они сознаютъ всю важность исполняемой задачи.

Послѣ концерта проходитъ минута въ молчаніи. Алексѣй Алексѣичъ, вспотѣвшій, красный, изнеможенный, садится на подоконникъ и окидываетъ присутствующихъ мутнымъ, отяжелѣвшимъ, но побѣднымъ взглядомъ. Въ толпѣ слушателей онъ, къ великому своему неудовольствію, усматриваетъ дьякона Авдіесова. Дьяконъ, высокій, плотный мужчина, съ краснымъ, рябымъ лицомъ и съ соломой въ волосахъ, стоитъ, облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.

— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочетъ онъ густымъ басомъ.— Очень нужно грахву твое пѣніе! Ему хоть по нотамъ пой, хоть безъ нотъ... Потому--атеистъ...

Отецъ Кузьма испуганно озирается и шевелитъ пальцами.

— Ну, ну...- шепчетъ онъ.—Молчи, діаконъ. Молю...

Послѣ концерта поютъ «Да исполнятся уста наша», и спѣвка кончается. Пѣвчіе расходятся, чтобы сойтись вечеромъ для новой спѣвки. И такъ каждый день.

Проходитъ мѣсяцъ, другой...

Уже и управляющій получилъ увѣдомленіе о скоромъ пріѣздѣ графа. Но вотъ, наконецъ, съ господскихъ оконъ сни-

маются запыленныя жалюзи, и Ефремово слышитъ звуки разбитаго, разстроеннаго рояля. Отецъ Кузьма чахнетъ и самъ не знаетъ, отчего онъ чахнетъ: отъ восторга ли, отъ испуга ли... Дьяконъ ходитъ и ухмыляется.

Въ ближайшій субботній вечеръ отецъ Кузьма входитъ въ квартиру регента. Лицо его блѣдно, плечи осунулись, блескъ лиловой рясы померкъ.

— Былъ сейчасъ у его сіятельства,—говоритъ онъ, заикаясь, регенту. — Образованный господинъ, съ деликатными понятіями... Но, тово... обидно, братъ... Въ какомъ часу, говорю, ваше сіятельство, прикажете завтра къ литургіи ударить? А они мнѣ: «Когда знаете... Только нельзя ли какъ-нибудь поскорѣе, покороче... безъ пѣвчихъ». Безъ пѣвчихъ! Того, понимаешь... безъ пѣвчихъ...

Алексѣй Алексѣичъ багровѣетъ. Легче ему еще разъ простоять два часа на колѣняхъ, чѣмъ этакія слова слышать! Всю ночь не спитъ онъ. Не такъ обидно ему, что пропали его труды, какъ то, что Авдіесовъ не дастъ ему теперь прохода своими насмѣшками. Авдіесовъ радъ его горю. На другой день всю обѣдню онъ презрительно косится на клиросъ, гдѣ одинъ, какъ перстъ, баситъ Алексѣй Алексѣичъ. Проходя съ кадиломъ мимо клироса, онъ бормочетъ:

— Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахвъ красненькую на хоръ дастъ!

Послѣ обѣдни регентъ, уничтоженный и больной отъ обиды, идетъ домой. У воротъ догоняетъ его красный Авдіесовъ.

— Постой, Алеша, — говоритъ дьяконъ. —Постой, дура, не сердись! Не ты одинъ, и я, братъ, въ накладѣ! Подходитъ сейчасъ послѣ обѣдни къ грахву отецъ Кузьма и спрашиваетъ: «А какого вы понятія о голосѣ діакона, ваше сіятельство? Не правда ли, совершеннѣйшая октава?» А грахвъ-то, знаешь, что выразилъ? Комплиментъ!—«Кричать, говоритъ, всякій можетъ. Не такъ, говоритъ, важенъ въ человѣкѣ голосъ, какъ умъ». Питерскій дока! Атеистъ и есть атеистъ! Пойдемъ, братъ сирота, съ обиды тарарахнемъ точію по единой!

И враги, взявшись подъ руки, идутъ въ ворота...

ПОСЛѢДНЯЯ МОГИКАНША.

Я и помѣщикъ отставной штабъ-ротмистръ Докукинъ, у котораго я гостилъ весною, сидѣли въ одно прекрасное весеннее утро въ бабушкиныхъ креслахъ и лѣниво глядѣли въ окно. Скука была ужасная.

— Тьфу!—бормоталъ Докукинъ. — Такая тоска, что судебному приставу радъ будешь!

«Спать улечься, что ли?»—думалъ я.

И думали мы на тему о скукѣ долго, очень долго, до тѣхъ поръ, пока сквозь давно немытыя, отливавшія радугой оконныя стекла не замѣтили маленькой перемѣны, происшедшей въ круговоротѣ вселенной: пѣтухъ, стоявшій около воротъ на кучѣ прошлогодней листвы и поднимавшій то одну ногу, то другую (ему хотѣлось поднять обѣ ноги разомъ), вдругъ встрепенулся и, какъ ужаленный, бросился отъ воротъ въ сторону.

— Кто-то идетъ, или ѣдетъ... — улыбнулся Докукинъ.— Хоть бы гостей нелегкая принесла. Все-таки повеселѣе бы...

Пѣтухъ не обманулъ насъ. Въ воротахъ показалась сначала лошадиная голова съ зеленой дугой, затѣмъ цѣлая лошадь и, наконецъ, темная, тяжелая бричка съ большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда послѣдній собирается летѣть. Бричка въѣхала во дворъ, неуклюже повернула налѣво и съ визгомъ и тарахтѣньемъ покатила къ конюшнѣ. Въ ней сидѣли двѣ человѣческія фигуры: одна женская, другая, поменьше—мужская.

— Чортъ возьми...—пробормоталъ Докукинъ, глядя на меня испуганными глазами и почесывая високъ.—Не было

печали, такъ вотъ черти накачали. Недаромъ я сегодня во снѣ печь видѣлъ.

— А что? Кто это пріѣхалъ?

— Сестрица съ мужемъ, чтобъ ихъ...

Докукинъ поднялся и нервно прошелся по комнатѣ.

— Даже подъ сердцемъ похолодѣло...—проворчалъ онъ.— Грѣшно не имѣть къ родной сестрѣ родственныхъ чувствъ, но—вѣрите ли?—легче мнѣ съ разбойничьимъ атаманомъ въ лѣсу встрѣтиться, чѣмъ съ нею. Не спрятаться ли намъ? Пусть Тимошка совретъ, что мы на съѣздъ уѣхали.

Докукинъ сталъ громко звать Тимошку. Но поздно было лгать и прятаться. Черезъ минуту въ передней послышалось шушуканье: женскій басъ шептался съ мужскимъ теноркомъ.

— Поправь мнѣ внизу оборку!—говорилъ женскій басъ.— Опять ты не тѣ брюки надѣлъ!

— Синія брюки вы дяденькѣ Василію Антипычу отдали-съ, а пестрыя приказали мнѣ до зимы спрятать,—оправдывался тенорокъ.—Шаль за вами нести, или тутъ прикажете оставить?

Дверь наконецъ отворилась, и въ комнату вошла дама лѣтъ сорока, высокая, полная, разсыпчатая, въ шелковомъ голубомъ платьѣ. На ея краснощекомъ, весноватомъ лицѣ было написано столько тупой важности, что я сразу какъ-то почувствовалъ, почему ее такъ не любитъ Докукинъ. Вслѣдъ за полной дамой сѣменилъ маленькій, худенькій человѣчекъ, въ пестромъ сюртучкѣ, широкихъ панталонахъ и бархатной жилеткѣ,—узкоплечій, бритый, съ краснымъ носикомъ. На его жилеткѣ болталась золотая цѣпочка, похожая на цѣпь отъ лампадки. Въ его одеждѣ, движеніяхъ, носикѣ, во всей его нескладной фигурѣ сквозило что-то рабски-приниженное, пришибленное... Барыня вошла и, какъ бы не замѣчая насъ, направилась къ иконамъ и стала креститься.

— Крестись!—обернулась она къ мужу.

Человѣчекъ съ краснымъ носикомъ вздрогнулъ и началъ креститься.

— Здравствуй, сестра! — сказалъ Докукинъ, обращаясь къ дамѣ, когда та кончила молиться, и вздохнулъ.

Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы къ губамъ Докукина.

Человѣчекъ тоже полѣзъ цѣловаться.

— Позвольте представить... Моя сестра Олимпіада Егоровна Хлыкина... Ея мужъ Досиѳей Андреичъ. А это мой хорошій знакомый...

— Очень рада,—сказала протяжно Олимпіада Егоровна, не подавая мнѣ руки.—Очень рада...

Мы сѣли и минуту помолчали.

— Чай, не ждалъ гостей?—начала Олимпіада Егоровна, обращаясь къ Докукину.—Я и сама не думала быть у тебя, братецъ, да вотъ къ предводителю ѣду, такъ мимоѣздомъ...

— А зачѣмъ къ предводителю ѣдешь?—спросилъ Докукинъ.

— Зачѣмъ? Да вотъ на него жаловаться!—кивнула дама на своего мужа.

Досиѳей Андреичъ потупилъ глазки, поджалъ ноги подъ стулъ и конфузливо кашлянулъ въ кулакъ.

— За что же на него жаловаться?

Олимпіада Егоровна вздохнула.

— Званіе свое забываетъ!—сказала она.—Что жъ? Жалилась я и тебѣ, братецъ, и его родителямъ, и къ отцу Григорію его возила, чтобъ наставленіе ему прочелъ, и сама всякія мѣры принимала, ничего же не вышло! Поневолѣ приходится господина предводителя безпокоить...

— Но что же онъ сдѣлалъ такое?

— Ничего не сдѣлалъ, а званія своего не помнитъ! Онъ, положимъ, не пьющій, смиренный, уважительный, но что съ того толку, ежели онъ не помнитъ своего званія! Погляди-ка, сгорбившись сидитъ, словно проситель какой, или разночинецъ. Нешто дворяне такъ сидятъ? Сиди, какъ слѣдуетъ! Слышишь?

Досиѳей Андреичъ вытянулъ шею, поднялъ вверхъ подбородокъ, вѣроятно для того, чтобы сѣсть, какъ слѣдуетъ, и пугливо, исподлобья поглядѣлъ на жену. Такъ глядятъ маленькія дѣти, когда бываютъ виноваты. Видя, что разговоръ принимаетъ характеръ интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина замѣтила мое движеніе.

— Ничего, сидите!—остановила она меня. — Молодымъ людямъ полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше васъ пожили. Дай Богъ всѣмъ такъ пожить, какъ мы жили... А мы, братецъ, ужъ у васъ и пообѣдаемъ заодно,—повернулась Хлыкина къ брату.—Но, небось, сегодня у васъ скоромное готовили. Чай, ты и не помнишь, что

нынче среда...—Она вздохнула.—Намъ ужъ прикажи постное изготовить. Скоромнаго мы ѣсть не станемъ, это какъ тебѣ угодно, братецъ.

Докукинъ позвалъ Тимошку и заказалъ постный обѣдъ.

— Пообѣдаемъ и къ предводителю...—продолжала Хлыкина.—Буду его молить, чтобъ онъ обратилъ вниманіе. Его дѣло глядѣть, чтобъ дворяне съ панталыку не сбивались...

— Да нешто Досиѳей сбился?—спросилъ Докукинъ.

— Словно ты въ первый разъ слышишь,—нахмурилась Хлыкина.—И то, правду сказать, тебѣ все равно... Ты-то и самъ не слишкомъ свое званіе помнишь... А вотъ мы господина молодого человѣка спросимъ. Молодой человѣкъ,—обратилась она ко мнѣ:—по вашему это хорошо, ежели благородный человѣкъ со всякою шушвалью компанію водитъ?

— Смотря съ кѣмъ...—замялся я.

— Да хоть бы съ купцомъ Гусевымъ. Я этого Гусева и къ порогу не допускаю, а онъ съ нимъ въ шашки играетъ да закусывать къ нему ходитъ. Нешто прилично ему съ писаремъ на охоту ходить? О чемъ онъ можетъ съ писаремъ разговаривать? Писарь не только что разговаривать, пискнуть при немъ не смѣй,—ежели желаете знать, милостивый государь!

— Характеръ у меня слабый...—пролепеталъ Досиѳей Андреичъ.

— А вотъ я покажу тебѣ характеръ!—погрозила ему жена, сердито стуча перстнемъ о спинку стула.—Я не дозволю тебѣ нашу фамилію конфузить! Хоть ты и мужъ мнѣ, а я тебя осрамлю! Ты долженъ понимать! Я тебя въ люди вывела! Ихній родъ Хлыкиныхъ, сударь, захудалый родъ, и ежели я, Докукина урожденная, вышла за него, такъ онъ это цѣнить долженъ и чувствовать! Онъ мнѣ, сударь, не дешево стоитъ, ежели желаете знать! Что мнѣ стоило его на службу опредѣлить! Спросите-ка у него! Ежели желаете знать, такъ мнѣ одинъ только его экзаменъ на первый чинъ триста рубликовъ стоилъ! А изъ-за чего хлопочу? Ты думаешь, тетеря, я изъ-за тебя хлопочу? Не думай! Мнѣ фамилія рода нашего дорога! Ежели бъ не фамилія, такъ ты у меня давно бы на кухнѣ сгнилъ, ежели желаешь знать!

Бѣдный Досиѳей Андреичъ слушалъ, молчалъ и только пожимался, не знаю отчего—отъ страха, или срама. И за обѣдомъ не оставляла его въ покоѣ строгая супруга. Она во

спускала съ него глазъ и слѣдила за каждымъ его движеніемъ.

— Посоли себѣ супъ! Не такъ ложку держишь! Отодвинь отъ себя салатникъ, а то рукавомъ зацѣпишь! Не мигай глазами!

А онъ торопливо ѣлъ и ежился подъ ея взглядомъ, какъ кроликъ подъ взглядомъ удава. Ѣлъ онъ съ женой постное и то и дѣло взглядывалъ съ вожделѣніемъ на наши котлетки.

— Молись!—сказала ему жена послѣ обѣда.—Благодари братца.

Пообѣдавъ, Хлыкина пошла въ спальню отдохнуть. По уходѣ ея Докукинъ схватилъ себя за волосы и заходилъ по комнатѣ.

— Ну, да и несчастный же ты, братецъ, человѣкъ! — сказалъ онъ Досиѳею, тяжело переводя духъ.—Я часъ посидѣлъ съ ней—замучился; каково же тебѣ-то съ ней дни и ночи... ахъ! Мученикъ ты, мученикъ несчастный! Младенецъ ты виѳлеемскій, Иродомъ убіенный!

Досиѳей замигалъ глазками и проговорилъ:

— Строги они, это дѣйствительно-съ, но долженъ я за нихъ денно и нощно Бога молить, потому — кромѣ благодѣяній и любви я отъ нихъ ничего не вижу.

— Пропащій человѣкъ! — махнулъ рукой Докукинъ.—А когда-то рѣчи въ собраніяхъ говорилъ, новую сѣялку изобрѣталъ! Заѣздила вѣдьма человѣка! Эххъ!

— Досиѳей! — послышался женскій басъ. — Гдѣ же ты? Поди сюда, мухъ отъ меня отгоняй!

Досиѳей Андреичъ вздрогнулъ и на цыпочкахъ побѣжалъ въ спальню...

— Тьфу!—плюнулъ ему вслѣдъ Докукинъ.

БЕЗЗАКОНІЕ.

Совершая свою вечернюю прогулку, коллежскій асессоръ Мигуевъ остановился около телеграфнаго столба и глубоко вздохнулъ. Недѣлю тому назадъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, когда онъ вечеромъ возвращался съ прогулки къ себѣ домой, его догнала бывшая его горничная Агнія и сказала со злобой:

— Ужо, погоди! Такого тебѣ рака испеку, что будешь знать, какъ невинныхъ дѣвушекъ губить! И младенца тебѣ подкину, и въ судъ пойду, и женѣ твоей объясню...

И она потребовала, чтобы онъ положилъ въ банкъ на ея имя пять тысячъ рублей. Мигуевъ вспомнилъ это, вздохнулъ и еще разъ съ душевнымъ раскаяніемъ упрекнулъ себя за минутное увлеченіе, доставившее ему такую массу хлопотъ и страданій.

Дойдя до своей дачи, Мигуевъ сѣлъ на крылечко отдохнуть. Было ровно десять часовъ, и изъ-за облаковъ выглядывалъ кусочекъ луны. На улицѣ и возлѣ дачъ не было ни души: старые дачники уже ложились спать, а молодые гуляли въ рощѣ. Ища въ обоихъ карманахъ спичку, чтобы закурить папиросу, Мигуевъ толкнулся локтемъ обо что-то мягкое; отъ нечего-дѣлать онъ взглянулъ подъ свой правый локоть, и вдругъ лицо его перекосило такимъ ужасомъ, какъ будто онъ увидѣлъ возлѣ себя змѣю. На крылечкѣ, у самой двери, лежалъ какой-то узелъ. Что-то продолговатое было завернуто во что-то, судя на-ощупь, похожее на стеганое одѣяльце. Одинъ конецъ узла былъ слегка открытъ, и коллежскій асессоръ, сунувъ въ него руку, осязалъ что-

то теплое и влажное. Въ ужасѣ вскочилъ онъ на ноги и оглядѣлся, какъ преступникъ, собирающійся бѣжать отъ стражи...

— Подкинула-таки! — со злобой процѣдилъ онъ сквозь зубы, сжимая кулаки.—Вотъ оно лежитъ... лежитъ беззаконіе! О, Господи!

Отъ страха, злобы и стыда онъ оцѣпенѣлъ... Что теперь дѣлать? Что скажетъ жена, если узнаетъ? Что скажутъ сослуживцы? Его превосходительство навѣрное похлопаетъ его теперь по животу, фыркнетъ и скажетъ:—«Поздравляю... Хе-хе-хе... Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро... шалунъ, Семенъ Эрастовичъ!» Весь дачный поселокъ узнаетъ теперь его тайну и, пожалуй, почтенныя матери семействъ откажутъ ему отъ дому. О подкидышахъ печатаютъ во всѣхъ газетахъ, и такимъ образомъ смиренное имя Мигуева пронесется по всей Россіи...

Среднее окно дачи было открыто, и явственно слышалось изъ него, какъ Анна Филипповна, жена Мигуева, собирала столъ къ ужину; во дворѣ, сейчасъ же за воротами, дворникъ Ермолай жалобно побренкивалъ на балалайкѣ... Стоило младенцу только проснуться и запищать, и тайна была бы обнаружена. Мигуевъ почувствовалъ непреодолимое желаніе торопиться.

— Скорѣе, скорѣе...—бормоталъ онъ.—Сію минуту, пока никто не видитъ. Занесу его куда-нибудь, положу на чужое крыльцо...

Мигуевъ взялъ въ одну руку узелъ и тихо, мѣрнымъ шагомъ, чтобы не казаться подозрительнымъ, пошелъ по улицѣ...

«Удивительно мерзкое положеніе,—думалъ онъ, стараясь придать себѣ равнодушный видъ.—Коллежскій асессоръ съ младенцемъ идетъ по улицѣ! О, Господи, ежели кто увидитъ и пойметъ, въ чемъ дѣло, я погибъ... Положу-ка я его на это крыльцо... Нѣтъ, постой, тутъ окна открыты и, можетъ-быть, глядитъ кто-нибудь. Куда бы его? Ага, вотъ что, снесу-ка я его на дачу купца Мѣлкина... Купцы народъ богатый и сердобольный; можетъ-быть, еще спасибо скажутъ и на воспитаніе его къ себѣ возьмутъ».

И Мигуевъ рѣшилъ снести младенца непремѣнно къ Мѣлкину, хотя купеческая дача находилась на крайней улицѣ дачнаго поселка, у самой рѣки.

«Только бы онъ у меня не разревѣлся и не вывалился изъ узла,—думалъ коллежскій асессоръ.—Вотъ ужъ именно: благодарю—не ожидалъ! Подъ мышкой несу живого человѣка, словно портфель. Человѣкъ живой, съ душой, съ чувствами, какъ и всѣ... Ежели, чего добраго, Мѣлкины возьмутъ его на воспитаніе, то, пожалуй, изъ него выйдетъ какой-нибудь этакій... Пожалуй, выйдетъ изъ него какой-нибудь профессоръ, полководецъ, писатель... Вѣдь все бываетъ на свѣтѣ! Теперь я несу его подъ мышкой, какъ дрянь какую-нибудь, а лѣтъ черезъ 30—40, пожалуй, придется передъ нимъ на вытяжку стоять...»

Когда Мигуевъ проходилъ узкимъ, пустыннымъ переулочкомъ мимо длинныхъ заборовъ подъ густою, черною тѣнью липъ, ему вдругъ стало казаться, что онъ дѣлаетъ что-то очень жестокое и преступное.

«А вѣдь какъ это, въ сущности, подло!—думалъ онъ.—Такъ подло, что подлѣе и придумать ничего нельзя... Ну, за что мы несчастнаго младенца швыряемъ съ крыльца на крыльцо? Развѣ онъ виноватъ, что родился? И что онъ намъ худого сдѣлалъ? Подлецы мы... Любимъ кататься на саночкахъ, а возить саночки приходится невиннымъ дѣточкамъ... Вѣдь только вдуматься нужно во всю эту музыку! Я безпутничалъ, а вѣдь ребеночка ожидаетъ лютая судьба... Подброшу я его Мѣлкинымъ, Мѣлкины пошлютъ его въ воспитательный домъ, а тамъ все чужіе, все по-казенному... ни ласкъ, ни любви, ни баловства... Отдадутъ его потомъ въ сапожники... сопьется, научится сквернословить, будетъ околѣвать съ голоду... Въ сапожники, а вѣдь онъ сынъ коллежскаго асессора, благородной крови... Онъ плоть и кровь моя...»

Мигуевъ изъ тѣни липъ вышелъ на дорогу, залитую луннымъ свѣтомъ, и, развернувъ узелъ, поглядѣлъ на младенца.

— Спитъ,—прошепталъ онъ.—Ишь ты, носъ у подлеца съ горбинкой, отцовскій... Спитъ и не чувствуетъ, что на него глядитъ родной отецъ... Драма, братъ... Ну, что жъ, извини... Прости, братъ... Такъ ужъ тебѣ, значитъ, на роду написано...

Коллежскій асессоръ заморгалъ глазами и почувствовалъ, что по его щекамъ ползетъ что-то въ родѣ мурашекъ... Онъ завернулъ младенца, взялъ его подъ мышку и зашагалъ

дальше. Всю дорогу, до самой дачи Мѣлкина, въ его головѣ толпились соціальные вопросы, а въ груди царапала совѣсть.

«Будь я путевымъ, честнымъ человѣкомъ,—думалъ онъ:— наплевалъ бы я на все, пошелъ бы съ этимъ младенчикомъ къ Аннѣ Филипповнѣ, сталъ бы передъ ней на колѣнки и сказалъ: «Прости! Грѣшенъ! Терзай меня, но невиннаго младенца губить не будемъ. Дѣточекъ у насъ нѣтъ; возьмемъ его къ себѣ на воспитаніе!» Она добрая баба, согласилась бы... И было бы тогда мое дитя при мнѣ... Эхъ!»

Онъ подошелъ къ дачѣ Мѣлкина и остановился въ нерѣшимости... Ему представлялось, какъ онъ сидитъ у себя въ залѣ и читаетъ газету, а возлѣ него трется мальчишка съ горбатымъ носомъ и играетъ кистями его халата; въ то же время въ воображеніе лѣзли подмигивающіе сослуживцы и его превосходительство, фыркающее, хлопающее по животу... Въ душѣ же, рядомъ съ царапающею совѣстью, сидѣло что-то нѣжное, теплое, грустное...

Коллежскій асессоръ осторожно положилъ младенца на ступень террасы и махнулъ рукой. Опять по его лицу сверху внизъ поползли мурашки...

— Прости, братъ, меня, подлеца!—пробормоталъ онъ.— Не поминай лихомъ!

Онъ сдѣлалъ шагъ назадъ, но тотчасъ же рѣшительно крякнулъ и сказалъ:

— Э, была не была! Плевать я на все хотѣлъ! Возьму его, и пускай люди говорятъ, что хотятъ!

Мигуевъ взялъ младенца и быстро зашагалъ назадъ.

«Пускай говорятъ, что хотятъ, — думалъ онъ. — Пойду сейчасъ, стану на колѣнки и скажу: «Анна Филипповна!» Она баба добрая, пойметъ... И будемъ мы воспитывать... Ежели онъ мальчикъ, то назовемъ—Владиміръ, а ежели онъ дѣвочка, то Анной... По крайности въ старости будетъ утѣшеніе...

И онъ сдѣлалъ такъ, какъ рѣшилъ. Плача, замирая отъ страха и стыда, полный надеждъ и неопредѣленнаго восторга, онъ вошелъ въ свою дачу, направился къ женѣ и сталъ передъ ней на колѣни...

— Анна Филипповна!—сказалъ онъ, всхлипывая и кладя младенца на полъ.—Не вели казнить, вели слово вымолвить...

Грѣшенъ! Это мое дитя... Ты Агнюшку помнишь, такъ вотъ... нечистый попуталъ...

И не помня себя отъ стыда и страха, не дожидаясь отвѣта, онъ вскочилъ и, какъ высѣченный, побѣжалъ на чистый воздухъ...

«Буду здѣсь на дворѣ, пока она не позоветъ меня,—думалъ онъ.—Дамъ ей придти въ чувство и одуматься...»

Дворникъ Ермолай съ балалайкой прошелъ мимо, взглянулъ на него и пожалъ плечами... Черезъ минуту онъ опять прошелъ мимо и опять пожалъ плечами.

— Вотъ исторія, скажи на милость,—пробормоталъ онъ, усмѣхаясь.—Приходила сейчасъ, Семенъ Эрастычъ, сюда баба, прачка Аксинья. Положила, дура, своего ребенка на крыльцѣ, на улицѣ, и покуда тутъ у меня сидѣла, кто-то взялъ да и унесъ ребенка... Вотъ оказія!

— Что? Что ты говоришь?—крикнулъ во все горло Мигуевъ.

Ермолай, по-своему объяснившій гнѣвъ барина, почесалъ затылокъ и вздохнулъ.

— Извините, Семенъ Эрастычъ,—сказалъ онъ:—но таперича время дачное... безъ эстого нельзя... безъ бабы, то-есть...

И взглянувъ на вытаращенные, злобно удивленные глаза барина, онъ виновато крякнулъ и продолжалъ:

— Оно, конечно, грѣхъ, да вѣдь что подѣлаешь... Вы не приказывали во дворъ чужихъ бабъ пущать, оно точно, да вѣдь гдѣ жъ своихъ-то взять. Прежде, когда жила Агнюшка, не пускалъ чужихъ, потому—своя была, а теперя, сами изволите видѣть... безъ чужихъ не обойдешься... И при Агнюшкѣ, это точно, безпорядковъ не было, потому...

— Пошелъ вонъ, мерзавецъ!—крикнулъ на него Мигуевъ, затопалъ ногами и пошелъ назадъ въ комнаты.

Анна Филипповна, удивленная и разгнѣванная, сидѣла на прежнемъ мѣстѣ и не спускала заплаканныхъ глазъ съ младенца...

— Ну, ну...—забормоталъ блѣдный Мигуевъ, кривя ротъ улыбкой.—Я пошутилъ... Это не мой, а... а прачки Аксиньи. Я... я пошутилъ... Снеси его дворнику.

АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ.

Благородный отецъ и простакъ Щипцовъ, высокій, плотный старикъ, славившійся не столько сценическими дарованіями, сколько своей необычайной физической силой, «въ дрызгъ» поругался во время спектакля съ антрепренеромъ и въ самый разгаръ руготни вдругъ почувствовалъ, что у него въ груди что-то оборвалось. Антрепренеръ Жуковъ обыкновенно въ концѣ каждаго горячаго объясненія начиналъ истерически хохотать и падать въ обморокъ, но Щипцовъ на сей разъ не сталъ дожидаться такого конца и поспѣшилъ во-свояси. Брань и ощущеніе разрыва въ груди такъ взволновали его, что, уходя изъ театра, онъ забылъ смыть съ лица гримъ и только сорвалъ бороду.

Придя къ себѣ въ номеръ, Щипцовъ долго шагалъ изъ угла въ уголъ, потомъ сѣлъ на кровать, подперъ голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издавъ ни одного звука, просидѣлъ онъ такимъ образомъ до двухъ часовъ другого дня, когда въ его номеръ вошелъ комикъ Сигаевъ.

— Ты что же это, Шутъ Ивановичъ, на репетицію не приходилъ? — набросился на него комикъ, пересиливая одышку и наполняя номеръ запахомъ виннаго перегара.— Гдѣ ты былъ?

Щипцовъ ничего не отвѣтилъ и только взглянулъ на комика мутными, подкрашенными глазами.

— Хоть бы рожу-то вымылъ! — продолжалъ Сигаевъ.— Стыдно глядѣть! Ты натрескался, или... боленъ, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты боленъ?

Щипцовъ молчалъ. Какъ ни была опачкана его физіономія, но комикъ, вглядѣвшись попристальнѣе, не могъ не замѣтить поразительной блѣдности, пота и дрожанія губъ. Руки и ноги тоже дрожали, да и все громадное тѣло верзилы-простака казалось помятымъ, приплюснутымъ. Комикъ быстро оглядѣлъ номеръ, но не увидѣлъ ни штофовъ, ни бутылокъ, ни другой какой-либо подозрительной посуды.

— Знаешь, Мишутка, а вѣдь ты боленъ! — встревожился онъ.—Накажи меня Богъ, ты боленъ! На тебѣ лица нѣтъ!

Щипцовъ молчалъ и уныло глядѣлъ въ полъ.

— Это ты простудился!—продолжалъ Сигаевъ, беря его за руку.—Ишь какія руки горячія! Что у тебя болитъ?

— До... домой хочу,—пробормоталъ Щипцовъ.

— А ты нешто сейчасъ не дома?

— Нѣтъ... въ Вязьму...

— Эва, куда захотѣлъ! До твоей Вязьмы и въ три года не доскачешь... Что, къ папашенькѣ и мамашенькѣ захотѣлось? Чай, давно ужъ они у тебя сгнили, и могилокъ ихъ не сыщешь...

— У меня тамъ ро... родина...

— Ну, нечего, нечего мерлехлюндію распускать. Эта психопатія чувствъ, братъ, послѣднее дѣло... Выздоравливай, да завтра тебѣ нужно въ «Князѣ Серебряномъ» Митьку играть. Больше вѣдь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячаго да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбѣгаю и куплю.

Комикъ пошарилъ у себя въ карманахъ, нашелъ пятіалтынный и побѣжалъ въ аптеку. Черезъ четверть часа онъ вернулся.

— На, пей!—сказалъ онъ, поднося ко рту благороднаго отца склянку. — Пей прямо изъ пузырька... Разомъ! Вотъ такъ... На, теперь гвоздичкой закуси, чтобъ душа этой дрянью не провоняла.

Комикъ посидѣлъ еще немного у больного, потомъ нѣжно поцѣловалъ его и ушелъ. Къ вечеру забѣгалъ къ Щипцову jeune-premier Брама-Глинскій. Даровитый артистъ былъ въ прюнелевыхъ полусапожкахъ, имѣлъ на лѣвой рукѣ перчатку, курилъ сигару и даже издавалъ запахъ геліо-

тропа, но тѣмъ не менѣе, все-таки сильно напоминалъ путешественника, заброшеннаго въ страну, гдѣ нѣтъ ни бань, ни прачекъ, ни портныхъ...

— Ты, я слышалъ, заболѣлъ?—обратился онъ къ Щипцову, перевернувшись на каблукѣ.—Что съ тобой? Ей-Богу, что съ тобой?..

Щипцовъ молчалъ и не шевелился.

— Что же ты молчишь? Дурнота въ головѣ, что ли? Ну, молчи, не стану приставать... молчи...

Брама-Глинскій (такъ онъ зовется по театру, въ паспортѣ же онъ значится Гуськовымъ) отошелъ къ окну, заложилъ руки въ карманы и сталъ глядѣть на улицу. Передъ его глазами разстилалась громадная пустошь, огороженная сѣрымъ заборомъ, вдоль котораго тянулся цѣлый лѣсъ прошлогодняго репейника. За пустошью темнѣла чьято заброшенная фабрика съ наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.

— Домой надо!—услышалъ jeune-premier

— Куда это домой?

— Въ Вязьму... на родину...

— До Вязьмы, братъ, тысяча пятьсотъ верстъ...—вздохнулъ Брама-Глинскій, барабаня по стеклу.—А зачѣмъ тебѣ въ Вязьму?

— Тамъ бы помереть...

— Ну, вотъ еще, выдумалъ! Помереть... Заболѣлъ первый разъ въ жизни и ужъ воображаетъ, что смерть пришла... Нѣтъ, братъ, такого буйвола, какъ ты, никакая холера не проберетъ. До ста лѣтъ проживешь... Что у тебя болитъ?

— Ничего не болитъ, но я... чувствую...

— Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя отъ лишняго здоровья. Силы въ тебѣ бушуютъ. Тебѣ бы теперь дербалызнуть хорошенечко, выпить этакъ, знаешь, чтобъ во всемъ тѣлѣ пертурбація произошла. Пьянство отлично освѣжаетъ... Помнишь, какъ ты въ Ростовѣ-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно! Боченокъ съ виномъ мы съ Сашкой вдвоемъ еле-еле донесли, а ты его одинъ выпилъ, да потомъ еще за ромомъ послалъ... До-

пился до того, что чертей мѣшкомъ ловилъ и газовый фонарь съ корнемъ вырвалъ. Помнишь? Тогда еще ты ходилъ грековъ бить...

Подъ вліяніемъ такихъ пріятныхъ воспоминаній лицо Щипцова нѣсколько прояснилось и глаза заблестѣли.

— А помнишь, какъ я антрепренера Савойкина билъ?— забормоталъ онъ, поднимая голову.—Да что говорить! Билъ я на своемъ вѣку тридцать-трехъ антрепренеровъ, а что меньшей братіи, то и не упомню. И какихъ антрепренеровъ-то билъ! Такихъ, что и вѣтрамъ не позволяли до себя касаться! Двухъ знаменитыхъ писателей билъ, одного художника!

— Что жъ ты плачешь?

— Въ Херсонѣ лошадь кулакомъ убилъ. А въ Таганрогѣ напали разъ на меня ночью жулики, человѣкъ пятнадцать. Я поснималъ съ нихъ шапки, а они идутъ за мной да просятъ: «Дяденька, отдай шапку!» Такія-то дѣла.

— Что жъ ты, дурило, плачешь?

— А теперь шабашъ... чувствую. Въ Вязьму бы ѣхать!

Наступила пауза. Послѣ молчанія Щипцовъ вдругъ вскочилъ и схватился за шапку. Видъ у него былъ разстроенный.

— Прощай! Въ Вязьму ѣду!—проговорилъ онъ, покачиваясь.

— А деньги на дорогу?

— Гм!.. Я пѣшкомъ пойду!

— Ты ошалѣлъ...

Оба взглянули другъ на друга, вѣроятно потому, что у обоихъ мелькнула въ головѣ одна и та же мысль — о необозримыхъ поляхъ, нескончаемыхъ лѣсахъ, болотахъ.

— Нѣтъ, ты, я вижу, спятилъ!—рѣшилъ jeune-premier.— Вотъ что, братъ... Первымъ дѣломъ ложись, потомъ выпей коньяку съ чаемъ, чтобъ въ потъ ударило. Ну, и касторки, конечно. Постой, гдѣ бы коньяку взять?

Брама-Глинскій подумалъ и рѣшилъ сходить къ купчихѣ Цитринниковой, попытать ее насчетъ кредита: авось, баба сжалится — отпуститъ въ долгъ! Jeune-premier отправился и черезъ полчаса вернулся съ бутылкой коньяку и съ касторкой. Щипцовъ попрежнему сидѣлъ неподвижно на кровати, молчалъ и глядѣлъ въ полъ. Предложенную товари-

щемъ касторку онъ выпилъ, какъ автоматъ, безъ участія сознанія. Какъ автоматъ, сидѣлъ онъ потомъ за столомъ и пилъ чай съ коньякомъ: машинально выпилъ всю бутылку и далъ товарищу уложить себя въ постель. Jeune-premier укрылъ его одѣяломъ и пальто, посовѣтовалъ пропотѣть и ушелъ.

Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцовъ не спалъ. Онъ лежалъ неподвижно подъ одѣяломъ и глядѣлъ на темный потолокъ, потомъ, увидѣвъ луну, глядѣвшую въ окно, онъ перевелъ глаза съ потолка на спутника земли и такъ пролежалъ съ открытыми глазами до самаго утра. Утромъ, часовъ въ девять, прибѣжалъ антрепренеръ Жуковъ.

— Что это вы, ангелъ, хворать вздумали?—закудахталъ онъ, морща носъ.—Ай, ай! Нешто при вашей комплекціи можно хворать? Стыдно, стыдно! А я, знаете, испугался! Ну, неужели, думаю, на него нашъ разговоръ подѣйствовалъ? Душенька моя, надѣюсь, что вы не отъ меня заболѣли! Вѣдь и вы меня, тово... И къ тому же между товарищами не можетъ быть безъ этого. Вы меня тамъ и ругали, и... съ кулаками даже лѣзли, а я васъ люблю! Ей-Богу, люблю! Уважаю и люблю! Ну, вотъ объясните, ангелъ, за что я васъ такъ люблю? Не родня вы мнѣ, не сватъ, не жена, а какъ узналъ, что вы прихворнули,— словно кто ножомъ рѣзанулъ.

Жуковъ долго объяснялся въ любви, потомъ полѣзъ цѣловаться и въ концѣ концовъ такъ расчувствовался, что началъ истерически хохотать и хотѣлъ даже упасть въ обморокъ, но, спохватившись вѣроятно, что онъ не у себя дома и не въ театрѣ, отложилъ обморокъ до болѣе удобнаго случая и уѣхалъ.

Вскорѣ послѣ него явился трагикъ Адабашевъ, личность тусклая, подслѣповатая и говорящая въ носъ... Онъ долго глядѣлъ на Щипцова, долго думалъ и вдругъ сдѣлалъ открытіе:

— Знаешь что, Мифа? — спросилъ онъ, произнося въ носъ вмѣсто ш—ф и придавая своему лицу таинственное выраженіе.—Знаешь что?! Тебѣ нужно выпить касторки!!

Щипцовъ молчалъ. Молчалъ онъ и немного погодя, когда трагикъ вливалъ ему въ ротъ противное масло. Часа черезъ два послѣ Адабашева пришелъ въ номеръ театраль-

ный парикмахеръ Евлампій или, какъ называли его почему-то актеры, Риголетто. Онъ тоже, какъ и трагикъ, долго глядѣлъ на Щипцова, потомъ вздохнулъ, какъ паровозъ, и медленно, съ разстановкой началъ развязывать принесенный имъ узелъ. Въ узлѣ было десятка два банокъ и нѣсколько пузырьковъ.

— Послали бъ за мной, и я бъ вамъ давно банки поставилъ!—сказалъ онъ нѣжно, обнажая грудь Щипцова.— Запустить болѣзнь не трудно!

Засимъ Риголетто погладилъ ладонью широкую грудь благороднаго отца и покрылъ ее всю кровососными банками.

— Да-съ...—говорилъ онъ, увязывая послѣ этой операціи свои орудія, обагренныя кровью Щипцова.—Прислали бы за мной, я и пришелъ бы... Насчетъ денегъ безпокоиться нечего... Я изъ жалости... Гдѣ вамъ взять, ежели тотъ идолъ платить не хочетъ? Таперя вотъ извольте капель этихъ принять. Вкусныя капли! А таперя извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вотъ такъ! На здоровье! Ну, а таперя прощайте-съ...

Риголетто взялъ свой узелъ и, довольный, что помогъ ближнему, удалился.

Утромъ слѣдующаго дня комикъ Сигаевъ, зайдя къ Щипцову, засталъ его въ ужаснѣйшемъ состояніи. Онъ лежалъ подъ пальто, тяжело дышалъ и водилъ блуждающими глазами по потолку. Въ рукахъ онъ судорожно мялъ скомканное одѣяло.

— Въ Вязьму! — зашепталъ онъ, увидавъ комика.— Въ Вязьму!

— Вотъ это, братъ, ужъ мнѣ и не нравится! — развелъ руками комикъ. — Вотъ... вотъ... вотъ это, братъ, и нехорошо! Извини, но... даже, братъ, глупо...

— Въ Вязьму надо! Ей-Богу, въ Вязьму!

— Не... не ожидалъ отъ тебя!.. — бормоталъ совсѣмъ растерявшійся комикъ.—Чортъ знаетъ! Чего ради расквасился! Э... э... э... и нехорошо! Верзила. съ каланчу ростомъ, а плачешь. Нешто актеру можно плакать?

— Ни жены, ни дѣтей,—бормоталъ Щипцовъ.—Не идти бы въ актеры, а въ Вязьмѣ жить! Пропала, Семенъ, жизнь! Охъ, въ Вязьму бы!

— Э... э... э... и нехорошо! Вотъ и глупо... подло даже!

Успокоившись и приведя свои чувства въ порядокъ, Сигаевъ сталъ утѣшать Щинцова, врать ему, что товарищи порѣшили его на общій счетъ въ Крымъ отправить и проч., но тотъ не слушалъ и все бормоталъ про Вязьму... Наконецъ, комикъ махнулъ рукой и, чтобы утѣшить больного, самъ сталъ говорить про Вязьму.

— Хорошій городъ!—утѣшалъ онъ. — Отличный, братъ, городъ! Пряниками прославился. Пряники классическіе, но—между нами говоря — того... подгуляли. Послѣ нихъ у меня цѣлую недѣлю потомъ былъ того... Но что тамъ хорошо, такъ это купецъ! Всѣмъ купцамъ купецъ. Ужъ коли угоститъ тебя, такъ угоститъ!

Комикъ говорилъ, а Щинцовъ молчалъ, слушалъ и одобрительно кивалъ головой.

Къ вечеру онъ умеръ.

МЕЛЮЗГА.

«Милостивый государь, отецъ и благодѣтель!»—сочинялъ начерно чиновникъ Невыразимовъ поздравительное письмо. «Желаю какъ сей Свѣтлый день, такъ и многіе предбудущіе провести въ добромъ здравіи и благополучіи. А также и семейству жел...»

Лампа, въ которой керосинъ былъ уже на исходѣ, коптила и воняла гарью. По столу, около пишущей руки Невыразимова, бѣгалъ встревоженно заблудившійся тараканъ. Черезъ двѣ комнаты отъ дежурной швейцаръ Парамонъ чистилъ уже въ третій разъ свои парадные сапоги, и съ такой энергіей, что его плевки и шумъ ваксельной щетки были слышны во всѣхъ комнатахъ.

«Чтобы еще такое ему, подлецу, написать?»—задумался Невыразимовъ, поднимая глаза на закопченный потолокъ.

На потолкѣ увидѣлъ онъ темный кругъ — тѣнь отъ абажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже—стѣны, выкрашенныя во время оно въ сине-бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что сталс жалко не только себя, но даже таракана...

«Я-то отдежурю и выйду отсюда, а онъ весь свой тараканій вѣкъ здѣсь продежуритъ,—подумалъ онъ, потягиваясь.— «Тоска! Сапоги себѣ почистить, что ли?»

И, еще разъ потянувшись, Невыразимовъ лѣниво поплелся въ швейцарскую. Парамонъ уже не чистилъ сапогъ... Держа въ одной рукѣ щетку, а другой крестясь, онъ стоялъ у открытой форточки и слушалъ...

— Звонютъ-съ!—шепнулъ онъ Невыразимову, глядя на

него неподвижными, широко раскрытыми глазами.—Уже-съ!

Невыразимовъ подставилъ ухо къ форточкѣ и прислушался. Въ форточку, вмѣстѣ со свѣжимъ, весеннимъ воздухомъ, рвался въ комнату пасхальный звонъ. Ревъ колоколовъ мѣшался съ шумомъ экипажей, и изъ звукового хаоса выдѣлялся только бойкій, теноровый звонъ ближайшей церкви да чей-то громкій, визгливый смѣхъ.

— Народу-то сколько!—вздохнулъ Невыразимовъ, поглядѣвъ внизъ на улицу, гдѣ около зажженныхъ плошекъ мелькали одна за другой человѣческія тѣни. — Всѣ къ заутренѣ бѣгутъ... Наши-то теперь, небось, выпили и по городу шатаются. Смѣху-то этого сколько, разговору! Одинъ только я несчастный такой, что долженъ здѣсь сидѣть въ этакій день. И каждый годъ мнѣ это приходится!

— А кто вамъ велитъ наниматься? Вѣдь вы не дежурный сегодня, а Заступовъ васъ за себя нанялъ. Какъ людямъ гулять, такъ вы и нанимаетесь... Жадность!

— Какой чортъ, жадность? Не изъ чего и жадничать: всего два рубля денегъ, да галстукъ на придачу... Нужда, а не жадность! А хорошо бы теперь, знаешь, пойти съ компаніей къ заутренѣ, а потомъ разговляться... Выпить бы этакъ, закусить, да и спать завалиться... Сидишь ты за столомъ, свяченый куличъ, а тутъ самоваръ шипитъ и сбоку какая-нибудь этакая обжешка... Рюмочку выпилъ и за подбородочекъ подержалъ, а оно и чувствительно... человѣкомъ себя чувствуешь... Эххъ... пропала жизнь! Вонъ какая-то шельма въ коляскѣ проѣхала, а ты тутъ сиди да мысли думай...

— Всякому свое, Иванъ Данилычъ. Богъ дастъ, и вы дослужитесь, въ колясках ѣздить будете.

— Я-то? Ну, нѣтъ, братъ, шалишь. Мнѣ дальше титулярнаго не пойти, хоть тресни... Я необразованный.

— Нашъ генералъ тоже безъ всякаго образованія, одначе...

— Ну, генералъ, прежде чѣмъ этого достигнуть, сто тысячъ укралъ. И осанка, братъ, у него не та, что у меня... Съ моей осанкой недалеко уйдешь! И фамилія преподлѣйшая: Невыразимовъ! Однимъ словомъ, братъ, положеніе безвыходное. Хочешь—такъ живи, а не хочешь—вѣшайся...

Невыразимовъ отошелъ отъ форточки и въ тоскѣ зашагалъ по комнатамъ. Ревъ колоколовъ становился все сильнѣе и сильнѣе... Чтобы слышать его, не было ужъ надобно-

сти стоять у окна. И чѣмъ явственнѣе слышался звонъ, чѣмъ громче стучали экипажи, тѣмъ темнѣе казались бурыя стѣны и закопченные карнизы, тѣмъ сильнѣе коптила лампа.

«Нешто удрать съ дежурства?»—подумалъ Невыразимовъ.

Но бѣгство это не обѣщало ничего путнаго... Выйдя изъ правленія и пошатавшись по городу, Невыразимовъ отправился бы къ себѣ на квартиру, а на квартирѣ у него было еще сѣрѣе и хуже, чѣмъ въ дежурной комнатѣ... Допустимъ, что этотъ день онъ провелъ бы хорошо, съ комфортомъ, но что же дальше? Все тѣ же сѣрыя стѣны, все тѣ же дежурства по найму и поздравительныя письма...

Невыразимовъ остановился посреди дежурной комнаты и задумался.

Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страстно захотѣлось очутиться вдругъ на улицѣ, слиться съ живой толпой, быть участникомъ торжества, ради котораго ревѣли всѣ эти колокола и гремѣли экипажи. Ему захотѣлось того, что переживалъ онъ когда-то въ дѣтствѣ: семейный кружокъ, торжественныя физіономіи близкихъ, бѣлая скатерть, свѣтъ, тепло... Вспомнилъ онъ коляску, въ которой только-что проѣхала барыня, пальто, въ которомъ щеголяетъ экзекуторъ, золотую цѣпочку, украшающую грудь секретаря... Вспомнилъ теплую постель, Станислава, новые сапоги, вицъ-мундиръ безъ протертыхъ локтей... вспомнилъ потому, что всего этого у него не было...

«Украсть нешто?—подумалъ онъ.—Украсть-то, положимъ, не трудно, но вотъ спрятать-то мудрено... Въ Америку, говорятъ, съ краденымъ бѣгаютъ, а чортъ ее знаетъ, гдѣ эта самая Америка! Для того, чтобы украсть, тоже вѣдь надо образованіе имѣть».

Звонъ утихъ. Слышался только отдаленный шумъ экипажей да кашель Парамона, а грусть и злоба Невыразимова становились все сильнѣй, невыносимѣй. Въ присутствіи часы пробили половину перваго.

«Доносъ написать, что ли? Прошкинъ донесъ и въ гору пошелъ...»

Невыразимовъ сѣлъ за свой столъ и задумался. Лампа, въ которой керосинъ совсѣмъ уже выгорѣлъ, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившійся тараканъ все еще сновалъ по столу и не находилъ пристанища...

«Донести-то можно, да какъ его сочинишь! Надо со всѣми экивоками, съ подходцами, какъ Прошкинъ... А куда мнѣ! Такое сочиню, что мнѣ же потомъ и влетитъ. Безтолочь, чортъ возьми меня совсѣмъ!»

И Невыразимовъ, ломая голову надъ способами, какъ выйти изъ безвыходнаго положенія, уставился на написанное имъ черновое письмо. Письмо это было писано къ человѣку, котораго онъ ненавидѣлъ всей душой и боялся, отъ котораго десять лѣтъ уже добивался перевода съ шестнадцатирублеваго мѣста на восемнадцатирублевое...

— А... бѣгаешь тутъ, чортъ!—хлопнулъ онъ со злобой ладонью по таракану, имѣвшему несчастье попасться ему на глаза.—Гадость этакая!

Тараканъ упалъ на спину и отчаянно замоталъ ногами... Невыразимовъ взялъ его за одну ножку и бросилъ въ стекло. Въ стеклѣ вспыхнуло и затрещало.

И Невыразимову стало легче.

ЗЕРКАЛО.

Подновогодній вечеръ. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помѣщика-генерала, день и ночь мечтающая о замужествѣ, сидитъ у себя въ комнатѣ и утомленными, полузакрытыми глазами глядитъ въ зеркало. Она блѣдна, напряжена и неподвижна, какъ зеркало.

Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкій, безконечный коридоръ, рядъ безчисленныхъ свѣчей, отраженіе ея лица, рукъ, зеркальной рамы—все это давно уже заволоклось туманомъ и слилось въ одно безпредѣльное, сѣрое море. Море колеблется, мигаетъ, изрѣдка вспыхиваетъ заревомъ...

Глядя на неподвижные глаза и открытый ротъ Нелли, трудно понять, спитъ она, или бодрствуетъ, но тѣмъ не менѣе она видитъ. Сначала видитъ она только улыбку и мягкое, полное прелести выраженіе чьихъ-то глазъ, потомъ же на колеблющемся, сѣромъ фонѣ постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это онъ, суженый, предметъ долгихъ мечтаній и надеждъ. Суженый для Нелли составляетъ все: смыслъ жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. Внѣ его, какъ и на сѣромъ фонѣ, мракъ, пустота, безсмыслица. И немудрено поэтому, что, видя передъ собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствуетъ наслажденіе, невыразимо сладкій кошмаръ, который не передашь ни на словахъ, ни на бумагѣ. Далѣе она слышитъ его голосъ, видитъ, какъ живетъ съ нимъ подъ одной кровлей, какъ ея жизнь постепенно сливается съ его жизнью.

На сѣромъ фонѣ бѣгутъ мѣсяцы, годы... и Нелли отчетливо, во всѣхъ подробностяхъ, видитъ свое будущее.

На сѣромъ фонѣ мелькаютъ картина за картиной. Вотъ видитъ Нелли, какъ она въ холодную зимнюю ночь стучится къ уѣздному врачу Степану Лукичу. За воротами лѣниво и хрипло лаетъ старый песъ. Въ докторскихъ окнахъ потемки. Кругомъ тишина.

— Ради Бога... ради Бога!—шепчетъ Нелли.

Но вотъ, наконецъ, скрипитъ калитка, и Нелли видитъ передъ собой докторскую кухарку.

— Докторъ дома?

— Спятъ-съ... — шепчетъ кухарка въ рукавъ, словно боясь разбудить своего барина. — Только-что съ эпидеміи пріѣхали. Не велѣно будить-съ.

Но Нелли не слышитъ кухарки. Отстранивъ ее рукой, она, какъ сумасшедшая, бѣжитъ въ докторскую квартиру. Пробѣжавъ нѣсколько темныхъ и душныхъ комнатъ, сваливъ на пути два-три стула, она, наконецъ, находитъ докторскую спальню. Степанъ Лукичъ лежитъ у себя въ постели одѣтый, но безъ сюртука и, вытянувъ губы, дышитъ себѣ на ладонь. Около него слабо свѣтитъ ночничокъ. Нелли, не говоря ни слова, садится на стулъ и начинаетъ плакать. Плачетъ она горько, вздрагивая всѣмъ тѣломъ.

— Му... мужъ боленъ!—выговариваетъ она.

Степанъ Лукичъ молчитъ. Онъ медленно поднимается, подпираетъ голову кулакомъ и глядитъ на гостью сонными, неподвижными глазами.

— Мужъ боленъ! — продолжаетъ Нелли, сдерживая рыданія. — Ради Бога, поѣдемте... Скорѣе... какъ можно скорѣе!

— А?—мычитъ докторъ, дуя на ладонь.

— Поѣдемте! И сію минуту! Иначе... иначе... страшно выговорить... Ради Бога!

И блѣдная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинаетъ описывать доктору внезапную болѣзнь мужа и свой невыразимый страхъ. Страданія ея способны тронуть камень, но докторъ глядитъ на нее, дуетъ себѣ на ладонь и—ни съ мѣста.

— Завтра пріѣду...—бормочетъ онъ.

— Это невозможно!—пугается Нелли.—Я знаю, у мужа... тифъ! Сейчасъ... сію минуту вы нужны!

— Я тово... только-что пріѣхалъ...—бормочетъ докторъ.— Три дня на эпидемію ѣздилъ. И утомленъ, и самъ боленъ... Абсолютно не могу! Абсолютно! Я... я самъ заразился... Вотъ!

И докторъ суетъ къ глазамъ Нелли максимальный термометръ.

— Температура къ сорока идетъ... Абсолютно не могу! Я... я даже сидѣть не въ состояніи. Простите: лягу...

Докторъ ложится.

— Но я прошу васъ, докторъ! — стонетъ въ отчаяніи Нелли.—Умоляю! Помогите мнѣ, ради Бога. Соберите всѣ ваши силы и поѣдемте... Я заплачу вамъ, докторъ!

— Боже мой... да вѣдь я уже сказалъ вамъ! Ахъ!

Нелли вскакиваетъ и нервно ходитъ по спальнѣ. Ей хочется объяснить доктору, втолковать... Думается ей, что если бы онъ зналъ, какъ дорогъ для нея мужъ и какъ она несчастна, то забылъ бы и утомленіе, и свою болѣзнь. Но гдѣ взять краснорѣчія?

— Поѣзжайте къ земскому доктору...—слышитъ она голосъ Степана Лукича.

— Это невозможно!.. Онъ живетъ за двадцать пять верстъ отсюда, а время дорого. И лошадей не хватитъ: отъ насъ сюда сорокъ верстъ, да отсюда къ земскому доктору почти столько... Нѣтъ, это невозможно! Поѣдемте, Степанъ Лукичъ! Я подвига прошу. Ну, совершите вы подвигъ! Сжальтесь!

— Чортъ знаетъ что̀... Тутъ жаръ... дурь въ головѣ, а она не понимаетъ. Не могу! Отстаньте.

— Но вы обязаны ѣхать! И не можете вы не ѣхать! Это эгоизмъ! Человѣкъ для ближняго долженъ жертвовать жизнью, а вы... вы отказываетесь поѣхать!.. Я въ судъ на васъ подамъ!

Нелли чувствуетъ, что говоритъ обидную и незаслуженную ложь, но для спасенія мужа она способна забыть и логику, и тактъ, и состраданіе къ людямъ... Въ отвѣтъ на ея угрозу докторъ съ жадностью выпиваетъ стаканъ холодной воды... Нелли начинаетъ опять умолять, взывать къ состраданію, какъ самая послѣдняя нищая... Наконецъ док-

торъ сдается. Онъ медленно поднимается, отдувается, кряхтитъ и ищетъ свой сюртукъ.

— Вотъ онъ, сюртукъ,—помогаетъ ему Нелли.—Позвольте, я его на васъ надѣну... Вотъ такъ. Ѣдемте. Я вамъ заплачу... всю жизнь буду признательна...

Но что за мука! Надѣвши сюртукъ, докторъ опять ложится. Нелли поднимаетъ его и тащитъ въ переднюю... Въ передней долгая, мучительная возня съ калошами, шубой... Пропала шапка... Но вотъ, наконецъ, Нелли сидитъ въ экипажѣ. Возлѣ нея докторъ. Теперь остается только проѣхать сорокъ верстъ, и у ея мужа будетъ медицинская помощь. Надъ землей виситъ тьма: зги не видно... Дуетъ холодный зимній вѣтеръ. Подъ колесами мерзлыя кочки. Кучеръ то и дѣло останавливается и раздумываетъ, какой дорогой ѣхать...

Нелли и докторъ всю дорогу молчатъ. Ихъ трясетъ ужасно, но они не чувствуютъ ни холода, ни тряски.

— Гони! Гони!—проситъ Нелли кучера.

Къ пяти часамъ утра замученныя лошади въѣзжаютъ во дворъ. Нелли видитъ знакомыя ворота, колодецъ съ журавлемъ, длинный рядъ конюшенъ и сараевъ... Наконецъ она дома.

— Погодите, я сейчасъ...—говоритъ она Степану Лукичу, сажая его въ столовой на диванъ. — Остыньте, а я пойду посмотрю, что съ нимъ.

Вернувшись черезъ минуту отъ мужа, Нелли застаетъ доктора лежащимъ. Онъ лежитъ на диванѣ и что-то бормочетъ.

— Пожалуйте, докторъ... Докторъ!

— А? Спросите у Домны... — бормочетъ Степанъ Лукичъ.

— Что?

— На съѣздѣ говорили... Власовъ говорилъ... Кого? Что?

И Нелли, къ великому своему ужасу, видитъ, что у доктора такой же бредъ, какъ и у ея мужа. Что дѣлать?

— Къ земскому врачу!—рѣшаетъ она.

Засимъ слѣдуютъ опять потемки, рѣзкій, холодный вѣтеръ, мерзлыя кочки. Страдаетъ она и душою, и тѣломъ, и чтобы уплатить за эти страданія, у обманщицы-природы не хватитъ никакихъ средствъ, никакихъ обмановъ...

Видитъ далѣе она на сѣромъ фонѣ, какъ мужъ ея каж-

дую весну ищетъ денегъ, чтобы уплатить проценты въ банкъ, гдѣ заложено имѣніе. Не спитъ онъ, не спитъ она, и оба до боли въ мозгу думаютъ, какъ бы избѣжать визита судебнаго пристава.

Видитъ она дѣтей. Тутъ вѣчный страхъ передъ простудой, скарлатиной, дифтеритомъ, единицами, разлукой. Изъ пяти-шести карапузовъ навѣрное умретъ одинъ.

Сѣрый фонъ не свободенъ отъ смертей. Оно и понятно. Мужъ и жена не могутъ умереть въ одно время. Одинъ изъ двухъ, во что бы то ни стало, долженъ пережить похороны другого. И Нелли видитъ, какъ умираетъ ея мужъ. Это страшное несчастіе представляется ей во всѣхъ своихъ подробностяхъ. Она видитъ гробъ, свѣчи, дьячка и даже слѣды, которые оставилъ въ передней гробовщикъ.

— Къ чему это? Для чего? — спрашиваетъ она, тупо глядя въ лицо мертваго мужа.

И вся предыдущая жизнь съ мужемъ кажется ей только глупымъ, ненужнымъ предисловіемъ къ этой смерти.

Что-то падаетъ изъ рукъ Нелли и стучитъ о полъ. Она вздрагиваетъ, вскакиваетъ и широко раскрываетъ глаза. Одно зеркало, видитъ она, лежитъ у ея ногъ, другое стоитъ попрежнему на столѣ. Она смотрится въ зеркало и видитъ блѣдное, заплаканное лицо. Сѣраго фона уже нѣтъ.

«Я, кажется, уснула...»—думаетъ она, легко вздыхая.

СТАРОСТЬ.

Архитекторъ, статскій совѣтникъ Узелковъ, пріѣхалъ въ свой родной городъ, куда онъ былъ вызванъ для реставраціи кладбищенской церкви. Въ этомъ городѣ онъ родился, учился, выросъ и женился, но, вылѣзши изъ вагона, онъ едва узналъ его. Все измѣнилось... Восемнадцать лѣтъ тому назадъ, когда онъ переселился въ Питеръ, на томъ, напримѣръ, мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ вокзалъ, мальчуганы ловили сусликовъ; теперь при въѣздѣ на главную улицу высится четырехъэтажная «Вѣна съ номерами», тогда же тутъ тянулся безобразный сѣрый заборъ. Но ни заборы, ни дома—ничто такъ не измѣнилось, какъ люди. Изъ допроса номерного лакея Узелковъ узналъ, что больше чѣмъ половина тѣхъ людей, которыхъ онъ помнилъ, вымерло, обѣдняло, забыто.

— А Узелкова ты помнишь?—спросилъ онъ про себя у старика лакея.—Узелкова, архитектора, что съ женой разводился... У него еще домъ былъ на Свиребеевской улицѣ... Навѣрное помнишь!

— Не помню-съ...

— Ну, какъ не помнить! Громкое было дѣло, даже извозчики всѣ знали. Припомни-ка! Разводилъ его съ женой стряпчій Шапкинъ, мошенникъ... извѣстный шулеръ, тотъ самый, котораго въ клубѣ высѣкли...

— Иванъ Николаичъ?

— Ну, да, да... Что онъ живъ? Умеръ?

— Живы-съ, слава Богу-съ. Они теперь нотаріусомъ, контору держатъ. Хорошо живутъ. Два дома на Кирпичной улицѣ. Недавно дочь замужъ выдали...

Узелковъ пошагалъ изъ угла въ уголъ, подумалъ и рѣшилъ, скуки ради, повидаться съ Шапкинымъ. Когда онъ вышелъ изъ гостиницы и тихо поплелся на Кирпичную

улицу, былъ полдень. Шапкина онъ засталъ въ конторѣ и еле узналъ его. Изъ когда-то стройнаго, ловкаго стряпчаго, съ подвижной, нахальной, вѣчно пьяной физіономіей, Шапкинъ превратился въ скромнаго, сѣдовласаго, хилаго старца.

— Вы меня не узнаете, забыли...—началъ Узелковъ.— Я вашъ давнишній кліентъ, Узелковъ...

— Узелковъ? Какой Узелковъ? Ахъ!

Шапкинъ вспомнилъ, узналъ и обомлѣлъ. Посыпались восклицанія, разспросы, воспоминанія.

— Вотъ не ожидалъ! Вотъ не думалъ!—кудахталъ Шапкинъ.—Угощать-то чѣмъ? Шампанскаго хотите? Можетъ, устрицъ желаете? Голубушка моя, сколько я отъ васъ деньжищъ перебралъ въ свое время, что и угощенія не подберу...

— Пожалуйста, не безпокойтесь,—сказалъ Узелковъ. Мнѣ некогда. Сейчасъ нужно мнѣ на кладбище ѣхать, церковь осматривать. Я заказъ взялъ.

— И отлично! Закусимъ, выпьемъ и поѣдемъ вмѣстѣ. У меня отличныя лошади! И свезу васъ, и со старостой познакомлю... все устрою... Да что вы, ангелъ, словно сторонитесь меня, боитесь? Сядьте поближе! Теперь ужъ нечего бояться... Хе-хе... Прежде, дѣйствительно, ловкій парень былъ, жохъ мужчина... никто не подходи близко, а теперь тише воды, ниже травы; постарѣлъ, семейнымъ сталъ... дѣти есть. Умирать пора!

Пріятели закусили, выпили и на парѣ поѣхали за городъ, на кладбище.

— Да, было времячко! — вспомнилъ Шапкинъ, сидя въ саняхъ. — Вспоминаешь и просто не вѣришь. А помните, какъ вы съ вашей супругой разводились? Ужъ почти двадцать лѣтъ прошло и, небось, вы все забыли, а я помню, словно вчера разводилъ васъ. Господи, сколько я крови тогда испортилъ! Парень я былъ ловкій, казуистъ, крючокъ, отчаянная голова... Такъ, бывало, рвусь ухватиться за какое-нибудь казусное дѣло, особливо ежели гонорарій хорошій, какъ, напримѣръ, въ вашемъ процессѣ. Что вы мнѣ тогда заплатили? Пять—шесть тысячъ! Ну, какъ тутъ крови не испортить? Вы тогда уѣхали въ Петербургъ и все дѣло мнѣ на руки бросили: дѣлай, какъ знаешь! А покойница супруга ваша, Софья Михайловна, была хоть и изъ купеческаго дома, но гордая, самолюбивая. Подку-

пить ее, чтобъ она на себя вину приняла, было трудно... ужасно трудно! Прихожу къ ней, бывало, для переговоровъ, а она завидитъ меня и кричитъ горничной: «Маша, вѣдь я приказала тебѣ не принимать подлецовъ!» Ужъ я и такъ, и этакъ... и письма ей пишу, и нечаянно норовлю встрѣтиться—не беретъ! Пришлось черезъ третье лицо дѣйствовать. Долго я возился съ ней, и только тогда, когда вы десять тысячъ согласились дать ей, поддалась... Десяти тысячъ не выдержала, не устояла... Заплакала, въ лицо мнѣ плюнула, но согласилась, приняла вину!

— Кажется, она взяла съ меня не десять, а пятнадцать тысячъ,—сказалъ Узелковъ.

— Да, да... пятнадцать, ошибся!—смутился Шапкинъ.— Впрочемъ, дѣло прошлое, нечего грѣха таить. Ей я десять далъ, а остальныя пять я у васъ на свою долю выторговалъ. Обоихъ васъ обманулъ... Дѣло прошлое, стыдиться нечего... Да и съ кого же мнѣ было брать, Борисъ Петровичъ, ежели не съ васъ, судите сами... Человѣкъ вы были богатый, сытый... Съ жиру вы женились, съ жиру разводились. Наживали вы пропасть... Помню, съ одного подряда дерябнули двадцать тысячъ. Съ кого же и тянуть, какъ не съ васъ? Да и, признаться, зависть мучила... Вы ежели хапнете, передъ вами шапки ломаютъ, меня же, бывало, за рубли и сѣкутъ, и въ клубѣ по щекамъ бьютъ... Ну, да что вспоминать! Забыть пора.

— Скажите, пожалуйста, какъ потомъ жила Софья Михайловна?

— Съ десятью тысячами-то? Плохиссиме... Богъ ее знаетъ, азартъ ли на нее такой напалъ, или совѣсть и гордость стали мучить, что себя за деньги продала, или, можетъ-быть, любила васъ, только, знаете ли, запила... Получила деньги и давай на тройкахъ съ офицерами разъѣзжать. Пьянство, гульба, безпутство... Заѣдетъ съ офицерами въ трактиръ и не то чтобы портвейнцу или чего-нибудь полегче, а норовитъ коньячищу хватить, чтобъ жгло, въ одурь бросало.

— Да, она эксцентричная была... Натерпѣлся я отъ нея. Бывало, обидится на что-нибудь и начнетъ нервничать... А потомъ что было?

— Проходитъ недѣля, другая... Сижу я у себя дома и что-то строчу. Вдругъ отворяется дверь и входитъ она...

пьяная. «Возьмите, говоритъ, назадъ проклятыя ваши деньги!» и бросила мнѣ въ лицо пачку. Не выдержала, значитъ! Я подобралъ деньги, сосчиталъ... Пятисотъ не хватало. Только пятьсотъ и успѣла прокутить.

— Куда же вы дѣвали деньги?

— Дѣло прошлое... таиться не зачѣмъ... Конечно, себѣ! Что вы на меня такъ поглядѣли? Погодите, что еще дальше будетъ... Романъ цѣлый, психіатрія! Этакъ мѣсяца черезъ два прихожу я однажды ночью къ себѣ домой пьяный, скверный... Зажигаю огонь, гляжу, а у меня на диванѣ сидитъ Софья Михайловна, и тоже пьяная, въ растрепанныхъ чувствахъ, дикая какая-то, словно изъ Бедлама бѣжала... «Давайте, говоритъ, мнѣ назадъ мои деньги, я раздумала. Падать, такъ ужъ падать, какъ слѣдуетъ, въ засосъ! Поворачивайтесь же, подлецъ, давайте деньги!» Безобразіе!

— И вы... дали?

— Далъ, помню, десять рублей...

— Ахъ! ну, можно ли? — поморщился Узелковъ. — Если вы сами не могли или не хотѣли дать ей, то написали бы мнѣ, что ли... И я не зналъ! А? И я не зналъ!

— Голубчикъ мой, да зачѣмъ мнѣ писать, если она сама вамъ писала, когда потомъ въ больницѣ лежала?

— Впрочемъ, я такъ былъ занятъ тогда новымъ бракомъ, такъ кружился, что мнѣ не до писемъ было... Но вы, частный человѣкъ, вы антипатіи къ Софьѣ не чувствовали... отчего не подали ей руки?

— На теперешній аршинъ нельзя мѣрить, Борисъ Петровичъ. Теперь мы такъ думаемъ, а тогда совсѣмъ иначе думали... Теперь я ей, можетъ-быть, и тысячу рублей далъ бы, а тогда и тѣ десять... не задаромъ отдалъ. Скверная исторія! Забыть надо... Но вотъ и пріѣхали...

Сани остановились у кладбищенскихъ воротъ. Узелковъ и Шапкинъ вылѣзли изъ саней, вошли въ ворота и направились по длинной, широкой аллеѣ. Оголенныя вишневыя деревья и акаціи, сѣрые кресты и памятники серебрились инеемъ. Въ каждой снѣжинкѣ отражался ясный солнечный день. Пахло, какъ вообще пахнетъ на всѣхъ кладбищахъ: ладаномъ и свѣже-вскопанной землей...

— Хорошенькое у насъ кладбище,—сказалъ Узелковъ.— Совсѣмъ садъ!

— Да, но жалко, воры памятники воруютъ... А вонъ за

тѣмъ чугуннымъ памятникомъ, что направо, Софья Михайловна похоронена. Хотите посмотрѣть?

Пріятели повернули направо и по глубокому снѣгу направились къ чугунному памятнику.

— Вотъ тутъ... — сказалъ Шапкинъ, указывая на маленькій памятникъ изъ бѣлаго мрамора.—Прапорщикъ какой-то памятникъ на ея могилкѣ поставилъ.

Узелковъ медленно снялъ шапку и показалъ солнцу свою плѣшь. Шапкинъ, глядя на него, тоже снялъ шапку, и другая плѣшь заблестѣла на солнцѣ. Тишина кругомъ была могильная, точно и воздухъ былъ мертвъ. Пріятели глядѣли на памятникъ, молчали и думали.

— Спитъ себѣ!—прервалъ молчаніе Шапкинъ.—И горя ей мало, что вину она на себя приняла и коньякъ пила. Сознайтесь, Борисъ Петровичъ!

— Въ чемъ?—угрюмо спросилъ Узелковъ.

— А въ томъ... Какъ ни противно прошлое, но оно лучше, чѣмъ это.

И Шапкинъ указалъ на свои сѣдины.

— Бывало, и не думалъ о смертномъ часѣ... Встрѣться со смертью, такъ, кажется, десять очковъ впередъ далъ бы ей, а теперь... Ну, да что!

Узелковымъ овладѣла грусть. Ему вдругъ захотѣлось плакать, страстно, какъ когда-то хотѣлось любви... И онъ чувствовалъ, что плачъ этотъ вышелъ бы у него вкусный, освѣжающій. На глазахъ выступила влага, и уже къ горлу подкатилъ комъ, но... рядомъ стоялъ Шапкинъ, и Узелковъ устыдился малодушествовать при свидѣтелѣ. Онъ круто повернулъ назадъ и пошелъ къ церкви.

Только часа два спустя, переговоривъ со старостой и осмотрѣвъ церковь, онъ улучилъ минутку, когда Шапкинъ заговорился со священникомъ, и побѣжалъ плакать... Подкрался онъ къ памятнику тайкомъ, воровски, ежеминутно оглядываясь. Маленькій, бѣлый памятникъ глядѣлъ на него задумчиво, грустно и такъ невинно, словно подъ нимъ лежала дѣвочка, а не распутная, разведенная жена.

«Плакать, плакать!»—думалъ Узелковъ.

Но моментъ для плача былъ уже упущенъ. Какъ ни мигалъ глазами старикъ, какъ ни настраивалъ себя, а слезы не текли и комъ не подступалъ къ горлу... Постоявъ минутъ десять, Узелковъ махнулъ рукой и пошелъ искать Шапкина.

ГОРЕ.

Токарь Григорій Петровъ, издавна извѣстный за великолѣпнаго мастера и въ то же время за самаго непутеваго мужика во всей Галчинской волости, везетъ свою больную старуху въ земскую больницу. Нужно ему проѣхать верстъ тридцать, а между тѣмъ дорога ужасная, съ которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебокѣ, какъ токарь Григорій. Прямо навстрѣчу бьетъ рѣзкій, холодный вѣтеръ. Въ воздухѣ, куда ни взглянешь, кружатся цѣлыя облака снѣжинокъ, такъ что не разберешь, идетъ ли снѣгъ съ неба, или съ земли. За снѣжнымъ туманомъ не видно ни поля, ни телеграфныхъ столбовъ, ни лѣса, а когда на Григорія налетаетъ особенно сильный порывъ вѣтра, тогда не бываетъ видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергія ея ушла на вытаскиваніе ногъ изъ глубокаго снѣга и подергиванье головой. Токарь торопится. Онъ безпокойно прыгаетъ на облучкѣ и то и дѣло хлещетъ по лошадиной спинѣ.

— Ты, Матрена, не плачь...—бормочетъ онъ.—Потерпи малость. Въ больницу, Богъ дастъ, пріѣдемъ, и мигомъ у тебя, это самое... Дастъ тебѣ Павелъ Иванычъ капелекъ, или кровь пустить прикажетъ, или, можетъ, милости его угодно будетъ спиртикомъ какимъ тебя растереть, оно и тово... оттянетъ отъ бока. Павелъ Иванычъ постарается... Покричитъ, ногами потопочетъ, а ужъ постарается... Славный господинъ, обходительный, дай Богъ ему здоровья... Сейчасъ, какъ пріѣдемъ, перво-на-перво выскочитъ изъ

своей фатеры и начнетъ чертей перебирать. «Какъ? Почему такое? — закричитъ.—Почему не во-время пріѣхалъ? Нешто я собака какая, чтобъ цѣльный день съ вами, чертями, возиться? Почему утромъ не пріѣхалъ? Вонъ! Чтобъ и духу твоего не было. Завтра пріѣзжай!» А я и скажу: «Господинъ докторъ! Павелъ Иванычъ! Ваше высокоблагородіе!» Да поѣзжай же ты, чтобъ тебѣ пусто было, чортъ! Но!

Токарь хлещетъ по лошаденкѣ и, не глядя на старуху, продолжаетъ бормотать себѣ подъ носъ:

— «Ваше высокоблагородіе! Истинно, какъ передъ Богомъ... вотъ вамъ крестъ, выѣхалъ я чуть свѣтъ. Гдѣ жъ тутъ къ сроку поспѣть, ежели Господь... Матерь Божія... прогнѣвался и метель такую послалъ? Сами изволите видѣть... Какая лошадь поблагороднѣе, и та не выѣдетъ, а у меня, сами изволите видѣть, не лошадь, а срамота!» А Павелъ Иванычъ нахмурится и закричитъ: «Знаемъ васъ! Завсегда оправданіе найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось, разъ пять въ кабакъ заѣзжалъ!» А я ему: «Ваше высокоблагородіе! Да нешто я злодѣй какой, или нехристь? Старуха душу Богу отдаетъ, помираетъ, а я стану по кабакамъ бѣгать! Что вы, помилуйте! Чтобъ имъ пусто было, кабакамъ этимъ!» Тогда Павелъ Иванычъ прикажетъ тебя въ больницу снесть. А я въ ноги... «Павелъ Иванычъ! Ваше высокоблагородіе! Благодаримъ васъ всепокорно! Простите насъ, дураковъ, анаѳемовъ, не обезсудьте насъ мужиковъ! Насъ бы въ три шеи надо, а вы изволите безпокоиться, ножки свои въ снѣгъ марать!» А Павелъ Иванычъ взглянетъ этакъ, словно ударить захочетъ, и скажетъ: «Чѣмъ въ ноги-то бухать, ты бы лучше, дуракъ, водки не лопалъ, да старуху жалѣлъ. Пороть тебя надо!»—«Истинно пороть, Павелъ Иванычъ, побей меня Богъ, пороть! А какъ же намъ въ ноги не кланяться, ежели благодѣтели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородіе! Вѣрно слово... вотъ какъ передъ Богомъ... плюньте тогда въ глаза, ежели обману: какъ только моя Матрена, это самое, выздоровѣетъ, станетъ на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сдѣлаю! Портсигарчикъ, ежели желаете, изъ корельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самыя заграничныя... все для васъ сдѣлаю! Ни копейки съ васъ не возьму! Въ Москвѣ бы съ васъ за

такой портсигарчикъ четыре рубля взяли, а я ни копейки». Докторъ засмѣется и скажетъ: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница»... Я, братъ старуха, понимаю, какъ съ господами надо. Нѣтъ того господина, чтобъ я съ нимъ не сумѣлъ поговорить. Только привелъ бы Богъ съ дороги не сбиться. Ишь мстетъ! Всѣ глаза запорошило.

И токарь бормочетъ безъ конца. Болтаетъ онъ языкомъ машинально, чтобъ хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Словъ на языкѣ много, но мыслей и вопросовъ въ головѣ еще больше. Горе застало токаря врасплохъ, нежданно-негаданно, и теперь онъ никакъ не можетъ очнуться, придти въ себя, сообразить. Жилъ доселѣ безмятежно, ровно въ пьяномъ полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдругъ чувствуетъ теперь въ душѣ ужасную боль. Безпечный лежебока и пьянчужка очутился ни съ того, ни съ сего въ положеніи человѣка занятаго, озабоченнаго, спѣшащаго и даже борющагося съ природой.

Токарь помнитъ, что горе началось со вчерашняго вечера. Когда вчера вечеромъ воротился онъ домой, по обыкновенію пьяненькимъ, и по застарѣлой привычкѣ началъ браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна такъ, какъ раньше никогда не глядѣла. Обыкновенно, выраженіе ея старческихъ глазъ было мученическое, кроткое, какъ у собакъ, которыхъ много бьютъ и плохо кормятъ, теперь же она глядѣла сурово и неподвижно, какъ глядятъ святые на иконахъ, или умирающіе. Съ этихъ странныхъ, нехорошихъ глазъ и началось горе. Ошалѣвшій токарь выпросилъ у сосѣда лошаденку и теперь везетъ старуху въ больницу, въ надеждѣ, что Павелъ Иванычъ порошками и мазями возвратитъ старухѣ ея прежній взглядъ.

— Ты же, Матрена, тово...—бормочетъ онъ.—Ежели Павелъ Иванычъ спроситъ, билъ я тебя, или нѣтъ, говори: никакъ нѣтъ! А я тебя не буду больше бить. Вотъ те крестъ. Да нешто я билъ тебя по злобѣ? Билъ такъ, зря. Я тебя жалѣю. Другому бы и горя мало, а я вотъ везу... стараюсь. А мететъ-то, мететъ! Господи, твоя воля! Привелъ бы только Богъ съ дороги не сбиться... Что, болитъ бокъ? Матрена, что жъ ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болитъ бокъ?

Странно ему кажется, что на лицѣ у старухи не таетъ

снѣгъ, странно, что само лицо какъ-то особенно вытянулось, приняло блѣдно-сѣрый, грязно-восковой цвѣтъ и стало строгимъ, серьезнымъ.

— Ну, и дура!—бормочетъ токарь.—Я тебя по совѣсти, какъ передъ Богомъ... а ты, тово... Ну, и дура! Возьму вотъ и не повезу къ Павлу Иванычу!

Токарь опускаетъ вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху онъ не рѣшается: страшно! Задать ей вопросъ и не получить отвѣта тоже страшно. Наконецъ, чтобъ покончить съ неизвѣстностью, онъ, не оглядываясь на старуху, нащупываетъ ея холодную руку. Поднятая рука падаетъ какъ плеть.

— Померла, стало-быть. Комиссія!

И токарь плачетъ. Ему не такъ жалко, какъ досадно. Онъ думаетъ: какъ на этомъ свѣтѣ все быстро дѣлается! Не успѣло еще начаться его горе, какъ ужъ готова развязка. Не успѣлъ онъ пожить со старухой, высказать ей, пожалѣть ее, какъ она уже умерла. Жилъ онъ съ нею сорокъ лѣтъ, но вѣдь эти сорокъ лѣтъ прошли, словно въ туманѣ. За пьянствомъ, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И какъ на зло, старуха умерла какъ разъ въ то самое время, когда онъ почувствовалъ, что жалѣетъ ее, жить безъ нея не можетъ, страшно виноватъ передъ ней.

— А вѣдь она по міру ходила! — вспоминаетъ онъ. — Самъ я посылалъ ее хлѣба у людей просить, комиссія! Ей бы, дурѣ, еще лѣтъ десятокъ прожить, а то, небось, думаетъ, что я и взаправду такой. Мать Пресвятая, да куда же къ лѣшему я это ѣду? Теперь не лѣчить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачиваетъ назадъ и изо всей силы бьетъ по лошадкѣ. Путь съ каждымъ часомъ становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсѣмъ не видно. Изрѣдка сани наѣдутъ на молодую елку, темный предметъ оцарапаетъ руки токаря, мелькнетъ передъ его глазами, и поле зрѣнія опять становится бѣлымъ, кружащимся.

«Жить бы сызнова»...—думаетъ токарь.

Вспоминаетъ онъ, что Матрена лѣтъ сорокъ тому назадъ была молодой, красивой, веселой, изъ богатаго двора. Выдали ее за него замужъ потому, что польстились на его мастерство. Всѣ данныя были для хорошаго житья, но бѣда въ томъ, что онъ какъ напился послѣ свадьбы, завалился

на печку, такъ словно и до сихъ поръ не просыпался. Свадьбу онъ помнитъ, а что было послѣ свадьбы — хоть убей, ничего не помнитъ, кромѣ развѣ того, что пилъ, лежалъ, дрался. Такъ и пропали сорокъ лѣтъ.

Бѣлыя снѣжныя облака начинаютъ мало-по-малу сѣрѣть. Наступаютъ сумерки.

— Куда жъ я ѣду? — спохватывается вдругъ токарь.— Хоронить надо, а я въ больницу... Ошалѣлъ словно!

Токарь опять поворачиваетъ назадъ и опять бьетъ по лошади. Кобылка напрягаетъ всѣ свои силы и, фыркая, бѣжитъ мелкой рысцой. Токарь разъ за разомъ хлещетъ ее по спинѣ... Сзади слышится какой-то стукъ, и онъ, хоть не оглядывается, но знаетъ, что это стучитъ голова покойницы о сани. А воздухъ все темнѣетъ и темнѣетъ, вѣтеръ становится холоднѣе и рѣзче...

«Сызнова бы жить... — думаетъ токарь. — Инструментъ бы новый завесть, заказы брать... деньги бы старухѣ отдавать... да!»

И вотъ онъ роняетъ вожжи. Ищетъ ихъ, хочетъ поднять и никакъ не подниметъ; руки не дѣйствуютъ...

«Все равно... — думаетъ онъ: — сама лошадь пойдетъ, знаетъ дорогу. Поспать бы теперь... Покеда тамъ похороны, или панихида, прилечь бы».

Токарь закрываетъ глаза и дремлетъ. Немного погодя, онъ слышитъ, что лошадь остановилась. Онъ открываетъ глаза и видитъ передъ собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылѣзти изъ саней и узнать, въ чемъ дѣло, но во всемъ тѣлѣ стоитъ такая лѣнь, что лучше замерзнуть, чѣмъ двинуться съ мѣста... И онъ безмятежно засыпаетъ.

Просыпается онъ въ большой комнатѣ съ крашеными стѣнами. Изъ оконъ льетъ яркій солнечный свѣтъ. Токарь видитъ передъ собой людей и первымъ дѣломъ хочетъ показать себя степеннымъ, съ понятіемъ.

— Панихидку бы, братцы, по старухѣ!—говоритъ онъ.— Батюшкѣ бы сказать...

— Ну, ладно, ладно! Лежи ужъ!—обрываетъ его чей-то голосъ.

— Батюшка! Павелъ Иванычъ!—удивляется токарь, видя передъ собой доктора.—Вашескородіе! Благодѣтель!

Хочетъ онъ вскочить и бухнуть передъ медициной ноги, но чувствуетъ, что руки и ноги его не слушаются

— Ваше высокородіе! Ноги же мои гдѣ? Гдѣ руки?

— Прощайся съ руками и ногами... Отморозилъ! Н ну... чего же ты плачешь? Пожилъ, и слава Богу! Небо шесть десятковъ прожилъ—будетъ съ тебя!

— Горе!.. Вашескородіе, горе вѣдь! Простите велн душно! Еще бы годочковъ пять—шесть...

— Зачѣмъ?

— Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронит И какъ на этомъ свѣтѣ все скоро дѣлается! Ваше высо родіе! Павелъ Иванычъ! Портсигарчикъ изъ корельской резы наилучшій! Крокетикъ выточу...

Докторъ машетъ рукой и выходитъ изъ палаты. карю—аминь!

УСТРИЦЫ.

Мнѣ не нужно слишкомъ напрягать память, чтобы во всѣхъ подробностяхъ вспомнить дождливыя осеннія сумерки, когда я стою съ отцомъ на одной изъ многолюдныхъ московскихъ улицъ и чувствую, какъ мною постепенно овладѣваетъ странная болѣзнь. Боли нѣтъ никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперекъ горла, голова безсильно склоняется на бокъ... Повидимому, я сейчасъ долженъ упасть и потерять сознаніе.

Попади я въ эти минуты въ больницу, доктора должны были бы написать на моей доскѣ: Fames—болѣзнь, которой нѣтъ въ медицинскихъ учебникахъ.

Возлѣ меня на тротуарѣ стоитъ мой родной отецъ въ поношенномъ лѣтнемъ пальто и триковой шапочкѣ, изъ которой торчитъ бѣлѣющій кусочекъ ваты. На его ногахъ большія, тяжелыя калоши. Суетный человѣкъ, боясь, чтобы люди не увидѣли, что онъ носитъ калоши на босую ногу, натянулъ на голени старыя голенища.

Этотъ бѣдный, глуповатый чудакъ, котораго я люблю тѣмъ сильнѣе, чѣмъ оборваннѣе и грязнѣе дѣлается его лѣтнее франтоватое пальто, пять мѣсяцевъ тому назадъ прибылъ въ столицу искать должности по письменной части. Всѣ пять мѣсяцевъ онъ шатался по городу, просилъ дѣла и только сегодня рѣшился выйти на улицу просить милостыню...

Противъ насъ большой трехъэтажный домъ съ синей вывѣской: «Трактиръ». Голова моя слабо откинута назадъ и на бокъ, и я поневолѣ гляжу вверхъ, на освѣщенныя окна трактира. Въ окнахъ мелькаютъ человѣческія фигуры. Виденъ правый бокъ оркестріона, двѣ олеографіи, висячія лампы... Вглядываясь въ одно изъ оконъ, я усматриваю бѣ-

лѣющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами рѣзко выдѣляется изъ общаго, темно-коричневаго фона. Я напрягаю зрѣніе и въ пятнѣ узнаю бѣлую стѣнную вывѣску. На ней что-то написано, но что именно—не видно...

Полчаса я не отрываю глазъ отъ вывѣски. Своею бѣлизною она притягиваетъ мои глаза и словно гипнотизируетъ мой мозгъ. Я стараюсь прочесть, но старанія мои тщетны.

Наконецъ, странная болѣзнь вступаетъ въ свои права.

Шумъ экипажей начинаетъ казаться мнѣ громомъ, въ уличной вони различаю я тысячи запаховъ, глаза мои въ трактирныхъ лампахъ и уличныхъ фонаряхъ видятъ ослѣпительныя молніи. Мои пять чувствъ напряжены и хватаютъ черезъ норму. Я начинаю видѣть то, чего не видѣлъ ранѣе.

— Устрицы...—разбираю я на вывѣскѣ.

Странное слово! Прожилъ я на землѣ ровно восемь лѣтъ и три мѣсяца, но ни разу не слыхалъ этого слова. Что оно значитъ? Не есть ли это фамилія хозяина трактира? Но вѣдь вывѣски съ фамиліями вѣшаютъ на дверяхъ, а не на стѣнахъ!

— Папа, что значитъ устрицы?—спрашиваю я хриплымъ голосомъ, силясь повернуть лицо въ сторону отца.

Отецъ мой не слышитъ. Онъ всматривается въ движенія толпы и провожаетъ глазами каждаго прохожаго... По его глазамъ я вижу, что онъ хочетъ сказать что-то прохожимъ, но роковое слово тяжелой гирей виситъ на его дрожащихъ губахъ и никакъ не можетъ сорваться. За однимъ прохожимъ онъ даже шагнулъ и тронулъ его за рукавъ, но когда тотъ обернулся, онъ сказалъ «виноватъ», сконфузился и попятился назадъ.

— Папа, что значитъ устрицы?—повторяю я.

— Это такое животное... Живетъ въ морѣ...

Я мигомъ представляю себѣ это невѣдомое морское животное. Оно должно быть чѣмъ-то среднимъ между рыбой и ракомъ. Такъ какъ оно морское, то изъ него приготовляютъ, конечно, очень вкусную, горячую уху съ душистымъ перцемъ и лавровымъ листомъ, кисловатую селянку съ хрящиками, раковый соусъ, холодное съ хрѣномъ... Я живо воображаю себѣ, какъ приносятъ съ рынка это животное, бы-

стро чистятъ его, быстро суютъ въ горшокъ... быстро, быстро, потому что всѣмъ ѣсть хочется... ужасно хочется! Изъ кухни несется запахъ рыбнаго жаркого и раковаго супа.

Я чувствую, какъ этотъ запахъ щекочетъ мое нёбо, ноздри, какъ онъ постепенно овладѣваетъ всѣмъ моимъ тѣломъ... Трактиръ, отецъ, бѣлая вывѣска, мои рукава — все пахнетъ этимъ запахомъ, пахнетъ до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и дѣлаю глотки, словно и въ самомъ дѣлѣ въ моемъ рту лежитъ кусокъ морского животнаго...

Ноги мои гнутся отъ наслажденія, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукавъ и припадаю къ его мокрому лѣтнему пальто. Отецъ дрожитъ и жмётся. Ему холодно...

— Папа, устрицы постныя, или скоромныя? — спрашиваю я.

— Ихъ ѣдятъ живыми...—говоритъ отецъ.—Онѣ въ раковинахъ, какъ черепахи, но... изъ двухъ половинокъ.

Вкусный запахъ мгновенно перестаётъ щекотать моё тѣло, и иллюзія пропадаетъ... Теперь я всё понимаю!

— Какая гадость,—шепчу я: — какая гадость!

Такъ вотъ что значитъ устрицы! Я воображаю себѣ животное, похожее на лягушку. Лягушка сидитъ въ раковинѣ, глядитъ оттуда большими, блестящими глазами и играетъ своими отвратительными челюстями. Я представляю себѣ, какъ приносятъ съ рынка это животное въ раковинѣ, съ клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей... Дѣти всѣ прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, беретъ животное за клешню, кладетъ его на тарелку и несётъ въ столовую. Взрослые берутъ его и ѣдятъ... ѣдятъ живьемъ, съ глазами, съ зубами, съ лапками! А оно пищитъ и старается укусить за губу...

Я морщусь, но... но зачѣмъ же зубы мои начинаютъ жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ѣмъ его, ѣмъ съ жадностью, боясь разгадать его вкусъ и запахъ. Одно животное съѣдено, а я уже вижу блестящіе глаза другого, третьяго... Я ѣмъ и этихъ... Наконецъ, ѣмъ салфетку, тарелку, калоши отца, бѣлую вывѣску... Ѣмъ все, что только попадётся мнѣ на глаза, потому что я чувствую, что только отъ ѣды пройдетъ моя болѣзнь. Устрицы страшно

глядятъ глазами и отвратительны, я дрожу отъ мысли о нихъ, но я хочу ѣсть! Ѣсть!

— Дайте устрицъ! Дайте мнѣ устрицъ!—вырывается изъ моей груди крикъ, и я протягиваю впередъ руки.

— Помогите, господа!— слышу я въ это время глухой, придушенный голосъ отца.—Совѣстно просить, но — Боже мой!— силъ не хватаетъ!

— Дайте устрицъ!—кричу я, теребя отца за фалды.

— А ты развѣ ѣшь устрицъ? Такой маленькій!—слышу я возлѣ себя смѣхъ.

Передъ нами стоятъ два господина въ цилиндрахъ и со смѣхомъ глядятъ мнѣ въ лицо.

— Ты, мальчуганъ, ѣшь устрицъ? Въ самомъ дѣлѣ? Это интересно! Какъ же ты ихъ ѣшь?

Помню, чья-то сильная рука тащитъ меня къ освѣщенному трактиру. Черезъ минуту собирается вокругъ толпа и глядитъ на меня съ любопытствомъ и смѣхомъ. Я сижу за столомъ и ѣмъ что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плѣсенью. Я ѣмъ съ жадностью, не жуя, не глядя и не освѣдомляясь, что я ѣмъ. Мнѣ кажется, что если я открою глаза, то непремѣнно увижу блестящіе глаза, клешни и острые зубы...

Я вдругъ начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустѣнье.

— Ха-ха! Онъ раковины ѣстъ!—смѣется толпа.—Дурачокъ, развѣ это можно ѣсть?

Засимъ я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть отъ изжоги и страннаго вкуса, который я чувствую въ своемъ горячемъ рту. Отецъ мой ходитъ изъ угла въ уголъ и жестикулируетъ руками.

— Я, кажется, простудился, — бормочетъ онъ. — Что-то такое чувствую въ головѣ... Словно сидитъ въ ней кто-то... А можетъ-быть, это оттого, что я не... тово... не ѣлъ сегодня... Я, право, странный какой-то, глупый... Вижу, что эти господа платятъ за устрицъ десять рублей, отчего бы мнѣ не подойти и не попросить у нихъ нѣсколько... взаймы? Навѣрное бы дали.

Къ утру я засыпаю, и мнѣ снится лягушка съ клешнями, сидящая въ раковинѣ и играющая глазами. Въ полдень просыпаюсь отъ жажды и ищу глазами отца: онъ все еще ходитъ и жестикулируетъ...

ТОСКА.

Кому повѣмъ печаль мою?..

Вечернія сумерки. Крупный, мокрый снѣгъ лѣниво кружится около только-что зажженныхъ фонарей и тонкимъ, мягкимъ пластомъ ложится на крыши, лошадиныя спины, плечи, шапки. Извозчикъ Іона Потаповъ весь бѣлъ, какъ привидѣніе. Онъ согнулся, насколько только возможно согнуться живому тѣлу, сидитъ на козлахъ и не шевельнется. Упади на него цѣлый сугробъ, то и тогда бы, кажется, онъ не нашелъ нужнымъ стряхивать съ себя снѣгъ... Его лошаденка тоже бѣла и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью формъ и палкообразной прямизною ногъ она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вѣроятности, погружена въ мысль. Кого оторвали отъ плуга, отъ привычныхъ, сѣрыхъ картинъ и бросили сюда въ этотъ омутъ, полный чудовищныхъ огней, неугомоннаго треска и бѣгущихъ людей, тому нельзя не думать...

Іона и его лошаденка не двигаются съ мѣста уже давно. Выѣхали они со двора еще до обѣда, а почина все нѣтъ и нѣтъ. Но вотъ на городъ спускается вечерняя мгла. Блѣдность фонарныхъ огней уступаетъ свое мѣсто живой краскѣ, и уличная суматоха становится шумнѣе.

— Извозчикъ, на Выборгскую! — слышитъ Іона. — Извозчикъ!

Іона вздрагиваетъ и сквозь рѣсницы, облѣпленныя снѣгомъ, видитъ военнаго въ шинели съ капюшономъ.

до тѣхъ поръ, пока не давится вычурнымъ, шестиэтажнымъ ругательствомъ и не разражается кашлемъ. Длинные начинаютъ говорить о какой-то Надеждѣ Петровнѣ. Іона оглядывается на нихъ. Дождавшись короткой паузы, онъ оглядывается еще разъ и бормочетъ:

— А у меня на этой недѣлѣ... тово... сынъ померъ!

— Всѣ помремъ...—вздыхаетъ горбачъ, вытирая послѣ кашля губы.—Ну, погоняй, погоняй! Господа, я рѣшительно не могу дальше такъ ѣхать! Когда онъ насъ довезетъ?

— А ты его легонечко подбодри... въ шею!

— Старая холера, слышишь? Вѣдь шею накостыляю!.. Съ вашимъ братомъ церемониться, такъ пѣшкомъ ходить!.. Ты слышишь, Змѣй Горынычъ? Или тебѣ плевать на наши слова?

И Іона больше слышитъ, чѣмъ чувствуетъ, звуки подзатыльника.

— Гы-ы...—смѣется онъ.—Веселые господа... дай Богъ здоровья!

— Извозчикъ, ты женатъ?—спрашиваетъ длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена—сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то-есть!.. Сынъ-то вотъ померъ, а я живъ... Чудное дѣло, смерть дверью обозналась... Замѣсто того, чтобъ ко мнѣ идтить, она къ сыну...

И Іона оборачивается, чтобы разсказать, какъ умеръ его сынъ, но тутъ горбачъ легко вздыхаетъ и заявляетъ, что, слава Богу, они наконецъ пріѣхали. Получивъ двугривенный, Іона долго глядитъ вслѣдъ гулякамъ, исчезающимъ въ темномъ подъѣздѣ. Опять онъ одинокъ, и опять наступаетъ для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распираетъ грудь еще съ большей силой. Глаза Іоны тревожно и мученически бѣгаютъ по толпамъ, снующимъ по обѣ стороны улицы: не найдется ли изъ этихъ тысячъ людей хоть одинъ, который выслушалъ бы его? Но толпы бѣгутъ, не замѣчая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границъ. Лопни грудь Іоны, и вылейся изъ нея тоска, такъ она бы, кажется, весь свѣтъ залила, но тѣмъ не менѣе ея не видно. Она сумѣла помѣститься въ такую ничтожную скорлупу, что ея не увидишь днемъ съ огнемъ...

Іона видитъ дворника съ кулькомъ и рѣшаетъ заговорить съ нимъ.

— Милый, который теперь часъ будетъ? — спрашиваетъ онъ.

— Десятый... Чего же сталъ здѣсь? Проѣзжай!

Іона отъѣзжаетъ на нѣсколько шаговъ, изгибается и отдается тоскѣ... Обращаться къ людямъ онъ считаетъ уже безполезнымъ. Но не проходитъ и пяти минутъ, какъ онъ выпрямляется, встряхиваетъ головой, словно почувствовалъ острую боль, и дергаетъ вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору,—думаетъ онъ.—Ко двору!»

И лошаденка, точно понявъ его мысль, начинаетъ бѣжать рысцой. Спустя часа полтора, Іона сидитъ уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьяхъ храпитъ народъ. Въ воздухѣ «спираль» и духота... Іона глядитъ на спящихъ, почесывается и жалѣетъ, что такъ рано вернулся домой...

«И на овесъ не выѣздилъ, — думаетъ онъ. — Оттого-то вотъ и тоска. Человѣкъ, который знающій свое дѣло... который и самъ сытъ, и лошадь сыта, завсегда покоенъ...»

Въ одномъ изъ угловъ поднимается молодой извозчикъ, сонно крякаетъ и тянется къ ведру съ водой.

— Пить захотѣлъ?—спрашиваетъ Іона.

— Стало-быть, пить!

— Такъ... На здоровье... А у меня, братъ, сынъ померъ... Слыхалъ? на этой недѣлѣ въ больницѣ... Исторія!

Іона смотритъ, какой эффектъ произвели его слова, но не видитъ ничего. Молодой укрылся съ головой и уже спитъ. Старикъ вздыхаетъ и чешется... Какъ молодому хотѣлось пить, такъ ему хочется говорить. Скоро будетъ недѣля, какъ умеръ сынъ, а онъ еще путемъ не говорилъ ни съ кѣмъ... Нужно поговорить съ толкомъ, съ разстановкой... Надо разсказать, какъ заболѣлъ сынъ, какъ онъ мучился, что̀ говорилъ передъ смертью, какъ умеръ... Нужно описать похороны и поѣздку въ больницу за одеждой покойника. Въ деревнѣ осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чемъ онъ можетъ теперь поговорить? Слушатель долженъ охать, вздыхать, причитывать... А съ бабами говорить еще лучше. Тѣ хоть и дуры, но ревутъ отъ двухъ словъ.

«Пойти лошадь поглядѣть,—думаетъ Іона.—Спать всегда успѣешь... Небось, выспишься...»

Онъ одѣвается и идетъ въ конюшню, гдѣ стоитъ его лошадь. Думаетъ онъ объ овсѣ, сѣнѣ, о погодѣ... Про сына, когда одинъ, думать онъ не можетъ... Поговорить съ кѣмъ-нибудь о немъ можно, но самому думать и рисовать себѣ его образъ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашиваетъ Іона свою лошадь, видя ея блестящіе глаза.—Ну, жуй, жуй... Коли на овесъ не выѣздили, сѣно ѣсть будемъ... Да... Старъ ужъ сталъ я ѣздить... Сыну бы ѣздить, а не мнѣ... То настоящій извозчикъ былъ... Жить бы только...

Іона молчитъ нѣкоторое время и продолжаетъ:

— Такъ-то, братъ кобылочка... Нѣту Кузьмы Іоныча... Приказалъ долго жить... Взялъ и померъ зря... Таперя, скажемъ, у тебя жеребеночекъ, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдругъ, скажемъ, этотъ самый жеребеночекъ приказалъ долго жить... Вѣдь жалко?

Лошаденка жуетъ, слушаетъ и дышитъ на руки своего хозяина...

Іона увлекается и разсказываетъ ей все...

ЕГЕРЬ.

Знойный и душный полдень. На небѣ ни облачка... Выжженная солнцемъ трава глядитъ уныло, безнадежно: хоть и будетъ дождь, но ужъ не зеленѣть ей... Лѣсъ стоитъ молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждетъ чего-то.

По краю сѣчи лѣниво, вразвалку плетется высокій, узкоплечій мужчина лѣтъ сорока, въ красной рубахѣ, латанныхъ, господскихъ штанахъ и въ большихъ сапогахъ. Плетется онъ по дорогѣ. Направо зеленѣетъ сѣча, налѣво, до самаго горизонта, тянется золотистое море поспѣвшей ржи... Онъ красенъ и вспотѣлъ. На его красивой, бѣлокурой головѣ ухарски сидитъ бѣлый картузикъ съ прямымъ, жокейскимъ козырькомъ, очевидно подарокъ какого-нибудь расщедрившагося барича. Черезъ плечо перекинутъ ягдташъ, въ которомъ лежитъ скомканный пѣтухъ-тетеревъ. Мужчина держитъ въ рукахъ двухстволку со взведенными курками и щуритъ глаза на своего стараго, тощаго пса, который бѣжитъ впереди и обнюхиваетъ кустарникъ. Кругомъ тихо, ни звука... Все живое попряталось отъ зноя.

— Егоръ Власычъ! — слышитъ вдругъ охотникъ тихій голосъ.

Онъ вздрагиваетъ и, оглядѣвшись, хмуритъ брови. Возлѣ него, словно изъ земли выросши, стоитъ блѣднолицая баба лѣтъ тридцати, съ серпомъ въ рукѣ. Она старается заглянуть въ его лицо и застѣнчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говоритъ охотникъ, останавли-

ваясь и медленно спуская курки. — Гм!.. Какъ же это ты сюда попала?

— Тутъ изъ нашей деревни бабы работаютъ, такъ вотъ и я съ ими... Въ работницахъ, Егоръ Власычъ.

— Тэкъ... — мычитъ Егоръ Власычъ и медленно идетъ дальше.

Пелагея за нимъ. Проходятъ молча шаговъ двадцать.

— Давно ужъ я васъ не видала, Егоръ Власычъ... — говоритъ Пелагея, нѣжно глядя на двигающіяся плечи и лопатки охотника.—Какъ заходили вы на Святой въ нашу избу воды напиться, такъ съ той поры васъ и не видали... На Святой на минутку зашли, да и то Богъ знаетъ какъ... въ пьяномъ видѣ... Побранили, побили и ушли... Ужъ я ждала, ждала... глаза всѣ проглядѣла, васъ поджидаючи... Эхъ, Егоръ Власычъ, Егоръ Власычъ! Хоть бы разочекъ зашли!

— Что жъ мнѣ у тебя дѣлать-то?

— Оно, конечно, дѣлать нечего, да такъ... все-таки жъ хозяйство... Поглядѣть, какъ и что... Вы хозяинъ... Ишь ты, тетерьку подстрѣлили, Егоръ Власычъ! Да вы бы сѣли, отдохнули...

Говоря все это, Пелагея смѣется, какъ дурочка, и глядитъ вверхъ на лицо Егора... Отъ лица ея такъ и дышитъ счастьемъ...

— Посидѣть? Пожалуй...—говоритъ равнодушнымъ тономъ Егоръ и выбираетъ мѣстечко между двумя растущими елками.—Что жъ ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припекѣ и, стыдясь своей радости, закрываетъ рукой улыбающійся ротъ. Минуты двѣ проходятъ въ молчаніи.

— Хоть бы разочекъ зашли, — говоритъ тихо Пелагея.

— Зачѣмъ? — вздыхаетъ Егоръ, снимая свой картузикъ и вытирая рукавомъ красный лобъ. — Нѣтъ никакой надобности. Зайти на часъ-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить въ деревнѣ — душа не терпитъ... Сама знаешь, человѣкъ я балованный... Мнѣ чтобъ и кровать была, и чай хорошій, и разговоры деликатные... чтобъ всѣ степени мнѣ были, а у тебя тамъ на деревнѣ бѣднота, копоть... Я и дня не выживу. Ежели бъ указъ такой, положимъ, вышелъ, чтобъ безпремѣнно мнѣ у тебя жить, такъ я бы или избу сжегъ, или руки бы на себя

наложилъ. Сызмалѣтства во мнѣ это баловство сидитъ, ничего не подѣлаешь.

— Теперя вы гдѣ живете?

— У барина, Дмитрія Иваныча, въ охотникахъ. Къ его столу дичь поставляю, а больше такъ... изъ-за удовольствія меня держитъ.

— Не степенное ваше дѣло, Егоръ Власычъ... Для людей это баловство, а у васъ оно, словно какъ бы и ремесло... занятіе настоящее...

— Не понимаешь ты, глупая,—говоритъ Егоръ, мечтательно глядя на небо.—Ты отродясь не понимала и вѣкъ тебѣ не понять, что я за человѣкъ... По-твоему, я шальной заблудящій человѣкъ, а который понимающій, для того я что ни на есть лучшій стрѣлокъ во всемъ уѣздѣ. Господа это чувствуютъ и даже въ журналѣ про меня печатали. Ни одинъ человѣкъ не сравняется со мной по охотницкой части... А что я вашимъ деревенскимъ занятіемъ брезгаю, такъ это не изъ баловства, не изъ гордости. Съ самаго младенчества, знаешь, я окромя ружья и собакъ никакого занятія не зналъ. Ружье отнимаютъ, я за удочку, удочку отнимаютъ, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничалъ, по ярмаркамъ рыскалъ, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужикъ записался въ охотники, или въ лошадники, то прощай соха. Разъ сядетъ въ человѣка вольный духъ, то ничѣмъ его не выковыришь. Тоже вотъ ежели который баринъ пойдетъ въ ахтеры или по другимъ какимъ художествамъ, то не быть ему ни въ чиновникахъ, ни въ помѣщикахъ. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егоръ Власычъ.

— Стало-быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

— Я... я не плачу...—говоритъ Пелагея, отворачиваясь.—Грѣхъ, Егоръ Власычъ! Хоть бы денекъ со мной, несчастной, пожили. Ужъ двѣнадцать лѣтъ, какъ я за васъ вышла, а... а промежъ насъ ни разу любови не было!.. Я... я не плачу...

— Любови...—бормочетъ Егоръ, почесывая руку.—Никакой любови не можетъ быть. Одно только званіе, что мы мужъ и жена, а нешто это такъ и есть? Я для тебя дикій человѣкъ есть, ты для меня простая баба, не понимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящій, а ты

работница, лапотница, въ грязи живешь, спины не разгибаешь. О себѣ я такъ понимаю, что я по охотницкой части первый человѣкъ, а ты съ жалостью на меня глядишь... Гдѣ же тутъ пара?

— Да вѣдь вѣнчаны, Егоръ Власычъ! — всхлипываетъ Пелагея.

— Не волей вѣнчаны... Нешто забыла? Графа Сергѣя Павлыча благодари... и себя. Графъ изъ зависти, что я лучше его стрѣляю, мѣсяцъ цѣлый виномъ меня спаивалъ, а пьянаго не токмо что перевѣнчать, но и въ другую вѣру совратить можно. Взялъ и въ отместку пьянаго на тебѣ женилъ... Егеря на скотницѣ! Ты видала, что я пьяный, зачѣмъ выходила? Не крѣпостная вѣдь, могла супротивъ пойти! Оно, конечно, скотницѣ счастье за егеря выйтить, да вѣдь надо разсужденіе имѣть. Ну, вотъ теперь и мучайся, плачь. Графу смѣшки, а ты плачь... бейся объ стѣну...

Наступаетъ молчаніе. Надъ сѣчей пролетаютъ три дикія утки. Егоръ глядитъ на нихъ и провожаетъ ихъ глазами до тѣхъ поръ, пока онѣ, превратившись въ три едва видныя точки, не опускаются далеко за лѣсомъ.

— Чѣмъ живешь?—спрашиваетъ онъ, переводя глаза съ утокъ на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка изъ воспитательнаго дома беру, кормлю соской. Полтора рубля въ мѣсяцъ даютъ.

— Тэкъ...

Опять молчаніе. Съ сжатой полосы несется тихая пѣсня, которая обрывается въ самомъ началѣ. Жарко пѣть...

— Сказываютъ, что вы Акулинѣ новую избу поставили,— говоритъ Пелагея.

Егоръ молчитъ.

— Стало-быть, она вамъ по-сердцу...

— Счастье ужъ твое такое, судьба! —говоритъ охотникъ, потягиваясь. — Терпи, сирота. Но одначе прощай, заболтался... Къ вечеру мнѣ въ Болтово поспѣть нужно.

Егоръ поднимается, потягивается и перекидываетъ ружье черезъ плечо. Пелагея встаетъ.

— А когда же въ деревню придете?—спрашиваетъ она тихо.

— Незачѣмъ. Тверезый никогда не приду, а отъ пьянаго тебѣ мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!

— Прощайте, Егоръ Власычъ...

Егоръ надѣваетъ картузъ на затылокъ и, чмокнувъ собакѣ, продолжаетъ свой путь. Пелагея стоитъ на мѣстѣ и глядитъ ему вслѣдъ... Она видитъ его двигающіяся лопатки, молодецкій затылокъ, лѣнивую, небрежную поступь, и глаза ея наполняются грустью и нѣжной лаской... Взглядъ ея бѣгаетъ по тощей, высокой фигурѣ мужа и ласкаетъ, нѣжитъ его... Онъ, словно чувствуетъ этотъ взглядъ, останавливается и оглядывается... Молчитъ онъ, но по его лицу, по приподнятымъ плечамъ Пелагеѣ видно, что онъ хочетъ ей сказать что-то. Она робко подходитъ къ нему и глядитъ на него умоляющими глазами.

— На тебѣ!—говоритъ онъ, отворачиваясь.

Онъ подаетъ ей истрепанный рубль и быстро отходитъ.

— Прощайте, Егоръ Власычъ!—говоритъ она, машинально принимая рубль.

Онъ идетъ по длинной, прямой, какъ вытянутый ремень, дорогѣ... Она, блѣдная, неподвижная, какъ статуя, стоитъ и ловитъ взглядомъ каждый его шагъ. Но вотъ красный цвѣтъ его рубахи сливается съ темнымъ цвѣтомъ брюкъ, шаги не видимы, собаку не отличишь отъ сапогъ. Виденъ только одинъ картузикъ, но... вдругъ Егоръ круто поворачиваетъ направо въ сѣчу, и картузикъ исчезаетъ въ зелени.

— Прощайте, Егоръ Власычъ!—шепчетъ Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще разъ увидать бѣлый картузикъ.

МЕЧТЫ.

Двое сотскихъ—одинъ чернобородый, коренастый, на необыкновенно короткихъ ножкахъ, такъ что если взглянуть на него сзади, то кажется, что у него ноги начинаются гораздо ниже, чѣмъ у всѣхъ людей, другой длинный, худой и прямой, какъ палка, съ жидкой бороденкой темно-рыжаго цвѣта—конвоируютъ въ уѣздный городъ бродягу, не помнящаго родства. Первый идетъ вразвалку, глядитъ по сторонамъ, жуетъ то соломинку, то свой рукавъ, хлопаетъ себя по бедрамъ и мурлычитъ, вообще имѣетъ видъ безпечный и легкомысленный; другой же, несмотря на свое тощее лицо и узкія плечи, выглядитъ солиднымъ, серьезнымъ и основательнымъ, складомъ и выраженіемъ всей своей фигуры походитъ на старообрядческихъ поповъ, или тѣхъ воиновъ, какихъ пишутъ на старинныхъ образахъ; ему «за мудрость Богъ лба прибавилъ», т. е. онъ плѣшивъ, что еще больше увеличиваетъ помянутое сходство. Перваго зовутъ Андрей Птаха, второго—Никандръ Сапожниковъ.

Человѣкъ, котораго они конвоируютъ, совсѣмъ не соотвѣтствуетъ тому представленію, какое имѣется у каждаго о бродягахъ. Это маленькій, тщедушный человѣкъ, слабосильный и болѣзненный, съ мелкими, безцвѣтными и крайне неопредѣленными чертами лица. Брови у него жиденькія, взглядъ покорный и кроткій, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалилъ за 30. Онъ шагаетъ несмѣло, согнувшись и засунувъ руки въ рукава. Воротникъ его не мужицкаго, драповаго, съ потертой ворсой пальтишка приподнятъ до самыхъ краевъ фуражки, такъ что только одинъ

красный носикъ осмѣливается глядѣть на свѣтъ Божій. Говоритъ онъ заискивающимъ теноркомъ, то и дѣло покашливаетъ. Трудно, очень трудно признать въ немъ бродягу, прячущаго свое родное имя. Скорѣе это обнищавшій, забытый Богомъ поповичъ-неудачникъ, прогнанный за пьянство писецъ, купеческій сынъ или племянникъ, попробовавшій свои жидкія силишки на актерскомъ поприщѣ и теперь идущій домой, чтобы разыграть послѣдній актъ изъ притчи о блудномъ сынѣ; быть-можетъ, судя по тому тупому терпѣнію, съ какимъ онъ борется съ осеннею невылазной грязью, это фанатикъ—монастырскій служка, шатающійся по русскимъ монастырямъ, упорно ищущій «житія мирна и безгрѣшна» и не находящій...

Путники давно уже идутъ, но никакъ не могутъ сойти съ небольшого клочка земли. Впереди нихъ саженъ пять грязной, чернобурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стѣна бѣлаго тумана. Они идутъ, идутъ, но земля все та же, стѣна не ближе и клочокъ остается клочкомъ. Мелькнетъ бѣлый, угловатый булыжникъ, буеракъ, или охапка сѣна, оброненная проѣзжимъ, блеснетъ ненадолго большая мутная лужа, а то вдругъ неожиданно впереди покажется тѣнь съ неопредѣленными очертаніями; чѣмъ ближе къ ней, тѣмъ она меньше и темнѣе, еще ближе—и передъ путниками вырастаетъ погнувшійся верстовой столбъ съ потертой цифрой, или же жалкая березка, мокрая, голая, какъ придорожный нищій. Березка пролепечетъ что-то остатками своихъ желтыхъ листьевъ, одинъ листокъ сорвется и лѣниво полетитъ къ землѣ... А тамъ опять туманъ, грязь, бурая трава по краямъ дороги. На травѣ виснутъ тусклыя, недобрыя слезы. Это не тѣ слезы тихой радости, какими плачетъ земля, встрѣчая и провожая лѣтнее солнце, и какими поитъ она на зарѣ перепеловъ, дергачей и стройныхъ, длинноносыхъ кроншнеповъ! Ноги путниковъ вязнутъ въ тяжелой, липкой грязи. Каждый шагъ стоитъ напряженія.

Андрей Птаха нѣсколько возбужденъ. Онъ оглядываетъ бродягу и силится понять, какъ это живой, трезвый человѣкъ можетъ не помнить своего имени.

— Да ты православный?—спрашиваетъ онъ.

— Православный,—кротко отвѣчаетъ бродяга.

— Гм!.. стало-быть, тебя крестили?

— А то какъ же? Я не турокъ. И въ церковь я хожу, и говѣю, и скоромнаго не кушаю, когда не велѣно. Леригію я исполняю въ точности...

— Ну, такъ какъ же тебя звать?

— А зови, какъ хочешь, парень.

Птаха пожимаетъ плечами и въ крайнемъ недоумѣніи хлопаетъ себя по бедрамъ. Другой же сотскій, Никандръ Сапожниковъ, солидно молчитъ. Онъ не такъ наивенъ, какъ Птаха, и, повидимому, отлично знаетъ причины, побуждающія православнаго человѣка скрывать отъ людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Онъ шагаетъ особнякомъ, не снисходитъ до праздной болтовни съ товарищами и какъ бы старается показать всѣмъ, даже туману, свою степенность и разсудительность.

— Богъ тебя знаетъ, какъ объ тебѣ понимать надо, — продолжаетъ приставать Птаха.—Мужикъ—не мужикъ, баринъ—не баринъ, а такъ, словно середка какая... Намеднись въ прудѣ я рѣшета мылъ и поймалъ такую вотъ, съ палецъ, гадючку съ зебрами и хвостомъ. Спервоначалу думалъ, что оно рыба, потомъ гляжу — чтобъ ты издохла!— лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, не то чортъ его разберетъ, что оно такое... Такъ вотъ и ты... Какого ты званія?

— Я мужикъ, крестьянскаго рода,— вздыхаетъ бродяга.— Моя маменька изъ крѣпостныхъ дворовыхъ были. Съ виду я не похожъ на мужика, это точно, потому мнѣ такая судьба вышла, добрый человѣкъ. Моя маменька при господахъ въ нянюшкахъ жили и всякое удовольствіе получали, ну, а я плоть и кровь ихняя, при нихъ состоялъ въ господскомъ домѣ. Нѣжили онѣ меня, баловали и на ту точку били, чтобъ меня изъ простого званія въ хорошіе люди вывесть. Я на кровати спалъ, каждый день настоящій обѣдъ кушалъ, брюки и полусапожки носилъ на манеръ какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тѣмъ и меня кормили; имъ господа на платье подарятъ, а онѣ меня одѣваютъ... Хорошо жилось! Сколько я конфетовъ и пряниковъ на своемъ ребячьемъ вѣку перекушалъ, такъ это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамотѣ меня маменька обучили, страхъ Божій съ измальства внушили и такъ меня приспособили, что я теперя не могу *никакого* мужицкаго, неделикатнаго слова сказать. И водки,

парень, не пью, и одѣваюсь чисто, и могу въ хорошемъ обществѣ себя содержать въ приличномъ видѣ. Коли еще живы, то дай Богъ имъ здоровья, а ежели померли, то упокой, Господи, ихъ душечку въ царствіи Твоемъ, идѣже праведные упокояются!

Бродяга обнажаетъ голову съ торчащей на ней рѣдкой щетинкой, поднимаетъ кверху глаза и осѣняетъ себя дважды крестнымъ знаменіемъ.

— Пошли ей, Господи, мѣсто злачно, мѣсто покойно!— говоритъ онъ протяжнымъ, скорѣе старушечьимъ, чѣмъ мужскимъ голосомъ.—Научи ее, Господи, рабу Твою Ксенію, оправданіемъ Твоимъ! Ежели бъ не маменька любезная, быть бы мнѣ въ простыхъ мужикахъ, безъ всякаго понятія! Теперя, парень, о чемъ меня ни спроси, я все понимаю: и свѣтское писаніе, и божественное, и всякія молитвы, и катихизицъ. И живу по писанію... Людей не забижаю, плоть содержу въ чистотѣ и цѣломудріи, посты соблюдаю, кушаю во благовременіи. У другого какого человѣка только и есть удовольствія, что водка и горлобѣсіе, а я, коли время есть, сяду въ уголкѣ и читаю книжечку. Читаю и все плачу, плачу...

— Чего жъ ты плачешь?

— Пишутъ жалостно! За иную книжечку пятачокъ дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности.

— Отецъ твой померъ?—спрашиваетъ Птаха.

— Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя, нечего грѣха таить. Я такъ объ себѣ разсуждаю, что у маменьки я былъ незаконнорожденное дитё. Моя маменька весь свой вѣкъ при господахъ жили и не желали за простого мужика выйтить...

— И на барина налетѣла,—усмѣхается Птаха.

— Не соблюли себя, это точно. Были онѣ благочестивыя, богобоязненныя, но дѣвства не сохранили. Оно, конечно, грѣхъ, великій грѣхъ, что и говорить, но зато, можетъ, во мнѣ дворянская кровь есть. Можетъ, только по званію я мужикъ, а въ естествѣ благородный господинъ.

Говоритъ все это «благородный господинъ» тихимъ, слащавымъ теноркомъ, морща свой узенькій лобикъ и издавая краснымъ, озябшимъ носикомъ скрипящіе звуки. Птаха слушаетъ, удивленно косится на него и не перестаетъ пожимать плечами.

Пройдя верстъ шесть, сотскіе и бродяга садятся на бугоркѣ отдохнуть.

— Собака и то свою кличку помнитъ,—бормочетъ Птаха.—Меня звать Андрюшка, его—Никандра, у каждаго человѣка свое святое имя есть, и никакъ это имя забыть нельзя! Никакъ!

— Кому какая надобность мое имя знать?—вздыхаетъ бродяга, подпирая кулачкомъ щеку.—И какая мнѣ отъ этого польза? Ежели бъ мнѣ дозволили идти, куда я хочу, а то вѣдь хуже теперешняго будетъ. Я, братцы православные, знаю законъ. Теперя я бродяга, непомнящій родства, и самое большее, ежели меня въ Восточную Сибирь присудятъ и 30 не то 40 плетей дадутъ, а ежели я имъ свое настоящее имя и званіе скажу, то опять они меня въ каторжную работу пошлютъ. Я знаю!

— А нешто ты былъ въ каторжной работѣ?

— Былъ, другъ милый. Четыре года съ бритой головой ходилъ и кандалы носилъ.

— За какое дѣло?

— За душегубство, добрый человѣкъ! Когда я еще мальчишкомъ былъ, этакъ годовъ восемнадцати, маменька моя по нечаянности барину, замѣсто соды и кислоты, мышьяку въ стаканъ всыпали. Коробокъ разныхъ въ кладовой много было, перепутать не трудно...

Бродяга вздыхаетъ, покачиваетъ головой и говоритъ:

— Онѣ благочестивыя были, но кто ихъ знаетъ, чужая душа—дремучій лѣсъ! Можетъ, по нечаянности, а можетъ, не могли въ душѣ своей той обиды стерпѣть, что баринъ къ себѣ новую слугу приблизилъ... Можетъ, нарочно ему всыпали, Богъ знаетъ! Малъ я былъ тогда и не понималъ всего... Теперь я помню, что баринъ, дѣйствительно, взялъ себѣ другую наложницу и маменька сильно огорчались. Почитай, насъ потомъ года два судили... Маменьку осудили на каторгу на 20 лѣтъ, меня за мое малолѣтство только на 7.

— А тебя за что?

— Какъ пособника. Стаканъ-то барину я подавалъ. Всегда такъ было: маменька приготовляли соду, а я подавалъ. Только, братцы, все это я вамъ по-христіански говорю, какъ передъ Богомъ, вы никому не разсказывайте...

— Ну, насъ и спрашивать никто не станетъ, — гово-

ритъ Птаха. — Такъ ты, значитъ, бѣжалъ съ каторги, что ли?

— Бѣжалъ, другъ милый. Насъ человѣкъ четырнадцать бѣжало. Дай Богъ здоровья, люди и сами бѣжали, и меня съ собой прихватили. Теперь ты разсуди, парень, по совѣсти, какой мнѣ резонъ званіе свое открывать? Вѣдь меня опять въ каторгу пошлютъ! А какой я каторжникъ? Я человѣкъ нѣжный, болѣзненный, люблю въ чистотѣ и поспать, и покушать. Когда Богу молюсь, я люблю лампадочку, или свѣчечку засвѣтить, и чтобъ кругомъ шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтобъ на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорокъ поклоновъ кладу утромъ и вечеромъ.

Бродяга снимаетъ фуражку и крестится.

— А въ Восточную Сибирь пущай ссылаютъ,—говоритъ онъ:—я не боюсь!

— Нешто это лучше?

— Совсѣмъ другая статья! Въ каторгѣ ты все равно, что ракъ въ лукошкѣ: тѣснота, давка, толчея, духу перевести негдѣ—сущій адъ, такой адъ, что и не приведи Царица Небесная! Разбойникъ ты и разбойничья тебѣ честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни Богу помолиться. А на поселеніи не то. На поселеніи перво-на-перво я къ обществу припишусь на манеръ прочихъ. По закону начальство обязано мнѣ пай дать... да-а! Земля тамъ, разсказываютъ, нипочемъ, все равно какъ снѣгъ: бери, сколько желаешь! Дадутъ мнѣ, парень, землю и подъ пашню, и подъ огородъ, и подъ жилье... Стану я, какъ люди, пахать, сѣять, скотъ заведу и всякое хозяйство, пчелокъ, овечекъ, собакъ... Кота сибирскаго, чтобъ мыши и крысы добра моего не ѣли... Поставлю срубъ, братцы, образовъ накуплю... Богъ дастъ, оженюсь, дѣточки у меня будутъ.

Бродяга бормочетъ и глядитъ не на слушателей, а куда-то въ сторону. Какъ ни наивны его мечтанія, но они высказываются такимъ искреннимъ, задушевнымъ тономъ, что трудно не вѣрить имъ. Маленькій ротикъ бродяги перекосило улыбкой, а все лицо, и глаза, и носикъ—застыли и отупѣли отъ блаженнаго предвкушенія далекаго счастья. Сотскіе слушаютъ и глядятъ на него серьезно, не безъ участія. Они тоже вѣрятъ.

— Не боюсь я Сибири,—продолжаетъ бормотать бродяга.—

Сибирь—такая же Россія, такой же Богъ и царь, что и тутъ, такъ же тамъ говорятъ по-православному, какъ и я съ тобой. Только тамъ приволья больше и люди богаче живутъ. Все тамъ лучше. Тамошнія рѣки, къ примѣру взять, куда лучше тутошнихъ! Рыбы, дичины этой самой—видимо-невидимо! А мнѣ, братцы, наипервѣйшее удовольствіе—рыбку ловить. Хлѣбомъ меня не корми, а только дай съ удочкой посидѣть. Ей-Богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда ледъ идетъ—наметкой ловлю. Силы-то у меня нѣту, чтобъ наметкой ловить, такъ я мужика за пятачокъ нанимаю. И Господи, что оно такое за удовольствіе! Поймаешь налима, или головля какого-нибудь, такъ словно брата родного увидѣлъ. И, скажи пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку, или кузнечика. Все вѣдь это понимать надо! Къ примѣру сказать, налимъ. Налимъ рыба неделикатная, она и ерша хватитъ, щука — пескаря любитъ, шилишперъ — бабочку. Головля, ежели на быркомъ мѣстѣ ловить, то нѣтъ лучше и удовольствія. Пустишь леску саженей въ десять безъ грузила, съ бабочкой или съ жукомъ, чтобъ приманка поверху плавала, стоишь въ водѣ безъ штановъ и пускаешь по теченію, а голавль—дергъ! Только тутъ такъ норовить надо, чтобъ онъ, проклятый, приманку не сорвалъ. Какъ только онъ дженгнулъ тебѣ за леску, такъ и подсѣкай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своемъ вѣку рыбы переловилъ! Когда вотъ въ бѣгахъ были, прочіе арестанты спятъ въ лѣсу, а мнѣ не спится, норовлю къ рѣкѣ. А рѣки тамъ широкія, быстрыя, берега крутые—страсть! По берегу все лѣса дремучіе. Деревья такія, что взглянешь на маковку и голова кружится. Ежели по тутошнимъ цѣнамъ, то за каждую сосну можно рублей десять дать.

Подъ безпорядочнымъ напоромъ грезъ, художественныхъ образовъ прошлаго и сладкаго предчувствія счастья, жалкій человѣкъ умолкаетъ и только шевелитъ губами, какъ бы шепчась съ самимъ собой. Тупая, блаженная улыбка не сходитъ съ его лица. Сотскіе молчатъ. Они задумались и поникли головами. Въ осеннюю тишину, когда холодный, суровый туманъ съ земли ложится на душу, когда онъ тюремной стѣною стоитъ передъ глазами и свидѣтельствуетъ человѣку объ ограниченности его воли, сладко бываетъ ду-

мать о широкихъ, быстрыхъ рѣкахъ съ привольными, крутыми берегами, о непроходимыхъ лѣсахъ, безграничныхъ степяхъ. Медленно и покойно рисуетъ воображеніе, какъ раннимъ утромъ, когда съ неба еще не сошелъ румянецъ зари, по безлюдному, крутому берегу маленькимъ пятномъ пробирается человѣкъ; вѣковыя мачтовыя сосны, громоздящіяся террасами по обѣ стороны потока, сурово глядятъ на вольнаго человѣка и угрюмо ворчатъ; корни, громадные камни и колючій кустарникъ заграждаютъ ему путь, но онъ силенъ плотью и бодръ духомъ, не боится ни сосенъ, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистаго эхо, повторяющаго каждый его шагъ.

Сотскіе рисуютъ себѣ картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминаютъ они образы давно слышаннаго, или же представленія о вольной жизни достались имъ въ наслѣдство вмѣстѣ съ плотью и кровью отъ далекихъ вольныхъ предковъ, Богъ знаетъ!

Первый прерываетъ молчаніе Никандръ Сапожниковъ, который доселѣ не проронилъ еще ни одного слова. Позавидовалъ ли онъ призрачному счастью бродяги, или, можетъ-быть, въ душѣ почувствовалъ, что мечты о счастьи не вяжутся съ сѣрымъ туманомъ и черно-бурой грязью, но только онъ сурово глядитъ на бродягу и говоритъ:

— Такъ-то оно такъ, все оно хорошо, только, братъ, не доберешься ты до привольныхъ мѣстовъ. Гдѣ тебѣ? Верстъ триста пройдешь и Богу душу отдашь. Вишь ты какой дохлый! Шесть верстъ прошелъ только, а никакъ отдышаться не можешь!

Бродяга медленно поворачивается въ сторону Никандра, и блаженная улыбка исчезаетъ съ его лица. Онъ глядитъ испуганно и виновато на степенное лицо сотскаго, повидимому, припоминаетъ что-то и поникаетъ головой. Опять наступаетъ молчаніе... Всѣ трое думаютъ. Сотскіе напрягаютъ умъ, чтобы обнять воображеніемъ то, что можетъ вообразить себѣ развѣ одинъ только Богъ, а именно то страшное пространство, которое отдѣляетъ ихъ отъ вольнаго края. Въ головѣ же бродяги тѣснятся картины ясныя, отчетливыя и болѣе страшныя, чѣмъ пространство. Передъ нимъ живо вырастаютъ судебная волокита, пересыльныя и каторжныя тюрьмы, арестантскіе бараки, томительныя остановки на пути, студеныя зимы, болѣзни, смерти товарищей...

Бродяга виновато моргаетъ глазами, вытираетъ рукавомъ лобъ, на которомъ выступаютъ мелкія капли, и отдувается, какъ будто только-что выскочилъ изъ жарко натопленной бани, потомъ вытираетъ лобъ другимъ рукавомъ и боязливо оглядывается.

— И впрямь тебѣ не дойтить! —соглашается Птаха.— Какой ты ходокъ? Погляди на себя: кожа да кости! Умрешь, братъ!

— Извѣстно, помретъ! Гдѣ ему!—говоритъ Никандръ.— Его и сейчасъ въ гошпиталь положутъ... Вѣрно!

Непомнящій родства съ ужасомъ глядитъ на строгія, безстрастныя лица своихъ зловѣщихъ спутниковъ и, не снимая фуражки, выпучивъ глаза, быстро крестится... Онъ весь дрожитъ, трясетъ головой и всего его начинаетъ корчить, какъ гусеницу, на которую наступили...

— Ну, пора идти,—говоритъ Никандръ, поднимаясь.— Отдохнули!

Черезъ минуту путники уже шагаютъ по грязной дорогѣ. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунулъ руки въ рукава. Птаха молчитъ.

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ.

Былъ солнечный, августовскій полдень, когда я съ однимъ русскимъ захудалымъ князькомъ подъѣхалъ къ громадному, такъ-называемому Шабельскому бору, гдѣ мы намѣревались поискать рябчиковъ. Мой князекъ, въ виду роли, которую онъ играетъ въ этомъ разсказѣ, заслуживалъ бы подробнаго описанія. Это высокій, стройный брюнетъ, еще не старый, но уже достаточно помятый жизнью, съ длинными полицеймейстерскими усами, съ черными глазами навыкатѣ и съ замашками отставного военнаго. Человѣкъ онъ недалекій, восточнаго пошиба, но честный и прямой, не бреттеръ, не фатъ и не кутила—достоинства, дающія въ глазахъ публики дипломъ на безцвѣтность и мизерность. Публикѣ онъ не нравился (въ уѣздѣ иначе не называли его, какъ «сіятельнымъ балбесомъ»), мнѣ же лично князекъ былъ до крайности симпатиченъ своими несчастьями и неудачами, изъ которыхъ безъ перерыва состояла вся его жизнь. Прежде всего, онъ былъ бѣденъ. Въ карты онъ не игралъ, не кутилъ, дѣломъ не занимался, никуда не совалъ своего носа и вѣчно молчалъ, но сумѣлъ какимъ-то образомъ растранжирить 30—40 тысячъ, оставшіяся ему послѣ отца. Одинъ Богъ знаетъ, куда дѣвались эти деньги; мнѣ извѣстно только, что много, за отсутствіемъ досмотра, было расхищено управляющими, приказчиками и даже лакеями, много прошло на займы, подачки и поручительства. Въ уѣздѣ рѣдкій помѣщикъ не состоялъ ему должнымъ. Всѣмъ просящимъ онъ давалъ и не столько изъ доброты или довѣрія къ людямъ, сколько изъ напускного джентльменства: возьми, молъ, и чувствуй мою комильфотность! Я познакомился съ нимъ, когда ужъ онъ самъ залѣзъ въ долги, узналъ вкусъ во вторыхъ закладныхъ и запутался до не-

возможности выпутаться. Бывали дни, когда онъ не об: далъ и ходилъ съ пустымъ портсигаромъ, но всегда е видѣли чистенькимъ, одѣтымъ по модѣ, и всегда отъ не шелъ густой запахъ иланг-иланга.

Вторымъ несчастьемъ князя было его круглое одиноч ство. Женатъ онъ не былъ, родныхъ и друзей не имѣл Молчаливый, скрытный характеръ и комильфотность, кот рая тѣмъ рѣзче выступала на первый планъ, чѣмъ сил нѣе хотѣлось скрыть бѣдность, мѣшали ему сближаться с людьми. Для романовъ онъ былъ тяжелъ, вялъ и холоден а потому рѣдко сходился съ женщинами...

Подъѣхавъ къ лѣсу, я и этотъ князекъ вылѣзли из брички и пошли по узкой лѣсной тропинкѣ, прятавшейс въ тѣни громадныхъ листьевъ папортника. Но не прошл мы и ста шаговъ, какъ изъ-за молодого, аршиннаго ел ника, точно изъ земли выросши, поднялась высокая, жи кая фигура съ длиннымъ овальнымъ лицомъ, въ потертом пиджакѣ, въ соломенной шляпѣ и въ лакированныхъ бо фортахъ. Въ одной рукѣ незнакомца была корзинка съ гри бами, другою онъ игриво теребилъ дешевенькую цѣпочк на жилеткѣ. Увидавъ насъ, онъ сконфузился, поправил жилетку, вѣжливо кашлянулъ и пріятно улыбнулся, точн радъ былъ видѣть такихъ хорошихъ людей, какъ мы. По томъ, совершенно неожиданно для насъ, онъ, шаркая п травѣ длинными ногами, изгибаясь всѣмъ тѣломъ и н переставая пріятно улыбаться, подошелъ къ намъ, при поднялъ шляпу и произнесъ слащавымъ голосомъ, въ ко торомъ слышалась интонація воющей собаки:

— Э-э-э... господа, какъ мнѣ ни тяжело, но я должен предупредить васъ, что въ этомъ лѣсу охота воспрещается Извините, что, не будучи знакомъ, осмѣливаюсь безпокоит васъ, но... позвольте представиться: я—Гронтовскій, гла ный конторщикъ при экономіи госпожи Кандуриной!

— Очень пріятно, но почему же нельзя охотиться?

— Такова воля владѣтельницы этого лѣса!

Я и князь переглянулись. Минута прошла въ молчані Князь стоялъ и задумчиво глядѣлъ себѣ подъ ноги н большой мухоморъ, сбитый палкой. Гронтовскій продолжал пріятно улыбаться. Все лицо его моргало, медоточило, казалось, даже цѣпочка на жилеткѣ улыбалась и старалас поразить насъ своею деликатностью. Въ воздухѣ на м

неръ тихаго ангела пролетѣлъ конфузъ; всѣмъ троимъ было неловко.

— Пустое!—сказалъ я.—Не дальше, какъ на прошлой недѣлѣ я тутъ охотился!

— Очень можетъ быть!—захихикалъ сквозь зубы Гронтовскій.—Фактически здѣсь всѣ охотятся, не глядя на запрещеніе, но разъ я съ вами встрѣтился, моя обязанность... священный долгъ предупредить васъ. Я человѣкъ зависимый. Если бы лѣсъ былъ мой, то, честное слово Гронтовскаго, я не противился бы вашему пріятному удовольствію. Но кто виноватъ, что Гронтовскій зависимъ?

Долговязый субъектъ вздохнулъ и пожалъ плечами. Я началъ спорить, кипятиться и доказывать, но чѣмъ громче и убѣдительнѣе я говорилъ, тѣмъ медовѣе и приторнѣе становилось лицо Гронтовскаго. Очевидно, сознаніе нѣкоторой власти надъ нами доставляло ему величайшее наслажденіе. Онъ наслаждался своимъ снисходительнымъ тономъ, любезностью, манерами и съ особеннымъ чувствомъ произносилъ свою звучную фамилію, которую онъ, вѣроятно, очень любилъ. Стоя передъ нами, онъ чувствовалъ себя больше чѣмъ въ своей тарелкѣ. Только судя по косымъ, конфузливымъ взглядамъ, которые онъ изрѣдка бросалъ на свою корзинку, одно лишь портило его настроеніе—это грибы, бабья, мужицкая проза, оскорблявшая его величіе.

— Не ворочаться же намъ назадъ!—сказалъ я.—Мы пятнадцать верстъ проѣхали!

— Что дѣлать!—вздохнулъ Гронтовскій.—Если бы вы изволили проѣхать не пятнадцать, а сто тысячъ верстъ, если бы даже король пріѣхалъ сюда изъ Америки, или изъ другой какой-нибудь далекой страны, то и тогда бы я счелъ за долгъ... священную, такъ сказать, обязанность...

— Этотъ лѣсъ принадлежитъ Надеждѣ Львовнѣ?—спросилъ князь.

— Да-съ, Надеждѣ Львовнѣ...

— Она теперь дома?

— Да-съ... Вотъ что, вы съѣздите къ ней—полверсты отсюда, не больше—если она дастъ вамъ записочку, то я... понятно! Ха-ха... хи-хи-съ!..

— Пожалуй,—согласился я.—Съѣздить къ ней гораздо ближе, чѣмъ ворочаться... Съѣздите къ ней, Сергѣй Иванычъ,—обратился я къ князю.—Вы съ ней знакомы.

Князь, глядѣвшій все время на сбитый мухоморъ, поднялъ на меня глаза, подумалъ и сказалъ:

— Я когда-то былъ съ ней знакомъ, но... мнѣ не совсѣмъ ловко къ ней идти. И къ тому же я плохо одѣтъ... Съѣздите вы, вы съ ней не знакомы... Вамъ удобнѣе.

Я согласился. Мы сѣли въ шарабанъ и, провожаемые улыбками Гронтовскаго, покатили по краю лѣса къ барской усадьбѣ. Съ Надеждой Львовной Кандуриной, урожденной Шабельской, знакомъ я не былъ, никогда раньше вблизи не видалъ ея и зналъ ее только по наслышкѣ. Я зналъ, что она была невылазно богата, какъ никто въ губерніи... Послѣ смерти отца, помѣщика Шабельскаго, у котораго она была единственной дочерью, осталось ей нѣсколько имѣній, конскій заводъ и много денегъ. Слышалъ я, что она, несмотря на свои 25—26 лѣтъ, некрасива, безцвѣтна, ничтожна, какъ всѣ, и выдѣляется изъ ряда обыкновенныхъ уѣздныхъ барынь только своимъ громаднымъ состояніемъ.

Мнѣ всегда казалось, что богатство ощущается и что у богачей должно быть свое особенное чувство, неизвѣстное бѣднякамъ. Часто, проѣзжая мимо большого фруктоваго сада Надежды Львовны, изъ котораго высился громадный, тяжелый домъ съ всегда занавѣшанными окнами, я думалъ: «Что чувствуетъ она въ данную минуту? есть ли тамъ за шторами счастье?» и т. д. Разъ я видѣлъ издалека, какъ она ѣхала откуда-то на хорошенькомъ легкомъ кабріолетѣ и правила красивой бѣлой лошадью и — грѣшный человѣкъ—я не только позавидовалъ ей, но даже нашелъ, что въ ея посадкѣ, въ ея движеніяхъ есть что-то особенное, чего нѣтъ у людей небогатыхъ, подобно тому, какъ люди, по натурѣ раболѣпные, въ обыкновенной наружности людей познатнѣе себя умудряются съ перваго взгляда находить породу. Внутренняя жизнь Надежды Львовны была извѣстна мнѣ только по сплетнямъ. Въ уѣздѣ говорили, что лѣтъ пять-шесть тому назадъ, еще до своего замужества, при жизни отца, она была страстно влюблена въ князя Сергѣя Ивановича, который ѣхалъ теперь рядомъ со мной въ шарабанѣ. Князь любилъ ѣздить къ старику и, бывало, цѣлые дни проводилъ у него въ бильярдной, гдѣ неутомимо, до боли въ рукахъ и ногахъ, игралъ въ пирамидку, за полгода же до смерти старика *онъ* вдругъ пересталъ бывать у Шабельскихъ. Такую рѣз-

кую перемѣну въ отношеніяхъ уѣздная сплетня, не имѣя положительныхъ данныхъ, объясняетъ всячески. Одни разсказываютъ, что князь, замѣтивъ будто бы чувство некрасивой Наденьки и не будучи въ состояніи отвѣчать взаимностью, почелъ долгомъ порядочнаго человѣка прекратить свои посѣщенія; другіе утверждаютъ, что старикъ Шабельскій, узнавъ, отчего чахнетъ его дочь, предложилъ небогатому князю жениться на ней, князь же, вообразивъ по своей недалекости, что его хотятъ купить вмѣстѣ съ титуломъ, возмутился, наговорилъ глупостей и разссорился. Что̀ въ этомъ вздорѣ правда и что̀ неправда,—трудно сказать, а что доля правды есть, видно изъ того, что князь всегда избѣгалъ разговоровъ о Надеждѣ Львовнѣ.

Мнѣ извѣстно, что вскорѣ послѣ смерти отца Надежда Львовна вышла замужъ за нѣкоего Кандурина, заѣзжаго кандидата правъ, человѣка небогатаго, но ловкаго. Вышла она не по любви, а тронутая любовью кандидата правъ, который, какъ говорятъ, прекрасно разыгрывалъ влюбленнаго. Въ описываемое мною время мужъ ея, Кандуринъ, жилъ для чего-то въ Каирѣ и писалъ оттуда своему пріятелю, уѣздному предводителю, «путевыя записки», а она, окруженная тунеядицами-приживалками, томилась за спущенными шторами и коротала свои скучные дни мелкой филантропіей.

На пути къ усадьбѣ князь разговорился.

— Ужъ три дня, какъ я не былъ у себя дома, — сказалъ онъ полушопотомъ, косясь на возницу. — Кажется, вотъ и великъ выросъ, не баба и безъ предразсудковъ, а не перевариваю судебныхъ приставовъ. Когда я вижу у себя въ домѣ судебнаго пристава, то блѣднѣю, дрожу и даже судороги въ икрахъ дѣлаются. Знаете, Рогожинъ протестовалъ мой вексель!

Князь вообще не любилъ жаловаться на плохія обстоятельства; гдѣ касалось бѣдности, тамъ онъ былъ скрытенъ, до крайности самолюбивъ и щепетиленъ, а потому это его заявленіе меня удивило. Онъ долго глядѣлъ на желтую сѣчу, согрѣваемую солнцемъ, проводилъ глазами длинную вереницу журавлей, плывшихъ въ лазуревомъ поднебесьи, и повернулся лицомъ ко мнѣ.

— А къ шестому сентября нужно готовить деньги въ банкъ... проценты за имѣнье!—сказалъ онъ вслухъ, уже не

оброненная Кандуриной, была почтенна, но я не удержался, чтобы не сказать:

— Если такъ разсуждать, то слѣдуетъ ходить босикомъ. Сапоги шьются изъ кожи убитыхъ животныхъ.

— Нужно отличать необходимость отъ прихоти, — глухо отвѣтила Кандурина.

Она уже узнала князя и не отрывала глазъ отъ его фигуры. Трудно описать восторгъ и страданіе, какими свѣтилось ея некрасивое лицо! Ея глаза улыбались и блестѣли, губы дрожали и смѣялись, а лицо тянулось ближе къ стекламъ. Держась обѣими руками за цвѣточный горшокъ, немного приподнявъ одну ногу и притаивъ дыханіе, она напоминала собаку, которая дѣлаетъ стойку и съ страстнымъ нетерпѣніемъ ожидаетъ «пиль!»

Я поглядѣлъ на нее, на князя, не сумѣвшаго солгать разъ въ жизни, и мнѣ стало досадно, горько на правду и ложь, играющихъ такую стихійную роль въ личномъ счастьи людей.

Князь вдругъ встрепенулся, прицѣлился и выстрѣлилъ. Ястребъ, летѣвшій надъ нимъ, взмахнулъ крыльями и стрѣлой понесся далеко въ сторону.

— Высоко взялъ!—сказалъ я.—Итакъ, Надежда Львовна,—вздохнулъ я, отходя отъ окна:—вы не разрѣшаете...

Кандурина молчала.

— Честь имѣю кланяться,—сказалъ я:—и прошу извинить за безпокойство...

Кандурина хотѣла-было повернуться ко мнѣ лицомъ и уже сдѣлала четверть оборота, но тотчасъ же спрятала лицо за драпировку, какъ будто почувствовала на глазахъ слезы, которыя хотѣла скрыть...

— Прощайте... Извините...—тихо сказала она.

Я поклонился ея спинѣ и, уже не разбирая ковровъ, зашагалъ по ярко-желтымъ полямъ. Мнѣ пріятно было уходить изъ этого маленькаго царства позолоченной скуки и скорби, и я спѣшилъ, точно желая встрепенуться отъ тяжелаго, фантастическаго сна съ его сумерками, Тараканової, люстрами...

У выхода догнала меня горничная и вручила мнѣ записку. «Подателямъ сего охота дозволяется. Н. К.»—прочелъ я...

НЕ ДОБРОЕ ДѢЛО.

— Кто идетъ?

Отвѣта нѣтъ. Сторожъ не видитъ ничего, но сквозь шумъ вѣтра и деревьевъ ясно слышитъ, что кто-то идетъ впереди него по аллеѣ. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю, и сторожу кажется, что земля, небо и онъ самъ со своими мыслями слились во что-то одно громадное, непроницаемо-черное. Идти можно только ощупью.

— Кто идетъ?—повторяетъ сторожъ, и ему начинаетъ казаться, что онъ слышитъ и шопотъ, и сдержанный смѣхъ. — Кто тутъ?

— Я, батюшка... — отвѣчаетъ старческій голосъ.

— Да кто ты?

— Я... прохожій.

— Какой такой прохожій? — сердито кричитъ сторожъ, желая замаскировать крикомъ свой страхъ. — Носитъ тебя здѣсь нелегкая! Таскаешься, лѣшій, ночью по кладбищу!

— Нешто тутъ кладбище?

— А то что же? Стало-быть, кладбище! Не видишь?

— О-хо-хо-ххъ... Царица Небесная!—слышится старческій вздохъ.—Ничего не вижу, батюшка, ничего... Ишь, темень-то какая, темень. Зги не видать, темень-то, батюшка! О-хо-хо-хххъ...

— Да ты кто такой?

— Я — странникъ, батюшка, странный человѣкъ.

— Черти этакіе, полунощники... Странники тоже! Пьяницы... — бормочетъ сторожъ, успокоенный тономъ и вздохами прохожаго.—Согрѣшишь съ вами! День-деньской пьютъ, а ночью носитъ ихъ нелегкая. А словно какъ будто я слыхалъ, что тутъ ты не одинъ, а словно васъ двое-трое.

— Одинъ, батюшка, одинъ. Какъ есть одинъ... О-хо-хо-хъ, грѣхи наши...

Сторожъ натыкается на человѣка и останавливается.

— Какъ же ты сюда попалъ? — спрашиваетъ онъ.

— Заблудился, человѣкъ хорошій. Шелъ на Митріевскую мельницу и заблудился.

— Эва! Нешто тутъ дорога на Митріевскую мельницу? Голова ты баранья! На Митріевскую мельницу надо идтить много лѣвѣй, прямо изъ города по казенной дорогѣ. Ты спьяна-то лишнихъ версты три сдѣлалъ. Надо-быть, нализался въ городѣ?

— Былъ грѣхъ, батюшка, былъ... Истинно, былъ, не стану грѣха таить. А какъ же мнѣ теперь-то идтить?

— А иди все прямо и прямо по этой аллеѣ, пока въ тупикъ не упрешься, а тамъ сейчасъ бери влѣво и иди покеда все кладбище пройдешь, до самой калитки. Тамъ калитка будетъ... Отопри и ступай съ Богомъ. Гляди, въ ровъ не упади. А тамъ за кладбищемъ иди все полемъ, полемъ, полемъ, пока не выйдешь на казенную дорогу.

— Дай Богъ здоровья, батюшка. Спаси, Царица Небесная, и помилуй. А то проводилъ бы, добрый человѣкъ! Будь милостивъ, проводи до калитки!

— Ну, есть мнѣ время! Иди самъ!

— Будь милостивъ, заставь Бога молить. Не вижу ничего, не видать зги, ни синь-пороха, батюшка... Темень-то, темень! Проводи, сударикъ!

— Да, есть мнѣ время провожаться! Ежели съ каждымъ няньчиться, то этакъ не напровожаешься.

— Христа-ради проводи. И не вижу, и боюсь одинъ кладбищемъ идтить. Жутко, батюшка, жутко, боюсь, жутко, добрый человѣкъ.

— Навязался ты на мою голову, — вздыхаетъ сторожъ. — Ну, ладно, пойдемъ!

Сторожъ и прохожій трогаются съ мѣста. Они идутъ рядомъ, плечо-о-плечо и молчатъ. Сырой, пронзительный вѣтеръ бьетъ имъ прямо въ лица, и невидимыя деревья, шумя и потрескивая, сыплютъ на нихъ крупные брызги... Аллея почти всплошную покрыта лужами.

— Одно мнѣ невдомекъ, — говоритъ сторожъ послѣ долгаго молчанія: — какъ ты сюда попалъ? Вѣдь ворота на замокъ заперты. Черезъ ограду перелѣзъ, что ли? Ежели черезъ ограду, то старому человѣку этакое занятіе — послѣднее дѣло!

— Не знаю, батюшка, не знаю. Какъ сюда попалъ, и самъ не знаю. Навожденіе. Наказалъ Господь. Истинно, навожденіе, лукавый попуталъ. А ты, батюшка, стало-быть, тутъ въ сторожахъ?

— Въ сторожахъ.

— Одинъ на все кладбище?

Напоръ вѣтра такъ силенъ, что оба на минуту останавливаются. Сторожъ, выждавъ, когда ослабѣетъ порывъ вѣтра, отвѣчаетъ:

— Насъ тутъ трое, да одинъ въ горячкѣ лежитъ, а другой спитъ. Мы съ нимъ чередуемся.

— Такъ, такъ, батюшка, такъ. Вѣтеръ-то, вѣтеръ какой! Чай, покойники слышатъ! Гудётъ, словно звѣрь лютой... О-хо-хо-х...

— А ты самъ откуда?

— Издалече, батюшка. Вологодскій я, дальній. По святымъ мѣстамъ хожу и за добрыхъ людей молюсь. Спаси и помилуй, Господи.

Сторожъ ненадолго останавливается, чтобы закурить трубку. Онъ присѣдаетъ за спиной прохожаго и сожигаетъ нѣсколько спичекъ. Свѣтъ первой спички, мелькнувъ, освѣщаетъ на одно мгновеніе кусокъ аллеи справа, бѣлый памятникъ съ ангеломъ и темный крестъ; свѣтъ второй спички, сильно вспыхнувшей, и потухшей отъ вѣтра, скользитъ, какъ молнія, по лѣвой сторонѣ и изъ потемокъ выдѣляется только угловая часть какой-то рѣшетки; третья спичка освѣщаетъ и справа, и слѣва бѣлый памятникъ, темный крестъ и рѣшетку вокругъ дѣтской могилки.

— Спятъ покойнички, спятъ родимые! — бормочетъ прохожій, громко вздыхая. — Спятъ и богатые, и бѣдные, и мудрые, и глупые, и добрые, и лютые. Всѣмъ имъ одна цѣна. И будутъ спать до гласа трубнаго. Царство имъ небесное, вѣчный покой.

— Теперь вотъ идемъ, а будетъ время, когда и сами лежать будемъ, — говоритъ сторожъ.

— Такъ, такъ. Всѣ, всѣ будемъ. Нѣтъ того человѣка, который не помретъ. О-хо-хо-хъ. Дѣла наши лютыя, помышленія лукавыя! Грѣхи, грѣхи! Душа моя окаянная, ненасытная, утроба чревоугодная! Прогнѣвалъ Господа и не будетъ мнѣ спасенія ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ. Завязъ въ грѣхи, какъ червякъ въ землю.

— Да, а умирать надо.

— То-то что надо.

— Страннику, чай, легче помирать, чѣмъ нашему брату... — говоритъ сторожъ.

— Странники разные бываютъ. Есть и настоящіе, которые богоугодные, блюдутъ свою душу, а есть и такіе, что по кладбищу ночью путаются, чертей тѣшатъ... да-а! Иной, который странникъ, ежели пожелаетъ, хватитъ тебя по башкѣ топорищемъ, а изъ тебя и духъ вонъ.

— Зачѣмъ ты такія слова?

— А такъ... Ну, вотъ, кажись, и калитка. Опа и есть. Отвори-ка, любезный!

Сторожъ ощупью отворяетъ калитку, выводитъ странника за рукавъ и говоритъ:

— Тутъ и конецъ кладбищу. Теперь иди все полемъ и полемъ, покеда не упрешься въ казенную дорогу. Только сейчасъ тутъ межевой ровъ будетъ, не упади... А выйдешь на дорогу, возьми вправо и такъ до самой мельницы...

— О-хо-хо-хх... — вздыхаетъ странникъ, помолчавъ. — А я теперь такъ разсуждаю, что мнѣ незачѣмъ на Митріевскую мельницу идтить... За какимъ лѣшимъ я туда пойду? Я лучше, сударикъ, здѣсь съ тобой постою...

— Зачѣмъ тебѣ со мной стоять?

— А такъ... съ тобой веселѣй...

— Тоже, нашелъ себѣ весельщика! Странникъ, ты, я вижу, любишь шутки шутить...

— Извѣстно, люблю! — говоритъ прохожій, сипло хихикая. — Ахъ ты, милый мой, любезный! Чай, долго теперь будешь вспоминать странника!

— Зачѣмъ мнѣ тебя вспоминать?

— Да такъ, обошелъ я тебя ловко... Нешто я странникъ? Я вовсе не странникъ.

— Кто же ты?

— Покойникъ... Изъ гроба только-что всталъ... Помнишь слесаря Губарева, что на масленой завѣсился? Такъ вотъ я самый и есть Губаревъ...

— Ври больше!

Сторожъ не вѣритъ, но чувствуетъ во всемъ тѣлѣ такой тяжелый и холодный страхъ, что срывается съ мѣста и начинаетъ быстро нащупывать калитку.

— Постой, куда ты? — говоритъ прохожій, хватая его

за руку. — Э-э-э... ишь ты какой! На кого же ты меня покидаешь?

— Пусти! — кричитъ сторожъ, стараясь вырвать руку

— Сто-ой! Велю стоять и стой... Не рвись, песъ поганый! Хочешь въ живыхъ быть, такъ стой и молчи, покеда велю... Не хочется только кровь проливать, а то давно бы ты у меня издохъ, паршивый... Стой!

У сторожа подгибаются колѣна. Онъ въ страхѣ закрываетъ глаза и, дрожа всѣмъ тѣломъ, прижимается къ оградѣ. Онъ хотѣлъ бы закричать, но знаетъ, что его крикъ не долетитъ до жилья... Возлѣ стоитъ прохожій и держитъ его за руку... Минуты три проходитъ въ молчаніи.

— Одинъ въ горячкѣ, другой спитъ, а третій странниковъ провожаетъ, — бормочетъ прохожій. — Хорошіе сторожа, можно жалованье платить! Нѣ-ѣтъ, братъ, воры завсегда проворнѣй сторожовъ были! Стой, стой, не шевелись...

Проходитъ въ молчаніи пять, десять минутъ. Вдругъ вѣтеръ доноситъ свистъ.

— Ну, теперь ступай, — говоритъ прохожій, отпуская руку. — Иди и Бога моли, что живъ остался.

Прохожій тоже свиститъ, отбѣгаетъ отъ калитки, и слышно, какъ онъ прыгаетъ черезъ ровъ. Предчувствуя что-то очень недоброе и все еще дрожа отъ страха, сторожъ нерѣшительно отворяетъ калитку и, закрывъ глаза, бѣжитъ назадъ. У поворота на большую аллею онъ слышитъ чьи-то торопливые шаги, и кто-то спрашиваетъ его шипящимъ голосомъ:

— Это ты, Тимоѳей? А гдѣ Митька?

А пробѣжавъ всю большую аллею, онъ замѣчаетъ въ потемкахъ маленькій тусклый огонекъ. Чѣмъ ближе къ огоньку, тѣмъ страшнѣе дѣлается и тѣмъ сильнѣе предчувствіе чего-то недобраго.

«Огонь, кажись, въ церкви, — думаетъ онъ. — Откуда ему быть тамъ? Спаси и помилуй, Владычица! Такъ оно и есть!»

Минуту сторожъ стоитъ передъ выбитымъ окномъ и съ ужасомъ глядитъ въ алтарь... Маленькая восковая свѣчка, которую забыли потушить воры, мелькаетъ отъ врывающагося въ окно вѣтра и бросаетъ тусклыя, красныя пятна на разбросанныя ризы, поваленный шкапчикъ, на многочисленные слѣды ногъ около престола и жертвенника...

Проходитъ еще немного времени, и воющій вѣтеръ разноситъ по кладбищу торопливые, неровные звуки набата...

ДОМА.

— Приходили отъ Григорьевыхъ за какой-то книгой, но я сказала, что васъ нѣтъ дома. Почтальонъ принесъ газеты и два письма. Кстати, Евгеній Петровичъ, я просила бы васъ обратить ваше вниманіе на Сережу. Сегодня и третьяго дня я замѣтила, что онъ куритъ. Когда я стала его усовѣщивать, то онъ, по обыкновенію, заткнулъ уши и громко запѣлъ, чтобы заглушить мой голосъ.

Евгеній Петровичъ Быковскій, прокуроръ окружнаго суда. только-что вернувшійся изъ засѣданія и снимавшій у себя въ кабинетѣ перчатки, поглядѣлъ на докладывавшую ему гувернантку и засмѣялся.

— Сережа куритъ... — пожалъ онъ плечами. — Воображаю себѣ этого карапуза съ папиросой! Да ему сколько лѣтъ?

— Семь лѣтъ. Вамъ кажется это не серьезнымъ, но въ его годы куреніе составляетъ вредную и дурную привычку — а дурныя привычки слѣдуетъ искоренять въ самомъ началѣ.

— Совершенно вѣрно. А гдѣ онъ беретъ табакъ?

— У васъ въ столѣ.

— Да? Въ такомъ случаѣ пришлите его ко мнѣ.

По уходѣ гувернантки, Быковскій сѣлъ въ кресло передъ письменнымъ столомъ, закрылъ глаза и сталъ думать. Онъ рисовалъ въ воображеніи своего Сережу почему-то с громадной, аршинной папироской, въ облакахъ табачнаг дыма, и эта карикатура заставляла его улыбаться; въ т же время серьезное, озабоченное лицо гувернантки вызвал въ немъ воспоминанія о давно прошедшемъ, на полови

забытомъ времени, когда куреніе въ школѣ и въ дѣтской внушало педагогамъ и родителямъ странный, не совсѣмъ понятный ужасъ. То былъ именно ужасъ. Ребятъ безжалостно пороли, исключали изъ гимназіи, коверкали имъ жизни, хотя ни одинъ изъ педагоговъ и отцовъ не зналъ, въ чемъ именно заключается вредъ и преступность куренія. Даже очень умные люди не затруднялись воевать съ порокомъ, котораго не понимали. Евгеній Петровичъ вспомнилъ своего директора гимназіи, очень образованнаго и добродушнаго старика, который такъ пугался, когда заставалъ гимназиста съ папироской, что блѣднѣлъ, немедленно собиралъ экстренный педагогическій совѣтъ и приговаривалъ виновнаго къ исключенію. Ужъ таковъ, вѣроятно, законъ общежитія: чѣмъ непонятнѣе зло, тѣмъ ожесточеннѣе и грубѣе борются съ нимъ.

Вспомнилъ прокуроръ двухъ-трехъ исключенныхъ, ихъ послѣдующую жизнь и не могъ не подумать о томъ, что наказаніе очень часто приноситъ гораздо больше зла, чѣмъ само преступленіе. Живой организмъ обладаетъ способностью быстро приспособляться, привыкать и принюхиваться къ какой угодно атмосферѣ, иначе человѣкъ долженъ былъ бы каждую минуту чувствовать, какую неразумную подкладку нерѣдко имѣетъ его разумная дѣятельность и какъ еще мало осмысленной правды и увѣренности даже въ такихъ отвѣтственныхъ, страшныхъ по результатамъ дѣятельностяхъ, какъ педагогическая, юридическая, литературная...

И подобныя мысли, легкія и расплывчатыя, какія приходятъ только въ утомленный, отдыхающій мозгъ, стали бродить въ головѣ Евгенія Петровича; являются онѣ неизвѣстно откуда и зачѣмъ, недолго остаются въ головѣ и, кажется, ползаютъ по поверхности мозга, не заходя далеко вглубь. Для людей, обязанныхъ по цѣлымъ часамъ и даже днямъ думать казенно, въ одномъ направленіи, такія вольныя, домашнія мысли составляютъ своего рода комфортъ, пріятное удобство.

Былъ девятый часъ вечера. Наверху, за потолкомъ, во второмъ этажѣ кто-то ходилъ изъ угла въ уголъ, а еще выше на третьемъ этажѣ, четыре руки играли гаммы. Шаганье человѣка, который, судя по нервной походкѣ, о чемъ-то мучительно думалъ, или же страдалъ зубною болью.

и монотонныя гаммы придавали тишинѣ вечера что-то дремотное, располагающее къ лѣнивымъ думамъ. Черезъ двѣ комнаты въ дѣтской разговаривали гувернантка и Сережа.

— Па-па пріѣхалъ!—запѣлъ мальчикъ.—Папа пріѣ-халъ! Па! па! па!

— Votre père vous appelle, allez vite! — крикнула гувернантка, пискнувъ, какъ испуганная птица. — Вамъ говорятъ!

«Что же я ему, однако, скажу?» — подумалъ Евгеній Петровичъ.

Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ надумать что-либо, въ кабинетъ уже входилъ его сынъ Сережа, мальчикъ семи лѣтъ. Это былъ человѣкъ, въ которомъ только по одеждѣ и можно было угадать его полъ: тщедушный, бѣлолицый, хрупкій... Онъ былъ вялъ тѣломъ, какъ парниковый овощъ, и все у него казалось необыкновенно нѣжнымъ и мягкимъ: движенія, кудрявые волосы, взглядъ, бархатная куртка.

— Здравствуй, папа!—сказалъ онъ мягкимъ голосомъ, полѣзая къ отцу на колѣни и быстро цѣлуя его въ шею.— Ты меня звалъ?

— Позвольте, позвольте, Сергѣй Евгеньичъ, — отвѣтилъ прокуроръ, отстраняя его отъ себя. — Прежде, чѣмъ цѣловаться, намъ нужно поговорить, и поговорить серьезно... Я на тебя сердитъ и больше тебя не люблю. Такъ и знай, братецъ: я тебя не люблю, и ты мнѣ не сынъ... Да.

Сережа пристально поглядѣлъ на отца, потомъ перевелъ взглядъ на столъ и пожалъ плечами.

— Что же я тебѣ сдѣлалъ?—спросилъ онъ въ недоумѣніи, моргая глазами. — Я сегодня у тебя въ кабинетѣ ни разу не былъ и ничего не трогалъ.

— Сейчасъ Наталья Семеновна жаловалась мнѣ, что ты куришь... Это правда? Ты куришь?

— Да, я разъ курилъ... Это вѣрно!..

— Вотъ видишь, ты еще и лжешь вдобавокъ,—сказалъ прокуроръ, хмурясь и тѣмъ маскируя свою улыбку. — Наталья Семеновна два раза видѣла, какъ ты курилъ. Значитъ, ты уличенъ въ трехъ нехорошихъ поступкахъ: куришь, берешь изъ стола чужой табакъ и лжешь. Три вины!

— Ахъ, да-а!—вспомнилъ Сережа, и глаза его улыбнулись. — Это вѣрно, вѣрно! Я два раза курилъ: сегодня и прежде.

— Вотъ видишь, значитъ не разъ, а два раза... Я очень, очень тобой недоволенъ! Прежде ты былъ хорошимъ мальчикомъ, но теперь, я вижу, испортился и сталъ плохимъ.

Евгеній Петровичъ поправилъ на Сережѣ воротничокъ и подумалъ:

«Что же еще сказать ему?».

— Да, не хорошо,—продолжалъ онъ. — Я отъ тебя не ожидалъ этого. Во-первыхъ, ты не имѣешь права брать табакъ, который тебѣ не принадлежитъ. Каждый человѣкъ имѣетъ право пользоваться только своимъ собственнымъ добромъ, ежели же онъ беретъ чужое, то... онъ нехорошій человѣкъ! (Не то я ему говорю!—подумалъ Евгеній Петровичъ). — Напримѣръ, у Натальи Семеновны есть сундукъ съ платьями. Это ея сундукъ, и мы, то-есть ни я, ни ты, не смѣемъ трогать его, такъ какъ онъ не нашъ. Вѣдь правда? У тебя есть лошадки и картинки... Вѣдь я ихъ не беру? Можетъ-быть, я и хотѣлъ бы ихъ взять, но... вѣдь онѣ не мои, а твои!

— Возьми, если хочешь!—сказалъ Сережа, поднявъ брови.—Ты, пожалуйста, папа, не стѣсняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столѣ, моя, но вѣдь я ничего... Пусть себѣ стоитъ!

— Ты меня не понимаешь, — сказалъ Быковскій. — Собачку ты мнѣ подарилъ, она теперь моя, и я могу дѣлать съ ней все, что хочу; но вѣдь табаку я не дарилъ тебѣ! Табакъ мой! (Не такъ я ему объясняю!—подумалъ прокуроръ.—Не то! Совсѣмъ не то!) Если мнѣ хочется курить чужой табакъ, то я, прежде всего, долженъ попросить позволенія...

Лѣниво цѣпляя фразу къ фразѣ и поддѣлываясь подъ дѣтскій языкъ, Быковскій сталъ объяснять сыну, что̀ значитъ собственность. Сережа глядѣлъ ему въ грудь и внимательно слушалъ (онъ любилъ по вечерамъ бесѣдовать съ отцомъ), потомъ облокотился о край стола и началъ щурить свои близорукіе глаза на бумагу и чернильницу. Взглядъ его поблуждалъ по столу и остановился на флаконѣ съ гумми-арабикомъ.

— Папа, изъ чего дѣлается клей?—вдругъ спросилъ онъ, поднося флаконъ къ глазамъ.

Быковскій взялъ изъ его рукъ флаконъ, поставилъ на мѣсто и продолжалъ:

— Во-вторыхъ, ты куришь... Это очень не хорошо! Если я курю, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что курить можно. Я курю и знаю, что это не умно, браню и не люблю себя за это... (Хитрый я педагогъ!—подумалъ прокуроръ).—Табакъ сильно вредитъ здоровью, и тотъ, кто куритъ, умираетъ раньше, чѣмъ слѣдуетъ. Особенно же вредно курить такимъ маленькимъ, какъ ты. У тебя грудь слабая, ты еще не окрѣпъ, а у слабыхъ людей табачный дымъ производитъ чахотку и другія болѣзни. Вотъ дядя Игнатій умеръ отъ чахотки. Если бы онъ не курилъ, то, быть-можетъ, жилъ бы до-сегодня.

Сережа задумчиво поглядѣлъ на лампу, потрогалъ пальцемъ абажуръ и вздохнулъ.

— Дядя Игнатій хорошо игралъ на скрипкѣ! — сказалъ онъ.—Его скрипка теперь у Григорьевыхъ!

Сережа опять облокотился о край стола и задумался. На блѣдномъ лицѣ его застыло такое выраженіе, какъ будто онъ прислушивался, или же слѣдилъ за развитіемъ собственныхъ мыслей; печаль и что-то похожее на испугъ показались въ его большихъ, не мигающихъ глазахъ. Вѣроятно, онъ думалъ теперь о смерти, которая такъ недавно взяла къ себѣ его мать и дядю Игнатія. Смерть уноситъ на тотъ свѣтъ матерей и дядей, а ихъ дѣти и скрипки остаются на землѣ. Покойники живутъ на небѣ гдѣ-то около звѣздъ и глядятъ оттуда на землю. Выносятъ ли они разлуку?

«Что я ему скажу?—думалъ Евгеній Петровичъ.—Онъ меня не слушаетъ. Очевидно, онъ не считаетъ важными ни своихъ проступковъ, ни моихъ доводовъ. Какъ втолковать ему?»

Прокуроръ поднялся и заходилъ по кабинету.

«Прежде, въ мое время, эти вопросы рѣшались замѣчательно просто,—размышлялъ онъ.—Всякаго мальчугу, уличеннаго въ куреніи, сѣкли. Малодушные и трусы, дѣйствительно, бросали курить, кто же похрабрѣе и умнѣе, тотъ послѣ порки начиналъ табакъ носить въ голенищѣ, а курить въ сараѣ. Когда его ловили въ сараѣ и опять пороли, онъ уходилъ курить на рѣку... и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока малый не выросталъ. Моя мать, чтобы я не курилъ, задаривала меня деньгами и конфектами. Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными—

Становясь на почву логики, современный педагогъ старается, чтобы ребенокъ воспринималъ добрыя начала не изъ страха, не изъ желанія отличиться или получить награду, а сознательно».

Пока онъ ходилъ и думалъ, Сережа взобрался съ ногами на стулъ сбоку стола и началъ рисовать. Чтобы онъ не пачкалъ дѣловыхъ бумагъ и не трогалъ чернилъ, на столѣ лежала пачка четвертухъ, нарѣзанныхъ нарочно для него, и синій карандашъ.

— Сегодня кухарка шинковала капусту и обрѣзала себѣ палецъ,—сказалъ онъ, рисуя домикъ и двигая бровями.— Она такъ крикнула, что мы всѣ перепугались и побѣжали въ кухню. Такая глупая! Наталья Семеновна велитъ ей мочить палецъ въ холодную воду, а она его сосетъ... И какъ она можетъ грязный палецъ брать въ ротъ! Папа, вѣдь это неприлично!

Дальше онъ разсказалъ, что во время обѣда во дворъ заходилъ шарманщикъ съ дѣвочкой, которая пѣла и плясала подъ музыку.

«У него свое теченіе мыслей! — думалъ прокуроръ.—У него въ головѣ свой мірокъ, и онъ по-своему знаетъ, что̀ важно и не важно. Чтобы овладѣть его вниманіемъ и сознаніемъ, недостаточно подтасовываться подъ его языкъ, но нужно также умѣть и мыслить на его манеръ. Онъ отлично бы понялъ меня, если бы мнѣ въ самомъ дѣлѣ было жаль табаку, если бы я обидѣлся, заплакалъ... Потому-то матери незамѣнимы при воспитаніи, что онѣ умѣютъ заодно съ ребятами чувствовать, плакать, хохотать... Логикой же и моралью ничего не подѣлаешь. Ну, что я ему еще скажу? Что?»

И Евгенію Петровичу казалось страннымъ и смѣшнымъ, что онъ, опытный правовѣдъ, полжизни упражнявшійся во всякаго рода пресѣченіяхъ, предупрежденіяхъ и наказаніяхъ, рѣшительно терялся и не зналъ, что сказать мальчику.

— Послушай, дай мнѣ честное слово, что ты больше не будешь курить,—сказалъ онъ.

— Че-естное слово!—запѣлъ Сережа, сильно надавливая карандашъ и нагибаясь къ рисунку. — Че-естное сло-во! Во! во!

«А знаетъ ли онъ, что значитъ честное слово? — спросилъ себя Быковскій.—Нѣтъ, плохой я наставникъ! Если бы

кто-нибудь изъ педагоговъ, или изъ нашихъ судейскихъ заглянулъ сейчасъ ко мнѣ въ голову, то назвалъ бы меня тряпкой и, пожалуй, заподозрилъ бы въ излишнемъ мудрованіи... Но вѣдь въ школѣ и въ судѣ всѣ эти канальскіе вопросы рѣшаются гораздо проще, чѣмъ дома: тутъ имѣешь дѣло съ людьми, которыхъ безъ ума любишь, а любовь требовательна и осложняетъ вопросъ. Если бы этотъ мальчишка былъ не сыномъ, а моимъ ученикомъ, или подсудимымъ, я не трусилъ бы такъ, и мои мысли не разбѣгались бы!..»

Евгеній Петровичъ сѣлъ за столъ и потянулъ къ себѣ одинъ изъ рисунковъ Сережи. На этомъ рисункѣ былъ изображенъ домъ съ кривой крышей и съ дымомъ, который, какъ молнія, зигзагами шелъ изъ трубъ до самаго края четвертухи; возлѣ дома стоялъ солдатъ съ точками вмѣсто глазъ и со штыкомъ, похожимъ на цифру 4.

— Человѣкъ не можетъ быть выше дома,—сказалъ прокуроръ. — Погляди: у тебя крыша приходится по плечо солдату.

Сережа полѣзъ на его колѣни и долго двигался, чтобы усѣсться поудобнѣй.

— Нѣтъ, папа!—сказалъ онъ, посмотрѣвъ на свой рисунокъ.—Если ты нарисуешь солдата маленькимъ, то у него не будетъ видно глазъ.

Нужно ли было оспаривать его? Изъ ежедневныхъ наблюденій надъ сыномъ прокуроръ убѣдился, что у дѣтей, какъ у дикарей, свои художественныя воззрѣнія и требованія своеобразныя, недоступныя пониманію взрослыхъ. При внимательномъ наблюденіи взрослому Сережа могъ показаться ненормальнымъ. Онъ находилъ возможнымъ и разумнымъ рисовать людей выше домовъ, передавать карандашомъ, кромѣ предметовъ, и свои ощущенія. Такъ, звуки оркестра онъ изображалъ въ видѣ сферическихъ, дымчатыхъ пятенъ, свистъ — въ видѣ спиральной нити... Въ его понятіи звукъ тѣсно соприкасался съ формой и цвѣтомъ, такъ что, раскрашивая буквы, онъ всякій разъ неизмѣнно звукъ Л красилъ въ желтый цвѣтъ, М—въ красный, А—въ черный и т. д.

Бросивъ рисунокъ, Сережа еще разъ подвигался, принялъ удобную позу и занялся отцовской бородой. Сначала

онъ старательно разгладилъ ее, потомъ раздвоилъ и сталъ зачесывать ее въ видѣ бакеновъ.

— Теперь ты похожъ на Ивана Степановича,—бормоталъ онъ: — а вотъ сейчасъ будешь похожъ... на нашего швейцара. Папа, зачѣмъ это швейцары стоятъ около дверей? Чтобъ воровъ не пускать?

Прокуроръ чувствовалъ на лицѣ его дыханіе, то и дѣло касался щекой его волосъ, и на душѣ у него становилось тепло и мягко, такъ мягко, какъ будто не однѣ руки, а вся душа его лежала на бархатѣ Сережиной куртки. Онъ заглядывалъ въ большіе темные глаза мальчика, и ему казалось, что изъ широкихъ зрачковъ глядѣли на него и мать, и жена, и все, что онъ любилъ когда-либо.

«Вотъ тутъ и нюри его... — думалъ онъ. — Вотъ тутъ и изволь измышлять наказанія! Нѣтъ, куда ужъ намъ въ воспитатели лѣзть. Прежде люди просты были, меньше думали, потому и вопросы рѣшали храбро. А мы думаемъ слишкомъ много, логика насъ заѣла... Чѣмъ развитѣе человѣкъ, чѣмъ больше онъ размышляетъ и вдается въ тонкости, тѣмъ онъ нерѣшительнѣе, мнительнѣе и тѣмъ съ бо̀льшею робостью приступаетъ къ дѣлу. Въ самомъ дѣлѣ, если поглубже вдуматься, сколько надо имѣть храбрости и вѣры въ себя, чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу...»

Пробило десять часовъ.

— Ну, мальчикъ, спать пора, — сказалъ прокуроръ. — Прощайся и иди.

— Нѣтъ, папа, — поморщился Сережа: — я еще посижу. Разскажи мнѣ что-нибудь! Разскажи сказку.

— Изволь, только послѣ сказки—сейчасъ же спать.

Въ свободные вечера Евгеній Петровичъ имѣлъ обыкновеніе разсказывать Сережѣ сказки. Какъ и большинство дѣловыхъ людей, онъ не зналъ наизусть ни одного стихотворенія и не помнилъ ни одной сказки, такъ что всякій разъ ему приходилось импровизировать. Обыкновенно онъ начиналъ съ шаблона. «Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ», далѣе громоздилъ всякій невинный вздоръ и, разсказывая начало, совсѣмъ не зналъ, каковы будутъ середина и конецъ. Картины, лица и положенія брались наудачу, экспромтомъ, а фабула и мораль вытекали какъ-то сами собой, помимо воли разсказчика. Сережа очень

любилъ такія импровизаціи, и прокуроръ замѣчалъ, что чѣмъ скромнѣе и незатѣйливѣе выходила фабула, тѣмъ сильнѣе она дѣйствовала на мальчика.

— Слушай,—началъ онъ, поднимая глаза къ потолку.— Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ-былъ себѣ старый, престарѣлый царь съ длинной, сѣдой бородой и... и съ этакими усищами. Ну-съ, жилъ онъ въ стеклянномъ дворцѣ, который сверкалъ и сіялъ на солнцѣ, какъ большой кусокъ чистаго льда. Дворецъ же, братецъ ты мой, стоялъ въ громадномъ саду, гдѣ, знаешь, росли апельсины... бергамоты, черешни... цвѣли тюльпаны, розы, ландыши, пѣли разноцвѣтныя птицы... Да... На деревьяхъ висѣли стеклянные колокольчики, которые, когда дулъ вѣтеръ, звучали такъ нѣжно, что можно было заслушаться. Стекло даетъ болѣе мягкій и нѣжный звукъ, чѣмъ металлъ... Ну-съ, что же еще? Въ саду били фонтаны... Помнишь, ты видѣлъ на дачѣ у тети Сони фонтанъ? Вотъ точно такіе же фонтаны стояли въ царскомъ саду, но только въ гораздо большихъ размѣрахъ и струя воды достигала верхушки самаго высокаго тополя.

Евгеній Петровичъ подумалъ и продолжалъ:

— У стараго царя былъ единственный сынъ и наслѣдникъ царства—мальчикъ, такой же маленькій, какъ ты. Это былъ хорошій мальчикъ. Онъ никогда не капризничалъ, рано ложился спать, ничего не трогалъ на столѣ и... и вообще былъ умница. Одинъ только былъ у него недостатокъ—онъ курилъ...

Сережа напряженно слушалъ и, не мигая, глядѣлъ отцу въ глаза. Прокуроръ продолжалъ и думалъ: «Что же дальше?» Онъ долго, какъ говорится, размазывалъ да жевалъ, и кончилъ такъ:

— Отъ куренія царевичъ заболѣлъ чахоткой и умеръ, когда ему было 20 лѣтъ. Дряхлый и болѣзненный старикъ остался безъ всякой помощи. Некому было управлять государствомъ и защищать дворецъ. Пришли непріятели, убили старика, разрушили дворецъ и ужъ въ саду теперь нѣтъ ни черешень, ни птицъ, ни колокольчиковъ... Такъ-то, братецъ...

Такой конецъ самому Евгенію Петровичу казался смѣшнымъ и наивнымъ, но на Сережу вся сказка произвела сильное впечатлѣніе. Опять его глаза подернулись печалью

нѣмъ-то похожимъ на испугъ; минуту онъ глядѣлъ задум-
во на темное окно, вздрогнулъ и сказалъ упавшимъ го-
сомъ:

— Не буду я больше курить...

Когда онъ проснулся и ушелъ спать, его отецъ тихо хо
л изъ угла въ уголъ и улыбался.

«Скажутъ, что тутъ подѣйствовала красота, художествен-
я форма,—размышлялъ онъ:—пусть такъ, но это не утѣ-
ительно. Все-таки это не настоящее средство... Почему
раль и истина должны подноситься не въ сыромъ видѣ,
съ примѣсями, непремѣнно въ обсахаренномъ и позоло-
нномъ видѣ, какъ пилюли? Это не нормально... Фальси-
кація, обманъ... фокусы...»

Вспомнилъ онъ присяжныхъ засѣдателей, которымъ не-
мѣнно нужно говорить «рѣчь», публику, усваивающую
орію только по былинамъ и историческимъ романамъ,
я самого, почерпавшаго житейскій смыслъ не изъ про-
ѣдей и законовъ, а изъ басенъ, романовъ, стиховъ...

Лѣкарство должно быть сладкое, истина красивая... И
блажь напустилъ на себя человѣкъ со временъ Адама...
очемъ... быть-можетъ, все это естественно и такъ и
ь должно... Мало ли въ природѣ цѣлесообразныхъ обма-
ъ, иллюзій...»

Онъ принялся работать, а лѣнивыя, домашнія мысли
го еще бродили въ его головѣ. За потолкомъ не слыша-
ь уже гаммы, но обитатель второго этажа все еще ша-
ь изъ угла въ уголъ...

ВѢДЬМА.

Время шло къ ночи. Дьячокъ Савелій Гыкинъ лея себя въ церковной сторожкѣ на громадной постели спалъ, хотя всегда имѣлъ обыкновеніе засыпать вт время съ курами. Изъ одного края засаленнаго, сп изъ разноцвѣтныхъ ситцевыхъ лоскутьевъ одѣяла гл его рыжіе, жесткіе волосы, изъ-подъ другого торчали шія, давно не мытыя ноги. Онъ слушалъ... Его сто врѣзывалась въ ограду, и единственное окно ея вых въ поле. А въ полѣ была сущая война. Трудно бы нять, кто кого сживалъ со свѣта и ради чьей погибе варилась въ природѣ каша, но судя по неумолкаемому вѣщему гулу, кому-то приходилось очень круто. Ка побѣдительная сила гонялась за кѣмъ-то по полю, вала въ лѣсу и на церковной крышѣ, злобно стучала ками по окну, метала и рвала, а что-то побѣжденное и плакало... Жалобный плачъ слышался то за окно надъ крышей, то въ печкѣ. Въ немъ звучалъ не пр на помощь, а тоска, сознаніе, что уже поздно, нѣтт сенія. Снѣжные сугробы подернулись тонкой льдяной на нихъ и на деревьяхъ дрожали слезы, по дорога тропинкамъ разливалась темная жижица изъ грязи и шаго снѣга. Однимъ словомъ, на землѣ была оттепе небо, сквозь темную ночь, не видѣло этого и что есть сыпало на таявшую землю хлопья новаго снѣга. А в

гулялъ, какъ пьяный... Онъ не давалъ этому снѣгу ложиться на землю и кружилъ его въ потемкахъ, какъ хотѣлъ.

Гыкинъ прислушивался къ этой музыкѣ и хмурился. Дѣло въ томъ, что онъ зналъ, или, по крайней мѣрѣ, догадывался, къ чему клонилась вся эта возня за окномъ и чьихъ рукъ было это дѣло.

— Я зна-аю!—бормоталъ онъ, грозя кому-то подъ одѣяломъ пальцемъ.—Я все знаю!

У окна, на табуретѣ сидѣла дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другомъ табуретѣ, словно робѣя и не вѣря въ свои силы, лила жиденькій, мелькающій свѣтъ на ея широкія плечи, красивые, аппетитные рельефы тѣла, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила изъ грубаго рядна мѣшки. Руки ея быстро двигались, все же тѣло, выраженіе глазъ, брови, жирныя губы, бѣлая шея замерли, погруженныя въ однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изрѣдка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шеѣ, взглядывала мелькомъ на окно, за которымъ бушевала метель, и опять сгибалась надъ рядномъ. Ни желаній ни грусти, ни радости—ничего не выражало ея красивое лицо съ вздернутымъ носомъ и ямками на щекахъ. Такъ ничего не выражаетъ красивый фонтанъ, когда онъ не бьетъ.

Но вотъ она кончила одинъ мѣшокъ, бросила его въ сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взглядъ на окнѣ... На стеклахъ плавали слезы и бѣлѣли недолговѣчныя снѣжинки. Снѣжинка упадетъ на стекло, взглянетъ на дьячиху и растаетъ...

— Поди ложись!—проворчалъ дьячокъ.

Дьячиха молчала. Но вдругъ рѣсницы ея шевельнулись и въ глазахъ блеснуло вниманіе. Савелій, все время наблюдавшій изъ-подъ одѣяла выраженіе ея лица, высунулъ голову и спросилъ:

— Что?

— Ничего... Кажись, кто-то ѣдетъ... — тихо отвѣтила дьячиха.

Дьячокъ сбросилъ съ себя руками и ногами одѣяло, сталъ въ постели на колѣни и тупо поглядѣлъ на жену. Робкій свѣтъ лампочки освѣтилъ его волосатое, рябое лицо и скользнулъ по всклоченной, жесткой головѣ.

— Слышишь?—спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели разслышалъ онъ едва уловимый слухомъ, тонкій, звенящій стонъ, похожій на зудѣнье комара, когда онъ хочетъ сѣсть на щеку и сердится, что ему мѣшаютъ.

— Это почта...—проворчалъ Савелій, садясь на пятки.

Въ трехъ верстахъ отъ церкви лежалъ почтовый трактъ. Во время вѣтра, когда дуло съ большой дороги на церковь, обитателямъ сторожки слышались звонки.

— Господи, приходитъ же охота ѣздить въ такую погоду!—вздохнула дьячиха.

— Дѣло казенное. Хочешь—не хочешь, поѣзжай...

Стонъ подержался въ воздухѣ и замеръ.

— Проѣхала!—сказалъ Савелій, ложась.

Но не успѣлъ онъ укрыться одѣяломъ, какъ до его слуха донесся явственный звукъ колокольчика. Дьячокъ тревожно взглянулъ на жену, спрыгнулъ съ постели и, переваливаясь съ боку на бокъ, заходилъ вдоль печки. Колокольчикъ прозвучалъ немного и опять замеръ, словно оборвался.

— Не слыхать...—пробормоталъ дьячокъ, останавливаясь и щуря на жену глаза.

Но въ это самое время вѣтеръ стукнулъ по окну и донесъ тонкій, звенящій стонъ... Савелій поблѣднѣлъ, крякнулъ и опять зашлепалъ по полу босыми ногами.

— Почту кружитъ!—прохрипѣлъ онъ, злобно косясь на жену.—Слышишь ты? Почту кружитъ!.. Я... я знаю! Нешто я не... не понимаю?—забормоталъ онъ.—Я все знаю, чтобъ ты пропала!

— Что ты знаешь?—тихо спросила дьячиха, не отрывая глазъ отъ окна.

— А то знаю, что все это твои дѣла, чертиха! Твои дѣла, чтобъ ты пропала! И метель это, и почту кружитъ... все это ты надѣлала! Ты!

— Бѣсишься, глупый...—покойно замѣтила дьячиха.

— Я за тобой давно ужъ это замѣчаю! Какъ поженился, въ первый же день примѣтилъ, что въ тебѣ сучья кровь!

— Тьфу!—удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь.—Да ты перекрестись, дурень!

— Вѣдьма и есть вѣдьма,—продолжалъ Савелій глухимъ

плачущимъ голосомъ, торопливо сморкаясь въ подолъ рубахи.—Хоть ты и жена мнѣ, хоть и духовнаго званія, но я о тебѣ и на духу такъ скажу, какая ты есть... Да какъ же? Заступи, Господи, и помилуй! Въ прошломъ годѣ подъ пророка Даніила и трехъ отроковъ была метель и—что же? мастеръ грѣться заѣхалъ. Потомъ на Алексѣя—Божьяго человѣка рѣку взломало, и урядника принесло... Всю ночь тутъ съ тобой, проклятый, калякалъ, а какъ на утро вышелъ, да какъ взглянулъ я на него, такъ у него подъ глазами круги и всѣ щеки втянуло! А? Въ Спасовку два раза гроза была, и въ оба разы охотникъ ночевать приходилъ. Я все видѣлъ, чтобъ ему пропасть! Все! О, краснѣй рака стала! Ага!

— Ничего ты не видѣлъ...

— Ну, да! А этой зимой передъ Рождествомъ на десять мучениковъ въ Критѣ, когда метель день и ночь стояла... помнишь?—писарь предводителя сбился съ дороги и сюда, собака, попалъ... И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило изъ-за него Божью погоду мутить! Чертяка, сморкунъ, изъ земли не видно, вся морда въ угряхъ и шея кривая... Добро бы, красивый былъ, а то—тьфу!—сатана!

Дьячокъ перевелъ духъ, утеръ губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванулъ надъ крышей вѣтеръ, и въ потемкахъ за окномъ опять зазвякало.

— И теперь тоже!—продолжалъ Савелій.—Недаромъ это почту кружитъ! Наплюй мнѣ въ глаза, ежели почта не тебя ищетъ! О, бѣсъ знаетъ свое дѣло, хорошій помощникъ! Покружитъ, покружитъ и сюда доведетъ. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бѣсова балаболка, похоть идольская! Какъ метель началась, я сразу понялъ твои мысли.

— Вотъ дурень! — усмѣхнулась дьячиха. — Что жъ, по твоему, по дурацкому уму, я ненастье дѣлаю?

— Гм... Усмѣхайся! Ты, или не ты, а только я замѣчаю: какъ въ тебѣ кровь начинаетъ играть, такъ и непогода, а какъ только непогода, такъ и несетъ сюда какого ни на есть безумца. Каждый разъ такъ приходится! Стало-быть, ты!

Дьячокъ для большей убѣдительности приложилъ палецъ ко лбу, закрылъ лѣвый глазъ и проговорилъ пѣвучимъ голосомъ:

— О, безуміе! О, іудино окаянство! Коли ты въ самомъ дѣлѣ человѣкъ есть, а не вѣдьма, то подумала бы въ головѣ своей: а что, если то были не мастеръ, не охотникъ не писарь, а бѣсъ въ ихъ образѣ! А? Ты бы подумала!

— Да и глупый же ты, Савелій! — вздохнула дьячиха съ жалостью глядя на мужа.—Когда папенька живы были и тутъ жили, то много разнаго народа ходило къ нимъ отъ трясучки лѣчиться: и изъ деревни, и изъ выселковъ, и изъ армянскихъ хуторовъ. Почитай, каждый день ходили, и никто ихъ бѣсами не обзывалъ. А къ намъ ежели кто разъ въ годъ въ ненастье заѣдетъ погрѣться, такъ ужъ тебѣ, глупому, и диво, сейчасъ у тебя и мысли разныя.

Логика жены тронула Савелія. Онъ разставилъ босыя ноги, нагнулъ голову и задумался. Онъ не былъ еще крѣпко убѣжденъ въ своихъ догадкахъ, а искренній, равнодушный тонъ дьячихи совсѣмъ сбилъ его съ толку, но тѣмъ не менѣе, подумавъ немного, онъ мотнулъ головой и сказалъ:

— Не то, чтобы старики, или косолапые какіе, а все молодые ночевать просятся... Почему такое? И пущай бы только грѣлись, а то вѣдь чорта тѣшатъ. Нѣтъ, баба хитрѣй вашего бабьяго рода на этомъ свѣтѣ и твари нѣтъ. Настоящаго ума въ васъ — ни Боже мой, меньше, чѣмъ у скворца, за то хитрости бѣсовской — у-у-у! — спаси, Царица Небесная! Вонъ, звонитъ почта! Метель еще только начиналась, а ужъ я всѣ твои мысли зналъ! Навѣдьмачила паучиха!

— Да что ты присталъ ко мнѣ, окаянный? — вышла изъ терпѣнія дьячиха. — Что ты присталъ ко мнѣ, смола?

— А то присталъ, что ежели нынче ночью, не дай Богъ, случится что... ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть-свѣтъ пойду въ Дьяково къ отцу Никодиму и все объясню. Такъ и такъ, скажу, отецъ Никодимъ, извините великодушно, но она вѣдьма. Почему? Гм... желаете знать почему? Извольте... Такъ и такъ. И горе тебѣ, баба! Не токмо на страшномъ судилищѣ, но и въ земной жизни наказана будешь! Недаромъ насчетъ вашего брата въ требникѣ молитвы написаны!

Вдругъ въ окнѣ раздался стукъ, такой громкій и необычайный, что Савелій поблѣднѣлъ и присѣлъ отъ испуга. Дьячиха вскочила и тоже поблѣднѣла.

— Ради Бога, пустите погрѣться! — послышался дрожащій, густой басъ. — Кто тутъ есть? Сдѣлайте милость! Съ дороги сбились!

— А кто вы? — спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.

— Почта! — отвѣтилъ другой голосъ.

— Недаромъ дьяволила!—махнулъ рукой Савелій.—Такъ и есть! Моя правда... Ну, гляди же ты мнѣ!

Дьячокъ подпрыгнулъ два раза передъ постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицомъ къ стѣнѣ. Скоро въ его спину пахнуло холодомъ. Дверь скрипнула, и на порогѣ показалась высокая человѣческая фигура, съ головы до ногъ облѣпленная снѣгомъ. За нею мелькнула другая, такая же бѣлая...

— И тюки вносить? — спросила вторая хриплымъ басомъ.

— Не тамъ же ихъ оставлять!

Сказавши это, первый началъ развязывать себѣ башлыкъ и, не дожидаясь, когда онъ развяжется, сорвалъ его съ головы вмѣстѣ съ фуражкой и со злобой швырнулъ къ печкѣ. Затѣмъ, стащивъ съ себя пальто, онъ бросилъ его туда же и, не здороваясь, зашагалъ по сторожкѣ.

Это былъ молодой, бѣлокурый почтальонъ въ истасканномъ, форменномъ сюртучишкѣ и въ рыжихъ грязныхъ сапогахъ. Согрѣвши себя ходьбой, онъ сѣлъ за столъ, протянулъ грязныя ноги къ мѣшкамъ и подперъ кулакомъ голову. Его блѣдное, съ красными пятнами лицо носило еще слѣды только-что пережитыхъ боли и страха. Искривленное злобой, со свѣжими слѣдами недавнихъ физическихъ и нравственныхъ страданій, съ тающимъ снѣгомъ на бровяхъ, усахъ и круглой бородкѣ, оно было красиво.

— Собачья жизнь! — проворчалъ почтальонъ, водя глазами по стѣнамъ и словно не вѣря, что онъ въ теплѣ. — Чуть не пропали! Коли бъ не вашъ огонь, такъ не знаю, что бы и было... И чума его знаетъ, когда все это кончится! Конца краю нѣтъ этой собачьей жизни! Куда мы заѣхали? — спросилъ онъ, понизивъ голосъ и вскидывая глазами на дьячиху.

— На Гуляевскій бугоръ, въ имѣніе генерала Калиновскаго, — отвѣтила дьячиха, встрепенувшись и краснѣя.

— Слышь, Степанъ?—повернулся почтальонъ къ ямп застрявшему въ дверяхъ съ большимъ кожанымъ тю на спинѣ. — Мы на Гуляевскій бугоръ попали!

— Да... далече!

Произнеся это слово въ формѣ хриплаго, прерывис вздоха, ямщикъ вышелъ и, немного погодя, внесъ др тюкъ поменьше, затѣмъ еще разъ вышелъ и на этотъ внесъ почтальонную саблю на широкомъ ремнѣ, похс фасономъ на тотъ длинный плоскій мечъ, съ какимъ суется на лубочныхъ картинкахъ Юдиѳь у ложа Олофе Сложивъ тюки вдоль стѣны, онъ вышелъ въ сѣни, тамъ и закурилъ трубку.

— Можетъ, съ дороги чаю покушаете? — спросила чиха.

— Куда тутъ чаи распивать!—нахмурился почтальон Надо вотъ скорѣе грѣться да ѣхать, а то къ почто поѣзду опоздаемъ. Минутъ десять посидимъ и поѣд Только вы, сдѣлайте милость, дорогу намъ покажите...

— Наказалъ Богъ погодой! — вздохнула дьячиха.

— М-да... Вы же сами кто тутъ будете?

— Мы? Тутошніе, при церкви... Мы изъ духовнаго нія... Вонъ, мой мужъ лежитъ! Савелій, встань же, иди здоровайся! Тутъ прежде приходъ былъ, а года пол назадъ его упразднили. Оно, конечно, когда господа жили, то и люди были, стоило приходъ держать, а те безъ господъ, сами судите, чѣмъ духовенству жить, е самая близкая деревня здѣсь Марковка, да и та за верстъ! Теперь Савелій заштатный и... замѣсто стор Ему споручено за церквой глядѣть...

И почтальонъ тутъ же узналъ, что если бы Савелій ѣхалъ къ генеральшѣ и выпросилъ у нея записку къ освященному, то ему дали бы хорошее мѣсто; не и же онъ къ генеральшѣ потому, что лѣнивъ и бо людей.

— Все-таки мы духовнаго званія... — добавила чиха.

— Чѣмъ же вы живете? — спросилъ почтальонъ.

— При церкви есть сѣнокосъ и огороды. Только і отъ этого мало приходится... — вздохнула дьячиха. — Д *кинскій отецъ* Никодимъ, завидущіе глаза, служитъ

на Николу лѣтняго, да на Николу зимняго и за это почти все себѣ беретъ. Заступиться некому!

— Врешь! — прохрипѣлъ Савелій. — Отецъ Никодимъ святая душа, свѣтильникъ церкви, а ежели беретъ, то по уставу!

— Какой онъ у тебя сердитый!—усмѣхнулся почтальонъ.— А давно ты замужемъ?

— Съ прощеннаго воскресенья четвертый годъ пошелъ. Тутъ прежде въ дьячкахъ мой папенька были, а потомъ, какъ пришло имъ время помирать, они, чтобъ мѣсто за мной осталось, поѣхали въ консисторію и попросили, чтобъ мнѣ какого-нибудь неженатаго дьячка въ женихи прислали. Я и вышла.

— Ага, стало-быть, ты одной хлопушкой двухъ мухъ убилъ! — сказалъ почтальонъ, глядя на спину Савелія. — И мѣсто получилъ, и жену взялъ.

Савелій нетерпѣливо дрыгнулъ ногой и ближе придвинулся къ стѣнкѣ. Почтальонъ вышелъ изъ-за стола, потянулся и сѣлъ на почтовый тюкъ. Немного подумавъ, онъ помялъ руками тюки, переложилъ саблю на другое мѣсто и растянулся, свѣсивъ на полъ одну ногу.

— Собачья жизнь... — пробормоталъ онъ, кладя руки подъ голову и закрывая глаза. — И лихому татарину такой жизни не пожелаю.

Скоро наступила тишина. Слышно было только, какъ сопѣлъ Савелій, да какъ уснувшій почтальонъ, мѣрно и медленно дыша, при всякомъ выдыханіи испускалъ густое, протяжное «к-х-х-х...» Изрѣдка въ его горлѣ поскрипывало какое-то колесико, да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.

Савелій заворочался подъ одѣяломъ и медленно оглянулся. Дьячиха сидѣла на табуретѣ и, сдавивъ щеки ладонями, глядѣла въ лицо почтальона. Взглядъ ея былъ неподвижный, какъ у удивленнаго, испуганнаго человѣка.

— Ну, чего воззрилась? — сердито прошепталъ Савелій.

— А тебѣ что? Лежи! — отвѣтила дьячиха, не отрывая глазъ отъ бѣлокурой головы.

Савелій сердито выдыхнулъ изъ груди весь воздухъ и рѣзко повернулся къ стѣнѣ. Минуты черезъ три онъ опять безпокойно заворочался, сталъ въ постели на колѣни и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все

еще не двигалась и глядѣла на гостя. Щеки ея поблѣднѣли, и взглядъ загорѣлся какимъ-то страннымъ огнемъ. Дьячокъ крякнулъ, сползъ на животѣ съ постели и, подойдя къ почтальону, прикрылъ его лицо платкомъ.

— Зачѣмъ ты это? — спросила дьячиха.

— Чтобъ огонь ему въ глаза не билъ.

— А ты огонь совсѣмъ потуши!

Савелій недовѣрчиво поглядѣлъ на жену, потянулся губами къ лампочкѣ, но тотчасъ же спохватился и всплеснулъ руками.

— Ну, не хитрость ли бѣсовская? — воскликнулъ онъ. — А? Ну, есть ли какая тварь хитрѣе бабьяго роду?

— А, сатана длиннополая! — прошипѣла дьячиха, поморщившись отъ досады. — Погоди же!

И поудобнѣе усѣвшись, она опять уставилась на почтальона.

Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, какъ общій видъ, новизна этого человѣка. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивыя, тонкія, а мускулистыя, стройныя ноги были гораздо красивѣе и мужественнѣе, чѣмъ двѣ «кулдышки» Савелія. Даже сравнивать было невозможно.

— Хоть я и длиннополый нечистый духъ, — проговорилъ, немного постоявъ, Савелій: — а тутъ имъ нечего спать... Да... Дѣло у нихъ казенное, мы же отвѣчать будемъ, зачѣмъ ихъ тутъ держали. Коли везешь почту, такъ вези, а спать нечего... Эй, ты! — крикнулъ Савелій въ сѣни. — Ты, ямщикъ... какъ тебя? Проводить васъ, что ли? Вставай, нечего съ почтой спать!

И расходившійся Савелій подскочилъ къ почтальону и дернулъ его за рукавъ.

— Эй, ваше благородіе! Ѣхать, такъ ѣхать, а коли не ѣхать, такъ и не тово... Спать не годится.

Почтальонъ вскочилъ, сѣлъ, обвелъ мутнымъ взглядомъ сторожку и опять легъ.

— А ѣхать же когда? — забарабанилъ языкомъ Савелій, дергая его за рукавъ. — На то вѣдь она и почта, чтобъ во благовременіи поспѣвать, слышишь? Я провожу.

Почтальонъ открылъ глаза. Согрѣтый и изнеможенный *сладкимъ первымъ* сномъ, еще не совсѣмъ проснувшійся,

онъ увидѣлъ, какъ въ туманѣ, бѣлую шею и неподвижный, масляный взглядъ дьячихи, закрылъ глаза и улыбнулся, точно ему все это снилось.

— Ну, куда въ такую погоду ѣхать! — услышалъ онъ мягкій женскій голосъ. — Спали бы себѣ да спали на доброе здоровье!

— А почта? — встревожился Савелій. — Кто же почту-то повезетъ? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальонъ снова открылъ глаза, взглянулъ на двигающіяся ямки на лицѣ дьячихи, вспомнилъ, гдѣ онъ, понялъ Савелія. Мысль, что ему предстоитъ ѣхать въ холодныхъ потемкахъ, побѣжала изъ головы по всему тѣлу холодными мурашками, и онъ поежился.

— Пять минутокъ еще бы можно поспать... — зѣвнулъ онъ. — Все равно опоздали...

— А можетъ, какъ разъ во-время пріѣдемъ! — послышался голосъ изъ сѣней. — Гляди, неровенъ часъ и самъ поѣздъ на наше счастье опоздаетъ.

Почтальонъ поднялся и, сладко потягиваясь, сталъ надѣвать пальто.

Савелій, видя, что гости собираются уѣзжать, даже заржалъ отъ удовольствія.

— Помоги, что ль! — крикнулъ ему ямщикъ, поднимая съ пола тюкъ.

Дьячокъ подскочилъ къ нему и вмѣстѣ съ нимъ потащилъ на дворъ почтовую кладу. Почтальонъ сталъ распутывать узелъ на башлыкѣ. А дьячиха заглядывала ему въ глаза и словно собиралась залѣзть ему въ душу.

— Чаю бы попили... — сказала она.

— Я бы ничего... да вотъ они собрались! — соглашался онъ. — Все равно опоздали.

— А вы останьтесь! — шепнула она, опустивъ глаза и трогая его за рукавъ.

Почтальонъ развязалъ, наконецъ, узелъ и въ нерѣшимости перекинулъ башлыкъ черезъ локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

— Какая у тебя... шея...

И онъ коснулся двумя пальцами ея шеи. Видя, что ему не сопротивляются, онъ погладилъ рукой шею, плечо...

— Фу, какая...

— Остались бы... чаю попили бы.

— Куда кладешь? Ты, кутья съ патокой! — послы со двора голосъ ямщика. — Поперекъ клади.

— Остались бы... Ишь, какъ воетъ погода!

И не совсѣмъ еще проснувшимся, не успѣвшимъ с нуть съ себя обаяніе молодого томительнаго сна поч номъ вдругъ овладѣло желаніе, ради котораго забыв тюки, почтовые поѣзда... все на свѣтѣ. Испуганно, с желая бѣжать, или спрятаться, онъ взглянулъ на схватилъ за талію дьячиху и ужъ нагнулся надъ ла кой, чтобы потушить огонь, какъ въ сѣняхъ застучал ноги и на порогѣ показался ямщикъ... Изъ-за его выглядывалъ Савелій. Почтальонъ быстро опустилъ р остановился словно въ раздумьи.

— Все готово! — сказалъ ямщикъ.

Почтальонъ постоялъ немного, рѣзко мотнулъ го: какъ окончательно проснувшійся, и пошелъ за ямщи Дьячиха осталась одна.

— Что же садись, показывай дорогу! — услышала

Лѣниво зазвучалъ одинъ колокольчикъ, затѣмъ дру: звенящіе звуки мелкой, длинной цѣпочкой понеслис сторожки.

Когда они мало-по-малу затихли, дьячиха рванула мѣста и нервно заходила изъ угла въ уголъ. Сначал была блѣдна, потомъ же вся раскраснѣлась. Лицо ея зилось ненавистью, дыханіе задрожало, глаза забле дикой, свирѣпой злобой и, шагая какъ въ клѣткѣ, он ходила на тигрицу, которую пугаютъ раскаленнымъ зомъ. На минуту остановилась она и взглянула на жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, т шаяся вдоль всей стѣны и состоявшая изъ грязной пе сѣрыхъ жесткихъ подушекъ, одѣяла и разнаго безымя тряпья. Эта постель представляла собой безформенны красивый комъ, почти такой же, какой торчалъ на г Савелія всегда, когда тому приходила охота маслить волосы. Отъ постели до двери, выходившей въ х ныя сѣни, тянулась темная печка съ горшками и щими тряпками. Все, не исключая и только-что вы шаго Савелія, было до-нельзя грязно, засалено, закоп такъ что было странно видѣть среди такой обстанов

лую шею и тонкую, нѣжную кожу женщины. Дьячиха подбѣжала къ постели, протянула руки, какъ бы желая раскидать, растоптать и изорвать въ пыль все это, но потомъ, словно испугавшись прикосновенія къ грязи, она отскочила назадъ и опять зашагала...

Когда часа черезъ два вернулся облѣпленный снѣгомъ и замученный Савелій, она уже лежала раздѣтая въ постели. Глаза у нея были закрыты, но по мелкимъ судорогамъ, которыя бѣгали по ея лицу, онъ догадался, что она не спитъ. Возвращаясь домой, онъ далъ себѣ слово до завтра молчать и не трогать ея, но тутъ не вытерпѣлъ, чтобы не уязвить.

— Даромъ только ворожила: уѣхалъ!—сказалъ онъ, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха молчала, только подбородокъ ея дрогнулъ. Савелій медленно раздѣлся, перелѣзъ черезъ жену и легъ къ стѣнкѣ.

— А вотъ завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена!—пробормоталъ онъ, съеживаясь калачикомъ.

Дьячиха быстро повернулась къ нему лицомъ и сверкнула на него глазами.

— Будетъ съ тебя и мѣста,—сказала она:—а жену поищи себѣ въ лѣсу! Какая я тебѣ жена? Да чтобъ ты треснулъ! Вотъ еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости Господи!

— Ну, ну... Спи!

— Несчастная я!—зарыдала дьячиха.—Коли бъ не ты, я, можетъ, за купца бы вышла, или за благороднаго какого! Коли бъ не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снѣгомъ, не замерзъ ты тамъ на большой дорогѣ, иродъ!

Долго плакала дьячиха. Въ концѣ концовъ она глубоко вздохнула и утихла. За окномъ все еще злилась вьюга. Въ печкѣ, въ трубѣ, за всѣми стѣнами что-то плакало, а Савелію казалось, что это у него внутри и въ ушахъ плачетъ. Сегодняшнимъ вечеромъ онъ окончательно убѣдился въ своихъ предположеніяхъ относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась вѣтрами и почтовыми тройками, въ этомъ ужъ онъ болѣе не сомнѣвался. Но, къ сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщинѣ особую непонятную прелесть, какой онъ и

не замѣчалъ ранѣе. Оттого, что онъ по глупости, самъ того не замѣчая, опоэтизировалъ ее, она стала какъ будто бѣлѣе, глаже, неприступнѣе...

— Вѣдьма!—негодовалъ онъ.—Тьфу, противная!

А между тѣмъ, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, онъ коснулся пальцемъ ея затылка... подержалъ въ рукѣ ея толстую косу. Она не слышала... Тогда онъ сталъ смѣлѣе и погладилъ ее по шеѣ.

— Отстань!—крикнула она и такъ стукнула его локтемъ въ переносицу, что изъ глазъ его посыпались искры.

Боль въ переносицѣ скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.

ВѢРОЧКА.

Иванъ Алексѣевичъ Огневъ помнитъ, какъ въ тотъ августовскій вечеръ онъ со звономъ отворилъ стеклянную дверь и вышелъ не террасу. На немъ была тогда легкая крылатка и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вмѣстѣ съ ботфортами валяется теперь въ пыли подъ кроватью. Въ одной рукѣ онъ держалъ большую вязку книгъ и тетрадей, въ другой—толстую, суковатую палку.

За дверью, освѣщая ему путь лампой, стоялъ хозяинъ дома Кузнецовъ, лысый старикъ съ длинной, сѣдой бородой и въ бѣломъ, какъ снѣгъ, пикейномъ пиджакѣ. Старикъ благодушно улыбался и кивалъ головой.

— Прощайте, старче!—крикнулъ ему Огневъ.

Кузнецовъ поставилъ лампу на столикъ и вышелъ на террасу. Двѣ длинныя, узкія тѣни шагнули черезъ ступени къ цвѣточнымъ клумбамъ, закачались и уперлись головами въ стволы липъ.

— Прощайте, и еще разъ спасибо, голубчикъ!—сказалъ Иванъ Алексѣичъ. — Спасибо вамъ за ваше радушіе, за ваши ласки, за вашу любовь... Никогда, во вѣки вѣковъ не забуду вашего гостепріимства. И вы хорошій, и дочка ваша хорошая, и всѣ у васъ тутъ добрые, веселые, радушные... Такая великолѣпная публика, что и сказать не умѣю!

Отъ избытка чувствъ и подъ вліяніемъ только-что выпитой наливки, Огневъ говорилъ пѣвучимъ семинарскимъ голосомъ и былъ такъ растроганъ, что выражалъ свои чувства не столько словами, сколько морганьемъ глазъ и подергиваньемъ плечъ. Кузнецовъ, тоже подвыпившій и рас-

троганный, потянулся къ молодому человѣку и поцѣловался съ нимъ.

— Привыкъ я къ вамъ, какъ лягавый! — продолжалъ Огневъ.—Почти каждый день къ вамъ шлялся, разъ десять ночевалъ, а наливки выпилъ столько, что теперь вспоминать страшно. А главное, за что спасибо, Гавріилъ Петровичъ, такъ это за ваше содѣйствіе и помощь. Безъ васъ я со своей статистикой до октября бы тутъ возился. Такъ и напишу въ предисловіи: «Считаю долгомъ выразить мою благодарность предсѣдателю N-ской уѣздной земской управы Кузнецову за его любезное содѣйствіе». У статистики блестящая будущность! Вѣрѣ Гавриловнѣ нижайшій поклонъ, а докторамъ, обоимъ слѣдователямъ и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду ихъ помощи! А теперь, старче, обымемъ другъ друга и сотворимъ послѣднее лобзаніе.

Раскисшій Огневъ еще разъ поцѣловался со старикомъ и сталъ спускаться внизъ. На послѣдней ступени онъ оглянулся и спросилъ:

— Увидимся еще когда-нибудь?

— Богъ знаетъ!—отвѣтилъ старикъ.—Вѣроятно, никогда!

— Да, правда! Въ Питеръ васъ и калачомъ не заманишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь въ этотъ уѣздъ. Ну, прощайте!

— Вы бы книги тутъ оставили!—крикнулъ ему вслѣдъ Кузнецовъ. — Что вамъ за охота тащить такую тяжесть? Я вамъ завтра ихъ съ человѣкомъ прислалъ бы.

Но Огневъ уже не слушалъ и быстро удалялся отъ дома. На душѣ его, подогрѣтой виномъ, было и весело, и тепло, и грустно... Онъ шелъ и думалъ о томъ, какъ часто приходится въ жизни встрѣчаться съ хорошими людьми и какъ жаль, что отъ этихъ встрѣчъ не остается ничего больше, кромѣ воспоминаній. Бываетъ такъ, что на горизонтѣ мелькнутъ журавли, слабый вѣтеръ донесетъ ихъ жалобно-восторженный крикъ, а черезъ минуту, съ какою жадностью ни вглядывайся въ синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука—такъ точно люди съ ихъ лицами и рѣчами мелькаютъ въ жизни и утопаютъ въ нашемъ прошломъ, не оставляя ничего больше, кромѣ ничтожныхъ слѣдовъ памяти. Живя съ самой весны въ N—скомъ уѣздѣ и бывая почти каждый день у радушныхъ Кузнецовыхъ,

Иванъ Алексѣичъ привыкъ, какъ къ роднымъ, къ старику, къ его дочери, къ прислугѣ, изучилъ до тонкостей весь домъ, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьевъ надъ кухней и баней; но выйдетъ онъ сейчасъ за калитку, и все это обратится въ воспоминаніе и утеряетъ для него навсегда свое реальное значеніе, а пройдетъ годъ—два, и всѣ эти милые образы потускнѣютъ въ сознаніи наравнѣ съ вымыслами и плодами фантазіи.

«Въ жизни ничего нѣтъ дороже людей!—думалъ растроганный Огневъ, шагая по аллеѣ къ калиткѣ.—Ничего!»

Въ саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табакомъ и геліотропомъ, которые еще не успѣли отцвѣсти на клумбахъ. Промежутки между кустами и стволами деревьевъ были полны тумана, не густого, нѣжнаго, пропитаннаго насквозь луннымъ свѣтомъ, и, что надолго осталось въ памяти Огнева, клочья тумана, похожіе на привидѣнія, тихо, но замѣтно для глаза, ходили другъ за дружкой поперекъ аллей. Луна стояла высоко надъ садомъ, а ниже ея куда-то на востокъ неслись прозрачныя туманныя пятна. Весь міръ, казалось, состоялъ только изъ черныхъ силуэтовъ и бродившихъ бѣлыхъ тѣней, а Огневъ, наблюдавшій туманъ въ лунный августовскій вечеръ чуть ли не первый разъ въ жизни, думалъ, что онъ видитъ не природу, а декорацію, гдѣ неумѣлые пиротехники, желая освѣтить садъ бѣлымъ бенгальскимъ огнемъ, засѣли подъ кусты и вмѣстѣ со свѣтомъ напустили въ воздухъ и бѣлаго дыма.

Когда Огневъ подходилъ къ садовой калиткѣ, отъ невысокаго палисадника отдѣлилась темная тѣнь и пошла къ нему навстрѣчу.

— Вѣра Гавриловна!—обрадовался онъ.— Вы тутъ? А я искалъ-искалъ, хотѣлъ проститься... Прощайте, я ухожу!

— Такъ рано? Вѣдь еще одиннадцать часовъ.

— Нѣтъ, пора! Идти пять верстъ, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать...

Передъ Огневымъ стояла дочь Кузнецова Вѣра, дѣвушка 21 года, по обыкновенію грустная, небрежно одѣтая и интересная. Дѣвушки, которыя много мечтаютъ и по цѣлымъ днямъ читаютъ лежа и лѣниво все, что попадется имъ подъ руки, которыя скучаютъ и грустятъ, одѣваются вообще небрежно. Тѣмъ изъ нихъ, которыхъ природа одарила вкусомъ и инстинктомъ красоты, эта легкая небреж-

ность въ одеждѣ придаетъ особую прелесть. По крайней мѣрѣ Огневъ, вспоминая впослѣдствіи о хорошенькой Вѣрочкѣ, не могъ себѣ представить ее безъ просторной кофточки, которая мялась у таліи въ глубокія складки и все-таки не касалась стана, безъ локона, выбившагося на лобъ изъ высокой прически, безъ того краснаго вязанаго платка съ мохнатыми шариками по краямъ, который вечерами, какъ флагъ въ тихую погоду, уныло виснулъ на плечѣ Вѣрочки, а днемъ валялся скомканный въ передней, около мужскихъ шапокъ, или же въ столовой на сундукѣ, гдѣ безцеремонно спала на немъ старая кошка. Отъ этого платка и отъ складокъ кофточки такъ и вѣяло свободною лѣнью, домосѣдствомъ, благодушіемъ. Быть-можетъ, оттого, что Вѣра нравилась Огневу, онъ въ каждой пуговкѣ и оборочкѣ умѣлъ читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватаетъ у женщинъ неискреннихъ, лишенныхъ чувства красоты и холодныхъ.

Вѣрочка была хорошо сложена, имѣла правильный профиль и красивые вьющіеся волосы. Огневу, который на своемъ вѣку мало видѣлъ женщинъ, она казалась красавицей.

— Уѣзжаю!—говорилъ онъ, прощаясь съ нею около калитки.—Не поминайте лихомъ! Спасибо за все!

Тѣмъ же пѣвучимъ семинарскимъ голосомъ, какимъ онъ бесѣдовалъ со старикомъ, такъ же моргая и подергивая плечами, сталъ онъ благодарить Вѣру за гостепріимство, ласки и радушіе.

— О васъ писалъ я матери въ каждомъ письмѣ,—говорилъ онъ.—Если бы всѣ такіе были, какъ вы да вашъ батька, то не житье было бы на свѣтѣ, а масленая. У васъ вся публика великолѣпная! Народъ все простой, сердечный, искренній.

— Вы теперь куда ѣдете?—спросила Вѣра.

— Теперь ѣду къ матери въ Орелъ, побуду у нея недѣльки двѣ, а тамъ—въ Питеръ на работу.

— А потомъ?

— Потомъ? Всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь въ уѣздъ матеріалы собирать. Ну, будьте счастливы, живите сто лѣтъ... не поминайте лихомъ. Больше не увидимся.

Огневъ нагнулся и поцѣловалъ Вѣрочкину руку. Затѣмъ въ молчаливомъ волненіи онъ поправилъ на себѣ крылатку, взялъ поудобнѣе вязку книгъ, помолчалъ и сказалъ:

— Туману-то сколько навалило!

— Да. Вы у насъ ничего не забыли?

— Что же? Кажется, ничего...

Нѣсколько секундъ Огневъ постоялъ молча, потомъ неуклюже повернулся къ калиткѣ и вышелъ изъ сада.

— Постойте, я васъ до нашего лѣса провожу,—сказала Вѣра, выходя за нимъ.

Они пошли по дорогѣ. Теперь ужъ деревья не заслоняли простора, и можно было видѣть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрѣла ея красота; туманъ, что погуще и побѣлѣе, неравномѣрно ложился около копенъ и кустовъ, или клочьями бродилъ черезъ дорогу, жался къ землѣ и какъ будто старался не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся дорога до лѣса съ темными канавами по бокамъ и съ мелкими кустами, которые росли въ канавахъ и мѣшали бродить туманнымъ клочьямъ. Въ полуверстѣ отъ калитки темнѣла полоса кузнецовскаго лѣса.

«Зачѣмъ она со мной пошла? Вѣдь ее придется провожать назадъ!»—подумалъ Огневъ, но, поглядѣвъ на профиль Вѣры, онъ ласково улыбнулся и сказалъ:

— Не хочется уѣзжать въ такую хорошую погоду! Вечеръ настоящій романическій, съ луной, съ тишиной и со всѣми онерами. Знаете что, Вѣра Гавриловна? Живу я на свѣтѣ 29 лѣтъ, но у меня въ жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической исторіи, такъ что съ рандеву, съ аллеями вздоховъ и поцѣлуями я знакомъ только по наслышкѣ. Ненормально! Въ городѣ, когда сидишь у себя въ номерѣ, не замѣчаешь этого пробѣла, но тутъ, на свѣжемъ воздухѣ, онъ сильно чувствуется... Какъ-то обидно дѣлается!

— Отчего же вы такъ?

— Не знаю. Вѣроятно, всю жизнь некогда было, а можетъ-быть, просто встрѣчаться не приходилось съ такими женщинами, которыя... Вообще у меня мало знакомыхъ, и я нигдѣ не бываю.

Шаговъ триста молодые люди прошли молча. Огневъ по-

глядывалъ на открытую голову и платокъ Вѣрочки, и въ душѣ его одинъ за другимъ воскресали весенніе и лѣтніе дни; то было время, когда вдали отъ своего сѣраго петербургскаго номера, наслаждаясь ласками хорошихъ людей, природой и любимымъ трудомъ, не успѣвалъ онъ замѣчать, какъ утреннія зори смѣнялись вечерними и какъ одинъ за другимъ, пророча конецъ лѣта, переставали пѣть сначала соловей, потомъ перепелъ, а немного позже коростель... Время летѣло незамѣтно, значитъ, жилось хорошо и легко... Сталъ онъ припоминать вслухъ о томъ, съ какою неохотою онъ, небогатый, непривычный къ движеніямъ и людямъ, въ концѣ апрѣля ѣхалъ сюда въ N—скій уѣздъ, гдѣ ожидалъ встрѣтить скуку, одиночество и равнодушіе къ статистикѣ, которая, по его мнѣнію, среди наукъ занимаетъ теперь самое видное мѣсто. Пріѣхавъ апрѣльскимъ утромъ въ уѣздный городишко N, онъ остановился на постояломъ дворѣ старовѣра Рябухина, гдѣ за двугривенный въ сутки ему дали свѣтлую и чистую комнату съ условіемъ, что курить онъ будетъ на улицѣ. Отдохнувъ и справившись, кто въ уѣздѣ состоитъ предсѣдателемъ земской управы, онъ не медля пошелъ пѣшкомъ къ Гавріилу Петровичу. Пришлось идти четыре версты роскошными лугами и молодыми рощами. Подъ облаками, заливая воздухъ серебряными звуками, дрожали жаворонки, а надъ зеленѣющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи.

— Господи, — удивлялся тогда Огневъ: — неужели тутъ всегда дышатъ такимъ воздухомъ, или это такъ пахнетъ только сегодня, ради моего пріѣзда?

Ожидая сухого дѣлового пріема, къ Кузнецовымъ вошелъ онъ не смѣло, глядя исподлобья и застѣнчиво теребя свою бородку. Старикъ сначала морщилъ лобъ и не понималъ, зачѣмъ это молодому человѣку и его статистикѣ могла понадобиться земская управа, но когда тотъ пространно объяснилъ ему, что такое статистическій матеріалъ и гдѣ онъ собирается, Гавріилъ Петровичъ оживился, заулыбался и съ ребяческимъ любопытствомъ сталъ заглядывать въ его тетрадки... Вечеромъ того же дня Иванъ Алексѣичъ уже сидѣлъ у Кузнецовыхъ за ужиномъ, быстро хмелѣлъ отъ крѣпкой наливки и, глядя на покойныя лица и лѣнивыя движенія своихъ новыхъ знакомыхъ, чувствовалъ во всемъ своемъ тѣлѣ сладкую, дремотную лѣнь, когда хочется спать —

потягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отецъ и мать, сколько онъ зарабатываетъ въ мѣсяцъ, часто ли бываетъ въ театрахъ...

Припомнилъ Огневъ свои разъѣзды по волостямъ, пикники, рыбныя ловли, поѣздку всѣмъ обществомъ въ дѣвичій монастырь къ игуменьѣ Мароѣ, которая каждому изъ гостей подарила по бисерному кошельку, припомнилъ горячіе, нескончаемые, чисто-русскіе споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимаютъ и перебиваютъ другъ друга, сами того не замѣчая, противорѣчатъ себѣ въ каждой фразѣ, то и дѣло мѣняютъ тему и, поспоривъ часа два-три, смѣются:

— Чортъ знаетъ, изъ-за чего мы споръ подняли! Начали о здравіи, а кончили за упокой!

— А помните, какъ я, вы и докторъ ѣздили верхомъ въ Шестово?—говорилъ Иванъ Алексѣичъ Вѣрѣ, подходя съ нею къ лѣсу.—Тогда еще намъ юродивый встрѣтился. Я далъ ему пятакъ, а онъ три раза перекрестился и бросилъ мой пятакъ въ рожь. Господи, сколько я увожу съ собой впечатлѣній, что если бы можно было собрать ихъ въ компактную массу, то получился бы хорошій слитокъ золота! Не понимаю, зачѣмъ это умные и чувствующіе люди тѣснятся въ столицахъ и не идутъ сюда? Развѣ на Невскомъ и въ большихъ сырыхъ домахъ больше простора и правды, чѣмъ здѣсь? Право, мнѣ мои меблированныя комнаты, сверху до низу начиненныя художниками, учеными и журналистами, всегда казались предразсудкомъ.

Въ двадцати шагахъ отъ лѣса черезъ дорогу лежалъ небольшой узкій мостикъ со столбиками по угламъ, который всегда во время вечернихъ прогулокъ служилъ Кузнецовымъ и ихъ гостямъ маленькой станціей. Отсюда желающіе могли дразнить лѣсное эхо, и видно было, какъ дорога исчезала въ черной просѣкѣ.

— Ну, вотъ и мостикъ!—сказалъ Огневъ.—Тутъ вамъ поворачивать назадъ...

Вѣра остановилась и перевела духъ.

— Давайте посидимъ,—сказала она, садясь на одинъ изъ столбиковъ.—Передъ отъѣздомъ, когда прощаются, обыкновенно всѣ садятся.

Огневъ примостился возлѣ нея на своей вязкѣ книгъ и

продолжалъ говорить. Она тяжело дышала отъ ходьбы и глядѣла не на Ивана Алексѣича, а куда-то въ сторону, такъ что ему не видно было ея лица.

— И вдругъ лѣтъ черезъ десять мы встрѣтимся,—говорилъ онъ.—Какіе мы тогда будемъ? Вы будете уже почтенною матерью семейства, а я авторомъ какого-нибудь почтеннаго, никому ненужнаго статистическаго сборника, толстаго, какъ сорокъ тысячъ сборниковъ. Встрѣтимся и вспомянемъ старину... Теперь мы чувствуемъ настоящее, оно насъ наполняетъ и волнуетъ, а тогда, при встрѣчѣ, мы ужъ не будемъ помнить ни числа, ни мѣсяца, ни даже года, когда видѣлись въ послѣдній разъ на этомъ мостикѣ. Вы, пожалуй, измѣнитесь... Послушайте, вы измѣнитесь?

Вѣра вздрогнула и повернулась къ нему лицомъ.

— Что?—спросила она.

— Я васъ спрашивалъ сейчасъ...

— Простите, я не слышала, что вы говорили.

Тутъ только Огневъ замѣтилъ въ Вѣрѣ перемѣну. Она была блѣдна, задыхалась и дрожь ея дыханія сообщалась и рукамъ, и губамъ, и головѣ, и изъ прически выбивался на лобъ не одинъ локонъ, какъ всегда, а два... Видимо, она избѣгала глядѣть прямо въ глаза и, стараясь замаскировать волненіе, то поправляла воротничокъ, который какъ будто рѣзалъ ей шею, то перетаскивала свой красный платокъ съ одного плеча на другое...

— Вамъ, кажется, холодно,—сказалъ Огневъ.—Сидѣть въ туманѣ не совсѣмъ-то здорово. Давайте-ка я провожу васъ нахъ-гаузъ.

Вѣра молчала.

— Что съ вами?—улыбнулся Иванъ Алексѣичъ.—Вы молчите и не отвѣчаете на вопросы. Нездоровы вы, или сердитесь? А?

Вѣра крѣпко прижала ладонь къ щекѣ, обращенной въ сторону Огнева, и тотчасъ же рѣзко отдернула ее.

— Ужасное положеніе...—прошептала она съ выраженіемъ сильной боли на лицѣ.—Ужасное!

— Чѣмъ же оно ужасное?—спросилъ Огневъ, пожимая плечами и не скрывая своего удивленія.—Въ чемъ дѣло?

Все еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вѣра повернулась къ нему спиной, полминуты глядѣла на небо и сказала:

— Мнѣ нужно поговорить съ вами, Иванъ Алексѣичъ...

— Я слушаю.

— Вамъ, можетъ-быть, покажется страннымъ... вы удивитесь, но мнѣ все равно...

Огневъ еще разъ пожалъ плечами и приготовился слушать.

— Вотъ что...—начала Вѣрочка, наклоняя голову и теребя пальцами шарикъ платка.—Видите ли, я вамъ вотъ что... хотѣла сказать... Вамъ покажется страннымъ и... глупымъ, а я... я больше не могу.

Рѣчь Вѣры перешла въ неясное бормотанье и вдругъ оборвалась плачемъ. Дѣвушка закрыла лицо платкомъ, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иванъ Алексѣичъ смущенно крякнулъ и, изумляясь, не зная, что говорить и дѣлать, безнадежно поглядѣлъ вокругъ себя. Отъ непривычки къ плачу и слезамъ у него у самого зачесались глаза.

— Ну, вотъ еще!—забормоталъ онъ растерянно.—Вѣра Гавриловна, ну къ чему это, спрашивается? Голубушка, вы... вы больны? Или васъ кто обидѣлъ? Вы скажите, быть-можетъ, я того... сумѣю помочь...

Когда онъ, пытаясь утѣшить ее, позволилъ себѣ осторожно отнять отъ ея лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:

— Я... я люблю васъ!

Эти слова, простыя и обыкновенныя, были сказаны простымъ человѣческимъ языкомъ, но Огневъ въ сильномъ смущеніи отвернулся отъ Вѣры, поднялся и вслѣдъ за смущеніемъ почувствовалъ испугъ.

Грусть, теплота и сентиментальное настроеніе, навѣянныя на него прощаніемъ и наливкой, вдругъ исчезли, уступивъ мѣсто рѣзкому, непріятному чувству неловкости. Точно перевернулась въ немъ душа, онъ косился на Вѣру, и теперь она, послѣ того какъ, объяснившись ему въ любви, сбросила съ себя неприступность, которая такъ краситъ женщину, казалась ему какъ будто ниже ростомъ, проще, темнѣе.

«Что же это такое?—ужаснулся онъ про себя.—Но вѣдь я же ее... люблю, или нѣтъ? Вотъ задача-то!»

А она, когда самое главное и тяжелое, наконецъ, было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо въ лицо Ивана Алексѣича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо.

Какъ человѣкъ, внезапно испуганный, не можетъ потомъ вспомнить порядка, съ какимъ чередовались звуки ошеломившей его катастрофы, такъ и Огневъ не помнитъ словъ и фразъ Вѣры. Ему памятны только содержаніе ея рѣчи, она сама и то ощущеніе, которое производила въ немъ ея рѣчь. Онъ помнитъ, какъ будто придушенный, нѣсколько сиплый отъ волненія голосъ и необыкновенную музыку и страстность въ интонаціи. Плача, смѣясь, сверкая слезинками на рѣсницахъ, она говорила ему, что съ первыхъ же дней знакомства онъ поразилъ ее своею оригинальностью, умомъ, добрыми, умными глазами, своими задачами и цѣлями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко; что когда, бывало, лѣтомъ она входила изъ сада въ домъ и видѣла въ передней его крылатку, или слышала издали его голосъ, то сердце ея обливалось холодкомъ, предчувствіемъ счастья; его даже пустыя шутки заставляли ее хохотать, въ каждой цыфрѣ его тетрадокъ она видѣла что-то необыкновенно разумное и грандіозное, его суковатая палка представлялась ей прекраснѣй деревьевъ.

И лѣсъ, и туманные клочья, и черныя канавы по бокамъ дороги, казалось, притихли, слушая ее, а въ душѣ Огнева происходило что-то нехорошее и странное... Объясняясь въ любви, Вѣра была плѣнительно хороша, говорила красиво и страстно, но онъ испытывалъ не наслажденіе, не жизненную радость, какъ бы хотѣлъ, а только чувство состраданія къ Вѣрѣ, боль и сожалѣніе, что изъ-за него страдаетъ хорошій человѣкъ. Богъ его знаетъ, заговорилъ ли въ немъ книжный разумъ, или сказалась неодолимая привычка къ объективности, которая такъ часто мѣшаетъ людямъ жить, но только восторги и страданіе Вѣры казались ему приторными, не серьезными, и въ то же время чувство возмущалось въ немъ и шептало, что все, что онъ видитъ и слышитъ теперь, съ точки зрѣнія природы и личнаго счастья, серьезнѣе всякихъ статистикъ, книгъ, истинъ... И онъ злился и винилъ себя, хотя и не понималъ, въ чемъ именно заключается вина его.

Въ довершеніе неловкости онъ рѣшительно не зналъ, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо: «я васъ не люблю» ему было не подъ силу, а сказать «да» онъ не могъ, потому что, какъ ни рылся, не находилъ въ своей душѣ даже искорки...

Онъ молчалъ, а она между тѣмъ говорила, что для нея нѣтъ выше счастья, какъ видѣть его, идти за нимъ, хоть сейчасъ, куда онъ хочетъ, быть его женой и помощницей, что если онъ уйдетъ отъ нея, то она умретъ съ тоски...

— Я не могу здѣсь оставаться! — сказала она, ломая руки.—Мнѣ опостылѣли и домъ, и этотъ лѣсъ, и воздухъ. Я не выношу постояннаго покоя и безцѣльной жизни, не выношу нашихъ безцвѣтныхъ и блѣдныхъ людей, которые всѣ похожи одинъ на другого, какъ капли воды! Всѣ они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдаютъ, не борются... А я хочу именно въ большіе, сырые дома, гдѣ страдаютъ, ожесточены трудомъ и нуждой...

И это казалось Огневу приторнымъ и не серьезнымъ. Когда Вѣра кончила, онъ все еще не зналъ, что говорить, но молчать нельзя было, и онъ забормоталъ:

— Я, Вѣра Гавриловна, очень благодаренъ вамъ, хотя чувствую, что ничѣмъ не заслужилъ такого... съ вашей стороны... чувства. Во-вторыхъ, какъ честный человѣкъ, я долженъ сказать, что... счастье основано на равновѣсіи, то-есть когда обѣ стороны... одинаково любятъ...

Но тотчасъ же Огневъ устыдился своего бормотанія и замолчалъ. Онъ чувствовалъ, что въ это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто... Вѣра, должно-быть, сумѣла прочесть на его лицѣ правду, потому что стала вдругъ серьезной, поблѣднѣла и поникла головой.

— Вы извините меня,—пробормоталъ Огневъ, не вынося молчанія.—Я васъ настолько уважаю, что... мнѣ больно!

Вѣра рѣзко повернулась и быстро пошла назадъ къ усадьбѣ. Огневъ послѣдовалъ за ней.

— Нѣтъ, не надо!—сказала Вѣра, махнувъ ему кистью руки.—Не идите, я сама дойду...

— Нѣтъ, все-таки... нельзя не проводить...

Что ни говорилъ Огневъ, все до послѣдняго слова казалось ему отвратительнымъ и плоскимъ. Чувство вины росло въ немъ съ каждымъ шагомъ. Онъ злился, сжималъ кулаки и проклиналъ свою холодность и неумѣніе держать себя съ женщинами. Стараясь возбудить себя, онъ глядѣлъ на красивый станъ Вѣрочки, на ея косу и слѣды, которые оставляли на пыльной дорогѣ ея маленькія ножки, припоминалъ

ея слова и слезы, но все это только умиляло, но не раздражало его души.

«Ахъ, да нельзя же насильно полюбить!—убѣждалъ онъ себя и въ то же время думалъ:—когда же я полюблю не насильно? Вѣдь мнѣ уже подъ 30! Лучше Вѣры я никогда не встрѣчалъ женщинъ и никогда не встрѣчу... О, собачья старость! Старость въ 30 лѣтъ!»

Вѣра шла впереди него все быстрѣе и быстрѣе, не оглядываясь и поникнувъ головой. Ему казалось, что съ горя она осунулась, сузилась въ плечахъ...

«Воображаю, что творится теперь у нея на душѣ!—думалъ онъ, глядя ей въ спину.—Небось и стыдно, и больно до того, что умирать хочется! Господи, сколько во всемъ этомъ жизни, поэзіи, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глупъ и нелѣпъ!»

У калитки Вѣра мелькомъ взглянула на него и, согнувшись, кутаясь въ платокъ, быстро пошла по аллеѣ.

Иванъ Алексѣичъ остался одинъ. Возвращаясь назадъ къ лѣсу, онъ шелъ медленно, то и дѣло останавливался и оглядывался на калитку съ такимъ выраженіемъ во всей своей фигурѣ, какъ будто не вѣрилъ себѣ. Онъ искалъ глазами по дорогѣ слѣдовъ Вѣрочкиныхъ ногъ и не вѣрилъ, что дѣвушка, которая такъ нравилась ему, только-что объяснилась ему въ любви и что онъ такъ неуклюже и топорно «отказалъ» ей! Первый разъ въ жизни ему приходилось убѣдиться на опытѣ, какъ мало зависитъ человѣкъ отъ своей доброй воли, и испытать на себѣ самомъ положеніе порядочнаго и сердечнаго человѣка, противъ воли причиняющаго своему ближнему жестокія, незаслуженныя страданія.

У него болѣла совѣсть, а когда скрылась Вѣра, ему стало казаться, что онъ потерялъ что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Онъ чувствовалъ, что съ Вѣрой ускользнула отъ него часть его молодости, и что минуты, которыя онъ такъ безплодно пережилъ, уже болѣе не повторятся.

Дойдя до мостика, онъ остановился и задумался. Ему хотѣлось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не внѣ, а въ немъ самомъ, для него было ясно. Искренно сознался онъ передъ собой, что это не разсудочная холодность, которою такъ часто хвастаютъ умные

люди, не холодность себялюбиваго глупца, а просто безсиліе души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, пріобрѣтенная путемъ воспитанія, безпорядочной борьбы изъ-за куска хлѣба, номерной безсемейной жизни.

Съ мостика онъ медленно, словно нехотя, пошелъ въ лѣсъ. Здѣсь, гдѣ на черныхъ, густыхъ потемкахъ тамъ и сямъ обозначались рѣзкими пятнами проблески луннаго свѣта, гдѣ онъ ничего не ощущалъ, кромѣ своихъ мыслей, ему страстно захотѣлось вернуть потерянное.

И помнитъ Иванъ Алексѣичъ, что онъ опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаніями, рисуя насильно въ своемъ воображеніи Вѣру, онъ быстро шагалъ къ саду. По дорогѣ и въ саду тумана уже не было, и ясная луна глядѣла съ неба, какъ умытая, только лишь востокъ туманился и хмурился... Помнитъ Огневъ свои осторожные шаги, темныя окна, густой запахъ геліотропа и резеды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая хвостомъ, подошелъ къ нему и понюхалъ его руку... Это было единственное живое существо, видѣвшее, какъ онъ раза два прошелся вокругъ дома, постоялъ у темнаго окна Вѣры и, махнувъ рукой, съ глубокимъ вздохомъ пошелъ изъ сада.

Черезъ часъ уже онъ былъ въ городкѣ и, утомленный, разбитый, прислонившись туловищемъ и горячимъ лицомъ къ воротамъ постоялаго двора, стучалъ скобкой. Гдѣ-то въ городкѣ спросонокъ лаяла собака и точно въ отвѣтъ на его стукъ около церкви зазвонили въ чугунную доску...

— Шляешься по ночамъ...—ворчалъ хозяинъ-старовѣръ въ длинной, словно женской сорочкѣ, отворяя ему ворота.— Чѣмъ шляться-то, лучше бы Богу молился.

Войдя къ себѣ въ комнату, Иванъ Алексѣичъ опустился на постель и долго-долго глядѣлъ на огонь, потомъ встряхнулъ головой и сталъ укладываться...

ВЪ СУДѢ.

Въ уѣздномъ городѣ N—скѣ, въ казенномъ коричневомъ домѣ, гдѣ чередуясь, засѣдаютъ земская управа, мировой съѣздъ, крестьянское, питейное, воинское и многія другія присутствія, въ одинъ изъ пасмурныхъ, осеннихъ дней разбирало наѣздомъ свои дѣла отдѣленіе окружнаго суда. Про названный коричневый домъ одинъ мѣстный администраторъ сострилъ:

— Тутъ и юстиція, тутъ и полиція, тутъ и милиція — совсѣмъ институтъ благородныхъ дѣвицъ.

Но, вѣроятно, по пословицѣ, что у семи нянекъ дитя бываетъ безъ глаза, этотъ домъ поражаетъ и гнететъ свѣжаго, нечиновнаго человѣка своимъ унылымъ, казарменнымъ видомъ, ветхостью и полнымъ отсутствіемъ какого бы то ни было комфорта, какъ снаружи, такъ и внутри. Даже въ самые яркіе, весенніе дни онъ кажется покрытымъ густою тѣнью, а въ свѣтлыя, лунныя ночи, когда деревья и обывательскіе домишки, слившись въ одну сплошную тѣнь, погружены въ тихій сонъ, онъ одинъ какъ-то нелѣпо и некстати давящимъ камнемъ высится надъ скромнымъ пейзажемъ, портитъ общую гармонію и не спитъ, точно не можетъ отдѣлаться отъ тяжелыхъ воспоминаній о прошлыхъ, не прощенныхъ грѣхахъ. Внутри все сарайно и крайне непривлекательно. Странно бываетъ видѣть, какъ всѣ эти

изящные прокуроры, члены, предводители, дѣлающіе у себя дома сцены изъ-за легкаго чада или пятнышка на полу, легко мирятся здѣсь съ жужжащими вентиляціями, противнымъ запахомъ курительныхъ свѣчекъ и съ грязными, вѣчно потными стѣнами.

Засѣданіе окружнаго суда началось въ десятомъ часу. Къ разбирательству было приступлено немедленно, съ замѣтной спѣшкой. Дѣла замелькали одно за другимъ и кончались быстро, какъ обѣдня безъ пѣвчихъ, такъ что никакой умъ не смогъ бы составить себѣ цѣльнаго, картиннаго впечатлѣнія отъ всей этой пестрой, бѣгущей, какъ полая вода, массы лицъ, движеній, рѣчей, несчастій, правды, лжи... Къ двумъ часамъ было сдѣлано много: двоихъ присудили къ арестантскимъ ротамъ, одного привилегированнаго лишили правъ и приговорили къ тюрьмѣ, одного оправдали, одно дѣло отложили...

Ровно въ два часа предсѣдательствующій объявилъ къ слушанію дѣло «по обвиненію крестьянина Николая Харламова въ убійствѣ своей жены». Составъ суда остался тотъ же, что былъ и на предыдущемъ дѣлѣ, только мѣсто защитника заняла новая личность — молодой, безбородый кандидатъ на судебныя должности въ сюртукѣ со свѣтлыми пуговицами.

— Введите подсудимаго!—распорядился предсѣдатель.

Но подсудимый, заранѣе приготовленный, уже шелъ къ своей скамьѣ. Это былъ высокій, плотный мужикъ лѣтъ 55, совершенно лысый, съ апатичнымъ, волосатымъ лицомъ и съ большой рыжей бородой. За нимъ слѣдовалъ маленькій, тщедушный солдатикъ съ ружьемъ.

Почти у самой скамьи съ конвойнымъ произошла маленькая непріятность. Онъ вдругъ споткнулся и выронилъ изъ рукъ ружье, но тотчасъ же поймалъ его на лету, причемъ сильно ударился колѣномъ о прикладъ. Въ публикѣ послышался легкій смѣхъ. Отъ боли, или, быть-можетъ, отъ стыда за свою неловкость солдатъ густо покраснѣлъ.

Послѣ обычнаго опроса подсудимаго, перетасовки присяжныхъ, переклички и присяги свидѣтелей, началось чтеніе обвинительнаго акта. Узкогрудый, блѣднолицый секретарь, сильно похудѣвшій для своего мундира и съ пластыремъ на щекѣ, читалъ негромкимъ, густымъ басомъ, быстро, по-

дьячковски, не повышая и не понижая голоса, какъ бы боясь натрудить свою грудь; ему вторила вентиляція, неугомонно жужжавшая за судейскимъ столомъ, и въ общемъ получался звукъ, придававшій зальной тишинѣ усыпляющій, наркотическій характеръ.

Предсѣдатель, не старый человѣкъ, съ до крайности утомленнымъ лицомъ и близорукій, сидѣлъ въ своемъ креслѣ, не шевелясь и держа ладонь около лба, какъ бы заслоняя глаза отъ солнца. Подъ жужжанье вентиляціи и секретаря онъ о чемъ-то думалъ. Когда секретарь сдѣлалъ маленькую передышку, чтобы начать съ новой страницы, онъ вдругъ встрепенулся и оглядѣлъ посовѣлыми глазами публику, потомъ нагнулся къ уху своего сосѣда-члена и спросилъ со вздохомъ:

— Вы, Матвѣй Петровичъ, остановились у Демьянова?

— Да-съ, у Демьянова,—отвѣтилъ членъ, тоже встрепенувшись.

— Въ слѣдующій разъ, вѣроятно, и я у него остановлюсь. Помилуйте, у Типякова совсѣмъ нельзя останавливаться! Шумъ, гвалтъ всю ночь! Стучатъ, кашляютъ, дѣтишки плачутъ... Невозможно!

Товарищъ прокурора, полный, упитанный брюнетъ, въ золотыхъ очкахъ и съ красивой, выхоленной бородой, сидѣлъ неподвижно, какъ статуя, и, подперевъ щеку кулакомъ, читалъ Байроновскаго «Каина». Его глаза были полны жаднаго вниманія и брови удивленно приподнимались все выше и выше... Изрѣдка онъ откидывался на спинку кресла, минуту безучастно глядѣлъ впередъ себя и затѣмъ опять погружался въ чтеніе. Защитникъ водилъ по столу тупымъ концомъ карандаша и, склонивъ голову на бокъ, думалъ... Его молодое лицо не выражало ничего, кромѣ неподвижной, холодной скуки, какая бываетъ на лицахъ школьниковъ и людей служащихъ, изо дня въ день обязанныхъ сидѣть на одномъ и томъ же мѣстѣ, видѣть все тѣ же лица, тѣ же стѣны. Предстоящая рѣчь его нисколько не волновала. Да и что такое эта рѣчь? По приказанію начальства, по давно заведенному шаблону, чувствуя, что она безцвѣтна и скучна, безъ страсти и огня выпалитъ онъ ее передъ присяжными, а тамъ дальше — скакать по

грязи и подъ дождемъ на станцію, оттуда въ городъ, чтобы вскорѣ получить приказъ опять ѣхать куда-нибудь въ уѣздъ, читать новую рѣчь... скучно!

Подсудимый сначала нервно покашливалъ въ рукавъ и блѣднѣлъ, но скоро тишина, общая монотонность и скука сообщились и ему. Онъ тупо-почтительно глядѣлъ на судейскіе мундиры, на утомленныя лица присяжныхъ и покойно мигалъ глазами. Судебная обстановка и процедура, ожиданіе которыхъ такъ томило его душу, когда онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, теперь подѣйствовали на него самымъ успокаивающимъ образомъ. Онъ встрѣтилъ здѣсь совсѣмъ не то, что могъ ожидать. Надъ нимъ тяготѣло обвиненіе въ убійствѣ, а между тѣмъ онъ не встрѣтилъ здѣсь ни грозныхъ лицъ, ни негодующихъ взоровъ, ни громкихъ фразъ о возмездіи, ни участія къ своей необыкновенной судьбѣ; ни одинъ изъ судящихъ не остановилъ на немъ долгаго, любопытнаго взгляда... Пасмурныя окна, стѣны, голосъ секретаря, поза прокурора—все это было пропитано канцелярскимъ равнодушіемъ и дышало холодомъ, точно убійца составлялъ простую канцелярскую принадлежность, или судили его не живые люди, а какая-то невидимая, Богъ знаетъ кѣмъ заведенная машинка...

Успокоившійся мужикъ не понималъ, что къ житейскимъ драмамъ и трагедіямъ здѣсь такъ же привыкли и присмотрѣлись, какъ въ больницѣ къ смертямъ, и что именно въ этомъ-то машинномъ безстрастіи и кроется весь ужасъ и вся безвыходность его положенія. Кажется, не сиди онъ смирно, а встань и начни умолять, взывать со слезами къ милосердію, горько каяться, умри онъ съ отчаянія и—все это разобьется о притупленные нервы и привычку, какъ волна о камень.

Когда секретарь кончилъ, предсѣдатель для чего-то погладилъ передъ собою столъ, долго щурилъ глаза на подсудимаго и потомъ ужъ спросилъ, лѣниво двигая языкомъ:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что въ вечеръ 9-го іюня убили вашу жену?

— Никакъ нѣтъ,—отвѣтилъ подсудимый, поднимаясь и придерживая на груди халатъ.

Вслѣдъ за этимъ судъ торопливо приступилъ къ допросу

свидѣтелей. Были допрошены двѣ бабы, пять мужиковъ и урядникъ, производившій дознаніе. Всѣ они, обрызганные грязью, утомленные пѣшимъ хожденіемъ и ожиданіемъ въ свидѣтельской комнатѣ, унылые и пасмурные, показали одно и то же. Они показали, что Харламовъ жилъ со своею старухой «хорошо», какъ всѣ: билъ ее только тогда, когда напивался. 9-го іюня, когда сѣло солнце, старуха была найдена въ сѣняхъ съ пробитымъ черепомъ; около нея въ лужѣ крови валялся топоръ. Когда хватились Николая, чтобы сообщить ему о несчастіи, его не было ни въ избѣ, ни на улицѣ. Стали бѣгать по селу и искать, избѣгали всѣ кабаки и избы, но его не нашли. Онъ исчезъ и дня черезъ два самъ явился въ контору, блѣдный, оборванный, съ дрожью во всемъ тѣлѣ. Его связали и посадили въ холодную.

— Подсудимый, — обратился предсѣдатель къ Харламову:—не можете ли вы объяснить суду, гдѣ вы находились въ эти два дня послѣ убійства?

— По полю ходилъ... Не ѣвши, не пивши...

— Зачѣмъ же вы скрылись, если не вы убивали?

— Испужался... Боялся, чтобъ не засудили...

— Ага... Хорошо, садитесь!

Послѣднимъ былъ допрошенъ уѣздный врачъ, вскрывавшій покойную старуху. Онъ сообщилъ суду все, что помнилъ изъ своего протокола вскрытія и что успѣлъ придумать, идя утромъ въ судъ. Предсѣдатель щурилъ глаза на его новую, лоснящуюся черную пару, на щегольской галстукъ, на двигавшіяся губы, слушалъ, и въ его головѣ какъ-то сама-собою шевелилась лѣнивая мысль: «Теперь всѣ ходятъ въ короткихъ сюртукахъ, зачѣмъ же онъ сшилъ себѣ длинный? Почему именно длинный, а не короткій?»

Сзади предсѣдателя послышался осторожный скрипъ сапогъ. Это товарищъ прокурора подошелъ къ столу, чтобы взять какую-то бумагу.

— Михаилъ Владиміровичъ, — нагнулся прокуроръ къ уху предсѣдателя: — удивительно неряшливо этотъ корейскій велъ слѣдствіе. Родной братъ не допрошенъ, староста не допрошенъ, изъ описанія избы ничего не поймешь...

— Что дѣлать... что дѣлать! — вздохнулъ предсѣдатель, откидываясь на спинку кресла. — Развалина... песочные часы!

— Кстати, — продолжалъ шептать товарищъ прокурора: — обратите ваше вниманіе — въ публикѣ, на передней лавкѣ, третій справа... актерская физіономія... Это мѣстный денежный тузъ. Имѣетъ около пятисотъ тысячъ наличнаго капитала.

— Да? По фигурѣ незамѣтно... Что, голубушка, не сдѣлать ли намъ перерывъ?

— Кончимъ слѣдствіе, тогда ужъ.

— Какъ знаете... Ну-съ? — поднялъ предсѣдатель глаза на врача. — Такъ вы находите, что смерть была моментальная?

— Да, вслѣдствіе значительнаго поврежденія мозгового вещества...

Когда врачъ кончилъ, предсѣдатель поглядѣлъ въ пространство между прокуроромъ и защитникомъ и предложилъ:

— Не имѣете ли что спросить?

Товарищъ, не отрывая глазъ отъ «Каина», отрицательно мотнулъ головой; защитникъ же неожиданно зашевелился и, откашлявшись, спросилъ:

— Скажите, докторъ, по размѣрамъ раны можно ли бывает судить о... о душевномъ состояніи преступника? То-есть я хочу спросить, размѣръ поврежденія даетъ ли право думать, что подсудимый находился въ состояніи аффекта?

Предсѣдатель поднялъ свои сонные, равнодушные глаза на защитника. Прокуроръ оторвался отъ «Каина» и поглядѣлъ на предсѣдателя. Только поглядѣли, но ни улыбки, ни удивленія, ни недоумѣнія — ничего не выражали ихъ лица.

— Пожалуй, — замялся врачъ: — если принимать въ расчетъ силу, съ какой... э-э-э... преступникъ наноситъ ударъ... Впрочемъ... извините, я не совсѣмъ понялъ вашъ вопросъ...

Защитникъ не получилъ отвѣта на свой вопросъ, да и не чувствовалъ въ немъ надобности. Для него самого ясно было, что этотъ вопросъ забрелъ въ его голову и сорвался

съ языка только подъ вліяніемъ тишины, скуки, жуждающей вентиляціи.

Отпустивъ врача, судъ занялся осмотромъ вещественныхъ доказательствъ. Первымъ былъ осмотрѣнъ кафтанъ, на рукавѣ котораго темнѣло бурое кровяное пятно. О происхожденіи этого пятна спрошенный Харламовъ показалъ:

— Дня за три до смерти старухи Пеньковъ своей лошади кровь бросалъ... Я тамъ былъ, ну, извѣстно, помогавши, и... и умазался...

— Однако, Пеньковъ показалъ сейчасъ, что онъ не помнитъ, чтобы вы присутствовали при кровопусканіи...

— Не могу знать.

— Садитесь!

Приступили къ осмотру топора, которымъ была убита старуха.

— Это не мой топоръ,—заявилъ подсудимый.

— Чей же?

— Не могу знать... У меня не было топора...

— Крестьянинъ одного дня не можетъ обойтись безъ топора. И вашъ сосѣдъ, Иванъ Тимоѳеичъ, съ которымъ вы починяли сани, показалъ, что это именно вашъ топоръ...

— Не могу знать, а только я, какъ передъ Богомъ (Харламовъ протянулъ впередъ себя руку и растопырилъ пальцы)... какъ передъ истиннымъ Создателемъ. И время того не помню, чтобы у меня свой топоръ былъ. Былъ у меня такой же, словно какъ будто поменьше, да сынъ потерялъ, Прохоръ. Года за два передъ тѣмъ, какъ ему на службу идтить, поѣхалъ за дровами, загулялъ съ ребятами и потерялъ...

— Хорошо, садитесь!

Это систематическое недовѣріе и нежеланіе слушать, вѣроятно, раздражили и обидѣли Харламова. Онъ замигалъ глазами и на скулахъ его выступили красныя пятна.

— Какъ передъ Богомъ! — продолжалъ онъ, вытягивая шею.—Ежели не вѣрите, то извольте сына Прохора спросить. Прошка, гдѣ топоръ?—вдругъ спросилъ онъ грубымъ голосомъ, рѣзко повернувшись къ конвойному.—Гдѣ?

Это было тяжелое мгновеніе! Всѣ какъ будто присѣли или стали ниже... Во всѣхъ головахъ, сколько ихъ было въ судѣ, молніей блеснула одна и та же страшная, невозмож-

ная мысль, мысль о могущей быть роковой случайности, и ни одинъ человѣкъ не рискнулъ и не посмѣлъ взглянуть на лицо солдата. Всякій хотѣлъ не вѣрить своей мысли и думалъ, что онъ ослышался.

— Подсудимый, говорить со стражей не дозволяется...— поспѣшилъ сказать предсѣдатель.

Никто не видалъ лица конвойнаго, и ужасъ пролетѣлъ по залѣ невидимкой, какъ бы въ маскѣ. Судебный приставъ тихо поднялся съ мѣста и на цыпочкахъ, балансируя рукой, вышелъ изъ залы. Черезъ полминуты послышались глухіе шаги и звуки, какіе бываютъ при смѣнѣ часовыхъ.

Всѣ подняли головы и, стараясь глядѣть такъ, какъ будто бы ничего и не было, продолжали свое дѣло...

БЕЗПОКОЙНЫЙ ГОСТЬ.

Въ низкой покривившейся избушкѣ лѣсника Артема, подъ большимъ темнымъ образомъ сидѣли два человѣка: самъ Артемъ, малорослый и тощій мужичонко, съ старческимъ помятымъ лицомъ и съ бородкой, растущей изъ шеи, и прохожій охотникъ, молодой, рослый парень въ новой кумачовой рубахѣ и въ большихъ болотныхъ сапогахъ. Сидѣли они на скамьѣ за маленькимъ треногимъ столикомъ, на которомъ, воткнутая въ бутылку, лѣниво горѣла сальная свѣчка.

За окномъ въ ночныхъ потемкахъ шумѣла буря, какою обыкновенно природа разражается передъ грозой. Злобно выдъ вѣтеръ и болѣзненно стонали гнувшіяся деревья. Одно стекло въ окнѣ было заклеено бумагой, и слышно было, какъ срывавшіеся листья стучали по этой бумагѣ.

— Я тебѣ вотъ что скажу, православный... — говорилъ Артемъ сиплымъ, тенорковымъ полушопотомъ, глядя немигающими, словно испуганными глазами на охотника.—Не боюсь я ни волковъ, ни вѣдмедей, ни звѣрей разныхъ, а боюсь человѣка. Отъ звѣрей ты ружьемъ, или другимъ какимъ орудіемъ спасешься, а отъ злого человѣка нѣтъ тебѣ никакого спасенія.

— Извѣстно! Въ звѣря выстрѣлить можно, а выстрѣли ты въ разбойника, самъ же отвѣчать будешь, въ Сибирь пойдешь.

— Служу я, братецъ ты мой, тутъ въ лѣсникахъ безъ малаго тридцать лѣтъ, и сколько я горя отъ злыхъ людей натерпѣлся, разсказать невозможно. Перебывало у меня

тутъ ихъ видимо-невидимо. Изба на просѣкѣ, дорога проѣзжая,—ну, и несетъ ихъ, чертей. Ввалится какой ни на есть злодѣй и, шапки не снимавши, лба не перекрестивши, прямо на тебя лѣзетъ: «Давай, такой-сякой, хлѣба!» А гдѣ я тебѣ хлѣба возьму? По какому полному праву? Нешто я милліонщикъ, чтобъ каждаго прохожаго пьяницу кормить? Онъ, извѣстно, злобой глаза запорошило... креста на нихъ, на чертяхъ, нѣтъ... недолго думавши, трахъ тебя по уху: «Давай хлѣба!» Ну, и даешь... Не станешь же съ ними, съ идолами, драться! У иного въ плечахъ косовая сажень, кулачище, что твой сапогъ, а у меня—самъ видишь, какая комплекцыя. Меня мизинцемъ зашибить можно... Ну, дашь ему хлѣба, а онъ нажрется, развалится поперекъ избы и—никакой тебѣ благодарности. А то бываютъ такіе, что деньги спрашиваютъ: «Отвѣчай, гдѣ деньги?» А какія у меня деньги? Откуда имъ быть?

— У лѣсника, да чтобъ денегъ не было! — усмѣхнулся охотникъ. — Жалованье получаешь каждый мѣсяцъ, да и, чай, лѣсъ тайкомъ продаешь.

Артемъ пугливо покосился на охотника и задрыгалъ своей бородкой, какъ сорока хвостомъ.

— Молодой ты еще, чтобъ мнѣ такія слова говорить,— сказалъ онъ.—За эти самыя слова ты передъ Богомъ отвѣтчикъ. Ты самъ изъ какихъ будешь? Откуда?

— Я изъ Вязовки. Старосты Нефеда сынъ.

— Ружьемъ балуешься... Я, когда помоложе былъ, тоже любилъ это баловство. Тэ-экъ. Охъ, грѣхи наши тяжкіе!— зѣвнулъ Артемъ.—Бѣда-а! Добрыхъ людей мало, а злодѣевъ и душегубовъ не приведи Богъ сколько!

— Ты словно какъ будто и меня боишься..

— Ну, вотъ еще! Зачѣмъ мнѣ тебя бояться! Я вижу... понимаю... Ты вошелъ, и не то чтобы какъ, а перекрестился, поклонился, честь-честью... Я понимаю... Тебѣ и хлѣбца дать можно... Человѣкъ я вдовый, печи не топлю, самоваръ продалъ... мяса, или чего прочаго, не держу по бѣдности, но хлѣбца—сдѣлай милость.

Въ это время подъ скамьей что-то заворчало, вслѣдъ за ворчаньемъ послышалось шипѣнье. Артемъ вздрогнулъ, поджалъ ноги и вопросительно поглядѣлъ на охотника.

— Это моя собака твою кошку забижаетъ, — сказалъ охотникъ.—Вы, черти!—крикнулъ онъ подъ скамью.—Кушъ!

Биты будете! Да и худая же у тебя, братъ, кошка! Однѣ кости да шерсть.

— Стара стала, околѣвать время... Такъ ты, сказываешь, изъ Вязовки?

— Не кормишь ты ее, я вижу. Она хоть и кошка, а все-таки тварь... всякое дыханіе. Жалѣть надо!

— Не чисто у васъ въ Вязовкѣ, — продолжалъ Артемъ, какъ бы не слушая охотника. — Въ одинъ годъ два раза церковь грабили... Есть же такія анаѳемы, а? Стало-быть, не только людей, но даже Бога не боятся! Грабить Божье добро! Да за это повѣсить мало! Въ прежнее время такихъ шельмовъ губернаторы черезъ палачей наказывали.

— Какъ ни наказывай, хоть плетьми жарь, хоть засуди, а не выйдетъ толку. Изъ злого человѣка ничѣмъ ты зла не вышибешь.

— Спаси и помилуй, Царица Небесная! — прерывисто вздохнулъ лѣсникъ.—Спаси насъ отъ всякаго врага и супостата. На прошлой недѣлѣ въ Воловьихъ Займищахъ одинъ косарь другого по грудямъ косой хватилъ... До смерти убилъ! А изъ-за чего дѣло вышло, Господи Твоя воля! Выходитъ это одинъ косарь изъ кабака... выпивши. Встрѣчается ему другой и тоже выпивши...

Внимательно слушавшій охотникъ вдругъ вздрогнулъ, вытянулъ лицо и прислушался.

— Постой, — перебилъ онъ лѣсника. — Кажись, кто-то кричитъ...

Охотникъ и лѣсникъ, не отрывая глазъ отъ темнаго окна, стали слушать. Сквозь шумъ лѣса слышны были звуки, какіе слышитъ напряженное ухо во всякую бурю, такъ что трудно было разобрать, люди ли то звали на помощь, или же непогода плакала въ трубѣ. Но рванулъ вѣтеръ по крышѣ, застучалъ по бумагѣ на окнѣ и донесъ явственный крикъ: «караулъ!»

— Легки твои душегубы на поминѣ! — сказалъ охотникъ, блѣднѣя и поднимаясь.—Грабятъ кого-то.

— Господи помилуй!—прошепталъ лѣсникъ, тоже блѣднѣя и поднимаясь.

Охотникъ безцѣльно поглядѣлъ въ окно и прошелся по избѣ.

— Ночь-то, ночь какая! — пробормоталъ онъ. — Зги не-

видать! Время самое такое, чтобъ грабить. Слышь? Опять крикнуло!

Лѣсникъ поглядѣлъ на образъ, съ образа перевелъ глаза на охотника и опустился на скамью въ изнеможеніи человѣка, испуганнаго внезапнымъ извѣстіемъ.

— Православный!—сказалъ онъ плачущимъ голосомъ.— Ты бы пошелъ въ сѣни да на засовъ двери заперъ! И огонь бы потушить надо!

— По какому случаю?

— Неровенъ часъ, заберутся сюда... Охъ, грѣхи наши!

— Идти нужно, а ты двери на засовъ! Голова, посмотришь! Идемъ, что ль?

Охотникъ перекинулъ на плечо ружье и взялся за шапку.

— Одѣвайся, бери свое ружье! Эй, Флерка, иси!—крикнулъ онъ собакѣ.—Флерка!

Изъ-подъ скамьи вышла собака съ длинными огрызенными ушами, помѣсь сетера съ дворняжкой. Она потянулась у ногъ хозяина и завиляла хвостомъ.

— Что жъ ты сидишь?—крикнулъ охотникъ на лѣсника.—Нешто не пойдешь?

— Куды?

— На помощь!

— Куда мнѣ!—махнулъ рукою лѣсникъ, пожимаясь всѣмъ тѣломъ.—Богъ съ нимъ совсѣмъ.

— Отчего же ты не хочешь идти?

— Послѣ страшныхъ разговоровъ я теперя и шага не ступну въ потьмахъ. Богъ съ нимъ совсѣмъ! И чего я тамъ въ лѣсу не видалъ?

— Чего боишься? Нешто у тебя ружья нѣтъ? Пойдемъ, сдѣлай милость! Одному идти боязно, а вдвоемъ веселѣй! Слышь? Опять крикнуло! Вставай!

— Какъ ты обо мнѣ понимаешь, парень! — простоналъ лѣсникъ.—Нешто я дуракъ, что пойду на свою погибель?

— Такъ ты не пойдешь?

Лѣсникъ молчалъ. Собака, вѣроятно услышавшая человѣческій крикъ, жалобно залаяла.

— Пойдешь, я тебя спрашиваю? — крикнулъ охотникъ, злобно тараща глаза.

— Присталъ, ей-Богу!—поморщился лѣсникъ. — Ступай самъ!

— Э... сволочь!—проворчалъ охотникъ, поворачивая къ двери.—Флерка, иси!

Онъ вышелъ и оставилъ дверь настежь. Въ избу влетѣлъ вѣтеръ. Огонь на свѣчкѣ безпокойно замелькалъ, ярко вспыхнулъ и потухъ.

Запирая за охотникомъ дверь, лѣсникъ видѣлъ, какъ лужи на просѣкѣ, ближайшія сосны и удаляющуюся фигуру гостя освѣтило молніей. Вдали проворчалъ громъ.

— Святъ, Святъ, Святъ...—шепнулъ лѣсникъ, спѣша просунуть толстый засовъ въ большія желѣзныя петли.—Экую погоду Богъ послалъ!

Вернувшись въ избу, онъ ощупью добрался до печки, легъ и укрылся съ головой. Лежа подъ тулупомъ и напряженно прислушиваясь, онъ уже не слышалъ человѣческаго крика, но зато удары грома становились все сильнѣе и раскатистѣе. Ему слышно было, какъ крупный, гонимый вѣтромъ дождь злобно застучалъ по стекламъ и по бумагѣ окна.

«Понесла нелегкая!—думалъ онъ, воображая себѣ охотника, мокнущаго на дождѣ и спотыкающагося о пни.—Небось, со страху зубами щелкаетъ!»

Не далѣе какъ минутъ черезъ десять раздались шаги и за ними сильный стукъ въ дверь.

— Кто тамъ?—крикнулъ лѣсникъ.

— Это я,—послышался голосъ охотника.—Отопри!

Лѣсникъ сползъ съ печи, нащупалъ свѣчку и, зажегши ее, пошелъ отворять дверь. Охотникъ и его собака были мокры до костей. Они попали подъ самый крупный и густой дождь, и теперь текло съ нихъ, какъ съ невыжатыхъ тряпокъ.

— Что тамъ случилось?—спросилъ лѣсникъ.

— Баба въ телѣгѣ ѣхала и не на ту дорогу попала...—отвѣтилъ охотникъ, пересиливая одышку.—Въ чепыгу залѣзла.

— Ишь, дура! Испугалась, значитъ... Что жъ, ты вывелъ ее на дорогу?

— Не желаю я тебѣ, подлецу этакому, отвѣчать.

Охотникъ бросилъ на скамью мокрую шапку и продолжалъ:

— Объ тебѣ я теперь такъ понимаю, что ты подлецъ і

послѣдній человѣкъ. Еще тоже сторожъ, жалованье получаетъ! Мерзавецъ этакой...

Лѣсникъ виноватою походкой поплелся къ печи, крякнулъ и легъ. Охотникъ сѣлъ на скамью, подумалъ и мокрый разлегся вдоль всей скамьи. Немного погодя, онъ поднялся, потушилъ свѣчку и опять легъ. Во время одного особенно сильнаго удара грома онъ заворочался, сплюнулъ и проворчалъ:

— Страшно ему... Ну, а ежели бъ рѣзали бабу? Чье дѣло вступиться за нее? А еще тоже старый человѣкъ, крещеный... Свинья и больше ничего.

Лѣсникъ крякнулъ и глубоко вздохнулъ. Флерка гдѣ-то въ потемкахъ сильно встряхнула свое мокрое тѣло, отчего во всѣ стороны посыпались брызги.

— Стало-быть, тебѣ и горя мало, ежели бы бабу зарѣзали?—продолжалъ охотникъ. — Ну, побей Богъ, не зналъ я, что ты такой...

Наступило молчаніе. Грозная туча уже прошла, и удары грома слышались издали, но дождь все еще шелъ.

— А ежели бъ, скажемъ, не баба, а ты караулъ кричалъ? — прервалъ молчаніе охотникъ. — Хорошо бы тебѣ, скоту, было, ежели бы никто къ тебѣ на выручку не побѣгъ? Встревожилъ ты мѣня своей подлостью, чтобъ тебѣ пусто было!

Засимъ, еще послѣ одного длиннаго антракта, охотникъ сказалъ:

— Стало-быть, у тебя деньги есть, ежели ты боишься людей! Человѣкъ, который бѣдный, не станетъ бояться...

— За эти самыя слова ты передъ Богомъ отвѣтчикъ...— прохрипѣлъ съ печки Артемъ. —Нѣту у меня денегъ!

— Ну, да! У подлецовъ завсегда есть деньги... А зачѣмъ ты боишься людей? Стало-быть, есть! Вотъ взять бы да и ограбить тебя на зло, чтобъ ты понималъ!..

Артемъ безшумно сползъ съ печки, зажегъ свѣчку и сѣлъ подъ образомъ. Онъ былъ блѣденъ и не сводилъ глазъ съ охотника.

— Возьму вотъ и ограблю,—продолжалъ охотникъ, поднимаясь.—А ты какъ думалъ? Вашего брата учить нужно! Сказывай, гдѣ деньги спрятаны?

Артемъ поджалъ подъ себя ноги и замигалъ глазами.

— Что жмешься? Гдѣ деньги спрятали? Языка въ тебѣ, шутъ, нѣту, что ли? Что молчишь?

Охотникъ вскочилъ и подошелъ къ лѣснику.

— Глаза, какъ сычъ, таращитъ! Ну? Давай деньги, а то изъ ружья выстрѣлю!

— Что ты ко мнѣ присталъ? — завизжалъ лѣсникъ, и крупныя слезы брызнули изъ его глазъ. — По какой причинѣ? Богъ все видитъ! За всѣ эти самыя слова ты передъ Богомъ отвѣтчикъ. Никакого полнаго права не имѣешь ты съ меня деньги требовать!

Охотникъ поглядѣлъ на плачущее лицо Артема, поморщился и зашагалъ по избѣ, потомъ сердито нахлобучилъ шапку и взялся за ружье.

— Э... э... глядѣть на тебя противно! — процѣдилъ онъ сквозь зубы. — Видѣть тебя не могу! Все равно мнѣ не спать у тебя. Прощай! Эй, Флерка!

Хлопнула дверь—и безпокойный гость вышелъ со своей собакой... Артемъ заперъ за нимъ дверь, перекрестился и легъ.

ПАНИХИДА.

Въ церкви Одигитріевской Божіей Матери, что въ селѣ Верхнихъ Запрудахъ, обѣдня только-что кончилась. Народъ задвигался и валитъ изъ церкви. Не двигается одинъ только лавочникъ Андрей Андреичъ, верхне-запрудскій интеллигентъ и старожилъ. Онъ облокотился о перила праваго клироса и ждетъ. Его бритое, жирное и бугристое отъ когда-то бывшихъ прыщей лицо на сей разъ выражаетъ два противоположныхъ чувства: смиреніе передъ неисповѣдимыми судьбами и тупое, безграничное высокомѣріе передъ мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскреснаго дня онъ одѣтъ франтомъ. На немъ суконное пальто съ желтыми костяными пуговицами, синія брюки на выпускъ и солидныя калоши, тѣ самыя громадныя, неуклюжія калоши, которыя бываютъ на ногахъ только у людей положительныхъ, разсудительныхъ и религіозно-убѣжденныхъ.

Его заплывшіе, лѣнивые глаза обращены на иконостасъ. Онъ видитъ давно уже знакомые лики святыхъ, сторожа Матвѣя, надувающаго щеки и тушащаго свѣчи, потемнѣвшіе ставники, потертый коверъ, дьячка Лопухова, стремительно выбѣгающаго изъ алтаря и несущаго ктитору просфору... Все это давно уже видано и перевидано, какъ свои пять пальцевъ... Нѣсколько, впрочемъ, странно и необыденно только одно: у сѣверной двери стоитъ отецъ Григорій, еще не снимавшій облаченія, и сердито мигаетъ своими густыми бровями.

«Кому это онъ мигаетъ, дай Богъ ему здоровья? — ду-

маетъ лавочникъ.—А, и пальцемъ закивалъ! И ногой топнулъ, скажи на милость... Что за оказія, Мать Царица? Кому это онъ?»

Андрей Андреевичъ оглядывается и видитъ совсѣмъ уже опустѣвшую церковь. У дверей столпилось человѣкъ десять, да и тѣ стоятъ спиной къ алтарю.

— Иди же, когда зовутъ! Что стоишь, какъ изваяніе?— слышитъ онъ сердитый голосъ отца Григорія.—Тебя зову!

Лавочникъ глядитъ на красное, разгнѣванное лицо отца Григорія и тутъ только соображаетъ, что миганье бровей и киванье пальца могутъ относиться и къ нему. Онъ вздрагиваетъ, отдѣляется отъ клироса и нерѣшительно, гремя своими солидными калошами, идетъ къ алтарю.

— Андрей Андреичъ, это ты подавалъ на проскомидію за упокой Маріи? — спрашиваетъ батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное, вспотѣвшее лицо.

— Точно такъ.

— Такъ, стало-быть, ты это написалъ? Ты?

И отецъ Григорій сердито тычетъ къ глазамъ его записочку. А на этой записочкѣ, поданной Андреемъ Андреичемъ на проскомидію вмѣстѣ съ просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы Божіей блудницы Маріи».

— Точно такъ... я-съ написалъ...—отвѣчаетъ лавочникъ.

— Какъ же ты смѣлъ написать это?—протяжно шепчетъ батюшка, и въ его сипломъ шопотѣ слышатся гнѣвъ и испугъ.

Лавочникъ глядитъ на него съ тупымъ удивленіемъ, недоумѣваетъ и самъ пугается: отродясь еще отецъ Григорій не говорилъ такимъ тономъ съ верхне-запрудскими интеллигентами! Оба минуту молчатъ и засматриваютъ другъ другу въ глаза. Недоумѣніе лавочника такъ велико, что жирное лицо его расползается во всѣ стороны, какъ пролитое тѣсто.

— Какъ ты смѣлъ?—повторяетъ батюшка.

— Ко... кого-съ?—недоумѣваетъ Андрей Андреичъ.

— Ты не понимаешь?!—шепчетъ отецъ Григорій, въ изумленіи дѣлая шагъ назадъ и всплескивая руками.—Что ж у тебя на плечахъ: голова, или другой какой предметъ? Подаешь записку къ жертвеннику, а пишешь на ней слов

какое даже и на улицѣ произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смыслъ имѣетъ это слово?

— Это вы касательно блудницы-съ? — бормочетъ лавочникъ, краснѣя и мигая глазами. — Но вѣдь Господь, по благости Своей, тово... это самое, простилъ блудницу... мѣсто ей уготовалъ, да и изъ житія преподобной Маріи Египетской видать, въ какихъ смыслахъ это самое слово, извините...

Лавочникъ хочетъ привести въ свое оправданіе еще какой-то аргументъ, но путается и утираетъ губы рукавомъ.

— Вотъ какъ ты понимаешь! — всплескиваетъ руками отецъ Григорій.—Но вѣдь Господь простилъ—понимаешь?—простилъ, а ты осуждаешь, поносишь, непристойнымъ словомъ обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только изъ священнаго, но даже изъ свѣтскаго писанія такого грѣха не вычитаешь! Повторяю тебѣ, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, братъ, не нужно! Коли далъ тебѣ Богъ испытующій разумъ и ежели ты не можешь управлять имъ, то лучше ужъ не вникай... Не вникай и молчи!

— Но вѣдь она тово... извините, актерка была! — выговариваетъ ошеломленный Андрей Андреичъ.

— Актерка! Да кто бы она ни была, ты все послѣ ея смерти забыть долженъ, а не то что на запискахъ писать!

— Это точно...—соглашается лавочникъ.

— Наложить бы на тебя эпитемію,—баситъ изъ глубины алтаря дьяконъ, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреича: — такъ пересталъ бы умствовать! Твоя дочь извѣстная артистка была. Про ея кончину даже въ газетахъ печатали... Философъ!

— Оно, конечно... дѣйствительно... — бормочетъ лавочникъ:—слово не подходящее, но я не для осужденія, отецъ Григорій, а хотѣлъ по-божественному... чтобъ вамъ виднѣй было, за кого молить. Пишутъ же въ поминальницахъ названія разныя, въ родѣ тамъ младенца Іоанна, утопленницы Пелагеи, Егора воина, убіеннаго Павла и прочее разное... Такъ и я желалъ.

— Неразумно, Андрей! Богъ тебя проститъ, но въ другой разъ остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примѣру прочихъ. Положи десять поклоновъ и стукай.

— Слушаю, — говоритъ лавочникъ, радуясь, что нотація уже кончилась, и опять придавая своему лицу выраженіе важности и степенства. — Десять поклоновъ? Очень хорошо-съ, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте къ вамъ съ просьбой... Потому, какъ я все-таки отецъ ей... сами знаете, а она мнѣ, какая тамъ ни на есть, все-таки дочь, то я тово... извините, собираюсь просить васъ сегодня отслужить панихиду. И васъ дозвольте просить, отецъ дьяконъ!

— Вотъ это хорошо! — говоритъ отецъ Григорій, разоблачаясь. — За это хвалю. Можно одобрить... Ну, ступай! Мы сейчасъ выйдемъ.

Андрей Андреичъ солидно шагаетъ отъ алтаря и красный, съ торжественно-панихиднымъ выраженіемъ лица останавливается посреди церкви. Сторожъ Матвѣй ставитъ передъ нимъ столикъ съ коливомъ, и немного погодя панихида начинается.

Въ церкви тишина. Слышенъ только металлическій звукъ кадила да протяжное пѣніе... Возлѣ Андрея Андреича стоятъ сторожъ Матвѣй, новитуха Макарьевна и ея сынишка, сухорукій Митька. Больше никого нѣтъ. Дьячокъ поетъ плохо, непріятнымъ, глухимъ басомъ, но напѣвъ и слова такъ печальны, что лавочникъ мало-по-малу теряетъ выраженіе степенства и погружается въ грусть. Вспоминаетъ онъ свою Машутку... Онъ помнитъ, что родилась она у него, когда онъ еще служилъ лакеемъ у верхне-запрудскихъ господъ. За лакейской суетой онъ и не замѣчалъ, какъ росла его дѣвочка. Тотъ длинный періодъ, когда она формировалась въ граціозное созданіе съ бѣлокурой головкой и большими, какъ копейки, задумчивыми глазами, прошелъ для него незамѣченнымъ. Воспитывалась она, какъ и вообще всѣ дѣти фаворитовъ-лакеевъ, въ бѣломъ тѣлѣ, около барышень. Господа, отъ нечего дѣлать, выучили ее читать, писать, танцовать, онъ же въ ея воспитаніе не вмѣшивался. Изрѣдка развѣ, случайно сойдясь съ ней гдѣ-нибудь у воротъ или на площадкѣ лѣстницы, онъ вспоминалъ, что она его дочь и начиналъ, насколько хватало досуга, учить ее молитвамъ и священной исторіи. О, и тогда еще онъ слылъ за знатока уставовъ и Св. Писанія! Дѣвочка, какъ ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за нимъ зѣвая, но зато, когда

онъ, заикаясь и стараясь выражаться пофигуристѣе, начиналъ разсказывать ей исторіи, она вся превращалась въ слухъ. Чечевица Исава, казнь Содома и бѣдствія маленькаго мальчика Іосифа заставляли ее блѣднѣть и широко раскрывать голубые глаза.

Затѣмъ, когда онъ бросилъ лакейство и на скопленныя деньги открылъ въ селѣ лавочку, Машутка уѣхала съ господами въ Москву...

За три года до своей смерти она пріѣзжала къ отцу. Онъ едва узналъ ее. Это была молодая, стройная женщина, съ манерами барыни и одѣтая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книгѣ, курила табакъ, спала до полудня. Когда Андрей Андреичъ спросилъ ее, чѣмъ она занимается, она, смѣло глядя ему прямо въ глаза, объявила: «Я актриса!». Такая откровенность показалась бывшему лакею верхомъ цинизма. Машутка начала-было хвастать своими успѣхами и актерскимъ житьемъ, но видя, что отецъ только багровѣетъ и разводитъ руками, умолкла. И молча, не глядя другъ на друга, они прожили недѣли двѣ, до самаго отъѣзда. Передъ отъѣздомъ она упросила отца пойти погулять съ ней по берегу. Какъ ни жутко ему было гулять среди бѣла дня, на глазахъ всего честного народа съ дочкой актрисой, но онъ уступилъ ея просьбамъ...

— Какія чудныя у васъ мѣста!—восхищалась она, гуляя. — Что за овраги и болота! Боже, какъ хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти мѣста только мѣсто занимаютъ...—думалъ Андрей Андреичъ, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери.—Отъ нихъ корысти, какъ отъ козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать...

Андрей Андреичъ встряхиваетъ головой, какъ укушенная лошадь, и, чтобъ заглушить тяжелыя воспоминанія, начинаетъ быстро креститься...

— Помяни, Господи,—бормочетъ онъ: —усопшую рабу Твою блудницу Марію и прости ей вольная и невольная...

Непристойное слово опять срывается съ его языка, но онъ не замѣчаетъ этого: что прочно засѣло въ сознаніи, того, знать, не только наставленіями отца Григорія, но и гвоздемъ не выковыришь! Макарьевна вздыхаетъ и что-то

шепчетъ, втягивая въ себя воздухъ, сухорукій Митька о чемъ-то задумался...

— «...идѣже нѣсть болѣзни, печалей и воздыханія»...— гудитъ дьячокъ, прикрывая рукой правую щеку.

Изъ кадила струится синеватый дымокъ и купается въ широкомъ, косомъ лучѣ, пересѣкающемъ мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вмѣстѣ съ дымомъ носится въ лучѣ душа самой усопшей. Струйки дыма, похожія на кудри ребенка, кружатся, несутся вверхъ къ окну и словно сторонятся унынія и скорби, которыми полна эта бѣдная душа.

НА ПУТИ.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана...
Лермонтовъ.

Въ комнатѣ, которую самъ содержатель трактира, казакъ Семенъ Чистоплюй, называетъ «проѣзжающей», то-есть назначенной исключительно для проѣзжихъ, за большимъ некрашеннымъ столомъ сидѣлъ высокій, широкоплечій мужчина лѣтъ сорока. Облокотившись о столъ и подперевъ голову кулакомъ, онъ спалъ. Огарокъ сальной свѣчи, воткнутый въ баночку изъ-подъ помады, освѣщалъ его русую бороду, толстый широкій носъ, загорѣлыя щеки, густыя, черныя брови, нависшія надъ закрытыми глазами... И носъ, и щеки, и брови—всѣ черты, каждая въ отдѣльности, были грубы и тяжелы, какъ мебель и печка въ «проѣзжающей», но въ общемъ онѣ давали нѣчто гармоническое и даже красивое. Такова ужъ, какъ говорится, планида русскаго лица: чѣмъ крупнѣе и рѣзче его черты, тѣмъ кажется оно мягче и добродушнѣе. Одѣтъ былъ мужчина въ господскій пиджакъ, поношенный, но обшитый новой, широкой тесьмой, въ плюшевую жилетку и широкія черныя панталоны, засунутыя въ большіе сапоги.

На одной изъ скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стѣны, на мѣху лисьей шубы спала дѣвочка лѣтъ восьми, въ коричневомъ платьицѣ и въ длинныхъ черныхъ чулкахъ. Лицо ея было блѣдно, волосы бѣлокуры, плечи узки, все тѣло худо и жидко, но носъ выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, какъ и у мужчины. Она спала

крѣпко и не чувствовала, какъ полукруглая гребенка, свалившаяся съ головы, рѣзала ей щеку.

«Проѣзжающая» имѣла праздничный видъ. Въ воздухѣ пахло свѣже-вымытыми полами, на веревкѣ, которая тянулась діагонально черезъ всю комнату, не висѣли, какъ всегда, тряпки, и въ углу, надъ столомъ, кладя красное пятно на образъ Георгія Побѣдоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность въ переходѣ отъ божественнаго къ свѣтскому, отъ образа, по обѣ стороны угла, тянулся рядъ лубочныхъ картинъ. При тускломъ свѣтѣ огарка и красной лампадки картины представляли изъ себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая пѣть въ одинъ голосъ съ погодой, съ воемъ вдыхала въ себя воздухъ, а полѣнья, точно очнувшись, вспыхивали яркимъ пламенемъ и сердито ворчали, тогда на бревенчатыхъ стѣнахъ начинали прыгать румяныя пятна, и можно было видѣть, какъ надъ головой спавшаго мужчины вырастали то старецъ Серафимъ, то шахъ Насръ-Эддинъ, то жирный, коричневый младенецъ, таращившій глаза и шептавшій что-то на ухо дѣвицѣ съ необыкновенно тупымъ и равнодушнымъ лицомъ...

На дворѣ шумѣла непогода. Что-то бѣшеное, злобное, но глубоко несчастное съ яростью звѣря металось вокругъ трактира и старалось ворваться во внутрь. Хлопая дверями, стуча въ окна и по крышѣ, царапая стѣны, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потомъ съ радостнымъ, предательскимъ воемъ врывалось въ печную трубу, но тутъ полѣнья вспыхивали, и огонь, какъ цѣпной песъ, со злобой несся навстрѣчу врагу, начиналась борьба, а послѣ нея рыданія, визгъ, сердитый ревъ. Во всемъ этомъ слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть, и оскорбленное безсиліе того, кто когда-то привыкъ къ побѣдамъ...

Очарованная этой дикой, нечеловѣческой музыкой, «проѣзжающая», казалось, оцѣпенѣла навѣки. Но вотъ скрипнула дверь, и въ комнату вошелъ трактирный мальчикъ въ новой коленкоровой рубахѣ. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, онъ снялъ пальцами со свѣчи, подложилъ въ печку полѣньевъ и вышелъ. Тотчасъ же въ церкви, которая въ Рогачахъ находится въ трехстахъ ша-

гахъ отъ трактира, стали бить полночь. Вѣтеръ игралъ со звономъ, какъ со снѣговыми хлопьями; гоняясь за колокольными звуками, онъ кружилъ ихъ на громадномъ пространствѣ, такъ что одни удары прерывались, или растягивались въ длинный, волнистый звукъ, другіе вовсе исчезали въ общемъ гулѣ. Одинъ ударъ такъ явственно прогудѣлъ въ комнатѣ, какъ будто звонили подъ самыми окнами. Дѣвочка, спавшая на лисьемъ мѣху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядѣла безсмысленно на темное окно, на Насръ-Эддина, по которому въ это время скользилъ багряный свѣтъ отъ печки, потомъ перевела взглядъ на спавшаго мужчину.

— Папа!—сказала она.

Но мужчина не двигался. Дѣвочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью въ трактирѣ кто-то громко и протяжно зѣвнулъ. Вскорѣ вслѣдъ за этимъ послышался визгъ дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошелъ и, стряхивая съ себя снѣгъ, глухо затопалъ валеными сапогами.

— Чиво?—лѣниво спросилъ женскій голосъ.

— Барышня Иловайская пріѣхала...—отвѣчалъ басъ.

Опять завизжалъ дверной блокъ. Послышался шумъ ворвавшагося вѣтра. Кто-то, вѣроятно хромой мальчикъ, подбѣжалъ къ двери, которая вела въ «проѣзжающую», почтительно кашлянулъ и тронулъ щеколду.

— Сюда, матушка-барышня, пожалуйте,—сказалъ пѣвучій женскій голосъ:—тутъ у насъ чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на порогѣ показался бородатый мужикъ, въ кучерскомъ кафтанѣ и съ большимъ чемоданомъ на плечѣ, весь, съ головы до ногъ, облѣпленный снѣгомъ. Вслѣдъ за нимъ вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура безъ лица и безъ рукъ, окутанная, обмотанная, похожая на узелъ и тоже покрытая снѣгомъ. Отъ кучера и узла на дѣвочку пахнуло сыростью, какъ изъ погреба, и огонь свѣчки заколебался.

— Какія глупости!—сказалъ сердито узелъ.—Отлично можно ѣхать! Осталось ѣхать только двѣнадцать верстъ, все больше лѣсомъ, и не заблудились бы...

— Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идутъ, барышня!—отвѣчалъ кучеръ.—И Господи Твоя воля, словно я нарочно!

— Богъ знаетъ, куда привезъ... Но тише... Тутъ, кажется, спятъ. Ступай отсюда...

Кучеръ поставилъ на полъ чемоданъ, причемъ съ его плечъ посыпались пласты снѣга, издалъ носомъ всхлипывающій звукъ и вышелъ. Затѣмъ дѣвочка видѣла, какъ изъ середины узла вылѣзли двѣ маленькихъ ручки, потянулись вверхъ и стали сердито распутывать путаницу изъ шалей платковъ и шарфовъ. Сначала на полъ упала большая шаль, потомъ башлыкъ, за нимъ бѣлый вязаный платокъ. Освободивъ голову, пріѣзжая сняла салопъ и сразу сузилась на половину. Теперь ужъ она была въ длинномъ, сѣромъ пальто съ большими пуговицами и съ оттопыренными карманами. Изъ одного кармана вытащила она бумажный свертокъ съ чѣмъ-то, изъ другого вязку большихъ, тяжелыхъ ключей, которую положила такъ неосторожно, что спавшій мужчина вздрогнулъ и открылъ глаза. Нѣкоторое время онъ тупо глядѣлъ по сторонамъ, какъ бы не понимая, гдѣ онъ, потомъ встряхнулъ головой, пошелъ въ уголъ и сѣлъ... Пріѣзжая сняла пальто, отчего опять сузилась на половину, стащила съ себя плисовые сапоги и тоже сѣла.

Теперь ужъ она не походила на узелъ. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лѣтъ 20, тонкая, какъ змѣйка, съ продолговатымъ бѣлымъ лицомъ и съ вьющимися волосами. Носъ у нея былъ длинный, острый, подбородокъ тоже длинный и острый, рѣсницы длинныя, углы рта острые и, благодаря этой всеобщей остротѣ, выраженіе лица казалось колючимъ. Затянутая въ черное платье, съ массой кружевъ на шеѣ и рукавахъ, съ острыми локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средне-вѣковыхъ англійскихъ дамъ. Серьезное, сосредоточенное выраженіе лица еще болѣе увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядѣла комнату, покосилась на мужчину и дѣвочку и, пожавъ плечами, пересѣла къ окну. Темныя окна дрожали отъ сырого западнаго вѣтра. Крупные хлопья снѣга, сверкая бѣлизной, ложились на стекла, но тотчасъ же исчезали, уносимые вѣтромъ. Дикая музыка становилась все сильнѣе...

Послѣ долгаго молчанія, дѣвочка вдругъ заворочалась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

— Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастнѣй всѣхъ!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсѣмъ не шла къ его громадному росту и большой бородѣ, засѣменилъ къ дѣвочкѣ.

— Ты не спишь, дружочекъ? — спросилъ онъ извиняющимся голосомъ.—Чего ты хочешь?

— Ничего не хочу! У меня плечо болитъ! Ты, папа, нехорошій человѣкъ, и Богъ тебя накажетъ! Вотъ увидишь, что накажетъ!

— Голубчикъ мой, я знаю, что у тебя болитъ плечо, но что же я могу сдѣлать, дружочекъ?—сказалъ мужчина тономъ, какимъ подвыпившіе мужья извиняются передъ своими строгими супругами.—Это, Саша, у тебя отъ дороги болитъ плечо. Завтра мы пріѣдемъ къ мѣсту, отдохнемъ, оно и пройдетъ...

— Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мнѣ завтра. Мы еще двадцать дней будемъ ѣхать!

— Но, дружочекъ, честное слово отца, мы пріѣдемъ завтра. Я никогда не лгу, а если насъ задержала вьюга, то я не виноватъ.

— Я не могу больше терпѣть! Не могу, не могу!

Саша рѣзко дрыгнула ногой и огласила комнату непріятнымъ визгливымъ плачемъ. Отецъ ея махнулъ рукой и растерянно поглядѣлъ на брюнетку. Та пожала плечами и нерѣшительно подошла къ Сашѣ.

— Послушай, милая, — сказала она: — зачѣмъ же плакать? Правда, нехорошо, если болитъ плечо, но что же дѣлать?

— Видите ли, сударыня,—быстро заговорилъ мужчина, какъ бы оправдываясь:—мы не спали двѣ ночи и ѣхали въ отвратительномъ экипажѣ. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскуетъ... А тутъ еще, знаете ли, намъ пьяный извозчикъ попался, чемоданъ у насъ украли... метель все время, но къ чему, сударыня, плакать? Впрочемъ, этотъ сонъ въ сидячемъ положеніи утомилъ меня, и я точно пьяный. Ей-Богу, Саша, тутъ и безъ тебя тошно, а ты еще плачешь!

Мужчина покрутилъ головой, махнулъ рукой и сѣлъ.

— Конечно, не слѣдуетъ плакать,—сказала брюнетка.— Это только грудныя дѣти плачутъ. Если ты больна, милая, то надо раздѣться и спать... Давай-ка раздѣнемся!

Когда дѣвочка была раздѣта и успокоена, опять насту-

пило молчаніе. Брюнетка сидѣла у окна и съ недоумѣніемъ оглядывала трактирную комнату, образъ, печку... Повидимому, ей казались странными и комната, и дѣвочка съ ея толстымъ носомъ, въ короткой мальчишеской сорочкѣ, и дѣвочкинъ отецъ. Этотъ странный человѣкъ сидѣлъ въ углу, растерянно, какъ пьяный, поглядывалъ по сторонамъ и мялъ ладонью свое лицо. Онъ молчалъ, моргалъ глазами и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтобъ онъ скоро началъ говорить. Но первый началъ говорить онъ. Погладивъ себѣ колѣни, кашлянувъ, онъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Комедія, ей-Богу... Смотрю и глазамъ своимъ не вѣрю: ну, за какимъ лѣшимъ судьба загнала насъ въ этотъ поганый трактиръ? Что она хотѣла этимъ выразить? Жизнь выдѣлываетъ иногда такія salto mortale, что только гляди и въ недоумѣніи глазами хлопай. Вы, сударыня, далеко изволите ѣхать?

— Нѣтъ, недалеко,—отвѣтила брюнетка.—Я ѣду изъ нашего имѣнія, отсюда верстъ двадцать, въ нашъ же хуторъ, къ отцу и брату. Я сама Иловайская, ну, и хуторъ также называется Иловайскимъ, двѣнадцать верстъ отсюда. Какая непріятная погода!

— Чего хуже!

Вошелъ хромой мальчикъ и вставилъ въ помадную банку новый огарокъ.

— Ты бы, хлопче, самоварчикъ намъ поставилъ!—обратился къ нему мужчина.

— Кто жъ теперь чай пьетъ?—усмѣхнулся хромой.—Грѣхъ до обѣдни пить.

— Ничего, хлопче, не ты будешь горѣть въ аду, а мы...

За чаемъ новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ея собесѣдника зовутъ Григоріемъ Петровичемъ Лихаревымъ, что онъ родной братъ тому самому Лихареву, который въ одномъ изъ сосѣднихъ уѣздовъ служитъ предводителемъ, и самъ былъ когда-то помѣщикомъ, но «своевременно прогорѣлъ». Лихаревъ же узналъ, что Иловайскую зовутъ Марьей Михайловной, что имѣнье у ея отца громадное, но что хозяйничать приходится только ей одной, такъ какъ отецъ и братъ смотрятъ на жизнь сквозь пальцы, безпечны и слишкомъ любятъ борзыхъ.

— *Отецъ* и братъ на хуторѣ одни-одинёшеньки, —гово-

рила Иловайская, шевеля пальцами (въ разговорѣ у нея была манера шевелить передъ своимъ колючимъ лицомъ пальцами и, послѣ каждой фразы, облизывать острымъ язычкомъ губы):—они, мужчины, народъ безпечный, и сами для себя пальцемъ не пошевельнутъ. Воображаю, кто дастъ имъ разговѣться! Матери у насъ нѣтъ, а прислуга у насъ такая, что безъ меня и скатерти путемъ не постелютъ. Можете теперь представить ихъ положеніе! Они останутся безъ розговѣнья, а я всю ночь должна здѣсь сидѣть! Какъ все это странно!

Иловайская пожала плечами, отхлебнула изъ чашки и сказала:

— Есть праздники, которые имѣютъ свой запахъ. На Пасху, Троицу и на Рождество въ воздухѣ пахнетъ чѣмъ-то особеннымъ. Даже невѣрующіе любятъ эти праздники. Мой братъ, напримѣръ, толкуетъ, что Бога нѣтъ, а на Пасху первый бѣжитъ къ заутренѣ.

Лихаревъ поднялъ глаза на Иловайскую и засмѣялся.

— Толкуютъ, что Бога нѣтъ,—продолжала Иловайская, тоже засмѣявшись:—но почему же, скажите мнѣ, всѣ знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди, подъ конецъ жизни вѣруютъ?

— Кто, сударыня, въ молодости не умѣлъ вѣрить, тотъ не увѣруетъ и въ старости, будь онъ хоть распереписатель.

Судя по кашлю, у Лихарева былъ басъ, но, вѣроятно изъ боязни говорить громко, или изъ излишней застѣнчивости, онъ говорилъ теноромъ. Помолчавъ немного, онъ вздохнулъ и сказалъ:

— Я такъ понимаю, что вѣра есть способность духа. Она все равно, что талантъ: съ нею надо родиться. Насколько я могу судить по себѣ, по тѣмъ людямъ, которыхъ видалъ на своемъ вѣку, по всему тому, что творилось вокругъ, эта способность присуща русскимъ людямъ въ высочайшей степени. Русская жизнь представляетъ изъ себя непрерывный рядъ вѣрованій и увлеченій, а невѣрія или отрицанія она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русскій человѣкъ не вѣритъ въ Бога, то это значитъ, что онъ вѣруетъ во что-нибудь другое.

Лихаревъ принялъ отъ Иловайской чашку съ чаемъ, отхлебнулъ сразу половину и продолжалъ:

— Я вамъ про себя скажу. Въ мою душу природа вложила необыкновенную способность вѣрить. Полжизни я состоялъ, не къ ночи будь сказано, въ штатѣ атеистовъ и нигилистовъ, но не было въ моей жизни ни одного часа, когда бы я не вѣровалъ. Всѣ таланты обнаруживаются обыкновенно въ раннемъ дѣтствѣ, такъ и моя способность давала уже себя знать, когда я еще подъ столомъ пѣшкомъ ходилъ. Моя мать любила, чтобы дѣти много ѣли, и когда, бывало, кормила меня, то говорила: «Ѣшь! Главное въ жизни супъ!» Я вѣрилъ, ѣлъ этотъ супъ по десяти разъ въ день, ѣлъ какъ акула, до отвращенія и обморока. Разсказывала нянька сказки, и я вѣрилъ въ домовыхъ, въ лѣшихъ, во всякую чертовщину. Бывало, краду у отца сулему, посыпаю ею пряники и ношу ихъ на чердакъ, чтобъ, видите ли, домовые поѣли и передохли. А когда научился читать и понимать читанное, то пошла писать губернія! Я и въ Америку бѣгалъ, и въ разбойники уходилъ, и въ монастырь просился, и мальчишекъ нанималъ, чтобъ они меня мучили за Христа. И замѣтьте, вѣра у меня была всегда дѣятельная, не мертвая. Ежели я въ Америку убѣгалъ, то не одинъ, а совращалъ съ собой еще кого-нибудь, такого же дурака, какъ я, и радъ былъ, когда мерзъ за заставой и когда меня пороли; ежели въ разбойники уходилъ, то возвращался непремѣнно съ разбитой рожей. Безпокойнѣйшее дѣтство, я вамъ доложу! А когда меня отдали въ гимназію и осыпали тамъ всякими истинами въ родѣ того, что земля ходитъ вокругъ солнца, или что бѣлый цвѣтъ не бѣлый, а состоитъ изъ семи цвѣтовъ, закружилась моя головушка! Все у меня полетѣло кругомъ: и Навинъ, остановившій солнце, и мать, во имя пророка Иліи отрицавшая громоотводы, и отецъ, равнодушный къ истинамъ, которыя я узналъ. Мое прозрѣніе вдохновило меня. Какъ шальной, ходилъ я по дому, по конюшнямъ, проповѣдывалъ свои истины, приходилъ въ ужасъ отъ невѣжества, пылалъ ненавистью ко всѣмъ, кто въ бѣломъ цвѣтѣ видѣлъ только бѣлое... Впрочемъ, все это пустяки и мальчишество. Серьезныя же, такъ сказать, мужественныя увлеченія начались у меня съ университета. Вы, сударыня, изволили гдѣ-нибудь окончить курсъ?

— Въ Новочеркаскѣ, въ Донскомъ институтѣ.

— А на курсахъ не были? Стало-быть, вы не знаете,

что такое науки. Всѣ науки, сколько ихъ есть на свѣтѣ, имѣютъ одинъ и тотъ же паспортъ, безъ котораго онѣ считаютъ себя немыслимыми: стремленіе къ истинѣ! Каждая изъ нихъ даже какая-нибудь фармакогнозія, имѣетъ своею цѣлью не пользу, не удобства въ жизни, а истину. Замѣчательно! Когда вы принимаетесь изучать какую-нибудь науку, то васъ прежде всего поражаетъ ея начало. Я вамъ скажу, нѣтъ ничего увлекательнѣе и грандіознѣе, ничто такъ не ошеломляетъ и не захватываетъ человѣческаго духа, какъ начало какой-нибудь науки. Съ первыхъ же пяти-шести лекцій, васъ уже окрыляютъ самыя яркія надежды, вы уже кажетесь себѣ хозяиномъ истины. И я отдался наукамъ беззавѣтно, страстно, какъ любимой женщинѣ. Я былъ ихъ рабомъ и, кромѣ нихъ, не хотѣлъ знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрилъ, разорялся на книги, плакалъ, когда на моихъ глазахъ люди эксплоатировали науку ради личныхъ цѣлей. Но я не долго увлекался. Штука въ томъ, что у каждой науки есть начало, но вовсе нѣтъ конца, все равно, какъ у періодической дроби. Зоологія открыла 35.000 видовъ насѣкомыхъ, химія насчитываетъ 60 простыхъ тѣлъ. Если современемъ къ этимъ цыфрамъ прибавится справа по десяти нолей, зоологія и химія такъ же будутъ далеки отъ своего конца, какъ и теперь, а вся современная научная работа заключается именно въ приращеніи цыфръ. Сей фокусъ я уразумѣлъ, когда открылъ 35.001-й видъ и не почувствовалъ удовлетворенія. Ну-съ, разочарованія я не успѣлъ пережить, такъ какъ скоро мною овладѣла новая вѣра. Я ударился въ нигилизмъ съ его прокламаціями, черными передѣлами и всякими штуками. Ходилъ я въ народъ, служилъ на фабрикахъ, въ смазчикахъ, бурлакахъ. Потомъ, когда, шатаясь по Руси, я понюхалъ русскую жизнь, я обратился въ горячаго поклонника этой жизни. Я любилъ русскій народъ до страданія, любилъ и вѣровалъ въ его Бога, въ языкъ, творчество... И такъ далѣе, и такъ далѣе... Въ свое время былъ я славянофиломъ, надоѣдалъ Аксакову письмами, и украйнофиломъ, и археологомъ, и собирателемъ образцовъ народнаго творчества... увлекался я идеями, людьми, событіями, мѣстами... увлекался безъ перерыва! Пять лѣтъ тому назадъ я служилъ отрицанію собственности; послѣдней моей вѣрой было непротивленіе злу.

Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихаревъ поднялся и подошелъ къ ней.

— Дружочекъ мой, не хочешь ли чаю? — спросилъ онъ нѣжно.

— Пей самъ!—грубо отвѣтила дѣвочка.

Лихаревъ сконфузился и виноватой походкой вернулся къ столу.

— Значитъ, вамъ весело жилось,—сказала Иловайская.— Есть о чемъ вспомнить.

— Ну, да, все это весело, когда сидишь за чаемъ съ доброй собесѣдницей и болтаешь, но вы спросите, во что мнѣ обошлась эта веселость? Что стоило мнѣ разнообразіе моей жизни? Вѣдь я, сударыня, вѣровалъ не какъ нѣмецкій докторъ философіи, не цирлихъ-манирлихъ, не въ пустынѣ я жилъ, а каждая моя вѣра гнула меня въ дугу, рвала на части мое тѣло. Судите вы сами. Былъ я богатъ, какъ братья, но теперь я нищій. Въ чаду увлеченій я ухлопалъ и свое состояніе, и женино, — массу чужихъ денегъ. Мнѣ теперь 42 года, старость на носу, а я безпріютенъ, какъ собака, которая отстала ночью отъ обоза. Во всю жизнь мою я не зналъ, что такое покой. Душа моя безпрерывно томилась, страдала даже надеждами... Я изнывалъ отъ тяжкаго безпорядочнаго труда, терпѣлъ лишенія, разъ пять сидѣлъ въ тюрьмѣ, таскался по Архангельскимъ и Тобольскимъ губерніямъ... вспоминать больно! Я жилъ, но въ чаду не чувствовалъ самаго процесса жизни. Вѣрите ли, я не помню ни одной весны, не замѣчалъ, какъ любила меня жена, какъ рождались мои дѣти. Что еще сказать вамъ? Для всѣхъ, кто любилъ меня, я былъ несчастьемъ... Моя мать вотъ уже 15 лѣтъ носитъ по мнѣ трауръ, а мои гордые братья, которымъ приходилось изъ-за меня болѣть душой, краснѣть, гнуть свои спины, сорить деньгами, подъ конецъ возненавидѣли меня, какъ отраву.

Лихаревъ поднялся и опять сѣлъ.

— Если бъ я былъ только несчастливъ, то я возблагодарилъ бы Бога, — продолжалъ онъ, не глядя на Иловайскую. — Мое личное несчастье уходитъ на задній планъ, когда я вспоминаю, какъ часто въ своихъ увлеченіяхъ я былъ нелѣпъ, далекъ отъ правды, несправедливъ, жестокъ, опасенъ! Какъ часто я всей душой ненавидѣлъ и презиралъ *тѣхъ, кого* слѣдовало бы любить и — наоборотъ. Измѣнялъ

я тысячу разъ. Сегодня я вѣрую, падаю ницъ, а завтра ужъ я трусомъ бѣгу отъ сегодняшнихъ моихъ боговъ и друзей и молча глотаю подлеца, котораго пускаютъ мнѣ вслѣдъ. Богъ одинъ видѣлъ, какъ часто отъ стыда за свои увлеченія я плакалъ и грызъ подушку. Ни разу въ жизни я умышленно не солгалъ и не сдѣлалъ зла, но не чиста моя совѣсть! Сударыня, я не могу даже похвастать, что на моей совѣсти нѣтъ ничьей жизни, такъ какъ на моихъ же глазахъ умерла моя жена, которую я изнурилъ своею безшабашностью. Да, моя жена! Послушайте, у насъ въ общежитіи преобладаютъ теперь два отношенія къ женщинамъ. Одни измѣряютъ женскіе черепа, чтобъ доказать, что женщина ниже мужчины, ищутъ ея недостатковъ, чтобъ глумиться надъ ней, оригинальничать въ ея же глазахъ и оправдать свою животность. Другіе же изъ всѣхъ силъ стараются поднять женщину до себя, т. е. заставить ее зазубрить 35.000 видовъ, говорить и писать тѣ же глупости, какія они сами говорятъ и пишутъ...

Лицо Лихарева потемнѣло.

— А я вамъ скажу, что женщина всегда была и будетъ рабой мужчины, — заговорилъ онъ басомъ, стукнувъ кулакомъ по столу. — Она нѣжный, мягкій воскъ, изъ котораго мужчина всегда лѣпилъ все, что ему угодно. Господи Боже мой, изъ-за грошоваго мужского увлеченія она стригла себѣ волосы, бросала семью, умирала на чужбинѣ... Между идеями, для которыхъ она жертвовала собой, нѣтъ ни одной женской... Беззавѣтная, преданная раба! Череповъ я не измѣрялъ, а говорю это по тяжкому, горькому опыту. Самыя гордыя самостоятельныя женщины, если мнѣ удавалось сообщать имъ свое вдохновеніе, шли за мной, не разсуждая, не спрашивая и дѣлая все, что я хотѣлъ; изъ монашенки я сдѣлалъ нигилистку, которая, какъ потомъ я слышалъ, стрѣляла въ жандарма; жена моя не оставляла меня въ моихъ скитаніяхъ ни на минуту и, какъ флюгеръ, мѣняла свою вѣру параллельно тому, какъ я мѣнялъ свои увлеченія.

Лихаревъ вскочилъ и заходилъ по комнатѣ.

— Благородное, возвышенное рабство! — сказалъ онъ, всплескивая руками. — Въ немъ-то именно и заключается высокій смыслъ женской жизни! Изъ страшнаго сумбура, накопившагося въ моей головѣ за все время моего общенія

съ женщинами, въ моей памяти, какъ въ фильтрѣ, уцѣлѣли не идеи, не умныя слова, не философія, а эта необыкновенная покорность судьбѣ, это необычайное милосердіе, всепрощеніе...

Лихаревъ сжалъ кулаки, уставился въ одну точку и съ какимъ-то страстнымъ напряженіемъ, точно обсасывая каждое слово, процѣдилъ сквозь сжатые зубы:

— Эта... эта великодушная выносливость, вѣрность до могилы, поэзія сердца... Смыслъ жизни именно въ этомъ безропотномъ мученичествѣ, въ слезахъ, которыя размягчаютъ камень, въ безграничной, всепрощающей любви, которая вноситъ въ хаосъ жизни свѣтъ и теплоту...

Иловайская медленно поднялась, сдѣлала шагъ къ Лихареву и впилась глазами въ его лицо. По слезамъ, которыя блестѣли на его рѣсницахъ, по дрожавшему, страстному голосу, по румянцу щекъ, для нея ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Онѣ были предметомъ его новаго увлеченія или, какъ самъ онъ говорилъ, новой вѣры! Первый разъ въ жизни Иловайская видѣла передъ собой человѣка увлеченнаго, горячо вѣрующаго. Жестикулируя, сверкая глазами, онъ казался ей безумнымъ, изступленнымъ, но въ огнѣ его глазъ, въ рѣчи, въ движеніяхъ всего большого тѣла чувствовалось столько красоты, что она, сама того не замѣчая, стояла передъ нимъ, какъ вкопанная, и восторженно глядѣла ему въ лицо.

— А возьмите вы мою мать!—говорилъ онъ, протягивая къ ней руки и дѣлая умоляющее лицо. — Я отравилъ ея существованіе, обезславилъ, по ея понятіямъ, родъ Лихаревыхъ, причинилъ ей столько зла, сколько можетъ причинить злѣйшій врагъ, и—что же? Братья выдаютъ ей гроши на просфоры и молебны, а она, насилуя свое религіозное чувство, копитъ эти деньги и тайкомъ шлетъ ихъ своему безпутному Григорію! Одна эта мелочь воспитаетъ и облагородитъ душу гораздо сильнѣе, чѣмъ всѣ теоріи, умныя слова, 35.000 видовъ! Я вамъ могу тысячу примѣровъ привести. Да вотъ хоть бы васъ взять! На дворѣ вьюга, ночь, а вы ѣдете къ брату и отцу, чтобы въ праздникъ согрѣть ихъ лаской, хотя они, быть-можетъ, не думаютъ, забыли о васъ. А погодите, полюбите человѣка, такъ вы за нимъ на *сѣверный полюсъ* пойдете. Вѣдь пойдете?

— Да, если... полюблю.

— Вотъ видите!—обрадовался Лихаревъ и даже ногою притопнулъ.—Ей-Богу, такъ я радъ, что съ вами познакомился! Такая добрая моя судьба, все я съ великолѣпными людьми встрѣчаюсь. Что ни день, то такое знакомство, что за человѣка просто бы душу отдалъ. На этомъ свѣтѣ хорошихъ людей гораздо больше, чѣмъ злыхъ. Вотъ подите же, такъ мы съ вами откровенно и по душамъ поговорили, какъ будто сто лѣтъ знакомы. Иной разъ, доложу я вамъ, лѣтъ десять крѣпишься, молчишь, отъ друзей и жены скрытничаешь, а встрѣтишь въ вагонѣ кадета и всю ему душу выболтаешь. Васъ я имѣю честь видѣть только первый разъ, а покаялся вамъ, какъ никогда не каялся. Отчего это?

Потирая руки и весело улыбаясь, Лихаревъ прошелся по комнатѣ и опять заговорилъ о женщинахъ. Между тѣмъ зазвонили къ заутренѣ.

— Господи!—заплакала Саша.—Онъ своими разговорами не даетъ мнѣ спать!

— Ахъ, да!—спохватился Лихаревъ.—Виноватъ, дружочекъ. Спи, спи... Кромѣ нея, у меня еще двое мальчиковъ есть,—зашепталъ онъ.—Тѣ, сударыня, у дяди живутъ, а эта не можетъ и дня продышать безъ отца. Страдаетъ, ропщетъ, а липнетъ ко мнѣ, какъ муха къ меду. Я, сударыня, заболтался, а оно бы и вамъ не мѣшало отдохнуть. Не угодно ли, я сдѣлаю вамъ постель?

Не дожидаясь позволенія, онъ встряхнулъ мокрый салопъ и растянулъ его по скамьѣ, мѣхомъ вверхъ, подобралъ разбросанные платки и шали, положилъ у изголовья свернутое въ трубку пальто, и все это молча, съ выраженіемъ подобострастнаго благоговѣнія на лицѣ, какъ будто возился не съ женскими тряпками, а съ осколками освященныхъ сосудовъ. Во всей его фигурѣ было что-то виноватое, конфузливое, точно въ присутствіи слабаго существа онъ стыдился своего роста и силы...

Когда Иловайская легла, онъ потушилъ свѣчку и сѣлъ на табуретъ около печки.

— Такъ-то, сударыня,—шепталъ онъ, закуривая толстую папиросу и пуская дымъ въ печку.—Природа вложила въ русскаго человѣка необыкновенную способность вѣровать, испытующій умъ и даръ мыслительства, но все это разби-

вается въ прахъ о безпечность, лѣнь и мечтательное легкомысліе... Да-съ...

Иловайская удивленно вглядывалась въ потемки и видѣла только красное пятно на образѣ и мельканіе печного свѣта на лицѣ Лихарева. Потемки, колокольный звонъ, ревъ метели, хромой мальчикъ, ропщущая Саша, несчастный Лихаревъ и его рѣчи—все это мѣшалось, вырастало въ одно громадное впечатлѣніе, и міръ Божій казался ей фантастичнымъ, полнымъ чудесъ и чарующихъ силъ. Все только-что слышанное звучало въ ея ушахъ, и жизнь человѣческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, въ которой нѣтъ конца.

Громадное впечатлѣніе росло и росло, заволокло собой сознаніе и обратилось въ сладкій сонъ. Иловайская спала, но видѣла лампадку и толстый носъ, по которому прыгалъ красный свѣтъ.

Слышала она плачъ.

— Дорогой папа,—нѣжно умолялъ дѣтскій голосъ:—вернемся къ дядѣ! Тамъ елка! Тамъ Степа и Коля!

— Дружочекъ мой, что же я могу сдѣлать? — убѣждалъ тихій мужской басъ.—Пойми меня! Ну, пойми!

И къ дѣтскому плачу присоединился мужской. Этотъ голосъ человѣческаго горя среди воя непогоды коснулся слуха дѣвушки такой сладкой, человѣческой музыкой, что она не вынесла наслажденія и тоже заплакала. Слышала она потомъ, какъ большая черная тѣнь тихо подходила къ ней, поднимала съ полу упавшую шаль и кутала ея ноги.

Разбудилъ Иловайскую странный ревъ. Она вскочила и удивленно поглядѣла вокругъ себя. Въ окна, наполовину занесенныя снѣгомъ, глядѣла синева разсвѣта. Въ комнатѣ стояли сѣрыя сумерки, сквозь которыя ясно вырисовывались и печка, и спавшая дѣвочка, и Насръ-Эддинъ. Печь и лампадка уже потухли. Въ раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная комната съ прилавкомъ и столами. Какой-то человѣкъ, съ тупымъ, цыганскимъ лицомъ, съ удивленными глазами, стоялъ посреди комнаты на лужѣ растаявшаго снѣга и держалъ на палкѣ большую красную звѣзду. Его окружала толпа мальчишекъ, неподвижныхъ, какъ статуи, и облѣпленныхъ снѣгомъ. Свѣтъ звѣзды, проходя сквозь красную бумагу, румянилъ ихъ мок-

рыя лица. Толпа безпорядочно ревѣла, и изъ ея рева Иловайская поняла только одинъ куплетъ:

Гей, ты, хлопчикъ маленькій,
Бери ножикъ тоненькій,
Убьемъ, убьемъ жида,
Прискорбнаго сына...

Около прилавка стоялъ Лихаревъ, глядѣлъ съ умиленіемъ на пѣвцовъ и притопывалъ въ тактъ ногой. Увидѣвъ Иловайскую, онъ улыбнулся во все лицо и подошелъ къ ней. Она тоже улыбнулась.

Съ праздникомъ!—сказалъ онъ.—Я видѣлъ, вы хорошо спали.

Иловайская глядѣла на него, молчала и продолжала улыбаться.

Послѣ ночныхъ разговоровъ онъ ужъ казался ей не высокимъ, не широкоплечимъ, а маленькимъ, подобно тому, какъ намъ кажется маленькимъ самый большой пароходъ, про который говорятъ, что онъ проплылъ океанъ.

— Ну, мнѣ пора ѣхать,—сказала она.—Надо одѣваться. Скажите, куда же вы теперь направляетесь?

— Я-съ? На станцію Клинушки, оттуда въ Сергіево, а изъ Сергіева 40 верстъ на лошадяхъ въ угольныя шахты одного дурня, нѣкоего генерала Шашковскаго. Тамъ мнѣ братья мѣсто управляющаго нашли... Буду уголь копать.

— Позвольте, я эти шахты знаю. Вѣдь Шашковскій мой дядя. Но... зачѣмъ вы туда ѣдете?—спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

— Въ управляющіе. Шахтами управлять.

— Не понимаю! — пожала плечами Иловайская. — Вы ѣдете въ шахты. Но вѣдь тамъ голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупаетъ, а мой дядя маньякъ, деспотъ, банкротъ... Вы и жалованья не будете получать!

— Все равно,—сказалъ равнодушно Лихаревъ.—И за шахты спасибо.

Иловайская пожала плечами и въ волненіи заходила по комнатѣ.

— Не понимаю, не понимаю!—говорила она, шевеля передъ своимъ лицомъ пальцами.—Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человѣка! Ахъ, Господи,—горячо сказала

она, подходя къ Лихареву и шевеля пальцами передъ его улыбающимся лицомъ; верхняя губа ее дрожала и колючее лицо поблѣднѣло.—Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Тамъ не съ кѣмъ слова сказать, а вы... увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдругъ устыдилась своей горячности и, отвернувшись отъ Лихарева, отошла къ окну.

— Нѣтъ, нѣтъ, вамъ туда нельзя ѣхать!—сказала она, быстро водя пальцемъ по стеклу.

Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нея стоитъ безконечно несчастный, пропащій, заброшенный человѣкъ, а онъ, точно не сознавая своего несчастья, точно не онъ плакалъ ночью, глядѣлъ на нее и добродушно улыбался. Ужъ лучше бы онъ продолжалъ плакать! Нѣсколько разъ въ волненіи прошлась она по комнатѣ, потомъ остановилась въ углу и задумалась. Лихаревъ что-то говорилъ, но она его не слышала. Повернувшись къ нему спиной, она вытащила изъ портмонэ четвертную бумажку, долго мяла ее въ рукахъ и, оглянувшись на Лихарева, покраснѣла и сунула бумажку къ себѣ въ карманъ.

За дверью послышался голосъ кучера. Иловайская, молча, со строгимъ, сосредоточеннымъ лицомъ, стала одѣваться. Лихаревъ куталъ ее и весело болталъ, но каждое его слово ложилось на ея душу тяжестью. Не весело слушать, когда балагурятъ несчастные или умирающіе.

Когда было кончено превращеніе живого человѣка въ безформенный узелъ, Иловайская оглядѣла въ послѣдній разъ «проѣзжающую», постояла молча и медленно вышла. Лихаревъ пошелъ проводить ее...

А на дворѣ все еще, Богъ знаетъ чего ради, злилась зима. Цѣлыя облака мягкаго крупнаго снѣга безпокойно кружились надъ землей и не находили себѣ мѣста. Лошади, сани, деревья, быкъ, привязанный къ столбу — все было бѣло и казалось мягкимъ, пушистымъ.

— Ну, дай Богъ вамъ,—бормоталъ Лихаревъ, усаживая Иловайскую въ сани.—Не поминайте лихомъ...

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объѣзжать большой сугробъ, она оглянулась на Лихарева съ такимъ выраженіемъ, какъ будто что-то хотѣла сказать ему. Тотъ подбѣжалъ къ ней, но она не сказала ему ни

слова, а только взглянула на него сквозь длинныя рѣсницы, на которыхъ висли снѣжинки...

Сумѣла ли въ самомъ дѣлѣ его чуткая душа прочитать этотъ взглядъ, или, быть-можетъ, его обмануло воображеніе, но ему вдругъ стало казаться, что еще бы два-три хорошихъ, сильныхъ штриха, и эта дѣвушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолье и пошла бы за нимъ, не спрашивая, не разсуждая. Долго стоялъ онъ, какъ вкопанный, и глядѣлъ на слѣдъ, оставленный полозьями. Снѣжинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи... Скоро слѣдъ отъ полозьевъ исчезъ, и самъ онъ, покрытый снѣгомъ, сталъ походить на бѣлый утесъ, но глаза его все еще искали чего-то въ облакахъ снѣга.

НЕСЧАСТЬЕ.

Софья Петровна, жена нотаріуса Лубянцева, красивая молодая женщина, лѣтъ двадцати-пяти, тихо шла по лѣсной просѣкѣ со своимъ сосѣдомъ по дачѣ, присяжнымъ повѣреннымъ Ильинымъ. Былъ пятый часъ вечера. Надъ просѣкой сгустились бѣлыя, пушистыя облака; изъ-подъ нихъ кое-гдѣ проглядывали ярко-голубые клочки неба. Облака стояли неподвижно, точно зацѣпились за верхушки высокихъ, старыхъ сосенъ. Было тихо и душно.

Вдали просѣка перерѣзывалась невысокой желѣзнодорожной насыпью, по которой на этотъ разъ шагалъ для чего-то часовой съ ружьемъ. Тотчасъ же за насыпью бѣлѣла большая шестиглавая церковь съ поржавленной крышей...

— Я не ожидала встрѣтиться здѣсь съ вами,—говорила Софья Петровна, глядя въ землю и трогая концомъ зонта прошлогодніе листья:—и теперь рада, что встрѣтилась. Мнѣ нужно говорить съ вами серьезно и окончательно. Прошу васъ, Иванъ Михайловичъ, если вы, дѣйствительно, любите меня и уважаете, то прекратите вы ваши преслѣдованія! Вы ходите за мной, какъ тѣнь, вѣчно смотрите на меня нехорошими глазами, объясняетесь въ любви, пишете странныя письма и... и я не знаю, когда все это кончится! Ну, къ чему это поведетъ, Господи Боже мой?

Ильинъ молчалъ. Софья Петровна прошла нѣсколько шаговъ и продолжала:

— И эта рѣзкая перемѣна произошла въ васъ въ какія-нибудь двѣ-три недѣли, послѣ пятилѣтняго знакомства. *Не узнаю* васъ Иванъ Михайловичъ!

Софья Петровна искоса взглянула на своего спутника. Онъ внимательно, щуря глаза, глядѣлъ на пушистыя облака. Выраженіе лица его было злое, капризное и разсѣянное, какъ у человѣка, который страдаетъ и въ то же время обязанъ слушать вздоръ.

— Удивительно, какъ это вы сами не можете понять! — продолжала Лубянцева, пожавъ плечами.—Поймите, что вы затѣваете не совсѣмъ красивую игру. Я замужемъ, люблю и уважаю своего мужа... у меня есть дочь... Неужели вы это ни во что не ставите? Кромѣ того, вамъ, какъ моему старинному пріятелю, извѣстенъ мой взглядъ на семью... на семейныя основы вообще...

Ильинъ досадливо крякнулъ и вздохнулъ.

— Семейныя основы... — пробормоталъ онъ. — О, Господи!

— Да, да... Я люблю мужа, уважаю и во всякомъ случаѣ дорожу покоемъ семьи. Скорѣй я позволю убить себя, чѣмъ быть причиной несчастья Андрея и его дочери... И я прошу васъ, Иванъ Михайловичъ, ради Бога, оставьте меня въ покоѣ. Будемте попрежнему добрыми и хорошими друзьями, а эти вздохи да ахи, которые вамъ не къ лицу, бросьте. Рѣшено и кончено! Больше ни слова объ этомъ. Давайте говорить о чемъ-нибудь другомъ.

Софья Петровна опять покосилась на лицо Ильина. Ильинъ глядѣлъ вверхъ, былъ блѣденъ и сердито кусалъ дрожавшія губы. Лубянцевой было непонятно, на что онъ злился и чѣмъ возмущался, но его блѣдность тронула ее.

— Не сердитесь же, будемте друзьями... — сказала она ласково.—Согласны? Вотъ вамъ моя рука.

Ильинъ взялъ ея маленькую, пухлую руку въ свои обѣ, помялъ ее и медленно поднесъ къ губамъ.

— Я не гимназистъ,—пробормоталъ онъ.—Меня нимало не соблазняетъ дружба съ любимой женщиной.

— Довольно, довольно! Рѣшено и кончено. Мы дошли до скамьи, давайте сядемте...

Душу Софьи Петровны наполнило сладкое чувство отдыха: самое трудное и щекотливое было уже сказано, мучительный вопросъ рѣшенъ и конченъ. Теперь ужъ она могла легко вздохнуть и глядѣть Ильину прямо въ лицо. Она глядѣла на него, и эгоистическое чувство превосходства любимой женщины надъ влюбленнымъ пріятно ласкало

ее. Ей нравилось, какъ этотъ сильный, громадный мужчина, съ мужественнымъ, злымъ лицомъ и съ большой черной бородой, умный, образованный и, какъ говорятъ, талантливый, послушно сѣлъ рядомъ съ ней и понурилъ голову. Минуты двѣ-три сидѣли они молча.

— Ничего еще не рѣшено и не кончено... — началъ Ильинъ.—Вы мнѣ словно изъ прописи читаете: «Люблю и уважаю мужа... семейныя основы...» Все это я и безъ васъ знаю и могу сказать вамъ больше. Искренно и честно говорю вамъ, что это мое поведеніе я считаю преступнымъ и безнравственнымъ. Чего, кажется, больше? Но къ чему говорить то, что уже всѣмъ извѣстно? Вмѣсто того, чтобы кормить соловья жалкими словами, вы бы лучше научили меня: что мнѣ дѣлать?

— Я уже говорила вамъ: уѣзжайте!

— Я уже—вы это отлично знаете—уѣзжалъ пять разъ и всякій разъ возвращался съ полдороги! Я могу показать вамъ билеты прямого сообщенія — всѣ они у меня цѣлы. Нѣтъ воли бѣжать отъ васъ! Я борюсь, страшно борюсь, но куда къ чорту я годенъ, если во мнѣ нѣтъ закала, если я слабъ, малодушенъ! Не могу я съ природой бороться! Понимаете? Не могу! Я бѣгу отсюда, а она меня за фалды держитъ. Пошлое, гнусное безсиліе!

Ильинъ покраснѣлъ, всталъ и заходилъ около скамьи.

— Какъ собака, злюсь!—проворчалъ онъ, сжимая кулаки.—Ненавижу себя и презираю! Боже мой, какъ развратный мальчишка, волочусь за чужой женой, пишу идіотскія письма, унижаюсь... эххъ!

Ильинъ схватилъ себя за голову, крякнулъ и сѣлъ.

— А тутъ еще ваша неискренность! — продолжалъ онъ съ горечью.—Если вы противъ моей некрасивой игры, то зачѣмъ же вы сюда пришли? Что тянуло васъ сюда? Въ своихъ письмахъ я прошу у васъ только категорическаго, прямого отвѣта—да, или нѣтъ, а вы вмѣсто прямого отвѣта норовите каждый день «нечаянно» встрѣтиться со мной и угощаете меня цитатами изъ прописей!

Лубянцева испугалась и вспыхнула. Она вдругъ почувствовала неловкость, какую порядочнымъ женщинамъ приходится испытывать, когда ихъ нечаянно застаютъ неодѣтыми.

— Вы словно подозрѣваете съ моей стороны игру...—за-

бормотала она.—Я всегда давала вамъ прямой отвѣтъ и... и сегодня просила васъ!

— Ахъ, да развѣ въ такихъ дѣлахъ просятъ? Если бы вы сразу сказали «подите прочь!» — меня давно бы здѣсь не было, но вы не сказали мнѣ этого. Ни разу вы не отвѣтили мнѣ прямо. Странная нерѣшительность! Ей-Богу, вы или играете мной, или же...

Ильинъ не договорилъ и подперъ голову кулаками. Софья Петровна стала припоминать свое поведеніе отъ начала до конца. Она помнила, что всѣ дни она не только на дѣлѣ, но даже въ своихъ сокровенныхъ мысляхъ была противъ ухаживаній Ильина, но въ то же время чувствовала, что въ словахъ адвоката есть доля правды. И не зная, какова эта правда, она, какъ ни думала, не нашлась, что сказать Ильину въ отвѣтъ на его жалобу. Неловко было молчать и она сказала, пожавъ плечами:

— Я же еще и виновата.

— Не ставлю я вамъ въ вину вашу неискренность, — вздохнулъ Ильинъ.—Это я такъ, къ слову пришлось... Ваша неискренность и естественна, и въ порядкѣ вещей. Если бы всѣ люди сговорились и стали вдругъ искренни, то все бы у нихъ пошло къ чорту, прахомъ.

Софьѣ Петровнѣ было не до философіи, но она обрадовалась случаю перемѣнить разговоръ и спросила:

— То-есть почему же?

— А потому, что искренни одни только дикари да животныя. Разъ цивилизація внесла въ жизнь потребность въ такомъ комфортѣ, какъ, напримѣръ, женская добродѣтель, то ужъ тутъ искренность неумѣстна...

Ильинъ сердито ковырнулъ тростью по песку. Лубянцева слушала его, многаго не понимала, но разговоръ его нравился ей. Ей прежде всего нравилось, что съ нею, съ обыкновенной женщиной, талантливый человѣкъ говоритъ «объ умномъ»; затѣмъ ей доставляло большое удовольствіе глядѣть, какъ двигалось блѣдное, живое и все еще сердитое, молодое лицо. Многаго она не понимала, но для нея ясна была эта красивая смѣлость современнаго человѣка, съ какою онъ, не задумываясь и ничто же сумняся, рѣшаетъ большіе вопросы и строитъ окончательные выводы.

Она вдругъ спохватилась, что любуется имъ, и испугалась.

— Простите, но я не понимаю,—поторопилась она сказать: — зачѣмъ вы заговорили о неискренности? Повторяю еще разъ мою просьбу: будьте хорошимъ, добрымъ другомъ, оставьте меня въ покоѣ! Искренно прошу!

— Хорошо, буду еще бороться! — вздохнулъ Ильинъ.— Радъ стараться... Только едва ли выйдетъ что-нибудь изъ моей борьбы. Или пулю пущу себѣ въ лобъ, или же... запью самымъ дурацкимъ образомъ. Не сдобровать мнѣ! Все имѣетъ свою мѣру, борьба съ природой тоже. Скажите, какъ можно бороться съ сумасшествіемъ? Если вы выпьете вина, то какъ вы превозможете возбужденіе? Что я могу подѣлать, если вашъ образъ приросъ къ моей душѣ и неотвязчиво, день и ночь, стоитъ передъ моими глазами, какъ сейчасъ вотъ эта сосна? Ну, научите же, какой подвигъ я долженъ совершить, чтобы избавиться отъ этого мерзкаго, несчастнаго состоянія, когда всѣ мои мысли, желанія, сны принадлежатъ не мнѣ, а какому-то демону, который засѣлъ въ меня? Я люблю васъ, люблю до того, что выбился изъ колеи, бросилъ дѣло и близкихъ людей, забылъ своего Бога! Никогда въ жизни я не любилъ такъ!

Софья Петровна, не ожидавшая такого перехода, подалась корпусомъ отъ Ильина и съ испугомъ поглядѣла на его лицо. У него на глазахъ выступили слезы, губы дрожали и по всему лицу было разлито какое-то голодное, умоляющее выраженіе.

— Я люблю васъ!—бормоталъ онъ, приближая свои глаза къ ея большимъ, испуганнымъ глазамъ. — Вы такъ прекрасны! Страдаю я сейчасъ, но, клянусь, всю жизнь я просидѣлъ бы такъ, страдая и глядя въ ваши глаза. Но... молчите, умоляю васъ!

Софья Петровна, словно застигнутая врасплохъ, стала быстро-быстро придумывать слова, какими бы она могла остановить Ильина. «Уйду!»—рѣшила она, но не успѣла она сдѣлать движенія, чтобы подняться, какъ Ильинъ стоялъ уже на колѣняхъ у ея ногъ... Онъ обнималъ ея колѣни, глядѣлъ ей въ лицо и говорилъ страстно, горячо, красиво. Въ страхѣ и чаду она не слыхала его словъ; почему-то теперь, въ этотъ опасный моментъ, когда колѣни ея пріятно пожимались, какъ въ теплой ваннѣ, она съ какимъ-то злымъ ехидствомъ искала въ своихъ ощущеніяхъ смысла. Злилась она, что всю ее, вмѣсто протестующей добродѣтели, напол-

няли безсиліе, лѣнь и пустота, какъ у пьянаго, которому море по колѣно; лишь въ глубинѣ души какой-то отдаленный кусочекъ злорадно поддразнивалъ: «Отчего же не уходишь? Значитъ, это такъ и должно быть? Да?»

Ища въ себѣ смысла, она не понимала, какъ это она не отдернула руки, къ которой піявкой присосался Ильинъ, и чего ради она поторопилась взглянуть въ одно время съ Ильинымъ направо и налѣво, не глядитъ ли кто-нибудь? Сосны и облака стояли неподвижно и глядѣли сурово, на манеръ старыхъ дядекъ, видящихъ шалость, но обязавшихся за деньги не доносить начальству. Часовой столбомъ стоялъ на насыпи и, кажется, глядѣлъ на скамью.

«Пусть глядитъ!»—подумала Софья Петровна.

— Но... но послушайте!—проговорила она, наконецъ, съ отчаяніемъ въ голосѣ.—Къ чему же это поведетъ? Что потомъ будетъ?

— Не знаю, не знаю... — зашепталъ онъ, отмахиваясь рукой отъ непріятныхъ вопросовъ.

Послышался сиплый, дребезжащій свистъ локомотива. Этотъ посторонній, холодный звукъ обыденной прозы заставилъ Лубянцеву встрепенуться.

— Мнѣ некогда... пора! — сказала она, быстро поднимаясь.—Поѣздъ идетъ... Андрей ѣдетъ! Ему нужно обѣдать.

Софья Петровна обратилась пылающимъ лицомъ къ насыпи. Сначала медленно проползъ локомотивъ, за нимъ показались вагоны. Это былъ не дачный поѣздъ, какъ думала Лубянцева, а товарный. Длинной вереницей одинъ за другимъ, какъ дни человѣческой жизни, потянулись по бѣлому фону церкви вагоны, и казалось, конца имъ не было!

Но вотъ, наконецъ, поѣздъ кончился, и послѣдній вагонъ съ фонарями и кондукторомъ исчезъ за зеленью. Софья Петровна рѣзко повернулась и, не глядя на Ильина, быстро пошла назадъ по просѣкѣ. Она уже владѣла собой. Красная отъ стыда, оскорбленная не Ильинымъ, нѣтъ, а своимъ собственнымъ малодушіемъ, своимъ безстыдствомъ, съ какимъ она, нравственная и чистоплотная, позволила чужому обнимать ея колѣна, она теперь объ одномъ только и думала, какъ бы скорѣе дойти до своей дачи, до семьи. Адвокатъ едва поспѣвалъ за ней. Поворачивая съ просѣки на узкую тропинку, она оглянулась на него такъ быстро, что

увидѣла только песокъ на его колѣняхъ, и махнула ему рукой, чтобы онъ оставилъ ее.

Прибѣжавъ домой, Софья Петровна минутъ пять стояла неподвижно въ своей комнатѣ и глядѣла то на окно, то на свой письменный столъ...

— Мерзавка!—бранила она себя.—Мерзавка!

На зло себѣ, она во всѣхъ подробностяхъ, ничего не утаивая, припомнила, что всѣ эти дни она была противъ ухаживаній Ильина, но что ее *тянуло* идти объясниться съ нимъ; мало того, когда онъ валялся у ея ногъ, то она чувствовала необыкновенное наслажденіе. Припомнила она все, не жалѣя себя, и теперь, задыхаясь отъ стыда, была бы рада надавать себѣ пощечинъ.

«Бѣдный Андрей, — думала она, стараясь при воспоминаніи о мужѣ придать своему лицу возможно нѣжное выраженіе. — Варя, бѣдная моя дѣвочка, не знаетъ, какая у нея мать! Простите меня, милые! Я васъ люблю очень... очень!»

И, желая доказать самой себѣ, что она еще хорошая жена и мать, что порча еще не коснулась тѣхъ ея «основъ», о которыхъ она говорила Ильину, Софья Петровна побѣжала въ кухню и раскричалась тамъ на кухарку за то, что та не собирала еще на столъ для Андрея Ильича. Она постаралась представить себѣ утомленный и голодный видъ мужа, вслухъ пожалѣла его и собственноручно собрала для него на столъ, чего раньше никогда не дѣлала. Потомъ она нашла свою дочку Варю, подняла ее на руки и горячо обняла; дѣвочка показалась ей тяжелой и холодной, но она не хотѣла сознаться себѣ въ этомъ и принялась объяснять ей, какъ хорошъ, честенъ и добръ ея папа.

Зато, когда вскорѣ пріѣхалъ Андрей Ильичъ, она едва поздоровалась съ нимъ. Наплывъ напускныхъ чувствъ уже прошелъ, ничего ей не доказавъ, а только раздраживъ и озливъ ее своею ложью. Она сидѣла у окна, страдала и злилась. Только въ бѣдѣ люди могутъ понять, какъ не легко быть хозяиномъ своихъ чувствъ и мыслей. Софья Петровна потомъ разсказывала, что въ ней происходила «путаница, въ которой такъ же было трудно разобраться, какъ сосчитать быстро летящихъ воробьевъ». Изъ того, напримѣръ, что она не обрадовалась приходу мужа, что ей не попра-

вилось, какъ онъ держалъ себя за обѣдомъ, она вдругъ заключила, что въ ней начинается ненависть къ мужу.

Андрей Ильичъ, томный отъ голода и утомленія, въ ожиданіи пока ему подадутъ супъ, набросился на колбасу и ѣлъ ее съ жадностью, громко жуя и двигая висками.

«Боже мой,—думала Софья Петровна:—я люблю его и уважаю, но... зачѣмъ онъ такъ противно жуетъ?»

Въ мысляхъ происходилъ безпорядокъ не меньшій, чѣмъ въ чувствахъ. Лубянцева, какъ и всѣ неопытные въ борьбѣ съ непріятными мыслями, изъ всѣхъ силъ старалась не думать о своей бѣдѣ, и чѣмъ усерднѣе она старалась, тѣмъ рельефнѣе выступалъ въ ея воображеніи Ильинъ, песокъ на его колѣняхъ, пушистыя облака, поѣздъ...

«И зачѣмъ я, глупая, пошла сегодня?—мучилась она.—И неужели я такая, что мнѣ нельзя ручаться за себя?»

У страха глаза велики. Когда Андрей Ильичъ доѣдалъ послѣднее блюдо, она уже была полна рѣшимости: разсказать все мужу и бѣжать отъ опасности!

— Мнѣ, Андрей, нужно поговорить съ тобой серьезно,— начала она послѣ обѣда, когда ея мужъ снималъ сюртукъ и сапоги, чтобы лечь отдохнуть.

— Ну?

— Уѣдемъ отсюда!

— Гм... куда? Въ городъ еще рано.

— Нѣтъ, путешествовать, или что-нибудь въ родѣ...

— Путешествовать...—пробормоталъ нотаріусъ, потягиваясь.—Я и самъ объ этомъ мечтаю, да гдѣ взять денегъ и на кого я контору оставлю?

И, подумавъ немного, онъ прибавилъ:

— Дѣйствительно, тебѣ скучно. Поѣзжай сама, если хочешь!

Софья Петровна согласилась, но тотчасъ же сообразила, что Ильинъ обрадуется случаю и поѣдетъ съ ней въ одномъ поѣздѣ, въ одномъ вагонѣ... Она думала и глядѣла на своего мужа, сытаго, но все еще томнаго. Почему-то взглядъ ея остановился на его ногахъ, миніатюрныхъ, почти женскихъ, обутыхъ въ полосатые носки; на кончикахъ обоихъ носковъ торчали ниточки...

За спущенной шторой бился о стекло и жужжалъ шмель. Софья Петровна глядѣла на ниточки, слушала шмеля и представляла себѣ, какъ она ѣдетъ... Vis-à-vis день и ночь

сидитъ Ильинъ, не сводящій съ нея глазъ, злой на свое безсиліе и блѣдный отъ душевной боли. Онъ величаетъ себя развратнымъ мальчишкой, бранитъ ее, рветъ у себя волосы на головѣ, но дождавшись темноты и улучивъ время, когда пассажиры засыпаютъ или выходятъ на станцію, падаетъ передъ ней на колѣни и сжимаетъ ей ноги, какъ тогда у скамьи...

Она спохватилась, что мечтаетъ...

— Послушай, одна я не поѣду!—сказала она.—Ты долженъ со мной ѣхать!

— Фантазія, Софочка! — вздохнулъ Лубянцевъ. — Надо быть серьезной и желать только возможнаго.

«Поѣдешь, когда узнаешь!»—подумала Софья Петровна.

Рѣшивъ уѣхать во что бы то ни стало, она почувствовала себя внѣ опасности; мысли ея мало-по-малу пришли въ порядокъ, она повеселѣла и даже позволила себѣ обо всемъ думать: какъ ни думай, ни мечтай, а все равно ѣхать! Пока спалъ мужъ, мало-по-малу наступалъ вечеръ... Она сидѣла въ гостиной и играла на піанино. Вечернее оживленіе за окнами, звуки музыки, но главное—мысль, что она умница, справилась съ бѣдой, окончательно развеселили ее. Другія женщины,—говорила ей покойная совѣсть:—въ ея положеніи навѣрное бы не устояли и закружились вихремъ, а она едва не сгорѣла со стыда, страдала и теперь бѣжитъ отъ опасности, которой, быть-можетъ, и нѣтъ! Такъ ее умиляли ея добродѣтель и рѣшимость, что она даже раза три на себя въ зеркало взглянула.

Когда стемнѣло, пришли гости. Мужчины сѣли въ столовой играть въ карты, дамы заняли гостиную и террасу. Позднѣе всѣхъ явился Ильинъ. Онъ былъ печаленъ, угрюмъ и какъ будто боленъ. Какъ сѣлъ въ уголъ дивана, такъ не поднимался во весь вечеръ. Обыкновенно веселый и разговорчивый, на этотъ разъ онъ все время молчалъ, хмурился и почесывалъ около глазъ. Когда приходилось отвѣчать на чей-нибудь вопросъ, онъ черезъ силу улыбался одной только верхней губой и отвѣчалъ отрывисто, со злобой. Разъ пять онъ сострилъ, но остроты его вышли жестки и дерзки. Софьѣ Петровнѣ казалось, что онъ близокъ къ истерикѣ. Только теперь, сидя за піанино, она впервые ясно сознавала, что этому несчастному человѣку не до шутокъ, что онъ боленъ душой и не находитъ себѣ мѣста. Ради нея онъ губитъ

лучшіе дни своей карьеры и молодости, тратитъ послѣднія деньги на дачу, бросилъ на произволъ судьбы мать и сестеръ, но главное—изнемогаетъ въ мученической борьбѣ съ самимъ собою. Изъ простого обиходнаго человѣколюбія слѣдовало бы отнестись къ нему серьезно...

Она сознала все это ясно, до боли въ сердцѣ, и если бы въ это время она подошла къ Ильину и сказала ему «нѣтъ!», то въ голосѣ ея была бы сила, которой трудно было бы ослушаться. Но она не подошла и не сказала, да и не подумала объ этомъ... Мелочность и эгоизмъ молодой натуры никогда, кажется, не сказались въ ней такъ сильно, какъ въ этотъ вечеръ. Она сознавала, что Ильинъ несчастливъ и сидитъ на диванѣ, какъ на угольяхъ, ей было больно за него, но въ то же время присутствіе человѣка, который любитъ ее до страданія, наполняло ея душу торжествомъ, ощущеніемъ своей силы. Она чувствовала свою молодость, красоту, неприступность и—благо рѣшила уѣхать!—дала себѣ въ этотъ вечеръ волю. Она кокетничала, безъ умолку хохотала, пѣла съ особеннымъ чувствомъ и вдохновенно. Все ее веселило, и все ей было смѣшно. Смѣшило ее воспоминаніе о случаѣ у скамьи, о глядѣвшемъ часовомъ. Смѣшны ей были гости, дерзкія остроты Ильина, булавка на его галстукѣ, которой она раньше никогда не видала. Булавка изображала красную змѣйку съ алмазными глазками; такъ смѣшна казалась ей эта змѣйка, что она готова была бы расцѣловать ее.

Пѣла Софья Петровна романсы нервно, съ какимъ-то полупьянымъ задоромъ. и, словно поддразнивая чужое горе, выбирала грустные, меланхолическіе, гдѣ толковалось объ утраченныхъ надеждахъ, о прошломъ, о старости... «А старость подходитъ все ближе и ближе»...—пѣла она. А какое ей было дѣло до старости?

«Кажется, во мнѣ происходитъ что-то неладное»...—изрѣдка думала она сквозь смѣхъ и пѣніе.

Гости разошлись въ 12 часовъ. Послѣднимъ ушелъ Ильинъ. У Софьи Петровны хватило еще задора проводить его до нижней ступени террасы. Ей захотѣлось объявить ему, что она уѣзжаетъ съ мужемъ, и поглядѣть, какой эффектъ произведетъ на него это извѣстіе.

Луна пряталась за облаками, но было настолько свѣтло, что Софья Петровна видѣла, какъ вѣтеръ игралъ полами

его пальто и драпировкой террасы. Видно было также, какъ былъ блѣденъ Ильинъ и какъ онъ, силясь улыбнуться, кривилъ верхнюю губу...

— Соня, Соничка... дорогая моя женщина!—забормоталъ онъ, мѣшая ей говорить.—Милая моя, хорошая!

Въ припадкѣ нѣжности, со слезами въ голосѣ онъ сыпалъ ей ласкательныя слова, одно другого нѣжнѣе, и ужъ пускалъ ей *ты*, какъ женѣ или любовницѣ. Неожиданно для нея, онъ вдругъ одной рукой обнялъ ее за талію, а другой взялъ за локоть.

— Дорогая, прелесть моя...—зашепталъ онъ, цѣлуя ее въ шею около затылка:—будь искренна, приходи сейчасъ ко мнѣ!

Она выскользнула изъ его объятій и подняла голову, чтобы разразиться негодованіемъ и возмутиться, но негодованіе не вышло, и всей ея хваленой добродѣтели и чистоты хватило только на то, чтобы сказать фразу, какую говорятъ при подобныхъ обстоятельствахъ всѣ обыкновенныя женщины:

— Вы съ ума сошли!

— Право, пойдемъ!—продолжалъ Ильинъ.—Сейчасъ, и тамъ, около скамьи, я убѣдился, что вы, Соня, такъ же безсильны, какъ и я... Не сдобровать и вамъ! Вы меня любите и теперь безплодно торгуетесь со своею совѣстью...

Видя, что она уходитъ отъ него, онъ схватилъ ее за кружевной рукавчикъ и быстро договорилъ:

— Не сегодня, такъ завтра, а уступить придется! Къ чему же эта проволочка во времени? Моя дорогая, милая Соня, приговоръ прочтенъ, къ чему же откладывать его исполненіе? Зачѣмъ себя обманывать?

Софья Петровна вырвалась отъ него и юркнула въ дверь. Вернувшись въ гостиную, она машинально закрыла піанино, долго глядѣла на нотную виньетку и сѣла. Не могла она ни стоять, ни думать... Отъ возбужденія и задора осталась въ ней одна только страшная слабость съ лѣнью и скукой. Совѣсть шептала ей, что вела она себя въ истекшій вечеръ дурно, глупо, какъ угорѣлая дѣвчонка, что сейчасъ она обнималась на террасѣ и даже теперь чувствуетъ въ таліи и около локтя какую-то неловкость. Въ гостиной не было ни души, горѣла одна только свѣча. Лубянцева сидѣла на кругломъ табуретѣ передъ піанино, не шевелясь,

чего-то выжидая. И словно пользуясь ея крайнимъ изнеможеніемъ и темнотой, ею начало овладѣвать тяжелое, непреодолимое желаніе. Какъ удавъ, сковывало оно ея члены и душу, росло съ каждой секундой и ужъ не грозило, какъ раньше, а стояло передъ ней ясное, во всей своей наготѣ.

Полчаса сидѣла она, не шевелясь и не мѣшая себѣ думать объ Ильинѣ, потомъ лѣниво встала, поплелась въ спальню. Андрей Ильичъ ужъ былъ въ постели. Она сѣла у открытаго окна и отдалась желанію. «Путаницы» въ головѣ уже не было у нея, всѣ чувства и мысли дружно тѣснились около одной ясной цѣли. Попробовала она было бороться, но тотчасъ же махнула рукой... Ей теперь понятно было, какъ силенъ и неумолимъ врагъ. Чтобы бороться съ нимъ, нужна сила и крѣпость, а рожденіе, воспитаніе и жизнь не дали ей ничего, на что бы она могла опереться.

«Безнравственная! Мерзкая!—грызла она себя за свое безсиліе.—Такъ вотъ ты какая?».

До того возмущалась этимъ безсиліемъ ея оскорбленная порядочность, что она обозвала себя всѣми ругательными словами, какія только знала, и наговорила себѣ много обидныхъ, унижающихъ истинъ. Такъ, она сказала себѣ, что она никогда не была нравственной, не падала раньше только потому, что предлога не было, что цѣлодневная борьба ея была забавой и комедіей...

«Допустимъ, что я боролась,—думала она:—но что это за борьба! И продажныя борются прежде чѣмъ продаться, а все-таки продаются. Хороша борьба: какъ молоко, въ одинъ день свернулась! Въ одинъ день!»

Уличила она себя въ томъ, что не чувство тянетъ ее изъ дому, не личность Ильина, а ощущенія, которыя ждутъ ее впереди... Дачная, гуляющая барыня, какихъ много!

— «Какъ ма-ать убили у ма-алаго птенца»,—пропѣлъ кто-то за окномъ сиплымъ теноромъ.

«Если идти, такъ пора ужъ»,—подумала Софья Петровна. Сердце ея вдругъ забилось съ страшной силой.

— Андрей!—почти крикнула она.—Послушай, мы... мы поѣдемъ? Да?

— Да... Я уже сказалъ тебѣ: поѣзжай сама!

— Но послушай...—выговорила она:—если ты со мной

не поѣдешь, то рискуешь потерять меня! Я, кажется, ужъ... влюблена!

— Въ кого?—спросилъ Андрей Ильичъ.

— Для тебя должно быть все равно въ кого!—крикнула Софья Петровна.

Андрей Ильичъ поднялся, свѣсилъ ноги и съ удивленіемъ поглядѣлъ на темную фигуру жены.

— Фантазія!—зѣвнулъ онъ.

Ему не вѣрилось, но онъ все-таки испугался. Подумавъ и задавъ женѣ нѣсколько неважныхъ вопросовъ, онъ высказалъ свой взглядъ на семью, на измѣну... поговорилъ вяло минутъ десять и легъ. Сентенція его не имѣла успѣха. Много на этомъ свѣтѣ взглядовъ, и добрая половина ихъ принадлежитъ людямъ, не бывавшимъ въ бѣдѣ!

Несмотря на позднее время, за окнами еще двигались дачники. Софья Петровна набросила на себя легкую тальму, постояла, подумала... У нея хватило еще рѣшимости сказать сонному мужу:

— Ты спишь? Я иду пройтись... Хочешь со мной?

Это была послѣдняя ея надежда. Не получивъ отвѣта, она вышла. Было вѣтрено и свѣжо. Она не чувствовала ни вѣтра, ни темноты, а шла и шла... Непреодолимая сила гнала ее, и казалось, остановись она, ее толкнуло бы въ спину.

— Безнравственная! — бормотала она машинально. — Мерзкая!

Она задыхалась, сгорала со стыда, не ощущала подъ собой ногъ, но то, что толкало ее впередъ, было сильнѣе и стыда ея, и разума, и страха...

СОБЫТІЕ.

Утро. Сквозь льдяныя кружева, покрывающія оконныя стекла, пробивается въ дѣтскую яркій солнечный свѣтъ. Ваня, мальчикъ лѣтъ шести, стриженый, съ носомъ, похожимъ на пуговицу, и его сестра Нина, четырехлѣтняя дѣвочка, кудрявая, пухленькая, малорослая не по лѣтамъ, просыпаются и черезъ рѣшетки кроватокъ глядятъ сердито другъ на друга.

— У-у-у, безстыдники!—ворчитъ нянька.—Добрые люди ужь чаю напившись, а вы никакъ глазъ не продерете...

Солнечные лучи весело шалятъ на коврѣ, на стѣнахъ, на подолѣ няньки и какъ бы приглашаютъ поиграть съ ними, но дѣти не замѣчаютъ ихъ. Они проснулись не въ духѣ. Нина надуваетъ губы, дѣлаетъ кислое лицо и начинаетъ тянуть:

— Ча-аю! Нянька, ча-аю!

Ваня морщитъ лобъ и думаетъ: къ чему бы придраться, чтобъ заревѣть? Онъ ужъ заморгалъ глазами и открылъ ротъ, но въ это время изъ гостиной доносится голосъ мамы:

— Не забудьте дать кошкѣ молока, у нея теперь котята!

Ваня и Нина вытягиваютъ физіономіи и съ недоумѣніемъ глядятъ другъ на друга, потомъ оба разомъ вскрикиваютъ, прыгаютъ съ кроватокъ и, оглашая воздухъ пронзительнымъ визгомъ, бѣгутъ босикомъ, въ однѣхъ рубашонкахъ въ кухню.

— Кошка ощенилась!—кричатъ они.—Кошка ощенилась!

Въ кухнѣ подъ скамьей стоитъ небольшой ящикъ, тотъ самый, въ которомъ Степанъ таскаетъ коксъ, когда топитъ

каминъ. Изъ ящика выглядываетъ кошка. Ея сѣрая рожица выражаетъ крайнее утомленіе, зеленые глаза съ узкими черными зрачками глядятъ томно, сентиментально... По рожѣ видно, что для полноты ея счастья не хватаетъ только присутствія въ ящикѣ «его», отца ея дѣтей, которому она такъ беззавѣтно отдалась! Хочетъ она промяукать, широко раскрываетъ ротъ, но изъ горла ея выходитъ одно только сипѣнье... Слышится пискъ котятъ.

Дѣти садятся на корточки передъ ящикомъ и, не шевелясь, притаивъ дыханіе, глядятъ на кошку... Они удивлены, поражены и не слышатъ, какъ ворчитъ погнавшаяся за ними нянька. Въ глазахъ обоихъ свѣтится самая искренняя радость.

Въ воспитаніи и въ жизни дѣтей домашнія животныя играютъ едва замѣтную, но несомнѣнно благотворную роль. Кто изъ насъ не помнитъ сильныхъ, но великодушныхъ псовъ, дармоѣдокъ-болонокъ, птицъ, умиравшихъ въ неволѣ, тупоумныхъ, но надменныхъ индюковъ, кроткихъ старухъ-кошекъ, прощавшихъ намъ, когда мы ради забавы наступали имъ на хвосты и причиняли имъ мучительную боль? Мнѣ даже иногда кажется, что терпѣніе, вѣрность, всепрощеніе и искренность, какія присущи нашимъ домашнимъ тварямъ, дѣйствуютъ на умъ ребенка гораздо сильнѣе и положительнѣе, чѣмъ длинныя нотаціи сухого и блѣднаго Карла Карловича, или же туманныя разглагольствованія гувернантки, старающейся доказать ребятамъ, что вода состоитъ изъ кислорода и водорода.

— Какіе маленькіе! — говоритъ Нина, дѣлая большіе глаза и заливаясь веселымъ смѣхомъ.—Похожи на мышовъ.

— Разъ, два, три,—считаетъ Ваня.—Три котенка. Значитъ, мнѣ одного, тебѣ одного и еще кому-нибудь одного.

— Мурррмъ... мурррмъ...—мурлычетъ роженица, польщенная вниманіемъ.—Мурррмъ.

Наглядѣвшись на котятъ, дѣти берутъ ихъ изъ-подъ кошки и начинаютъ мять въ рукахъ, потомъ, не удовлетворившись этимъ, кладутъ ихъ въ подолы рубахъ и бѣгутъ въ комнаты.

— Мама, кошка ощенилась!—кричатъ они.

Мать сидитъ въ гостиной съ какимъ-то незнакомымъ господиномъ. Увидѣвъ дѣтей, неумытыхъ, неодѣтыхъ, съ

задранными вверхъ подолами, она конфузится и дѣлаетъ строгіе глаза.

— Опустите рубахи, безстыдники!—говоритъ она.—Подите отсюда, а то я васъ накажу.

Но дѣти не замѣчаютъ ни угрозъ матери, ни присутствія чужого человѣка. Они кладутъ котятъ на коверъ и поднимаютъ оглушительный визгъ. Около нихъ ходитъ роженица и умоляюще мяукаетъ. Когда, немного погодя, дѣтей тащатъ въ дѣтскую, одѣваютъ ихъ, ставятъ на молитву и поятъ чаемъ, они полны страстнаго желанія поскорѣе отдѣлаться отъ этихъ прозаическихъ повинностей и опять бѣжать въ кухню.

Обычныя занятія и игры уходятъ на самый задній планъ.

Котята своимъ появленіемъ на свѣтъ затемняютъ все и выступаютъ, какъ живая новость и злоба дня. Если бы Ванѣ или Нинѣ за каждаго котенка предложили по пуду конфетъ, или по тысячѣ гривенниковъ, то они отвергли бы такую мѣну безъ малѣйшаго колебанія. До самаго обѣда, несмотря на горячіе протесты няньки и кухарки, они сидятъ въ кухнѣ около ящика и возятся съ котятами. Лица ихъ серьезны, сосредоточенны и выражаютъ заботу. Ихъ тревожитъ не только настоящее, но и будущее котятъ. Они порѣшили, что одинъ котенокъ останется дома при старой кошкѣ, чтобы утѣшать свою мать, другой поѣдетъ на дачу, третій будетъ жить въ погребѣ, гдѣ очень много крысъ.

— Но отчего они не глядятъ?—недоумѣваетъ Нина.—У нихъ глаза слѣпые, какъ у нищихъ.

И Ваню безпокоитъ этотъ вопросъ. Онъ берется открыть одному котенку глаза, долго пыхтитъ и сопитъ, но операція его остается безуспѣшной. Не мало также безпокоитъ и то обстоятельство, что котята упорно отказываются отъ предлагаемыхъ имъ мяса и молока. Все, что кладется передъ ихъ мордочками, съѣдается сѣрой мамашей.

— Давай, построимъ котятамъ домики,—предлагаетъ Ваня.—Они будутъ жить въ разныхъ домахъ, а кошка будетъ къ нимъ въ гости ходить...

Въ разныхъ углахъ кухни ставятся картонки изъ-подъ шляпъ. Въ нихъ поселяются котята. Но такой семейный раздѣлъ оказывается преждевременнымъ: кошка, сохраняя

на рожицѣ умоляющее и сентиментальное выраженіе, обходитъ всѣ картонки и сноситъ своихъ дѣтей на прежнее мѣсто.

— Кошка ихняя мать,—замѣчаетъ Ваня:—а кто отецъ?

— Да, кто отецъ?—повторяетъ Нина.

— Безъ отца имъ нельзя.

Ваня и Нина долго рѣшаютъ, кому быть отцомъ котятъ, и въ концѣ концовъ выборъ ихъ падаетъ на большую, темно-красную лошадь съ оторваннымъ хвостомъ, которая валяется въ кладовой подъ лѣстницей и вмѣстѣ съ другимъ игрушечнымъ хламомъ доживаетъ свой вѣкъ. Ее тащатъ изъ кладовой и ставятъ около ящика.

— Смотри же!—грозятъ ей.—Стой тутъ и гляди, чтобы они вели себя прилично.

Все это говорится и продѣлывается серьезнѣйшимъ образомъ и съ выраженіемъ заботы на лицѣ. Кромѣ ящика съ котятами, Ваня и Нина не хотятъ знать никакого другого міра. Радость ихъ не имѣетъ предѣловъ. Но приходится переживать и тяжелыя, мучительныя минуты.

Передъ самымъ обѣдомъ Ваня сидитъ въ кабинетѣ отца и мечтательно глядитъ на столъ. Около лампы на гербовой бумагѣ ворочается котенокъ. Ваня слѣдитъ за его движеніями и тычетъ ему въ мордочку то карандашомъ, то спичкой... Вдругъ, точно изъ земли выросши, около стола появляется отецъ.

— Это что такое?—слышитъ Ваня сердитый голосъ.

— Это... это котеночекъ, папа...

— Вотъ я тебѣ покажу котеночка! Погляди, что ты надѣлалъ, негодный мальчишка! Ты у меня всю бумагу испачкалъ!

Въ великому удивленію Вани, папа не раздѣляетъ его симпатій къ котятамъ и, вмѣсто того, чтобы придти въ восхищеніе и обрадоваться, онъ дергаетъ Ваню за ухо и кричитъ:

— Степанъ, убери эту гадость!

За обѣдомъ тоже скандалъ... Во время второго блюда обѣдающіе вдругъ слышатъ пискъ. Начинаютъ доискиваться причины и находятъ у Нины подъ фартучкомъ котенка.

— *Нинка*, вонъ изъ-за стола!—сердится отецъ.—Сію же

минуту выбросить котятъ въ помойку! Чтобъ этой гадости не было въ домѣ!..

Ваня и Нина въ ужасѣ. Смерть въ помойкѣ, помимо своей жестокости, грозитъ еще отнять у кошки и деревянной лошади ихъ дѣтей, опустошить ящикъ, разрушить планы будущаго, того прекраснаго будущаго, когда одинъ котъ будетъ утѣшать свою старуху-мать, другой—жить на дачѣ, третій—ловить крысъ въ погребѣ... Дѣти начинаютъ плакать и умолять пощадить котятъ. Отецъ соглашается, но съ условіемъ, чтобы дѣти не смѣли ходить въ кухню и трогать котятъ.

Послѣ обѣда Ваня и Нина слоняются по всѣмъ комнатамъ и томятся. Запрещеніе ходить въ кухню повергло ихъ въ уныніе. Они отказываются отъ сладостей, капризничаютъ и грубятъ матери. Когда вечеромъ приходитъ дядя Петруша, они отводятъ его въ сторону и жалуются ему на отца, который хотѣлъ бросить котятъ въ помойку.

— Дядя Петруша, — просятъ они дядю: — скажи мамѣ, чтобы котятъ въ дѣтскую поставили. Ска-а-жи!

— Ну, ну... хорошо! — отмахивается отъ нихъ дядя. — Ладно.

Дядя Петруша приходитъ обыкновенно не одинъ. Съ нимъ является и Неро, большой, черный песъ датской породы, съ отвислыми ушами и съ хвостомъ, твердымъ, какъ палка. Этотъ песъ молчаливъ, мраченъ и полонъ чувства собственнаго достоинства. На дѣтей онъ не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія и, шагая мимо нихъ, стучитъ по нимъ своимъ хвостомъ, какъ по стульямъ. Дѣти ненавидятъ его всей душой, но на этотъ разъ практическія соображенія берутъ у нихъ верхъ надъ чувствомъ.

— Знаешь что, Нина? — говоритъ Ваня, дѣлая большіе глаза.—Вмѣсто лошади пусть Неро будетъ отцомъ! Лошадь дохлая, а вѣдь онъ живой.

Весь вечеръ они ждутъ того времени, когда папа усядется играть въ винтъ и можно будетъ незамѣтно провести Неро въ кухню... Вотъ, наконецъ, папа садится за карты, мама хлопочетъ за самоваромъ и не видитъ дѣтей... Наступаетъ счастливый моментъ.

— Пойдемъ!—шепчетъ Ваня сестрѣ.

Но въ это время входитъ Степанъ и со смѣхомъ объявляетъ:

— Барыня, Нера котятъ съѣла!

Нина и Ваня блѣднѣютъ и съ ужасомъ глядятъ на Степана.

— Ей-Богу-съ...—смѣется лакей.—Подошла къ ящику и сожрала.

Дѣтямъ кажется, что всѣ люди, сколько ихъ есть въ домѣ, всполошатся и набросятся на злодѣя Неро. Но люди сидятъ покойно на своихъ мѣстахъ и только удивляются аппетиту громадной собаки. Папа и мама смѣются... Неро ходитъ у стола, помахиваетъ хвостомъ и самодовольно облизывается... Обезпокоена одна только кошка. Вытянувъ свой хвостъ, она ходитъ по комнатамъ, подозрительно поглядываетъ на людей и жалобно мяукаетъ.

— Дѣти, уже десятый часъ! Пора спать! — кричитъ мама.

Ваня и Нина ложатся спать, плачутъ и долго думаютъ объ обиженной кошкѣ и жестокомъ, нагломъ, не наказанномъ Неро.

АГАФЬЯ.

Въ бытность мою въ С—мъ уѣздѣ мнѣ часто приходилось бывать на Дубовскихъ огородахъ у огородника Саввы Стукача или попросту Савки. Эти огороды были моимъ излюбленнымъ мѣстомъ для такъ-называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя изъ дому, не знаешь дня и часа, въ которые вернешься, забираешь съ собой всѣ до одной рыболовныя снасти и запасаешься провизіей. Собственно говоря, меня не такъ занимала рыбная ловля, какъ безмятежное шатанье, ѣда не во-время, бесѣда съ Савкой и продолжительныя очныя ставки съ тихими, лѣтними ночами. Савка былъ парень лѣтъ 25, рослый, красивый, здоровый, какъ кремень. Слылъ онъ за человѣка разсудительнаго и толковаго, былъ грамотенъ, водку пилъ рѣдко, но, какъ работникъ, этотъ молодой и сильный человѣкъ не стоилъ и гроша мѣднаго. Рядомъ съ силой въ его крѣпкихъ, какъ веревка, мышцахъ разливалась тяжелая, непобѣдимая лѣнь. Жилъ онъ, какъ и всѣ, на деревнѣ, въ собственной избѣ, пользовался надѣломъ, но не пахалъ, не сѣялъ и никакимъ ремесломъ не занимался. Старуха-мать его побиралась подъ окнами, и самъ онъ жилъ, какъ птица небесная: утромъ не зналъ, что будетъ ѣсть въ полдень. Не то, чтобы у него не хватало воли, энергіи, или жалости къ матери, а просто такъ, не чувствовалось охоты къ труду и не сознавалась польза его... Отъ всей фигуры такъ и вѣяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью къ житью зря, спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тѣло Савки физіологически потягивало

къ мышечной работѣ, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессіи въ родѣ точенія ни къ чему ненужныхъ колышковъ, или бѣганья съ бабами на перегонку. Самымъ любимымъ его положеніемъ была сосредоточенная неподвижность. Онъ былъ въ состояніи простаивать цѣлые часы на одномъ мѣстѣ, не шевелясь и глядя въ одну точку. Двигался же по вдохновенію, и то только когда представлялся случай сдѣлать какое-нибудь быстрое, порывистое движеніе: ухватить бѣгущую собаку за хвостъ, сорвать съ бабы платокъ, перескочить широкую яму. Само собою разумѣется, что при такой скупости на движенія, Савка былъ голъ какъ соколъ и жилъ хуже всякаго бобыля. Съ теченіемъ времени должна была накопиться недоимка, и онъ, здоровый и молодой, былъ посланъ міромъ на стариковское мѣсто, въ сторожа и пугало общественныхъ огородовъ. Какъ ни смѣялись надъ нимъ по поводу его преждевременной старости, но онъ и въ усъ не дулъ. Это мѣсто, тихое, удобное для неподвижнаго созерцанія, было какъ разъ по его натурѣ.

Случилось мнѣ быть у этого самаго Савки въ одинъ изъ хорошихъ майскихъ вечеровъ. Помню, я лежалъ на рваной, затасканной полости почти у самаго шалаша, отъ котораго шелъ густой и душный запахъ сухихъ травъ. Подложивъ руки подъ голову, я глядѣлъ впередъ себя. У ногъ моихъ лежали деревянныя вилы. За ними чернымъ пятномъ рѣзалась въ глаза собачонка Савки — Кутька, а подальше, какъ сажени на двѣ отъ Кутьки, земля обрывалась въ крутой берегъ рѣчки. Лежа, я не могъ видѣть рѣки. Я видѣлъ только верхушки лозняка, тѣснившагося на этомъ берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположнаго берега. Далеко за берегомъ, на темномъ бугрѣ, какъ испуганныя молодыя куропатки, жались другъ къ другу избы деревни, въ которой жилъ мой Савка. За бугромъ догорала вечерняя заря. Осталась одна только блѣдно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, какъ уголья пепломъ.

Направо отъ огорода, тихо пошептывая и изрѣдка вздрагивая отъ невзначай налетавшаго вѣтра, темнѣла ольховая роща, налѣво тянулось необозримое поле. Тамъ, гдѣ глазъ не могъ уже отличить въ потемкахъ поле отъ неба, ярко мерцалъ огонекъ. Поодаль отъ меня сидѣлъ Савка. Под-

жавъ подъ себя по-турецки ноги и свѣсивъ голову, онъ задумчиво глядѣлъ на Кутьку. Наши крючки съ живцами давно уже стояли въ рѣкѣ, и намъ ничего не оставалось дѣлать, какъ только предаваться отдыху, который такъ любилъ никогда не утомлявшійся и вѣчно отдыхавшій Савка. Заря еще не совсѣмъ погасла, а лѣтняя ночь ужъ охватывала своей нѣжащей, усыпляющей лаской природу.

Все замирало въ первомъ, глубокомъ снѣ, лишь какая-то неизвѣстная мнѣ ночная птица протяжно и лѣниво произносила въ рощѣ длинный членораздѣльный звукъ, похожій на фразу: «Ты Ни-ки-ту видѣлъ?» и тотчасъ же отвѣчала сама себѣ: «Видѣлъ! видѣлъ! видѣлъ!»

— Отчего это нынче соловьи не поютъ? — спросилъ я Савку.

Тотъ медленно повернулся ко мнѣ. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, какъ у женщины. Затѣмъ онъ взглянулъ своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лознякъ, медленно вытащилъ изъ кармана дудочку, вложилъ ее въ ротъ и запискалъ соловьихой. И тотчасъ же, точно въ отвѣтъ на его писканье, на противоположномъ берегу задергалъ коростель.

— Вотъ вамъ и соловей...—усмѣхнулся Савка.—Дергъ-дергъ! Дергъ-дергъ! Словно за крючокъ дергаетъ, а вѣдь небось тоже думаетъ, что поетъ.

— Мнѣ нравится эта птица...—сказалъ я.—Ты знаешь? Во время перелета коростель не летитъ, а по землѣ бѣжитъ. Перелетаетъ только черезъ рѣки и моря, а то все пѣшкомъ.

— Ишь ты, собака... — пробормоталъ Савка, поглядѣвъ съ уваженіемъ въ сторону кричавшаго коростеля.

Зная, какимъ любителемъ былъ Савка послушать, я разсказалъ ему все, что зналъ о коростелѣ изъ охотничьихъ книгъ. Съ коростеля я незамѣтно перешелъ на перелетъ. Савка слушалъ меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался отъ удовольствія.

— А какой край для птицъ роднѣе? — спросилъ онъ.— Нашъ, или тамошній?

— Конечно, нашъ. Тутъ птица и сама родится, и дѣтей выводитъ, здѣсь у нея родина, а туда она летитъ только затѣмъ, чтобы не замерзнуть.

— Любопытно!—потянулся Савка.—Про что ни говори,

все любопытно. Птица таперя, человѣкъ ли... каменскъ ли этотъ взять — во всемъ своя умственность!.. Эхъ, кабы знатье, баринъ, что вы придете, не велѣлъ бы я нынче бабѣ сюда приходить... Просилась одна нынче придтить...

— Ахъ, сдѣлай милость, я мѣшать не стану! — сказалъ я.—Я могу и въ рощѣ лечь...

— Ну, вотъ еще! Не умерла бъ, коли завтра пришла... Ежели бъ она сѣла тутъ да разговоры слушала, а то вѣдь только слюни распуститъ. При ней не поговоришь толкомъ.

— Ты Дарью ждешь?—спросилъ я, помолчавъ.

— Нѣтъ... Нынче новая просилась... Агафья Стрѣльчиха...

Савка произнесъ это своимъ обычнымъ, безстрастнымъ, нѣсколько глухимъ голосомъ, точно говорилъ о табакѣ или кашѣ, я же привскочилъ отъ удивленія. Стрѣльчиху Агафью я зналъ... Это была совсѣмъ еще молодая бабенка, лѣтъ 19—20, не далѣе какъ годъ тому назадъ вышедшая замужъ за желѣзнодорожнаго стрѣлочника, молодого и браваго парня. Жила она на деревнѣ, а мужъ ходилъ ночевать къ ней съ линіи каждую ночь.

— Плохимъ, братъ, кончатся всѣ эти твои бабьи исторіи!—вздохнулъ я.

— А пусть...

И, немного подумавъ, Савка прибавилъ:

— Я говорилъ бабамъ, не слушаются... Имъ, дурамъ, и горя мало!

Наступило молчаніе... Потемки, между тѣмъ, все болѣе сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугромъ совсѣмъ уже потухла, а звѣзды становились все ярче, лучистѣе... Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиковъ, дерганье коростеля и крикъ перепела не нарушали ночной тишины, а напротивъ, придавали ей еще большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слухъ не птицы, не насѣкомыя, а звѣзды, глядѣвшія на насъ съ неба...

Первый нарушилъ молчаніе Савка. Онъ медленно перевелъ глаза съ черной Кутьки на меня и сказалъ:

— Вамъ, баринъ, я вижу, скучно. Давайте ужинать.

И, не дожидаясь моего согласія, онъ поползъ на животѣ въ шалашъ, пошарилъ тамъ, причемъ весь шалашъ затрепеталъ, какъ одинъ листъ; потомъ онъ поползъ назадъ и

ставилъ передо мной мою водку и черепенную чашку. чашкѣ были печеныя яйца, ржаныя лепешки на салѣ, ки чернаго хлѣба и еще что-то... Мы выпили изъ крио, не умѣвшаго стоять стаканчика и принялись за ѣду... ая, крупная соль, грязныя, сальныя лепешки, упругія, ъ резина, яйца, но зато какъ все это вкусно!

— Живешь бобылемъ, а сколько у тебя добра всякаго,— залъ я, указывая на чашку.—Гдѣ ты его берешь?

— Бабы носятъ...—промычалъ Савка.

— За что же это онѣ тебѣ носятъ?

— Такъ... изъ жалости...

Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себѣ цы женской «жалости». Такъ, въ этотъ вечеръ я замѣъ на немъ новый гарусный поясокъ и ярко-пунцовую точку, на которой висѣлъ на грязной шеѣ мѣдный крекъ. Я зналъ о слабости прекраснаго пола къ Савкѣ, и лъ, какъ онъ неохотно говорилъ о ней, а потому не прожалъ своего допроса. Да и къ тому же не время было орить... Кутька, которая терлась около насъ и терпѣо ожидала подачки, вдругъ наострила уши и заворчала. слышался отдаленный, прерывистый плескъ воды.

— Кто-то бродомъ идетъ...—сказалъ Савка.

Минуты черезъ три Кутька опять заворчала и издала къ, похожій на кашель.

— Цыцъ!—крикнулъ на нее хозяинъ.

Въ потемкахъ глухо зазвучали робкіе шаги, и изъ рощи азался силуэтъ жинщины. Я узналъ ее, несмотря даже то, что было темно,—это была Агафья Стрѣльчиха. Она мѣло подошла къ намъ, остановилась и тяжело перевела каніе. Запыхалась она не столько отъ ходьбы, сколько, юятно, отъ страха и непріятнаго чувства, испытываемо всякимъ при переходѣ въ ночное время черезъ бродъ. идѣвъ возлѣ шалаша вмѣсто одного двоихъ, она слабо рикнула и отступила шагъ назадъ.

— А... это ты! — произнесъ Савка, запихивая въ ротъ лешку.

— Я... я-съ,—забормотала она, роняя на землю узелокъ чѣмъ-то и косясь на меня:—кланялся вамъ Яковъ и вемъ передать... вотъ тутъ что-то такое...

— Ну, что врать: Яковъ!—усмѣхнулся Савка.—Нечего

врать, баринъ знаетъ, зачѣмъ ты пришла! Садись, гостьей будешь.

Агафья покосилась на меня и нерѣшительно сѣла.

— А ужъ я думалъ, что ты не придешь нынче...—сказалъ Савка послѣ продолжительнаго молчанія. — Что жъ сидѣть? Ѣшь! Или нешто дать тебѣ водочки выпить?

— Выдумалъ! — проговорила Агафья. — Пьяницу какую нашелъ...

— А ты выпей... Жарче на душѣ станетъ... Ну!

Савка подалъ Агафьѣ кривой стаканчикъ. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.

— Принесла что-то... — продолжалъ Савка, развязывая узелокъ и придавая своему голосу снисходительно-шутливый оттѣнокъ.—Баба безъ того не можетъ, чтобъ чего не принесть. А, пирогъ и картошка... Хорошо живутъ!—вздохнулъ онъ, поворачиваясь ко мнѣ лицомъ.—Во всей деревнѣ только у нихъ еще и осталась съ зимы картошка!

Въ потьмахъ я не видѣлъ лица Агафьи, но по движенію ея плечъ и головы мнѣ казалось, что она не отрывала глазъ съ лица Савки. Чтобы не быть третьимъ лицомъ на свиданіи, я рѣшилъ пойти гулять и поднялся. Но въ это время въ рощѣ неожиданно соловей взялъ двѣ нижнія контральтовыя ноты. Черезъ полминуты онъ пустилъ высокую, мелкую дробь и, испробовавъ такимъ образомъ свой голосъ, началъ пѣть. Савка вскочилъ и прислушался.

— Это вчерашній!—сказалъ онъ.—Постой же!..

И, сорвавшись съ мѣста, онъ безшумно побѣжалъ къ рощѣ.

— Ну, на что онъ тебѣ сдался?—крикнулъ я ему вслѣдъ.—Оставь!

Савка махнулъ рукой—не кричите, молъ — и исчезъ въ потемкахъ. Когда хотѣлъ, Савка былъ прекраснымъ и охотникомъ, и роболовомъ, но и тутъ его таланты тратились такъ же попусту, какъ и сила. Для шаблона онъ былъ лѣнивъ, а всю свою охотничью страсть отдавалъ пустымъ фокусамъ. Такъ, соловьевъ ловилъ онъ непремѣнно руками, стрѣлялъ бекасинникомъ щукъ, или стоитъ, бывало, у рѣки по цѣлымъ часамъ и изо всѣхъ силъ старается поймать большимъ крючкомъ маленькую рыбку.

Оставшись со мной, Агафья кашляпула и провела нѣ-

сколько разъ по лбу ладонью... Отъ выпитой водки она ужъ начинала пьянѣть.

— Какъ живешь, Агаша?—спросилъ я ее послѣ продолжительнаго молчанія, когда ужъ неловко было молчать.

— Слава Богу... Вы же никому не разсказывайте, баринъ...—прибавила она вдругъ шопотомъ.

— Ну, полно,—успокоилъ я ее.—Какая же ты все-таки безстрашная, Агаша... А если узнаетъ Яковъ?

— Не узнаетъ...

— Ну, а вдругъ!

— Нѣтъ... Я раньше его дома буду. Онъ теперь на линіи и воротится, когда почтовый поѣздъ проводитъ, а отсюда слышно, когда поѣздъ идетъ...

Агафья еще разъ провела рукой по лбу и посмотрѣла въ ту сторону, куда ушелъ Савка. Соловей пѣлъ. Какая-то ночная птица низко пролетѣла надъ самой землей и, замѣтя насъ, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетѣла на ту сторону рѣки.

Скоро соловей умолкъ, но Савка не возвращался. Агафья встала, безпокойно сдѣлала нѣсколько шаговъ и опять сѣла.

— Да что же это онъ?—не выдержала она.—Вѣдь поѣздъ не завтра придетъ! Мнѣ сейчасъ уходить нужно!

— Савка!—крикнулъ я.—Савка!

Мнѣ не отвѣтило даже эхо. Агафья безпокойно задвигалась и опять встала.

— Мнѣ уходить пора!—проговорила она волнующимся голосомъ.—Сейчасъ поѣздъ придетъ! Я знаю, когда поѣзды ходятъ!

Бѣдная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, какъ послышался далекій шумъ.

Агафья остановила долгій взглядъ на рощѣ и нетерпѣливо зашевелила руками.

— Ну, гдѣ же онъ?—заговорила она, нервно смѣясь.—Куда же это его унесла нелегкая? Я уйду! Ей-Богу, баринъ, уйду!

Между тѣмъ шумъ становился все явственнѣй. Можно ужъ было отличить стукъ колесъ отъ тяжелыхъ вздоховъ локомотива. Вотъ послышался свистъ, поѣздъ глухо простучалъ по мосту... еще минута, и все стихло...

— Погожу еще минутку... — вздохнула Агафья, рѣшительно садясь.—Такъ и быть, погожу!

Наконецъ, въ потемкахъ показался Савка. Онъ безшумно ступалъ босыми ногами по рыхлой, огородной землѣ и что-то тихо мурлыкалъ.

— Вѣдь вотъ счастье, скажи на милость! — весело засмѣялся онъ. — Только-что, это самое, значитъ, подошелъ къ кусту и только-что сталъ рукой цѣлиться, а онъ и замолчалъ! Ахъ ты, песъ лысый! Ждалъ, ждалъ, покеда опять запоетъ, да такъ и плюнулъ...

Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновѣсіе, ухватился обѣими руками за ея талію.

— А ты что насупилась, словно тетка тебя родила? — спросилъ онъ.

При всемъ своемъ мягкосердечіи и простодушіи Савка презиралъ женщинъ. Онъ обходился съ ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительнаго смѣха надъ ихъ чувствомъ къ его же собственной особѣ. Богъ знаетъ, быть-можетъ, это небрежное, презрительное обращеніе и было одной изъ причинъ его сильнаго, неотразимаго обаянія на деревенскихъ дульциней. Онъ былъ красивъ и строенъ, въ глазахъ его всегда, даже при взглядѣ на презираемыхъ имъ женщинъ, свѣтилась тихая ласковость, но одними внѣшними качествами не объяснишь этого обаянія. Кромѣ счастливой наружности и своеобразной манеры обращенія, надо думать, имѣла вліяніе на женщинъ также еще и трогательная роль Савки, какъ всѣми признаннаго неудачника и несчастнаго изгнанника изъ родной избы въ огороды.

— А разскажи-ка барину, зачѣмъ ты сюда пришла! — продолжалъ Савка, все еще держа Агафью за талію. — Ну-ка, разскажи, мужнина жена! Хо-хо... Нешто намъ, братъ Агаша, еще водочки выпить?

Я поднялся и, пробираясь между грядами, пошелъ вдоль огорода. Темныя гряды глядѣли, какъ большія, приплюснутыя могилы. Отъ нихъ вѣяло запахомъ вскопанной земли и нѣжной сыростью растеній, начавшихъ покрываться росой... Налѣво все еще свѣтился красный огонекъ. Онъ привѣтливо моргалъ и, казалось, улыбался.

Я услышалъ счастливый смѣхъ. То смѣялась Агафья.

«А поѣздъ? — вспомнилъ я. — Поѣздъ давно уже пришелъ».

Подождавъ немного, я вернулся къ шалашу. Савка сидѣлъ неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкалъ какую-то пѣсню, состоящую изъ однихъ только односложныхъ словъ, что-то въ родѣ: «Фу ты, ну ты... я да ты...» Агафья опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотою ночи, лежала возлѣ него на землѣ и судорожно прижималась лицомъ къ его колѣну. Она такъ далеко ушла въ чувство, что и не замѣтила моего прихода.

— Агаша, а вѣдь поѣздъ давно ужъ пришелъ!—сказалъ я.

— Пора, пора тебѣ, — подхватилъ мою мысль Савка, встряхивая головой.—Что разлеглась тутъ? Ты, безстыжая!

Агафья встрепенулась, отняла голову отъ его колѣна, взглянула на меня и опять припала къ нему.

— Давно ужъ пора!—сказалъ я.

Агафья заворочалась и привстала на одно колѣно... Она страдала... Полминуты вся ея фигура, насколько я могъ разглядѣть сквозь потемки, выражала борьбу и колебаніе. Было мгновеніе, когда она, будто очнувшись, вытянула корпусъ, чтобы подняться на ноги, но тутъ какая-то непобѣдимая и неумолимая сила толкнула ее по всему тѣлу, и она припала къ Савкѣ.

— А ну его!—сказала она съ дикимъ, груднымъ смѣхомъ, и въ этомъ смѣхѣ слышалась безразсудная рѣшимость, безсиліе, боль.

Я тихо побрелъ въ рощу, а оттуда спустился къ рѣкѣ, гдѣ стояли наши рыболовныя снасти. Рѣка спала. Какой-то мягкій, махровый цвѣтокъ на высокомъ стеблѣ нѣжно коснулся моей щеки, какъ ребенокъ, который хочетъ дать понять, что не спитъ. Отъ нечего дѣлать, я нащупалъ одну леску и потянулъ ее. Она слабо напряглась и повисла, — ничего не поймалось... Того берега и деревни не было видно. Въ одной избѣ мелькнулъ огонекъ, но скоро погасъ. Я пошарилъ на берегу, нашелъ выемку, которую приглядѣлъ еще днемъ, и усѣлся въ ней, какъ въ креслѣ. Долго я сидѣлъ... Я видѣлъ, какъ звѣзды стали туманиться и терять свою лучистость, какъ легкимъ вздохомъ пронеслась по землѣ прохлада и тронула листья просыпавшихся ивъ...

— А-га-фья!..—донесся изъ деревни чей-то глухой голосъ.—Агафья!

То вернувшійся и встревоженный мужъ искалъ по де-

ревнѣ свою жену. А съ огородовъ слышался въ это время несдерживаемый смѣхъ: жена забылась, опьянѣла и счастіемъ нѣсколькихъ часовъ старалась наверстать ожидавшую ее назавтра муку.

Я уснулъ.

Когда я проснулся, около меня сидѣлъ Савка и слегка трясъ мое плечо. Рѣка, роща, оба берега, зеленые и умытые, деревья и поле—все было залито яркимъ утреннимъ свѣтомъ. Сквозь тонкіе стволы деревьевъ били въ мою спину лучи только-что взошедшаго солнца.

— Такъ-то вы рыбу ловите?—усмѣхнулся Савка. — Ну, вставайте!

Я всталъ, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный, душистый воздухъ.

— Агаша ушла?—спросилъ я.

— Вонъ она,—указалъ мнѣ Савка въ сторону, гдѣ былъ бродъ.

Я взглянулъ и увидѣлъ Агафью. Приподнявъ платье, растрепанная, со сползшимъ съ головы платкомъ, она переходила рѣку. Ноги ея ступали еле-еле...

— Знаетъ кошка, чье мясо съѣла! — бормоталъ Савка, щуря на нее глаза.—Идетъ и хвостъ поджала... Шкодливы эти бабы, какъ кошки, трусливы,—какъ зайцы... Не ушла, дура, вчера, когда говорили ей! Теперь ей достанется, да и меня въ волости... опять за бабъ драть будутъ...

Агафья ступила на берегъ и пошла по полю къ деревнѣ. Сначала она шагала довольно смѣло, но скоро волненіе и страхъ взяли свое: она пугливо обернулась, остановилась и перевела духъ.

— То-то что страшно! — грустно усмѣхнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой травѣ вслѣдъ за Агафьей.—Не хочется идти! Мужъ-то ужъ цѣлый часъ стоитъ и поджидаетъ... Видали его?

Савка сказалъ послѣднія слова, улыбаясь, а у меня похолодѣло подъ сердцемъ. Въ деревнѣ, около крайней избы, на дорогѣ, стоялъ Яковъ и въ упоръ глядѣлъ на возвращающуюся къ нему жену. Онъ не шевелился и былъ неподвиженъ, какъ столбъ. Что онъ думалъ, глядя на нее? Какія слова готовилъ для встрѣчи? Агафья постояла немного, еще разъ оглянулась, точно ожидая отъ насъ помощи, и пошла. Никогда я еще не видалъ такой походки

ни у пьяныхъ, ни у трезвыхъ. Агафью будто корчило отъ взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одномъ мѣстѣ, подгибая колѣни и разводя руками, то пятилась назадъ. Пройдя шаговъ сто, она оглянулась еще разъ и сѣла.

— Ты бы хоть за кустъ спрятался...—сказалъ я Савкѣ.— Неравно тебя мужъ увидитъ...

— Онъ и безъ того знаетъ, отъ кого это Агашка идетъ... На огородъ по ночамъ бабы не за капустой ходятъ—всѣмъ извѣстно.

Я взглянулъ на лицо Савки. Оно было блѣдно и морщилось брезгливою жалостью, какая бываетъ у людей, когда они видятъ мучимыхъ животныхъ.

— Кошкѣ смѣхъ, мышкѣ слезы...—вздохнулъ онъ.

Агафья вдругъ вскочила, мотнула головой и смѣлой походкой направилась къ мужу. Она, видимо, собралась съ силами и рѣшилась.

Оглавленіе

IV ТОМА.

	стр.		
Красавицы	3	Тоска	
Слѣдователь	12	Егерь	
Старый домъ	17	Мечты	
Весной	23	Пустой случай	
Бѣлолобый	29	Не доброе дѣло	
У предводительши	35	Дома	
Пѣвчіе	39	Вѣдьма	
Послѣдняя могиканша	44	Вѣрочка	
Беззаконіе	49	Въ судѣ	
Актерская гибель	54	Безпокойный гость	
Мелюзга	61	Панихида	
Зеркало	65	На пути	
Старость	70	Несчастье	
Горе	75	Событіе	
Устрицы	81	Агафья	

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Враги.—Кошмаръ.—Святою ночью.—Счастье.—Тифъ.—Ванька.—Свирѣль.—Перекати-поле.—Задача.—Степь.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ВРАГИ.

Въ десятомъ часу темнаго сентябрьскаго вечера у земскаго доктора Кирилова скончался отъ дифтерита его единственный сынъ, шестилѣтній Андрей. Когда докторша опустилась на колѣни передъ кроваткой умершаго ребенка и ею овладѣлъ первый приступъ отчаянія, въ передней рѣзко прозвучалъ звонокъ.

По случаю дифтерита вся прислуга еще съ утра была выслана изъ дому. Кириловъ, какъ былъ, безъ сюртука, въ разстегнутой жилеткѣ, не вытирая мокраго лица и рукъ, обожженныхъ карболкой, пошелъ самъ отворять дверь. Въ передней было темно, и въ человѣкѣ, который вошелъ, можно было различить только средній ростъ, бѣлое кашне и большое, чрезвычайно блѣдное лицо, такое блѣдное, что, казалось, отъ появленія этого лица въ передней стало свѣтлѣе...

— Докторъ у себя?—быстро спросилъ вошедшій.

— Я дома,—отвѣтилъ Кириловъ.—Что вамъ угодно?

— А, это вы? Очень радъ! — обрадовался вошедшій и сталъ искать въ потемкахъ руку доктора, нашелъ ее и крѣпко стиснулъ въ своихъ рукахъ.—Очень... очень радъ! Мы съ вами знакомы!.. Я—Абогинъ... имѣлъ удовольствіе видѣть васъ лѣтомъ у Гнучева. Очень радъ, что засталъ... Бога ради, не откажите поѣхать сейчасъ со мной... У меня опасно заболѣла жена... И экипажъ со мной...

По голосу и движеніямъ вошедшаго замѣтно было, что онъ находился въ сильно возбужденномъ состояніи. Точно испуганный пожаромъ или бѣшеной собакой, онъ ехалъ

сдерживалъ свое частое дыханіе и говорилъ быстро, дрожащимъ голосомъ, и что-то неподдѣльно-искреннее, дѣтски-малодушное звучало въ его рѣчи. Какъ всѣ испуганные и ошеломленные, онъ говорилъ короткими, отрывистыми фразами и произносилъ много лишнихъ, совсѣмъ не идущихъ къ дѣлу словъ.

— Я боялся не застать васъ,—продолжалъ онъ.—Поѣхалъ къ вамъ, изстрадался душой... Одѣвайтесь и ѣдемте, ради Бога... Произошло это такимъ образомъ. Пріѣзжаетъ ко мнѣ Папчинскій, Александръ Семеновичъ, котораго вы знаете... Поговорили мы... потомъ сѣли чай пить; вдругъ жена вскрикиваетъ, хватаетъ себя за сердце и падаетъ на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать и... я ужъ и нашатырнымъ спиртомъ теръ ей виски, и водой брызгалъ... лежитъ, какъ мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поѣдемте... У нея и отецъ умеръ отъ аневризмы...

Кириловъ слушалъ и молчалъ, какъ будто не понималъ русской рѣчи.

Когда Абогинъ еще разъ упомянулъ про Папчинскаго и про отца своей жены и еще разъ началъ искать въ потемкахъ руку, докторъ встряхнулъ головой и сказалъ, апатично растягивая каждое слово:

— Извините, я не могу ѣхать... Минутъ пять назадъ у меня... умеръ сынъ...

— Неужели? — прошепталъ Абогинъ, дѣлая шагъ назадъ.—Боже мой, въ какой недобрый часъ я попалъ! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпаденіе... и какъ нарочно!

Абогинъ взялся за ручку двери и въ раздумьи поникъ головой. Онъ видимо колебался и не зналъ, что дѣлать: уходить, или продолжать просить доктора.

— Послушайте,—горячо сказалъ онъ, хватая Кириловъ за рукавъ:—я отлично понимаю ваше положеніе! Видитъ Богъ, мнѣ стыдно, что я въ такія минуты пытаюсь овладѣть вашимъ вниманіемъ, но что же мнѣ дѣлать? Судите сами, къ кому я поѣду? Вѣдь, кромѣ васъ, здѣсь нѣтъ другого врача. Поѣдемте ради Бога! Не за себя я прошу... Не я боленъ!

Наступило молчаніе. Кириловъ повернулся спиной къ Абогину, постоялъ и медленно вышелъ изъ передней въ *залу. Судя по* его невѣрной, машинальной походкѣ, по тому

вниманію, съ какимъ онъ въ залѣ поправилъ на негорѣвшей лампѣ мохнатый абажуръ и заглянулъ въ толстую книгу, лежавшую на столѣ, въ эти минуты у него не было ни намѣреній, ни желаній, ни о чемъ онъ не думалъ и, вѣроятно, уже не помнилъ, что у него въ передней стоитъ чужой человѣкъ. Сумерки и тишина залы, повидимому, усилили его ошалѣлость. Идя изъ залы къ себѣ въ кабинетъ, онъ поднималъ правую ногу выше, чѣмъ слѣдуетъ, искалъ руками дверныхъ косяковъ, и въ это время во всей его фигурѣ чувствовалось какое-то недоумѣніе, точно онъ попалъ въ чужую квартиру, или же первый разъ въ жизни напился пьянъ и теперь съ недоумѣніемъ отдавался своему новому ощущенію. По одной стѣнѣ кабинета, черезъ шкапы съ книгами, тянулась широкая полоса свѣта; вмѣстѣ съ тяжелымъ, спертымъ запахомъ карболки и эфира, этотъ свѣтъ шелъ изъ слегка отворенной двери, ведущей изъ кабинета въ спальню... Докторъ опустился въ кресло передъ столомъ; минуту онъ сонливо глядѣлъ на свои освѣщенныя книги, потомъ поднялся и пошелъ въ спальню.

Здѣсь, въ спальнѣ, царилъ мертвый покой. Все до послѣдней мелочи краснорѣчиво говорило о недавно пережитой бурѣ, объ утомленіи, и все отдыхало. Свѣчка, стоявшая на табуретѣ въ тѣсной толпѣ стклянокъ, коробокъ и баночекъ, и большая лампа на комодѣ ярко освѣщали всю комнату. На кровати, у самаго окна лежалъ мальчикъ съ открытыми глазами и удивленнымъ выраженіемъ лица. Онъ не двигался, но открытые глаза его, казалось, съ каждымъ мгновеніемъ все болѣе темнѣли и уходили во внутрь черепа. Положивъ руки на его туловище и спрятавъ лицо въ складки постели, передъ кроватью стояла на колѣняхъ мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движенія чувствовалось въ изгибахъ ея тѣла и въ рукахъ! Припадала она къ кровати всѣмъ своимъ существомъ, съ силой и жадностью, какъ будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую, наконецъ, нашла для своего утомленнаго тѣла. Одѣяла, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанныя повсюду кисточки и ложки, бѣлая бутыль съ известковой водой, самый воздухъ, удушливый и тяжелый—все замерло и казалось погруженнымъ въ покой.

Докторъ остановился около жены, засунулъ руки въ кар-

маны брюкъ и, склонивъ голову на бокъ, устремилъ взглядъ на сына. Лицо его выражало равнодушіе, только по росинкамъ, блестѣвшимъ на его бородѣ, и замѣтно было, что онъ недавно плакалъ.

Тотъ отталкивающій ужасъ, о которомъ думаютъ, когда говорятъ о смерти, отсутствовалъ въ спальнѣ. Во всеобщемъ столбнякѣ, въ позѣ матери, въ равнодушіи докторскаго лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человѣческаго горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умѣетъ передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и въ угрюмой тишинѣ. Кириловъ и его жена молчали, не плакали, какъ будто, кромѣ тяжести потери, сознавали также и весь лиризмъ своего положенія: какъ когда-то, въ свое время, прошла ихъ молодость, такъ теперь, вмѣстѣ съ этимъ мальчикомъ, уходило навсегда въ вѣчность и ихъ право имѣть дѣтей! Доктору 44 года, онъ уже сѣдъ и выглядитъ старикомъ; его поблекшей и больной женѣ 35 лѣтъ. Андрей былъ не только единственнымъ, но и послѣднимъ.

Въ противоположность своей женѣ, докторъ принадлежалъ къ числу натуръ, которыя во время душевной боли чувствуютъ потребность въ движеніи. Постоявъ около жены минутъ пять, онъ, высоко поднимая правую ногу, изъ спальни прошелъ въ маленькую комнату, наполовину занятую большимъ, широкимъ диваномъ; отсюда прошелъ въ кухню. Поблуждавъ около печки и кухаркиной постели, онъ нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышелъ въ переднюю.

Тутъ онъ опять увидѣлъ бѣлое кашнэ и блѣдное лицо.

— Наконецъ-то! — вздохнулъ Абогинъ, берясь за ручку двери.—Ѣдемте, пожалуйста!

Докторъ вздрогнулъ, поглядѣлъ на него и вспомнилъ...

— Послушайте, вѣдь я уже сказалъ вамъ, что мнѣ нельзя ѣхать!—сказалъ онъ, оживляясь.—Какъ странно!

— Докторъ, я не истуканъ, отлично понимаю ваше положеніе... сочувствую вамъ! — сказалъ умоляющимъ голосомъ Абогинъ, прикладывая къ своему кашнэ руку. — Но вѣдь я не за себя прошу... Умираетъ моя жена! Если бы вы слышали этотъ крикъ, видѣли ея лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а ужъ я думалъ, что вы поняли одѣваться! Докторъ, время дорого! Ѣдемте, прошу васъ!

— Ѣхать я не могу!—сказалъ съ разстановкой Кириловъ и шагнулъ въ залу.

Абогинъ пошелъ за нимъ и схватилъ его за рукавъ.

— У васъ горе, я понимаю, но вѣдь приглашаю я васъ не зубы лѣчить, не въ эксперты, а спасать жизнь человѣческую!—продолжалъ онъ умолять, какъ нищій.—Эта жизнь выше всякаго личнаго горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человѣколюбія!

— Человѣколюбіе—палка о двухъ концахъ,—раздраженно сказалъ Кириловъ.—Во имя того же человѣколюбія я прошу васъ не увозить меня. И какъ странно, ей-Богу! Я едва на ногахъ стою, а вы человѣколюбіемъ пугаете! Никуда я сейчасъ не годенъ... не поѣду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нѣтъ, нѣтъ...

Кириловъ замахалъ кистями рукъ и попятился назадъ.

— И... и не просите! — продолжалъ онъ испуганно. — Извините меня... По XIII тому законовъ я обязанъ ѣхать, и вы имѣете право тащить меня за шиворотъ... Извольте, тащите, но... я не годенъ... Даже говорить не въ состояніи... Извините...

— Напрасно, докторъ, вы говорите со мной такимъ тономъ!—сказалъ Абогинъ, опять беря доктора за рукавъ.— Богъ съ нимъ, съ XIII томомъ! Насиловать вашей воли я не имѣю никакого права. Хотите—поѣзжайте, не хотите— Богъ съ вами, но я не къ волѣ вашей обращаюсь, а къ чувству. Умираетъ молодая женщина! Сейчасъ, вы говорите, у васъ умеръ сынъ, кому же, какъ не вамъ, понять мой ужасъ?

Голосъ Абогина дрожалъ отъ волненія; въ этой дрожи и въ тонѣ было гораздо больше убѣдительности, чѣмъ въ словахъ. Абогинъ былъ искрененъ, но замѣчательно, какія бы фразы онъ ни говорилъ, всѣ онѣ выходили у него ходульными, бездушными, неумѣстно цвѣтистыми и какъ будто даже оскорбляли и воздухъ докторской квартиры, и умирающую гдѣ-то женщину. Онъ и самъ это чувствовалъ, а потому, боясь быть непонятымъ, изо всѣхъ силъ старался придать своему голосу мягкость и нѣжность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, какъ бы она ни была красива и глубока, дѣйствуетъ только на равнодушныхъ, но не всегда можетъ удовлетворить тѣхъ, кто счастливъ, или несчастливъ, потому-то выс-

шимъ выраженіемъ счастья, или несчастья является чаще всего безмолвіе; влюбленные понимаютъ другъ друга лучше, когда молчатъ, а горячая, страстная рѣчь, сказанная на могилѣ, трогаетъ только постороннихъ, вдовѣ же и дѣтямъ умершаго кажется она холодной и ничтожной.

Кириловъ стоялъ и молчалъ. Когда Абогинъ сказалъ еще нѣсколько фразъ о высокомъ призваніи врача, о самопожертвованіи и проч., докторъ спросилъ угрюмо:

— Далеко ѣхать?

— Что-то около 13—14 верстъ. У меня отличныя лошади, докторъ! Даю вамъ честное слово, что доставлю васъ туда и обратно въ одинъ часъ. Только одинъ часъ!

Послѣднія слова подѣйствовали на доктора сильнѣе, чѣмъ ссылки на человѣколюбіе или призваніе врача. Онъ подумалъ и сказалъ со вздохомъ:

— Хорошо, ѣдемте!

Онъ быстро, уже вѣрною походкой пошелъ къ своему кабинету и, немного погодя, вернулся въ длинномъ сюртукѣ. Мелко сѣменя возлѣ него и шаркая ногами, обрадованный Абогинъ помогъ надѣть ему пальто и вмѣстѣ съ нимъ вышелъ изъ дома.

На дворѣ было темно, но свѣтлѣе, чѣмъ въ передней. Въ темнотѣ уже ясно вырисовывалась высокая, сутуловатая фигура доктора съ длинной, узкой бородой и съ орлинымъ носомъ. У Абогина, кромѣ блѣднаго лица, теперь видна была его большая голова и маленькая, студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне бѣлѣло только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.

— Вѣрьте, я сумѣю оцѣнить ваше великодушіе, — бормоталъ Абогинъ, подсаживая доктора въ коляску. — Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчикъ, поѣзжай какъ можно скорѣе! Пожалуйста!

Кучеръ ѣхалъ быстро. Сначала тянулся рядъ невзрачныхъ построекъ, стоявшихъ вдоль больничнаго двора; всюду было темно, только въ глубинѣ двора, изъ чьего-то окна, сквозь палисадникъ, пробивался яркій свѣтъ, да три окна верхняго этажа больничнаго корпуса казались блѣднѣе воздуха. Затѣмъ коляска въѣхала въ густыя потемки; тутъ пахло грибной сыростью и слышался шопотъ деревьевъ; вороны, разбуженныя шумомъ колесъ, закопошились въ листвѣ и подняли тревожный жалобный крикъ, какъ будто

знали, что у доктора умеръ сынъ, а у Абогина больна жена. Но вотъ замелькали отдѣльныя деревья, кустарникъ; сверкнулъ угрюмо прудъ, на которомъ спали большія черныя тѣни—и коляска покатила по гладкой равнинѣ. Крикъ воронъ слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсѣмъ умолкъ.

Почти всю дорогу Кириловъ и Абогинъ молчали. Только разъ Абогинъ глубоко вздохнулъ и пробормоталъ:

— Мучительное состояніе! Никогда такъ не любишь близкихъ, какъ въ то время, когда рискуешь потерять ихъ.

И когда коляска тихо переѣзжала рѣку, Кириловъ вдругъ встрепенулся, точно его испугалъ плескъ воды, и задвигался.

— Послушайте, отпустите меня,—сказалъ онъ тоскливо.— Я къ вамъ потомъ пріѣду. Мнѣ бы только фельдшера къ женѣ послать. Вѣдь она одна!

Абогинъ молчалъ. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проѣхала песочный берегъ и покатила далѣе. Кириловъ заметался въ тоскѣ и поглядѣлъ вокругъ себя. Позади, сквозь скудный свѣтъ звѣздъ, видна была дорога и исчезавшія въ потемкахъ прибрежныя ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, какъ небо; далеко на ней тамъ и сямъ, вѣроятно на торфяныхъ болотахъ, горѣли тусклые огоньки. Налѣво, параллельно дорогѣ, тянулся холмъ, кудрявый отъ мелкаго кустарника, а надъ холмомъ неподвижно стоялъ большой полумѣсяцъ, красный, слегка подернутый туманомъ и окруженный мелкими облачками, которыя, казалось, оглядывали его со всѣхъ сторонъ и стерегли, чтобы онъ не ушелъ.

Во всей природѣ чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, какъ падшая женщина, которая одна сидитъ въ темной комнатѣ и старается не думать о прошломъ, томилась воспоминаніями о веснѣ и лѣтѣ и апатично ожидала неизбѣжной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично-глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумѣсяцу...

Чѣмъ ближе къ цѣли была коляска, тѣмъ нетерпѣливѣе становился Абогинъ. Онъ двигался, вскакивалъ, вглядывался черезъ плечо кучера впередъ. А когда, наконецъ,

коляска остановилась у крыльца, красиво задрапирован
полосатой холстиной, и когда онъ поглядѣлъ на освѣщен
окна второго этажа, слышно было, какъ дрожало его
ханіе.

— Если что случится, то... я не переживу,—сказалъ
входя съ докторомъ въ переднюю и въ волненіи пот
руки.—Но не слышно суматохи, значитъ, пока еще бл
получно,—прибавилъ онъ, вслушиваясь въ тишину.

Въ передней не слышно было ни голосовъ, ни шагов
весь домъ казался спавшимъ, несмотря на яркое освѣ
ніе. Теперь ужъ докторъ и Абогинъ, бывшіе до сего
мени въ потемкахъ, могли разглядѣть другъ друга.
торъ былъ высокъ, сутуловатъ, одѣтъ неряшливо и
имѣлъ некрасивое. Что-то непріятно рѣзкое, неласков
суровое выражали его толстыя, какъ у негра, губы, о
ный носъ и вялый, равнодушный взглядъ. Его нечеса
голова, впалые виски, преждевременныя сѣдины на д
ной, узкой бородѣ, сквозь которую просвѣчивалъ подб
докъ, блѣдно-сѣрый цвѣтъ кожи и небрежныя, углова
манеры—все это своею черствостью наводило на мысл
пережитой нуждѣ, бездольѣ, объ утомленіи жизнью и люд
Глядя на всю его сухую фигуру, не вѣрилось, чтоб
этого человѣка была жена, чтобы онъ могъ плакать о
бенкѣ. Абогинъ же изображалъ изъ себя нѣчто другое.
былъ плотный, солидный блондинъ съ большой голово
крупными, но мягкими чертами лица, одѣтый изящно
самой послѣдней модѣ. Въ его осанкѣ, въ плотно зас
нутомъ сюртукѣ, въ гривѣ и въ лицѣ чувствовалось чт
благородное, львиное; ходилъ онъ держа прямо голо
выпятивъ впередъ грудь, говорилъ пріятнымъ баритон
и въ манерахъ, съ какими онъ снималъ свое кашнэ
поправлялъ волосы на головѣ, сквозило тонкое, почти
ское изящество. Даже блѣдность и дѣтскій страхъ, съ
кими онъ, раздѣваясь, поглядывалъ вверхъ на лѣсти
не портили его осанки и не умаляли сытости, здоров
апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нѣтъ и ничего не слышно,—сказалъ онъ,
по лѣстницѣ.—Суматохи нѣтъ. Дай-то Богъ!

Онъ провелъ доктора черезъ переднюю въ большую
гдѣ темнѣлъ черный рояль и висѣла люстра въ бѣл
чехлѣ; отсюда оба они прошли въ маленькую, очень

ную и красивую гостиную, полную пріятнаго розоваго полумрака.

— Ну, посидите тутъ, докторъ,—сказалъ Абогинъ:—а я... сейчасъ. Я пойду погляжу и предупрежу.

Кириловъ остался одинъ. Роскошь гостиной, пріятный полумракъ и само его присутствіе въ чужомъ, незнакомомъ домѣ, имѣвшее характеръ приключенія, повидимому, не трогали его. Онъ сидѣлъ въ креслѣ и разглядывалъ свои обожженныя карболкой руки. Только мелькомъ увидѣлъ онъ ярко-красный абажуръ, футляръ отъ віолончели, да, покосившись въ ту сторону, гдѣ тикали часы, онъ замѣтилъ чучело волка, такого же солиднаго и сытаго, какъ самъ Абогинъ.

Было тихо... Гдѣ-то далеко въ сосѣднихъ комнатахъ кто-то громко произнесъ звукъ «а!», прозвенѣла стеклянная дверь, вѣроятно шкапа, и опять все стихло. Подождавъ минутъ пять, Кириловъ пересталъ оглядывать свои руки и поднялъ глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогинъ.

У порога этой двери стоялъ Абогинъ, но не тотъ, который вышелъ. Выраженіе сытости и тонкаго изящества исчезло на немъ, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительнымъ выраженіемъ не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его носъ, губы, усы, всѣ черты двигались и, казалось, старались оторваться отъ лица, глаза же какъ будто смѣялись отъ боли...

Абогинъ тяжело и широко шагнулъ на середину гостиной, согнулся, простоналъ и потрясъ кулаками.

— Обманула!—крикнулъ онъ, сильно напирая на слогѣ *ну*.—Обманула! Ушла! Заболѣла и услала меня за докторомъ для того только, чтобы бѣжать съ этимъ шутомъ Папчинскимъ! Боже мой!

Абогинъ тяжело шагнулъ къ доктору, протянулъ къ его лицу свои бѣлые мягкіе кулаки и, потрясая ими, продолжалъ вопить:

— Ушла!! Обманула! Ну, къ чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! Къ чему этотъ грязный, шулерскій фокусъ, эта дьявольская, змѣиная игра? Что я ей сдѣлалъ? Ушла!

Слезы брызнули у него изъ глазъ. Онъ перевернулся на одной ногѣ и зашагалъ по гостиной. Теперь въ своемъ короткомъ сюртукѣ, въ модныхъ, узкихъ брюкахъ, въ кото-

рыхъ ноги казались не по корпусу тонкими, со своей бо
шой головой и гривой онъ чрезвычайно походилъ на л
На равнодушномъ лицѣ доктора засвѣтилось любопытст
Онъ поднялся и оглядѣлъ Абогина.

— Позвольте, гдѣ же больная?—спросилъ онъ.

— Больная! Больная!—крикнулъ Абогинъ, смѣясь, пл
и все еще потрясая кулаками.—Это не больная, а прок
тая! Низость! Подлость, гаже чего не придумалъ бы,
жется, самъ сатана! Услала затѣмъ, чтобы бѣжать,
жать съ шутомъ, тупымъ клоуномъ, альфонсомъ! О, Бо
лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Докторъ выпрямился. Его глаза замигали, налились
зами, узкая борода задвигалась направо и налѣво вмѣ
съ челюстью.

— Позвольте, какъ же это?—спросилъ онъ, съ любоп
ствомъ оглядываясь.—У меня умеръ ребенокъ, жена
тоскѣ, одна на весь домъ... самъ я едва стою на нога
три ночи не спалъ... и что же? Меня заставляютъ игр
въ какой-то пошлой комедіи, играть роль бутафорс
вещи! Не... не понимаю!

Абогинъ разжалъ одинъ кулакъ, швырнулъ на полъ ск
канную записку и наступилъ на нее, какъ на насѣко
которое хочется раздавить.

— И я не видѣлъ... не понималъ!—говорилъ онъ скв
сжатые зубы, потрясая около своего лица однимъ кулак
и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему наступили
мозоль.—Я не замѣчалъ, что онъ ѣздитъ каждый день,
замѣтилъ, что онъ сегодня пріѣхалъ въ каретѣ! Зачѣмъ
каретѣ? И я не видѣлъ! Колпакъ!

— Не... не понимаю!—бормоталъ докторъ.—Вѣдь
что же такое! Вѣдь это глумленіе надъ личностью, издѣ
тельство надъ человѣческими страданіями! Это что-то
возможное... первый разъ въ жизни вижу!

Съ тупымъ удивленіемъ человѣка, который только
сталъ понимать, что его тяжело оскорбили, докторъ пож
плечами, развелъ руками и, не зная, что говорить, что
лать, въ изнеможеніи опустился въ кресло.

— Ну, разлюбила, полюбила другого—Богъ съ тоб
но къ чему же обманъ, къ чему этотъ подлый, измѣнни
скій фортель?—говорилъ плачущимъ голосомъ Абогинъ
Къ чему? И за что? Что я тебѣ сдѣлалъ? Послушай

докторъ,—горячо сказалъ онъ, подходя къ Кирилову.—Вы были невольнымъ свидѣтелемъ моего несчастья, и я не стану скрывать отъ васъ правду. Клянусь вамъ, что я любилъ эту женщину, любилъ набожно, какъ рабъ! Для нея я пожертвовалъ всѣмъ: поссорился съ родней, бросилъ службу и музыку, прощалъ ей то, чего не сумѣлъ бы простить матери, или сестрѣ... Ни разу я не поглядѣлъ на нее косо... не подавалъ никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачѣмъ этотъ гнусный обманъ? Не любишь, такъ скажи прямо, честно, тѣмъ болѣе, что знаешь мои взгляды на этотъ счетъ...

Со слезами на глазахъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, Абогинъ искренно изливалъ передъ докторомъ свою душу. Онъ говорилъ горячо, прижимая обѣ руки къ сердцу, разоблачалъ свои семейныя тайны безъ малѣйшаго колебанія и какъ будто даже радъ былъ, что, наконецъ, эти тайны вырвались наружу изъ его груди. Поговори онъ такимъ образомъ часъ, другой, вылей свою душу, и несомнѣнно ему стало бы легче. Кто знаетъ, выслушай его докторъ, посочувствуй ему дружески, быть-можетъ, онъ, какъ это часто случается, примирился бы со своимъ горемъ безъ протеста, не дѣлая ненужныхъ глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогинъ говорилъ, оскорбленный докторъ замѣтно мѣнялся. Равнодушіе и удивленіе на его лицѣ мало-по-малу уступили мѣсто выраженію горькой обиды, негодованія и гнѣва. Черты лица его стали еще рѣзче, черствѣе и непріятнѣе. Когда Абогинъ поднесъ къ его глазамъ карточку молодой женщины съ красивымъ, но сухимъ и невыразительнымъ, какъ у монашенки, лицомъ, и спросилъ, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, докторъ вдругъ вскочилъ, сверкнулъ глазами и сказалъ, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачѣмъ вы все это говорите мнѣ? Не желаю я слушать! Не желаю!—крикнулъ онъ и стукнулъ кулакомъ по столу.—Не нужны мнѣ ваши пошлыя тайны, чортъ бы ихъ взялъ! Не смѣете вы говорить мнѣ эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорбленъ? Что я лакей, котораго до конца можно оскорблять? Да?

Абогинъ попятился отъ Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачѣмъ вы меня сюда привезли?—продолжалъ док-

торъ, тряся бородой.—Если вы съ жиру женитесь, съ жиру бѣситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чемъ тутъ я? Что у меня общаго съ вашими романами? Оставьте меня въ покоѣ! Упражняйтесь въ благородномъ кулачествѣ, рисуйтесь гуманными идеями, играйте (докторъ покосился на футляръ съ віолончелью)—играйте на контрабасахъ и тромбонахъ, жирѣйте, какъ каплуны, но не смѣйте глумиться надъ личностью! Не умѣете уважать ее, такъ хоть избавьте ее отъ вашего вниманія!

— Позвольте, что это все значитъ?—спросилъ Абогинъ, краснѣя.

— А то значитъ, что низко и подло играть такъ людьми! Я врачъ, вы считаете врачей и вообще рабочихъ, отъ которыхъ не пахнетъ духами и проституціей, своими лакеями и моветонами, ну, и считайте, но никто не далъ вамъ права дѣлать изъ человѣка, который страдаетъ, бутафорскую вещь!

— Какъ вы смѣете говорить мнѣ это?—спросилъ тихо Абогинъ, и его лицо опять запрыгало и на этотъ разъ уже ясно отъ гнѣва.

— Нѣтъ, какъ вы, зная, что у меня горе, смѣли привезти меня сюда выслушивать пошлости?—крикнулъ докторъ и опять стукнулъ кулакомъ по столу.—Кто вамъ далъ право такъ издѣваться надъ чужимъ горемъ?

— Вы съ ума сошли!—крикнулъ Абогинъ.—Не великодушно! Я самъ глубоко несчастливъ и... и...

— Несчастливъ,—презрительно ухмыльнулся докторъ.—Не трогайте этого слова, оно васъ не касается. Шалопаи, которые не находятъ денегъ подъ вексель, тоже называютъ себя несчастными. Каплунъ, котораго давитъ лишній жиръ, тоже несчастливъ. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь!—взвизгнулъ Абогинъ.—За такія слова... бьютъ! Понимаете?

Абогинъ торопливо полѣзъ въ боковой карманъ, вытащилъ оттуда бумажникъ и, доставъ двѣ бумажки, швырнулъ ихъ на столъ.

— Вотъ вамъ за вашъ визитъ!—сказалъ онъ, шевеля ноздрями.—Вамъ заплачено!

— Не смѣете вы предлагать мнѣ деньги!—крикнулъ докторъ и смахнулъ со стола на полъ бумажки.—За оскорбленіе деньгами не платятъ!

Абогинъ и докторъ стояли лицомъ къ лицу и въ гнѣвѣ

продолжали наносить другъ другу незаслуженныя оскорбленія. Кажется, никогда въ жизни, даже въ бреду они не сказали столько несправедливаго, жестокаго и нелѣпаго. Въ обоихъ сильно сказался эгоизмъ несчастныхъ. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менѣе, чѣмъ глупцы, способны понимать другъ друга. Не соединяетъ, а разъединяетъ людей несчастье, и даже тамъ, гдѣ, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, продѣлывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чѣмъ въ средѣ сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой!—крикнулъ докторъ, задыхаясь.

Абогинъ рѣзко позвонилъ. Когда на его зовъ никто не явился, онъ еще разъ позвонилъ и сердито швырнулъ колокольчикъ на полъ; тотъ глухо ударился о коверъ и издалъ жалобный, точно предсмертный стонъ. Явился лакей.

— Гдѣ вы попрятались, чортъ бы васъ взялъ?!—набросился на него хозяинъ, сжимая кулаки.—Гдѣ ты былъ сейчасъ? Пошелъ, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой!—крикнулъ онъ, когда лакей повернулся уходить.—Завтра чтобъ ни одного предателя не оставалось въ домѣ! Всѣ вонъ! Нанимаю новыхъ! Гадины!

Въ ожиданіи экипажей Абогинъ и докторъ молчали. Къ первому уже вернулись и выраженіе сытости, и тонкое изящество. Онъ шагалъ по гостиной, изящно встряхивалъ головой и, очевидно, что-то замышлялъ. Гнѣвъ его еще не остылъ, но онъ старался показывать видъ, что не замѣчаетъ своего врага... Докторъ же стоялъ, держался одной рукой о край стола и глядѣлъ на Абогина съ тѣмъ глубокимъ, нѣсколько циничнымъ и некрасивымъ презрѣніемъ, съ какимъ умѣютъ глядѣть только горе и бездолье, когда видятъ передъ собой сытость и изящество.

Когда, немного погодя, докторъ сѣлъ въ коляску и поѣхалъ, глаза его все еще продолжали глядѣть презрительно. Было темно, гораздо темнѣе, чѣмъ часъ тому назадъ. Красный полумѣсяцъ уже ушелъ за холмъ, и сторожившія его тучи темными пятнами лежали около звѣздъ. Карета съ красными огнями застучала по дорогѣ и перегнала доктора. Это ѣхалъ Абогинъ протестовать, дѣлать глупости...

Всю дорогу докторъ думалъ не о женѣ, не объ Андреѣ,

а объ Абогинѣ и людяхъ, жившихъ въ домѣ, который онъ только-что оставилъ. Мысли его были несправедливы и нечеловѣчно жестоки. Осудилъ онъ и Абогина, и его жену, и Папчинскаго, и всѣхъ, живущихъ въ розовомъ полумракѣ и пахнущихъ духами, и всю дорогу ненавидѣлъ ихъ и презиралъ до боли въ сердцѣ. И въ умѣ его сложилось крѣпкое убѣжденіе объ этихъ людяхъ.

Пройдетъ время, пройдетъ и горе Кирилова, но это убѣжденіе, несправедливое, недостойное человѣческаго сердца, не пройдетъ и останется въ умѣ доктора до самой могилы.

КОШМАРЪ.

Непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія Кунинъ, молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати, вернувшись изъ Петербурга въ свое Борисово, послалъ первымъ дѣломъ верхового въ Синьково за тамошнимъ священникомъ, отцомъ Яковомъ Смирновымъ.

Часовъ черезъ пять отецъ Яковъ явился.

— Очень радъ познакомиться! — встрѣтилъ его въ передней Кунинъ. — Ужъ годъ, какъ живу и служу здѣсь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просимъ! Но, однако... какой вы молодой!—удивился Кунинъ.—Сколько вамъ лѣтъ?

— Двадцать восемь-съ... — проговорилъ отецъ Яковъ, слабо пожимая протянутую руку и, неизвѣстно отчего, краснѣя.

Кунинъ ввелъ гостя къ себѣ въ кабинетъ и принялся его разсматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!»—подумалъ онъ.

Дѣйствительно, въ лицѣ отца Якова было очень много «бабьяго»: вздернутый носъ, ярко-красныя щеки и большіе, сѣро-голубые глаза съ жидкими, едва замѣтными бровями. Длинные, рыжіе волосы, сухіе и гладкіе, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться въ настоящіе, мужскіе усы, а бородка принадлежала къ тому сорту никуда негодныхъ бородъ, который у семинаристовъ почему-то называется «скоктаніемъ»: рѣденькая, сильно просвѣчивающая; погладить и почесать ее гребнемъ нельзя, можно развѣ только пощипать... Вся

эта скудная растительность сидѣла неравномѣрно, кустиками, словно отецъ Яковъ, вздумавъ загримироваться священникомъ и начавъ приклеивать бороду, былъ прерванъ на половинѣ дѣла. На немъ была ряска, цвѣта жидкаго цикорнаго кофе, съ большими латками на обоихъ локтяхъ.

«Странный субъектъ...—подумалъ Кунинъ, глядя на его полы, обрызганныя грязью.—Приходитъ въ домъ первый разъ и не можетъ поприличнѣй одѣться».

— Садитесь, батюшка, — началъ онъ болѣе развязно, чѣмъ привѣтливо, придвигая къ столу кресло.—Садитесь же, прошу васъ!

Отецъ Яковъ кашлянулъ въ кулакъ, неловко опустился на край кресла и положилъ ладони на колѣни. Малорослый, узкогрудый, съ пòтомъ и краской на лицѣ, онъ на первыхъ же порахъ произвелъ на Кунина самое непріятное впечатлѣніе. Ранѣе Кунинъ никакъ не могъ думать, что на Руси есть такіе несолидные и жалкіе на видъ священники, а въ позѣ отца Якова, въ этомъ держаніи ладоней на колѣняхъ и въ сидѣніи на краешкѣ, ему видѣлось отсутствіе достоинства и даже подхалимство.

— Я, батюшка, пригласилъ васъ по дѣлу... — началъ Кунинъ, откидываясь на спинку кресла. — На мою долю выпала пріятная обязанность помочь вамъ въ одномъ вашемъ полезномъ предпріятіи... Дѣло въ томъ, что, вернувшись изъ Петербурга, я нашелъ у себя на столѣ письмо отъ предводителя. Егоръ Дмитріевичъ предлагаетъ мнѣ взять подъ свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у васъ въ Синьковѣ. Я, батюшка, очень радъ, всей душой... Даже больше: я съ восторгомъ принимаю это предложеніе!

Кунинъ поднялся и заходилъ по кабинету.

— Конечно, и Егору Дмитріевичу и, вѣроятно, вамъ извѣстно, что большими средствами я не располагаю. Имѣніе мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непремѣннаго члена. Стало-быть, на большую помощь вы разсчитывать не можете, но что въ моихъ силахъ, то я все сдѣлаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

— Когда будутъ деньги...—отвѣтилъ отецъ Яковъ.

— Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

— Почти никакими-съ... Мужики постановили на сходѣ платить ежегодно по тридцати копеекъ съ каждой мужской души, но вѣдь это только обѣщаніе! А на первое обзаведеніе нужно, по крайней мѣрѣ, рублей двѣсти...

— М-да... Къ сожалѣнію, у меня теперь нѣтъ этой суммы... — вздохнулъ Кунинъ.—Въ поѣздкѣ я весь истратился и... задолжалъ даже. Давайте общими силами придумаемъ что-нибудь.

Кунинъ сталъ вслухъ придумывать. Онъ высказывалъ свои соображенія и слѣдилъ за лицомъ отца Якова, ища на немъ одобренія или согласія. Но лицо это было безстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кромѣ застѣнчивой робости и безпокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунинъ говорилъ о такихъ мудреныхъ вещахъ, которыхъ отецъ Яковъ не понималъ, слушалъ только изъ деликатности и притомъ боялся, чтобы его не уличили въ непониманіи.

«Малый, какъ видно, не изъ очень умныхъ...—думалъ Кунинъ.—Не въ мѣру робокъ и глуповатъ».

Нѣсколько оживился и даже улыбнулся отецъ Яковъ только тогда, когда въ кабинетъ вошелъ лакей и внесъ на подносѣ два стакана чаю и сухарницу съ крендельками. Онъ взялъ свой стаканъ и тотчасъ же принялся пить.

— Не написать ли намъ преосвященному?—продолжалъ соображать вслухъ Кунинъ.—Вѣдь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшія духовныя власти подняли вопросъ о церковно-приходскихъ школахъ. Онѣ должны, по-настоящему, и средства указать. Мнѣ помнится, я читалъ, что на этотъ счетъ даже была ассигнована сумма какая-то. Вамъ ничего неизвѣстно?

Отецъ Яковъ такъ погрузился въ чаепитіе, что не сразу отвѣтилъ на этотъ вопросъ. Онъ поднялъ на Кунина свои сѣро-голубые глаза, подумалъ и, точно вспомнивъ его вопросъ, отрицательно мотнулъ головой. По некрасивому лицу его отъ уха до уха разливалось выраженіе удовольствія и самаго обыденнаго, прозаическаго аппетита. Онъ пилъ и смаковалъ каждый глотокъ. Выпивъ все до послѣдней капли, онъ поставилъ свой стаканъ на столъ, потомъ взялъ назадъ этотъ стаканъ, оглядѣлъ его дно и опять поставилъ. Выраженіе удовольствія сползло съ лица... Далѣе Кунинъ видѣлъ, какъ его гость взялъ изъ сухарницы одинъ кренде-

коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированнаго полосатой холстиной, и когда онъ поглядѣлъ на освѣщенныя окна второго этажа, слышно было, какъ дрожало его дыханіе.

— Если что случится, то... я не переживу,—сказалъ онъ, входя съ докторомъ въ переднюю и въ волненіи потирая руки.—Но не слышно суматохи, значитъ, пока еще благополучно,—прибавилъ онъ, вслушиваясь въ тишину.

Въ передней не слышно было ни голосовъ, ни шаговъ, и весь домъ казался спавшимъ, несмотря на яркое освѣщеніе. Теперь ужъ докторъ и Абогинъ, бывшіе до сего времени въ потемкахъ, могли разглядѣть другъ друга. Докторъ былъ высокъ, сутуловатъ, одѣтъ неряшливо и лицо имѣлъ некрасивое. Что-то непріятно рѣзкое, неласковое и суровое выражали его толстыя, какъ у негра, губы, орлиный носъ и вялый, равнодушный взглядъ. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременныя сѣдины на длинной, узкой бородѣ, сквозь которую просвѣчивалъ подбородокъ, блѣдно-сѣрый цвѣтъ кожи и небрежныя, угловатыя манеры—все это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нуждѣ, бездольѣ, объ утомленіи жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не вѣрилось, чтобы у этого человѣка была жена, чтобы онъ могъ плакать о ребенкѣ. Абогинъ же изображалъ изъ себя нѣчто другое. Это былъ плотный, солидный блондинъ съ большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одѣтый изящно, по самой послѣдней модѣ. Въ его осанкѣ, въ плотно застегнутомъ сюртукѣ, въ гривѣ и въ лицѣ чувствовалось что-то благородное, львиное; ходилъ онъ держа прямо голову и выпятивъ впередъ грудь, говорилъ пріятнымъ баритономъ, и въ манерахъ, съ какими онъ снималъ свое кашнэ или поправлялъ волосы на головѣ, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже блѣдность и дѣтскій страхъ, съ какими онъ, раздѣваясь, поглядывалъ вверхъ на лѣстницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нѣтъ и ничего не слышно,—сказалъ онъ, идя по лѣстницѣ.—Суматохи нѣтъ. Дай-то Богъ!

Онъ провелъ доктора черезъ переднюю въ большую залу, гдѣ темнѣлъ черный рояль и висѣла люстра въ бѣломъ чехлѣ; отсюда оба они прошли въ маленькую, очень уют-

ную и красивую гостиную, полную пріятнаго розоваго полумрака.

— Ну, посидите тутъ, докторъ,—сказалъ Абогинъ:—а я... сейчасъ. Я пойду погляжу и предупрежу.

Кириловъ остался одинъ. Роскошь гостиной, пріятный полумракъ и само его присутствіе въ чужомъ, незнакомомъ домѣ, имѣвшее характеръ приключенія, повидимому, не трогали его. Онъ сидѣлъ въ креслѣ и разглядывалъ свои обожженныя карболкой руки. Только мелькомъ увидѣлъ онъ ярко-красный абажуръ, футляръ отъ віолончели, да, покосившись въ ту сторону, гдѣ тикали часы, онъ замѣтилъ чучело волка, такого же солиднаго и сытаго, какъ самъ Абогинъ.

Было тихо... Гдѣ-то далеко въ сосѣднихъ комнатахъ кто-то громко произнесъ звукъ «а!», прозвенѣла стеклянная дверь, вѣроятно шкапа, и опять все стихло. Подождавъ минутъ пять, Кириловъ пересталъ оглядывать свои руки и поднялъ глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогинъ.

У порога этой двери стоялъ Абогинъ, но не тотъ, который вышелъ. Выраженіе сытости и тонкаго изящества исчезло на немъ, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительнымъ выраженіемъ не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его носъ, губы, усы, всѣ черты двигались и, казалось, старались оторваться отъ лица, глаза же какъ будто смѣялись отъ боли...

Абогинъ тяжело и широко шагнулъ на середину гостиной, согнулся, простоналъ и потрясъ кулаками.

— Обманула!—крикнулъ онъ, сильно напирая на слогѣ *ну*.—Обманула! Ушла! Заболѣла и услала меня за докторомъ для того только, чтобы бѣжать съ этимъ шутомъ Папчинскимъ! Боже мой!

Абогинъ тяжело шагнулъ къ доктору, протянулъ къ его лицу свои бѣлые мягкіе кулаки и, потрясая ими, продолжалъ вопить:

— Ушла!! Обманула! Ну, къ чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! Къ чему этотъ грязный, шулерскій фокусъ, эта дьявольская, змѣиная игра? Что я ей сдѣлалъ? Ушла!

Слезы брызнули у него изъ глазъ. Онъ перевернулся на одной ногѣ и зашагалъ по гостиной. Теперь въ своемъ короткомъ сюртукѣ, въ модныхъ, узкихъ брюкахъ, въ кото-

рыхъ ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой онъ чрезвычайно походилъ на льва. На равнодушномъ лицѣ доктора засвѣтилось любопытство. Онъ поднялся и оглядѣлъ Абогина.

— Позвольте, гдѣ же больная?—спросилъ онъ.

— Больная! Больная!—крикнулъ Абогинъ, смѣясь, плача и все еще потрясая кулаками.—Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумалъ бы, кажется, самъ сатана! Услала затѣмъ, чтобы бѣжать, бѣжать съ шутомъ, тупымъ клоуномъ, альфонсомъ! О, Боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Докторъ выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налѣво вмѣстѣ съ челюстью.

— Позвольте, какъ же это?—спросилъ онъ, съ любопытствомъ оглядываясь.—У меня умеръ ребенокъ, жена въ тоскѣ, одна на весь домъ... самъ я едва стою на ногахъ, три ночи не спалъ... и что же? Меня заставляютъ играть въ какой-то пошлой комедіи, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогинъ разжалъ одинъ кулакъ, швырнулъ на полъ скомканную записку и наступилъ на нее, какъ на насѣкомое, которое хочется раздавить.

— И я не видѣлъ... не понималъ!—говорилъ онъ сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица однимъ кулакомъ и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему наступили на мозоль.—Я не замѣчалъ, что онъ ѣздитъ каждый день, не замѣтилъ, что онъ сегодня пріѣхалъ въ каретѣ! Зачѣмъ въ каретѣ? И я не видѣлъ! Колпакъ!

— Не... не понимаю!—бормоталъ докторъ.—Вѣдь это что же такое! Вѣдь это глумленіе надъ личностью, издѣвательство надъ человѣческими страданіями! Это что-то невозможное... первый разъ въ жизни вижу!

Съ тупымъ удивленіемъ человѣка, который только-что сталъ понимать, что его тяжело оскорбили, докторъ пожалъ плечами, развелъ руками и, не зная, что говорить, что дѣлать, въ изнеможеніи опустился въ кресло.

— Ну, разлюбила, полюбила другого—Богъ съ тобой, но къ чему же обманъ, къ чему этотъ подлый, измѣнническій фортель?—говорилъ плачущимъ голосомъ Абогинъ.—Къ чему? И за что? Что я тебѣ сдѣлалъ? Послушайте,

докторъ,—горячо сказалъ онъ, подходя къ Кирилову.—Вы были невольнымъ свидѣтелемъ моего несчастья, и я не стану скрывать отъ васъ правду. Клянусь вамъ, что я любилъ эту женщину, любилъ набожно, какъ рабъ! Для нея я пожертвовалъ всѣмъ: поссорился съ родней, бросилъ службу и музыку, прощалъ ей то, чего не сумѣлъ бы простить матери, или сестрѣ... Ни разу я не поглядѣлъ на нее косо... не подавалъ никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачѣмъ этотъ гнусный обманъ? Не любишь, такъ скажи прямо, честно, тѣмъ болѣе, что знаешь мои взгляды на этотъ счетъ...

Со слезами на глазахъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, Абогинъ искренно изливалъ передъ докторомъ свою душу. Онъ говорилъ горячо, прижимая обѣ руки къ сердцу, разоблачалъ свои семейныя тайны безъ малѣйшаго колебанія и какъ будто даже радъ былъ, что, наконецъ, эти тайны вырвались наружу изъ его груди. Поговори онъ такимъ образомъ часъ, другой, вылей свою душу, и несомнѣнно ему стало бы легче. Кто знаетъ, выслушай его докторъ, посочувствуй ему дружески, быть-можетъ, онъ, какъ это часто случается, примирился бы со своимъ горемъ безъ протеста, не дѣлая ненужныхъ глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогинъ говорилъ, оскорбленный докторъ замѣтно мѣнялся. Равнодушіе и удивленіе на его лицѣ мало-по-малу уступили мѣсто выраженію горькой обиды, негодованія и гнѣва. Черты лица его стали еще рѣзче, черствѣе и непріятнѣе. Когда Абогинъ поднесъ къ его глазамъ карточку молодой женщины съ красивымъ, но сухимъ и невыразительнымъ, какъ у монашенки, лицомъ, и спросилъ, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, докторъ вдругъ вскочилъ, сверкнулъ глазами и сказалъ, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачѣмъ вы все это говорите мнѣ? Не желаю я слушать! Не желаю!—крикнулъ онъ и стукнулъ кулакомъ по столу.—Не нужны мнѣ ваши пошлыя тайны, чортъ бы ихъ взялъ! Не смѣете вы говорить мнѣ эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорбленъ? Что я лакей, котораго до конца можно оскорблять? Да?

Абогинъ попятился отъ Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачѣмъ вы меня сюда привезли?—продолжалъ док-

торъ, тряся бородой.—Если вы съ жиру женитесь, съ жиру бѣситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чемъ тутъ я? Что у меня общаго съ вашими романами? Оставьте меня въ покоѣ! Упражняйтесь въ благородномъ кулачествѣ, рисуйтесь гуманными идеями, играйте (докторъ покосился на футляръ съ віолончелью)—играйте на контрабасахъ и тромбонахъ, жирѣйте, какъ каплуны, но не смѣйте глумиться надъ личностью! Не умѣете уважать ее, такъ хоть избавьте ее отъ вашего вниманія!

— Позвольте, что это все значитъ?—спросилъ Абогинъ, краснѣя.

— А то значитъ, что низко и подло играть такъ людьми! Я врачъ, вы считаете врачей и вообще рабочихъ, отъ которыхъ не пахнетъ духами и проституціей, своими лакеями и моветонами, ну, и считайте, но никто не далъ вамъ права дѣлать изъ человѣка, который страдаетъ, бутафорскую вещь!

— Какъ вы смѣете говорить мнѣ это?—спросилъ тихо Абогинъ, и его лицо опять запрыгало и на этотъ разъ уже ясно отъ гнѣва.

— Нѣтъ, какъ вы, зная, что у меня горе, смѣли привезти меня сюда выслушивать пошлости?—крикнулъ докторъ и опять стукнулъ кулакомъ по столу.—Кто вамъ далъ право такъ издѣваться надъ чужимъ горемъ?

— Вы съ ума сошли!—крикнулъ Абогинъ.—Не великодушно! Я самъ глубоко несчастливъ и... и...

— Несчастливъ,—презрительно ухмыльнулся докторъ.—Не трогайте этого слова, оно васъ не касается. Шалопаи, которые не находятъ денегъ подъ вексель, тоже называютъ себя несчастными. Каплунъ, котораго давитъ лишній жиръ, тоже несчастливъ. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь!—взвизгнулъ Абогинъ.—За такія слова... бьютъ! Понимаете?

Абогинъ торопливо полѣзъ въ боковой карманъ, вытащилъ оттуда бумажникъ и, доставъ двѣ бумажки, швырнулъ ихъ на столъ.

— Вотъ вамъ за вашъ визитъ!—сказалъ онъ, шевеля ноздрями.—Вамъ заплачено!

— Не смѣете вы предлагать мнѣ деньги!—крикнулъ докторъ и смахнулъ со стола на полъ бумажки.—За оскорбленіе деньгами не платятъ!

Абогинъ и докторъ стояли лицомъ къ лицу и въ гнѣвѣ

продолжали наносить другъ другу незаслуженныя оскорбленія. Кажется, никогда въ жизни, даже въ бреду они не сказали столько несправедливаго, жестокаго и нелѣпаго. Въ обоихъ сильно сказался эгоизмъ несчастныхъ. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менѣе, чѣмъ глупцы, способны понимать другъ друга. Не соединяетъ, а разъединяетъ людей несчастье, и даже тамъ, гдѣ, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, продѣлывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чѣмъ въ средѣ сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой!—крикнулъ докторъ, задыхаясь.

Абогинъ рѣзко позвонилъ. Когда на его зовъ никто не явился, онъ еще разъ позвонилъ и сердито швырнулъ колокольчикъ на полъ; тотъ глухо ударился о коверъ и издалъ жалобный, точно предсмертный стонъ. Явился лакей.

— Гдѣ вы попрятались, чортъ бы васъ взялъ?!—набросился на него хозяинъ, сжимая кулаки.—Гдѣ ты былъ сейчасъ? Пошелъ, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой!—крикнулъ онъ, когда лакей повернулся уходить.—Завтра чтобъ ни одного предателя не оставалось въ домѣ! Всѣ вонъ! Нанимаю новыхъ! Гадины!

Въ ожиданіи экипажей Абогинъ и докторъ молчали. Къ первому уже вернулись и выраженіе сытости, и тонкое изящество. Онъ шагалъ по гостиной, изящно встряхивалъ головой и, очевидно, что-то замышлялъ. Гнѣвъ его еще не остылъ, но онъ старался показывать видъ, что не замѣчаетъ своего врага... Докторъ же стоялъ, держался одной рукой о край стола и глядѣлъ на Абогина съ тѣмъ глубокимъ, нѣсколько циничнымъ и некрасивымъ презрѣніемъ, съ какимъ умѣютъ глядѣть только горе и бездолье, когда видятъ передъ собой сытость и изящество.

Когда, немного погодя, докторъ сѣлъ въ коляску и поѣхалъ, глаза его все еще продолжали глядѣть презрительно. Было темно, гораздо темнѣе, чѣмъ часъ тому назадъ. Красный полумѣсяцъ уже ушелъ за холмъ, и сторожившія его тучи темными пятнами лежали около звѣздъ. Карета съ красными огнями застучала по дорогѣ и перегнала доктора. Это ѣхалъ Абогинъ протестовать, дѣлать глупости...

Всю дорогу докторъ думалъ не о женѣ, не объ Андреѣ,

а объ Абогинѣ и людяхъ, жившихъ въ домѣ, которы
только-что оставилъ. Мысли его были несправедливы
человѣчно жестоки. Осудилъ онъ и Абогина, и его же
Папчинскаго, и всѣхъ, живущихъ въ розовомъ полу
и пахнущихъ духами, и всю дорогу ненавидѣлъ ихъ и
зиралъ до боли въ сердцѣ. И въ умѣ его сложилось
кое убѣжденіе объ этихъ людяхъ.

Пройдетъ время, пройдетъ и горе Кирилова, но это
жденіе, несправедливое, недостойное человѣческаго се
не пройдетъ и останется въ умѣ доктора до самой мо

КОШМАРЪ.

Непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія Кунинъ, молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати, вернувшись изъ Петербурга въ свое Борисово, послалъ первымъ дѣломъ верхового въ Синьково за тамошнимъ священникомъ, отцомъ Яковомъ Смирновымъ.

Часовъ черезъ пять отецъ Яковъ явился.

— Очень радъ познакомиться! — встрѣтилъ его въ передней Кунинъ. — Ужъ годъ, какъ живу и служу здѣсь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просимъ! Но, однако... какой вы молодой!—удивился Кунинъ.—Сколько вамъ лѣтъ?

— Двадцать восемь-съ... — проговорилъ отецъ Яковъ, слабо пожимая протянутую руку и, неизвѣстно отчего, краснѣя.

Кунинъ ввелъ гостя къ себѣ въ кабинетъ и принялся его разсматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!»—подумалъ онъ.

Дѣйствительно, въ лицѣ отца Якова было очень много «бабьяго»: вздернутый носъ, ярко-красныя щеки и большіе, сѣро-голубые глаза съ жидкими, едва замѣтными бровями. Длинные, рыжіе волосы, сухіе и гладкіе, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться въ настоящіе, мужскіе усы, а бородка принадлежала къ тому сорту никуда негодныхъ бородъ, который у семинаристовъ почему-то называется «скоктаніемъ»: рѣденькая, сильно просвѣчивающая; погладить и почесать ее гребнемъ нельзя, можно развѣ только пощипать... Вся

эта скудная растительность сидѣла неравномѣрно, кустиками, словно отецъ Яковъ, вздумавъ загримироваться священникомъ и начавъ приклеивать бороду, былъ прерванъ на половинѣ дѣла. На немъ была ряска, цвѣта жидкаго цикорнаго кофе, съ большими латками на обоихъ локтяхъ.

«Странный субъектъ...—подумалъ Кунинъ, глядя на его полы, обрызганныя грязью.—Приходитъ въ домъ первый разъ и не можетъ поприличнѣй одѣться».

— Садитесь, батюшка, — началъ онъ болѣе развязно, чѣмъ привѣтливо, придвигая къ столу кресло.—Садитесь же, прошу васъ!

Отецъ Яковъ кашлянулъ въ кулакъ, неловко опустился на край кресла и положилъ ладони на колѣни. Малорослый, узкогрудый, съ потомъ и краской на лицѣ, онъ на первыхъ же порахъ произвелъ на Кунина самое непріятное впечатлѣніе. Ранѣе Кунинъ никакъ не могъ думать, что на Руси есть такіе несолидные и жалкіе на видъ священники, а въ позѣ отца Якова, въ этомъ держаніи ладоней на колѣняхъ и въ сидѣніи на краешкѣ, ему видѣлось отсутствіе достоинства и даже подхалимство.

— Я, батюшка, пригласилъ васъ по дѣлу... — началъ Кунинъ, откидываясь на спинку кресла. — На мою долю выпала пріятная обязанность помочь вамъ въ одномъ вашемъ полезномъ предпріятіи... Дѣло въ томъ, что, вернувшись изъ Петербурга, я нашелъ у себя на столѣ письмо отъ предводителя. Егоръ Дмитріевичъ предлагаетъ мнѣ взять подъ свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у васъ въ Синьковѣ. Я, батюшка, очень радъ, всей душой... Даже больше: я съ восторгомъ принимаю это предложеніе!

Кунинъ поднялся и заходилъ по кабинету.

— Конечно, и Егору Дмитріевичу и, вѣроятно, вамъ извѣстно, что большими средствами я не располагаю. Имѣніе мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непремѣннаго члена. Стало-быть, на большую помощь вы разсчитывать не можете, но что въ моихъ силахъ, то я все сдѣлаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

— Когда будутъ деньги...—отвѣтилъ отецъ Яковъ.

— Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

— Почти никакими-съ... Мужики постановили на сходѣ платить ежегодно по тридцати копеекъ съ каждой мужской души, но вѣдь это только обѣщаніе! А на первое обзаведеніе нужно, по крайней мѣрѣ, рублей двѣсти...

— М-да... Къ сожалѣнію, у меня теперь нѣтъ этой суммы... — вздохнулъ Кунинъ.—Въ поѣздкѣ я весь истратился и... задолжалъ даже. Давайте общими силами придумаемъ что-нибудь.

Кунинъ сталъ вслухъ придумывать. Онъ высказывалъ свои соображенія и слѣдилъ за лицомъ отца Якова, ища на немъ одобренія или согласія. Но лицо это было безстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кромѣ застѣнчивой робости и безпокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунинъ говорилъ о такихъ мудреныхъ вещахъ, которыхъ отецъ Яковъ не понималъ, слушалъ только изъ деликатности и притомъ боялся, чтобы его не уличили въ непониманіи.

«Малый, какъ видно, не изъ очень умныхъ...—думалъ Кунинъ.—Не въ мѣру робокъ и глуповатъ».

Нѣсколько оживился и даже улыбнулся отецъ Яковъ только тогда, когда въ кабинетъ вошелъ лакей и внесъ на подносѣ два стакана чаю и сухарницу съ крендельками. Онъ взялъ свой стаканъ и тотчасъ же принялся пить.

— Не написать ли намъ преосвященному?—продолжалъ соображать вслухъ Кунинъ.—Вѣдь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшія духовныя власти подняли вопросъ о церковно-приходскихъ школахъ. Онѣ должны, по-настоящему, и средства указать. Мнѣ помнится, я читалъ, что на этотъ счетъ даже была ассигнована сумма какая-то. Вамъ ничего неизвѣстно?

Отецъ Яковъ такъ погрузился въ чаепитіе, что не сразу отвѣтилъ на этотъ вопросъ. Онъ поднялъ на Кунина свои сѣро-голубые глаза, подумалъ и, точно вспомнивъ его вопросъ, отрицательно мотнулъ головой. По некрасивому лицу его отъ уха до уха разливалось выраженіе удовольствія и самаго обыденнаго, прозаическаго аппетита. Онъ пилъ и смаковалъ каждый глотокъ. Выпивъ все до послѣдней капли, онъ поставилъ свой стаканъ на столъ, потомъ взялъ назадъ этотъ стаканъ, оглядѣлъ его дно и опять поставилъ. Выраженіе удовольствія сползло съ лица... Далѣе Кунинъ видѣлъ, какъ его гость взялъ изъ сухарницы одинъ кренде-

лекъ, откусилъ отъ него кусочекъ, потомъ повертѣлъ въ рукахъ и быстро сунулъ его себѣ въ карманъ.

«Ну, ужъ это совсѣмъ не по-іерейски!—подумалъ Кунинъ, брезгливо пожимая плечами.—Что это, поповская жадность, или ребячество?»

Давъ гостю выпить еще одинъ стаканъ чаю и проводивъ его до передней, Кунинъ легъ на софу и весь отдался непріятному чувству, навѣянному на него посѣщеніемъ отца Якова.

«Какой странный, дикій человѣкъ!—думалъ онъ.—Грязенъ, неряха, грубъ, глупъ и, навѣрное, пьяница... Боже мой, и это священникъ, духовный отецъ! Это учитель народа! Воображаю, сколько ироніи должно быть въ голосѣ дьякона, возглашающаго ему передъ каждой обѣдней: «Благослови, владыко!» Хорошъ владыко! Владыко, не имѣющій ни капли достоинства, невоспитанный, прячущій сухари въ карманы, какъ школьникъ... Фи! Господи, въ какомъ мѣстѣ были глаза у архіерея, когда онъ посвящалъ этого человѣка? За кого они народъ считаютъ, если даютъ ему такихъ учителей? Тутъ нужны люди, которые...»

И Кунинъ задумался о томъ, кого должны изображать изъ себя русскіе священники...

«Будь, напримѣръ, я попомъ... Образованный и любящій свое дѣло попъ много можетъ сдѣлать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповѣдь? Если попъ искрененъ и вдохновленъ любовью къ своему дѣлу, то какія чудныя, зажигательныя проповѣди онъ можетъ говорить!»

Кунинъ закрылъ глаза и сталъ мысленно слагать проповѣдь. Немного погодя, онъ сидѣлъ за столомъ и быстро записывалъ.

«Дамъ тому рыжему, пусть прочтетъ въ церкви...»—думалъ онъ.

Въ ближайшее воскресенье, утромъ, Кунинъ ѣхалъ въ Синьково покончить съ вопросомъ о школѣ и кстати познакомиться съ церковью, прихожаниномъ которой онъ считался. Несмотря на распутицу, утро было великолѣпное. Солнце ярко свѣтило и рѣзало своими лучами кое-гдѣ бѣлѣвшіе пласты залежавшагося снѣга. Снѣгъ на прощаньи съ землей переливалъ такими алмазами, что больно было глядѣть, а около него спѣшила зеленѣть молодая озимь. Грачи солидно носились надъ землей. Летитъ грачъ, опу-

стится къ землѣ и, прежде чѣмъ стать прочно на ноги, нѣсколько разъ подпрыгнетъ...

Деревянная церковь, къ которой подъѣхалъ Кунинъ, была ветха и сѣра; колонки у паперти, когда-то выкрашенныя въ бѣлую краску, теперь совершенно облупились и походили на двѣ некрасивыя оглобли. Образъ надъ дверью глядѣлъ сплошнымъ, темнымъ пятномъ. Но эта бѣдность тронула и умилила Кунина. Скромно опустивъ глаза, онъ вошелъ въ церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, въ дугу согнувшійся дьячокъ глухимъ, неразборчивымъ теноромъ читалъ часы. Отецъ Яковъ, служившій безъ дьякона, ходилъ по церкви и кадилъ. Если бъ не смиреніе, какимъ проникся Кунинъ, входя въ нищую церковь, то при видѣ отца Якова онъ непремѣнно бы улыбнулся. На малоросломъ іереѣ была помятая и длинная-предлинная риза изъ какой-то потертой желтой матеріи. Нижній край ризы волочился по землѣ.

Церковь была не полна. Кунина, при взглядѣ на прихожанъ, поразило на первыхъ порахъ одно странное обстоятельство: онъ увидѣлъ только стариковъ и дѣтей... Гдѣ же рабочій возрастъ? Гдѣ юность и мужество? Но, постоявъ немного и вглядѣвшись попристальнѣй въ старческія лица, Кунинъ увидѣлъ, что молодыхъ онъ принялъ за старыхъ. Впрочемъ, этому маленькому оптическому обману онъ не придалъ особаго значенія.

Внутри церковь была такъ же ветха и сѣра, какъ и снаружи. На иконостасѣ и на бурыхъ стѣнахъ не было ни одного мѣстечка, котораго бы не закоптило и не исцарапало время. Оконъ было много, но общій колоритъ казался сѣрымъ, и поэтому въ церкви стояли сумерки.

«Кто чистъ душою, тому хорошо здѣсь молиться...—думалъ Кунинъ.—Какъ въ Римѣ у св. Петра поражаетъ величіе, такъ здѣсь трогаютъ эти смиреніе и простота».

Но молитвенное настроеніе его разсѣялось въ дымъ, когда отецъ Яковъ вошелъ въ алтарь и началъ обѣдню. По молодости лѣтъ, попавъ въ священники прямо съ семинарской скамьи, отецъ Яковъ не успѣлъ еще усвоить себѣ опредѣленную манеру служить. Читая, онъ какъ будто выбиралъ, на какомъ голосѣ ему остановиться, на высокомъ тенорѣ, или жидкомъ баскѣ; кланялся онъ неумѣло, ходилъ быстро, царскія врата открывалъ и закрывалъ по-

рывисто... Старый дьячокъ, очевидно больной и глухой, плохо слышалъ его возгласы, отчего не обходилось безъ маленькихъ недоразумѣній. Не успѣетъ отецъ Яковъ прочесть, что нужно, а ужъ дьячокъ поетъ свое, или же отецъ Яковъ давно уже кончилъ, а старикъ тянется ухомъ въ сторону алтаря, прислушивается и молчитъ, пока его не дернутъ за полу. У старика былъ глухой, болѣзненный голосъ, съ одышкой, дрожащій и шепелявый... Въ довершеніе неблаголѣпія, дьячку подтягивалъ очень маленькій мальчикъ, голова котораго едва виднѣлась изъ-за перилы клироса. Мальчикъ пѣлъ высокимъ визгливымъ дискантомъ и словно старался не попадать въ тонъ. Кунинъ постоялъ немного, послушалъ и вышелъ покурить. Онъ былъ уже разочарованъ и почти съ непріязнью глядѣлъ на сѣрую церковь.

— Жалуются на паденіе въ народѣ религіознаго чувства... — вздохнулъ онъ. — Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда такихъ поповъ!

Раза три потомъ входилъ Кунинъ въ церковь, и всякій разъ его сильно потягивало вонъ на свѣжій воздухъ. Дождавшись конца обѣдни, онъ отправился къ отцу Якову. Домъ священника снаружи ничѣмъ не отличался отъ крестьянскихъ избъ, только солома на крышѣ лежала ровнѣе, да на окнахъ бѣлѣли занавѣсочки. Отецъ Яковъ ввелъ Кунина въ маленькую, свѣтлую комнату съ глинянымъ поломъ и со стѣнами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какія потуги къ роскоши, въ родѣ фотографій въ рамочкахъ да часовъ съ прицѣпленными къ гирь[illegible] ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядѣ[illegible] на мебель, можно было подумать, что отецъ Яковъ ходилъ по дворамъ и собиралъ ее по частямъ: въ одномъ мѣстѣ дали ему круглый столъ на трехъ ногахъ, въ другомъ — табуретъ, въ третьемъ — стулъ съ сильно загнутой назадъ спинкой, въ четвертомъ — стулъ съ прямой спинкой, но съ вдавленнымъ сидѣньемъ, а въ пятомъ — расщедрились и дали какое-то подобіе дивана съ плоской спинкой и съ рѣшетчатымъ сидѣньемъ. Это подобіе было выкрашено въ темно-красный цвѣтъ и сильно пахло краской. Кунинъ сначала хотѣлъ сѣсть на одинъ изъ стульевъ, но подумалъ и сѣлъ на табуретъ.

— *Вы это* первый разъ въ нашемъ храмѣ? — спросилъ

отецъ Яковъ, вѣшая свою шляпу на большой уродливый гвоздикъ.

— Да, въ первый. Вотъ что, батюшка... Прежде чѣмъ мы приступимъ къ дѣлу, угостите меня чаемъ, а то у меня вся душа высохла.

Отецъ Яковъ заморгалъ глазами, крякнулъ и пошелъ за перегородку. Послышалось шушуканье...

«Должно-быть, съ попадьей...—подумалъ Кунинъ.—Интересно бы поглядѣть, какая у этого рыжаго попадья...»

Немного погодя, отецъ Яковъ вышелъ изъ-за перегородки красный, потный и, силясь улыбнуться, сѣлъ противъ Кунина на край дивана.

— Сейчасъ поставятъ самоваръ,—сказалъ онъ, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! — ужаснулся про себя Кунинъ.—Изволь теперь ждать!»

— Я вамъ привезъ, — сказалъ онъ: — черновое письмо, которое я написалъ архіерею. Прочту послѣ чая... Можетъ-быть, вы найдете что-нибудь добавить...

— Хорошо-съ.

Наступило молчаніе. Отецъ Яковъ пугливо покосился на перегородку, поправилъ волосы и высморкался.

— Погода чудесная-съ...—сказалъ онъ.

— Да. Между прочимъ, интересную я вещь прочелъ вчера... Вольское земство постановило передать всѣ свои школы духовенству. Это характерно.

Кунинъ поднялся, зашагалъ по глиняному полу и началъ высказывать свои соображенія.

— Это ничего,—говорилъ онъ:—лишь бы только духовенство стояло на высотѣ своего призванія и ясно сознавало свои задачи. Къ моему несчастью, я знаю священниковъ, которые, по своему развитію и нравственнымъ качествамъ, не годятся въ военные писаря, а не то что въ священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесетъ школѣ гораздо меньше вреда, чѣмъ плохой священникъ.

Кунинъ взглянулъ на отца Якова. Тотъ сидѣлъ согнувшись, о чемъ-то усердно думалъ и, повидимому, не слушалъ гостя.

— Яша, поди-ка сюда! — послышался женскій голосъ изъ-за перегородки.

Отецъ Яковъ встрепенулся и пошелъ за перегородку. Опять началось шушуканье.

Кунина защемила тоска по чаю.

«Нѣтъ, не дождусь я тутъ чаю! — подумалъ онъ, глядя на часы. — Да кажется, тутъ я не совсѣмъ желанный гость. Хозяинъ не соблаговолилъ со мной и одного слова сказать, а только сидитъ да глазами хлопаетъ».

Кунинъ взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился съ нимъ.

— Даромъ только утро пропало! — злился онъ дорогой. — Бревно! Пень! Школой онъ такъ же интересуется, какъ я прошлогоднимъ снѣгомъ. Нѣтъ, не сварю я съ нимъ каши! Ничего у насъ съ нимъ не выйдетъ! Если бы предводитель зналъ, какой здѣсь попъ, то не спѣшилъ бы хлопотать о школѣ. Надо сперва о хорошемъ попѣ позаботиться, а потомъ ужъ о школѣ!

Кунинъ теперь почти ненавидѣлъ отца Якова. Этотъ человѣкъ, его жалкая, карикатурная фигура, въ длинной, помятой ризѣ, его бабье лицо, манера служить, образъ жизни и канцелярская, застѣнчивая почтительность оскорбляли тотъ небольшой кусочекъ религіознаго чувства, который оставался еще въ груди Кунина и тихо теплился на ряду съ другими нянюшкиными сказками. А холодность и невниманіе, съ которыми онъ встрѣтилъ искреннее, горячее участіе Кунина въ его же собственномъ дѣлѣ, было трудно вынести самолюбію...

Вечеромъ того же дня Кунинъ долго ходилъ по комнатамъ и думалъ, потомъ рѣшительно сѣлъ за столъ и написалъ архіерею письмо. Попросивъ денегъ для школы и благословенія, онъ, между прочимъ, искренно, по-сыновьи, изложилъ свое мнѣніе о синьковскомъ священникѣ. «Онъ молодъ, — написалъ онъ: — недостаточно развитъ, кажется, ведетъ нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, которыя вѣками сложились у русскаго народа по отношенію къ его пастырямъ». Написавъ это письмо, Кунинъ легко вздохнулъ и легъ спать съ сознаніемъ, что онъ сдѣлалъ доброе дѣло.

Въ понедѣльникъ утромъ, когда онъ еще лежалъ въ постели, ему доложили о приходѣ отца Якова. Вставать ему не хотѣлось, и онъ велѣлъ сказать, что его нѣтъ дома. Во вторникъ уѣхалъ онъ на съѣздъ и, вернувшись въ субботу,

узналъ отъ прислуги, что безъ него ежедневно приходилъ отецъ Яковъ.

«Какъ, однако, ему мои крендельки понравились!» — подумалъ Кунинъ.

Въ воскресенье, передъ вечеромъ, пришелъ отецъ Яковъ. На этотъ разъ не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Какъ и въ первое свое посѣщеніе, онъ былъ красенъ и потенъ, сѣлъ, какъ и тогда, на краешекъ кресла. Кунинъ порѣшилъ не начинать разговора о школѣ, не метать бисера.

— Я вамъ, Павелъ Михайловичъ, списочекъ учебныхъ пособій принесъ... — началъ отецъ Яковъ.

— Благодарю.

Но по всему видно было, что отецъ Яковъ не изъ-за списочка пришелъ. Вся его фигура выражала сильное смущеніе, но въ то же время на лицѣ была написана рѣшимость, какъ у человѣка, внезапно озареннаго идеей. Онъ порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же онъ молчитъ? — злился Кунинъ. — Разсѣлся тутъ! Мнѣ вѣдь некогда возиться съ нимъ!»

Чтобы хоть чѣмъ-нибудь сгладить неловкость своего молчанія и скрыть борьбу, происходившую въ немъ, священникъ началъ принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь потъ и краску лица, не вязавшаяся съ неподвижнымъ взглядомъ сѣро-голубыхъ глазъ, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

— Извините, батюшка, мнѣ нужно ѣхать...—сказалъ онъ.

Отецъ Яковъ встрепенулся, какъ сонный человѣкъ, котораго ударили, и, не переставая улыбаться, началъ въ смущеніи запахивать полы своей рясы. При всемъ отвращеніи къ этому человѣку, Кунину вдругъ стало жаль его, и онъ захотѣлъ смягчить свою жестокость.

— Прошу, батюшка, въ другой разъ... — сказалъ онъ: — а на прощаньи у меня къ вамъ будетъ просьба... Тутъ какъ-то я вдохновился, знаете, и написалъ двѣ проповѣди... Отдаю на ваше разсмотрѣніе... Коли сгодятся, прочтите.

— Хорошо-съ... — сказалъ отецъ Яковъ, покрывая ладонью лежавшія на столѣ проповѣди Кунина.—Я возьму-съ...

Постоявъ немного, помявшись и все еще запахивая ряску,

онъ вдругъ пересталъ принужденно улыбаться и рѣшительно поднялъ голову.

— Павелъ Михайловичъ, — сказалъ онъ, видимо стараясь говорить громко и явственно.

— Что прикажете?

— Я слышалъ, что вы изволили тово... разсчитать своего писаря и... и ищете теперь новаго...

— Да... А вы имѣете порекомендовать кого-нибудь?

— Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мнѣ?

— Да развѣ вы бросаете священство? — изумился Кунинъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — быстро проговорилъ отецъ Яковъ, почему-то блѣднѣя и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Боже меня сохрани! Ежели сомнѣваетесь, то не нужно, не нужно. Я вѣдь это какъ бы между дѣломъ... чтобъ дивиденды свои увеличить... Не нужно, не безпокойтесь!

— Гм... дивиденды... Но вѣдь я плачу писарю только двадцать рублей въ мѣсяцъ!

— Господи, да я и десять взялъ бы! — прошепталъ отецъ Яковъ, оглядываясь. — И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и всѣ изумляются. Жадный попъ, алчный, куда онъ деньги дѣваетъ? Я и самъ это чувствую, что жадный... и казню себя, осуждаю... людямъ въ глаза глядѣть совѣстно... Вамъ, Павелъ Михайловичъ, я по совѣсти... привожу истиннаго Бога въ свидѣтели...

Отецъ Яковъ перевелъ духъ и продолжалъ

— Приготовилъ я вамъ дорогой цѣлую исповѣдь, но... все забылъ, не подберу теперь словъ. Я получаю въ годъ съ прихода сто пятьдесятъ рублей, и всѣ... удивляются, куда я эти деньги дѣваю... Но я вамъ все по совѣсти объясню... Сорокъ рублей въ годъ я за брата Петра въ духовное училище взношу. Онъ тамъ на всемъ готовомъ, но бумага и перья мои...

— Ахъ, вѣрю, вѣрю! Ну, къ чему все это? — замахалъ рукой Кунинъ, чувствуя страшную тяжесть отъ этой откровенности гостя и не зная, куда дѣваться отъ слезливаго блеска его глазъ.

— Потомъ-съ, я еще въ консисторію за мѣсто свое не все еще выплатилъ. За мѣсто съ меня двѣсти рублей положили, чтобъ я по десяти въ мѣсяцъ выплачивалъ... Судите

же теперь, что остается? А вѣдь, кромѣ того, я долженъ выдавать отцу Авраамію, по крайней мѣрѣ, хоть по три рубля въ мѣсяцъ!

— Какому отцу Авраамію?

— Отцу Авраамію, что до меня въ Синьковѣ священникомъ былъ. Его лишили мѣста за... слабость, а вѣдь онъ въ Синьковѣ и теперь живетъ! Куда ему дѣваться? Кто его кормить станетъ? Хоть онъ и старъ, но вѣдь ему и уголъ, и хлѣба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтобъ онъ, при своемъ санѣ, пошелъ милостыню просить! Мнѣ вѣдь грѣхъ будетъ, ежели что! Мнѣ грѣхъ! Онъ... всѣмъ задолжалъ, а вѣдь мнѣ грѣхъ, что я за него не плачу.

Отецъ Яковъ рванулся съ мѣста и, безумно глядя на полъ, зашагалъ изъ угла въ уголъ.

— Боже мой! Боже мой! — забормоталъ онъ, то поднимая руки, то опуская. — Спаси насъ, Господи, и помилуй! И зачѣмъ было такой санъ на себя принимать, ежели ты маловѣръ и силъ у тебя нѣтъ? Нѣтъ конца моему отчаянію! Спаси, Царица Небесная.

— Успокойтесь, батюшка! — сказалъ Кунинъ.

— Замучилъ голодъ, Павелъ Михайловичъ! — продолжалъ отецъ Яковъ. — Извините великодушно, но нѣтъ уже силъ моихъ... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякій поможетъ, но... не могу! Совѣстно мнѣ! Какъ я стану у мужиковъ просить? Вы служите тутъ и сами видите... Какая рука подымется просить у нищаго? А просить у кого побогаче, у помѣщиковъ, не могу! Гордость! Совѣстно!

Отецъ Яковъ махнулъ рукой и нервно зачесалъ обѣими руками голову.

— Совѣстно! Боже, какъ совѣстно! Не могу, гордецъ, чтобъ люди мою бѣдность видѣли! Когда вы меня посѣтили, то вѣдь чаю вовсе не было, Павелъ Михайловичъ! Ни соринки его не было, а вѣдь открыться передъ вами гордость помѣшала! Стыжусь своей одежды, вотъ этихъ латокъ... ризъ своихъ стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отецъ Яковъ остановился посреди кабинета и, словно не замѣчая присутствія Кунина, сталъ разсуждать съ самимъ собой.

— Ну, положимъ, я снесу и голодъ, и срамъ, но вѣдь у меня, Господи, еще попадья есть! Вѣдь я ее изъ хоро-

шаго дома взялъ! Она бѣлоручка и нѣжная, привыкла и къ чаю, и къ бѣлой булкѣ, и къ простынямъ... Она у родителей на фортепьянахъ играла... Молодая, еще и двадцати лѣтъ нѣтъ... Хочется, небось, и нарядиться, и пошалить, и въ гости съѣздить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, Боже мой! Только и утѣхи у нея, что принесу изъ гостей яблочекъ, или какой кренделечекъ...

Отецъ Яковъ опять обѣими руками зачесалъ голову.

— И выходитъ у насъ не любовь, а жалость... Не могу видѣть ее безъ состраданія! И что оно такое, Господи, дѣлается на свѣтѣ. Такое дѣлается, что если въ газеты написать, то не повѣрятъ люди... И когда всему этому конецъ будетъ!

— Полноте, батюшка! — почти крикнулъ Кунинъ, пугаясь его тона. — Зачѣмъ такъ мрачно смотрѣть на жизнь?

— Извините, великодушно, Павелъ Михайловичъ... — забормоталъ отецъ Яковъ, какъ пьяный. — Извините, все это... пустое, и вы не обращайте вниманія... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отецъ Яковъ оглянулся и зашепталъ:

— Какъ-то рано утромъ иду я изъ Синькова въ Лучково; гляжу, а на берегу стоитъ какая-то женщина и что-то дѣлаетъ... Подхожу ближе и глазамъ своимъ не вѣрю... Ужасъ! Сидитъ жена доктора, Ивана Сергѣича, и бѣлье полощетъ... Докторша, въ институтѣ кончила! Значитъ, чтобъ люди не видѣли, норовила пораньше встать и за версту отъ деревни уйти... Неодолимая гордость! Какъ увидала, что я около нея и бѣдность ея замѣтилъ, покраснѣла вся... Я оторопѣлъ, испугался, подбѣжалъ къ ней, хочу помочь ей, а она бѣлье отъ меня прячетъ, боится, чтобъ я ея рваныхъ сорочекъ не увидѣлъ...

— Все это какъ-то даже невѣроятно... — сказалъ Кунинъ, садясь и почти съ ужасомъ глядя на блѣдное лицо отца Якова.

— Именно, невѣроятно! Никогда, Павелъ Михайловичъ, этого не было, чтобъ докторши на рѣкѣ бѣлье полоскали! Ни въ какихъ странахъ этого нѣтъ! Мнѣ бы, какъ пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сдѣлать? Что? Самъ же еще норовлю у ея мужа даромъ лѣчиться! Вѣрно вы изволили опредѣлить, что

все это невѣроятно! Глазамъ не вѣрится! Во время обѣдни, знаете, выглянешь изъ алтаря, да какъ увидишь свою публику, голоднаго Авраамія и попадью, да какъ вспомнишь про докторшу, какъ у нея отъ холодной воды руки посинѣли, то, вѣрите ли, забудешься и стоишь, какъ дуракъ, въ безчувствіи, пока пономарь не окликнетъ... Ужасъ!

Отецъ Яковъ опять заходилъ.

— Господи Іисусе! — замахалъ онъ руками. — Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вотъ про школу мнѣ говорите, а я, какъ истуканъ, ничего не понимаю и только объ ѣдѣ думаю... Даже передъ престоломъ... Впрочемъ... что же это я? — спохватился отецъ Яковъ. — Вамъ уѣзжать нужно. Простите-съ, я вѣдь это такъ... извините...

Кунинъ, молча, пожалъ руку отца Якова, проводилъ его до передней и, вернувшись въ свой кабинетъ, остановился передъ окномъ. Онъ видѣлъ, какъ отецъ Яковъ вышелъ изъ дому, нахлобучилъ на голову свою широкополую, ржавую шляпу и тихо, понуривъ голову, точно стыдясь своей откровенности, пошелъ по дорогѣ.

«А его лошади не видно», — подумалъ Кунинъ.

Помыслить, что священникъ всѣ эти дни ходилъ къ нему пѣшкомъ, — Кунинъ боялся: до Синькова было семь-восемь верстъ, а грязь на дорогѣ стояла невылазная. Далѣе Кунинъ видѣлъ, какъ кучеръ Андрей и мальчикъ Парамонъ, прыгая черезъ лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбѣжали къ нему подъ благословеніе. Отецъ Яковъ снялъ шляпу и медленно благословилъ Андрея, потомъ благословилъ и погладилъ по головѣ мальчика.

Кунинъ провелъ рукой по глазамъ, и ему показалось, что рука его отъ этого стала мокрой. Онъ отошелъ отъ окна и мутными глазами обвелъ комнату, въ которой ему еще слышался робкій, придушенный голосъ... Онъ взглянулъ на столъ... Къ счастью, отецъ Яковъ забылъ второпяхъ взять съ собой его проповѣди... Кунинъ подскочилъ къ нимъ, изорвалъ ихъ въ клочки и съ отвращеніемъ швырнулъ подъ столъ.

— И я не зналъ! — простоналъ онъ, падая на софу. — Я, который уже болѣе года служу здѣсь непремѣннымъ членомъ, почетнымъ мировымъ судьей, членомъ училищнаго совѣта! Слѣпая кукла, фатъ! Скорѣй къ нимъ на помощь! Скорѣй!

Онъ мучительно ворочался, стискивалъ виски и напрягалъ свой умъ.

— Получу 20-го числа жалованья 200 рублей... Подъ благовиднымъ предлогомъ суну и ему, и докторшѣ... Его позову молебенъ служить, а для доктора фиктивно заболѣю... Такимъ образомъ, не оскорблю ихъ гордости. И Авраамію помогу...

Онъ разсчитывалъ по пальцамъ свои деньги и боялся себѣ сознаться, что этихъ двухсотъ рублей едва хватитъ ему, чтобы заплатить управляющему, прислугѣ, тому мужику, который привозитъ мясо... Поневолѣ пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилѣтнимъ молокососомъ, онъ дарилъ проституткамъ дорогіе вѣера, платилъ извозчику Кузьмѣ по десяти рублей въ день, подносилъ изъ тщеславія актрисамъ подарки. Ахъ, какъ бы пригодились теперь всѣ эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки!

«Отецъ Авраамій проѣдаетъ въ мѣсяцъ только три рубля, думалъ Кунинъ. За рубль попадья можетъ себѣ сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тутъ вдругъ Кунинъ вспомнилъ доносъ, который написалъ онъ архіерею, и его всего скорчило, какъ отъ невзначай налетѣвшаго холода. Это воспоминаніе наполнило всю его душу чувствомъ гнетущаго стыда передъ самимъ собой и передъ невидимой правдой...

Такъ началась и завершилась искренняя потуга къ полезной дѣятельности одного изъ благонамѣренныхъ, но чересчуръ сытыхъ и не разсуждающихъ людей.

СВЯТОЮ НОЧЬЮ.

Я стоялъ на берегу Голтвы и ждалъ съ того берега парома. Въ обыкновенное время Голтва представляетъ изъ себя рѣчонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую изъ-за густыхъ камышей, теперь же предо мной разстилалось цѣлое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захвативъ огороды, сѣнокосы и болота, такъ что на водной поверхности не рѣдкость было встрѣтить одиноко торчащіе тополи и кусты, похожіе въ потемкахъ на суровые утесы.

Погода казалась мнѣ великолѣпной. Было темно, но я все-таки видѣлъ и деревья, и воду, и людей... Міръ освѣщался звѣздами, которыя всплошную усыпали все небо. Не помню, когда въ другое время я видѣлъ столько звѣздъ. Буквально некуда было пальцемъ ткнуть. Тутъ были крупныя, какъ гусиное яйцо, и мелкія, съ конопляное зерно... Ради праздничнаго парада вышли онѣ на небо всѣ до одной, отъ мала до велика, умытыя, обновленныя, радостныя, и всѣ до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось въ водѣ; звѣзды купались въ темной глубинѣ и дрожали вмѣстѣ съ легкой зыбью. Въ воздухѣ было тепло и тихо... Далеко, на томъ берегу, въ непроглядной тьмѣ, горѣло въ разсыпную нѣсколько ярко-красныхъ огней...

Въ двухъ шагахъ отъ меня темнѣлъ силуэтъ мужика въ высокой шляпѣ и съ толстой, суковатой палкой.

— Какъ, однако, долго нѣтъ парома!—сказалъ я.

— А пора ему быть,—отвѣтилъ мнѣ силуэтъ.

— Ты тоже дожидаешься парома?

— Нѣтъ, я такъ... — зѣвнулъ мужикъ: — люминаціи дожидаюсь. Поѣхалъ бы, да, признаться, пятачка на паромъ нѣтъ.

— Я тебѣ дамъ пятачокъ.

— Нѣтъ, благодаримъ покорно... Ужо на этотъ пятачокъ ты за меня тамъ въ монастырѣ свѣчку поставь... Этакъ любопытнѣй будетъ, а я и тутъ постою. Скажи на милость, нѣтъ парома! Словно въ воду канулъ!

Мужикъ подошелъ къ самой водѣ, взялся рукой за канатъ и закричалъ:

— Іеронимъ! Іерон-и-имъ!

Точно въ отвѣтъ на его крикъ, съ того берега донесся протяжный звонъ большого колокола. Звонъ былъ густой, низкій, какъ отъ самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипѣли сами потемки. Тотчасъ же послышался выстрѣлъ изъ пушки. Онъ прокатился въ темнотѣ и кончился гдѣ-то далеко за моей спиной. Мужикъ снялъ шляпу и перекрестился.

— Христосъ воскресъ!—сказалъ онъ.

Не успѣли застыть въ воздухѣ волны отъ перваго удара колокола, какъ послышался другой, за нимъ тотчасъ же третій, и потемки наполнились непрерывнымъ, дрожащимъ гуломъ. Около красныхъ огней загорѣлись новые огни и всѣ вмѣстѣ задвигались, безпокойно замелькали.

— Іерон-и-мъ!—послышался глухой, протяжный крикъ.

— Съ того берега кричатъ,—сказалъ мужикъ.—Значитъ, и тамъ нѣтъ парома. Заснулъ нашъ Іеронимъ.

Огни и бархатный звонъ колокола манили къ себѣ... Я ужъ началъ терять терпѣніе и волноваться, но вотъ, наконецъ, вглядываясь въ темную даль, я увидѣлъ силуэтъ чего-то, очень похожаго на висѣлицу. Это былъ давно жданный паромъ. Онъ подвигался съ такою медленностью, что если бъ не постепенная обрисовка его контуровъ, то можно было бы подумать, что онъ стоитъ на одномъ мѣстѣ, или же идетъ къ тому берегу.

— Скорѣй! Іеронимъ!—крикнулъ мой мужикъ.—Баринъ дожидается!

Паромъ подползъ къ берегу, покачнулся и со скрипомъ остановился. На немъ, держась за канатъ, стоялъ высокій человѣкъ въ монашеской рясѣ и въ конической шапочкѣ.

— Отчего такъ долго? — спросилъ я, вскакивая на паромъ.

— Простите Христа ради,—отвѣтилъ тихо Іеронимъ.— Больше никого нѣтъ?

— Никого...

Іеронимъ взялся обѣими руками за канатъ, изогнулся въ вопросительный знакъ и крякнулъ. Паромъ скрипнулъ и покачнулся. Силуэтъ мужика въ высокой шляпѣ сталъ медленно удаляться отъ меня,—значитъ, паромъ поплылъ. Іеронимъ скоро выпрямился и сталъ работать одной рукой. Мы молчали и глядѣли на берегъ, къ которому плыли. Тамъ уже началась «люминація», которой дожидался мужикъ. У самой воды, громадными кострами пылали смоляныя бочки. Отраженія ихъ, багровыя, какъ восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли къ намъ навстрѣчу. Горящія бочки освѣщали свой собственный дымъ и длинныя человѣческія тѣни, мелькавшія около огня; но далѣе въ стороны и позади нихъ, откуда несся бархатный звонъ, была все та же безпросвѣтная, черная мгла. Вдругъ, разсѣкая потемки, золотой лентой взвилась къ небу ракета: она описала дугу и, точно разбившись о небо, съ трескомъ разсыпалась въ искры. Съ берега послышался гулъ, похожій на отдаленное ура.

— Какъ красиво!—сказалъ я.

— И сказать нельзя, какъ красиво! — вздохнулъ Іеронимъ.—Ночь такая, господинъ! Въ другое время и вниманія не обратишь на ракеты, а нынче всякой суетѣ радуешься. Вы сами откуда будете?

Я сказалъ, откуда я.

— Такъ-съ... радостный день нынче...—продолжалъ Іеронимъ слабымъ, вздыхающимъ теноркомъ, какимъ говорятъ выздоравливающіе больные.—Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднуетъ вся тварь. Только скажите мнѣ, господинъ хорошій, отчего это даже и при великой радости человѣкъ не можетъ скорбей своихъ забыть?

Мнѣ показалось, что этотъ неожиданный вопросъ вызывалъ меня на одинъ изъ тѣхъ «продолинновенныхъ», душеспасительныхъ разговоровъ, которые такъ любятъ праздные и скучающіе монахи. Я не былъ расположенъ много говорить, а потому только спросилъ:

— А какія, батюшка, у васъ скорби?

— Обыкновенно, какъ и у всѣхъ людей, ваше благородіе, господинъ хорошій, но въ нынѣшній день случилась въ монастырѣ особая скорбь: въ самую обѣдню, во время паремій, умеръ іеродьяконъ Николай...

— Что жъ, это Божья воля!—сказалъ я, поддѣлываясь подъ монашескій тонъ.—Всѣмъ умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорятъ, что кто умретъ подъ Пасху, или на Пасху, тотъ непремѣнно попадетъ въ царство небесное.

— Это вѣрно.

Мы замолчали. Силуэтъ мужика въ высокой шляпѣ слился съ очертаніями берега. Смоляныя бочки разгорались все болѣе и болѣе.

— И писаніе ясно указываетъ на суету скорби, и размышленіе, — прервалъ молчаніе Іеронимъ: — но отчего же душа скорбитъ и не хочетъ слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Іеронимъ пожалъ плечами, повернулся ко мнѣ и заговорилъ быстро:

— Умри я, или кто другой, оно бы, можетъ, и не замѣтно было, но вѣдь Николай умеръ! Никто другой, а Николай! Даже повѣрить трудно, что его ужъ нѣтъ на свѣтѣ! Стою я тутъ на паромѣ и все мнѣ кажется, что сейчасъ онъ съ берега голосъ свой подастъ. Чтобы мнѣ на паромѣ страшно не казалось, онъ всегда приходилъ на берегъ и окликалъ меня. Нарочито для этого ночью съ постели вставалъ. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человѣка и матери такой нѣтъ, какимъ у меня былъ этотъ Николай! Спаси, Господи, его душу!

Іеронимъ взялся за канатъ, но тотчасъ же опять повернулся ко мнѣ.

— Ваше благородіе, а умъ какой свѣтлый!—сказалъ онъ пѣвучимъ голосомъ.—Какой языкъ благозвучный и сладкій! Именно, какъ вотъ сейчасъ будутъ пѣть въ заутрени: «О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!» Кромѣ всѣхъ прочихъ человѣческихъ качествъ, въ немъ былъ еще и даръ необычайный!

— Какой даръ?—спросилъ я.

Монахъ оглядѣлъ меня и, точно убѣдившись, что мнѣ можно ввѣрять тайны, весело засмѣялся.

— У него былъ даръ акаѳисты писать...—сказалъ онъ.—

Чудо, господинъ, да и только! Вы изумитесь, ежели я вамъ объясню! Отецъ архимандритъ у насъ изъ московскихъ, отецъ намѣстникъ въ казанской академіи кончилъ, есть у насъ и іеромонахи разумные, и старцы, но вѣдь, скажи пожалуйста, ни одного такого нѣтъ, чтобы писать умѣлъ, а Николай, простой монахъ, іеродьяконъ, нигдѣ не обучался и даже видимости наружной не имѣлъ, а писалъ! Чудо! Истинно чудо!

Іеронимъ всплеснулъ руками и, совсѣмъ забывъ про канатъ, продолжалъ съ увлеченіемъ:

— Отецъ намѣстникъ затрудняется проповѣди составлять; когда исторію монастыря писалъ, то всю братію загонялъ и разъ десять въ городъ ѣздилъ, а Николай акаѳисты писалъ! Акаѳисты! Это не то что проповѣдь, или исторія!

— А развѣ акаѳисты трудно писать?—спросилъ я.

— Большая трудность...—покрутилъ головой Іеронимъ.— Тутъ и мудростью, и святостью ничего не подѣлаешь, ежели Богъ дара не далъ. Монахи, которые не понимающіе, разсуждаютъ, что для этого нужно только знать житіе святого, которому пишешь, да съ прочими акаѳистами соображаться. Но это, господинъ, неправильно. Оно, конечно, кто пишетъ акаѳистъ, тотъ долженъ знать житіе до чрезвычайности, до послѣдней самомалѣйшей точки. Ну, и соображаться съ прочими акаѳистами нужно, какъ гдѣ начать и о чемъ писать. Къ примѣру сказать вамъ, первый кондакъ вездѣ начинается съ «возбранный» или «избранный»... Первый икосъ завсегда надо начинать съ ангела. Въ акаѳистѣ къ Іисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, онъ начинается такъ: «Ангеловъ творче и Господи силъ», въ акаѳистѣ къ Пресвятой Богородицѣ: «Ангелъ предстатель съ небесе посланъ бысть», къ Николаю Чудотворцу: «Ангела образомъ, земнаго суща естествомъ» и прочее. Вездѣ съ ангела начинается. Конечно, безъ того нельзя, чтобы не соображаться, но главное вѣдь не въ житіи, не въ соотвѣтствіи съ прочимъ, а въ красотѣ и сладости. Нужно, чтобъ все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобъ въ каждой строчечкѣ была мягкость, ласковость и нѣжность, чтобъ ни одного слова не было грубаго, жесткаго, или несоотвѣтствующаго. Такъ надо писать, чтобъ молящійся сердцемъ радовался и плакалъ, а умомъ содрогался и въ трепетъ приходилъ. Въ Богородичномъ акаѳистѣ есть слова: «Радуйся,

высото неудобовосходимая человѣческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскими очима!» Въ другомъ мѣстѣ того же акаѳиста сказано: «Радуйся, древо свѣтлоплодовитое, отъ него же питаются вѣрніи, радуйся, древо благосѣннолиственное, имъ же покрываются мнози!»

Іеронимъ, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрылъ ладонями лицо и покачалъ головой.

— Древо свѣтлоплодовитое... древо благосѣннолиственное...—пробормоталъ онъ.—Найдетъ же такія слова! Дастъ же Господь такую способность! Для краткости много словъ и мыслей пригонитъ въ одно слово и какъ это у него все выходитъ плавно и обстоятельно! «Свѣтоподательна свѣтильника сущимъ»...— сказано въ акаѳистѣ къ Іисусу Сладчайшему. Свѣтоподательна! Слова такого нѣтъ ни въ разговорѣ, ни въ книгахъ, а вѣдь придумалъ же его, нашелъ въ умѣ своемъ! Кромѣ плавности и велерѣчія, сударь, нужно еще, чтобъ каждая строчечка изукрашена была всячески, чтобъ тутъ и цвѣты были, и молнія, и вѣтеръ, и солнце, и всѣ предметы міра видимаго. И всякое восклицаніе нужно такъ составить, чтобъ оно было гладенько и для уха вольготнѣй. «Радуйся, крине райскаго прозябенія!»—сказано въ акаѳистѣ Николаю Чудотворцу. Не сказано просто: «крине райскій», а «крине райскаго прозябенія!» Такъ глаже и для уха сладко. Такъ именно и Николай писалъ! Точь-въ-точь такъ! И выразить вамъ не могу, какъ онъ писалъ!

— Да, въ такомъ случаѣ жаль, что онъ умеръ,—сказалъ я.—Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаемъ...

Іеронимъ спохватился и побѣжалъ къ канату. На берегу начали перезванивать во всѣ колокола. Вѣроятно, около монастыря происходилъ уже крестный ходъ, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

— Николай печаталъ свои акаѳисты? — спросилъ я Іеронима.

— Гдѣ жъ печатать?—вздохнулъ онъ. — Да и странно было бы печатать. Къ чему? Въ монастырѣ у насъ этимъ никто не интересуется. Не любятъ. Знали, что Николай пишетъ, но оставляли безъ вниманія. Нынче, сударь, новыя писанія никто не уважаетъ!

— Съ предубѣжденіемъ къ нимъ относятся?

— Точно такъ. Будь Николай старцемъ, то, пожалуй,

можетъ, братія и полюбопытствовала бы, а то вѣдь ему еще и сорока лѣтъ не было. Были, которые смѣялись и даже за грѣхъ почитали его писаніе.

— Для чего же онъ писалъ?

— Такъ, больше для своего утѣшенія. Изъ всей братіи только я одинъ и читалъ его акаѳисты. Приду къ нему потихоньку, чтобъ прочіе не видѣли, а онъ и радъ, что я интересуюсь. Обнимаетъ меня, по головѣ гладитъ, ласковыми словами обзываетъ, какъ дитя мальнькаго. Затворитъ келью, посадитъ меня рядомъ съ собой и давай читать...

Іеронимъ оставилъ канатъ и подошелъ ко мнѣ.

— Мы въ родѣ какъ бы друзья съ нимъ были,—зашепталъ онъ, глядя на меня блестящими глазами.—Куда онъ, туда и я. Меня нѣтъ, онъ тоскуетъ. И любилъ онъ меня больше всѣхъ, а все за то, что я отъ его акаѳистовъ плакалъ. Вспоминать трогательно! Теперь я все равно какъ сирота, или вдовица. Знаете, у насъ въ монастырѣ народъ все хорошій, добрый, благочестивый, но... ни въ комъ нѣтъ мягкости и деликатности, все равно какъ люди простого званія. Говорятъ всѣ громко, когда ходятъ, ногами стучатъ, шумятъ, кашляютъ, а Николай говорилъ завсегда тихо, ласково, а ежели замѣтитъ, что кто спитъ, или молится, то пройдетъ мимо, какъ мушка, или комарикъ. Лицо у него было нѣжное, жалостное...

Іеронимъ глубоко вздохнулъ и взялся за канатъ. Мы уже приближались къ берегу. Прямо изъ потемокъ и рѣчной тишины мы постепенно вплывали въ заколдованное царство, полное удушливаго дыма, трещащаго свѣта и гама. Около смоляныхъ бочекъ, ужъ ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало ихъ краснымъ лицамъ и фигурамъ странное, почти фантастическое выраженіе. Изрѣдка среди головъ и лицъ мелькали лошадиныя морды, неподвижныя, точно вылитыя изъ красной мѣди.

— Сейчасъ запоютъ пасхальный канонъ...—сказалъ Іеронимъ, а Николая нѣтъ, некому вникать... Для него слаже и писанія не было, какъ этотъ канонъ. Въ каждое слово, бывало, вникалъ! Вы вотъ будете тамъ, господинъ, и вникните, что поется: духъ захватываетъ!

— А вы развѣ не будете въ церкви?

— Мнѣ нельзя-съ... Перевозить нужно...

— Но развѣ васъ не смѣнятъ?

— Не знаю... Меня еще въ девятомъ часу нужно было смѣнить, да вотъ, видите, не смѣняютъ! А, признаться, хотѣлось бы въ церковь...

— Вы монахъ?

— Да-съ... то-есть я послушникъ.

Паромъ врѣзался въ берегъ и остановился. Я сунулъ Іерониму пятачокъ за провозъ и прыгнулъ на сушу. Тотчасъ же телѣга съ мальчикомъ и со спящей бабой со скрипомъ въѣхала на паромъ. Іеронимъ, слабо окрашиваемый огнями, налегъ на канатъ, изогнулся и сдвинулъ съ мѣста паромъ...

Нѣсколько шаговъ я сдѣлалъ по грязи, но далѣе пришлось идти по мягкой, свѣже-протоптанной тропинкѣ. Эта тропинка вела къ темнымъ, похожимъ на впадину, монастырскимъ воротамъ сквозь облака дыма, сквозь безпорядочную толпу людей, распряженныхъ лошадей, телѣгъ, бричекъ. Все это скрипѣло, фыркало, смѣялось, и по всему мелькали багровый свѣтъ и волнистыя тѣни отъ дыма... Сущій хаосъ! И въ этой толкотнѣ находили еще мѣсто заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стѣны, въ оградѣ, происходила не меньшая суетня, но благочинія и порядка наблюдалось больше. Тутъ пахло можжевельникомъ и роснымъ ладаномъ. Говорили громко, но смѣха и фырканья не слышалось. Около могильныхъ памятниковъ и крестовъ жались другъ къ другу люди съ куличами и узлами. Повидимому, многіе изъ нихъ пріѣхали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугуннымъ плитамъ, которыя лежали полосой отъ воротъ до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бѣгали молодые послушники. На колокольнѣ тоже возились и кричали.

«Какая безпокойная ночь! — думалъ я. — Какъ хорошо!»

Безпокойство и безсонницу хотѣлось видѣть во всей природѣ, начиная съ ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, подъ которыми суетились люди. Но нигдѣ возбужденіе и безпокойство не сказывались такъ сильно, какъ въ церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива съ отливомъ. Одни входили, другіе выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуютъ съ мѣста на мѣсто, слоняются и какъ будто чего-то ищутъ. Волна идетъ отъ

входа и бѣжитъ по всей церкви, тревожа даже передніе ряды, гдѣ стоятъ люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитвѣ не можетъ быть и рѣчи. Молитвъ вовсе нѣтъ, а есть какая-то сплошная, дѣтски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться въ какомъ-нибудь движеніи, хотя бы въ безпардонномъ шатаніи и толкотнѣ.

Та же необычайная подвижность бросается въ глаза и въ самомъ пасхальномъ служеніи. Царскія врата во всѣхъ придѣлахъ открыты настежь, въ воздухѣ около паникадила плаваютъ густыя облака ладаннаго дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блескъ, трескъ свѣчей... Чтеній не полагается никакихъ; пѣніе суетливое и веселое не прерывается до самаго конца; послѣ каждой пѣсни въ канонѣ духовенство мѣняетъ ризы и выходитъ кадить, что повторяется почти каждыя десять минутъ.

Не успѣлъ я занять мѣсто, какъ спереди хлынула волна и отбросила меня назадъ. Передо мной прошелъ высокій, плотный дьяконъ съ длинной, красной свѣчой; за нимъ спѣшилъ съ кадиломъ сѣдой архимандритъ въ золотой митрѣ. Когда они скрылись изъ виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее мѣсто. Но не прошло и десяти минутъ, какъ хлынула новая волна, и опять показался дьяконъ. На этотъ разъ за нимъ шелъ отецъ-намѣстникъ, тотъ самый, который, по словамъ Іеронима, писалъ исторію монастыря.

Мнѣ, слившемуся съ толпой и заразившемуся всеобщимъ радостнымъ возбужденіемъ, было невыносимо больно за Іеронима. Отчего его не смѣнятъ? Почему бы не пойти на паромъ кому-нибудь менѣе чувствующему и менѣе впечатлительному?

«Возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь...—пѣли на клиросѣ: — се бо пріидоша къ тебѣ, яко богосвѣтлая свѣтила, отъ запада и сѣвера, и моря, и востока чада твоя»...

Я поглядѣлъ на лица. На всѣхъ было живое выраженіе торжества; но ни одинъ человѣкъ не вслушивался и не вникалъ въ то, что пѣлось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не смѣнятъ Іеронима? Я могъ себѣ представить этого Іеронима, смиренно стоящаго гдѣ-нибудь у стѣны, согнувшагося и жадно ловящаго красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоящихъ около меня людей, онъ жадно пилъ бы своей чуткой душой, упился бы до восторговъ, до захватыванія духа,

и не было бы во всемъ храмѣ человѣка счастливѣе его. Теперь же онъ плавалъ взадъ и впередъ по темной рѣкѣ и тосковалъ по своемъ умершемъ братѣ и другѣ.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающійся монахъ, играя четками и оглядываясь назадъ, бокомъ протискался около меня, пролагая путь какой-то дамѣ въ шляпкѣ и бархатной шубкѣ. Вслѣдъ за дамой, неся надъ нашими головами стулъ, торопился монастырскій служка.

Я вышелъ изъ церкви. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть мертваго Николая, безвѣстнаго сочинителя акаѳистовъ. Я прошелся около ограды, гдѣ вдоль стѣны тянулся рядъ монашескихъ келій, заглянулъ въ нѣсколько оконъ и, ничего не увидѣвъ, вернулся назадъ. Теперь я не сожалѣю, что не видѣлъ Николая; Богъ знаетъ, быть-можетъ, увидѣвъ его, я утратилъ бы образъ, который рисуетъ теперь мнѣ мое воображеніе. Этого симпатичнаго поэтическаго человѣка, выходившаго по ночамъ перекликаться съ Іеронимомъ и пересыпавшаго свои акаѳисты цвѣтами, звѣздами и лучами солнца, не понятаго и одинокаго, я представляю себѣ робкимъ, блѣднымъ, съ мягкими, кроткими и грустными чертами лица. Въ его глазахъ, рядомъ съ умомъ, должна свѣтиться ласка и та едва сдерживаемая, дѣтская восторженность, какая слышалась мнѣ въ голосѣ Іеронима, когда тотъ приводилъ мнѣ цитаты изъ акаѳистовъ.

Когда послѣ обѣдни мы вышли изъ церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звѣзды погасли, и небо представлялось сѣро-голубымъ, хмурымъ. Чугунныя плиты, памятники и почки на деревьяхъ были подернуты росой. Въ воздухѣ рѣзко чувствовалась свѣжесть. За оградой уже не было того оживленія, какое я видѣлъ ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а отъ смоляныхъ бочекъ оставались однѣ только кучки чернаго пепла. Когда человѣкъ утомленъ и хочетъ спать, то ему кажется, что то же самое состояніе переживаетъ и природа. Мнѣ казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не такъ громко и весело, какъ ночью. Безпокойство кончилось, и отъ возбужденія осталась одна только пріятная истома, жажда сна и тепла.

Теперь я могъ видѣть рѣку съ обоими берегами. Надъ ней холмами то тамъ, то сямъ носился легкій туманъ. Отъ

воды вѣяло холодомъ и суровостью. Когда я прыгнулъ на паромъ, на немъ уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчинъ и женщинъ. Канатъ, влажный и, какъ казалось мнѣ, сонный, далеко тянулся черезъ широкую рѣку и мѣстами исчезалъ въ бѣломъ туманѣ.

— Христосъ воскресъ! Больше никого нѣтъ?—спросилъ тихій голосъ.

Я узналъ голосъ Іеронима. Теперь ночныя потемки ужъ не мѣшали мнѣ разглядѣть монаха. Это былъ высокій, узкоплечій человѣкъ, лѣтъ 35, съ крупными округлыми чертами лица, съ полузакрытыми, лѣниво глядящими глазами и съ нечесаной клиновидной бородкой. Видъ у него былъ необыкновенно грустный и утомленный.

— Васъ еще не смѣнили?—удивился я.

— Меня-съ? — переспросилъ онъ, поворачивая ко мнѣ свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. — Теперь ужъ некому смѣнять до самаго утра. Всѣ къ отцу архимандриту сейчасъ разговляться пойдутъ-съ.

Онъ да еще какой-то мужичокъ въ шапкѣ изъ рыжаго мѣха, похожей на липовки, въ которыхъ продаютъ медъ, поналегли на канатъ, дружно крякнули, и паромъ тронулся съ мѣста.

Мы поплыли, безпокоя на пути лѣниво подымавшійся туманъ. Всѣ молчали. Іеронимъ машинально работалъ одной рукой. Онъ долго водилъ по насъ своими кроткими, тусклыми глазами, потомъ остановилъ свой взглядъ на розовомъ, чернобровомъ лицѣ молоденькой купчихи, которая стояла на паромѣ рядомъ со мной и молча пожималась отъ обнимавшаго ее тумана. Отъ ея лица не отрывалъ онъ глазъ въ продолженіе всего пути.

Въ этомъ продолжительномъ взглядѣ было мало мужского. Мнѣ кажется, что на лицѣ женщины Іеронимъ искалъ мягкихъ и нѣжныхъ чертъ своего усопшаго друга.

СЧАСТЬЕ.

Посвящается Я. П. Полонскому.

У широкой степной дороги, называемой большимъ шляхомъ, ночевала отара овецъ. Стерегли ее два пастуха. Одинъ, старикъ лѣтъ восьмидесяти, беззубый, съ дрожащимъ лицомъ, лежалъ на животѣ у самой дороги, положивъ локти на пыльные листья подорожника; другой — молодой парень, съ густыми черными бровями и безусый, одѣтый въ рядно, изъ котораго шьютъ дешевые мѣшки, лежалъ на спинѣ, положивъ руки подъ голову, и глядѣлъ вверхъ на небо, гдѣ надъ самымъ его лицомъ тянулся млечный путь и дремали звѣзды.

Пастухи были не одни. На сажень отъ нихъ въ сумракѣ, застилавшемъ дорогу, темнѣла осѣдланная лошадь, а возлѣ нея, опираясь на сѣдло, стоялъ мужчина въ большихъ сапогахъ и короткой чумаркѣ, по всѣмъ видимостямъ, господскій объѣздчикъ. Судя по его фигурѣ, прямой и неподвижной, по манерамъ, по обращенію съ пастухами, лошадью, это былъ человѣкъ серьезный, разсудительный и знающій себѣ цѣну; даже въ потемкахъ были замѣтны въ немъ слѣды военной выправки и то величаво-снисходительное выраженіе, какое пріобрѣтается отъ частаго обращенія съ господами и управляющими.

Овцы спали. На сѣромъ фонѣ зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, тамъ и сямъ видны были силуэты не спавшихъ овецъ; онѣ стояли и, опустивъ головы, о чемъ-то думали. Ихъ мысли, длительныя, тягучія, вызываемыя представленіями только о широкой степи и небѣ, о дняхъ и ночахъ, вѣроятно, поражали и угнетали

ихъ самихъ до безчувствія, и онѣ, стоя теперь, какъ вкопанныя, не замѣчали ни присутствія чужого человѣка, ни безпокойства собакъ.

Въ сонномъ, застывшемъ воздухѣ стоялъ монотонный шумъ, безъ котораго не обходится степная лѣтняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пѣли перепела, да на версту отъ отары, въ балкѣ, въ которой текъ ручей и росли вербы, лѣниво посвистывали молодые соловьи.

Объѣздчикъ остановился, чтобы попросить у пастуховъ огня для трубки. Онъ молча закурилъ и выкурилъ всю трубку, потомъ, ни слова не сказавъ, облокотился о сѣдло и задумался. Молодой пастухъ не обратилъ на него никакого вниманія; онъ продолжалъ лежать и глядѣть на небо, старикъ же долго оглядывалъ объѣздчика и спросилъ:

— Никакъ Пантелей изъ Макаровской экономіи?

— Я самый,—отвѣтилъ объѣздчикъ.

— То-то я вижу. Не узналъ — богатымъ быть. Откуда Богъ несетъ?

— Изъ Ковылевскаго участка.

— Далече. Подъ скопчину отдаете участокъ?

— Разное. И подъ скопчину, и въ аренду, и подъ бакчи. Я собственно на мельницу ѣздилъ.

Большая старая овчарка грязно-бѣлаго цвѣта, лохматая, съ клочьями шерсти у глазъ и носа, стараясь казаться равнодушной къ присутствію чужихъ, раза три покойно обошла вокругъ лошади и вдругъ неожиданно съ злобнымъ, старческимъ хрипѣньемъ бросилась сзади на объѣздчика, остальныя собаки не выдержали и повскакали со своихъ мѣстъ.

— Цыцъ, проклятая! — крикнулъ старикъ, поднимаясь на локтѣ.—А, чтобъ ты лопнула, бѣсова тварь!

Когда собаки успокоились, старикъ принялъ прежнюю позу и сказалъ покойнымъ голосомъ:

— А въ Ковыляхъ, на самый Вознесеньевъ день, Ефимъ Жменя померъ. Не къ ночи будь сказано, грѣхъ такихъ людей сгадывать, поганый старикъ былъ. Небось, слыхалъ.

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Ефимъ Жменя, кузнеца Степки дядя. Вся округа его знаетъ. У, да и проклятый же старикъ! Я его годовъ шестьдесятъ знаю, съ той поры, какъ царя Александра,

что француза гналъ, изъ Таганрога на подводахъ въ Москву везли. Мы вмѣстѣ ходили покойника царя встрѣчать, а тогда большой шляхъ не на Бахмутъ шелъ, а съ Есауловки на Городище, и тамъ, гдѣ теперь Ковыли, дудачьи гнѣзды были—что ни шагъ, то гнѣздо дудачье. Тогда еще я примѣтилъ, что Жменя душу свою сгубилъ и нечистая сила въ немъ. Я такъ замѣчаю: ежели который человѣкъ мужицкаго званія все больше молчитъ, старушечьими дѣлами занимается, да норовитъ въ одиночку жить, то тутъ хорошаго мало, а Ефимка, бывало, смолоду все молчитъ и молчитъ, да на тебя косо глядитъ, все онъ словно дуется и пыжится, какъ пивень передъ куркою. Чтобъ онъ въ церковь пошелъ, или на улицу съ ребятами гулять, или въ кабакъ—не было у него такой моды, а все больше одинъ сидитъ, или со старухами шепчется. Молодымъ былъ, а ужъ въ пасѣчники да въ бакчевники нанимался. Бывало, придутъ къ нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистятъ. Разъ тоже поймалъ при людяхъ щуку, а она—го-го-го-го! захохотала...

— Это бываетъ,—сказалъ Пантелей.

Молодой пастухъ повернулся на бокъ и пристально, поднявъ свои черныя брови, поглядѣлъ на старика.

— А ты слыхалъ, какъ арбузы свистятъ? — спросилъ онъ.

— Слыхать не слыхалъ, Богъ миловалъ,—вздохнулъ старикъ:—а люди сказывали. Мудренаго мало... Захочетъ нечистая сила, такъ и въ камнѣ свистѣть начнетъ. Передъ волей у насъ три дня и три ночи скеля *) гудѣла. Самъ слыхалъ. А щука хохотала, потому Жменя замѣсто щуки бѣса поймалъ.

Старикъ что-то вспомнилъ. Онъ быстро поднялся на колѣни и, пожимаясь, какъ отъ холода, нервно засовывая руки въ рукава, залепеталъ въ носъ, бабьей скороговоркой:

— Спаси насъ, Господи, и помилуй! Шелъ я разъ бережкомъ въ Новопавловку. Гроза собиралась, и такая была буря, что сохрани Царица Небесная, Матушка... Поспѣшаю я, что есть мочи, гляжу, а по дорожкѣ, промежъ терновыхъ кустовъ—теренъ тогда въ цвѣту былъ—бѣлый волъ

*) Скала.

идетъ. Я и думаю: чей это волъ? Зачѣмъ его сюда занесла нелегкая? Идетъ онъ, хвостомъ машетъ и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, гляди!—а ужъ это не волъ, а Жменя. Святъ, святъ, святъ! Сотворилъ я крестное знаменіе, а онъ глядитъ на меня и бормочетъ, бѣльмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядомъ, боюсь я ему слово сказать, — громъ гремитъ, молонья небо полосуетъ, вербы къ самой водѣ гнутся, — вдругъ, братцы, накажи меня Богъ, чтобъ мнѣ безъ покаянія помереть, бѣжитъ поперекъ дорожки заяцъ... Бѣжитъ, остановился и говоритъ по-человѣчьи: «Здорово, мужики!» Пошла, проклятая!—крикнулъ старикъ на лохматаго пса, который опять пошелъ обходомъ вокругъ лошади.—А, чтобъ ты издохла!

— Это бываетъ,—сказалъ объѣздчикъ, все еще опираясь на сѣдло и не шевелясь; сказалъ онъ это беззвучнымъ, глухимъ голосомъ, какимъ говорятъ люди, погруженные въ думу.

— Это бываетъ, — повторилъ онъ глубокомысленно и убѣжденно.

— У, стервячій былъ старикъ! — продолжалъ старикъ уже не такъ горячо. — Лѣтъ черезъ пять послѣ воли его міромъ въ конторѣ посѣкли, такъ онъ, чтобы значитъ злобу свою доказать, взялъ да и напустилъ на всѣ Ковыли горловую болѣзнь. Повымерло тогда народу безъ счету, видимо-невидимо, словно въ холеру...

— А какъ онъ болѣзнь напустилъ? — спросилъ молодой пастухъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Извѣстно, какъ. Тутъ ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей гадючьимъ жиромъ морилъ. А это такое средство, что не то что отъ жиру, даже отъ духу народъ мретъ.

— Это вѣрно,—согласился Пантелей.

— Хотѣли его тогда ребята убить, да старики не дали. Нельзя его было убивать; онъ зналъ мѣсто, гдѣ клады есть. А кромѣ него ни одна душа не знала. Клады тутъ заговоренные, такъ что найдешь и не увидишь, а онъ видѣлъ. Бывало, идетъ бережкомъ, или лѣсомъ, а подъ кустами и скелями огоньки, огоньки, огоньки... Огоньки такіе, какъ будто словно отъ сѣры. Я самъ видѣлъ. Всѣ такъ ждали, что Жменя людямъ мѣста укажетъ, или самъ вы-

роетъ, а онъ—сказано, сама собака не ѣстъ и другимъ не даетъ—такъ и померъ: ни самъ не вырылъ, ни людямъ не показалъ.

Объѣздчикъ закурилъ трубку и на мгновеніе освѣтилъ свои большіе усы и острый, строгаго, солиднаго вида носъ. Мелкіе круги свѣта прыгнули отъ его рукъ къ картузу, побѣжали черезъ сѣдло по лошадиной спинѣ и исчезли въ гривѣ около ушей.

— Въ этихъ мѣстахъ много кладовъ,—сказалъ онъ.

И, медленно затянувшись, онъ поглядѣлъ вокругъ себя, остановилъ свой взглядъ на бѣлѣющемъ востокѣ и добавилъ:

— Должны быть клады.

— Что и говорить,—вздохнулъ старикъ.—По всему видать, что есть, только, братъ, копать ихъ некому. Никто настоящихъ мѣстовъ не знаетъ, да по нынѣшнему времю, почитай, всѣ клады заговоренные. Чтобъ его найти и увидать, талисманъ надо такой имѣть, а безъ талисмана ничего, паря, не подѣлаешь. У Жмени были талисманы, да нешто у него, у чорта лысаго, выпросишь? Онъ и держалъ-то ихъ, чтобъ никому не досталось.

Молодой пастухъ подползъ шага на два къ старику и, подперевъ голову кулаками, устремилъ на него неподвижный взглядъ. Младенческое выраженіе страха и любопытства засвѣтилось въ его темныхъ глазахъ и, какъ казалось въ сумеркахъ, растянуло и сплющило крупныя черты его молодого, грубаго лица. Онъ напряженно слушалъ.

— И въ писаніяхъ писано, что кладовъ тутъ много,—продолжалъ старикъ.—Это что и говорить... и говорить нечего. Одному новопавловскому старику-солдату въ Ивановкѣ ярлыкъ показывали, такъ въ томъ ярлыкѣ напечатано и про мѣсто, и даже сколько пудовъ золота, и въ какой посудѣ; давно бъ по этому ярлыку кладъ достали, да только кладъ заговоренный, не подступишься.

— Отчего же, дѣдъ, не подступишься? — спросилъ молодой.

— Должно, причина какая есть, не сказывалъ солдатъ. Заговоренный... Талисманъ надо.

Старикъ говорилъ съ увлеченіемъ, какъ будто изливалъ передъ проѣзжимъ свою душу. Онъ гнусавилъ отъ непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя та-

кой недостатокъ своей рѣчи, старался скрасить его жестикуляціей головы, рукъ и тощихъ плечъ; при каждомъ движеніи его холщевая рубаха мялась въ складки, ползла къ плечамъ и обнажала черную отъ загара и старости спину. Онъ обдергивалъ ее, а она тотчасъ же опять лѣзла. Наконецъ, старикъ, точно выведенный изъ терпѣнія непослушной рубахой, вскочилъ и заговорилъ съ горечью:

— Есть счастье, а что съ него толку, если оно въ землѣ зарыто? Такъ и пропадаетъ добро задаромъ, безъ всякой пользы, какъ полова или овечій пометъ! А вѣдь счастья много, такъ много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видитъ его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроютъ, или казна отберетъ. Паны ужъ начали курганы копать... Почуяли! Берутъ ихъ завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себѣ на умѣ. Въ законѣ такъ писано, что ежели который мужикъ найдетъ кладъ, то чтобъ къ начальству его представить. Ну, это погоди — не дождешься! Есть квасъ, да не про васъ!

Старикъ презрительно засмѣялся и сѣлъ на землю. Объѣздчикъ слушалъ со вниманіемъ и соглашался, но по выраженію его фигуры и по молчанію видно было, что все, что разсказывалъ ему старикъ, было не ново для него, что это онъ давно уже передумалъ и зналъ гораздо больше того, что было извѣстно старику.

— На своемъ вѣку я, признаться, разъ десять искалъ счастья,—сказалъ старикъ, конфузливо почесываясь.—На настоящихъ мѣстахъ искалъ, да, знать, попадалъ все на заговоренные клады. И отецъ мой искалъ, и братъ искалъ—ни шута не находили, такъ и умерли безъ счастья. Брату моему Ильѣ, царство ему небесное, одинъ монахъ открылъ, что въ Таганрогѣ, въ крѣпости, въ одномъ мѣстѣ подъ тремя камнями кладъ есть, и что кладъ этотъ заговоренный, а въ тѣ поры — было это, помню, въ тридцать восьмомъ году — въ Матвѣевомъ Курганѣ армяшка жилъ, талисманы продавалъ. Купилъ Илья талисманъ, взялъ двухъ ребятъ съ собой и пошелъ въ Таганрогъ. Только, братъ, подходитъ онъ къ мѣсту въ крѣпости, а у самаго мѣста солдатъ съ ружьемъ стоитъ.

Въ тихомъ воздухѣ, разсыпаясь по степи, пронесся звукъ. Что-то вдали грозно ахнуло, ударилось о камень и побѣжало по степи, издавая: «тахъ! тахъ! тахъ! тахъ!» Когда

[illegible] испытательно поглядѣлъ на равно-
[illegible] [illegible]вшаго Пантелея.
[illegible] [illegible]ья срвалась,—сказалъ молодой,

[illegible] [illegible] путь блѣднѣлъ и мало-по-малу
[illegible] [illegible] свои очертанія. Небо становилось
[illegible] [illegible] не разберешь, чисто оно, или
[illegible] [illegible], и только по ясной, глянцовитой
[illegible] [illegible] кое-гдѣ уцѣлѣвшимъ звѣздамъ пой-
[illegible]

[illegible] [illegible]стерскъ безъ шороха, осторожно ше-
[illegible] [illegible] стеблями прошлогодняго бурьяна,
[illegible]
[illegible] [illegible] мыслей и встряхнулъ головой.
[illegible] [illegible]трясъ сѣдло, потрогалъ подпругу и,
[illegible] [illegible]сть на лошадь, опять остановился
[illegible]

[illegible] [illegible] близокъ локоть да не укусишь...
[illegible] [illegible] ума искать его.
[illegible] [illegible] видомъ къ пастухамъ. Строгое лицо
[illegible] [illegible] насмѣшливо, какъ у разочарованнаго.
[illegible] [illegible]ешь, не повидавши счастья, какое оно
[illegible] [illegible] онъ съ разстановкой, поднимая лѣ-
[illegible] [illegible]. Кто помоложе, можетъ, и дождется,
[illegible] [illegible] пора бросить.
[illegible] [illegible] длинные, покрытые росой усы, онъ
[illegible] [illegible] и съ такимъ видомъ, какъ будто
[illegible] [illegible] досказалъ, прищурилъ глаза на даль.
[illegible] [illegible] гдѣ послѣдній видимый холмъ сливался
[illegible] [illegible] не шевелилось; сторожевые и могиль-
[illegible] [illegible] курые тамъ и сямъ высились надъ гори-
[illegible] [illegible]ничною степью, глядѣли сурово и мертво;
[illegible] [illegible]жности и беззвучіи чувствовались вѣка и
[illegible] [illegible]ніе къ человѣку; пройдетъ еще тысяча
[illegible] [illegible] милліарды людей, а они все еще будутъ
[illegible] [illegible], нимало не сожалѣя объ умершихъ, не
[illegible] [illegible] живыми, и ни одна душа не будетъ знать, за-
[illegible] [illegible] и какую степную тайну прячутъ подъ
[illegible]

[illegible] [illegible]ся грачи, молча и въ одиночку, летали надъ
[illegible] [illegible] лѣнивомъ полетѣ этихъ долговѣчныхъ птицъ,

ни въ утрѣ, которое повторяется аккуратно каждыя сутки, ни въ безграничности степи — ни въ чемъ не видно было смысла. Объѣздчикъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Экая ширь, Господи помилуй! Пойди-ка, найди счастье! Тутъ,—продолжалъ онъ, понизивъ голосъ и дѣлая лицо серьезнымъ:—тутъ навѣрняка зарыты два клада. Господа про нихъ не знаютъ, а старымъ мужикамъ, особливо солдатамъ, до точности про нихъ извѣстно. Тутъ, гдѣ-то на этомъ кряжѣ (объѣздчикъ указалъ въ сторону нагайкой), когда-то во время оно разбойники напали на караванъ съ золотомъ; золото это везли изъ Петербурга Петру императору, который тогда въ Воронежѣ флотъ строилъ. Разбойники побили возчиковъ, а золото закопали, да потомъ и не нашли. Другой же кладъ наши донскіе казаки зарыли. Въ двѣнадцатомъ году они у француза всякаго добра, серебра и золота награбили видимо-невидимо. Когда ворочались къ себѣ домой, то прослышали дорогой, что начальство хочетъ у нихъ отобрать все золото и серебро. Чѣмъ начальству такъ зря отдавать добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтобъ хоть дѣтямъ досталось, а гдѣ зарыли — неизвѣстно.

— Я слышалъ про эти клады, — угрюмо пробормоталъ старикъ.

— Да,—задумался опять Пантелей.—Такъ...

Наступило молчаніе. Объѣздчикъ задумчиво поглядѣлъ на даль, усмѣхнулся и тронулъ повода все съ тѣмъ же выраженіемъ, какъ будто забылъ что-то или не досказалъ. Лошадь неохотно пошла шагомъ. Проѣхавъ шаговъ сто, Пантелей рѣшительно встряхнулъ головой, очнулся отъ мыслей и, стегнувъ по лошади, поскакалъ рысью.

Пастухи остались одни.

— Это Пантелей изъ Макаровской экономіи, — сказалъ старикъ.—Полтораста въ годъ получаетъ, на хозяйскихъ харчахъ. Образованный человѣкъ...

Проснувшіяся овцы — ихъ было около трехъ тысячъ— неохотно, отъ нечего дѣлать принялись за невысокую, на половину утоптанную траву. Солнце еще не взошло, но уже были видны всѣ курганы и далекая, похожая на облако, Саурь-Могила съ остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту могилу, то съ нея видна равнина, такая же ровная и безграничная, какъ небо, видны барскія

усадьбы, хутора нѣмцевъ и молоканъ, деревни, а дальнозоркій калмыкъ увидитъ даже городъ и поѣзда желѣзныхъ дорогъ. Только отсюда и видно, что на этомъ свѣтѣ, кромѣ молчаливой степи и вѣковыхъ кургановъ, есть другая жизнь, которой нѣтъ дѣла до закрытаго счастья и овечьихъ мыслей.

Старикъ нащупалъ возлѣ себя свою «герлыгу», длинную палку съ крючкомъ на верхнемъ концѣ, и поднялся. Онъ молчалъ и думалъ. Съ лица молодого еще не сошло младенческое выраженіе страха и любопытства. Онъ находился подъ впечатлѣніемъ слышаннаго и съ нетерпѣніемъ ждалъ новыхъ разсказовъ.

— Дѣдъ,—спросилъ онъ, поднимаясь и беря свою герлыгу:—что же твой братъ Илья съ солдатомъ сдѣлалъ?

Старикъ не разслышалъ вопроса. Онъ разсѣянно поглядѣлъ на молодого и отвѣтилъ, пошамкавъ губами:

— А я, Санька, все думаю про тотъ ярлыкъ, что въ Ивановкѣ солдату показывали. Я Пантелею не сказалъ; Богъ съ нимъ, а вѣдь въ ярлыкѣ обозначено такое мѣсто, что даже баба найдетъ. Знаешь, какое мѣсто? Въ Богатой Балочкѣ, въ томъ, знаешь, мѣстѣ, гдѣ балка, какъ гусиная лапка, расходится на три балочки; такъ въ средней.

— Что жъ, будешь рыть?

— Попытаю счастья...

— Дѣдъ, а что ты станешь дѣлать съ кладомъ, когда найдешь его?

— Я-то?—усмѣхнулся старикъ.—Гм!.. Только бы найти, а то... показалъ бы я всѣмъ Кузькину мать... Гм!.. Знаю, что дѣлать...

И старикъ не сумѣлъ отвѣтить, что онъ будетъ дѣлать съ кладомъ, если найдетъ его. За всю жизнь этотъ вопросъ представился ему въ это утро, вѣроятно, впервые, а судя по выраженію лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важнымъ и достойнымъ размышленія. Въ головѣ Саньки копошилось еще одно недоумѣніе: почему клады ищутъ только старики и къ чему сдалось земное счастье людямъ, которые каждый день могутъ умереть отъ старости? Но недоумѣніе это Санька не умѣлъ вылить въ вопросъ, да едва ли бы старикъ нашелъ, что отвѣтить ему.

Окруженное легкою мутью, показалось громадное багро-

вое солнце. Широкія полосы свѣта, еще холодныя, купаясь въ росистой травѣ, потягиваясь и съ веселымъ видомъ, какъ-будто стараясь показать, что это не надоѣло имъ, стали ложиться по землѣ. Серебристая полынь, голубые цвѣты свинячей цыбульки, желтая сурѣпа, васильки—все это радостно запестрѣло, принимая свѣтъ солнца за свою собственную улыбку.

Старикъ и Санька разошлись и стали по краямъ отары. Оба стояли, какъ столбы, не шевелясь, глядя въ землю и думая. Перваго не отпускали мысли о счастьѣ, второй же думалъ о томъ, что говорилось ночью; интересовало его не самое счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человѣческаго счастья.

Сотня овецъ вздрогнула и въ какомъ-то непонятномъ ужасѣ, какъ по сигналу, бросилась въ сторону отъ отары. И Санька, какъ будто бы мысли овецъ, длительныя и тягучія, на мгновеніе сообщились и ему, въ такомъ же непонятномъ, животномъ ужасѣ бросился въ сторону, но тотчасъ же пришелъ въ себя и крикнулъ:

— Тю, скаженныя! Перебѣсились, нѣтъ на васъ погибели!

А когда солнце, обѣщая долгій, непобѣдимый зной, стало припекать землю, все живое, что ночью двигалось и издавало звуки, погрузилось въ полусонъ. Старикъ и Санька со своими герлыгами стояли у противоположныхъ краевъ отары, стояли не шевелясь, какъ факиры на молитвѣ, и сосредоточенно думали. Они уже не замѣчали другъ друга, и каждый изъ нихъ жилъ своей собственной жизнью. Овцы тоже думали...

ТИФЪ.

Въ почтовомъ поѣздѣ, шедшемъ изъ Петербурга въ Москву, въ отдѣленіи для курящихъ ѣхалъ молодой поручикъ Климовъ. Противъ него сидѣлъ пожилой человѣкъ съ бритой шкиперской физіономіей, по всѣмъ видимостямъ, зажиточный чухонецъ или шведъ, всю дорогу сосавшій трубку и говорившій на одну и ту же тему:

— Га, вы официрь! У меня тоже братъ официрь, но только онъ морьякъ... Онъ морьякъ и служитъ въ Кронштадтъ. Вы зачѣмъ ѣдете въ Москву?

— Я тамъ служу.

— Га! А вы семейный?

— Нѣтъ, я живу съ теткой и сестрой.

— Мой братъ тоже официрь, морьякъ, но онъ семейный, имѣетъ жена и три ребенка. Га!

Чухонецъ чему-то удивлялся, идіотски-широко улыбался, когда восклицалъ «га!», и то и дѣло продувалъ свою вонючую трубку. Климовъ, которому нездоровилось и тяжело было отвѣчать на вопросы, ненавидѣлъ его всей душой. Онъ мечталъ о томъ, что хорошо бы вырвать изъ его рукъ сипѣвшую трубку и швырнуть ее подъ диванъ, а самого чухонца прогнать куда-нибудь въ другой вагонъ.

«Противный народъ эти чухонцы и... греки,—думалъ онъ.—Совсѣмъ лишній, ни къ чему не нужный, противный народъ. Занимаютъ только на земномъ шарѣ мѣсто. Къ чему они?»

И мысль о чухонцахъ и грекахъ производила во всемъ его тѣлѣ что-то въ родѣ тошноты. Для сравненія хотѣлъ

онъ думать о французахъ и итальянцахъ, но воспоминаніе объ этихъ народахъ вызывало въ немъ представленіе почему-то только о шарманщикахъ, голыхъ женщинахъ и заграничныхъ олеографіяхъ, которыя висятъ дома у тетки надъ комодомъ.

Вообще офицеръ чувствовалъ себя ненормальнымъ. Руки и ноги его какъ-то не укладывались на диванѣ, хотя весь диванъ былъ къ его услугамъ, во рту было сухо и липко, въ головѣ стоялъ тяжелый туманъ; мысли его, казалось, бродили не только въ головѣ, но и внѣ черепа, межъ дивановъ и людей, окутанныхъ въ ночную мглу. Сквозь головную муть, какъ сквозь сонъ, слышалъ онъ бормотанье голосовъ, стукъ колесъ, хлопанье дверей. Звонки, свистки, кондуктора, бѣготня публики по платформѣ слышались чаще, чѣмъ обыкновенно. Время летѣло быстро, незамѣтно, и потому казалось, что поѣздъ останавливался около станцій каждую минуту, и то и дѣло извнѣ доносились металлическіе голоса:

— Готова почта?

— Готова!

Казалось, что слишкомъ часто истопникъ входилъ и поглядывалъ на термометръ, что шумъ встрѣчнаго поѣзда и грохотъ колесъ по мосту слышались безъ перерыва. Шумъ, свистки, чухонецъ, табачный дымъ—все это, мѣшаясь съ угрозами и миганьемъ туманныхъ образовъ, форму и характеръ которыхъ не можетъ припомнить здоровый человѣкъ, давило Климова невыносимымъ кошмаромъ. Въ страшной тоскѣ онъ поднималъ тяжелую голову, взглядывалъ на фонарь, въ лучахъ котораго кружились тѣни и туманныя пятна, хотѣлъ просить воды, но высохшій языкъ едва шевелился, и едва хватало силы отвѣчать на вопросы чухонца. Онъ старался поудобнѣе улечься и уснуть, но это ему не удавалось; чухонецъ нѣсколько разъ засыпалъ, просыпался и закуривалъ трубку, обращался къ нему со своимъ «га!» и вновь засыпалъ, а ноги поручика все никакъ не укладывались на диванѣ и грозящіе образы все стояли передъ глазами.

Въ Спировѣ онъ вышелъ на станцію, чтобы выпить воды. Онъ видѣлъ, какъ за столомъ сидѣли люди и спѣшили ѣсть.

«И какъ они могутъ ѣсть!» — думалъ онъ, стараясь не нюхать воздуха, пахнущаго жаренымъ мясомъ, и не гля-

дѣть на жующіе рты, — то и другое казалось ему противнымъ до тошноты.

Какая-то красивая дама громко бесѣдовала съ военнымъ въ красной фуражкѣ и, улыбаясь, показывала великолѣпные бѣлые зубы; и улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатлѣніе, какъ окорокъ и жареныя котлеты. Онъ не могъ понять, какъ это военному въ красной фуражкѣ не жутко сидѣть возлѣ нея и глядѣть на ея здоровое, улыбающееся лицо.

Когда онъ, выпивъ воды, вернулся въ вагонъ, чухонецъ сидѣлъ и курилъ. Его трубка сипѣла и всхлипывала, какъ дырявая калоша въ сырую погоду.

— Га!—удивился онъ.—Это какая станція?

— Не знаю,—отвѣтилъ Климовъ, ложась и закрывая ротъ, чтобы не дышать ѣдкимъ табачнымъ дымомъ.

— А въ Твери когда мы будемъ?

— Не знаю. Извините, я... я не могу отвѣчать. Я боленъ, простудился сегодня.

Чухонецъ постучалъ трубкой объ оконную раму и сталъ говорить о своемъ братѣ-морякѣ. Климовъ ужъ болѣе не слушалъ его и съ тоской вспоминалъ о своей мягкой, удобной постели, о графинѣ съ холодной водой, о сестрѣ Катѣ, которая такъ умѣетъ уложить, успокоить, подать воды. Онъ даже улыбнулся, когда въ его воображеніи мелькнулъ деньщикъ Павелъ, снимающій съ барина тяжелые, душные сапоги и ставящій на столикъ воду. Ему казалось, что стоитъ только лечь въ свою постель, выпить воды, и кошмаръ уступилъ бы свое мѣсто крѣпкому, здоровому сну.

— Почта готова?—донесся издали глухой голосъ.

— Готова!—отвѣтилъ басъ почти у самаго окна.

Это была уже вторая или третья станція отъ Спирова.

Время летѣло быстро, скачками, и казалось, что звонкамъ, свисткамъ и остановкамъ не будетъ конца. Климовъ въ отчаяніи уткнулся лицомъ въ уголъ дивана, обхватилъ руками голову и сталъ опять думать о сестрѣ Катѣ и деньщикѣ Павлѣ, но сестра и деньщикъ смѣшались съ туманными образами, завертѣлись и исчезли. Его горячее дыханіе, отражаясь отъ спинки дивана, жгло ему лицо, ноги лежали неудобно, въ спину дуло отъ окна, но, какъ ни мучительно было ему ужъ не хотѣлось перемѣнять свое

положеніе... Тяжелая, кошмарная лѣнь мало-по-малу овладѣла имъ и сковала его члены.

Когда онъ рѣшился поднять голову, въ вагонѣ было уже свѣтло. Пассажиры надѣвали шубы и двигались. Поѣздъ стоялъ. Артельщики въ бѣлыхъ фартукахъ и съ бляхами суетились возлѣ пассажировъ и хватали ихъ чемоданы. Климовъ надѣлъ шинель, машинально вслѣдъ за другими вышелъ изъ вагона, и ему казалось, что идетъ не онъ, а вмѣсто него кто-то другой, посторонній, и онъ чувствовалъ, что вмѣстѣ съ нимъ вышли изъ вагона его жаръ, жажда и тѣ грозящіе образы, которые всю ночь не давали ему спать. Машинально онъ получилъ багажъ и нанялъ извозчика. Извозчикъ запросилъ съ него до Поварской рубль съ четвертью, но онъ не торговался, а безпрекословно, послушно сѣлъ въ сани. Разницу въ числахъ онъ еще понималъ, но деньги для него уже не имѣли никакой цѣны.

Дома Климова встрѣтили тетка и сестра Катя, восемнадцатилѣтняя дѣвушка. Въ рукахъ Кати, когда она здоровалась, были тетрадка и карандашъ, и онъ вспомнилъ, что она готовится къ учительскому экзамену. Не отвѣчая на вопросы и привѣтствія, а только отдуваясь отъ жара, онъ безъ всякой цѣли прошелся по всѣмъ комнатамъ и, дойдя до своей кровати, повалился на подушку. Чухонецъ, красная фуражка, дама съ бѣлыми зубами, запахъ жаренаго мяса, мигающія пятна заняли его сознаніе и уже онъ не зналъ, гдѣ онъ, и не слышалъ встревоженныхъ голосовъ.

Очнувшись, онъ увидѣлъ себя въ своей постели, раздѣтымъ, увидѣлъ графинъ съ водой и Павла, но отъ этого ему не было ни прохладнѣе, ни мягче, ни удобнѣе. Ноги и руки попрежнему не укладывались, языкъ прилипалъ къ нёбу и слышалось всхлипыванье чухонской трубки... Возлѣ кровати, толкая своей широкой спиной Павла, суетился плотный, чернобородый докторъ.

— Ничего, ничего, юноша!—бормоталъ онъ.—Отлично, отлично... Тэкъ, тэкъ...

Докторъ называлъ Климова юношей, вмѣсто «такъ» говорилъ «тэкъ», вмѣсто «да»—«дэ»...

— Дэ, дэ, дэ,—сыпалъ онъ.—Тэкъ, тэкъ... Отлично, юноша... Не надо унывать!

Быстрая, небрежная рѣчь доктора, его сытая физіономія и снисходительное «юноша» раздражили Климова.

— Зачѣмъ вы зовете меня юношей?—простоналъ онъ.— Что за фамильярность? Къ чорту!

И онъ испугался своего голоса. Этотъ голосъ былъ до того сухъ, слабъ и пѣвучъ, что его нельзя было узнать.

— Отлично, отлично,—забормоталъ докторъ, нисколько не обижаясь.—Не надо сердиться... Дэ, дэ, дэ...

И дома время летѣло такъ же поразительно быстро, какъ и въ вагонѣ... Дневной свѣтъ въ спальной то и дѣло смѣнялся ночными сумерками. Докторъ, казалось, не отходилъ отъ кровати и каждую минуту слышалось его «дэ, дэ, дэ». Черезъ спальную непрерывно тянулся рядъ лицъ. Тутъ были: Павелъ, чухонецъ, штабсъ-капитанъ Ярошевичъ, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама съ бѣлыми зубами, докторъ. Всѣ они говорили, махали руками, курили, ѣли. Разъ даже при дневномъ свѣтѣ Климовъ видѣлъ своего полкового священника о. Александра, который въ эпитрахили и съ требникомъ въ рукахъ стоялъ передъ кроватью и бормоталъ что-то съ такимъ серьезнымъ лицомъ, какого раньше Климовъ не наблюдалъ у него. Поручикъ вспомнилъ, что о. Александръ всѣхъ офицеровъ-католиковъ пріятельски обзывалъ «ляхами», и, желая посмѣшить его, крикнулъ:

— Батя, ляхъ Ярошевичъ до лясу бѣжалъ!

Но о. Александръ, человѣкъ смѣшливый и веселый, не засмѣялся, а сталъ еще серьезнѣе и перекрестилъ Климова. Ночью разъ за разомъ безшумно входили и выходили двѣ тѣни. То были тетка и сестра. Тѣнь сестры становилась на колѣни и молилась: она кланялась образу, кланялась на стѣнѣ и ея сѣрая тѣнь, такъ что Богу молились двѣ тѣни. Все время пахло жаренымъ мясомъ и трубкой чухонца, но разъ Климовъ почувствовалъ рѣзкій запахъ ладана. Онъ задвигался отъ тошноты и сталъ кричать:

— Ладанъ! Унесите ладанъ!

Отвѣта не было. Слышно было только, какъ гдѣ-то не громко пѣли священники и какъ кто-то бѣгалъ по лѣстницѣ.

Когда Климовъ очнулся отъ забытья, въ спальной не было ни души. Утреннее солнце било въ окно сквозь спущенную занавѣску, и дрожащій лучъ, тонкій и граціозный, какъ лезвіе, игралъ на графинѣ. Слышался стукъ колесъ— значитъ, снѣга уже не было на улицѣ. Поручикъ поглядѣлъ

на лучъ, на знакомую мебель, на дверь и первымъ дѣломъ засмѣялся. Грудь и животъ задрожали отъ сладкаго, счастливаго и щекочущаго смѣха. Всѣмъ его существомъ, отъ головы до ногъ, овладѣло ощущеніе безконечнаго счастья и жизненной радости, какую, вѣроятно, чувствовалъ первый человѣкъ, когда былъ созданъ и впервые увидѣлъ міръ. Климовъ страстно захотѣлъ движенія, людей, рѣчей. Тѣло его лежало неподвижнымъ пластомъ, шевелились однѣ только руки, но онъ это едва замѣтилъ и все вниманіе свое устремилъ на мелочи. Онъ радовался своему дыханію, своему смѣху, радовался, что существуетъ графинъ, потолокъ, лучъ, тесемка на занавѣскѣ. Міръ Божій даже въ такомъ тѣсномъ уголкѣ, какъ спальня, казался ему прекраснымъ, разнообразнымъ, великимъ. Когда явился докторъ, поручикъ думалъ о томъ, какая славная штука медицина, какъ милъ и симпатиченъ докторъ, какъ вообще хороши и интересны люди.

— Дэ, дэ, дэ... — сыпалъ докторъ. — Отлично, отлично... Теперь ужъ мы здоровы... Тэкъ, тэкъ.

Поручикъ слушалъ и радостно смѣялся. Вспомнилъ онъ чухонца, даму съ бѣлыми зубами, окорокъ, и ему захотѣлось курить, ѣсть.

— Докторъ,—сказалъ онъ:—прикажите дать мнѣ корочку ржаного хлѣба съ солью и... и сардинъ.

Докторъ отказалъ, Павелъ не послушался приказанія и не пошелъ за хлѣбомъ. Поручикъ не вынесъ этого и заплакалъ, какъ капризный ребенокъ.

— Малюточка!—засмѣялся докторъ.—Мама, бай, а-а!

Климовъ тоже засмѣялся и, по уходѣ доктора, крѣпко уснулъ. Проснулся онъ съ тою же радостью и съ ощущеніемъ счастья. Возлѣ постели сидѣла тетка.

— А, тетя!—обрадовался онъ.—Что у меня было?

— Сыпной тифъ.

— Вотъ что. А теперь мнѣ хорошо, очень хорошо! Гдѣ Катя?

— Дома нѣтъ. Вѣроятно, зашла куда-нибудь съ экзамена.

Старуха сказала это и нагнулась къ чулку; губы ея затряслись, она отвернулась и вдругъ зарыдала. Въ отчаяніи, забывъ запрещеніе доктора, она проговорила:

— Ахъ, Катя, Катя! Нѣтъ нашего ангела! Нѣтъ!

Она уронила чулокъ и нагнулась за нимъ, и въ это время съ головы ея свалился чепецъ. Взглянувъ на ея сѣдую голову и ничего не понимая, Климовъ испугался за Катю и спросилъ:

— Гдѣ же она? Тетя!

Старуха, которая уже забыла про Климова и помнила только свое горе, сказала:

— Заразилась отъ тебя тифомъ и... и умерла. Третьяго дня похоронили.

Эта страшная, неожиданная новость цѣликомъ вошла въ сознаніе Климова, но какъ ни была она страшна и сильна, она не могла побороть животной радости, наполнявшей выздоравливающаго поручика. Онъ плакалъ, смѣялся и скоро сталъ браниться за то, что ему не даютъ ѣсть.

Только спустя недѣлю, когда онъ въ халатишкѣ, поддерживаемый Павломъ, подошелъ къ окну, поглядѣлъ на пасмурное весеннее небо и прислушался къ непріятному стуку старыхъ рельсовъ, которые провозили мимо, сердце его сжалось отъ боли, онъ заплакалъ и припалъ лбомъ къ оконной рамѣ.

— Какой я несчастный!—забормоталъ онъ.—Боже, какой я несчастный!

И радость уступила свое мѣсто обыденной скукѣ и чувству невозвратимой потери.

ВАНЬКА.

Ванька Жуковъ, девятилѣтній мальчикъ, отданный три мѣсяца тому назадъ въ ученье къ сапожнику Аляхину, въ ночь подъ Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли къ заутренѣ, онъ досталъ изъ хозяйскаго шкапа пузырёкъ съ чернилами, ручку съ заржавленнымъ перомъ и, разложивъ передъ собой измятый листъ бумаги, сталъ писать. Прежде чѣмъ вывести первую букву, онъ нѣсколько разъ пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образъ, по обѣ стороны котораго тянулись полки съ колодками, и прерывисто вздохнулъ. Бумага лежала на скамьѣ, а самъ онъ стоялъ передъ скамьей на колѣняхъ.

«Милый дѣдушка, Константинъ Макарычъ!—писалъ онъ.— И пишу тебѣ письмо. Поздравляю васъ съ Рождествомъ и желаю тебѣ всего отъ Господа Бога. Нѣту у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня одинъ остался».

Ванька перевелъ глаза на темное окно, въ которомъ мелькало отраженіе его свѣчки, и живо вообразилъ себѣ своего дѣда Константина Макарыча, служащаго ночнымъ сторожемъ у господъ Живаревыхъ. Это маленькій, тощенькій, но необыкновенно юркій и подвижной старикашка, лѣтъ 65-ти, съ вѣчно смѣющимся лицомъ и пьяными глазами. Днемъ онъ спитъ въ людской кухнѣ, или балагуритъ съ кухарками, ночью же, окутанный въ просторный тулупъ, ходитъ вокругъ усадьбы и стучитъ въ свою колотушку. За нимъ, опустивъ головы, шагаютъ старая Каштанка и кобелекъ Вьюнъ, прозванный такъ за свой черный цвѣтъ и тѣло длинное какъ у ласки. Этотъ Вьюнъ необыкновенно почти-

теленъ и ласковъ, одинаково умильно смотритъ какъ на своихъ, такъ и на чужихъ, но кредитомъ не пользуется. Подъ его почтительностью и смиреніемъ скрывается самое іезуитское ехидство. Никто лучше его не умѣетъ во-время подкрасться и цапнуть за ногу, забраться въ ледникъ, или украсть у мужика курицу. Ему ужъ не разъ отбивали заднія ноги, раза два его вѣшали, каждую недѣлю пороли до полусмерти, но онъ всегда оживалъ.

Теперь, навѣрно, дѣдъ стоитъ у воротъ, щуритъ глаза на ярко-красныя окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагуритъ съ дворней. Колотушка его подвязана къ поясу. Онъ всплескиваетъ руками, пожимается отъ холода и, старчески хихикая, щиплетъ то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто намъ понюхать?—говоритъ онъ, подставляя бабамъ свою табакерку.

Бабы нюхаютъ и чихаютъ. Дѣдъ приходитъ въ неописанный восторгъ, заливается веселымъ смѣхомъ и кричитъ:

— Отдирай, примерзло!

Даютъ понюхать табаку и собакамъ. Каштанка чихаетъ, крутитъ мордой и, обиженная, отходитъ въ сторону. Вьюнъ же изъ почтительности не чихаетъ и вертитъ хвостомъ. А погода великолѣпная. Воздухъ тихъ, прозраченъ и свѣжъ. Ночь темна, но видно всю деревню съ ея бѣлыми крышами и струйками дыма, идущими изъ трубъ, деревья, посеребренныя инеемъ, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звѣздами, и млечный путь вырисовывается такъ ясно, какъ будто его передъ праздникомъ помыли и потерли снѣгомъ...

Ванька вздохнулъ, умокнулъ перо и продолжалъ писать:

«А вчерась мнѣ была выволочка. Хозяинъ выволокъ меня за волосы на дворъ и отчесалъ шпандыремъ за то, что я качалъ ихняго ребятенка въ люлькѣ и по нечаянности заснулъ. А на недѣлѣ хозяйка велѣла мнѣ почистить селедку, а я началъ съ хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня въ харю тыкать. Подмастерья надо мной насмѣхаются, посылаютъ въ кабакъ за водкой и велятъ красть у хозяевъ огурцы, а хозяинъ бьетъ чѣмъ попадя. А ѣды нѣту никакой. Утромъ даютъ хлѣба, въ обѣдъ каши и къ вечеру тоже хлѣба, а чтобъ чаю или щей, то хозяева сами трескаютъ. А спать мнѣ велятъ въ сѣняхъ, а когда ребятенокъ ихній плачетъ, я вовсе не сплю, а качаю люльку.

Милый дѣдушка, сдѣлай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нѣту никакой моей возможности... Кланяюсь тебѣ въ ножки и буду вѣчно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру»...

Ванька покривилъ ротъ, потеръ своимъ чернымъ кулакомъ глаза и всхлипнулъ.

«Я буду тебѣ табакъ тереть, — продолжалъ онъ: — Богу молиться, а если что, то сѣки меня, какъ Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мнѣ нѣту, то я Христа-ради попрошусь къ приказчику сапоги чистить, али замѣсто Ѳедьки въ подпаски пойду. Дѣдушка милый, нѣту никакой возможности, просто смерть одна. Хотѣлъ-было пѣшкомъ на деревню бѣжать, да сапоговъ нѣту, морозу боюсь. А когда выросту большой, то за это самое буду тебя кормить и въ обиду никому не дамъ, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно какъ за мамку Пелагею».

«А Москва городъ большой. Дома все господскіе и лошадей много, а овецъ нѣту, и собаки не злыя. Со звѣздой тутъ ребята не ходятъ и на клиросъ пѣть никого не пущаютъ, а разъ я видалъ въ одной лавкѣ, на окнѣ, крючки продаются прямо съ леской и на всякую рыбу, очень стоющіе, даже такой есть одинъ крючокъ, что пудоваго сома удержитъ. И видалъ которыя лавки, гдѣ ружья всякія на манеръ бариновыхъ, такъ что, небось, рублей сто кажное... А въ мясныхъ лавкахъ и тетерева, и рябцы, и зайцы, а въ которомъ мѣстѣ ихъ стрѣляютъ, про то сидѣльцы не сказываютъ».

«Милый дѣдушка, а когда у господъ будетъ елка съ гостинцами, возьми мнѣ золоченый орѣхъ и въ зеленый сундучокъ спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи — для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнулъ и опять уставился на окно. Онъ вспомнилъ, что за елкой для господъ всегда ходилъ въ лѣсъ дѣдъ и бралъ съ собою внука. Веселое было время! И дѣдъ крякалъ, и морозъ крякалъ, а глядя на нихъ, и Ванька крякалъ. Бывало, прежде чѣмъ вырубить елку, дѣдъ выкуриваетъ трубку, долго нюхаетъ табакъ, посмѣивается надъ озябшимъ Ванюшкой... Молодыя елки, окутанныя инеемъ, стоятъ неподвижно и ждутъ, которой изъ нихъ помирать? Откуда ни возьмись, по сугробамъ летитъ стрѣлой заяцъ... Дѣдъ не можетъ, чтобъ не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ахъ, куцый дьяволъ!

Срубленную елку дѣдъ тащилъ въ господскій домъ, а тамъ принимались убирать ее... Больше всѣхъ хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господъ въ горничныхъ, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и отъ нечего дѣлать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцовать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сиротку Ваньку спровадили въ людскую кухню къ дѣду, а изъ кухни въ Москву къ сапожнику Аляхину...

«Пріѣзжай, милый дѣдушка,—продолжалъ Ванька:—Христомъ Богомъ тебя молю, возьми меня отседа. Пожалѣй ты меня, сироту несчастную, а то меня всѣ колотятъ и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяинъ колодкой по головѣ ударилъ, такъ что упалъ и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Аленѣ, кривому Егоркѣ и кучеру, а гармонію мою никому не отдавай. Остаюсь твой внукъ Иванъ Жуковъ, милый дѣдушка пріѣзжай».

Ванька свернулъ вчетверо исписанный листъ и вложилъ его въ конвертъ, купленный наканунѣ за копейку... Подумавъ немного, онъ умокнулъ перо и написалъ адресъ:

На деревню дѣдушкѣ.

Потомъ почесался, подумалъ и прибавилъ: «Константину Макарычу». Довольный тѣмъ, что ему не помѣшали писать, онъ надѣлъ шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо въ рубахѣ выбѣжалъ на улицу...

Сидѣльцы изъ мясной лавки, которыхъ онъ разспрашивалъ наканунѣ, сказали ему, что письма опускаются въ почтовые ящики, а изъ ящиковъ развозятся по всей землѣ на почтовыхъ тройкахъ съ пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добѣжалъ до перваго почтоваго ящика и сунулъ драгоцѣнное письмо въ щель...

Убаюканный сладкими надеждами, онъ, часъ спустя, крѣпко спалъ... Ему снилась печка. На печи сидитъ дѣдъ, свѣсивъ босыя ноги, и читаетъ письмо кухаркамъ... Около печи ходитъ Вьюнъ и вертитъ хвостомъ...

СВИРѢЛЬ.

Разморенный духотою еловой чащи, весь въ паутинѣ и въ хвойныхъ иглахъ, пробирался съ ружьемъ къ опушкѣ приказчикъ изъ Дементьева хутора, Мелитонъ Шишкинъ. Его Дамка—помѣсь дворняги съ сетеромъ—необыкновенно худая и беременная, поджимая подъ себя мокрый хвостъ, плелась за хозяиномъ и всячески старалась не наколоть себѣ носа. Утро было нехорошее, пасмурное. Съ деревьевъ, окутанныхъ легкимъ туманомъ, и съ папоротника сыпались крупныя брызги, лѣсная сырость издавала острый запахъ гнили.

Впереди, гдѣ кончалась чаща, стояли березы, а сквозь ихъ стволы и вѣтви видна была туманная даль. Кто-то за березами игралъ на самодѣлковой, пастушеской свирѣли. Игрокъ бралъ не болѣе пяти-шести нотъ, лѣниво тянулъ ихъ, не стараясь связать ихъ въ мотивъ, но тѣмъ не менѣе въ его пискѣ слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое.

Когда чаща порѣдѣла и елки уже мѣшались съ молодой березой, Мелитонъ увидѣлъ стадо. Спутанныя лошади, коровы и овцы бродили между кустовъ и, потрескивая сучьями, обнюхивали лѣсную траву. На опушкѣ, прислонившись къ мокрой березкѣ, стоялъ старикъ-пастухъ, тощій, въ рваной сермягѣ и безъ шапки. Онъ глядѣлъ въ землю, о чемъ-то думалъ и игралъ на свирѣли, повидимому, машинально.

— Здравствуй, дѣдъ! Богъ на помощь!—привѣтствовалъ его Мелитонъ тонкимъ, сиплымъ голоскомъ, который совсѣмъ не шелъ къ его громадному росту и большому, мя-

систему лицу.— А ловко ты на дудочкѣ дудишь! Чье стадо пасешь?

— Артамоновское,— нехотя отвѣтилъ пастухъ и сунулъ свирѣль за пазуху.

— Стало-быть, и лѣсъ артамоновскій?—спросилъ Мелитонъ, оглядываясь. — И впрямь артамоновскій, скажи на милость... Совсѣмъ-было заблудился. Всю харю себѣ въ чепыгѣ исцарапалъ.

Онъ сѣлъ на мокрую землю и сталъ лѣпить изъ газетной бумаги папиросу.

Подобно жиденькому голоску, все у этого человѣка было мелко и не соотвѣтствовало его росту, ширинѣ и мясистому лицу: и улыбка, и глазки, и пуговки, и картузикъ, едва державшійся на жирной, стриженой головѣ. Когда онъ говорилъ и улыбался, то въ его бритомъ, пухломъ лицѣ и во всей фигурѣ чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное.

— Ну, погода, не дай Богъ!—сказалъ онъ и покрутилъ головой. — Люди еще овса не убрали, а дождикъ словно занялся, Богъ съ нимъ.

Пастухъ поглядѣлъ на небо, откуда моросилъ дождь, на лѣсъ, на мокрую одежду приказчика, подумалъ и ничего не сказалъ.

— Все лѣто такое было...—вздохнулъ Мелитонъ.—И мужикамъ плохо, и господамъ никакого удовольствія.

Пастухъ еще разъ поглядѣлъ на небо, подумалъ и сказалъ съ разстановкой, точно разжевывая каждое слово:

— Все къ одному клонится... Добра не жди.

— Какъ у васъ тутъ? — спросилъ Мелитонъ, закуривая. — Не видалъ въ артамоновской сѣчи тетеревиныхъ выводковъ?

Пастухъ отвѣтилъ не сразу. Онъ опять поглядѣлъ на небо и въ стороны, подумалъ, поморгалъ глазами... Повидимому, своимъ словамъ придавалъ онъ не малое значеніе и, чтобы усугубить имъ цѣну, старался произносить ихъ въ растяжку, съ нѣкоторою торжественностью. Выраженіе лица его было старчески острое, степенное и оттого, что носъ былъ перехваченъ поперекъ сѣдлообразной выемкой и ноздри глядѣли кверху, казалось хитрымъ и насмѣшливымъ.

— Нѣтъ, кажись, не видалъ, — отвѣтилъ онъ. — Нашъ охотникъ Еремка сказывалъ, будто на Ильинъ день со-

гналъ около Пустошья одинъ выводокъ, да должно, брешетъ. Мало птицы.

— Да, братъ, мало... Вездѣ мало! Охота, ежели здравомысленно разсудить, ничтожная и нестоющая. Дичи совсѣмъ нѣтъ, а которая есть, такъ объ ту сейчасъ нечего и рукъ марать - -не выросла еще! Такая еще мелочь, что глядѣть совѣстно.

Мелитонъ усмѣхнулся и махнулъ рукой.

— Такое дѣлается на этомъ свѣтѣ, что просто смѣхъ, да и только! Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится, и есть такія, которыя еще на Петровъ день съ яицъ не вставали. Ей-Богу!

— Все къ одному клонится, — сказалъ пастухъ, поднимая вверхъ лицо. — Лѣтошній годъ мало дичи было, въ этомъ году еще меньше, а лѣтъ черезъ пять, почитай, ея вовсе не будетъ. Я такъ примѣчаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется.

— Да,—согласился Мелитонъ, подумавъ.—Это вѣрно.

Пастухъ горько усмѣхнулся и покачалъ головой.

— Удивленіе!—сказалъ онъ.—И куда оно все дѣвалось? Лѣтъ двадцать назадъ, помню, тутъ и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева—туча-тучей! Бывало, съѣдутся господа на охоту, такъ только и слышишь: пу-пу-пу! пу-пу-пу! Дупелямъ, бекасамъ да кроншпилямъ переводу не было, а мелкіе чирята да кулики все равно, какъ скворцы или, скажемъ, воробцы—видимо-невидимо! И куда оно все дѣвалось! Даже злой птицы не видать. Пошли прахомъ и орлы, и соколы, и филины... Меньше стало и всякаго звѣрья. Нынче, братъ, волкъ и лисица въ диковинку, а не то, что медвѣдь или норка. А вѣдь прежде даже лоси были! лѣтъ сорокъ я примѣчаю изъ года въ годъ Божьи дѣла и такъ понимаю, что все къ одному клонится.

— Къ чему?

— Къ худу, царя. Надо думать, къ гибели... Пришла пора Божьему міру погибать.

Старикъ надѣлъ картузъ и сталъ глядѣть на небо.

— Жалко!—вздохнулъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.— И, Боже, какъ жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами міръ сотворенъ, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнетъ, или, скажемъ, одна корова падетъ, и то жалость беретъ, а каково, добрый человѣкъ, глядѣть, коли

весь міръ идетъ прахомъ? Сколько добра, Господи Іисусе! И солнце, и небо, и лѣса, и рѣки, и твари—все вѣдь это сотворено, приспособлено, другъ къ дружкѣ прилажено. Всякое до дѣла доведено и свое мѣсто знаетъ. И всему этому пропадать надо!

На лицѣ пастуха вспыхнула грустная улыбка и вѣки его заморгали.

— Ты говоришь—міру погибель... — сказалъ Мелитонъ, думая. — Можетъ, и скоро конецъ свѣта, а только нельзя по птицѣ судя. Это наврядъ, чтобы птица могла обозначать.

— Не одни птицы,—сказалъ пастухъ. — И звѣри тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Мнѣ не вѣришь, спроси стариковъ; каждый тебѣ скажетъ, что рыба теперь совсѣмъ не та, что была. И въ моряхъ, и въ озерахъ, и въ рѣкахъ рыбы изъ года въ годъ все меньше и меньше. Въ нашей Песчанкѣ, помню, щука въ аршинъ ловилась, и налимы водились, и язь, и лещъ, и у каждой рыбины видимость была, а нынче ежели и поймалъ щуренка или окунька въ четверть, то благодари Бога. Даже ерша настоящаго нѣтъ. Съ каждымъ годомъ все хуже и хуже, а погоди немного, такъ и совсѣмъ рыбы не будетъ. А взять таперя рѣки... Рѣки-то, небось, сохнутъ!

— Это вѣрно, что сохнутъ.

— То-то вотъ и есть. Съ каждымъ годомъ все мельче и мельче, и ужъ, братушка, нѣтъ тѣхъ омутовъ, что были. Эвона, видишь кусты? — спросилъ старикъ, указывая въ сторону. — За ними старое русло, заводиной называется: при отцѣ моемъ тамъ Песчанка текла, а таперя погляди, куда ее нечистые занесли! Мѣняетъ русло и, гляди, домѣняется до той поры, покеда совсѣмъ высохнетъ. За Кургасовымъ болота и пруды были, а нынче гдѣ они? А куда ручьи дѣвались? У насъ вотъ въ этомъ самомъ лѣсу ручей текъ, и такой ручей, что мужики въ немъ верши ставили и щукъ ловили, дикая утка около него зимовала, а нынче въ немъ и въ половодье не бываетъ путевой воды. Да, братъ, куда ни взглянь, вездѣ худо. Вездѣ!

Наступило молчаніе. Мелитонъ задумался и уставилъ глаза въ одну точку. Ему хотѣлось вспомнить хоть одно мѣсто въ природѣ, котораго еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косымъ дождевымъ полосамъ, какъ по матовымъ стекламъ, заскользили свѣтлыя пятна,

но тотчасъ же угасли,—это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю.

— Да и лѣса тоже...—пробормоталъ Мелитонъ.

— И лѣса тоже...—повторилъ пастухъ.—И рубятъ ихъ, и горятъ они, и сохнутъ, а новое не растетъ. Что и вырастетъ, то сейчасъ его рубятъ; сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди—такъ безъ конца краю, покеда ничего не останется. Я, добрый человѣкъ, съ самой воли хожу съ обчественнымъ стадомъ, до воли тоже былъ у господъ въ пастухахъ, пасъ на этомъ самомъ мѣстѣ и, покеда живу, не помню того лѣтняго дня, чтобы меня тутъ не было. И все время я Божьи дѣла примѣчаю. Приглядѣлся я, братъ, за свой вѣкъ и такъ теперь понимаю, что всякая растенія на убыль пошла. Рожь ли взять, овощь ли, цвѣтикъ ли какой, все къ одному клонится.

— Зато народъ лучше сталъ,—замѣтилъ приказчикъ.

— Чѣмъ это лучше?

— Умнѣй.

— Умнѣй-то умнѣй, это вѣрно, паря, да что съ того толку? На кой прахъ людямъ умъ передъ погибелью-то? Пропадать и безъ всякаго ума можно. Къ чему охотнику умъ, коли дичи нѣтъ? Я такъ разсуждаю, что Богъ человѣку умъ далъ, а силу взялъ. Слабъ народъ сталъ, до чрезвычайности слабъ. Къ примѣру меня взять... Грошъ мнѣ цѣна, во всей деревнѣ я самый послѣдній мужикъ, а все-таки, паря, сила есть. Ты вотъ гляди, мнѣ седьмой десятокъ, а я день-денской пасу, да еще ночное стерегу за другривенный и спать не сплю, и не зябну; сынъ мой умнѣй меня, а поставь его замѣсто меня, такъ онъ завтра же прибавки запроситъ, или лѣчиться пойдетъ. Такъ-тось. Я, акромѣ хлѣбушка, ничего не потребляю, потому «хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь», и отецъ мой, акромѣ хлѣба, ничего не ѣлъ, и дѣдъ, а нынѣшнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему отъ зари до зари, и лѣчиться, и всякое баловство. А почему? Слабъ сталъ, силы въ немъ нѣтъ вытерпѣть. Онъ и радъ бы не спать, да глаза липнутъ—ничего не подѣлаешь.

— Это вѣрно,—согласился Мелитонъ.—Нестоющій нынче мужикъ.

— Нечего грѣха таить, плошаемъ изъ года въ годъ. Ежели теперича въ разсужденіи господъ, то тѣ пуще му-

жика ослабли. Нынѣшній баринъ все превзошелъ, такое знаетъ, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядѣть на него, такъ жалость беретъ... Худенькій, мозглявенькій, словно венгерецъ какой или французъ, ни важности въ немъ, ни вида — одно только званіе, что баринъ. Нѣтъ у него сердешнаго ни мѣста, ни дѣла, и не разберешь, что ему надо. Али оно съ удочкой сидитъ и рыбку ловитъ, али оно лежитъ вверхъ пузомъ и книжку читаетъ, али промежъ мужиковъ топчется и разныя слова говоритъ, а которое голодное, то въ писаря нанимается. Такъ и живетъ пустякомъ, и нѣтъ того въ умѣ, чтобы себя къ настоящему дѣлу приспособить. Прежніе баре наполовину генералы были, а нынѣшніе—сплошной мездрюшка!

— Обѣдняли сильно,—сказалъ Мелитонъ.

— Потому и обѣдняли, что Богъ силу отнялъ. Супротивъ Бога-то не пойдешь.

Мелитонъ опять уставился въ одну точку. Подумавъ немного, онъ вздохнулъ, какъ вздыхаютъ степенные, разсудительные люди, покачалъ головой и сказалъ:

— А все отчего? Грѣшимъ много, Бога забыли... и такое, значитъ, время подошло, чтобы всему конецъ. И то сказать, не вѣкъ же міру вѣковать—пора и честь знать.

Пастухъ вздохнулъ и, какъ бы желая прекратить непріятный разговоръ, отошелъ отъ березы и сталъ считать глазами коровъ.

— Ге-ге-гей!—крикнулъ онъ.—Ге-ге-гей! А чтобъ васъ, нѣтъ на васъ переводу! Занесла въ чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!

Онъ сдѣлалъ сердитое лицо и пошелъ къ кустамъ собирать стадо. Мелитонъ поднялся и тихо побрелъ по опушкѣ. Онъ глядѣлъ себѣ подъ ноги и думалъ; ему все еще хотѣлось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косымъ дождевымъ полосамъ опять поползли свѣтлыя пятна; они прыгнули на верхушки лѣса и угасли въ мокрой листвѣ. Дамка нашла подъ кустомъ ежа и, желая обратить на него вниманіе хозяина, подняла воющій лай.

— Было у васъ затменіе, аль нѣтъ? — крикнулъ изъ-за кустовъ пастухъ.

— Было!—отвѣтилъ Мелитонъ.

— Такъ. Вездѣ народъ жалуется, что было. Значитъ,

братушка, и въ небѣ непорядокъ-то! Недаромъ оно... Ге-ге-гей! гей!

Согнавъ стадо на опушку, пастухъ прислонился къ березѣ, поглядѣлъ на небо, не спѣша вытащилъ изъ-за пазухи свирѣль и заигралъ. Попрежнему игралъ онъ машинально и бралъ не больше пяти-шести нотъ; какъ будто свирѣль попала ему въ руки только первый разъ, звуки вылетали изъ нея нерѣшительно, въ безпорядкѣ, не сливаясь въ мотивъ, но Мелитону, думавшему о погибели міра, слышалось въ игрѣ что-то очень тоскливое и противное, чего бы онъ охотно не слушалъ. Самыя высокія пискливыя ноты, которыя дрожали и обрывались, казалось, неутѣшно плакали, точно свирѣль была больна и испугана, а самыя нижнія ноты почему-то напоминали туманъ, унылыя деревья, сѣрое небо. Такая музыка казалась къ лицу и погодѣ, и старику, и его рѣчамъ.

Мелитону захотѣлось жаловаться. Онъ подошелъ къ старику и, глядя на его грустное, насмѣшливое лицо и на свирѣль, забормоталъ:

— И жить хуже стало, дѣдъ. Совсѣмъ не въ моготу жить. Неурожаи, бѣдность... падежи то и дѣло, болѣзни... Одолѣла нужда.

Пухлое лицо приказчика побагровѣло и приняло тоскующее, бабье выраженіе. Онъ пошевелилъ пальцами, какъ бы ища словъ, чтобы передать свое неопредѣленное чувство, и продолжалъ:

— Восемь человѣкъ дѣтей, жена... и мать еще живая, а жалованья всего-на-всего десять рублей въ мѣсяцъ на своихъ харчахъ. Отъ бѣдности жена осатанѣла... самъ я запоемъ. Человѣкъ я разсудительный, степенный, образованіе имѣю. Мнѣ бы дома сидѣть, въ спокойствіи, а я цѣлый день, какъ собака, съ ружьемъ, потому нѣтъ никакой моей возможности: опротивѣлъ домъ!

Чувствуя, что языкъ бормочетъ вовсе не то, что хотѣлось бы высказать, приказчикъ махнулъ рукой и сказалъ съ горечью:

— Коли погибать міру, такъ ужъ скорѣй бы! Нечего канителить и людей попусту мучить...

Старикъ отнялъ отъ губъ свирѣль и, прищуривъ одинъ глазъ, поглядѣлъ въ ея малое отверстіе. Лицо его было

грустное и, какъ слезами, покрыто крупными брызгами. Онъ улыбнулся и сказалъ:

— Жалко, братушка! И, Боже, какъ жалко! Земля, лѣсъ, небо... тварь всякая — все вѣдь это сотворено, приспособлено, во всемъ умственность есть. Пропадаетъ все ни за грошъ. А пуще всего людей жалко.

Въ лѣсу, приближаясь къ опушкѣ, зашумѣлъ крупный дождь. Мелитонъ поглядѣлъ въ сторону шума, застегнулся на всѣ пуговицы и сказалъ:

— Пойду на деревню. Прощай, дѣдъ. Тебя какъ звать?

— Лука Бѣдный!

— Ну, прощай, Лука! Спасибо на добромъ словѣ. Дамка, иси!

Простившись съ пастухомъ, Мелитонъ поплелся по опушкѣ, а потомъ внизъ по лугу, который постепенно переходилъ въ болото. Подъ ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась къ землѣ, какъ бы боясь, что ее затопчутъ ногами. За болотомъ на берегу Песчанки, о которой говорилъ дѣдъ, стояли ивы, а за ивами въ туманѣ синѣла господская рига. Чувствовалась близость того несчастнаго, ничѣмъ не предотвратимаго времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнѣе, и по стволу ея ползутъ слезы, и лишь одни журавли уходятъ отъ общей бѣды, да и тѣ, точно боясь оскорбить унылую природу выраженіемъ своего счастья, оглашаютъ поднебесье грустной, тоскливой пѣсней.

Мелитонъ плелся къ рѣкѣ и слушалъ, какъ позади него мало-по-малу замирали звуки свирѣли. Ему все еще хотѣлось жаловаться. Печально поглядывалъ онъ по сторонамъ, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лѣсъ, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирѣли пронеслась протяжно въ воздухѣ и задрожала, какъ голосъ плачущаго человѣка, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядокъ, который замѣчался въ природѣ.

Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирѣль смолкла.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ.

(Путевой набросокъ.)

Я возвращался со всенощной. Часы на святогорской колокольнѣ, въ видѣ предисловія, проиграли свою тихую, мелодичную музыку и вслѣдъ за этимъ пробили двѣнадцать. Большой монастырскій дворъ, расположенный на берегу Донца, у подножія Святой Горы, и огороженный, какъ стѣною, высокими гостиными корпусами, теперь, въ ночное время, когда его освѣщали только тусклые фонари, огоньки въ окнахъ да звѣзды, представлялъ изъ себя живую кашу, полную движенія, звуковъ и оригинальнѣйшаго безпорядка. Весь онъ, отъ края до края, куда только хватало зрѣніе, былъ густо запруженъ всякаго рода телѣгами, кибитками, фургонами, арбами, колымагами, около которыхъ толпились темныя и бѣлыя лошади, рогатые волы, суетились люди, сновали во всѣ стороны черные, длиннополые послушники; по возамъ, по головамъ людей и лошадей двигались тѣни и полосы свѣта, бросаемыя изъ оконъ—и все это въ густыхъ сумеркахъ принимало самыя причудливыя, капризныя формы: то поднятыя оглобли вытягивались до неба, то на мордѣ лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черныя крылья... Слышались говоръ, фырканье и жеванье лошадей, дѣтскій пискъ, скрипъ. Въ ворота входили новыя толпы и въѣзжали запоздавшія телѣги.

Сосны, которыя громоздились на отвѣсной горѣ одна надъ другой и склонялись къ крышѣ гостинаго корпуса, глядѣли во дворъ, какъ въ глубокую яму, и удивленно прислушивались; въ ихъ темной чащѣ, не умолкая, кричали ку-

кушки и соловьи... Глядя на сумятицу, прислушиваясь къ шуму, казалось, что въ этой живой кашѣ никто никого не понимаетъ, всѣ чего-то ищутъ и не находятъ, и что этой массѣ телѣгъ, кибитокъ и людей едва ли удастся когда-нибудь разъѣхаться.

Къ днямъ Іоанна Богослова и Николая Чудотворца въ Святыя Горы стеклось болѣе десяти тысячъ. Были биткомъ набиты не только гостиные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярная, каретная... Тѣ, которые явились къ ночи, въ ожиданіи, пока имъ укажутъ мѣсто для ночлега, какъ осеннія мухи, жались у стѣнъ, у колодцевъ, или же въ узкихъ коридорчикахъ гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились въ непрерывномъ движеніи безъ отдыха и безъ надежды на смѣну. Днемъ и позднею ночью они одинаково производили впечатлѣніе людей, куда-то спѣшащихъ и чѣмъ-то встревоженныхъ, лица ихъ, несмотря на крайнее изнеможеніе, одинаково были бодры и привѣтливы, голосъ ласковъ, движенія быстры... Каждому пріѣхавшему и пришедшему они должны были найти и указать мѣсто для ночлега, дать ему поѣсть и напиться; кто былъ глухъ, безтолковъ, или щедръ на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нѣтъ пустыхъ номеровъ, въ какіе часы бываетъ служба, гдѣ продаются просфоры и т. д. Нужно было бѣгать, носить, неумолкаемо говорить, но мало того, нужно еще быть любезнымъ, тактичнымъ, стараться, чтобы маріупольскіе греки, живущіе комфортабельнѣе, чѣмъ хохлы, помѣщались не иначе, какъ съ греками, чтобы какая-нибудь бахмутская или лисичанская мѣщанка, одѣтая «благородно», не попала въ одно помѣщеніе съ мужиками и не обидѣлась. То и дѣло слышались возгласы: — «Батюшка, благословите кваску! Благословите сѣнца!» Или же:—«Батюшка, можно мнѣ послѣ исповѣди воды напиться?» И послушникъ долженъ былъ выдавать квасъ, сѣна, или же отвѣчать:—«Обратитесь, матушка, къ духовнику. Мы не имѣемъ власти разрѣшать». Слѣдовалъ новый вопросъ:—«А гдѣ духовникъ?» И нужно было объяснять, гдѣ келія духовника... При такой хлопотливой дѣятельности хватало еще времени ходить въ церковь на службу, служить на дворянской половинѣ и пространно отвѣчать на массу праздныхъ и непраздныхъ вопросовъ, какими любятъ сыпать интеллигентные бого-

мольцы. Приглядываясь къ нимъ въ теченіе сутокъ, трудно было понять, когда сидятъ и когда спятъ эти черныя, движущіяся фигуры.

Когда я, возвращаясь со всенощной, подошелъ къ корпусу, въ которомъ мнѣ было отведено помѣщеніе, на порогѣ стоялъ монахъ-гостиникъ, а возлѣ него толпилось на ступеняхъ нѣсколько мужчинъ и женщинъ въ городскомъ платьѣ.

— Господинъ, — остановилъ меня гостиникъ: — будьте добры, позвольте вотъ этому молодому человѣку переночевать въ вашемъ номерѣ! Сдѣлайте милость! Народу много, а мѣстъ нѣтъ—просто бѣда!

И онъ указалъ на невысокую фигуру въ легкомъ пальто и въ соломенной шляпѣ. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной. Отпирая у своей двери висячій замочекъ, я всякій разъ, хочешь не хочешь, долженъ былъ смотрѣть на картину, висѣвшую у самаго косяка на уровнѣ моего лица. Эта картина, съ заглавіемъ «Размышленіе о смерти», изображала колѣнопреклоненнаго монаха, который глядѣлъ въ гробъ и на лежавшій въ немъ скелетъ, за спиной монаха стоялъ другой скелетъ покрупнѣе и съ косою.

— Кости такія не бываютъ, — сказалъ мой сожитель, указывая на то мѣсто скелета, гдѣ долженъ быть тазъ.— Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подаютъ народу, не перваго сорта,—добавилъ онъ и испустилъ носомъ протяжный, очень печальный вздохъ, который долженъ былъ показать мнѣ, что я имѣю дѣло съ человѣкомъ, знающимъ толкъ въ духовной пищѣ.

Пока я искалъ спички и зажигалъ свѣчу, онъ еще разъ вздохнулъ и сказалъ:

— Въ Харьковѣ я нѣсколько разъ бывалъ въ анатомическомъ театрѣ и видѣлъ кости. Былъ даже въ мертвецкой. Я не стѣсняю васъ?

Мой номеръ былъ малъ и тѣсенъ, безъ стола и стульевъ, весь занятый комодомъ у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стѣнъ другъ противъ друга и отдѣленными узкимъ проходомъ. На диванчикахъ лежали тощіе, порыжѣвшіе матрасики и мои вещи. Дивановъ было два,—значитъ, номеръ предназначался для двоихъ, на что я и указалъ сожителю.

— Впрочемъ, скоро зазвонятъ къ обѣднѣ, — сказалъ онъ:—и мнѣ недолго придется стѣснять васъ.

Все еще думая, что онъ меня стѣсняетъ, и чувствуя неловкость, онъ виноватою походкою пробрался къ своему диванчику, виновато вздохнулъ и сѣлъ. Когда сальная свѣчка, кивая своимъ лѣнивымъ и тусклымъ огнемъ, достаточно разгорѣлась и освѣтила насъ обоихъ, я могъ уже разглядѣть его. Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-двухъ, круглолицый, миловидный, съ темными дѣтскими глазами, одѣтый по-городски во все сѣренькое и дешевое и, какъ можно было судить по цвѣту лица и по узкимъ плечамъ, не знавшій физическаго труда. Типа онъ казался самаго неопредѣленнаго. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торговаго человѣка, ни тѣмъ паче за рабочаго, а глядя на миловидное лицо и дѣтскіе, ласковые глаза, не хотѣлось думать, что это одинъ изъ тѣхъ праздношатаевъ-пройдохъ, которыми во всѣхъ общежительныхъ пустыняхъ, гдѣ кормятъ и даютъ ночлегъ, хоть прудъ пруди, и которые выдаютъ себя за семинаристовъ, исключенныхъ за правду, или за бывшихъ пѣвчихъ, потерявшихъ голосъ... Было въ его лицѣ что-то характерное, типичное, очень знакомое, но что именно,—я никакъ не могъ понять, ни вспомнить.

Онъ долго молчалъ и о чемъ-то думалъ. Вѣроятно, послѣ того, какъ я не оцѣнилъ его замѣчанія насчетъ костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердитъ и не радъ его присутствію. Вытащивъ изъ кармана колбасу, онъ повертѣлъ ее передъ глазами и сказалъ нерѣшительно:

— Извините, я васъ побезпокою... У васъ нѣтъ ножика?

Я далъ ему ножъ.

— Колбаса отвратительная, — поморщился онъ, отрѣзывая себѣ кусочекъ.—Въ здѣшней лавочкѣ продаютъ дрянь, но дерутъ ужасно... Я бы вамъ одолжилъ кусочекъ, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите?

Въ его «одолжилъ» и «кушать» слышалось тоже что-то типичное, имѣвшее очень много общаго съ характернымъ въ лицѣ, но что именно, я все еще не могъ никакъ понять. Чтобы внушить къ себѣ довѣріе и показать, что я вовсе не сержусь, я взялъ предложенный имъ кусочекъ. Колбаса, дѣйствительно, была ужасная; чтобы сладить съ ней, нужно было имѣть зубы хорошей цѣпной собаки. Ра-

ботая челюстями, мы разговорились. Начали съ того, что пожаловались другъ другу на продолжительность службы.

— Здѣшній уставъ приближается къ аѳонскому, — сказалъ я: — но на Аѳонѣ обыкновенная всенощная продолжается 10 часовъ, а подъ большіе праздники — 14. Вотъ тамъ бы вамъ помолиться!

— Да!—сказалъ мой сожитель и покрутилъ головой.—Я здѣсь три недѣли живу. И знаете ли, каждый день служба, каждый день служба... Въ будни въ 12 часовъ звонятъ къ заутренѣ, въ 5 часовъ къ ранней обѣднѣ, въ 9—къ поздней. Спать совсѣмъ невозможно. Днемъ же акаѳисты, правила, вечерни... А когда я говѣлъ, такъ просто падалъ отъ утомленія.—Онъ вздохнулъ и продолжалъ:—А не ходить въ церковь неловко... Даютъ монахи номеръ, кормятъ, и какъ-то, знаете ли, совѣстно не ходить. Оно ничего, день, два, пожалуй, можно постоять, но три недѣли тяжело! Очень тяжело! Вы надолго сюда?

— Завтра вечеромъ уѣзжаю.

— А я еще двѣ недѣли проживу.

— Но здѣсь, кажется, не принято такъ долго жить?— сказалъ я.

— Да, это вѣрно, кто здѣсь долго живетъ и объѣдаетъ монаховъ, того просятъ уѣхать. Судите сами, если позволить пролетаріямъ жить здѣсь сколько имъ угодно, то не останется ни одного свободнаго номера, и они весь монастырь съѣдятъ. Это вѣрно. Но для меня монахи дѣлаютъ исключеніе и, надѣюсь, еще не скоро меня отсюда прогонятъ. Я, знаете ли, новообращенный.

— То-есть?

— Я еврей, выкрестъ... Недавно принялъ православіе. Теперь я уже понялъ то, чего раньше никакъ не могъ понять на его лицѣ: и толстыя губы, и манеру во время разговора приподнимать правый уголъ рта и правую бровь, и тотъ особенный маслянистый блескъ глазъ, который присущъ однимъ только семитамъ, понялъ я и «одолжилъ», и «кушать»... Изъ дальнѣйшаго разговора я узналъ, что его зовутъ Александромъ Иванычемъ, а раньше звали Исаакомъ, что онъ уроженецъ Могилевской губерніи и въ Святыя Горы попалъ изъ Новочеркасска, гдѣ принималъ православіе.

Одолѣвъ колбасу, Александръ Иванычъ всталъ и, при-

поднявъ правую бровь, помолился на образъ. Бровь такъ и осталась приподнятой, когда онъ затѣмъ опять сѣлъ на диванчикъ и сталъ разсказывать мнѣ вкратцѣ свою длинную біографію.

— Съ самаго ранняго дѣтства я питалъ любовь къ ученію,—началъ онъ такимъ тономъ, какъ будто говорилъ не о себѣ, а о какомъ-то умершемъ великомъ человѣкѣ.—Мои родители—бѣдные евреи, занимаются грошевой торговлей, живутъ, знаете ли, по-нищенски, грязно. Вообще, весь народъ тамъ бѣдный и суевѣрный, ученія не любятъ, потому что образованіе, понятно, отдаляетъ человѣка отъ религіи... Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотѣли учить меня, а хотѣли, чтобы я тоже занялся торговлей и не зналъ ничего, кромѣ талмуда... Но всю жизнь биться изъ-за куска хлѣба, болтаясь въ грязи, жевать этотъ талмудъ, согласитесь, не всякій можетъ. Бывало, въ корчму къ папашѣ заѣзжали офицеры и помѣщики, которые разсказывали много такого, чего я тогда и во снѣ не видалъ, ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакалъ и просилъ, чтобы меня отдали въ школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Разъ я нашелъ русскую газету, принесъ ее домой, чтобы изъ нея сдѣлать змѣй, такъ меня побили за это, хотя я и не умѣлъ читать по-русски. Конечно, безъ фанатизма нельзя, потому что каждый народъ инстинктивно бережетъ свою народность, но я тогда этого не зналъ и очень возмущался...

Сказавъ такую умную фразу, бывшій Исаакъ отъ удовольствія поднялъ правую бровь еще выше и поглядѣлъ на меня какъ-то бокомъ, какъ пѣтухъ на зерно, и съ такимъ видомъ, точно хотѣлъ сказать: «Теперь, наконецъ, вы убѣдились, что я умный человѣкъ?» Поговоривъ еще о фанатизмѣ и о своемъ непреодолимомъ стремленіи къ просвѣщенію, онъ продолжалъ:

— Что было дѣлать! Я взялъ и бѣжалъ въ Смоленскъ. А тамъ у меня былъ двоюродный братъ, который лудилъ посуду и дѣлалъ жестянки. Понятно, я нанялся къ нему въ подмастерья, такъ какъ жить мнѣ было нечѣмъ, ходилъ я босикомъ и оборванный... Думалъ такъ, что днемъ буду работать, а ночью и по субботамъ учиться. Я такъ и дѣлалъ, но узнала полиція, что я безъ паспорта, и отправила меня по этапу назадъ къ отцу...

Александръ Иванычъ пожалъ однимъ плечомъ и вздохнулъ.

— Что будешь дѣлать! — продолжалъ онъ, и чѣмъ ярче воскресало въ немъ прошлое, тѣмъ сильнѣе чувствовался въ его рѣчи еврейскій акцентъ. — Родители наказали меня и отдали дѣдушкѣ, старому еврею-фанатику, на исправленіе. Но я ночью ушелъ въ Шкловъ. А когда въ Шкловѣ ловилъ меня мой дядя, я пошелъ въ Могилевъ; тамъ пробылъ два дня и съ товарищемъ пошелъ въ Стародубъ.

Далѣе разсказчикъ перебралъ въ своихъ воспоминаніяхъ Гомель, Кіевъ, Бѣлую Церковь, Умань, Балту, Бендеры и, наконецъ, добрался до Одессы.

— Въ Одессѣ я цѣлую недѣлю ходилъ безъ дѣла и голодный, пока меня не приняли евреи, которые ходятъ по городу и покупаютъ старое платье. Я ужъ умѣлъ тогда читать и писать, зналъ ариѳметику до дробей и хотѣлъ поступить куда-нибудь учиться, но не было средствъ. Что дѣлать! Полгода ходилъ я по Одессѣ и покупалъ старое платье, но евреи, мошенники, не дали мнѣ жалованья, я обидѣлся и ушелъ. Потомъ на пароходѣ я уѣхалъ въ Перекопъ.

— Зачѣмъ?

— Такъ. Одинъ грекъ обѣщалъ мнѣ дать тамъ мѣсто. Однимъ словомъ, до 16-ти лѣтъ ходилъ я такъ, безъ опредѣленнаго дѣла и безъ почвы, пока не попалъ въ Полтаву. Тутъ одинъ студентъ-еврей узналъ, что я желаю учиться, и далъ мнѣ письмо къ харьковскимъ студентамъ. Конечно, я пошелъ въ Харьковъ. Студенты посовѣтовались и начали готовить меня въ техническое училище. И знаете, я вамъ скажу, студенты мнѣ попались такіе, что я не забуду ихъ до самой смерти. Не говорю ужъ про то, что они дали мнѣ квартиру и кусокъ хлѣба, они поставили меня на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цѣль жизни. Между ними были умные, замѣчательные люди, которые ужъ и теперь извѣстны. Напримѣръ, вы слыхали про Грумахера?

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Не слыхали... Писалъ очень умныя статьи въ харьковскихъ газетахъ и готовился въ профессора. Ну, я много читалъ, участвовалъ въ студенческихъ кружкахъ, гдѣ не услышишь пошлостей. Приготовлялся я полгода, но такъ

какъ для техническаго училища нужно знать весь гимназическій курсъ математики, то Грумахеръ посовѣтовалъ мнѣ готовиться въ ветеринарный институтъ, куда принимаютъ изъ шестого класса гимназіи. Конечно, я сталъ готовиться. Я не желалъ быть ветеринаромъ, но мнѣ говорили, что кончившихъ курсъ въ институтѣ принимаютъ безъ экзамена на третій курсъ медицинскаго факультета. Я выучилъ всего Кюнера, ужъ читалъ аливруверъ Корнелія Непота и по греческому языку прошелъ почти всего Курціуса, но, знаете ли, то да се... студенты разъѣхались, неопредѣленность положенія, а тутъ еще я услыхалъ, что пріѣхала моя мамаша и ищетъ меня по всему Харькову. Тогда я взялъ и уѣхалъ. Что будешь дѣлать! Но къ счастью, я узналъ, что здѣсь на донецкой дорогѣ есть горное училище. Отчего не поступить? Вѣдь вы знаете, горное училище даетъ права штегера — должность великолѣпная, а я знаю шахты, гдѣ штегера получаютъ полторы тысячи въ годъ. Отлично... Я поступилъ.

Александръ Иванычъ съ выраженіемъ благоговѣйнаго страха на лицѣ перечислилъ дюжины двѣ замысловатыхъ наукъ, преподаваемыхъ въ горномъ училищѣ, и описалъ самое училище, устройство шахтъ, положеніе рабочихъ... Затѣмъ онъ разсказалъ страшную исторію, похожую на вымыселъ, но которой я не могъ не повѣрить, потому что ужъ слишкомъ искрененъ былъ тонъ разсказчика и слишкомъ откровенно выраженіе ужаса на его семитическомъ лицѣ.

— А во время практическихъ занятій, какой однажды былъ со мной случай! — разсказывалъ онъ, поднявъ обѣ брови. — Былъ я на однѣхъ шахтахъ тутъ, въ Донецкомъ округѣ. А вы вѣдь видѣли, какъ люди спускаются въ самый рудникъ. Помните, когда гонятъ лошадь и приводятъ въ движеніе воротъ, то по блоку одна бадья спускается въ рудникъ, а другая поднимается, когда же начнутъ поднимать первую, тогда опускается вторая—все равно, какъ въ колодцѣ съ двумя ушатами. Ну, сѣлъ я однажды въ бадью, начинаю спускаться внизъ, и можете себѣ представить, вдругъ слышу — тррр! Цѣпь разорвалась и я полетѣлъ къ чорту вмѣстѣ съ бадьей и обрывкомъ цѣпи... Упалъ съ трехсаженной вышины прямо грудью и животомъ, а бадья, какъ болѣе тяжелая вещь, упала раньше меня и я ударился вотъ этимъ плечомъ объ ея ребро. Лежу, знаете,

огорошенный, думаю, что убился на смерть, и вдругъ вижу—новая бѣда: другая бадья, что поднималась вверхъ, потеряла противовѣсъ и съ грохотомъ опускается внизъ прямо на меня... Что будете дѣлать? Видя такой фактъ, я прижался къ стѣнѣ, съежился, жду что вотъ вотъ сейчасъ эта бадья со всего размаха трахнетъ меня по головѣ, вспоминаю папашу и мамашу, и Могилевъ, и Грумахера... молюсь Богу, но къ счастью... Даже вспомнить страшно.

Александръ Иванычъ насильно улыбнулся и вытеръ ладонью лобъ.

— Но къ счастью, она упала возлѣ и только слегка зацѣпила этотъ бокъ... Содрала, знаете, съ этого бока сюртукъ, сорочку и кожу... Сила страшная. Потомъ я былъ безъ чувствъ. Меня вытащили и отправили въ больницу. Лѣчился я четыре мѣсяца, и доктора сказали, что у меня будетъ чахотка. Я теперь всегда кашляю, грудь болитъ и страшное психологическое разстройство... Когда я остаюсь одинъ въ комнатѣ, мнѣ бываетъ очень страшно. Конечно, при такомъ здоровьѣ уже нельзя быть штегеромъ. Пришлось бросить горное училище...

— А теперь чѣмъ вы занимаетесь?—спросилъ я.

— Я держалъ экзаменъ на сельскаго учителя. Теперь вѣдь я православный и имѣю право быть учителемъ. Въ Новочеркасскѣ, гдѣ я крестился, во мнѣ приняли большое участіе и обѣщали мѣсто въ церковно-приходской школѣ. Черезъ двѣ недѣли поѣду туда и опять буду просить.

Александръ Иванычъ снялъ пальто и остался въ одной сорочкѣ съ вышитымъ русскимъ воротомъ и съ шерстянымъ поясомъ.

— Спать пора,— сказалъ онъ, кладя въ изголовье свое пальто и зѣвая.—Я, знаете ли, до послѣдняго времени совсѣмъ не зналъ Бога. Я былъ атеистъ. Когда лежалъ въ больницѣ, я вспомнилъ о религіи и началъ думать на эту тему. По моему мнѣнію, для мыслящаго человѣка возможна только одна религія, а именно христіанская. Если не вѣришь въ Христа, то ужъ больше не во что вѣрить... Не правда ли? Іудаизмъ отжилъ свой вѣкъ и держится еще только благодаря особенностямъ еврейскаго племени. Когда цивилизація коснется евреевъ, то изъ іудаизма не останется и слѣда. Вы замѣтьте, всѣ молодые евреи уже ате-

исты. Новый Завѣтъ есть естественное продолженіе Ветхаго. Не правда ли?

Я сталъ вывѣдывать у него причины, побудившія его на такой серьезный и смѣлый шагъ, какъ перемѣна религіи, но онъ твердилъ мнѣ только одно, что «Новый Завѣтъ есть естественное продолженіе Ветхаго» — фразу, очевидно, чужую и заученную, и которая совсѣмъ не разъясняла вопроса. Какъ я ни бился и ни хитрилъ, причины остались для меня темными. Если можно было вѣрить, что онъ, какъ утверждалъ, принялъ православіе по убѣжденію, то въ чемъ состояло и на чемъ зиждилось это убѣжденіе — изъ его словъ понять было невозможно; предположить же, что онъ перемѣнилъ вѣру ради выгоды, было тоже нельзя: дешевая, поношенная одежонка, проживаніе на монастырскихъ хлѣбахъ и неопредѣленное будущее мало походили на выгоды. Оставалось только помириться на мысли, что перемѣнить религію побудилъ моего сожителя тотъ же самый безпокойный духъ, который бросалъ его, какъ щепку, изъ города въ городъ, и который онъ, по общепринятому шаблону, называлъ стремленіемъ къ просвѣщенію.

Передъ тѣмъ какъ ложиться спать, я вышелъ въ коридоръ, чтобы напиться воды. Когда я вернулся, мой сожитель стоялъ среди номера и испуганно глядѣлъ на меня. Лицо его было блѣдно-сѣро и на лбу блестѣлъ потъ.

— У меня ужасно нервы разстроены, — пробормоталъ онъ, болѣзненно улыбаясь: — ужасно! Сильное психологическое разстройство. Впрочемъ, все это пустяки.

И онъ опять сталъ толковать о томъ, что Новый Завѣтъ есть естественное продолженіе Ветхаго, что іудаизмъ отжилъ свой вѣкъ. Подбирая фразы, онъ какъ будто старался собрать всѣ силы своего убѣжденія и заглушить ими безпокойство души, доказать себѣ, что, перемѣнивъ религію отцовъ, онъ не сдѣлалъ ничего страшнаго и особеннаго, а поступилъ, какъ человѣкъ мыслящій и свободный отъ предразсудковъ, и что поэтому онъ смѣло можетъ оставаться въ комнатѣ одинъ-на-одинъ со своею совѣстью. Онъ убѣждалъ себя и глазами просилъ у меня помощи...

Между тѣмъ на сальной свѣчкѣ нагорѣлъ большой, неуклюжій фитиль. Уже свѣтало. Въ хмурое, посинѣвшее окошко видны были уже ясно оба берега Донца и дубовая роща за рѣкой. Нужно было спать.

— Завтра здѣсь будетъ очень интересно,—сказалъ мой сожитель, когда я потушилъ свѣчку и легъ. — Послѣ ранней обѣдни крестный ходъ поѣдетъ на лодкахъ изъ монастыря въ скитъ.

Поднявъ правую бровь и склонивъ голову на бокъ, онъ помолился образу и, не раздѣваясь, легъ на свой диванчикъ.

— Да,—сказалъ онъ, повернувшись на другой бокъ.

— Что—да?—спросилъ я.

— Когда я въ Новочеркасскѣ принялъ православіе, моя мамаша искала меня въ Ростовѣ. Она чувствовала, что я хочу перемѣнить вѣру.—Онъ вздохнулъ и продолжалъ:—Уже шесть лѣтъ какъ я не былъ тамъ, въ Могилевской губерніи. Сестра, должно-быть, уже замужъ вышла.

Помолчавъ немного и видя, что я еще не уснулъ, онъ сталъ тихо говорить о томъ, что скоро, слава Богу, ему дадутъ мѣсто, и онъ, наконецъ, будетъ имѣть свой уголъ, опредѣленное положеніе, опредѣленную пищу на каждый день... Я же, засыпая, думалъ, что этотъ человѣкъ никогда не будетъ имѣть ни своего угла, ни опредѣленнаго положенія, ни опредѣленной пищи. Объ учительскомъ мѣстѣ онъ мечталъ вслухъ, какъ объ обѣтованной землѣ; подобно большинству людей, онъ питалъ предубѣжденіе къ скитальчеству и считалъ его чѣмъ-то необыкновеннымъ, чуждымъ и случайнымъ, какъ болѣзнь, и искалъ спасенія въ обыкновенной будничной жизни. Въ тонѣ его голоса слышались сознаніе своей ненормальности и сожалѣніе. Онъ какъ будто оправдывался и извинялся.

Не далѣе какъ на аршинъ отъ меня лежалъ скиталецъ: за стѣнами въ номерахъ и во дворѣ, около телѣгъ, среди богомольцевъ не одна сотня такихъ же скитальцевъ ожидала утра, а еще дальше, если сумѣть представить себѣ всю русскую землю, какое множество такихъ же перекати-поле, ища гдѣ лучше, шагало теперь по большимъ и проселочнымъ дорогамъ или, въ ожиданіи разсвѣта, дремало въ постоялыхъ дворахъ, корчмахъ, гостиницахъ, на травѣ подъ небомъ... Засыпая, я воображалъ себѣ, какъ бы удивились и, быть-можетъ, даже обрадовались всѣ эти люди, если бы нашлись разумъ и языкъ, которые сумѣли бы доказать имъ, что ихъ жизнь такъ же мало нуждается въ оправданіи, какъ и всякая другая.

Во снѣ я слышалъ, какъ за дверями жалобно, точно за-

ливаясь горючими слезами, прозвонилъ колокольчикъ, и послушникъ прокричалъ нѣсколько разъ:

— Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ! Пожалуйте къ обѣднѣ!

Когда я проснулся, моего сожителя уже не было въ номерѣ. Было солнечно и за окномъ шумѣлъ народъ. Выйдя, я узналъ, что обѣдня уже кончилась и крестный ходъ давно уже отправился въ скитъ. Народъ толпами бродилъ по берегу и, чувствуя себя празднымъ, не зналъ, чѣмъ занять себя; ѣсть и пить было нельзя, такъ какъ въ скиту еще не кончилась поздняя обѣдня; монастырскія лавки, гдѣ богомольцы такъ любятъ толкаться и прицѣниваться, были еще заперты. Многіе, несмотря на утомленіе, отъ скуки брели въ скитъ. Тропинка отъ монастыря до скита, куда я отправился, змѣей вилась по высокому крутому берегу то вверхъ, то внизъ, огибая дубы и сосны. Внизу блестѣлъ Донецъ и отражалъ въ себѣ солнце, вверху бѣлѣлъ мѣловой скалистый берегъ и ярко зеленѣла на немъ молодая зелень дубовъ и сосенъ, которые, нависая другъ надъ другомъ, какъ-то ухитряются расти почти на отвѣсной скалѣ и не падать. По тропинкѣ гуськомъ тянулись богомольцы. Всего больше было хохловъ изъ сосѣднихъ уѣздовъ, но было много и дальнихъ, пришедшихъ пѣшкомъ изъ Курской и Орловской губерній; въ пестрой вереницѣ попадались и маріупольскіе греки-хуторяне, сильные, степенные и ласковые люди, далеко непохожіе на тѣхъ своихъ хилыхъ и вырождающихся единоплеменниковъ, которые наполняютъ наши южные приморскіе города; были тутъ и донцы съ красными лампасами, и тавричане, выселенцы изъ Таврической губерніи. Было здѣсь много богомольцевъ и неопредѣленнаго типа, въ родѣ моего Александра Иваныча: что они за люди и откуда, нельзя было понять ни по лицамъ, ни по одеждѣ, ни по рѣчамъ.

Тропинка оканчивалась у маленькаго плота, отъ котораго, прорѣзывая гору, шло влѣво къ скиту неширокое шоссе. У плота стояли двѣ большія, тяжелыя лодки, угрюмаго вида, въ родѣ тѣхъ новозеландскихъ пирогъ, которыя можно видѣть въ книгахъ Жюля Верна. Одна лодка, съ коврами на скамьяхъ, предназначалась для духовенства и пѣвчихъ, другая безъ ковровъ—для публики. Когда крестный ходъ плылъ обратно въ монастырь, я находился въ

числѣ избранныхъ, сумѣвшихъ протискаться во вторую. Избранныхъ набралось такъ много, что лодка еле двигалась, и всю дорогу приходилось стоять, не шевелиться и спасать свою шляпу отъ ломки. Путь казался прекраснымъ. Оба берега — одинъ высокій, крутой, бѣлый съ нависшими соснами и дубами, съ народомъ, спѣшившимъ обратно по тропинкѣ, и другой—отлогій, съ зелеными лугами и дубовой рощей, — залитые свѣтомъ, имѣли такой счастливый и восторженный видъ, какъ будто только имъ однимъ было обязано майское утро своею прелестью. Отраженіе солнца въ быстро текущемъ Донцѣ дрожало, расползалось во всѣ стороны, и его длинные лучи играли на ризахъ духовенства, на хоругвяхъ, въ брызгахъ, бросаемыхъ веслами. Пѣніе пасхальнаго канона, колокольный звонъ, удары веселъ по водѣ, крикъ птицъ—все это мѣшалось въ воздухѣ въ нѣчто гармоническое и нѣжное. Лодка съ духовенствомъ и хоругвями плыла впереди. На ея кормѣ неподвижно, какъ статуя, стоялъ черный послушникъ.

Когда крестный ходъ приближался къ монастырю, я замѣтилъ среди избранныхъ Александра Иваныча. Онъ стоялъ впереди всѣхъ и, раскрывъ ротъ отъ удовольствія, поднявъ вверхъ правую бровь, глядѣлъ на процессію. Лицо его сіяло; вѣроятно, въ эти минуты, когда кругомъ было столько народу и такъ свѣтло, онъ былъ доволенъ и собой, и новой вѣрой, и своею совѣстью.

Когда, немного погодя, мы сидѣли въ номерѣ и пили чай, онъ все еще сіялъ довольствомъ; лицо его говорило, что онъ доволенъ и чаемъ, и мной, вполнѣ цѣнитъ мою интеллигентность, но что и самъ не ударитъ лицомъ въ грязь, если рѣчь зайдетъ о чемъ-нибудь этакомъ...

— Скажите, какую бы мнѣ почитать психологію?—началъ онъ умный разговоръ, сильно морща носъ.

— А для чего вамъ?

— Безъ знанія психологіи нельзя быть учителемъ. Прежде чѣмъ учить мальчика, я долженъ узнать его душу.

Я сказалъ ему, что одной психологіи мало для того, чтобы узнать душу мальчика, и къ тому же психологія для такого педагога, который еще не усвоилъ себѣ техническихъ пріемовъ обученія грамотѣ и ариѳметикѣ, является такою же роскошью, какъ высшая математика. Онъ охотно согласился со мной и сталъ описывать, какъ тяжела и

отвѣтственна должность учителя, какъ трудно искоренить въ мальчикѣ наклонность къ злу и суевѣрію, заставить его мыслить самостоятельно и честно, внушить ему истинную религію, идею личности, свободы и проч. Въ отвѣтъ на это я сказалъ ему что-то. Онъ опять согласился. Вообще онъ очень охотно соглашался. Очевидно, все «умное» непрочно сидѣло въ его головѣ.

До самаго моего отъѣзда мы вмѣстѣ слонялись около монастыря и коротали длинный, жаркій день. Онъ не отставалъ отъ меня ни на шагъ; привязался ли онъ ко мнѣ, или же боялся одиночества, Богъ его знаетъ! Помню, мы сидѣли вмѣстѣ подъ кустами желтой акаціи въ одномъ изъ садиковъ, разбросанныхъ по горѣ.

— Черезъ двѣ недѣли я уйду отсюда,—сказалъ онъ.— Пора!

— Вы пѣшкомъ?

— Отсюда до Славянска пѣшкомъ, потомъ по желѣзной дорогѣ до Никитовки. Отъ Никитовки начинается вѣтвь донецкой дороги. По этой вѣтви я до Хацепетовки дойду пѣшкомъ, а тамъ дальше провезетъ меня знакомый кондукторъ.

Я вспомнилъ голую, пустынную степь между Никитовкой и Хацепетовкой и вообразилъ себѣ шагающаго по ней Александра Иваныча съ его сомнѣніями, тоской по родинѣ и страхомъ одиночества... Онъ прочелъ на моемъ лицѣ скуку и вздохнулъ.

«А сестра, должно-быть, уже замужъ вышла!»—подумалъ онъ вслухъ и тотчасъ же, желая отвязаться отъ грустныхъ мыслей, указалъ на верхушку скалы и сказалъ:

— Съ этой горы Изюмъ видно.

Во время прогулки по горѣ съ нимъ случилось маленькое несчастье: вѣроятно спотыкнувшись, онъ порвалъ свои сарпинковыя брюки и сбилъ съ башмака подошву.

— Тс...—поморщился онъ, снимая башмакъ и показывая босую ногу безъ чулка.—Непріятно... Это, знаете ли, такое осложненіе, которое... Да!

Вертя передъ глазами башмакъ и какъ бы не вѣря, что подошва погибла навѣки, онъ долго морщился, вздыхалъ и причмокивалъ. У меня въ чемоданѣ были полуштиблеты старые, но модные, съ острыми носами и тесемками; я бралъ ихъ съ собою на всякій случай и носилъ только въ сырую погоду. Вернувшись въ номеръ, я придумалъ фразу

подипломатичнѣе и предложилъ ему эти полуштиблеты. Онъ принялъ и сказалъ важно:

— Я бы поблагодарилъ васъ, но знаю, что вы благодарность считаете предразсудкомъ.

Острые носы и тесемки полуштиблетовъ растрогали его, какъ ребенка, и даже измѣнили его планы.

— Теперь я пойду въ Новочеркасскъ не черезъ двѣ недѣли, а черезъ недѣлю,—размышлялъ онъ вслухъ.—Въ такихъ башмакахъ не совѣстно будетъ явиться къ крестному папашѣ. Я собственно не уѣзжалъ отсюду потому, что у меня приличной одежи нѣтъ...

Когда ямщикъ выносилъ мой чемоданъ, вошелъ послушникъ съ хорошимъ насмѣшливымъ лицомъ, чтобы подмести въ номерѣ. Александръ Иванычъ какъ-то заторопился, сконфузился и робко спросилъ у него:

— Мнѣ здѣсь оставаться, или въ другое мѣсто идти?

Онъ не рѣшался занять своею особою цѣлый номеръ и, повидимому, уже стыдился того, что жилъ на монастырскихъ хлѣбахъ. Ему очень не хотѣлось разставаться со мной; чтобы по возможности отдалить одиночество, онъ попросилъ позволенія проводить меня.

Дорога изъ монастыря, прорытая къ мѣловой горѣ и стоившая не малыхъ трудовъ, шла вверхъ, въ объѣздъ горы, почти спирально, по корнямъ, подъ нависшими суровыми соснами... Сначала скрылся съ глазъ Донецъ, за нимъ монастырскій дворъ съ тысячами людей, потомъ зеленыя крыши... Оттого, что я поднимался, все казалось мнѣ исчезавшимъ въ ямѣ. Соборный крестъ, раскаленный отъ лучей заходящаго солнца, ярко сверкнулъ въ пропасти и исчезъ. Остались одни только сосны, дубы и бѣлая дорога. Но вотъ коляска въѣхала на ровное поле, и все это осталось внизу и позади; Александръ Иванычъ спрыгнулъ и, грустно улыбнувшись, взглянулъ на меня въ послѣдній разъ своими дѣтскими глазами, сталъ спускаться внизъ и исчезъ для меня навсегда...

Святогорскія впечатлѣнія стали уже воспоминаніями, и я видѣлъ новое: ровное поле, бѣловато-бурую даль, рощицу у дороги, а за нею вѣтряную мельницу, которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей не позволяютъ махать крыльями.

ЗАДАЧА.

Чтобы фамильная тайна Усковыхъ не проскользнула какъ-нибудь изъ дома на улицу, приняты строжайшія мѣры. Одна половина прислуги отпущена въ театръ и въ циркъ, другая—безвыходно сидитъ въ кухнѣ. Отданъ приказъ никого не принимать. Жена дяди-полковника, ея сестра и гувернантка, хотя и посвящены въ тайну, но дѣлаютъ видъ, что ничего не знаютъ; онѣ сидятъ въ столовой и не показываются ни въ гостиную, ни въ залу.

Саша Усковъ, молодой человѣкъ, 25-ти лѣтъ, изъ-за котораго весь сыръ-боръ загорѣлся, давно уже пришелъ и, какъ совѣтовалъ ему его заступникъ, дядя по матери, добрѣйшій Иванъ Марковичъ, смиренно сидитъ въ залѣ около двери, идущей въ кабинетъ, и готовитъ себя къ откровенному, искреннему объясненію.

За дверью въ кабинетѣ происходитъ семейный совѣтъ. Разговоръ идетъ на очень непріятную и щекотливую тему. Дѣло въ томъ, что Саша Усковъ учелъ въ одной изъ банкирскихъ конторъ фальшивый вексель, которому три дня тому назадъ минулъ срокъ, и теперь двое дядей по отцу и Иванъ Марковичъ—дядя по матери—рѣшаютъ задачу: заплатить ли имъ по векселю и спасти фамильную честь, или же умыть руки и предоставить дѣло судебной власти?

Для людей постороннихъ и не заинтересованныхъ подобные вопросы представляются легкими, для тѣхъ же, на долю которыхъ выпадаетъ несчастье рѣшать ихъ серьезно, они чрезвычайно трудны. Дяди говорятъ уже давно, но рѣшеніе задачи не подвинулось впередъ ни на шагъ.

— Господа!—говоритъ дядя-полковникъ, и въ голосѣ его слышатся утомленіе и горечь.—Господа, кто говоритъ, что фамильная честь предразсудокъ? Я этого вовсе не говорю. Я только предостерегаю васъ отъ ложнаго взгляда, указываю на возможность непростительной ошибки. Какъ вы этого не поймете? Вѣдь я не по-китайски говорю, а по-русски!

— Голубчикъ, мы понимаемъ,—кротко заявляетъ Иванъ Марковичъ.

— Какъ же вы понимаете, если говорите, что я отрицаю фамильную честь? Повторяю еще разъ: фа-миль-ная честь, лож-но по-ни-ма-е-мая, есть предразсудокъ. Ложно понимаемая! Вотъ что я говорю! Изъ какихъ бы то ни было побужденій укрывать и оставлять безнаказаннымъ мошенника, кто бы онъ ни былъ, это противозаконно и недостойно порядочнаго человѣка, это—не спасеніе фамильной чести, а гражданская трусость! Возьмите вы въ примѣръ армію... Честь арміи для насъ дороже всякихъ другихъ честей, однако же мы не укрываемъ своихъ преступныхъ членовъ, а судимъ ихъ. И что же? Развѣ отъ этого страдаетъ честь арміи? Напротивъ!

Другой дядя по отцу, чиновникъ казенной палаты, человѣкъ молчаливый, недалекій и ревматическій, молчитъ, или же говоритъ только о томъ, что въ случаѣ возникновенія процесса фамилія Усковыхъ попадетъ въ газеты; по его мнѣнію, дѣло слѣдуетъ потушить въ самомъ началѣ и не предавать его огласкѣ, но, кромѣ ссылокъ на газеты, онъ ничѣмъ другимъ не поясняетъ этого своего мнѣнія.

Дядя по матери, добрѣйшій Иванъ Марковичъ, говоритъ плавно, мягко и съ дрожью въ голосѣ. Начинаетъ онъ съ того, что молодость имѣетъ свои права и что ей свойственны увлеченія. Кто изъ насъ не былъ молодъ и кто не увлекался? Не говоря ужъ объ обыкновенныхъ смертныхъ, даже великіе умы въ молодости не избѣгали увлеченій и ошибокъ. Возьмите, напримѣръ, біографіи великихъ писателей. Кто изъ нихъ, будучи молодымъ, не проигрывалъ, не пропивалъ, не навлекалъ на себя гнѣва людей здравомыслящихъ? Если же увлеченіе Саши граничитъ съ преступленіемъ, то нужно принять во вниманіе, что онъ, Саша, не получилъ почти никакого образованія: его исключили изъ пятаго класса гимназіи. Родителей лишился онъ въ раннемъ дѣтствѣ и такимъ образомъ въ самомъ нѣж-

...ора и хорошихъ. благо-
... нервный. легко возбуждаю-
... почвы. а главное—обой-
...ченъ онъ. то во всякомъ
...ія и участія всѣхъ сострa-
...го. конечно. слѣдуетъ. но онъ
... совѣстью и мученіями. кото-
...ръ. ожидая приговора своихъ
...ъ арміей. которое сдѣлалъ пол-
...ть честь его высокому уму;
...вству говоритъ о благородствѣ
...вать. что гражданинъ въ каж-
...умѣ тѣсно связанъ съ христіа-

... гражданскій долгъ.- вдохновенно
...вичъ:- если вмѣсто того. чтобы
...ника, мы протянемъ ему руку по-

...ичъ говоритъ о фамильной чести.
...ти принадлежать къ роду Уско-
..., что этотъ знаменитый родъ ве-
... XIII вѣка: онъ также ни на минуту
...забвенная. горячо любимая сестра
... представителей этого рода. Однимъ
...ля него дорогъ по многимъ причи-
...лаетъ мысли. чтобы изъ-за какихъ-
...ъ рублей упала тѣнь на стоящее
...альническое перево. Если всѣ изло-
...аточно убѣдительны. то въ заключе-
... Марковичъ. предлагаетъ слушателямъ
... собственно преступленіе? Преступ-
...вное дѣйствіе. имѣющее въ своемъ
... Но свободна ли человѣческая воля?
...лука еще не дала положительнаго от-
...ся различныхъ взглядовъ. Напримѣръ:
...мброзо не признаетъ свободной воли и
... считаетъ продуктомъ чисто анатоми-
...и индивидуума.

...вичъ! говоритъ умоляющее полковникъ.
...рьезно. о гажномъ дѣлѣ. ... Ломброзо!
...подумайте: для чего вы все это говорите?

Неужели вы думаете, что всѣ эти погремушки и ваша риторика дадутъ намъ отвѣтъ на вопросъ?

Саша Усковъ сидитъ у двери и слушаетъ. Онъ не чувствуетъ ни страха, ни стыда, ни скуки, а одну только усталость и душевную пустоту. Ему кажется, что для него рѣшительно все равно: простятъ его, или не простятъ; пришелъ же онъ сюда ждать приговора и объясняться только потому, что его упросилъ придти добрѣйшій Иванъ Марковичъ. Будущаго онъ не боится. Для него все равно, гдѣ ни быть: здѣсь ли въ залѣ, въ тюрьмѣ ли, въ Сибири ли.

— Сибирь такъ Сибирь—чортъ съ ней!

Жизнь надоѣла и стала невыносимо тяжелой. Онъ невылазно запутался въ долгахъ, въ карманахъ у него ни гроша, родня опротивѣла, съ пріятелями и съ женщинами рано или поздно придется разстаться, такъ какъ они ужъ слишкомъ презрительно стали относиться къ его прихлебательской роли. Будущее пасмурно.

Саша равнодушенъ, и волнуетъ его только одно обстоятельство, а именно: за дверью величаютъ его негодяемъ и преступникомъ. Каждую минуту онъ готовъ вскочить, ворваться въ кабинетъ и въ отвѣтъ на противный, металлическій голосъ полковника крикнуть:

— Вы лжете!

Преступникъ—слово страшное. Такъ называются убійцы, воры, грабители, вообще люди злые и нравственно отпѣтые. А Саша слишкомъ далекъ отъ всего этого... Правда, онъ много долженъ и не платитъ долговъ. Но вѣдь долгъ—не преступленіе, и рѣдкій человѣкъ не долженъ. Полковникъ и Иванъ Марковичъ—оба въ долгахъ...

«Въ чемъ же я еще грѣшенъ?»—думаетъ Саша.

Онъ учелъ фальшивый вексель. Но вѣдь это дѣлаютъ всѣ знакомые ему молодые люди. Напримѣръ, Хандриковъ и фонъ-Бурстъ всякій разъ, когда у нихъ не бываетъ денегъ, учитываютъ фальшивые векселя родителей или знакомыхъ и потомъ, получивъ деньги изъ дому, выкупаютъ ихъ до срока. Саша сдѣлалъ то же самое, но не выкупилъ векселя, потому что не получилъ денегъ, которыя обѣщалъ дать ему взаймы Хандриковъ. Виноватъ не онъ, а обстоятельства. Правда, пользованіе чужой подписью считается предосудительнымъ; но все-таки это не преступленіе, а общепринятый маневръ, некрасивая формальность, ни для кого

не обидная и безвредная, такъ какъ Саша, поддѣлывая подпись полковника, не имѣлъ въ виду причинить кому-либо зло или убытокъ.

«Нѣтъ, это не значитъ, что я преступникъ... — думаетъ Саша.—И не такой у меня характеръ, чтобы рѣшиться на преступленіе. Я мягокъ, чувствителенъ... когда бываютъ деньги, помогаю бѣднымъ...»

Саша думаетъ въ этомъ родѣ, а за дверью все еще говорятъ.

— Господа, но вѣдь это безконечно!—горячится полковникъ.—Представьте, что мы простили его и уплатили по векселю. Но вѣдь послѣ этого онъ не перестанетъ вести безпутную жизнь, мотать, дѣлать долги, ходить къ нашимъ портнымъ и отъ нашего имени заказывать себѣ платье! Можете ли вы поручиться, что эта продѣлка его послѣдняя? Что касается меня, то я глубоко не вѣрю въ его исправленіе!

Въ отвѣтъ ему что-то бормочетъ чиновникъ казенной палаты, послѣ него плавно и мягко начинаетъ говорить Иванъ Марковичъ. Полковникъ нетерпѣливо двигаетъ стуломъ и заглушаетъ его слова своимъ противнымъ, металлическимъ голосомъ. Наконецъ дверь отворяется, и изъ кабинета выходитъ Иванъ Марковичъ; на его тощемъ, бритомъ лицѣ выступили красныя пятна.

— Пойдемъ!—говоритъ онъ, беря Сашу за руку.—Поди и чистосердечно объяснись. Безъ гордости, голубчикъ, а покорно и отъ души.

Саша идетъ въ кабинетъ. Чиновникъ казенной палаты сидитъ; полковникъ, заложивъ руки въ карманы и держа одно колѣно на стулѣ, стоитъ передъ столомъ. Въ кабинетѣ накурено и душно. Саша не глядитъ ни на чиновника, ни на полковника; ему вдругъ становится совѣстно и жутко. Онъ безпокойно оглядываетъ Ивана Марковича и бормочетъ:

— Я заплачу... Я отдамъ...

— На что ты надѣялся, когда учитывалъ вексель?—слышитъ онъ металлическій голосъ.

— Я... мнѣ обѣщалъ къ этому времени дать взаймы Хандриковъ.

Больше ничего не можетъ сказать Саша. Онъ выходитъ изъ кабинета и опять садится на стулъ у двери. Сейчасъ онъ охотно бы ушелъ совсѣмъ, но его душитъ ненависть и ему ужасно хочется остаться, чтобы оборвать полковника, сказать ему какую-нибудь дерзость. Онъ сидитъ и приду-

мываетъ, что бы такое сильное и вѣское сказать ненавистному дядѣ, а въ это время въ дверяхъ гостиной, окутанная сумерками, показывается женская фигура. Это жена полковника. Она манитъ къ себѣ Сашу и, ломая руки, плача, говоритъ:

— Alexandre, я знаю, вы меня не любите, но... выслушайте меня, выслушайте, прошу васъ... Мой другъ, какъ это могло случиться? Вѣдь это ужасно, ужасно! Ради Бога просите ихъ, оправдывайтесь, умоляйте.

Саша глядитъ на ея вздрагивающія плечи, на крупныя слезы, которыя текутъ по ея щекамъ, слышитъ сзади себя глухіе, нервные голоса утомленныхъ, измученныхъ людей, и пожимаетъ плечами. Онъ никакъ не ожидалъ, чтобы его аристократическая родня подняла бурю изъ-за какихъ-нибудь тысячи пятисотъ рублей! Непонятны ему ни слезы, ни дрожь голосовъ.

Черезъ часъ слышитъ онъ, что полковникъ беретъ верхъ: дяди, наконецъ, склоняются къ тому, чтобы передать дѣло судебной власти.

— Рѣшено!—говоритъ полковникъ, вздыхая.—Баста!

Послѣ такого рѣшенія всѣ дяди, даже настойчивый полковникъ, замѣтно падаютъ духомъ. Наступаетъ тишина.

— Господи, Господи!—вздыхаетъ Иванъ Марковичъ.—Бѣдная моя!

И онъ начинаетъ тихо говорить о томъ, что вѣроятно теперь въ кабинетѣ невидимо присутствуетъ его сестра, Сашина мать. Онъ чувствуетъ душою, какъ эта несчастная, святая женщина плачетъ, тоскуетъ и проситъ за своего мальчика. Ради ея загробнаго покоя слѣдовало бы пощадить Сашу.

Слышатся всхлипыванья, Иванъ Марковичъ плачетъ и бормочетъ что-то, чего нельзя разобрать сквозь дверь. Полковникъ встаетъ и шагаетъ изъ угла въ уголъ. Длинный разговоръ начинается снова.

Но вотъ въ гостиной часы бьютъ два. Семейный совѣтъ конченъ. Полковникъ, чтобы не видѣть человѣка, испортившаго ему столько крови, идетъ изъ кабинета не въ залу, а черезъ переднюю... Иванъ Марковичъ входитъ въ залу... Онъ взволнованъ и радостно потираетъ руки. Его заплаканные глаза глядятъ весело и ротъ кривится въ улыбку.

— Отлично!—говоритъ онъ Сашѣ.—Слава Богу! Ты, мой другъ, можешь идти домой и спать покойно. Рѣшили мы

заплатить по векселю, но съ условіемъ, что ты раскаешься и завтра же поѣдешь ко мнѣ въ деревню заниматься дѣломъ.

Черезъ минуту Иванъ Марковичъ и Саша, въ пальто и въ шапкахъ, спускаются внизъ по лѣстницѣ. Дядя бормочетъ что-то назидательное. Саша не слушаетъ и чувствуетъ, какъ постепенно съ его плечъ сваливается что-то тяжелое и жуткое. Его простили, онъ свободенъ! Радость, какъ вѣтеръ, врывается въ его грудь и обдаетъ сладкимъ холодкомъ его сердце. Ему хочется дышать, быстро двигаться, жить! Взглянувъ на уличные фонари и на черное небо, онъ вспоминаетъ, что сегодня у «Медвѣдя» фонъ-Бурстъ справляетъ свои именины, и снова радость охватываетъ его душу...

«Ѣду!»—рѣшаетъ онъ.

Но тутъ вспоминаетъ онъ, что у него нѣтъ ни копейки, что товарищи, къ которымъ онъ поѣдетъ сейчасъ, презираютъ его за безденежье. Надо достать денегъ во что бы то ни стало!

— Дядя, дай мнѣ взаймы сто рублей!—говоритъ онъ Ивану Марковичу.

Дядя удивленно глядитъ ему въ лицо и пятится къ фонарному столбу.

— Дай!—говоритъ Саша, нетерпѣливо переминаясь съ ноги на ногу и начиная задыхаться.—Дядя, я прошу! Дай сто рублей!

Лицо его перекосило; онъ дрожитъ и ужъ наступаетъ на дядю...

— Не дашь?—спрашиваетъ онъ, видя, что тотъ все еще удивленъ и не понимаетъ.—Послушай, если не дашь, то завтра же я донесу на себя! Я не дамъ вамъ заплатить по векселю! Завтра же я учту новый фальшивый вексель!

Ошеломленный Иванъ Марковичъ въ ужасѣ, бормоча что-то несвязное, достаетъ изъ бумажника сторублевую бумажку и подаетъ ее Сашѣ. Тотъ беретъ и быстро отходитъ отъ него...

Нанявъ извозчика, Саша успокаивается и чувствуетъ, какъ въ его грудь опять врывается радость. Права молодости, о которыхъ говорилъ на семейномъ совѣтѣ добрѣйшій Иванъ Марковичъ, проснулись и заговорили. Саша рисуетъ себѣ предстоящую попойку, и въ его головѣ межъ бутылокъ, женщинъ и пріятелей мелькаетъ мыслишка:

«Теперь вижу, что я преступенъ. Да, я преступенъ».

СТЕПЬ.

(Исторія одной поѣздки.)

I.

Изъ N., уѣзднаго города Z—ой губерніи, раннимъ іюльскимъ утромъ выѣхала и съ громомъ покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна изъ тѣхъ допотопныхъ бричекъ, на которыхъ ѣздятъ теперь на Руси только купеческіе приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтѣла и взвизгивала при малѣйшемъ движеніи; ей угрюмо вторило ведро, привязанное къ ея задку,—и по однимъ этимъ звукамъ, да по жалкимъ, кожанымъ тряпочкамъ, болтавшимся на ея облѣзломъ тѣлѣ, можно было судить о ея ветхости и готовности идти въ сломъ.

Въ бричкѣ сидѣло двое N—скихъ обывателей: N—скій купецъ Иванъ Иванычъ Кузьмичовъ, бритый, въ очкахъ и въ соломенной шляпѣ, больше похожій на чиновника, чѣмъ на купца, и другой—отецъ Христофоръ Сирійскій, настоятель N—ской Николаевской церкви, маленькій, длинноволосый старичокъ, въ сѣромъ парусиновомъ кафтанѣ, въ широкополомъ цилиндрѣ и въ шитомъ, цвѣтномъ поясѣ. Первый о чемъ-то сосредоточенно думалъ и встряхивалъ головою, чтобы прогнать дремоту; на лицѣ его привычная дѣловая сухость боролась съ благодушіемъ человѣка, только-что простившагося съ родней и хорошо выпившаго; второй же влажными глазками удивленно глядѣлъ на міръ Божій и улыбался такъ широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имѣло озябшій видъ. Оба они, какъ Кузьмичовъ, такъ и о. Христо-

форъ, ѣхали теперь продавать шерсть. Прощаясь съ домочадцами, они только-что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроеніе духа у обоихъ было прекрасное.

Кромѣ только-что описанныхъ двухъ и кучера Дениски, неутомимо стегавшаго по парѣ шустрыхъ гнѣдыхъ лошадокъ, въ бричкѣ находился еще одинъ пассажиръ—мальчикъ лѣтъ девяти, съ темнымъ отъ загара и мокрымъ отъ слезъ лицомъ. Это былъ Егорушка, племянникъ Кузьмичова. Съ разрѣшенія дяди и съ благословенія о. Христофора, онъ ѣхалъ куда-то поступать въ гимназію. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежскаго секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованныхъ людей и благородное общество, умолила своего брата, ѣхавшаго продавать шерсть, взять съ собою Егорушку и отдать его въ гимназію; и теперь мальчикъ, не понимая, куда и зачѣмъ онъ ѣдетъ, сидѣлъ на облучкѣ рядомъ съ Дениской, держался за его локоть, чтобъ не свалиться, и подпрыгивалъ, какъ чайникъ на конфоркѣ. Отъ быстрой ѣзды его красная рубаха пузыремъ вздувалась на спинѣ, и новая, ямщицкая шляпа съ павлиньимъ перомъ то и дѣло сползала на затылокъ. Онъ чувствовалъ себя въ высшей степени несчастнымъ человѣкомъ и хотѣлъ плакать.

Когда бричка проѣзжала мимо острога, Егорушка взглянулъ на часовыхъ, тихо ходившихъ около высокой, бѣлой стѣны, на маленькія, рѣшетчатыя окна, на крестъ, блестѣвшій на крышѣ, и вспомнилъ, какъ недѣлю тому назадъ, въ день Казанской Божіей Матери, онъ ходилъ съ мамашей въ острожную церковь на престольный праздникъ; а еще ранѣе, на Пасху, онъ приходилъ въ острогъ съ кухаркой Людмилой и съ Дениской и приносилъ сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а одинъ изъ нихъ подарилъ Егорушкѣ оловянныя запонки собственнаго издѣлія.

Мальчикъ всматривался въ знакомыя мѣста, а ненавистная бричка бѣжала мимо и оставляла все позади. За острогомъ промелькнули черныя, закопченыя кузницы, за ними уютное, зеленое кладбище, обнесенное оградой изъ булыжника; изъ-за ограды весело выглядывали бѣлые кресты и памятники, которые прячутся въ зелени вишневыхъ деревьевъ и издали кажутся бѣлыми пятнами. Егорушка вспо-

мнилъ, что когда цвѣтетъ вишня, эти бѣлыя пятна мѣшаются съ вишневыми цвѣтами въ бѣлое море; а когда она спѣетъ, бѣлые памятники и кресты бываютъ усыпаны багряными, какъ кровь, точками. За оградой подъ вишнями день и ночь спали Егорушкинъ отецъ и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили въ длинный, узкій гробъ и прикрыли двумя пятаками ея глаза, которые не хотѣли закрываться. До своей смерти она была жива и носила съ базара мягкіе бублики, посыпанные макомъ, теперь же она спитъ, спитъ...

А за кладбищемъ дымились кирпичные заводы. Густой, черный дымъ большими клубами шелъ изъ-подъ длинныхъ камышевыхъ крышъ, приплюснутыхъ къ землѣ, и лѣниво поднимался вверхъ. Небо надъ заводами и кладбищемъ было смугло, и большія тѣни отъ клубовъ дыма ползли по полю и черезъ дорогу. Въ дыму около крышъ двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался городъ и начиналось поле. Егорушка въ послѣдній разъ оглянулся на городъ, припалъ лицомъ къ локтю Дениски и горько заплакалъ...

— Ну, не отревѣлся еще, рёва!—сказалъ Кузьмичовъ.— Опять, баловникъ, слюни распустилъ! Не хочешь ѣхать, такъ оставайся. Никто силой не тянетъ!

— Ничего, ничего, братъ Егоръ, ничего...—забормоталъ скороговоркой о. Христофоръ.—Ничего, братъ... Призывай Бога... Не за худомъ ѣдешь, а за добромъ. Ученье, какъ говорится, свѣтъ, а неученье—тьма... Истинно такъ.

— Хочешь вернуться?—спросилъ Кузьмичовъ.

— Хо... хочу...—отвѣтилъ Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Все равно попусту ѣдешь, за семь верстъ киселя хлебать.

— Ничего, ничего, братъ... — продолжалъ о. Христофоръ. — Бога призывай... Ломоносовъ такъ же вотъ съ рыбарями ѣхалъ, однако изъ него вышелъ человѣкъ на всю Европу. Умственность, воспринимаемая съ вѣрой, даетъ плоды, Богу угодные. Какъ сказано въ молитвѣ? Создателю во славу, родителямъ же нашимъ на утѣшеніе, церкви и отечеству на пользу... Такъ-то.

— Польза разная бываетъ...—сказалъ Кузьмичовъ, закуривая дешевую сигару.—Иной двадцать лѣтъ обучается, а никакого толку.

— Это бываетъ.

— Кому наука въ пользу, а у кого только умъ путается. Сестра—женщина не понимающая, норовитъ все по благородному и хочетъ, чтобъ изъ Егорки ученый вышелъ, а того не понимаетъ, что я и при своихъ занятіяхъ могъ бы Егорку на вѣкъ осчастливить. Я это къ тому вамъ объясняю, что ежели всѣ пойдутъ въ ученые да въ благородные, тогда некому будетъ торговать и хлѣбъ сѣять. Всѣ съ голоду поумираютъ.

— А ежели всѣ будутъ торговать и хлѣбъ сѣять, тогда некому будетъ ученія постигать.

И думая, что оба они сказали нѣчто убѣдительное и вѣское, Кузьмичовъ и о. Христофоръ сдѣлали серьезныя лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшійся къ ихъ разговору и ничего не понявшій, встряхнулъ головой и, приподнявшись, стегнулъ по обѣимъ гнѣдымъ. Наступило молчаніе.

Между тѣмъ передъ глазами ѣхавшихъ разстилалась уже широкая, безконечная равнина, перехваченная цѣпью холмовъ. Тѣснясь и выглядывая другъ изъ-за друга, эти холмы сливаются въ возвышенность, которая тянется вправо отъ дороги до самаго горизонта и исчезаетъ въ лиловой дали; ѣдешь-ѣдешь и никакъ не разберешь, гдѣ она ничинается и гдѣ кончается... Солнце уже выглянуло сзади изъ-за города и тихо, безъ хлопотъ принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, гдѣ небо сходится съ землею, около курганчиковъ и вѣтряной мельницы, которая издали похожа на маленькаго человѣчка, размахивающаго руками, поползла по землѣ широкая ярко-желтая полоса; черезъ минуту такая же полоса засвѣтилась нѣсколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса свѣта, подкравшись сзади, шмыгнула черезъ бричку и лошадей, понеслась навстрѣчу другимъ полосамъ, и вдругъ вся широкая степь сбросила съ себя утреннюю полутѣнь, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьянъ, молочай, дикая конопля—все, побурѣвшее отъ зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцемъ, оживало, чтобъ вновь зацвѣсти. Надъ дорогой съ веселымъ крикомъ носились старички, въ травѣ перекликались суслики, гдѣ-то далеко влѣво плакали чибисы. Стадо куропатокъ, испуганное брич-

кой, вспорхнуло и со своимъ мягкимъ «ррр» полетѣло къ холмамъ. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медвѣдки затянули въ травѣ свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздухъ застылъ, и обманутая степь приняла свой унылый іюльскій видъ. Трава поникла, жизнь замерла. Загорѣлые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, какъ тѣнь, тонами, равнина съ туманной далью и опрокинутое надъ ними небо, которое въ степи, гдѣ нѣтъ лѣсовъ и высокихъ горъ, кажется страшно глубокимъ и прозрачнымъ, представлялись теперь безконечными, оцѣпенѣвшими отъ тоски...

Какъ душно и уныло! Бричка бѣжитъ, а Егорушка видитъ все одно и то же—небо, равнину, холмы... Музыка въ травѣ пріутихла. Старички улетѣли, куропатокъ не видно. Надъ поблекшей травой, отъ нечего дѣлать, носятся грачи; всѣ они похожи другъ на друга и дѣлаютъ степь еще болѣе однообразной.

Летитъ коршунъ надъ самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдругъ останавливается въ воздухѣ, точно задумавшись о скукѣ жизни, потомъ встряхиваетъ крыльями и стрѣлою несется надъ степью, и непонятно, зачѣмъ онъ летаетъ и что ему нужно. А вдали машетъ крыльями мельница...

Для разнообразія мелькнетъ въ бурьянѣ бѣлый черепъ или булыжникъ; вырастетъ на мгновеніе сѣрая каменная баба или высохшая ветла съ синей ракшей на верхней вѣткѣ, перебѣжитъ дорогу сусликъ — и опять бѣгутъ мимо глазъ бурьянъ, холмы, грачи...

Но вотъ, славу Богу, навстрѣчу ѣдетъ возъ со снопами. На самомъ верху лежитъ дѣвка. Сонная, изможенная зноемъ, поднимаетъ она голову и глядитъ на встрѣчныхъ. Дениска зазѣвался на нее, гнѣдыя протягиваютъ морды къ снопамъ, бричка, взвизгнувъ, цѣлуется съ возомъ, и колючіе колосья, какъ вѣникомъ, проѣзжаютъ по цилиндру о. Христофора.

— На людей ѣдешь, пухлая!—кричитъ Дениска.—Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусилъ!

Дѣвка сонно улыбается и, пошевеливъ губами, опять ложится... А вотъ на холмѣ показывается одинокій тополь; кто его посадилъ и зачѣмъ онъ здѣсь — Богъ его знаетъ.

Отъ его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастливъ ли этотъ красавецъ? Лѣтомъ зной, зимой стужа и метели, осенью страшныя ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кромѣ безпутнаго, сердито воющаго вѣтра, а главное—всю жизнь одинъ, одинъ... За тополемъ ярко-желтымъ ковромъ, отъ верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холмѣ хлѣбъ уже скошенъ и убранъ въ копны, а внизу еще только косятъ... Шесть косарей стоятъ рядомъ и взмахиваютъ косами, а косы весело сверкаютъ и въ тактъ, всѣ вмѣстѣ, издаютъ звукъ: «вжжи, вжжи!» По движеніямъ бабъ, вяжущихъ снопы, по лицамъ косарей, по блеску косъ видно, что зной жжетъ и душитъ. Черная собака съ высунутымъ языкомъ бѣжитъ отъ косарей навстрѣчу къ бричкѣ, вѣроятно съ намѣреніемъ залаять, но останавливается на полдорогѣ и равнодушно глядитъ на Дениску, грозящаго ей кнутомъ: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обѣими руками за измученную спину, провожаетъ глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвѣтъ ей понравился, или вспомнила она про своихъ дѣтей, только долго стоитъ она неподвижно и смотритъ вслѣдъ...

Но вотъ промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорѣлые холмы, знойное небо, опять носится надъ землею коршунъ. Вдали попрежнему машетъ крыльями мельница и все еще она похожа на маленькаго человѣчка, размахивающаго руками. Надоѣло глядѣть на нее, и кажется, что до нея никогда не доѣдешь, что она бѣжитъ отъ брички.

О. Христофоръ и Кузьмичовъ молчали. Дениска стегалъ по гнѣдымъ и покрикивалъ, а Егорушка ужъ не плакалъ, а равнодушно глядѣлъ по сторонамъ. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что онъ давно уже ѣдетъ и подпрыгиваетъ, что солнце давно уже печетъ ему въ спину. Не проѣхали еще и десяти верстъ, а онъ уже думалъ: «Пора бы отдохнуть!» Съ лица дяди мало-по-малу сошло благодушіе и осталась одна только дѣловая сухость, а бритому, тощему лицу, въ особенности когда оно въ очкахъ, когда носъ и виски покрыты пылью, эта сухость придаетъ неумолимое инквизиторское выраженіе. Отецъ же Христофоръ не переставалъ удивленно глядѣть на міръ Божій и улыбаться. Молча, онъ думалъ о чемъ-то хорошемъ и веселомъ,

и добрая, благодушная улыбка застыла на его лицѣ. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла въ его мозгу отъ жары...

— А что, Дениска, догонимъ нынче обозы? — спросилъ Кузьмичовъ.

Дениска поглядѣлъ на небо, приподнялся, стегнулъ по лошадямъ и потомъ уже отвѣтилъ:

— Къ ночи, Богъ дастъ, догонимъ...

Послышался собачій лай. Штукъ шесть громадныхъ степныхъ овчарокъ вдругъ, выскочивъ точно изъ засады, съ свирѣпымъ воющимъ лаемъ бросились навстрѣчу бричкѣ. Всѣ онѣ, необыкновенно злыя, съ мохнатыми паучьими мордами и съ красными отъ злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая другъ друга, подняли хриплый ревъ. Онѣ ненавидѣли страстно и, кажется, готовы были изорвать въ клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любившій дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придавъ своему лицу злорадное выраженіе, перегнулся и хлестнулъ кнутомъ по овчаркѣ. Псы пуще захрипѣли, лошади понесли; и Егорушка, еле державшійся на передкѣ, глядя на глаза и зубы собакъ, понималъ, что свались онъ, его моментально разнесутъ въ клочья, но страха не чувствовалъ, а глядѣлъ такъ же злорадно, какъ Дениска, и жалѣлъ, что у него въ рукахъ нѣтъ кнута.

Бричка поровнялась съ отарой овецъ.

— Стой!—закричалъ Кузьмичовъ.—Держи! Тпрр...

Дениска подался всѣмъ туловищемъ назадъ и осадилъ гнѣдыхъ. Бричка остановилась.

— Поди сюда!—крикнулъ Кузьмичовъ чебану.—Уйми собакъ, будь онѣ прокляты!

Старикъ-чебанъ, оборванный и босой, въ теплой шапкѣ, съ грязнымъ мѣшкомъ у бедра и съ крючкомъ на длинной палкѣ — совсѣмъ ветхозавѣтная фигура — унялъ собакъ и, снявши шапку, подошелъ къ бричкѣ. Точно такая же ветхозавѣтная фигура стояла, не шевелясь, на другомъ краю отары и равнодушно глядѣла на проѣзжихъ.

— Чья это отара?—спросилъ Кузьмичовъ.

— Варламовская!—громко отвѣтилъ старикъ.

— Варламовская!—повторилъ чебанъ, стоявшій на другомъ краю отары.

— Что, проѣзжалъ тутъ вчерась Варламовъ, или нѣтъ?

— Никакъ нѣтъ... Приказчикъ ихній проѣзжали, это точно...

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядѣлъ впередъ на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсѣмъ выросла, и ужъ можно было отчетливо разглядѣть ея два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сдѣлано изъ новаго дерева и лоснилось на солнцѣ.

Бричка ѣхала прямо, а мельница почему-то стала уходить влѣво. Ѣхали, ѣхали, а она все уходила влѣво и не исчезала изъ глазъ.

— Славный вѣтрякъ поставилъ сыну Болтва!—замѣтилъ Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Онъ туда, за балочкой.

Скоро показался и хуторъ Болтвы, а вѣтрякъ все еще не уходилъ назадъ, не отставалъ, глядѣлъ на Егорушку своимъ лоснящимся крыломъ и махалъ. Какой колдунъ!

II.

Около полудня бричка свернула съ дороги вправо, проѣхала немного шагомъ и остановилась. Егорушка услышалъ тихое, очень ласковое журчанье и почувствовалъ, что къ его лицу прохладнымъ бархатомъ прикоснулся какой-то другой воздухъ. Изъ холма, склееннаго природой изъ громадныхъ, уродливыхъ камней, сквозь трубочку изъ болиголова, вставленную какимъ-то невѣдомымъ благодѣтелемъ, тонкой струйкой бѣжала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнцѣ и тихо ворча, точно воображая себя сильнымъ и бурнымъ потокомъ, быстро бѣжала куда-то влѣво. Недалеко отъ холма маленькая рѣчка расползалась въ лужицу; горячіе лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нея силу; но немножко далѣе она, вѣроятно, сливалась съ другой такою же рѣчонкой, потому что шагахъ въ ста отъ холма по ея теченію зеленѣла густая, пышная осока, изъ которой, когда подъѣзжала бричка, съ крикомъ вылетѣло три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить ло-

шадей. Кузьмичовъ, о. Христофоръ и Егорушка сѣли въ жидкой тѣни, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланномъ войлокѣ и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая отъ жары въ мозгу о. Христофора, послѣ того, какъ онъ напился воды и съѣлъ одно печеное яйцо, запросилась наружу. Онъ ласково взглянулъ на Егорушку, пожевалъ и началъ:

— Я самъ, братъ, учился. Съ самаго ранняго возраста Богъ вложилъ въ меня смыслъ и понятіе, такъ что я не въ примѣръ прочимъ, будучи еще такимъ, какъ ты, утѣшалъ родителей и наставниковъ своимъ разумѣніемъ. Пятнадцати лѣтъ мнѣ еще не было, а я ужъ говорилъ и стихи сочинялъ по-латынски все равно, какъ по-русски. Помню, былъ я жезлоносцемъ у преосвященнаго Христофора. Разъ послѣ обѣдни, какъ теперь помню, въ день тезоименитства благочестивѣйшаго Государя Александра Павловича Благословеннаго онъ разоблачался въ алтарѣ, поглядѣлъ на меня ласково и спрашиваетъ: «Puer bone, quam appellaris?» А я отвѣчаю: «Christophorus sum». А онъ: «Ergo connominati sumus», то-есть мы, значитъ, тезки... Потомъ спрашиваетъ по-латынски: «Чей ты?» Я и отвѣчаю тоже по-латынски, что я сынъ діакона Сирійскаго въ селѣ Лебединскомъ. Видя такую мою скороспѣшность и ясность отвѣтовъ, преосвященный благословилъ меня и сказалъ: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду имѣть въ виду». Протоіереи и священники, которые въ алтарѣ были, слушая латинскій диспутъ, тоже не мало удивлялись и каждый въ похвалу мнѣ изъявилъ свое удовольствіе. Еще у меня усовъ не было, а я ужъ, братъ, читалъ и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, зналъ философію, математику, гражданскую исторію и всѣ науки. Память мнѣ Богъ далъ на удивленіе. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодѣтели мои удивлялись и такъ предполагали, что изъ меня выйдетъ ученѣйшій мужъ, свѣтильникъ церкви. Я и самъ думалъ въ Кіевъ ѣхать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, говорилъ отецъ, весь вѣкъ учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такія слова, я бросилъ науки и поступилъ на мѣсто. Оно, конечно, ученый изъ меня не вышелъ, да зато я родителей не ослушался, старость ихъ успокоилъ, похоронилъ съ честью. Послушаніе паче поста и молитвы!

— Должно-быть, вы ужъ всѣ науки забыли! — замѣтилъ Кузьмичовъ.

— Какъ не забыть? Славу Богу, ужъ восьмой десятокъ пошелъ! Изъ философіи и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсѣмъ забылъ.

О. Христофоръ зажмурилъ глаза, подумалъ и сказалъ вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполненію.

Онъ покрутилъ головой и засмѣялся отъ умиленія.

— Духовная пища! — сказалъ онъ. — Истинно, матерія питаетъ плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками, — вздохнулъ Кузьмичовъ: — а вотъ какъ не догонимъ Варламова, такъ и будетъ намъ наука.

— Человѣкъ—не иголка, найдемъ. Онъ теперь въ этихъ мѣстахъ кружится.

Надъ осокой пролетѣли знакомые три бекаса, и въ ихъ пискѣ слышались тревога и досада, что ихъ согнали съ ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходилъ около нихъ и, стараясь показать, что онъ совершенно равнодушенъ къ огурцамъ, пирогамъ и яйцамъ, которые ѣли хозяева, весь погрузился въ избіеніе слѣпней и мухъ, облѣплявшихъ лошадиные животы и спины. Онъ апатично, издавая горломъ какой-то особенный, ехидно-побѣдный звукъ, хлопалъ по своимъ жертвамъ, а въ случаѣ неудачи досадливо крякалъ и провожалъ глазами всякаго счастливца, избѣжавшаго смерти.

— Дениска, гдѣ ты тамъ! Поди ѣшь! — сказалъ Кузьмичовъ, глубоко вздыхая и тѣмъ давая знать, что онъ уже наѣлся.

Дениска несмѣло подошелъ къ войлоку и выбралъ себѣ пять крупныхъ и желтыхъ огурцовъ, такъ-называемыхъ «желтяковъ» (выбрать помельче и посвѣжѣе онъ посовѣстился), взялъ два печеныхъ яйца, черныхъ и съ трещинами, потомъ нерѣшительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой рукѣ, коснулся пальцемъ пирожка.

— Бери, бери! — поторопилъ его Кузьмичовъ.

Дениска рѣшительно взялъ пирогъ и, отойдя далеко въ сторону, сѣлъ на землѣ, спиной къ бричкѣ. Тотчасъ же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядѣли на Дениску.

Закусивши, Кузьмичовъ досталъ изъ брички мѣшокъ съ чѣмъ-то и сказалъ Егорушкѣ:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня изъ-подъ головы этого мѣшка не вытащили.

О. Христофоръ снялъ рясу, поясъ и кафтанъ, и Егорушка, взглянувъ на него, замеръ отъ удивленія. Онъ никакъ не предполагалъ, что священники носятъ брюки, а на о. Христофорѣ были настоящія, парусинковыя брюки, засунутыя въ высокіе сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашелъ, что въ этомъ неподобающемъ его сану костюмѣ онъ, со своими длинными волосами и бородой, очень похожъ на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофоръ и Кузьмичовъ легли въ тѣнь подъ бричкой, лицомъ другъ къ другу, и закрыли глаза. Дениска, кончивъ жевать, растянулся на припекѣ животомъ вверхъ и тоже закрылъ глаза.

— Поглядывай, чтобъ кто коней не увелъ! — сказалъ онъ Егорушкѣ и тотчасъ же заснулъ.

Наступила тишина. Слышно было только, какъ фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящіе; гдѣ-то не близко плакалъ одинъ чибисъ и изрѣдка раздавался пискъ трехъ бекасовъ, прилетавшихъ поглядѣть, не уѣхали ли непрошенные гости; мягко картавя, журчалъ ручеекъ, но всѣ эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшаго воздуха, а напротивъ, вгоняли природу въ дремоту.

Егорушка, задыхаясь отъ зноя, который особенно чувствовался теперь послѣ ѣды, побѣжалъ къ осокѣ и отсюда оглядѣлъ мѣстность. Увидѣлъ онъ тоже самое, что видѣлъ и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Изъ-за скалистаго холма, гдѣ текъ ручей, возвышался другой поглаже и пошире; на немъ лѣпился небольшой поселокъ изъ пяти-шести дворовъ. Около избъ не было видно ни людей, ни деревьевъ, ни тѣней, точно поселокъ задохнулся въ горячемъ воздухѣ и высохъ. Отъ нечего дѣлать Егорушка поймалъ въ травѣ скрипача, поднесъ его въ кулакѣ къ уху и долго слушалъ, пака тотъ игралъ на своей скрипкѣ. Когда надоѣла музыка, онъ погнался за толпой желтыхъ бабочекъ, прилетавшихъ къ осокѣ на водопой, и самъ не замѣтилъ, какъ очутился опять возлѣ брички. Дядя и о. Христофоръ крѣпко спали; сонъ

форъ, ѣхали теперь продавать шерсть. Прощаясь съ домочадцами, они только-что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроеніе духа у обоихъ было прекрасное.

Кромѣ только-что описанныхъ двухъ и кучера Дениски, неутомимо стегавшаго по парѣ шустрыхъ гнѣдыхъ лошадокъ, въ бричкѣ находился еще одинъ пассажиръ—мальчикъ лѣтъ девяти, съ темнымъ отъ загара и мокрымъ отъ слезъ лицомъ. Это былъ Егорушка, племянникъ Кузьмичова. Съ разрѣшенія дяди и съ благословенія о. Христофора, онъ ѣхалъ куда-то поступать въ гимназію. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежскаго секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованныхъ людей и благородное общество, умолила своего брата, ѣхавшаго продавать шерсть, взять съ собою Егорушку и отдать его въ гимназію; и теперь мальчикъ, не понимая, куда и зачѣмъ онъ ѣдетъ, сидѣлъ на облучкѣ рядомъ съ Дениской, держался за его локоть, чтобъ не свалиться, и подпрыгивалъ, какъ чайникъ на конфоркѣ. Отъ быстрой ѣзды его красная рубаха пузыремъ вздувалась на спинѣ, и новая, ямщицкая шляпа съ павлиньимъ перомъ то и дѣло сползала на затылокъ. Онъ чувствовалъ себя въ высшей степени несчастнымъ человѣкомъ и хотѣлъ плакать.

Когда бричка проѣзжала мимо острога, Егорушка взглянулъ на часовыхъ, тихо ходившихъ около высокой, бѣлой стѣны, на маленькія, рѣшетчатыя окна, на крестъ, блестѣвшій на крышѣ, и вспомнилъ, какъ недѣлю тому назадъ, въ день Казанской Божіей Матери, онъ ходилъ съ мамашей въ острожную церковь на престольный праздникъ; а еще ранѣе, на Пасху, онъ приходилъ въ острогъ съ кухаркой Людмилой и съ Дениской и приносилъ сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а одинъ изъ нихъ подарилъ Егорушкѣ оловянныя запонки собственнаго издѣлія.

Мальчикъ всматривался въ знакомыя мѣста, а ненавистная бричка бѣжала мимо и оставляла все позади. За острогомъ промелькнули черныя, закопченыя кузницы, за ними уютное, зеленое кладбище, обнесенное оградой изъ булыжника; изъ-за ограды весело выглядывали бѣлые кресты и памятники, которые прячутся въ зелени вишневыхъ деревьевъ и издали кажутся бѣлыми пятнами. Егорушка вспо-

мнилъ, что когда цвѣтетъ вишня, эти бѣлыя пятна мѣшаются съ вишневыми цвѣтами въ бѣлое море; а когда она спѣетъ, бѣлые памятники и кресты бываютъ усыпаны багряными, какъ кровь, точками. За оградой подъ вишнями день и ночь спали Егорушкинъ отецъ и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили въ длинный, узкій гробъ и прикрыли двумя пятаками ея глаза, которые не хотѣли закрываться. До своей смерти она была жива и носила съ базара мягкіе бублики, посыпанные макомъ, теперь же она спитъ, спитъ...

А за кладбищемъ дымились кирпичные заводы. Густой, черный дымъ большими клубами шелъ изъ-подъ длинныхъ камышевыхъ крышъ, приплюснутыхъ къ землѣ, и лѣниво поднимался вверхъ. Небо надъ заводами и кладбищемъ было смугло, и большія тѣни отъ клубовъ дыма ползли по полю и черезъ дорогу. Въ дыму около крышъ двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался городъ и начиналось поле. Егорушка въ послѣдній разъ оглянулся на городъ, припалъ лицомъ къ локтю Дениски и горько заплакалъ...

— Ну, не отревѣлся еще, рёва!—сказалъ Кузьмичовъ.— Опять, баловникъ, слюни распустилъ! Не хочешь ѣхать, такъ оставайся. Никто силой не тянетъ!

— Ничего, ничего, братъ Егоръ, ничего...—забормоталъ скороговоркой о. Христофоръ.—Ничего, братъ... Призывай Бога... Не за худомъ ѣдешь, а за добромъ. Ученье, какъ говорится, свѣтъ, а неученье—тьма... Истинно такъ.

— Хочешь вернуться?—спросилъ Кузьмичовъ.

— Хо... хочу...—отвѣтилъ Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Все равно попусту ѣдешь, за семь верстъ киселя хлебать.

— Ничего, ничего, братъ... — продолжалъ о. Христофоръ. — Бога призывай... Ломоносовъ такъ же вотъ съ рыбарями ѣхалъ, однако изъ него вышелъ человѣкъ на всю Европу. Умственность, воспринимаемая съ вѣрой, даетъ плоды, Богу угодные. Какъ сказано въ молитвѣ? Создателю во славу, родителямъ же нашимъ на утѣшеніе, церкви и отечеству на пользу... Такъ-то.

— Польза разная бываетъ...—сказалъ Кузьмичовъ, закуривая дешевую сигару.—Иной двадцать лѣтъ обучается, а никакого толку.

— Это бываетъ.

— Кому наука въ пользу, а у кого только умъ путается. Сестра—женщина не понимающая, норовитъ все по благородному и хочетъ, чтобъ изъ Егорки ученый вышелъ, а того не понимаетъ, что я и при своихъ занятіяхъ могъ бы Егорку на вѣкъ осчастливить. Я это къ тому вамъ объясняю, что ежели всѣ пойдутъ въ ученые да въ благородные, тогда некому будетъ торговать и хлѣбъ сѣять. Всѣ съ голоду поумираютъ.

— А ежели всѣ будутъ торговать и хлѣбъ сѣять, тогда некому будетъ ученія постигать.

И думая, что оба они сказали нѣчто убѣдительное и вѣское, Кузьмичовъ и о. Христофоръ сдѣлали серьезныя лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшійся къ ихъ разговору и ничего не понявшій, встряхнулъ головой и, приподнявшись, стегнулъ по обѣимъ гнѣдымъ. Наступило молчаніе.

Между тѣмъ передъ глазами ѣхавшихъ разстилалась уже широкая, безконечная равнина, перехваченная цѣпью холмовъ. Тѣснясь и выглядывая другъ изъ-за друга, эти холмы сливаются въ возвышенность, которая тянется вправо отъ дороги до самаго горизонта и исчезаетъ въ лиловой дали; ѣдешь-ѣдешь и никакъ не разберешь, гдѣ она начинается и гдѣ кончается... Солнце уже выглянуло сзади изъ-за города и тихо, безъ хлопотъ принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, гдѣ небо сходится съ землею, около курганчиковъ и вѣтряной мельницы, которая издали похожа на маленькаго человѣчка, размахивающаго руками, поползла по землѣ широкая ярко-желтая полоса; черезъ минуту такая же полоса засвѣтилась нѣсколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса свѣта, подкравшись сзади, шмыгнула черезъ бричку и лошадей, понеслась навстрѣчу другимъ полосамъ, и вдругъ вся широкая степь сбросила съ себя утреннюю полутѣнь, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьянъ, молочай, дикая конопля—все, побурѣвшее отъ зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцемъ, оживало, чтобъ вновь зацвѣсти. Надъ дорогой съ веселымъ крикомъ носились старички, въ травѣ перекликались суслики, гдѣ-то далеко влѣво плакали чибисы. Стадо куропатокъ, испуганное брич-

кой, вспорхнуло и со своимъ мягкимъ «тррр» полетѣло къ холмамъ. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медвѣдки затянули въ травѣ свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздухъ застылъ, и обманутая степь приняла свой унылый іюльскій видъ. Трава поникла, жизнь замерла. Загорѣлые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, какъ тѣнь, тонами, равнина съ туманной далью и опрокинутое надъ ними небо, которое въ степи, гдѣ нѣтъ лѣсовъ и высокихъ горъ, кажется страшно глубокимъ и прозрачнымъ, представлялись теперь безконечными, оцѣпенѣвшими отъ тоски...

Какъ душно и уныло! Бричка бѣжитъ, а Егорушка видитъ все одно и то же—небо, равнину, холмы... Музыка въ травѣ пріутихла. Старички улетѣли, куропатокъ не видно. Надъ поблекшей травой, отъ нечего дѣлать, носятся грачи; всѣ они похожи другъ на друга и дѣлаютъ степь еще болѣе однообразной.

Летитъ коршунъ надъ самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдругъ останавливается въ воздухѣ, точно задумавшись о скукѣ жизни, потомъ встряхиваетъ крыльями и стрѣлою несется надъ степью, и непонятно, зачѣмъ онъ летаетъ и что̀ ему нужно. А вдали машетъ крыльями мельница...

Для разнообразія мелькнетъ въ бурьянѣ бѣлый черепъ или булыжникъ; вырастетъ на мгновеніе сѣрая каменная баба или высохшая ветла съ синей ракшей на верхней вѣткѣ, перебѣжитъ дорогу сусликъ — и опять бѣгутъ мимо глазъ бурьянъ, холмы, грачи...

Но вотъ, славу Богу, навстрѣчу ѣдетъ возъ со снопами. На самомъ верху лежитъ дѣвка. Сонная, изможенная зноемъ, поднимаетъ она голову и глядитъ на встрѣчныхъ. Дениска зазѣвался на нее, гнѣдыя протягиваютъ морды къ снопамъ, бричка, взвизгнувъ, цѣлуется съ возомъ, и колючіе колосья, какъ вѣникомъ, проѣзжаютъ по цилиндру о. Христофора.

— На людей ѣдешь, пухлая!—кричитъ Дениска.—Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусилъ!

Дѣвка сонно улыбается и, пошевеливъ губами, опять ложится... А вотъ на холмѣ показывается одинокій тополь; кто его посадилъ и зачѣмъ онъ здѣсь — Богъ его знаетъ.

Отъ его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастливъ ли этотъ красавецъ? Лѣтомъ зной, зимой стужа и метели, осенью страшныя ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кромѣ безпутнаго, сердито воющаго вѣтра, а главное—всю жизнь одинъ, одинъ... За тополемъ ярко-желтымъ ковромъ, отъ верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холмѣ хлѣбъ уже скошенъ и убранъ въ копны, а внизу еще только косятъ... Шесть косарей стоятъ рядомъ и взмахиваютъ косами, а косы весело сверкаютъ и въ тактъ, всѣ вмѣстѣ, издаютъ звукъ: «вжжи, вжжи!» По движеніямъ бабъ, вяжущихъ снопы, по лицамъ косарей, по блеску косъ видно, что зной жжетъ и душитъ. Черная собака съ высунутымъ языкомъ бѣжитъ отъ косарей навстрѣчу къ бричкѣ, вѣроятно съ намѣреніемъ залаять, но останавливается на полдорогѣ и равнодушно глядитъ на Дениску, грозящаго ей кнутомъ: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обѣими руками за измученную спину, провожаетъ глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвѣтъ ей понравился, или вспомнила она про своихъ дѣтей, только долго стоитъ она неподвижно и смотритъ вслѣдъ...

Но вотъ промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорѣлые холмы, знойное небо, опять носится надъ землею корщунъ. Вдали попрежнему машетъ крыльями мельница и все еще она похожа на маленькаго человѣчка, размахивающаго руками. Надоѣло глядѣть на нее, и кажется, что до нея никогда не доѣдешь, что она бѣжитъ отъ брички.

О. Христофоръ и Кузьмичовъ молчали. Дениска стегалъ по гнѣдымъ и покрикивалъ, а Егорушка ужъ не плакалъ, а равнодушно глядѣлъ по сторонамъ. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что онъ давно уже ѣдетъ и подпрыгиваетъ, что солнце давно уже печетъ ему въ спину. Не проѣхали еще и десяти верстъ, а онъ уже думалъ: «Пора бы отдохнуть!» Съ лица дяди мало-по-малу сошло благодушіе и осталась одна только дѣловая сухость, а бритому, тощему лицу, въ особенности когда оно въ очкахъ, когда носъ и виски покрыты пылью, эта сухость придаетъ неумолимое инквизиторское выраженіе. Отецъ же Христофоръ не переставалъ удивленно глядѣть на міръ Божій и улыбаться. Молча, онъ думалъ о чемъ-то хорошемъ и веселомъ,

и добрая, благодушная улыбка застыла на его лицѣ. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла въ его мозгу отъ жары...

— А что, Дениска, догонимъ нынче обозы? — спросилъ Кузьмичовъ.

Дениска поглядѣлъ на небо, приподнялся, стегнулъ по лошадямъ и потомъ уже отвѣтилъ:

— Къ ночи, Богъ дастъ, догонимъ...

Послышался собачій лай. Штукъ шесть громадныхъ степныхъ овчарокъ вдругъ, выскочивъ точно изъ засады, съ свирѣпымъ воющимъ лаемъ бросились навстрѣчу бричкѣ. Всѣ онѣ, необыкновенно злыя, съ мохнатыми паучьими мордами и съ красными отъ злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая другъ друга, подняли хриплый ревъ. Онѣ ненавидѣли страстно и, кажется, готовы были изорвать въ клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любившій дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придавъ своему лицу злорадное выраженіе, перегнулся и хлестнулъ кнутомъ по овчаркѣ. Псы пуще захрипѣли, лошади понесли; и Егорушка, еле державшійся на передкѣ, глядя на глаза и зубы собакъ, понималъ, что свались онъ, его моментально разнесутъ въ клочья, но страха не чувствовалъ, а глядѣлъ такъ же злорадно, какъ Дениска, и жалѣлъ, что у него въ рукахъ нѣтъ кнута.

Бричка поровнялась съ отарой овецъ.

— Стой! — закричалъ Кузьмичовъ. — Держи! Тпрр...

Дениска подался всѣмъ туловищемъ назадъ и осадилъ гнѣдыхъ. Бричка остановилась.

— Поди сюда! — крикнулъ Кузьмичовъ чебану. — Уйми собакъ, будь онѣ прокляты!

Старикъ-чебанъ, оборванный и босой, въ теплой шапкѣ, съ грязнымъ мѣшкомъ у бедра и съ крючкомъ на длинной палкѣ — совсѣмъ ветхозавѣтная фигура — унялъ собакъ и, снявши шапку, подошелъ къ бричкѣ. Точно такая же ветхозавѣтная фигура стояла, не шевелясь, на другомъ краю отары и равнодушно глядѣла на проѣзжихъ.

— Чья это отара? — спросилъ Кузьмичовъ.

— Варламовская! — громко отвѣтилъ старикъ.

— Варламовская! — повторилъ чебанъ, стоявшій на другомъ краю отары.

— Что, проѣзжалъ тутъ вчерась Варламовъ, или нѣтъ?

— Никакъ нѣтъ... Приказчикъ ихній проѣзжали, это точно...

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядѣлъ впередъ на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсѣмъ выросла, и ужъ можно было отчетливо разглядѣть ея два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сдѣлано изъ новаго дерева и лоснилось на солнцѣ.

Бричка ѣхала прямо, а мельница почему-то стала уходить влѣво. Ѣхали, ѣхали, а она все уходила влѣво и не исчезала изъ глазъ.

— Славный вѣтрякъ поставилъ сыну Болтва!—замѣтилъ Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Онъ туда, за балочкой.

Скоро показался и хуторъ Болтвы, а вѣтрякъ все еще не уходилъ назадъ, не отставалъ, глядѣлъ на Егорушку своимъ лоснящимся крыломъ и махалъ. Какой колдунъ!

II.

Около полудня бричка свернула съ дороги вправо, проѣхала немного шагомъ и остановилась. Егорушка услышалъ тихое, очень ласковое журчанье и почувствовалъ, что къ его лицу прохладнымъ бархатомъ прикоснулся какой-то другой воздухъ. Изъ холма, склееннаго природой изъ громадныхъ, уродливыхъ камней, сквозь трубочку изъ болиголова, вставленную какимъ-то невѣдомымъ благодѣтелемъ, тонкой струйкой бѣжала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнцѣ и тихо ворча, точно воображая себя сильнымъ и бурнымъ потокомъ, быстро бѣжала куда-то влѣво. Недалеко отъ холма маленькая рѣчка расползалась въ лужицу; горячіе лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нея силу; но немножко далѣе она, вѣроятно, сливалась съ другой такою же рѣчонкой, потому что шагахъ въ ста отъ холма по ея теченію зеленѣла густая, пышная осока, изъ которой, когда подъѣзжала бричка, съ крикомъ вылетѣло три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить ло-

шадей. Кузьмичовъ, о. Христофоръ и Егорушка сѣли въ жидкой тѣни, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланномъ войлокѣ и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая отъ жары въ мозгу о. Христофора, послѣ того, какъ онъ напился воды и съѣлъ одно печеное яйцо, запросилась наружу. Онъ ласково взглянулъ на Егорушку, пожевалъ и началъ:

— Я самъ, братъ, учился. Съ самаго ранняго возраста Богъ вложилъ въ меня смыслъ и понятіе, такъ что я не въ примѣръ прочимъ, будучи еще такимъ, какъ ты, утѣшалъ родителей и наставниковъ своимъ разумѣніемъ. Пятнадцати лѣтъ мнѣ еще не было, а я ужъ говорилъ и стихи сочинялъ, по-латынски все равно, какъ по-русски. Помню, былъ я жезлоносцемъ у преосвященнаго Христофора. Разъ послѣ обѣдни, какъ теперь помню, въ день тезоименитства благочестивѣйшаго Государя Александра Павловича Благословеннаго онъ разоблачался въ алтарѣ, поглядѣлъ на меня ласково и спрашиваетъ: «Puer bone, quam appellaris?» А я отвѣчаю: «Christophorus sum». А онъ: «Ergo connominati sumus», то-есть мы, значитъ, тезки... Потомъ спрашиваетъ по-латынски: «Чей ты?» Я и отвѣчаю тоже по-латынски, что я сынъ діакона Сирійскаго въ селѣ Лебединскомъ. Видя такую мою скороспѣшность и ясность отвѣтовъ, преосвященный благословилъ меня и сказалъ: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду имѣть въ виду». Протоіереи и священники, которые въ алтарѣ были, слушая латинскій диспутъ, тоже не мало удивлялись и каждый въ похвалу мнѣ изъявилъ свое удовольствіе. Еще у меня усовъ не было, а я ужъ, братъ, читалъ и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, зналъ философію, математику, гражданскую исторію и всѣ науки. Память мнѣ Богъ далъ на удивленіе. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодѣтели мои удивлялись и такъ предполагали, что изъ меня выйдетъ ученѣйшій мужъ, свѣтильникъ церкви. Я и самъ думалъ въ Кіевъ ѣхать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, говорилъ отецъ, весь вѣкъ учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такія слова, я бросилъ науки и поступилъ на мѣсто. Оно, конечно, ученый изъ меня не вышелъ, да зато я родителей не ослушался, старость ихъ успокоилъ, похоронилъ съ честью. Послушаніе паче поста и молитвы!

— Должно-быть, вы ужъ всѣ науки забыли! — замѣтилъ Кузьмичовъ.

— Какъ не забыть? Славу Богу, ужъ восьмой десятокъ пошелъ! Изъ философіи и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсѣмъ забылъ.

О. Христофоръ зажмурилъ глаза, подумалъ и сказалъ вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполненію.

Онъ покрутилъ головой и засмѣялся отъ умиленія.

— Духовная пища! — сказалъ онъ. — Истинно, матерія питаетъ плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками, — вздохнулъ Кузьмичовъ: — а вотъ какъ не догонимъ Варламова, такъ и будетъ намъ наука.

— Человѣкъ—не иголка, найдемъ. Онъ теперь въ этихъ мѣстахъ кружится.

Надъ осокой пролетѣли знакомые три бекаса, и въ ихъ пискѣ слышались тревога и досада, что ихъ согнали съ ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходилъ около нихъ и, стараясь показать, что онъ совершенно равнодушенъ къ огурцамъ, пирогамъ и яйцамъ, которые ѣли хозяева, весь погрузился въ избіеніе слѣпней и мухъ, облѣплявшихъ лошадиные животы и спины. Онъ апатично, издавая горломъ какой-то особенный, ехидно-побѣдный звукъ, хлопалъ по своимъ жертвамъ, а въ случаѣ неудачи досадливо крякалъ и провожалъ глазами всякаго счастливца, избѣжавшаго смерти.

— Дениска, гдѣ ты тамъ! Поди ѣшь! — сказалъ Кузьмичовъ, глубоко вздыхая и тѣмъ давая знать, что онъ уже наѣлся.

Дениска несмѣло подошелъ къ войлоку и выбралъ себѣ пять крупныхъ и желтыхъ огурцовъ, такъ-называемыхъ «желтяковъ» (выбрать помельче и посвѣжѣе онъ посовѣстился), взялъ два печеныхъ яйца, черныхъ и съ трещинами, потомъ нерѣшительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой рукѣ, коснулся пальцемъ пирожка.

— Бери, бери! — поторопилъ его Кузьмичовъ.

Дениска рѣшительно взялъ пирогъ и, отойдя далеко въ сторону, сѣлъ на землѣ, спиной къ бричкѣ. Тотчасъ же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядѣли на Дениску.

Закусивши, Кузьмичовъ досталъ изъ брички мѣшокъ съ чѣмъ-то и сказалъ Егорушкѣ:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня изъ-подъ головы этого мѣшка не вытащили.

О. Христофоръ снялъ рясу, поясъ и кафтанъ, и Егорушка, взглянувъ на него, замеръ отъ удивленія. Онъ никакъ не предполагалъ, что священники носятъ брюки, а на о. Христофорѣ были настоящія, парусинковыя брюки, засунутыя въ высокіе сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашелъ, что въ этомъ неподобающемъ его сану костюмѣ онъ, со своими длинными волосами и бородой, очень похожъ на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофоръ и Кузьмичовъ легли въ тѣнь подъ бричкой, лицомъ другъ къ другу, и закрыли глаза. Дениска, кончивъ жевать, растянулся на припекѣ животомъ вверхъ и тоже закрылъ глаза.

— Поглядывай, чтобъ кто коней не увелъ! — сказалъ онъ Егорушкѣ и тотчасъ же заснулъ.

Наступила тишина. Слышно было только, какъ фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящіе; гдѣ-то не близко плакалъ одинъ чибисъ и изрѣдка раздавался пискъ трехъ бекасовъ, прилетавшихъ поглядѣть, не уѣхали ли непрошенные гости; мягко картавя, журчалъ ручеекъ, но всѣ эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшаго воздуха, а напротивъ, вгоняли природу въ дремоту.

Егорушка, задыхаясь отъ зноя, который особенно чувствовался теперь послѣ ѣды, побѣжалъ къ осокѣ и отсюда оглядѣлъ мѣстность. Увидѣлъ онъ тоже самое, что видѣлъ и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Изъ-за скалистаго холма, гдѣ текъ ручей, возвышался другой поглаже и пошире; на немъ лѣпился небольшой поселокъ изъ пяти-шести дворовъ. Около избъ не было видно ни людей, ни деревьевъ, ни тѣней, точно поселокъ задохнулся въ горячемъ воздухѣ и высохъ. Отъ нечего дѣлать Егорушка поймалъ въ травѣ скрипача, поднесъ его въ кулакѣ къ уху и долго слушалъ, пака тотъ игралъ на своей скрипкѣ. Когда надоѣла музыка, онъ погнался за толпой желтыхъ бабочекъ, прилетавшихъ къ осокѣ на водопой, и самъ не замѣтилъ, какъ очутился опять возлѣ брички. Дядя и о. Христофоръ крѣпко спали, сонъ

ихъ долженъ былъ продолжаться часа два-три, пока не отдохнутъ лошади... Какъ же убить это длинное время и куда дѣваться отъ зноя? Задача мудреная... Машинально Егорушка подставилъ ротъ подъ струйку, бѣжавшую изъ трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовомъ; пилъ онъ сначала съ охотой, потомъ черезъ силу и до тѣхъ поръ, пока острый холодъ изо рта не побѣжалъ по всему тѣлу и пока вода не полилась по сорочкѣ. Затѣмъ онъ подошелъ къ бричкѣ и сталъ глядѣть на спящихъ. Лицо дяди попрежнему выражало дѣловую сухость. Фанатикъ своего дѣла, Кузьмичовъ всегда, даже во снѣ и за молитвой въ церкви, когда пѣли «Иже херувимы», думалъ о своихъ дѣлахъ, ни на минуту не могъ забыть о нихъ, и теперь, вѣроятно, ему снились тюки съ шерстью, подводы, цѣны, Варламовъ... Отецъ же Христофоръ, человѣкъ мягкій, легкомысленный и смѣшливый, во всю свою жизнь не зналъ ни одного такого дѣла, которое, какъ удавъ, могло бы сковать его душу. Во всѣхъ многочисленныхъ дѣлахъ, за которыя онъ брался на своемъ вѣку, его прельщало не столько само дѣло, сколько суета и общеніе съ людьми, присущія всякому предпріятію. Такъ, въ настоящей поѣздкѣ его интересовали не столько шерсть, Варламовъ и цѣны, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье подъ бричкой, ѣда не во-время... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно-быть, преосвященный Христофоръ, латинскій диспутъ, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

Въ то время, какъ Егорушка смотрѣлъ на сонныя лица, неожиданно послышалось тихое пѣніе. Гдѣ-то не близко пѣла женщина, а гдѣ именно и въ какой сторонѣ, трудно было понять. Пѣсня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плачъ и едва уловимая слухомъ, слышалась то справа, то слѣва, то сверху, то изъ-подъ земли, точно надъ степью носился невидимый духъ и пѣлъ. Егорушка оглядывался и не понималъ, откуда эта странная пѣсня: потомъ же, когда онъ прислушался, ему стало казаться, что это пѣла трава; въ своей пѣснѣ она, полумертвая, уже погибшая, безъ словъ, но жалобно и искренно убѣждала кого-то, что она ни въ чемъ не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она увѣряла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины

не было, но она все-таки просила у кого-то прощенія и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушалъ немного, и ему стало казаться, что отъ заунывной, тягучей пѣсни воздухъ сдѣлался душнѣе, жарче и неподвижнѣе... Чтобы заглушить пѣсню, онъ, напѣвая и стараясь стучать ногами, побѣжалъ къ осокѣ. Отсюда онъ поглядѣлъ во всѣ стороны и нашелъ того, кто пѣлъ. Около крайней избы поселка стояла баба въ короткой исподницѣ, длинноногая и голенастая, какъ цапля, и что-то просѣивала; изъ-подъ ея рѣшета внизъ по бугру лѣниво шла бѣлая пыль. Теперь было очевидно, что пѣла она. На сажень отъ нея неподвижно стоялъ маленькій мальчикъ въ одной сорочкѣ и безъ шапки. Точно очарованный пѣснею, онъ не шевелился и глядѣлъ куда-то внизъ, вѣроятно на кумачовую рубаху Егорушки.

Пѣсня стихла. Егорушка поплелся къ бричкѣ и опять, отъ нечего дѣлать, занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая пѣсня. Пѣла все та же голенастая баба за бугромъ въ поселкѣ. Къ Егорушкѣ вдругъ вернулась его скука. Онъ оставилъ трубочку и поднялъ глаза вверхъ. То, что увидѣлъ онъ, было такъ неожиданно, что онъ немножко испугался. Надъ его головой на одномъ изъ большихъ неуклюжихъ камней стоялъ маленькій мальчикъ въ одной рубахѣ, пухлый, съ большимъ, оттопыреннымъ животомъ и на тоненькихъ ножкахъ, тотъ самый, который раньше стоялъ около бабы. Съ тупымъ удивленіемъ и не безъ страха, точно видя передъ собой выходцевъ съ того свѣта, онъ, не мигая и разинувъ ротъ, оглядывалъ кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвѣтъ рубахи манилъ и ласкалъ его, а бричка и спавшіе подъ ней люди возбуждали его любопытство; быть-можетъ, онъ и самъ не замѣтилъ, какъ пріятный красный цвѣтъ и любопытство притянули его изъ поселка внизъ, и, вѣроятно, теперь удивлялся своей смѣлости. Егорушка долго оглядывалъ его, а онъ Егорушку. Оба молчали и чувствовали нѣкоторую неловкость. Послѣ долгаго молчанія Егорушка спросилъ:

— Тебя какъ звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; онъ прижался спиной къ камню, выпучилъ глаза, пошевелилъ губами и отвѣтилъ сиплымъ басомъ:

— Титъ.

Больше мальчишки не сказали другъ другу ни слова. Помолчавъ еще немного и не отрывая глазъ отъ Егорушки, таинственный Титъ задралъ вверхъ одну ногу, нащупалъ пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда онъ, пятясь назадъ и глядя въ упоръ на Егорушку, точно боясь, чтобы тотъ не ударилъ его сзади, поднялся на слѣдующій камень и такъ поднимался до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не исчезъ за верхушкой бугра.

Проводивъ его глазами, Егорушка обнялъ колѣни руками и склонилъ голову... Горячіе лучи жгли ему затылокъ, шею и спину. Заунывная пѣсня то замирала, то опять проносилась въ стоячемъ, душномъ воздухѣ, ручей монотонно журчалъ, лошади жевали, а время тянулось безконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что съ утра прошло уже сто лѣтъ... Не хотѣлъ ли Богъ, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли въ этомъ воздухѣ и, какъ холмы, окаменѣли бы и остались навѣки на одномъ мѣстѣ?

Егорушка поднялъ голову и посоловѣвшими глазами поглядѣлъ впередъ себя; лиловая даль, бывшая до сихъ поръ неподвижною, закачалась и вмѣстѣ съ небомъ понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся съ необычайною быстротою за убѣгавшею далью. Какая-то сила безшумно влекла его куда-то, а за нимъ вдогонку неслись зной и томительная пѣсня. Егорушка склонилъ голову и закрылъ глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что онъ вскочилъ, быстро почесалъ плечо и проговорилъ:

— Анаѳема идолова, нѣтъ на тебя погибели!

Затѣмъ онъ подошелъ къ ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плескъ воды вывели Егорушку изъ забытья. Мальчикъ поглядѣлъ на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которыя дѣлали лицо похожимъ на мраморъ, и спросилъ:

— Скоро поѣдемъ?

Дениска поглядѣлъ, какъ высоко стоитъ солнце, и отвѣтилъ:

— Должно, скоро.

Онъ вытерся подоломъ рубахи и, сдѣлавъ очень серьезное лицо, запрыгалъ на одной ногѣ.

— А ну-ка, кто скорѣй доскачетъ до осоки!—сказалъ онъ,

Егорушка былъ изнеможенъ зноемъ и полусномъ, но все-таки поскакалъ за нимъ. Денискѣ было уже около 20-ти лѣтъ, служилъ онъ въ кучерахъ и собирался жениться, но не пересталъ еще быть маленькимъ. Онъ очень любилъ пускать змѣи, гонять голубей, играть въ бабки, бѣгать въ догонки и всегда вмѣшивался въ дѣтскія игры и ссоры. Нужно было только хозяевамъ уйти или уснуть, чтобы онъ занялся чѣмъ-нибудь въ родѣ прыганья на одной ножкѣ или подбрасыванья камешковъ. Всякому взрослому, при видѣ того искренняго увлеченія, съ какимъ онъ рѣзвился въ обществѣ малолѣтковъ, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дѣти же во вторженіи большого кучера въ ихъ область не видѣли ничего страннаго: пусть играетъ, лишь бы не дрался! Точно такъ маленькія собаки не видятъ ничего страннаго, когда въ ихъ компанію затесывается какой-нибудь большой, искренній песъ и начинаетъ играть съ ними.

Дениска перегналъ Егорушку и, повидимому, остался этимъ очень доволенъ. Онъ подмигнулъ глазомъ и, чтобы показать, что онъ можетъ проскакать на одной ножкѣ какое угодно пространство, предложилъ Егорушкѣ, не хочетъ ли тотъ проскакать съ нимъ по дорогѣ и оттуда, не отдыхая, назадъ къ бричкѣ? Егорушка отклонилъ это предложеніе, потому что очень запыхался и ослабѣлъ.

Вдругъ Дениска сдѣлалъ очень серьезное лицо, какого онъ не дѣлалъ, даже когда Кузьмичовъ распекалъ его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, онъ тихо опустился на одно колѣно, и на лицѣ его показалось выраженіе строгости и страха, какое бываетъ у людей, слышащихъ ересь. Онъ нацѣлился на одну точку глазами, медленно поднялъ вверхъ кисть руки, сложенную лодочкой, и вдругъ упалъ животомъ на землю и хлопнулъ лодочкой по травѣ.

— Есть! — прохрипѣлъ онъ торжествующе и, вставши, поднесъ къ глазамъ Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это пріятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой, зеленой спинѣ и потрогали его усики. Потомъ Дениска поймалъ жирную муху, насосавшуюся крови, и предложилъ ее кузнечику. Тотъ очень равнодушно, точно давно уже былъ знакомъ съ Дениской, задвигалъ своими большими, похожими на забрало

челюстями и отъѣлъ мухѣ животъ. Его выпустили, онъ сверкнулъ розовой подкладкой своихъ крыльевъ и, опустившись въ траву, тотчасъ же затрещалъ свою пѣсню. Выпустили и муху; она расправила крылья и безъ живота полетѣла къ лошадямъ.

Изъ-подъ брички послышался глубокій вздохъ. Это проснулся Кузьмичовъ. Онъ быстро поднялъ голову, безпокойно поглядѣлъ вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, онъ думалъ о шерсти и Варламовѣ.

— О. Христофоръ, вставайте, пора! — заговорилъ онъ встревоженно.—Будетъ спать, и такъ ужъ дѣло проспали! Дениска, запрягай!

О. Христофоръ проснулся съ такою же улыбкою, съ какою уснулъ. Лицо его отъ сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одѣвшись, онъ неспѣша вытащилъ изъ кармана маленькій засаленный псалтирь и, ставъ лицомъ къ востоку, началъ шопотомъ читать и креститься.

— О. Христофоръ!— сказалъ укоризненно Кузьмичовъ.— Пора ѣхать, ужъ лошади готовы, а вы ей-Богу...

— Сейчасъ, сейчасъ... — забормоталъ о. Христофоръ.— Каѳизмы почитать надо... Не читалъ еще нынче.

— Можно и послѣ съ каѳизмами.

— Иванъ Иванычъ, на каждый день у меня положеніе... Нельзя.

— Богъ не взыскалъ бы.

Цѣлую четверть часа о. Христофоръ стоялъ неподвижно лицомъ къ востоку и шевелилъ губами, а Кузьмичовъ почти съ ненавистью глядѣлъ на него и нетерпѣливо пожималъ плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофоръ послѣ каждой «славы» втягивалъ въ себя воздухъ, быстро крестился и намѣренно громко, чтобъ другіе крестились, говорилъ трижды:

— Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебѣ Боже!

Наконецъ онъ улыбнулся, поглядѣлъ вверхъ на небо и, кладя псалтирь въ карманъ, сказалъ:

— Fini!

Черезъ минуту бричка тронулась въ путь. Точно она ѣхала назадъ, а не дальше, путники видѣли то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули въ лиловой дали

и не было видно ихъ конца; мелькалъ бурьянъ, булыжникъ, проносились сжатыя полосы, и все тѣ же грачи да коршунъ, солидно взмахивающій крыльями, летали надъ степью. Воздухъ все больше застывалъ отъ зноя и тишины, покорная природа цѣпенѣла въ молчаніи... Ни вѣтра, ни бодраго, свѣжаго звука, ни облачка.

Но вотъ, наконецъ, когда солнце стало спускаться къ западу, степь, холмы и воздухъ не выдержали гнета и, истощивши терпѣніе, измучившись, попытались сбросить съ себя иго. Изъ-за холмовъ неожиданно показалось пепельно-сѣдое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, молъ, готово — и нахмурилось. Вдругъ въ стоячемъ воздухѣ что-то порвалось, сильно рванулъ вѣтеръ и съ шумомъ, со свистомъ закружился по степи. Тотчасъ же трава и прошлогодній бурьянъ подняли ропотъ, на дорогѣ спирально закружилась пыль, побѣжала по степи и, увлекая за собой солому, стрекозъ и перья, чернымъ, вертящимся столбомъ поднялась къ небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперекъ, спотыкаясь и прыгая, побѣжали перекати-поле, а одно изъ нихъ попало въ вихрь, завертѣлось, какъ птица, полетѣло къ небу и, обратившись тамъ въ черную точку, исчезло изъ виду. За нимъ понеслось другое, потомъ третье, и Егорушка видѣлъ, какъ два перекати-поле столкнулись въ голубой вышинѣ и вцѣпились другъ въ друга, какъ на поединкѣ.

У самой дороги вспорхнулъ стрепетъ. Мелькая крыльями и хвостомъ, онъ, залитый солнцемъ, походилъ на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у котораго, когда онъ мелькаетъ надъ водой, крылья сливаются съ усиками и кажется, что усики растутъ у него и спереди, и сзади, и съ боковъ... Дрожа въ воздухѣ, какъ насѣкомое, играя своей пестротой, стрепетъ поднялся высоко вверхъ по прямой линіи, потомъ, вѣроятно испуганный облакомъ пыли, понесся въ сторону, и долго еще было видно его мельканіе...

А вотъ, встревоженный вихремъ и не понимая, въ чемъ дѣло, изъ травы вылетѣлъ коростель. Онъ летѣлъ за вѣтромъ, а не противъ, какъ всѣ птицы; отъ этого его перья взъерошились, весь онъ раздулся до величины курицы и имѣлъ очень сердитый, внушительный видъ. Одни только грачи, состарившіеся въ степи и привыкшіе къ степнымъ переполохамъ, покойно носились надъ травой, или же рав-

нодушно, ни на что не обращая вниманія, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремѣлъ громъ; подуло свѣжестью. Дениска весело свистнулъ и стегнулъ по лошадямъ. О. Христофоръ и Кузьмичовъ, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнулъ дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усиліе, одна потуга, и степь взяла бы верхъ. Но невидимая гнетущая сила мало-по-малу сковала вѣтеръ и воздухъ, уложила пыль и опять, какъ будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорѣлые холмы нахмурились, воздухъ покорно застылъ, и одни только встревоженные чибисы гдѣ-то плакали и жаловались на судьбу...

Затѣмъ скоро наступилъ вечеръ.

III.

Въ вечернихъ сумеркахъ показался большой одноэтажный домъ съ ржавой желѣзной крышей и съ темными окнами. Этотъ домъ назывался постоялымъ дворомъ, хотя возлѣ него никакого двора не было и стоялъ онъ посреди степи, ничѣмъ не огороженный. Нѣсколько въ сторонѣ отъ него темнѣлъ жалкій вишневый садикъ съ плетнемъ, да подъ окнами, склонивъ свои тяжелыя головы, стояли спавшіе подсолнечники. Въ садикѣ трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стукомъ зайцевъ. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кромѣ степи.

Едва бричка остановилась около крылечка съ навѣсомъ, какъ въ домѣ послышались радостные голоса — одинъ мужской, другой женскій — завизжала дверь на блокѣ, и около брички въ одно мгновеніе выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это былъ хозяинъ постоялаго двора Мойсей Мойсеичъ, немолодой человѣкъ съ очень блѣднымъ лицомъ и съ черной, какъ тушь, красивой бородой. Одѣтъ онъ былъ въ поношенный черный сюртукъ, который болтался на его узкихъ плечахъ, какъ на вѣшалкѣ, и взмахивалъ фалдами, точно крыльями, всякій разъ, какъ Мойсей Мойсеичъ отъ радости или въ ужасѣ всплескивалъ руками. Кромѣ сюртука, на хозяинѣ были еще широкія, бѣлыя панталоны на выпускъ и бархатная жилетка съ рыжими цвѣтами, похожими на гигантскихъ клоповъ.

Мойсей Мойсеичъ, узнавъ пріѣхавшихъ, сначала замеръ отъ наплыва чувствъ, потомъ всплеснулъ руками и простоналъ. Сюртукъ его взмахнулъ фалдами, спина согнулась въ дугу и блѣдное лицо покривилось такой улыбкой, какъ будто видѣть бричку для него было не только пріятно, но и мучительно сладко.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! — заговорилъ онъ тонкимъ, пѣвучимъ голосомъ, задыхаясь, суетясь и своими тѣлодвиженіями мѣшая пассажирамъ вылѣзти изъ брички. — И такой сегодня для меня счастливый день! Ахъ, да что же я таперичка долженъ дѣлать! Иванъ Иванычъ! Отецъ Христофоръ! Какой же хорошенькій паничокъ сидитъ на козлахъ, накажи меня Богъ! Ахъ, Боже жъ мой, да что же я стою на одномъ мѣстѣ и не зову гостей въ горницу? Пожалуйте, покорнѣйше прошу... милости просимъ! Давайте мнѣ всѣ ваши вещи... Ахъ, Боже мой!

Мойсей Мойсеичъ, шаря въ бричкѣ и помогая пріѣзжимъ вылѣзать, вдругъ обернулся назадъ и закричалъ такимъ дикимъ, придушеннымъ голосомъ, какъ будто тонулъ и звалъ на помощь:

— Соломонъ! Соломонъ!

— Соломонъ! Соломонъ! — повторилъ въ домѣ женскій голосъ.

Дверь на блокѣ завизжала, и на порогѣ показался невысокій молодой еврей, рыжій, съ большимъ птичьимъ носомъ и съ плѣшью среди жесткихъ, кудрявыхъ волосъ; одѣтъ онъ былъ въ короткій, очень поношенный пиджакъ, съ закругленными фалдами и съ короткими рукавами, и въ короткія, триковыя брючки, отчего самъ казался короткимъ и кургузымъ, какъ ощипанная птица. Это былъ Соломонъ, братъ Мойсея Мойсеича. Онъ, молча, не здороваясь, а только какъ-то странно улыбаясь, подошелъ къ бричкѣ.

— Иванъ Иванычъ и отецъ Христофоръ пріѣхали! — сказалъ ему Мойсей Мойсеичъ такимъ тономъ, какъ будто боялся, что тотъ ему не повѣритъ. — Ай, вай, удивительное дѣло, такіе хорошіе люди взяли да пріѣхали! Ну, бери, Соломонъ, вещи! Пожалуйте, дорогіе гости!

Немного погодя, Кузьмичовъ, о. Христофоръ и Егорушка сидѣли уже въ большой, мрачной и пустой комнатѣ за старымъ дубовымъ столомъ. Этотъ столъ былъ почти оди-

нокъ, такъ какъ въ большой комнатѣ, кромѣ него, широкаго дивана съ дырявой клеенкой да трехъ стульевъ, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякій рѣшился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобіе мебели съ отжившей свой вѣкъ клеенкой и съ неестественно сильно загнутыми назадъ спинками, придававшими стульямъ большое сходство съ дѣтскими санями. Трудно было понять, какое удобство имѣлъ въ виду невѣдомый столяръ, загибая такъ немилосердно спинки, и хотѣлось думать, что тутъ виноватъ не столяръ, а какой-нибудь проѣзжій силачъ, который, желая похвастать своей силой, согнулъ стульямъ спины, потомъ взялся поправлять и еще больше согнулъ. Комната казалась мрачной. Стѣны были сѣры, потолокъ и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зіяли дыры непонятнаго происхожденія (думалось, что ихъ пробилъ каблукомъ все тотъ же силачъ), и, казалось, если бы въ комнатѣ повѣсили десятокъ лампъ, то она не перестала бы быть темной. Ни на стѣнахъ, ни на окнахъ не было ничего похожаго на украшенія. Впрочемъ, на одной стѣнѣ въ сѣрой деревянной рамѣ висѣли какія-то правила съ двуглавымъ орломъ, а на другой, въ такой же рамѣ, какая-то гравюра съ надписью: «Равнодушіе человѣковъ». Къ чему человѣки были равнодушны, — понять было невозможно, такъ какъ гравюра сильно потускнѣла отъ времени и была щедро засижена мухами. Пахло въ комнатѣ чѣмъ-то затхлымъ и кислымъ.

Введя гостей въ комнату, Мойсей Мойсеичъ продолжалъ изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать—все это считалъ онъ нужнымъ продѣлывать для того, чтобы казаться необыкновенно вѣжливымъ и любезнымъ.

— Когда проѣхали тутъ наши подводы? — спросилъ его Кузьмичовъ.

— Одна партія проѣхала нынче утречкомъ, а другая, Иванъ Иванычъ, отдыхала тутъ въ обѣдъ и передъ вечеромъ уѣхала.

— А... Проѣзжалъ тутъ Варламовъ, или нѣтъ?

— Нѣтъ, Иванъ Иванычъ. Вчера утречкомъ проѣзжалъ его приказчикъ Григорій Егорычъ и говорилъ, что онъ, надо-быть, таперичка на хуторѣ у молокана.

— Отлично. Значитъ, мы сейчасъ догоним обозы, а потомъ и къ молокану.

— Да Богъ съ вами, Иванъ Иванычъ! — ужаснулся Мойсей Мойсеичъ, всплескивая руками. — Куда вы на ночь поѣдете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, Богъ дастъ, утречкомъ поѣдете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеичъ, въ другой разъ какъ-нибудь, а теперь не время. Посидимъ четверть часика и поѣдемъ, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнулъ Мойсей Мойсеичъ. — Да побойтесь вы Бога, Иванъ Иванычъ! Вы меня заставите, чтобъ я ваши шапке спряталъ и заперъ на замокъ дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда намъ съ чаями да съ сахарами, — сказалъ Кузьмичовъ.

Мойсей Мойсеичъ склонилъ голову на бокъ, согнулъ колѣни и выставилъ впередъ ладони, точно обороняясь отъ ударовъ, и съ мучительно-сладкой улыбкой сталъ умолять:

— Иванъ Иванычъ! Отецъ Христофоръ! Будьте же такіе добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я ужъ такой нехорошій человѣкъ, что у меня нельзя даже чай пить? Иванъ Иванычъ!

— Что жъ, чайку можно попить, — сочувственно вздохнулъ отецъ Христофоръ. — Это не задержитъ.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичовъ.

Мойсей Мойсеичъ встрепенулся, радостно ахнулъ и, пожимаясь такъ, какъ будто онъ только-что выскочилъ изъ холодной воды въ тепло, побѣжалъ къ двери и закричалъ дикимъ придушеннымъ голосомъ, какимъ раньше звалъ Соломона:

— Роза! Роза! Давай самоваръ!

Черезъ минуту отворилась дверь, и въ комнату съ большимъ подносомъ въ рукахъ вошелъ Соломонъ. Ставя на столъ подносъ, онъ насмѣшливо глядѣлъ куда-то въ сторону и попрежнему странно улыбался. Теперь при свѣтѣ лампочки можно было разглядѣть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувствъ, но преобладающимъ въ ней было одно — явное презрѣніе. Онъ какъ будто думалъ о чемъ-то смѣшномъ и глупомъ, кого-то терпѣть не могъ и презиралъ, чему-то радовался и ждалъ подходящей минуты, чтобы уязвить насмѣшкой и пока-

титься со смѣху. Его длинный носъ, жирныя губы и хитрые, выпученные глаза, казалось, были напряжены отъ желанія расхохотаться. Взглянувъ на его лицо, Кузьмичовъ насмѣшливо улыбнулся и спросилъ:

— Соломонъ, отчего же ты этимъ лѣтомъ не пріѣзжалъ къ намъ въ N. на ярмарку жидовъ представлять?

Года два назадъ, что отлично помнилъ и Егорушка, Соломонъ въ N. на ярмаркѣ, въ одномъ изъ балагановъ, разсказывалъ сцены изъ еврейскаго быта и пользовался большимъ успѣхомъ. Напоминаніе объ этомъ не произвело на Соломона никакого впечатлѣнія. Ничего не отвѣтивъ, онъ вышелъ и, немного погодя, вернулся съ самоваромъ.

Сдѣлавъ около стола свое дѣло, онъ пошелъ въ сторону и, скрестивъ на груди руки, выставивъ впередъ одну ногу, уставился своими насмѣшливыми глазами на о. Христофора. Въ его позѣ было что-то вызывающее, надменное и презрительное, и въ то же время въ высшей степени жалкое и комическое, потому что чѣмъ внушительнѣе становилась его поза, тѣмъ ярче выступали на первый планъ его короткія брючки, куцый пиджакъ, карикатурный носъ и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеичъ принесъ изъ другой комнаты табуретъ и сѣлъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ стола.

— Пріятнаго аппетиту! Чай да сахаръ! — началъ онъ занимать гостей. — Кушайте на здоровьечко. Такіе рѣдкіе гости, такіе рѣдкіе, а отца Христофора я ужъ пять годовъ не видалъ. И никто не хочетъ мнѣ сказать, чей это такой паничокъ хорошій? — спросилъ онъ, нѣжно поглядывая на Егорушку.

— Это сынокъ сестры Ольги Ивановны,—отвѣтилъ Кузьмичовъ.

— А куда же онъ ѣдетъ?

— Учиться. Въ гимназію его веземъ.

Мойсей Мойсеичъ изъ вѣжливости изобразилъ на лицѣ своемъ удивленіе и значительно покрутилъ головой.

— О, это хорошо! — сказалъ онъ, грозя самовару пальцемъ. — Это хорошо! Изъ гимназіи выйдешь такой господинъ, что всѣ мы будемъ шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, съ амбиціей, а маменька будетъ радоваться. О, это хорошо!

Онъ помолчалъ немного, погладилъ себѣ колѣни и заговорилъ въ почтительно-шутливомъ тонѣ:

— Ужъ вы меня извините, отецъ Христофоръ, а я собираюсь написать бумагу архіерею, что вы у купцовъ хлѣбъ отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значитъ, своихъ грошей мало, что онъ занялся коммерціей и сталъ шерстъ продавать.

— Да, вздумалъ вотъ на старости лѣтъ... — сказалъ о. Христофоръ и засмѣялся. — Записался, братъ, изъ поповъ въ купцы. Теперь бы дома сидѣть да Богу молиться, а я скачу, аки фараонъ на колесницѣ... Суета!

— Зато грошей будетъ много!

— Ну да! Дулю мнѣ подъ носъ, а не гроши. Товаръ-то вѣдь не мой, а зятя Михайлы!

— Отчего же онъ самъ не поѣхалъ?

— А оттого... Матернее молоко на губахъ еще не обсохло. Купить-то купилъ шерсть, а чтобъ продать — ума нѣтъ, молодъ еще. Всѣ деньги свои потратилъ, хотѣлъ нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цѣны никто не даетъ. Этакъ помыкался парень съ годъ, потомъ приходитъ ко мнѣ и — «Папаша, продайте шерсть сдѣлайте милость! Ничего я въ этихъ дѣлахъ не понимаю!» То-то вотъ и есть. Какъ что, такъ сейчасъ и папаша, а прежде и безъ папаши можно было. Когда покупалъ, не спрашивался, а теперь, какъ приспичило, такъ и папаша. А что папаша? Коли бъ не Иванъ Иванычъ, такъ и папаша ничего бъ не сдѣлалъ. Хлопоты съ ними!

— Да, хлопотно съ дѣтьми, я вамъ скажу! — вздохнулъ Мойсей Мойсеичъ. — У меня у самого шесть человѣкъ. Одного учи, другого лѣчи, третьяго на рукахъ носи, а когда вырастутъ, такъ еще больше хлопотъ. Не только таперичка, даже въ священномъ писаніи такъ было. Когда у Іакова были маленькія дѣти, онъ плакалъ, а когда они выросли, еще хуже сталъ плакать!

— М-да...—согласился о. Христофоръ, задумчиво глядя на стаканъ. — Мнѣ-то собственно нечего Бога гнѣвить, я достигъ предѣла своей жизни, какъ дай Богъ всякому... Дочекъ за хорошихъ людей опредѣлилъ, сыновъ въ люди вывелъ и теперь свободенъ, свое дѣло сдѣлалъ, хоть на всѣ четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучатъ радуюсь да Богу мо-

люсь, а больше мнѣ ничего и не надо. Какъ сыръ въ маслѣ катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели бъ, скажемъ, царь спросилъ: «Что тебѣ надобно? Чего хочешь?» Да ничего мнѣ не надобно! Все у меня есть и все слава Богу. Счастливѣй меня во всемъ городѣ человѣка нѣтъ. Только вотъ грѣховъ много, да вѣдь и то сказать, одинъ Богъ безъ грѣха. Вѣдь вѣрно?

— Стало-быть, вѣрно.

— Ну, конечно, зубовъ нѣтъ, спину отъ старости ломитъ, то да се... одышка и всякое тамъ... Болѣю, плоть немощна, ну, да вѣдь, самъ посуди, пожилъ! Восьмой десятокъ! Не вѣкъ же вѣковать, надо и честь знать.

О. Христофоръ вдругъ что-то вспомнилъ, прыснулъ въ стаканъ и закашлялся отъ смѣха. Мойсей Мойсеичъ изъ приличія тоже засмѣялся и закашлялся.

— Потѣха!—сказалъ о. Христофоръ и махнулъ рукой.— Пріѣзжаетъ ко мнѣ въ гости старшій сынъ мой Гаврила. Онъ по медицинской части и служитъ въ Черниговской губерніи въ земскихъ докторахъ... Хорошо-съ... Я ему и говорю: «Вотъ, говорю, одышка, то да се... Ты докторъ, лѣчи отца!» Онъ сейчасъ меня раздѣлъ, постукалъ, послушалъ, разныя тамъ штуки... животъ помялъ, потомъ и говоритъ: — «Вамъ, папаша, надо, говоритъ, лѣчиться сжатымъ воздухомъ».

О. Христофоръ захохоталъ судорожно, до слезъ и поднялся.

— А я ему и говорю: «Богъ съ нимъ, съ этимъ сжатымъ воздухомъ!» — выговорилъ онъ сквозь смѣхъ и махнулъ обѣими руками.—Богъ съ нимъ, съ этимъ сжатымъ воздухомъ!

Мойсей Мойсеичъ тоже поднялся и, взявшись за животъ, залился тонкимъ смѣхомъ, похожимъ на лай болонки.

— Богъ съ нимъ, съ этимъ сжатымъ воздухомъ! — повторилъ о. Христофоръ, хохоча.

Мойсей Мойсеичъ взялъ двумя нотами выше и закатился такимъ судорожнымъ смѣхомъ, что едва устоялъ на ногахъ.

— О, Боже мой... — стоналъ онъ среди смѣха. — Дайте вздохнуть... Такъ насмѣшили, что... охъ!..—смерть моя.

Онъ смѣялся и говорилъ, а самъ между тѣмъ пугливо и подозрительно посматривалъ на Соломона. Тотъ стоялъ въ

прежней позѣ и улыбался. Судя по его глазамъ и улыбкѣ, онъ презиралъ и ненавидѣлъ серьезно, но это такъ не шло къ его ощипанной фигуркѣ, что, казалось Егорушкѣ, вызывающую позу и ѣдкое, презрительное выраженіе придалъ онъ себѣ нарочно, чтобы разыграть шута и насмѣшить дорогихъ гостей.

Выпивъ молча стакановъ шесть, Кузьмичовъ расчистилъ передъ собой на столѣ мѣсто, взялъ мѣшокъ, тотъ самый, который, когда онъ спалъ подъ бричкой, лежалъ у него подъ головой, развязалъ на немъ веревечку и потрясъ имъ. Изъ мѣшка посыпались на столъ пачки кредитныхъ бумажекъ.

— Пока время есть, давайте, о. Христофоръ, посчитаемъ,—сказалъ Кузьмичовъ.

Увидѣвъ деньги, Мойсей Мойсеичъ сконфузился, всталъ и, какъ деликатный человѣкъ, не желающій знать чужихъ секретовъ, на цыпочкахъ и балансируя руками, вышелъ изъ комнаты. Соломонъ остался на своемъ мѣстѣ.

— Въ рублевыхъ пачкахъ по скольку?—началъ о. Христофоръ.

— По пятьдесятъ... Въ трехрублевыхъ по девяносто... Четвертныя и сторублевыя по тысячамъ сложены. Вы отсчитайте семь тысячъ восемьсотъ для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видалъ такой кучи денегъ, какая лежала теперь на столѣ. Денегъ, вѣроятно, было очень много, такъ какъ пачка въ семь тысячъ восемьсотъ, которую о. Христофоръ отложилъ для Варламова, въ сравненіи со всей кучей казалась очень маленькой. Въ другое время такая масса денегъ, быть-можетъ, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышленія о томъ, сколько на эту кучу можно купить бубликовъ, бабокъ, маковниковъ; теперь же онъ глядѣлъ на нее безучастно и чувствовалъ только противный запахъ гнилыхъ яблокъ и керосина, шедшій отъ кучи. Онъ былъ измученъ тряской ѣздой на бричкѣ, утомился и хотѣлъ спать. Его голову тянуло внизъ, глаза слипались и мысли путались, какъ нитки. Если бъ можно было, онъ съ наслажденіемъ склонилъ бы голову на столъ, закрылъ бы глаза, чтобъ не видѣть лампы и пальцевъ, двигавшихся надъ кучей, и позволилъ бы своимъ вялымъ, сонным мыслямъ еще больше запутаться. Когда онъ си-

лился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самоваръ качался, а запахъ гнилыхъ яблокъ казался еще острѣе и противнѣе.

— Ахъ, деньги, деньги!—вздыхалъ о. Христофоръ, улыбаясь.—Горе съ вами! Теперь мой Михайло, небось, спитъ и видитъ, что я ему такую кучу привезу.

— Вашъ Михайло Тимофеичъ человѣкъ не понимающій,— говорилъ вполголоса Кузьмичовъ:—не за свое дѣло берется, а вы понимаете и можете разсудить. Отдали бы вы мнѣ, какъ я говорилъ, вашу шерсть и ѣхали бы себѣ назадъ, а я бъ вамъ, такъ и быть ужъ, далъ бы по полтиннику поверхъ своей цѣны, да и то только изъ уваженія...

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ,—вздыхалъ о. Христофоръ.— Благодаримъ васъ за вниманіе... Конечно, ежели бъ моя воля, я бъ и разговаривать не сталъ, а то вѣдь, сами знаете, товаръ не мой...

Вошелъ на цыпочкахъ Мойсей Мойсеичъ. Стараясь изъ деликатности не глядѣть на кучу денегъ, онъ подкрался къ Егорушкѣ и дернулъ его сзади за рубаху.

— А пойдемъ-ка, паничокъ,—сказалъ онъ вполголоса:— какого я тебѣ медвѣдика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка всталъ и лѣниво поплелся за Мойсеемъ Мойсеичемъ смотрѣть медвѣдя. Онъ вошелъ въ небольшую комнатку, гдѣ, прежде чѣмъ онъ увидѣлъ что-нибудь, у него захватило дыханіе отъ запаха чего-то кислаго и затхлаго, который здѣсь былъ гораздо гуще, чѣмъ въ большой комнатѣ, и, вѣроятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальнымъ стеганымъ одѣяломъ, а другая комодомъ и горами всевозможнаго тряпья, начиная съ жестко накрахмаленныхъ юбокъ и кончая дѣтскими штанишками и помочами. На комодѣ горѣла сальная свѣчка.

Вмѣсто обѣщаннаго медвѣдя, Егорушка увидѣлъ большую, очень толстую еврейку, съ распущенными волосами и въ красномъ фланелевомъ платьѣ съ черными крапинками; она тяжело поворачивалась въ узкомъ проходѣ между постелью и комодомъ и издавала протяжные, стонущіе вздохи, точно у нея болѣли зубы. Увидѣвъ Егорушку, она сдѣлала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чѣмъ онъ

успѣлъ оглядѣться, поднесла къ его рту ломоть хлѣба, вымазанный медомъ.

— Кушай, дѣтка, кушай!—сказала она.—Ты здѣсь безъ маменьке и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка сталъ ѣсть, хотя послѣ леденцовъ и маковниковъ, которые онъ каждый день ѣлъ у себя дома, не находилъ ничего хорошаго въ меду, на половину смѣшанномъ съ воскомъ и съ пчелиными крыльями. Онъ ѣлъ, а Мойсей Мойсеичъ и еврейка глядѣли и вздыхали.

— Ты куда ѣдешь, дѣтка?—спросила еврейка.

— Учиться,—отвѣтилъ Егорушка.

— А сколько васъ у маменьке?

— Я одинъ. Больше нѣту никого.

— А-охъ!—вздохнула еврейка и подняла вверхъ глаза.—Бѣдная маменьке, бѣдная маменьке! Какъ же она будетъ скучать и плакать! Черезъ годъ мы тоже повеземъ въ ученье своего Наума! Охъ!

— Ахъ, Наумъ, Наумъ!—вздохнулъ Мойсей Мойсеичъ, и на его блѣдномъ лицѣ нервно задрожала кожа.—А онъ такой больной.

Сальное одѣяло зашевелилось, и изъ-подъ него показалась кудрявая дѣтская голова на очень тонкой шеѣ; два черныхъ глаза блеснули и съ любопытствомъ уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеичъ и еврейка, не переставая вздыхать, подошли къ комоду и стали говорить о чемъ-то по-еврейски. Мойсей Мойсеичъ говорилъ вполголоса, низкимъ баскомъ, и въ общемъ его еврейская рѣчь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвѣчала ему тонкимъ индюшечьимъ голоскомъ, и у нея выходило что-то въ родѣ «ту-ту-ту-ту...» Пока они совѣщались, изъ-подъ сальнаго одѣяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шеѣ, за ней третья, потомъ четвертая... Если бы Егорушка обладалъ богатой фантазіей, то могъ бы подумать, что подъ одѣяломъ лежала стоглавая гидра.

— Гал-гал-гал-гал...—говорилъ Мойсей Мойсеичъ.

— Ту-ту-ту-ту...—отвѣчала ему еврейка.

Совѣщаніе кончилось тѣмъ, что еврейка съ глубокимъ вздохомъ полѣзла въ комодъ, развернула тамъ какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряникъ, въ видѣ сердца.

— Возьми, дѣтка, — сказала она, подавая Егорушкѣ

пряникъ.—У тебя теперь нѣту маменьке, некому тебѣ гостинца дать.

Егорушка сунулъ въ карманъ пряникъ и попятился къ двери, такъ какъ былъ уже не въ силахъ дышать затхлымъ и кислымъ воздухомъ, въ которомъ жили хозяева. Вернувшись въ большую комнату, онъ поудобнѣй примостился на диванѣ и ужъ не мѣшалъ себѣ думать.

Кузьмичовъ только-что кончилъ считать деньги и клалъ ихъ обратно въ мѣшокъ. Обращался онъ съ ними не особенно почтительно и валилъ ихъ въ грязный мѣшокъ безъ всякой церемоніи съ такимъ равнодушіемъ, какъ будто это были не деньги, а бумажный хламъ.

О. Христофоръ бесѣдовалъ съ Соломономъ.

— Ну, что, Соломонъ премудрый? — спрашивалъ онъ, зѣвая и крестя ротъ.—Какъ дѣла?

— Это вы про какія дѣла говорите?—спросилъ Соломонъ и поглядѣлъ такъ ехидно, какъ будто ему намекали на какое-нибудь преступленіе.

— Вообще... Что подѣлываешь?

— Что я подѣлываю?—переспросилъ Соломонъ и пожалъ плечами.—То же, что и всѣ... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, братъ лакей у проѣзжающихъ, проѣзжающіе лакеи у Варламова, а если бы я имѣлъ денегъ десять милліоновъ, то Варламовъ былъ бы у меня лакеемъ.

— То-есть почему же это онъ былъ бы у тебя лакеемъ?

— Почему? А потому, что нѣтъ такого барина или милліонера, который изъ-за лишней копейки не сталъ бы лизать рукъ у жида пархатаго. Я теперь жидъ пархатый и нищій, всѣ на меня смотрятъ, какъ на собаке, а если бъ у меня были деньги, то Варламовъ передо мной ломалъ бы такого дурака, какъ Моисей передъ вами.

О. Христофоръ и Кузьмичовъ переглянулись. Ни тотъ, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичовъ строго и сухо поглядѣлъ на него и спросилъ:

— Какъ же ты, дуракъ этакой, равняешь себя съ Варламовымъ?

— Я еще не настолько дуракъ, чтобы равнять себя съ Варламовымъ,—отвѣтилъ Соломонъ, насмѣшливо оглядывая своихъ собесѣдниковъ.—Варламовъ хоть и русскій, но въ душѣ онъ жидъ пархатый; вся жизнь у него въ деньгахъ и въ наживѣ, а я свои деньги спалилъ въ печкѣ. Мнѣ не

нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтобъ меня боялись и снимали шапки, когда я ѣду. Значитъ, я умнѣй вашего Варламова и больше похожъ на человѣка!

Немного погодя, Егорушка сквозь полусонъ слышалъ, какъ Соломонъ голосомъ глухимъ и сиплымъ отъ душившей его ненависти, картавя и спѣша, заговорилъ объ евреяхъ; сначала говорилъ онъ правильно, по-русски, потомъ же впалъ въ тонъ разсказчиковъ изъ еврейскаго быта и сталъ говорить какъ когда-то въ балаганѣ, съ утрированнымъ еврейскимъ акцентомъ.

— Постой...—перебилъ его о. Христофоръ.—Если тебѣ твоя вѣра не нравится, такъ ты ее перемѣни, а смѣяться грѣхъ; тотъ послѣдній человѣкъ, кто надъ своей вѣрой глумится.

— Вы ничего не понимаете!—грубо оборвалъ его Соломонъ.—Я вамъ говорю одно, а вы другое...

— Вотъ и видно сейчасъ, что ты глупый человѣкъ,— вздохнулъ о. Христофоръ.—Я тебя наставляю, какъ умѣю, а ты сердишься. Я тебѣ по-стариковски, потихоньку, а ты, какъ индюкъ: бла-бла-бла! Чудакъ, право...

Вошелъ Мойсей Мойсеичъ. Онъ встревоженно поглядѣлъ на Соломона и на своихъ гостей, и опять на его лицѣ нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнулъ головой и поглядѣлъ вокругъ себя; мелькомъ онъ увидѣлъ лицо Соломона и какъ разъ въ тотъ моментъ, когда оно было обращено къ нему въ три четверти и когда тѣнь отъ его длиннаго носа пересѣкла всю лѣвую щеку; презрительная улыбка, смѣшанная съ этою тѣнью, блестящіе, насмѣшливые глаза, надменное выраженіе и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая въ глазахъ Егорушки, дѣлали его теперь похожимъ не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вѣроятно, на нечистаго духа.

— Какой-то онъ у васъ бѣсноватый, Мойсей Мойсеичъ, Богъ съ нимъ!—сказалъ съ улыбкой о. Христофоръ.—Вы бы его пристроили куда-нибудь, или женили, что ли... На человѣка не похожъ...

Кузьмичовъ сердито нахмурился. Мойсей Мойсеичъ опять встревоженно и пытливо поглядѣлъ на брата и на гостей.

— Соломонъ, выйди отсюда!—строго сказалъ онъ.—Выйди!

И онъ прибавилъ еще что-то по-еврейски. Соломонъ отрывисто засмѣялся и вышелъ.

— А что такое?—испуганно спросилъ Мойсей Мойсеичъ о. Христофора.

— Забывается, — отвѣтилъ Кузьмичовъ. — Грубитель и много о себѣ понимаетъ.

— Такъ и зналъ!—ужаснулся Мойсей Мойсеичъ, всплескивая руками.—Ахъ, Боже мой! Боже мой! — забормоталъ онъ вполголоса. — Ужъ вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человѣкъ, такой человѣкъ! Ахъ, Боже мой! Боже мой! Онъ мнѣ родной братъ, но, кромѣ горя, я отъ него ничего не видѣлъ. Вѣдь онъ, знаете...

Мойсей Мойсеичъ покрутилъ пальцемъ около лба и продолжалъ:

— Не въ своемъ умѣ... пропащій человѣкъ. И что мнѣ съ нимъ дѣлать, не знаю! Никого онъ не любитъ, никого не почитаетъ, никого не боится... Знаете, надъ всѣми смѣется, говоритъ глупости, всякому въ глаза тычетъ. Вы не можете повѣрить, разъ пріѣхалъ сюда Варламовъ, а Соломонъ такое ему сказалъ, что тотъ ударилъ кнутомъ и его, и мене... А мене за что? Развѣ я виноватъ? Богъ отнялъ у него умъ, значитъ, это Божья воля, а я развѣ виноватъ?

Прошло минутъ десять, а Мойсей Мойсеичъ все еще бормоталъ вполголоса и вздыхалъ:

— Ночью онъ не спитъ и все думаетъ, думаетъ, думаетъ, а о чемъ онъ думаетъ, Богъ его знаетъ. Подойдешь къ нему ночью, а онъ сердится и смѣется. Онъ и меня не любитъ... И ничего онъ не хочетъ! Папаша, когда помиралъ, оставилъ ему и мнѣ по шести тысячъ рублей. Я купилъ себѣ постоялый дворъ, женился и таперичка дѣточекъ имѣю, а онъ спалилъ свои деньги въ печкѣ. Такъ жалко, такъ жалко! Зачѣмъ палить? Тебѣ не надо, такъ отдай мнѣ, а зачѣмъ же палить?

Вдругъ завизжала дверь на блокѣ и задрожалъ полъ отъ чьихъ-то шаговъ. На Егорушку пахнуло легкимъ вѣтеркомъ, и показалось ему, что какая-то большая, черная птица пронеслась мимо и у самаго лица его взмахнула крыльями. Онъ открылъ глаза... Дядя съ мѣшкомъ въ рукахъ, готовый въ путь, стоялъ возлѣ дивана. О. Христофоръ, держа широкополый цилиндръ, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, какъ всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло къ его лицу. А Мойсей Мойсеичъ, точно его

тѣло разломалось на три части, балансировалъ и всячески старался не разсыпаться. Одинъ только Соломонъ, какъ ни въ чемъ не бывало, стоялъ въ углу, скрестивъ руки, и попрежнему презрительно улыбался.

— Ваше сіятельство, извините, у насъ не чисто!—стоналъ Мойсей Мойсеичъ съ мучительно-сладкой улыбкой, уже не замѣчая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всѣмъ тѣломъ, чтобы не разсыпаться.—Мы люди простые, ваше сіятельство!

Егорушка протеръ глаза. Посреди комнаты стояло, дѣйствительно, сіятельство въ образѣ молодой, очень красивой и полной женщины въ черномъ платьѣ и въ соломенной шляпѣ. Прежде чѣмъ Егорушка успѣлъ разглядѣть ея черты, ему почему-то пришелъ на память тотъ одинокій, стройный тополь, который онъ видѣлъ днемъ на холмѣ.

— Проѣзжалъ здѣсь сегодня Варламовъ? — спросилъ женскій голосъ.

— Нѣтъ, ваше сіятельство! — отвѣтилъ Мойсей Мойсеичъ.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы онъ ко мнѣ заѣхалъ на минутку.

Вдругъ, совсѣмъ неожиданно, на полвершка отъ своихъ глазъ Егорушка увидѣлъ черныя, бархатныя брови, большіе каріе глаза и выхоленныя женскія щеки съ ямочками, отъ которыхъ, какъ лучи отъ солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чѣмъ-то великолѣпно запахло.

— Какой хорошенькій мальчикъ!—сказала дама. — Чей это? Казимиръ Михайловичъ, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, онъ спитъ! Бутузъ ты мой милый...

И дама крѣпко поцѣловала Егорушку въ обѣ щеки, и онъ улыбнулся и, думая, что спитъ, закрылъ глаза. Дверной блокъ завизжалъ и послышались торопливые шаги: кто-то входилъ и выходилъ.

— Егорушка! Егорушка!—раздался густой шопотъ двухъ голосовъ.—Вставай, ѣхать!

Кто-то, кажется, Дениска, поставилъ Егорушку на ноги и повелъ его за руку; на пути онъ открылъ на половину глаза и еще разъ увидѣлъ красивую женщину въ черномъ платьѣ, которая цѣловала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, какъ онъ уходилъ, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя къ двери, онъ увидѣлъ какого-

что красиваго и плотнаго брюнета въ ниляпѣ котелкомъ и въ крагахъ. Должно-быть, это былъ провожатый дамы.

— Тпрр!—донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидѣлъ новую, роскошную коляску и пару черныхъ лошадей. На козлахъ сидѣлъ лакей въ ливреѣ и съ длиннымъ хлыстомъ въ рукахъ. Провожать уѣзжающихъ вышелъ одинъ только Соломонъ. Лицо его было напряжено отъ желанія расхохотаться; онъ глядѣлъ такъ, какъ будто съ большимъ нетерпѣніемъ ждалъ отъѣзда гостей, чтобы вволю посмѣяться надъ ними.

— Графиня Драницкая, — прошепталъ о. Христофоръ, полѣзая въ бричку.

— Да, графиня Драницкая, — повторилъ Кузьмичовъ тоже шопотомъ.

Впечатлѣніе, произведенное пріѣздомъ графини, было, вѣроятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорилъ шопотомъ и только тогда рѣшился стегнуть по гнѣдымъ и крикнуть, когда бричка проѣхала съ четверть версты и когда далеко назади вмѣсто постоялаго двора виденъ ужъ былъ одинъ только тусклый огонекъ.

IV.

Кто же, наконецъ, этотъ неуловимый, таинственный Варламовъ, о которомъ такъ много говорятъ, котораго презираетъ Соломонъ и который нуженъ даже красивой графинѣ? Сѣвши на передокъ рядомъ съ Дениской, полусонный Егорушка думалъ именно объ этомъ человѣкѣ. Онъ никогда не видѣлъ его, но очень часто слышалъ о немъ и нерѣдко рисовалъ его въ своемъ воображеніи. Ему извѣстно было, что Варламовъ имѣетъ нѣсколько десятковъ тысячъ десятинъ земли, около сотни тысячъ овецъ и очень много денегъ; объ его образѣ жизни и занятіяхъ Егорушкѣ было извѣстно только то, что онъ всегда «кружился въ этихъ мѣстахъ» и что его всегда ищутъ.

Много слышалъ у себя дома Егорушка и о графинѣ Драницкой. Она тоже имѣла нѣсколько десятковъ тысячъ десятинъ, много овецъ, конскій заводъ и много денегъ, но не «кружилась», а жила у себя въ богатой усадьбѣ, про которую знакомые и Иванъ Иванычъ, не разъ бывавшій у графини по дѣламъ, разсказывали много чудеснаго; такъ, говорили, что въ графининой гостиной, гдѣ висятъ портреты

всѣхъ польскихъ королей, находились большіе столовые часы, имѣвшіе форму утеса, на утесѣ стоялъ дыбомъ золотой конь съ брилліантовыми глазами, а на конѣ сидѣлъ золотой всадникъ, который всякій разъ, когда часы били, взмахивалъ шашкой направо и налѣво. Разсказывали также, что раза два въ годъ графиня давала балъ, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губерніи и пріѣзжалъ даже Варламовъ; всѣ гости пили чай изъ серебряныхъ самоваровъ, ѣли все необыкновенное (напримѣръ, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали подъ музыку, которая играла день и ночь...

«А какая она красивая!»—думалъ Егорушка, вспоминая ея лицо и улыбку.

Кузьмичовъ, вѣроятно, тоже думалъ о графинѣ, потому что, когда бричка проѣхала версты двѣ, онъ сказалъ:

— Да и здорово же обираетъ ее этотъ Казимиръ Михайлычъ! Въ третьемъ годѣ, когда я у нея, помните, шерсть покупалъ, онъ на одной моей покупкѣ тысячи три нажилъ.

— Отъ ляха иного и ждать нельзя, — сказалъ о. Христофоръ.

— А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. Въ головѣ вѣтеръ такъ и ходитъ!

Егорушкѣ почему-то хотѣлось думать только о Варламовѣ и графинѣ, въ особенности о послѣдней. Его сонный мозгъ совсѣмъ отказался отъ обыкновенныхъ мыслей, туманился и удерживалъ одни только сказочные, фантастическіе образы, которые имѣютъ то удобство, что какъ-то сами собой, безъ всякихъ хлопотъ со стороны думающаго, зарождаются въ мозгу и сами—стоитъ только хорошенько встряхнуть головой—исчезаютъ безслѣдно; да и все, что было кругомъ, не располагало къ обыкновеннымъ мыслямъ. Направо темнѣли холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то невѣдомое и страшное, налѣво все небо надъ горизонтомъ было залито багровымъ заревомъ, и трудно было понять, былъ ли то гдѣ-нибудь пожаръ, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, какъ и днемъ, но ужъ ея нѣжная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мглѣ, какъ дѣти Мойсея Мойсеича подъ одѣяломъ.

Въ іюльскіе вечера и ночи уже не кричатъ перепела и коростели, не поютъ въ лѣсныхъ балочкахъ соловьи, не

пахнетъ цвѣтами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдетъ солнце и землю окутаетъ мгла, какъ дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхаетъ широкою грудью. Какъ будто отъ того, что травѣ не видно въ потемкахъ своей старости, въ ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бываетъ днемъ; трескъ, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты—все мѣшается въ непрерывный, монотонный гулъ, подъ который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкиваетъ, какъ колыбельная пѣсня; ѣдешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вотъ откуда-то доносится отрывистый, тревожный крикъ не уснувшей птицы, или раздается неопредѣленный звукъ, похожій на чей-то голосъ, въ родѣ удивленнаго «а-а!»—и дремота опускаетъ вѣки. А то, бывало, ѣдешь мимо балочки, гдѣ есть кусты, и слышишь, какъ птица, которую степняки зовутъ сплюкомъ, кому-то кричитъ: «сплю! сплю! сплю!», а другая хохочетъ или заливается истерическимъ плачемъ — это сова. Для кого онѣ кричатъ и кто ихъ слушаетъ на этой равнинѣ, Богъ ихъ знаетъ, но въ крикѣ ихъ много грусти и жалобы... Пахнетъ сѣномъ, высушенной травой и запоздалыми цвѣтами, но запахъ густъ, сладко-приторенъ и нѣженъ.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвѣтъ и очертанія предметовъ. Все представляется не тѣмъ, что оно есть. Ѣдешь и вдругъ видишь, впереди у самой дороги стоитъ силуэтъ, похожій на монаха; онъ не шевелится, ждетъ и что-то держитъ въ рукахъ... Не разбойникъ ли это? Фигура приближается, растетъ, вотъ она поровнялась съ бричкой, и вы видите, что это не человѣкъ, а одинокій кустъ или большой камень. Такія неподвижныя, кого-то поджидающія фигуры стоятъ на холмахъ, прячутся за курганами, выглядываютъ изъ бурьяна, и всѣ онѣ походятъ на людей и внушаютъ подозрѣніе.

А когда восходитъ луна, ночь становится блѣдной и темной. Мглы какъ не бывало. Воздухъ прозраченъ, свѣжъ и тепелъ, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдѣльные стобли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительныя фигуры, похожія на монаховъ, на свѣтломъ фонѣ ночи кажутся чернѣе и смотрятъ угрюмѣе. Чаще и чаще среди монотонной трес-

котни, тревожа неподвижный воздухъ, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крикъ не уснувшей или бредящей птицы. Широкія тѣни ходятъ по равнинѣ, какъ облака по небу, а въ непонятной дали, если долго всматриваться въ нее, высятся и громоздятся другъ на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на блѣдно-зеленое, усыпанное звѣздами небо, на которомъ ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздухъ недвижимъ, почему природа на-сторожѣ и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновеніе жизни. О необъятной глубинѣ и безграничности неба можно судить только на морѣ, да въ степи ночью, когда свѣтитъ луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядитъ томно и манитъ къ себѣ, а отъ ласки его кружится голова.

Ѣдешь часъ-другой... Попадается на пути молчаливый старикъ-курганъ, или каменная баба, поставленная Богъ вѣдаетъ кѣмъ и когда, безшумно пролетитъ надъ землею ночная птица, и мало-по-малу на память приходятъ степныя легенды, разсказы встрѣчныхъ, сказки няньки-степнячки и все то, что самъ сумѣлъ увидѣть и постичь душою. И тогда въ трескотнѣ насѣкомыхъ, въ подозрительныхъ фигурахъ и курганахъ, въ голубомъ небѣ, въ лунномъ свѣтѣ, въ полетѣ ночной птицы, во всемъ, что видишь и слышишь, начинаютъ чудиться торжество красоты, молодость, расцвѣтъ силъ и страстная жажда жизни; душа даетъ откликъ прекрасной, суровой родинѣ, и хочется летѣть надъ степью вмѣстѣ съ ночной птицей. И въ торжествѣ красоты, въ излишкѣ счастья чувствуешь напряженіе и тоску, какъ будто степь сознаетъ, что она одинока, что богатство ея и вдохновеніе гибнутъ даромъ для міра, никѣмъ не воспѣтыя и никому ненужныя, и сквозь радостный гулъ слышишь ея тоскливый, безнадежный призывъ: пѣвца! пѣвца!

— Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

— Слава Богу, Иванъ Иванычъ!

— Не видали, ребята, Варламова?

— Нѣтъ, не видали.

Егорушка проснулся и открылъ глаза. Бричка стояла. Направо, по дорогѣ далеко впередъ тянулся обозъ, около котораго сновали какіе-то люди. Всѣ возы, потому что на нихъ лежали большіе тюки съ шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади—маленькими и коротконогими.

— Такъ мы, значитъ, теперь къ молокану поѣдемъ!— громко говорилъ Кузьмичовъ.—Жидъ сказывалъ, что Варламовъ у молокана ночуетъ. Въ такомъ случаѣ прощайте, братцы! Съ Богомъ!

— Прощайте, Иванъ Иванычъ!—отвѣтило нѣсколько голосовъ.

— Вотъ что, ребята,—живо сказалъ Кузьмичовъ:—вы бы взяли съ собой моего парнишку! Что ему съ нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, къ себѣ на тюкъ и пусть себѣ ѣдетъ по-маленьку, а мы догонимъ. Ступай, Егоръ! Иди, ничего!..

Егорушка слѣзъ съ передка. Нѣсколько рукъ подхватило его, подняло высоко вверхъ, и онъ очутился на чемъ-то большомъ, мягкомъ и слегка влажномъ отъ росы. Теперь ему казалось, что небо было близко къ нему, а земля далеко.

— Эй, возьми свою пальтишку!—крикнулъ гдѣ-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелокъ, подброшенные снизу, упали возлѣ Егорушки. Онъ быстро, не желая ни о чемъ думать, положилъ подъ голову узелокъ, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь отъ росы, засмѣялся отъ удовольствія.

«Спать, спать, спать...»—думалъ онъ.

— Вы же, черти, его не забижайте!—послышался снизу голосъ Дениски.

— Прощайте, братцы! Съ Богомъ! — крикнулъ Кузьмичовъ.—Я на васъ надѣюсь!

— Будьте покойны, Иванъ Иванычъ!

Дениска ахнулъ на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но ужъ не по дорогѣ, а куда-то въ сторону. Минуты двѣ было тихо, точно обозъ уснулъ, и только слышалось, какъ вдали мало-по-малу замирало лязганье ведра, привязаннаго къ задку брички. Но вотъ впереди обоза кто-то крикнулъ:

— Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипѣлъ самый передній возъ, за нимъ другой, третій... Егорушка почувствовалъ, какъ возъ, на которомъ онъ лежалъ, покачнулся и тоже заскрипѣлъ. Обозъ тронулся. Егорушка покрѣпче взялся рукой за веревку, которою былъ перевязанъ тюкъ, еще засмѣялся отъ удовольствія, попра-

вилъ въ карманѣ пряникъ и сталъ засыпать такъ, какъ онъ обыкновенно засыпалъ у себя дома въ постели...

Когда онъ проснулся, уже восходило солнце; курганъ заслонялъ его собою, а оно, стараясь брызнуть свѣтомъ на міръ, напряженно пялило свои лучи во всѣ стороны и заливало горизонтъ золотомъ. Егорушкѣ показалось, что оно было не на своемъ мѣстѣ, такъ какъ вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много лѣвѣе... Да и вся мѣстность не походила на вчерашнюю. Холмовъ уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась безъ конца бурая, невеселая равнина; кое-гдѣ на ней высились небольшіе курганы, и летали вчерашніе грачи. Далеко впереди бѣлѣли колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскреснаго дня хохлы сидѣли дома, пекли и варили—это видно было по дыму, который шелъ изо всѣхъ трубъ и сизой, прозрачной пеленой висѣлъ надъ деревней. Въ промежуткахъ между избъ и за церковью синѣла рѣка, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило такъ мало на вчерашнее, какъ дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вмѣсто дороги; то была сѣрая полоса, хорошо выѣзженная и покрытая пылью, какъ всѣ дороги, но шириною въ нѣсколько десятковъ саженъ. Своимъ просторомъ она возбудила въ Егорушкѣ недоумѣніе и навела его на сказочныя мысли. Кто по ней ѣздитъ? Кому нуженъ такой просторъ? Непонятно и странно. Можно, въ самомъ дѣлѣ, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко-шагающіе люди, въ родѣ Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырскіе кони. Егорушка, взглянувъ на дорогу, вообразилъ штукъ шесть высокихъ, рядомъ скачущихъ колесницъ, въ родѣ тѣхъ, какія онъ видывалъ на рисункахъ въ Священной исторіи; заложены эти колесницы въ шестерки дикихъ бѣшеныхъ лошадей и своими высокими колесами поднимаютъ до неба облака пыли, а лошадьми правятъ люди, какіе могутъ сниться или вырастать въ сказочныхъ мысляхъ. И какъ бы эти фигуры были къ лицу степи и дорогѣ, если бы онѣ существовали!

По правой сторонѣ дороги на всемъ ея протяженіи стояли телеграфные столбы съ двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потомъ опять показывались въ лиловой дали

въ видѣ очень маленькихъ, тоненькихъ палочекъ, похожихъ на карандаши, воткнутые въ землю. На проволокахъ сидѣли ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядѣли на двигавшійся обозъ.

Егорушка лежалъ на самомъ заднемъ возу и могъ поэтому видѣть весь обозъ. Всѣхъ подводъ въ обозѣ было около двадцати и на каждыя три подводы приходилось по одному возчику. Около задняго воза, гдѣ былъ Егорушка, шелъ старикъ съ сѣдой бородой, такой же тощій и малорослый, какъ о. Христофоръ, но съ лицомъ бурымъ отъ загара, строгимъ и задумчивымъ. Очень можетъ быть, что этотъ старикъ не былъ ни строгъ, ни задумчивъ, но его красныя вѣки и длинный, острый носъ придавали его лицу строгое, сухое выраженіе, какое бываетъ у людей, привыкшихъ думать всегда о серьезномъ и въ одиночку. Какъ и на о. Христофорѣ, на немъ былъ широкополый цилиндръ, но не барскій, а войлочный и бурый, похожій скорѣе на усѣченный конусъ, чѣмъ на цилиндръ. Ноги его были босы. Вѣроятно, по привычкѣ, пріобрѣтенной въ холодныя зимы, когда не разъ, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, онъ на ходу похлопывалъ себя по бедрамъ и притопывалъ ногами. Замѣтивъ, что Егорушка проснулся, онъ поглядѣлъ на него и сказалъ, пожимаясь какъ отъ мороза:

— А, проснулся, молодчикъ! Сынкомъ Ивану Ивановичу-то доводишься?

— Нѣтъ, племянникъ...

— Ивану Иванычу-то? А я вотъ сапожки снялъ и босикомъ прыгаю. Ножки у меня больныя, стуженыя, а безъ сапоговъ оно выходитъ слободнѣе... Слободнѣе, молодчикъ... То-есть безъ сапоговъ-то... Значитъ, племянникъ? А онъ хорошій человѣкъ, ничего... Дай Богъ здоровья... Ничего... Я про Ивана Иваныча-то... Къ молокану поѣхалъ... О, Господи помилуй!

Старикъ и говорилъ такъ, какъ будто было очень холодно, съ разстановками и не раскрывая какъ слѣдуетъ рта; и губныя согласныя выговаривалъ онъ плохо, заикаясь на нихъ, точно у него замерзли губы. Обращаясь къ Егорушкѣ, онъ ни разу не улыбнулся и казался строгимъ.

Дальше черезъ двѣ подводы шелъ съ кнутомъ въ рукѣ человѣкъ въ длинномъ рыжемъ пальто, въ картузѣ и сапо-

гахъ съ опустившимися голенищами. Этотъ былъ не старъ, лѣтъ сорока. Когда онъ оглянулся, Егорушка увидѣлъ длинное, красное лицо съ жидкой козлиной бородкой и съ губчатой шишкой подъ правымъ глазомъ. Кромѣ этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примѣта, рѣзко бросавшаяся въ глаза: въ лѣвой рукѣ держалъ онъ кнутъ, а правою помахивалъ такимъ образомъ, какъ будто дирижировалъ невидимымъ хоромъ; изрѣдка онъ бралъ кнутъ подъ мышку и тогда ужъ дирижировалъ обѣими руками и что-то гудѣлъ себѣ подъ носъ.

Слѣдующій за нимъ подводчикъ представлялъ изъ себя длинную, прямолинейную фигуру съ сильно покатыми плечами и съ плоской, какъ доска, спиной. Онъ держался прямо, какъ будто маршировалъ или проглотилъ аршинъ, руки у него не болтались, а отвисали, какъ прямыя палки, и шагалъ онъ какъ-то деревянно, на манеръ игрушечныхъ солдатиковъ, почти не сгибая колѣнъ и стараясь сдѣлать шагъ возможно пошире; когда старикъ или обладатель губчатой шишки дѣлали по два шага, онъ успѣвалъ дѣлать только одинъ, и потому казалось, что онъ идетъ медленнѣе всѣхъ и отстаетъ. Лицо у него было подвязано тряпкой и на головѣ торчало что-то въ родѣ монашеской скуфейки; одѣтъ онъ былъ въ короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и въ синіе шаровары на-выпускъ, а обутъ въ лапти.

Тѣхъ, кто былъ дальше, Егорушка уже не разглядывалъ. Онъ легъ животомъ внизъ, расковырялъ въ тюкѣ дырочку и отъ нечего дѣлать сталъ вить изъ шерсти ниточки. Старикъ, шагавшій внизу, оказался не такимъ строгимъ и серьезнымъ, какъ можно было судить по его лицу. Разъ начавши разговоръ, онъ ужъ не прекращалъ его.

— Ты куда же ѣдешь?—спросилъ онъ, притопывая ногами.

— Учиться,—отвѣтилъ Егорушка.

— Учиться? Ага... Ну, помогай Царица Небесная. Такъ. Умъ хорошо, а два лучше. Одному человѣку Богъ одинъ умъ даетъ, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это вѣрно... Одинъ умъ, съ какимъ мать родила, другой отъ ученія, а третій отъ хорошей жизни. Такъ вотъ, братуша, хорошо, ежели у котораго человѣка три ума. Тому, не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А помремъ всѣ какъ есть.

Старикъ почесалъ себѣ лобъ, взглянулъ красными глазами вверхъ на Егорушку и продолжалъ:

— Максимъ Николаичъ, баринъ изъ-подъ Славяносербска, въ прошломъ годѣ тоже повезъ своего парнишку въ ученіе. Не знаю, какъ онъ тамъ въ разсужденіи наукъ, а парнишка ничего, хорошій... Дай Богъ здоровья, славные господа. Да, тоже вотъ повезъ въ ученье... Въ Славяносербскомъ нѣту такого заведенія, чтобъ, стало-быть, до науки доводить. Нѣту... А городъ ничего, хорошій... Школа обыкновенная, для простого званія есть, а чтобъ насчетъ большого ученья, такихъ нѣту... Нѣту, это вѣрно. Тебя какъ звать?

— Егорушка.

— Стало-быть, Егорій... Святаго великомученика Егоргія Побѣдоносца числа двадцать третьяго апрѣля. А мое святое имя Пантелей... Пантелей Захаровъ Холодовъ... Мы Холодовы будемъ... Самъ я уроженный, можетъ, слыхалъ, изъ Тима, Курской губерніи. Браты мои въ мѣщане отписались и въ городѣ мастерствомъ занимаются, а я мужикъ... Мужикомъ остался. Годовъ семь назадъ ѣздилъ я туда... домой то-есть. И въ деревнѣ былъ, и въ городѣ... Въ Тимѣ, говорю, былъ. Тогда, благодарить Бога, всѣ живы и здоровы были, а теперь не знаю... Можетъ, кто и померъ... А помирать ужъ время, потому всѣ старые, есть которые постаршѣе меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, безъ покаянія не помереть. Нѣтъ пуще лиха, какъ наглая смерть. Наглая-то смерть бѣсу радость. А коли хочешь съ покаяніемъ помереть, чтобы, стало-быть, въ чертоги Божіи запрету тебѣ не было, Варварѣ великомученицѣ молись. Она ходатайница. Она, это вѣрно... Потому ей Богъ въ небесѣхъ такое положеніе опредѣлилъ, чтобъ, значитъ, каждый имѣлъ полную праву ее насчетъ покаянія молить.

Пантелей бормоталъ и, повидимому, не заботился о томъ, слышитъ его Егорушка, или нѣтъ. Говорилъ онъ вяло, себѣ подъ носъ, не повышая и не понижая голоса, но въ короткое время успѣлъ разсказать о многомъ. Все разсказанное имъ состояло изъ обрывковъ, имѣвшихъ очень мало связи между собой и совсѣмъ неинтересныхъ для Егорушки. Быть-можетъ, онъ говорилъ только для того, чтобы теперь утромъ послѣ ночи, проведенной въ молчаніи, произ-

вести вслухъ провѣрку своимъ мыслямъ: всѣ ли онѣ дома? Кончивъ о покаяніи, онъ опять заговорилъ о какомъ-то Максимѣ Николаевичѣ изъ-подъ Славяносербска:

— Да, повезъ парнишку... Повезъ, это вѣрно...

Одинъ изъ подводчиковъ, шедшихъ далеко впереди, рванулся съ мѣста, побѣжалъ въ сторону и сталъ хлестать кнутомъ по землѣ. Это былъ рослый, широкоплечій мужчина лѣтъ тридцати, русый, кудрявый и, повидимому, очень сильный и здоровый. Судя по движеніямъ его плечъ и кнута, по жадности, которую выражала его поза, онъ билъ что-то живое. Къ нему подбѣжалъ другой подводчикъ, низенькій и коренастый, съ черной окладистой бородой, одѣтый въ жилетку и рубаху на-выпускъ. Этотъ разразился басистымъ каплющимъ смѣхомъ и закричалъ:

— Братцы, Дымовъ змѣя убилъ! Ей-Богу!

Есть люди, объ умѣ которыхъ можно вѣрно судить по ихъ голосу и смѣху. Чернобородый принадлежалъ именно къ такимъ счастливцамъ: въ его голосѣ и смѣхѣ чувствовалась непроходимая глупость. Кончивъ хлестать, русый Дымовъ поднялъ кнутомъ съ земли и со смѣхомъ швырнулъ къ подводамъ что-то похожее на веревку.

— Это не змѣя, а ужъ,—крикнулъ кто-то.

Деревянно шагавшій человѣкъ съ подвязаннымъ лицомъ быстро зашагалъ къ убитой змѣѣ, взглянулъ на нее и всплеснулъ своими палкообразными руками.

— Каторжный!—закричалъ онъ глухимъ, плачущимъ голосомъ.— За что ты ужика убилъ? Что онъ тебѣ сдѣлалъ, проклятый ты? Ишь, ужика убилъ! А ежели бы тебя такъ?

— Ужа нельзя убивать, это вѣрно...—покойно забормоталъ Пантелей. — Нельзя... Это не гадюка. Онъ хоть по виду змѣя, а тварь тихая, безвинная... Человѣка любитъ... Ужъ-то...

Дымову и чернобородому, вѣроятно, стало совѣстно, потому что они громко засмѣялись и, не отвѣчая на ропотъ, лѣниво поплелись къ своимъ возамъ. Когда задняя подвода поровнялась съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ лежалъ убитый ужъ, человѣкъ съ подвязаннымъ лицомъ, стоящій надъ ужомъ, обернулся къ Пантелею и спросилъ плачущимъ голосомъ:

— Дѣдъ, ну за что онъ убилъ ужика?

Глаза у него, какъ теперь разглядѣлъ Егорушка, были маленькіе, тусклые, лицо сѣрое, больное и тоже какъ будто

тусклое, а подбородокъ былъ красенъ и представлялся сильно опухшимъ.

— Дѣдъ, ну за что убилъ?—повторилъ онъ, шагая рядомъ съ Пантелеемъ.

— Глупый человѣкъ, руки чешутся, оттого и убилъ,—отвѣтилъ старикъ.—А ужа бить нельзя... Это вѣрно... Дымовъ, извѣстно, озорникъ, все убьетъ, что подъ руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а онъ—ха-ха-ха, да хо-хо-хо... А ты, Вася, не серчай... Зачѣмъ серчать? Убили, ну и Богъ съ ними... Дымовъ озорникъ, а Кирюха отъ глупаго ума... Ничего... Люди глупые, не понимающіе, ну и Богъ съ ними. Вотъ Емельянъ никогда не тронетъ, что не надо... Никогда, это вѣрно... Потому человѣкъ образованный, а они глупые... Емельянъ-то... Онъ не тронетъ.

Подводчикъ въ рыжемъ пальто и съ губчатой шишкой, дирижировавшій невидимымъ хоромъ, услышавъ свое имя, остановился и, выждавъ, когда Пантелей и Вася поровнялись съ нимъ, пошелъ рядомъ.

— О чемъ разговоръ?—спросилъ онъ сиплымъ придушеннымъ голосомъ.

— Да вотъ Вася серчаетъ,—сказалъ Пантелей.—Я ему разныя слова, чтобы онъ не серчалъ, значитъ... Эхъ, ножки мои больныя, стуженыя! Э-эхъ! Раззудѣлись ради воскресенья, праздничка Господня!

— Это отъ ходьбы,—замѣтилъ Вася.

— Нѣ, паря, нѣ... Не отъ ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согрѣюсь—смерть моя. Ходить мнѣ вольготнѣй.

Емельянъ въ рыжемъ пальто сталъ между Пантелеемъ и Васей и замахалъ рукой, какъ будто тѣ собирались пѣть. Помахавъ немножко, онъ опустилъ руку и безнадежно крякнулъ.

— Нѣту у меня голосу!—сказалъ онъ.—Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мнѣ тройное «Господи помилуй», что мы на вѣнчаніи у Мариновскаго пѣли; сидитъ оно въ головѣ и въ глоткѣ... такъ бы, кажется, и спѣлъ, а не могу! Нѣту голосу!

Онъ помолчалъ минуту, о чемъ-то думая, и продолжалъ:

— Пятнадцать лѣтъ былъ въ пѣвчихъ, во всемъ Луганскомъ заводѣ, можетъ, ни у кого такого голоса не было,

а какъ, чтобъ его шутъ, выкупался въ третьемъ году въ Донцѣ, такъ съ той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудилъ. А мнѣ безъ голосу все равно, что работнику безъ руки.

— Это вѣрно,—согласился Пантелей.

— Объ себѣ я такъ понимаю, что я пропащій человѣкъ и больше ничего.

Въ это время Вася нечаянно увидѣлъ Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

— И паничокъ съ нами ѣдетъ! — сказалъ онъ и прикрылъ носъ рукавомъ, точно застыдившись.—Какой извозчикъ важный! Оставайся съ нами, будешь съ обозомъ ѣздить, шерсть возить.

Мысль о совмѣстимости въ одномъ тѣлѣ паничка съ извозчикомъ показалось ему, вѣроятно, очень курьезной и остроумной, потому что онъ громко захихикалъ и продолжалъ развивать эту мысль. Емельянъ тоже взглянулъ вверхъ на Егорушку, но мелькомъ и холодно. Онъ былъ занятъ своими мыслями и, если бы не Вася, то не замѣтилъ бы присутствія Егорушки. Не прошло и пяти минутъ, какъ онъ опять замахалъ рукой, потомъ, расписывая своимъ спутникамъ красоты вѣнчальнаго «Господи помилуй», которое ночью пришло ему на память, взялъ кнутъ подъ мышку и замахалъ обѣими руками.

За версту отъ деревни обозъ остановился около колодца съ журавлемъ. Опуская въ колодецъ свое ведро, чернобородый Кирюха легъ животомъ на срубъ и сунулъ въ темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, такъ что Егорушкѣ были видны однѣ только его короткія ноги, едва касавшіяся земли; увидѣвъ далеко на днѣ колодца отраженіе своей головы, онъ обрадовался и залился глупымъ, басовымъ смѣхомъ, а колодезное эхо отвѣтило ему тѣмъ же; когда онъ поднялся, его лицо и шея были красны, какъ кумачъ. Первый подбѣжалъ пить Дымовъ. Онъ пилъ со смѣхомъ, часто отрываясь отъ ведра и разсказывая Кирюхѣ о чемъ-то смѣшномъ, потомъ повернулся и громко, на всю степь, произнесъ штукъ пять нехорошихъ словъ. Егорушка не понималъ значенія подобныхъ словъ, но что они были дурныя, ему было хорошо извѣстно. Онъ зналъ объ отвращеніи, которое молчаливо питали къ нимъ его родные и знакомые, самъ, не зная почему, раздѣлялъ это чувство и привыкъ

думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегіей произносить громко эти слова. Онъ вспомнилъ убійство ужа, прислушался къ смѣху Дымова и почувствовалъ къ этому человѣку что-то въ родѣ ненависти. И какъ нарочно, Дымовъ въ это время увидѣлъ Егорушку, который слѣзъ съ воза и шелъ къ колодцу; онъ громко засмѣялся и крикнулъ:

— Братцы, старикъ ночью мальчишку родилъ!

Кирюха закашлялся отъ басоваго смѣха. Засмѣялся и еще кто-то, а Егорушка покраснѣлъ и окончательно рѣшилъ, что Дымовъ очень злой человѣкъ.

Русый, съ кудрявой головой, безъ шапки и съ разстегнутой на груди рубахой, Дымовъ казался красивымъ и необыкновенно сильнымъ; въ каждомъ его движеніи виденъ былъ озорникъ и силачъ, знающій себѣ цѣну. Онъ поводилъ плечами, подбоченивался, говорилъ и смѣялся громче всѣхъ, и имѣлъ такой видъ, какъ будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этимъ весь міръ. Его шальной насмѣшливый взглядъ скользилъ по дорогѣ, по обозу и по небу, ни на чемъ не останавливался и, казалось, искалъ, кого бы убить отъ нечего дѣлать и надъ чѣмъ бы посмѣяться. Повидимому, онъ никого не боялся, ничѣмъ не стѣснялъ себя и, вѣроятно, совсѣмъ не интересовался мнѣніемъ Егорушки... А Егорушка ужъ всей душой ненавидѣлъ его русую голову, чистое лицо и силу, съ отвращеніемъ и страхомъ слушалъ его смѣхъ и придумывалъ, какое бы бранное слово сказать ему въ отместку.

Пантелей тоже подошелъ къ ведру. Онъ вынулъ изъ кармана зеленый лампадный стаканчикъ, вытеръ его тряпочкой, зачерпнулъ имъ изъ ведра и выпилъ, потомъ еще разъ зачерпнулъ, завернулъ стаканчикъ въ тряпочку и положилъ его обратно въ карманъ.

— Дѣдъ, зачѣмъ ты пьешь изъ лампадки? — удивился Егорушка.

— Кто пьетъ изъ ведра, а кто изъ лампадки,—отвѣтилъ уклончиво старикъ.—Каждый по-своему... Ты изъ ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

— Голубушка моя, матушка - красавица, — заговорилъ вдругъ Вася ласковымъ, плачущимъ голосомъ. — Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улы-

бались и лицо приняло такое же выраженіе, какое у него было ранѣе, когда онъ глядѣлъ на Егорушку.

— Кому это ты?—спросилъ Кирюха.

— Лисичка-матушка... легла на спину и играетъ, словно собачка...

Всѣ стали смотрѣть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Одинъ только Вася видѣлъ что-то своими мутными, сѣрыми глазками и восхищался. Зрѣніе у него, какъ потомъ убѣдился Егорушка, было поразительно острое. Онъ видѣлъ такъ хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержанія. Стоило ему только вглядѣться вдаль, чтобы увидѣть лисицу, зайца, дрохву, или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше отъ людей. Немудрено увидѣть убѣгающаго зайца или летящую дрохву—это видѣлъ всякій, проѣзжавшій степью,—но не всякому доступно видѣть дикихъ животныхъ въ ихъ домашней жизни, когда они не бѣгутъ, не прячутся и не глядятъ встревоженно по сторонамъ. А Вася видѣлъ играющихъ лисицъ, зайцевъ, умывающихся лапками, дрохвъ, расправляющихъ крылья, стрепетовъ, выбивающихъ свои «точки». Благодаря такой остротѣ зрѣнія, кромѣ міра, который видѣли всѣ, у Васи былъ еще другой міръ, свой собственный, никому недоступный и, вѣроятно, очень хорошій, потому что, когда онъ глядѣлъ и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обозъ тронулся дальше, въ церкви зазвонили къ обѣднѣ.

V.

Обозъ расположился въ сторонѣ отъ деревни на берегу рѣки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздухъ былъ неподвиженъ и унылъ. На берегу стояло нѣсколько вербъ, но тѣнь отъ нихъ падала не на землю, а на воду, гдѣ пропадала даромъ, въ тѣни же подъ возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что въ ней отражалось небо, страстно манила къ себѣ.

Подводчикъ Степка, на котораго только теперь обратилъ вниманіе Егорушка, восемнадцатилѣтній мальчикъ-хохолъ, въ длинной рубахѣ, безъ пояса и въ широкихъ шароварахъ на-выпускъ, болтавшихся при ходьбѣ, какъ флаги, быстро раздѣлся, сбѣжалъ внизъ по крутому бережку и бултых-

нулся въ воду. Онъ раза три нырнулъ, потомъ поплылъ на спинѣ и закрылъ отъ удовольствія глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, какъ будто ему было щекотно, больно и смѣшно.

Въ жаркій день, когда некуда дѣваться отъ зноя и духоты, плескъ воды и громкое дыханіе купающагося человѣка дѣйствуютъ на слухъ, какъ хорошая музыка. Дымовъ и Кирюха, глядя на Степку, быстро раздѣлись и одинъ за другимъ, съ громкимъ смѣхомъ и предвкушая наслажденіе, попадали въ воду. И тихая, скромная рѣчка огласилась фырканьемъ, плескомъ и крикомъ. Кирюха кашлялъ, смѣялся и кричалъ такъ, какъ будто его хотѣли утопить, а Дымовъ гонялся за нимъ и старался схватить его за ногу.

— Ге-ге-ге!—кричалъ онъ.—Лови, держи его!

Кирюха хохоталъ и наслаждался, но выраженіе лица у него было такое же, какъ и на сушѣ: глупое, ошеломленное, какъ будто кто незамѣтно подкрался къ нему сзади и хватилъ его обухомъ по головѣ. Егорушка тоже раздѣлся, но не спускался внизъ по бережку, а разбѣжался и полетѣлъ съ полутора-саженной вышины. Описавъ въ воздухѣ дугу, онъ упалъ въ воду, глубоко погрузился, но дна не досталъ; какая-то сила, холодная и пріятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверхъ. Онъ вынырнулъ и, фыркая, пуская пузыри, открылъ глаза; но на рѣкѣ какъ разъ возлѣ его лица отражалось солнце. Сначала ослѣпительныя искры, потомъ радуги и темныя пятна заходили въ его глазахъ; онъ поспѣшилъ опять нырнуть, открылъ въ водѣ глаза и увидѣлъ что-то мутно-зеленое, похожее на небо въ лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть въ прохладѣ, понесла его наверхъ, онъ вынырнулъ и вздохнулъ такъ глубоко, что стало просторно и свѣжо не только въ груди, но даже въ животѣ. Потомъ, чтобы взять отъ воды все, что только можно взять, онъ позволялъ себѣ всякую роскошь: лежалъ на спинѣ и нѣжился, брызгался, кувыркался, плавалъ и на животѣ, и бокомъ, и на спинѣ, и въ стоячую — какъ хотѣлъ, пока не утомился. Другой берегъ густо поросъ камышомъ, золотился на солнцѣ, и камышевые цвѣты красивыми кистями наклонились къ водѣ. На одномъ мѣстѣ камышъ вздрагивалъ, кланялся своими цвѣтами и издавалъ трескъ—то Степка и Кирюха «драли» раковъ.

— Ракъ! Гляди, братцы: ракъ!—закричалъ торжествующе Кирюха и показалъ дѣйствительно рака.

Егорушка поплылъ къ камышу, нырнулъ и сталъ шарить около камышевыхъ кореньевъ. Копаясь въ жидкомъ, осклизломъ илѣ, онъ нащупалъ что-то острое и противное, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ рака, но въ это время кто-то схватилъ его за ногу и потащилъ наверхъ. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открылъ глаза и увидѣлъ передъ собой мокрое, смѣющееся лицо озорника Дымова. Озорникъ тяжело дышалъ и, судя по глазамъ, хотѣлъ продолжать шалить. Онъ крѣпко держалъ Егорушку за ногу и ужъ поднялъ другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка съ отвращеніемъ и со страхомъ, точно брезгуя и боясь, что силачъ его утопитъ, рванулся отъ него и проговорилъ:

— Дуракъ! Я тебѣ въ морду дамъ!

Чувствуя, что этого недостаточно для выраженія ненависти, онъ подумалъ и прибавилъ:

— Мерзавецъ! Сукинъ сынъ!

А Дымовъ, какъ ни въ чемъ не бывало, уже не замѣчалъ Егорушки, а плылъ къ Кирюхѣ и кричалъ:

— Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

— А что жъ?—согласился Кирюха.—Должно, тутъ много рыбы...

— Степка, побѣги на деревню, попроси у мужиковъ бредня!

— Не дадутъ!

— Дадутъ! Ты попроси! Скажи, чтобъ они замѣсто Христа ради, потому мы все равно—странники.

— Это вѣрно!

Степка вылѣзъ изъ воды, быстро одѣлся и безъ шапки, болтая своими широкими шароварами, побѣжалъ къ деревнѣ. Послѣ столкновенія съ Дымовымъ вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Онъ вылѣзъ и сталъ одѣваться. Пантелей и Вася сидѣли на крутомъ берегу, свѣсивъ внизъ ноги, и глядѣли на купающихся. Емельянъ голый стоялъ по-колѣна въ водѣ у самаго берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладилъ себя по тѣлу. Съ костистыми лопатками, съ шишкой подъ глазомъ, согнувшійся и явно трусившій воды,

онъ представлялъ изъ себя смѣшную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядѣлъ онъ на воду сердито, какъ будто собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его въ Донцѣ и отняла у него голосъ.

— А ты отчего не купаешься? — спросилъ Егорушка у Васи.

— А такъ... Не люблю...—отвѣтилъ Вася.

— Отчего это у тебя подбородокъ распухъ?

— Болитъ... Я, паничокъ, на спичечной фабрикѣ работалъ... Докторъ сказывалъ, что отъ этого самаго у меня и черлюсть пухнетъ. Тамъ воздухъ нездоровый. А кромѣ меня, еще у троихъ ребятъ черлюсть раздуло, а у одного такъ совсѣмъ сгнила.

Скоро вернулся Степка съ бреднемъ. Дымовъ и Кирюха отъ долгаго пребыванія въ водѣ стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись съ охотой. Сначала они пошли по глубокому мѣсту вдоль камыша; тутъ Дымову было по шею, а малорослому Кирюхѣ съ головой; послѣдній захлебывался и пускалъ пузыри, а Дымовъ, натыкаясь на колючіе корни, падалъ и путался въ бреднѣ, оба барахтались и шумѣли, и изъ ихъ рыбной ловли выходила одна шалость.

— Глыбоко,—хрипѣлъ Кирюха. — Ничего не поймаешь!

— Не дергай, чортъ! — кричалъ Дымовъ, стараясь придать бредню надлежащее положеніе.—Держи руками!

— Тутъ вы не поймаете!—кричалъ имъ съ берега Пантелей.—Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влѣво! Тамъ мельчѣе!

Разъ надъ бреднемъ блеснула крупная рыбешка; всѣ ахнули, а Дымовъ ударилъ кулакомъ по тому мѣсту, гдѣ она исчезла, и на лицѣ его выразилась досада.

— Эхъ! — крякнулъ Пантелей и притопнулъ ногами. — Прозѣвали чикамаса! Ушелъ!

Забирая влѣво, Дымовъ и Кирюха мало-по-малу выбрались на мелкое и тутъ ловля пошла настоящая. Они забрели отъ подводъ шаговъ на триста; видно было, какъ они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе къ камышу, волокли бредень, какъ они, чтобы испугать рыбу и загнать ее къ себѣ въ бредень, били кулаками по водѣ и шуршали въ камышѣ. Отъ камыша они шли къ другому берегу, тащили тамъ

бредень, потомъ съ разочарованнымъ видомъ, высоко поднимая колѣна, шли обратно къ камышу. О чемъ-то они говорили, но о чемъ—не было слышно. А солнце жгло имъ въ спины, кусались мухи, и тѣла ихъ изъ лиловыхъ стали багровыми. За ними съ ведромъ въ рукахъ, засучивъ рубаху подъ самыя подмышки и держа ее зубами за подолъ, ходилъ Степка. Послѣ каждой удачной ловли онъ поднималъ вверхъ какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнцѣ, кричалъ:

— Поглядите, какой чикамасъ! Такихъ ужъ штукъ пять есть!

Видно было, какъ, вытащивъ бредень, Дымовъ, Кирюха и Степка всякій разъ долго копались въ илѣ, что-то клали въ ведро, что-то выбрасывали; изрѣдка что-нибудь попавшее въ бредень они брали съ рукъ на руки, разсматривали съ любопытствомъ, потомъ тоже бросали...

— Что тамъ?—кричали имъ съ берега.

Степка что-то отвѣчалъ, но трудно было разобрать его слова. Вотъ онъ вылѣзъ изъ воды и, держа ведро обѣими руками, забывая опустить рубаху, побѣжалъ къ подводамъ.

— Уже полное!—кричалъ онъ, тяжело дыша.—Давайте другое!

Егорушка заглянулъ въ ведро: оно было полно; изъ воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возлѣ нея копошились раки и мелкія рыбешки. Егорушка запустилъ руку на дно и взболталъ воду; щука исчезла подъ раками, а вмѣсто нея всплыли наверхъ окунь и линь. Вася тоже заглянулъ въ ведро. Глаза его замаслились и лицо стало ласковымъ, какъ раньше, когда онъ видѣлъ лисицу. Онъ вынулъ что-то изъ ведра, поднесъ ко рту и сталъ жевать. Послышалось хрустѣнье.

— Братцы,—удивился Степка:—Васька пискаря живьемъ ѣстъ! Тьфу!

— Это не пискарь, а бобырикъ,—покойно отвѣтилъ Вася, продолжая жевать.

Онъ вынулъ изо рта рыбій хвостикъ, ласково поглядѣлъ на него и опять сунулъ въ ротъ. Пока онъ жевалъ и хрустѣлъ зубами, Егорушкѣ казалось, что онъ видитъ передъ собой не человѣка. Пухлый подбородокъ Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрѣніе, рыбій хвостикъ во рту

и ласковость, съ какою онъ жевалъ пискаря, дѣлали его похожимъ на животное.

Егорушкѣ стало скучно возлѣ него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Онъ прошелся около возовъ, подумалъ и отъ скуки поплелся къ деревнѣ.

Немного погодя, онъ уже стоялъ въ церкви и, положивъ лобъ на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушалъ, какъ пѣли на клиросѣ. Обѣдня уже близилась къ концу. Егорушка ничего не понималъ въ церковномъ пѣніи и былъ равнодушенъ къ нему. Онъ послушалъ немного, зѣвнулъ и сталъ разсматривать затылки и спины. Въ одномъ затылкѣ, рыжемъ и мокромъ отъ недавняго купанья, онъ узналъ Емельяна. Затылокъ былъ выстриженъ подъ скобку и выше, чѣмъ принято; виски были тоже выстрижены выше, чѣмъ слѣдуетъ, и красныя уши Емельяна торчали, какъ два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своемъ мѣстѣ. Глядя на затылокъ и на уши, Егорушка почему-то подумалъ, что Емельянъ, вѣроятно, очень несчастливъ. Онъ вспомнилъ его дирижированіе, сиплый голосъ, робкій видъ во время купанья и почувствовалъ къ нему сильную жалость. Ему захотѣлось сказать что-нибудь ласковое.

— А я здѣсь!—сказалъ онъ, дернувъ его за рукавъ.

Люди, поющіе въ хорѣ теноромъ или басомъ, особенно тѣ, которымъ хоть разъ въ жизни приходилось дирижировать, привыкаютъ смотрѣть на мальчиковъ строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляютъ они и потомъ, переставая быть пѣвчими. Обернувшись къ Егорушкѣ, Емельянъ поглядѣлъ не него исподлобья и сказалъ:

— Не балуйся въ церкви!

Затѣмъ Егорушка пробрался впередъ поближе къ иконостасу. Тутъ онъ увидѣлъ интересныхъ людей. Впереди всѣхъ по правую сторону на коврѣ стояли какіе-то господинъ и дама. Позади нихъ стояло по стулу. Господинъ былъ одѣтъ въ свѣже-выглаженную чечунчовую пару, стоялъ неподвижно, какъ солдатъ, отдающій честь, и высоко держалъ свой синій, бритый подбородокъ. Въ его стоячихъ воротничкахъ, въ синевѣ подбородка, въ небольшой лысинѣ и въ трости чувствовалось очень много достоинства. Отъ избытка достоинства шея его была напряжена и подбородокъ тянуло вверхъ съ такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полетѣть

вверхъ. А дама, полная и пожилая, въ бѣлой шелковой шали, склонила голову на бокъ и глядѣла такъ, какъ будто только-что сдѣлала кому-то одолженіе и хотѣла сказать:—«Ахъ, не безпокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокругъ ковра густой стѣной стояли хохлы.

Егорушка подошелъ къ иконостасу и сталъ прикладываться къ мѣстнымъ иконамъ. Передъ каждымъ образомъ онъ не спѣша клалъ земной поклонъ, не вставая съ земли, оглядывался назадъ на народъ, потомъ вставалъ и прикладывался. Прикосновеніе лбомъ къ холодному полу доставляло ему большое удовольствіе. Когда изъ алтаря вышелъ сторожъ съ длинными щипцами, чтобы тушить свѣчи, Егорушка быстро вскочилъ съ земли и побѣжалъ къ нему.

— Раздавали ужъ просфору?—спросилъ онъ.

— Нѣту, нѣту...—угрюмо забормоталъ сторожъ.—Нечего тутъ...

Обѣдня кончилась. Егорушка не спѣша вышелъ изъ церкви и пошелъ бродить по площади. На своемъ вѣку перевидалъ онъ не мало деревень, площадей и мужиковъ, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсѣмъ не интересовало его. Отъ нечего дѣлать, чтобы хоть чѣмъ-нибудь убить время, онъ зашелъ въ лавку, надъ дверями которой висѣла широкая, кумачевая полоса. Лавка состояла изъ двухъ просторныхъ, плохо освѣщенныхъ половинъ: въ одной продавались красный товаръ и бакалея, а въ другой стояли бочки съ дегтемъ и висѣли на потолкѣ хомуты; изъ той, другой, шелъ вкусный запахъ кожи и дегтя. Полъ въ лавкѣ былъ политъ; поливалъ его, вѣроятно, большой фантазеръ и вольнодумецъ, потому что весь онъ былъ покрытъ узорами и кабалистическими знаками. За прилавкомъ, опершись животомъ о конторку, стоялъ откормленный лавочникъ съ широкимъ лицомъ и съ круглой бородой, повидимому, великороссъ. Онъ пилъ чай въ прикуску и послѣ каждаго глотка испускалъ глубокій вздохъ. Лицо его выражало совершенное равнодушіе, но въ каждомъ вздохѣ слышалось: «Ужо погоди, задамъ я тебѣ!»

— Дай мнѣ на копейку подсолнуховъ!—обратился къ нему Егорушка.

Лавочникъ поднялъ брови, вышелъ изъ-за прилавка и всыналъ въ карманъ Егорушки на копейку подсолнуховъ, причемъ мѣрой служила пустая помадная баночка. Его-

рушкѣ не хотѣлось уходить. Онъ долго разсматривалъ ящики съ пряниками, подумалъ и спросилъ, указывая на мелкіе вяземскіе пряники, на которыхъ отъ давности лѣтъ выступила ржавчина:

— Почемъ эти пряники?

— Копейка пара.

Егорушка досталъ изъ кармана пряникъ, подаренный ему вчера еврейкой, и спросилъ:

— А такіе пряники у тебя почемъ?

Лавочникъ взялъ въ руки пряникъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и поднялъ одну бровь.

— Такіе?—спросилъ онъ.

Потомъ поднялъ другую бровь, подумалъ и отвѣтилъ:

— Три копейки пара...

Наступило молчаніе.

— Вы чьи?—спросилъ лавочникъ, наливая себѣ чаю изъ красного мѣднаго чайника.

— Племянникъ Ивана Иваныча.

— Иваны Иванычи разные бываютъ,—вздохнулъ лавочникъ; онъ поглядѣлъ черезъ Егорушкину голову на дверь, помолчалъ и спросилъ:—Чайку не желаете ли?

— Пожалуй...—согласился Егорушка съ нѣкоторой неохотой, хотя чувствовалъ сильную тоску по утреннемъ чаѣ.

Лавочникъ налилъ ему стаканъ и подалъ вмѣстѣ съ огрызеннымъ кусочкомъ сахару. Егорушка сѣлъ на складной стулъ и сталъ пить. Онъ хотѣлъ еще спросить, сколько стоитъ фунтъ миндаля въ сахарѣ и только-что завелъ объ этомъ рѣчь, какъ вошелъ покупатель, и хозяинъ, отставивъ въ сторону свой стаканъ, занялся дѣломъ. Онъ повелъ покупателя въ ту половину, гдѣ пахло дегтемъ, и долго о чемъ-то разговаривалъ съ нимъ. Покупатель, человѣкъ, повидимому, очень упрямый и себѣ на умѣ, все время въ знакъ несогласія моталъ головой и пятился къ двери. Лавочникъ убѣдилъ его въ чемъ-то и началъ сыпать ему овесъ въ большой мѣшокъ.

— Хиба це овесъ?—сказалъ печально покупатель.—Це не овесъ, а полова, курамъ на смихъ... Ни, пиду къ Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся къ рѣкѣ, на берегу дымилъ небольшой костеръ. Это подводчики варили себѣ обѣдъ. Въ дыму стоялъ Степка и большой зазубренной ложкой мѣшалъ

въ котлѣ. Нѣсколько въ сторонѣ, съ красными отъ дыма глазами, сидѣли Кирюха и Вася и чистили рыбу. Передъ ними лежалъ покрытый иломъ и водорослями бредень, на которомъ блестѣла рыба и ползали раки.

Недавно вернувшійся изъ церкви Емельянъ сидѣлъ рядомъ съ Пантелеемъ, помахивалъ рукой и едва слышно напѣвалъ сиплымъ голоскомъ: «Тебѣ поемъ...» Дымовъ бродилъ около лошадей.

Кончивъ чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живыхъ раковъ въ ведро, всполоснули и изъ ведра вывалили все въ кипѣвшую воду.

— Класть сала?—спросилъ Степка, снимая ложкой пѣну.

— Зачѣмъ? Рыба свой сокъ пуститъ,—отвѣтилъ Кирюха.

Передъ тѣмъ, какъ снимать съ огня котелъ, Степка всыпалъ въ воду три пригоршни пшена и ложку соли; въ заключеніе онъ попробовалъ, почмокалъ губами, облизалъ ложку и самодовольно крякнулъ—это значило, что каша уже готова.

Всѣ, кромѣ Пантелея, сѣли вокругъ котла и принялись работать ложками.

— Вы! Дайте парнишкѣ ложку!—строго замѣтилъ Пантелей.—Чай, небось, тоже ѣсть хочетъ!

— Наша ѣда мужицкая!..—вздохнулъ Кирюха.

— И мужицкая пойдетъ во здравіе, была бы охота.

Егорушкѣ дали ложку. Онъ сталъ ѣсть, но не садясь, а стоя у самаго котла и глядя въ него, какъ въ яму. Отъ каши пахло рыбной сыростью, то и дѣло среди пшена попадалась рыбья чешуя; раковъ нельзя было зацѣпить ложкой, и обѣдавшіе доставали ихъ изъ котла прямо руками; особенно не стѣснялся въ этомъ отношеніи Вася, который мочилъ въ кашѣ не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушкѣ очень вкусной и напоминала ему раковый супъ, который дома въ постные дни варила его мамаша. Пантелей сидѣлъ въ сторонѣ и жевалъ хлѣбъ.

— Дѣдъ, а ты чего не ѣшь?—спросилъ его Емельянъ.

— Не ѣмъ я раковъ... Ну ихъ!—сказалъ старикъ и брезгливо отвернулся.

Пока ѣли, шелъ общій разговоръ. Изъ этого разговора Егорушка понялъ, что у всѣхъ его новыхъ знакомыхъ, несмотря на разницу лѣтъ и характеровъ, было одно общее,

дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга: всѣ они были люди съ прекраснымъ прошлымъ и съ очень нехорошимъ настоящимъ; о своемъ прошломъ они, всѣ до одного, говорили съ восторгомъ, къ настоящему же относились почти съ презрѣніемъ. Русскій человѣкъ любитъ вспоминать, но не любитъ жить; Егорушка еще не зналъ этого, и прежде, чѣмъ каша была съѣдена, онъ ужъ глубоко вѣрилъ, что вокругъ котла сидятъ люди оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей разсказывалъ, что въ былое время, когда еще не было желѣзныхъ дорогъ, онъ ходилъ съ обозами въ Москву и въ Нижній, зарабатывалъ такъ много, что некуда было дѣвать денегъ. А какіе въ то время были купцы, какая рыба, какъ все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупѣе, народъ бѣднѣе, хлѣбъ дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельянъ говорилъ, что прежде онъ служилъ въ Луганскомъ заводѣ въ пѣвчихъ, имѣлъ замѣчательный голосъ и отлично читалъ ноты, теперь же онъ обратился въ мужика и кормится милостями брата, который посылаетъ его со своими лошадями и беретъ себѣ за это половину заработка. Вася когда-то служилъ на спичечной фабрикѣ; Кирюха жилъ въ кучерахъ у хорошихъ людей и на весь округъ считался лучшимъ троечникомъ. Дымовъ, сынъ зажиточнаго мужика, жилъ въ свое удовольствіе, гулялъ и не зналъ горя, но едва минуло двадцать лѣтъ, какъ строгій, крутой отецъ, желая пріучить его къ дѣлу и боясь, чтобы онъ дома не избаловался, сталъ посылать его въ извозъ, какъ бобыля, работника. Одинъ Степка молчалъ, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чѣмъ теперь.

Вспомнивъ объ отцѣ, Дымовъ пересталъ ѣсть и нахмурился. Онъ исподлобья оглядѣлъ товарищей и остановилъ свой взглядъ на Егорушкѣ.

— Ты, нехристь, сними шапку!—сказалъ онъ грубо.— Нешто можно въ шапкѣ ѣсть? А еще тоже баринъ!

Егорушка снялъ шляпу и не сказалъ ни слова, но ужъ не понималъ вкуса каши и не слышалъ, какъ вступились за него Пантелей и Вася. Въ его груди тяжело заворочалась злоба противъ озорника, и онъ порѣшилъ во что бы то ни стало сдѣлать ему какое-нибудь зло.

Послѣ обѣда всѣ поплелись къ возамъ и повалились въ тѣнь.

— Дѣдъ, скоро мы поѣдемъ?—спросилъ Егорушка у Пантелея.

— Когда Богъ дастъ, тогда и поѣдемъ... Сейчасъ не поѣдешь, жарко... Охъ, Господи Твоя воля, Владычица... Ложись, паринька!

Скоро изъ-подъ возовъ послышался храпъ. Егорушка хотѣлъ-было опять пойти въ деревню, но подумалъ, позѣвалъ и легъ рядомъ со старикомъ.

VI.

Обозъ весь день простоялъ у рѣки и тронулся съ мѣста, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежалъ на тюкѣ, возъ тихо скрипѣлъ и покачивался, внизу шелъ Пантелей, притопывалъ ногами, хлопалъ себя по бедрамъ и бормоталъ; въ воздухѣ по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежалъ на спинѣ и, заложивъ руки подъ голову, глядѣлъ вверхъ на небо. Онъ видѣлъ, какъ зажглась вечерняя заря, какъ потомъ она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонтъ своими золотыми крыльями, располагались на ночлегъ; день прошелъ благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидѣть у себя дома на небѣ... Видѣлъ Егорушка, какъ мало-по-малу темнѣло небо и опускалась на землю мгла, какъ засвѣтились одна за другой звѣзды.

Когда долго, не отрывая глазъ, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются въ сознаніе одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одинокимъ и все то, что считалъ раньше близкимъ и роднымъ, становится безконечно далекимъ и не имѣющимъ цѣны. Звѣзды, глядящія съ неба уже тысячи лѣтъ, само непонятное небо и мгла, равнодушныя къ короткой жизни человѣка, когда остаешься съ ними съ глазу на глазъ и стараешься постигнуть ихъ смыслъ, гнетутъ душу своимъ молчаніемъ; приходитъ на мысль то одиночество, которое ждетъ каждаго изъ насъ въ могилѣ, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думалъ о бабушкѣ, которая спитъ теперь на кладбищѣ подъ вишневыми деревьями; онъ вспомнилъ, какъ она лежала въ гробу съ мѣдными пятаками на глазахъ, какъ потомъ ее прикрыли крышкой и опустили въ могилу; припомнился ему и глухой стукъ комковъ земли о крышку...

Онъ представилъ себѣ бабушку въ тѣсномъ и темномъ гробу, всѣми оставленную и безпомощную. Его воображеніе рисовало, какъ бабушка вдругъ просыпается и, не понимая, гдѣ она, стучитъ въ крышку, зоветъ на помощь и, въ концѣ концовъ, изнемогши отъ ужаса, опять умираетъ. Вообразилъ онъ мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но какъ онъ ни старался вообразить себя самого въ темной могилѣ, вдали отъ дома, брошеннымъ, безпомощнымъ и мертвымъ, это не удавалось ему; лично для себя онъ не допускалъ возможности умереть и чувствовалъ, что никогда не умретъ...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шелъ внизу и дѣлалъ перекличку своимъ мыслямъ.

— Ничего... хорошіе господа...—бормоталъ онъ.—Повезли парнишку въ ученье, а какъ онъ тамъ, не слыхать про то... Въ Славяносербскомъ, говорю, нѣту такого заведенія, чтобъ до большого ума доводить... Нѣту, это вѣрно... А парнишка хорошій, ничего... Вырастетъ, отцу будетъ помогать. Ты, Егорій, теперь махонькій, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Такъ отъ Бога положено... Чти отца твоего и матерь твою... У меня у самого были дѣтки, да погорѣли... И жена сгорѣла, и дѣтки... Это вѣрно, подъ Крещенье ночью загорѣлась изба... Меня-то дома не было, я въ Орелъ ѣздилъ. Въ Орелъ... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дѣти въ избѣ спятъ, побѣжала назадъ и сгорѣла съ дѣтками... Да... На другой день однѣ только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидѣли вокругъ небольшого костра. Пока разгорался бурьянъ, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то въ балочку; они исчезли въ потемкахъ, но все время слышно было, какъ они звякали ведрами и разговаривали; значитъ, балочка была недалеко. Свѣтъ отъ костра лежалъ на землѣ большимъ, мигающимъ пятномъ; хотя и свѣтила луна, но за краснымъ пятномъ все казалось непроницаемо-чернымъ. Подводчикамъ свѣтъ билъ въ глаза, и они видѣли только часть большой дороги; въ темнотѣ едва замѣтно въ видѣ горъ неопредѣленной формы обозначались возы съ тюками и лошади. Въ двадцати шагахъ отъ костра, на границѣ дороги съ полемъ стоялъ деревянный могильный крестъ, покосившійся въ сторону. Егорушка, когда еще не горѣлъ костеръ и можно

было видѣть далеко, замѣтилъ, что точно такой же старый, покосившійся крестъ стоялъ на другой сторонѣ большой дороги.

Вернувшись съ водой, Кирюха и Вася налили полный котелъ и укрѣпили его на огнѣ. Степка съ зазубренной ложкой въ рукахъ занялъ свое мѣсто въ дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, сталъ дожидаться, пока покажется пѣна. Пантелей и Емельянъ сидѣли рядомъ, молчали и о чемъ-то думали. Дымовъ лежалъ на животѣ, подперевъ кулаками голову, и глядѣлъ на огонь; тѣнь отъ Степки прыгала по немъ, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдругъ вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьянъ и берестъ. Егорушка, заложивъ руки въ карманы, стоялъ около Пантелея и смотрѣлъ, какъ огонь ѣлъ траву.

Всѣ отдыхали, о чемъ-то думали, мелькомъ поглядывали на крестъ, по которому прыгали красныя пятна. Въ одинокой могилѣ есть что-то грустное, мечтательное и въ высокой степени поэтическое... Слышно, какъ она молчитъ, и въ этомъ молчаніи чувствуется присутствіе души неизвѣстнаго человѣка, лежащаго подъ крестомъ. Хорошо ли этой душѣ въ степи? Не тоскуетъ ли она въ лунную ночь? А степь возлѣ могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальнѣй и, кажется, что кузнецы кричатъ сдержаннѣй... И нѣтъ того прохожаго, который не помянулъ бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тѣхъ поръ, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою...

— Дѣдъ, зачѣмъ это крестъ стоитъ? — спросилъ Егорушка.

Пантелей поглядѣлъ на крестъ, потомъ на Дымова и спросилъ:

— Микола, это, бываетъ, не то мѣсто, гдѣ косари купцовъ убили?

Дымовъ нехотя приподнялся на локтѣ, посмотрѣлъ на дорогу и отвѣтилъ:

— Оно самое...

Наступило молчаніе. Кирюха затрещалъ сухой травой, смялъ ее въ комъ и сунулъ подъ котелъ. Огонь ярко вспыхнулъ, Степку обдало чернымъ дымомъ, и въ потемкахъ по дорогѣ около возовъ пробѣжала тѣнь отъ креста.

— Да, убили...—сказалъ нехотя Дымовъ.—Купцы, отецъ

съ сыномъ, ѣхали образа продавать. Остановились тутъ недалече въ постояломъ дворѣ, что теперь Игнатъ Ѳоминъ держитъ. Старикъ выпилъ лишнее и сталъ хвалиться, что у него съ собой денегъ много. Купцы, извѣстно, народъ хвастливый, не дай Богъ... Не утерпитъ, чтобъ не показать себя передъ нашимъ братомъ въ лучшемъ видѣ. А въ ту пору на постояломъ дворѣ косари ночевали. Ну, услыхали это они, какъ купецъ хвастаетъ, и взяли себѣ во вниманіе.

— О, Господи... Владычица!—вздохнулъ Пантелей.

— На другой день чуть-свѣтъ, — продолжалъ Дымовъ: — купцы собрались въ дорогу, а косари съ ними ввязались. «Пойдемъ, ваше степенство, вмѣстѣ. Веселѣй да и опаски меньше, потому здѣсь мѣсто глухое...» Купцы, чтобъ образовъ не побить, шагомъ ѣхали, а косарямъ это на руку...

Дымовъ сталъ на колѣни и потянулся.

— Да, — продолжалъ онъ, зѣвая. — Все ничего было, а какъ только купцы доѣхали до этого мѣста, косари и давай чистить ихъ косами. Сынъ, молодецъ былъ, выхватилъ у одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, тѣ одолѣли, потому ихъ человѣкъ восемь было. Изрѣзали купцовъ такъ, что живого мѣста на тѣлѣ не осталось; кончили свое дѣло и стащили съ дороги обоихъ, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротивъ этого креста на той сторонѣ еще другой крестъ есть... Цѣлъ ли—не знаю... Отсюда не видать.

— Цѣлъ,—сказалъ Кирюха.

— Сказываютъ, денегъ потомъ нашли мало.

— Мало,—подтвердилъ Пантелей.—Рублей сто нашли.

— Да, а трое изъ нихъ потомъ померли, потому купецъ ихъ тоже больно косой порѣзалъ... Кровью сошли. Одному купецъ руку отхватилъ, такъ тотъ, сказываютъ, версты четыре безъ руки бѣжалъ, и подъ самымъ Куриковымъ его на бугорочкѣ нашли. Сидитъ на корточкахъ, голову на колѣни положилъ, словно задумавшись, а поглядѣли—въ немъ души нѣтъ, померъ...

— По кровяному слѣду его нашли... — сказалъ Пантелей.

Всѣ посмотрѣли на крестъ, и опять наступила тишина. Откуда-то, вѣроятно изъ балочки, донесся грустный крикъ *птицы:* «*сплю!* сплю! сплю!..»

— Злыхъ людей много на свѣтѣ,—сказалъ Емельянъ.

— Много, много!—подтвердилъ Пантелей и придвинулся поближе къ огню съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему становилось жутко.—Много,—продолжалъ онъ вполголоса.—Перевидалъ я ихъ на своемъ вѣку видимо-невидимо... Злыхъ-то людей... Святыхъ и праведныхъ видѣлъ много, а грѣшныхъ и не перечесть... Спаси и помилуй, Царица Небесная... Помню разъ, годовъ тридцать назадъ, а можетъ и больше, везъ я купца изъ Моршанска. Купецъ былъ славный, видный изъ себя и при деньгахъ... купецъ-то... Хорошій человѣкъ, ничего... Вотъ, стало-быть, ѣхали мы и остановились ночевать въ постояломъ дворѣ. А въ Россіи постоялые дворы не то, что въ здѣшнемъ краю. Тамъ дворы крытые на манеръ базовъ, или, скажемъ, какъ клуни въ хорошихъ экономіяхъ. Только клуни повыше будутъ. Ну, остановились мы и ничего себѣ. Купецъ мой въ комнаткѣ, я при лошадяхъ, и все какъ слѣдуетъ быть. Такъ вотъ, братцы, помолился я Богу, чтобъ, значитъ, спать, и пошелъ походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этакъ немножко, вотъ какъ до возовъ, примѣрно, и вижу—огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и акромя меня съ купцомъ другихъ постояльцевъ не было... Откуда огню быть? Взяло меня сумнѣніе... Подошелъ я поближе... къ огню-то... Господи, помилуй и спаси, Царица Небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко съ рѣшеткой... въ домѣ-то... Легъ я на землю и поглядѣлъ; какъ поглядѣлъ, такъ по всему моему тѣлу и пошелъ морозъ...

Кирюха, стараясь не шумѣть, сунулъ въ костеръ пукъ бурьяна. Дождавшись, когда бурьянъ пересталъ трещать и шипѣть, старикъ продолжалъ:

— Поглядѣлъ я туда, а тамъ подвалъ, большой такой, темный да сумный... На бочкѣ фонарикъ горитъ. Посреди подвала стоятъ человѣкъ десять народу въ красныхъ рубахахъ, засучили рукава и длинные ножики точатъ... Эгэ! Ну, значитъ, мы въ шайку попали, къ разбойникамъ... Что тутъ дѣлать? Побѣгъ я къ купцу, разбудилъ его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купецъ, не пужайся, а дѣло наше плохо... Мы, говорю, въ разбойничье гнѣздо попали». Онъ смѣнился съ лица и спрашиваетъ:—«Что жъ мы теперь, Пантелей, дѣлать станемъ? При мнѣ денегъ сиротскихъ

много... Насчетъ души, говоритъ, моей воленъ Господь Богъ, не боюсь помереть, а, говоритъ, страшно сиротскія деньги загубить»... Что тутъ прикажешь дѣлать? Ворота запертыя, некуда ни выѣхать, ни выйти... Будь заборъ, черезъ заборъ перелѣзть можно, а то дворъ крытый!..—«Ну, говорю, купецъ, ты не пужайся, а молись Богу. Можетъ, Господь не захочетъ сиротъ обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тѣмъ временемъ, можетъ, и придумаю что...» Ладно... Помолился я Богу, и наставилъ меня Богъ на умъ... Взлѣзъ я на свой тарантасъ и тихонько... тихонько, чтобъ никто не слыхалъ, сталъ обдирать солому въ стрехѣ, продѣлалъ дырку и вылѣзъ наружу. Наружу-то... Потомъ прыгнулъ я съ крыши и побѣгъ по дорогѣ, что есть духу. Бѣжалъ я, бѣжалъ, замучился до смерти... Можетъ, верстъ пять пробѣжалъ однимъ духомъ, а то и больше... Благодарить Бога, вижу—стоитъ деревня. Подбѣжалъ я къ избѣ, сталъ стучать въ окно. — «Православные, говорю, такъ и такъ, молъ, не дайте христіанскую душу загубить...» Побудилъ всѣхъ... Собрались мужики и пошли со мной... Кто съ веревкой, кто съ дубьемъ, кто съ вилами... Сломали мы это въ постояломъ дворѣ ворота и сейчасъ въ подвалъ... А разбойники ножики-то ужъ поточили и собрались купца рѣзать. Забрали ихъ мужики всѣхъ какъ есть, перевязали и повели къ начальству. Купецъ имъ на радостяхъ три сотенныхъ пожертвовалъ, а мнѣ пять лобанчиковъ далъ и имя мое въ поминанье къ себѣ записалъ. Сказываютъ, потомъ въ подвалѣ костей человѣчьихъ нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значитъ, грабили народъ, а потомъ зарывали, чтобъ слѣдовъ не было... Ну, потомъ ихъ въ Моршанскѣ черезъ палачей наказывали.

Пантелей кончилъ разсказъ и оглядѣлъ своихъ слушателей. Тѣ молчали и смотрѣли на него. Вода уже кипѣла, и Степка снималъ пѣну.

— Сало-то готово?—спросилъ его шопотомъ Кирюха.

— Погоди маленько... Сейчасъ.

Степка, не отрывая глазъ отъ Пантелея и какъ бы боясь, чтобы тотъ не началъ безъ него разсказывать, побѣжалъ къ возамъ; скоро онъ вернулся съ небольшой деревянной чашкой и сталъ растирать въ ней свиное сало.

— Ѣхалъ я въ другой разъ тоже съ купцомъ... — продолжалъ Пантелей попрежнему вполголоса и не мигая гла-

зами.—Звали его, какъ теперь помню, Петръ Григорьичъ. Хорошій былъ человѣкъ... купецъ-то... Остановились мы такимъ же манеромъ на постояломъ дворѣ... Онъ въ комнаткѣ, я при лошадяхъ... Хозяева, мужъ и жена, народъ какъ будто хорошій, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чуетъ мое сердце! Чуетъ, да и шабашъ. И ворота отпертыя, и народу кругомъ много, а все какъ будто страшно, не по себѣ. Всѣ давно позаснули, ужъ совсѣмъ ночь, скоро вставать надо, а я одинъ только лежу у себя въ кибиткѣ и глазъ не смыкаю, словно сычъ какой. Только, братцы, это самое, слышу: тупъ! тупъ! тупъ! Кто-то къ кибиткѣ крадется. Высовываю голову, гляжу—стоитъ баба въ одной рубахѣ, босая... «Что тебѣ, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нѣтъ... «Вставай, говоритъ, добрый человѣкъ! Бѣда... Хозяева лихо задумали... Хотятъ твоего купца порѣшить. Сама, говоритъ, слыхала, какъ хозяинъ съ хозяйкой шептались...» Ну, недаромъ сердце болѣло! «Кто же ты сама?»—спрашиваю. «А я, говоритъ, ихняя стряпуха...» Ладно... Вылѣзъ я изъ кибитки и пошелъ къ купцу. Разбудилъ его и говорю: «Такъ и такъ, говорю, Петръ Григорьичъ, дѣло не совсѣмъ чисто... Успѣешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одѣвайся, говорю, да по добру-здорову подальше отъ грѣха..» Только-что онъ сталъ одѣваться, какъ дверь отворилась и здравствуйте... гляжу—Мать-Царица!—входятъ къ намъ въ комнатку хозяинъ съ хозяйкой и три работника... Значитъ, и работниковъ подговорили... Денегъ у купца много, такъ вотъ, молъ, подѣлимъ... У всѣхъ у пятерыхъ въ рукахъ по ножику длинному... По ножику-то... Заперъ хозяинъ на замокъ двери и говоритъ: — «Молитесь, проѣзжіе, Богу... А ежели, говоритъ, кричать станете, то и помолиться не дадимъ передъ смертью...» Гдѣ ужъ тутъ кричать? У насъ отъ страху и глотку завалило, не до крику тутъ... Купецъ заплакалъ и говоритъ: «Православные! Вы, говоритъ, порѣшили меня убить, потому на мои деньги польстились. Такъ тому и быть, не я первый, не я послѣдній; много ужъ нашего брата-купца на постоялыхъ дворахъ перерѣзано. Но за что же, говоритъ, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И такъ это жалостно говоритъ! А хо-

зяинъ ему:—«Ежели, говоритъ, мы его въ живыхъ оставимъ, такъ онъ первый на насъ доказчикъ. Все равно, говоритъ, что одного убить, что двухъ. Семь бѣдъ, одинъ отвѣтъ... Молитесь Богу, вотъ и все тутъ, а разговаривать нечего!» Стали мы съ купцомъ рядышкомъ на колѣнки, заплакали и давай Бога молить. Онъ дѣтокъ своихъ вспоминаетъ, я въ ту пору еще молодой былъ, жить хотѣлъ... Глядимъ на образа, молимся, да такъ жалостно, что и теперь слеза бьетъ... А хозяйка, баба-то, глядитъ на насъ и говоритъ: «Вы же, говоритъ, добрые люди, не поминайте насъ на томъ свѣтѣ лихомъ и не молите Бога на нашу голову, потому мы это отъ нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а Богъ-то насъ и услышалъ. Сжалился, значитъ... Въ самый разъ, когда хозяинъ купца за бороду взялъ, чтобъ, значитъ, ножикомъ его по шеѣ полоснуть, вдругъ кто-то ка-акъ стукнетъ со двора по окошку! Всѣ мы такъ и присѣли, а у хозяина руки опустились... Постучалъ кто-то по окошку, да какъ закричитъ: «Петръ Григорьичъ, кричитъ, ты здѣсь? Собирайся, поѣдемъ!» Видятъ хозяева, что за купцомъ пріѣхали, испужались и давай Богъ ноги... А мы скорѣй на дворъ, запрягли и—только насъ и видѣли...

— Кто же это въ окошко стучалъ?—спросилъ Дымовъ.

— Въ окошко-то? Должно, угодникъ Божій или ангелъ. Потому акромя некому... Когда мы выѣхали со двора, на улицѣ ни одного человѣка не было... Божье дѣло!

Пантелей разсказалъ еще кое-что и во всѣхъ его разсказахъ одинаково играли роль «длинные ножики», и одинаково чувствовался вымыселъ. Слышалъ ли онъ эти разсказы отъ кого-нибудь другого, или самъ сочинилъ ихъ въ далекомъ прошломъ и потомъ, когда память ослабѣла, перемѣшалъ пережитое съ вымысломъ и пересталъ умѣть отличать одно отъ другого? Все можетъ быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу онъ, когда приходилось разсказывать, отдавалъ явное предпочтеніе вымысламъ и никогда не говорилъ о томъ, что было пережито. Теперь Егорушка все принималъ за чистую монету и вѣрилъ каждому слову, впослѣдствіи же ему казалось страннымъ, что человѣкъ, изъѣздившій на своемъ вѣку всю Россію, видѣвшій и знавшій многое, человѣкъ, у котораго сгорѣли жена и дѣти, обезцѣнивалъ свою богатую жизнь до того,

что всякій разъ, сидя у костра, или молчалъ, или же говорилъ о томъ, чего не было.

За кашей всѣ молчали и думали о только-что слышанномъ. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный разсказъ ни разскажи на Руси, какъ ни украшай его разбойничьими гнѣздами, длинными ножиками и чудесами, онъ всегда отзовется въ душѣ слушателя былью, и развѣ только человѣкъ, сильно искусившійся на грамотѣ, недовѣрчиво покосится, да и то смолчитъ. Крестъ у дороги, темные тюки, просторъ и судьба людей, собравшихся у костра—все это само по себѣ было такъ чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки блѣднѣла и сливалась съ жизнью.

Всѣ ѣли изъ котла, Пантелей же сидѣлъ въ сторонѣ особнякомъ и ѣлъ кашу изъ деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, какъ у всѣхъ, а кипарисовая и съ крестикомъ. Егорушка, глядя на него, вспомнилъ о лампадномъ стаканчикѣ и спросилъ тихо у Степки:

— Зачѣмъ это дѣдъ особо сидитъ?

— Онъ старой вѣры, — отвѣтили шопотомъ Степка и Вася, и при этомъ они такъ глядѣли, какъ будто говорили о слабости или тайномъ порокѣ.

Всѣ молчали и думали. Послѣ страшныхъ разсказовъ не хотѣлось ужъ говорить о томъ, что обыкновенно. Вдругъ среди тишины Вася выпрямился и, устремивъ свои тусклые глаза въ одну точку, навострилъ уши.

— Что такое?—спросилъ его Дымовъ.

— Человѣкъ какой-то идетъ,—отвѣтилъ Вася.

— Гдѣ ты его видишь?

— Во-онъ онъ! Чуть-чуть бѣлѣется...

Тамъ, куда смотрѣлъ Вася, не было видно ничего, кромѣ потемокъ; всѣ прислушались, но шаговъ не было слышно.

— По шляху онъ идетъ?—спросилъ Дымовъ.

— Нѣ, полемъ... Сюда идетъ.

Прошла минута въ молчаніи.

— А можетъ, это по степи гуляетъ купецъ, что тутъ похороненъ,—сказалъ Дымовъ.

Всѣ покосились на крестъ, переглянулись и вдругъ засмѣялись; стало стыдно за свой страхъ.

— Зачѣмъ ему гулять?—сказалъ Пантелей.—Это только

тѣ по ночамъ ходятъ, кого земля не принимаетъ. А купцы ничего... Купцы мученическій вѣнецъ приняли...

Но вотъ послышались шаги. Кто-то торопливо шелъ.

— Что-то несетъ,—сказалъ Вася.

Стало слышно, какъ подъ ногами шедшаго шуршала трава и потрескивалъ бурьянъ, но за свѣтомъ костра никого не было видно. Наконецъ, раздались шаги вблизи, кто-то кашлянулъ; мигавшій свѣтъ точно разступился, съ глазъ спала завѣса, и подводчики вдругъ увидѣли передъ собой человѣка.

Огонь ли такъ мелькнулъ, или оттого, что всѣмъ хотѣлось разглядѣть прежде всего лицо этого человѣка, но только странно такъ вышло, что всѣ при первомъ взглядѣ на него увидѣли прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, какъ у разбуженнаго ребенка, одна изъ тѣхъ заразительныхъ улыбокъ, на которыя трудно не отвѣтить тоже улыбкой. Незнакомецъ, когда его разглядѣли, оказался человѣкомъ лѣтъ тридцати, некрасивымъ собой и ничѣмъ не замѣчательнымъ. Это былъ высокій хохолъ, длинноносый, длиннорукій и длинноногій; вообще все у него казалось длиннымъ и только одна шея была такъ коротка, что дѣлала его сутуловатымъ. Одѣтъ онъ былъ въ чистую бѣлую рубаху съ шитымъ воротомъ, въ бѣлыя шаровары и новые сапоги и въ сравненіи съ подводчиками казался щеголемъ. Въ рукахъ онъ держалъ что-то большое, бѣлое и на первый взглядъ странное, а изъ-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попавъ изъ потемокъ въ свѣтовой кругъ, онъ остановился, какъ вкопанный, и съ полминуты глядѣлъ на подводчиковъ такъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потомъ онъ шагнулъ къ костру, улыбнулся еще свѣтлѣе и сказалъ:

— Хлѣбъ да соль, братцы!

— Милости просимъ!—отвѣчалъ за всѣхъ Пантелей.

Незнакомецъ положилъ около костра то, что держалъ въ рукахъ — это была убитая дрохва, — и еще разъ поздоровался.

Всѣ подошли къ дрохвѣ и стали осматривать ее.

— Важная птица! Чѣмъ это ты ее? — спросилъ Дымовъ.

— Картечью... Дробью не достанешь, не подпустить... Купите, братцы! Я бъ вамъ за двугривенный отдалъ.

— А на что она намъ? Она жареная годится, а вареная небось жесткая—не укусишь...

— Эхъ, досада! Ее бы къ господамъ въ экономію снесть, тѣ бы полтинникъ дали, да далече — пятнадцать верстъ!

Неизвѣстный сѣлъ, снялъ ружье и положилъ его возлѣ себя. Онъ казался соннымъ, томнымъ, улыбался, щурился отъ огня и, повидимому, думалъ о чемъ-то очень пріятномъ. Ему дали ложку. Онъ сталъ ѣсть.

— Ты кто самъ?—спросилъ его Дымовъ.

Незнакомецъ не слышалъ вопроса; онъ не отвѣтилъ и даже не взглянулъ на Дымова. Вѣроятно, этотъ улыбающійся человѣкъ не чувствовалъ и вкуса каши, потому что жевалъ какъ-то машинально, лѣниво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсѣмъ пустую. Пьянъ онъ не былъ, но въ головѣ его бродило что-то шальное.

— Я тебя спрашиваю: ты кто?—повторилъ Дымовъ.

— Я-то?—встрепенулся неизвѣстный.—Константинъ Звоныкъ, изъ Ровнаго. Отсюда версты четыре.

И, желая на первыхъ же порахъ показать, что онъ не такой мужикъ, какъ всѣ, а получше, Константинъ поспѣшилъ добавить:

— Мы пасѣку держимъ и свиней кормимъ.

— При отцѣ живешь, али самъ?

— Нѣтъ, теперь самъ живу. Отдѣлился. Въ этомъ мѣсяцѣ послѣ Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, какъ обзаконился.

— Хорошее дѣло!—сказалъ Пантелей.—Жена ничего... Это Богъ благословилъ...

— Молодая баба дома спитъ, а онъ по степу шатается,—засмѣялся Кирюха.—Чудакъ!

Константинъ, точно его ущипнули за самое живое мѣсто, встрепенулся, засмѣялся, вспыхнулъ...

— Да Господи, нѣту ея дома!—сказалъ онъ, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всѣхъ радостно и удивленно.—Нѣту! Поѣхала къ матери на два дня! Ей-Богу, она поѣхала, а я какъ не женатый...

Константинъ махнулъ рукой и покрутилъ головою; онъ хотѣлъ продолжать думать, но радость, которою свѣтилось

лицо его, мѣшала ему. Онъ, точно ему неудобно было сидѣть, принялъ другую позу, засмѣялся и опять махнулъ рукой. Совѣстно было выдавать чужимъ людямъ свои пріятныя мысли, но въ то же время неудержимо хотѣлось подѣлиться радостью.

— Поѣхала въ Демидово къ матери!—сказалъ онъ, краснѣя и перекладывая на другое мѣсто ружье.—Завтра вернется... Сказала, что къ обѣду назадъ будетъ.

— А тебѣ скучно?—спросилъ Дымовъ.

— Да Господи, а то какъ же? Безъ году недѣля, какъ оженился, а она уѣхала... А? У, да бѣдовая, накажи меня Богъ! Тамъ такая хорошая, да славная, такая хохотунья да пѣвунья, что просто чистый порохъ! При ней голова ходоромъ ходитъ, а безъ нея вотъ словно потерялъ что, какъ дуракъ по степу хожу. Съ самаго обѣда хожу, хоть караулъ кричи.

Константинъ протеръ глаза, посмотрѣлъ на огонь и засмѣялся.

— Любишь, значитъ...—сказалъ Пантелей.

— Тамъ такая хорошая, да славная, — повторилъ Константинъ, не слушая:—такая хозяйка, умная, да разумная, что другой такой изъ простого званія во всей губерніи не сыскать. Уѣхала... А вѣдь скучаетъ, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра къ обѣду вернется... А вѣдь какая исторія!—почти крикнулъ Константинъ, вдругъ беря тономъ выше и мѣняя позу: — теперь любитъ и скучаетъ, а вѣдь не хотѣла за меня выходить!

— Да ты ѣшь!—сказалъ Кирюха.

— Не хотѣла за меня выходить!—продолжалъ Константинъ, не слушая.—Три года съ ней бился! Увидалъ я ее на ярмаркѣ въ Калачикѣ, полюбилъ до смерти, хоть на шибеницу полѣзай... Я въ Ровномъ, она въ Демидовомъ, другъ отъ дружки за двадцать пять верстъ, и нѣтъ никакой моей возможности. Засылаю къ ней сватовъ, а она: не хочу! Ахъ ты, сорока! Ужъ я ее и такъ, и этакъ, и сережки, и пряниковъ, и меду полпуда — не хочу! Вотъ тутъ и поди. Оно, ежели разсудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, съ порохомъ, а я старый, скоро тридцать годовъ будетъ, да и красивъ очень, борода окладистая—гвоздемъ, лицо чистое — все въ шишкахъ. Гдѣ жъ *мнѣ съ* ней равняться! Развѣ вотъ только, что богато жи-

вемъ, да вѣдь и они, Вахраменки, хорошо живутъ. Три пары воловъ и двухъ работниковъ держатъ. Полюбилъ, братцы, и очумѣлъ... Не сплю, не ѣмъ, въ головѣ мысли и такой дурманъ, что не приведи Господи! Хочется ее повидать, а она въ Демидовѣ... И что жъ вы думаете? Накажи меня Богъ, не брешу, раза три на недѣлѣ туда пѣшкомъ ходилъ, чтобъ на нее поглядѣть. Дѣло бросилъ! Такое затменіе напло, что даже въ работники въ Демидовѣ хотѣлъ наниматься, чтобъ, значитъ, къ ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отецъ разъ десять бить принимался. Ну, три года промаялся и ужъ такъ порѣшилъ: будь ты трижды анаѳема, пойду въ городъ и въ извозчики... Значитъ, не судьба! На Святой пошелъ я въ Демидово въ послѣдній разочекъ на нее поглядѣть...

Константинъ откинулъ назадъ голову и закатился такимъ мелкимъ, веселымъ смѣхомъ, какъ будто только-что очень хитро надулъ кого-то.

— Гляжу, она съ парубками около рѣчки,—продолжалъ онъ.—Взяло меня зло... Отозвалъ я ее въ сторонку и, можетъ, съ цѣлый часъ ей разныя слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!...

— А какія слова?—спросилъ Дымовъ.

— Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? Тогда, какъ вода изъ жолоба, безъ передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поѣхала теперь сорока къ матери, а я вотъ безъ нея по степу. Не могу дома сидѣть. Нѣтъ моей мочи!

Константинъ неуклюже высвободилъ изъ-подъ себя ноги, растянулся на землѣ и подперъ голову кулаками, потомъ поднялся и опять сѣлъ. Всѣ теперь отлично понимали, что это былъ влюбленный и счастливый человѣкъ, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движеніе выражали томительное счастье. Онъ не находилъ себѣ мѣста и не зналъ, какую принять позу и что дѣлать, чтобы не изнемогать отъ изобилія пріятныхъ мыслей. Изливъ передъ чужими людьми свою душу, онъ, наконецъ, усѣлся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При видѣ счастливаго человѣка всѣмъ стало скучно и захотѣлось тоже счастья. Всѣ задумались. Дымовъ поднялся, тихо прошелся около костра, и по походкѣ, по движенію

его лопатокъ видно было, что онъ томился и скучалъ. Онъ постоялъ, поглядѣлъ на Константина и сѣлъ.

А костеръ уже потухалъ. Свѣтъ уже не мелькалъ, и красное пятно сузилось, потускнѣло... И чѣмъ скорѣе догоралъ огонь, тѣмъ виднѣе становилась лунная ночь. Теперь ужъ видно было дорогу во всю ея ширь, тюки, оглобли, жевавшихъ лошадей; на той сторонѣ неясно вырисовывался другой крестъ...

Дымовъ подперъ щеку рукой и тихо запѣлъ какую-то жалостную пѣсню. Константинъ сонно улыбнулся и подтянулъ ему тонкимъ голоскомъ. Попѣли они съ полминуты и затихли... Емельянъ встрепенулся, задвигалъ локтями и зашевелилъ пальцами.

— Братцы,—сказалъ онъ умоляюще.—Давайте, споемъ что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазахъ.

— Братцы!—повторилъ онъ, прижимая руку къ сердцу.— Давайте споемъ что-нибудь божественное!

— Я не умѣю,—сказалъ Константинъ.

Всѣ отказались; тогда Емельянъ запѣлъ самъ. Онъ замахалъ обѣими руками, закивалъ головой, открылъ ротъ, но изъ горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыханіе. Онъ пѣлъ руками, головой, глазами и даже шишкой, пѣлъ страстно и съ болью, и чѣмъ сильнѣе напрягалъ грудь, чтобы вырвать изъ нея хоть одну ноту, тѣмъ беззвучнѣе становилось его дыханіе...

Егорушкой тоже, какъ и всѣми, овладѣла скука. Онъ пошелъ къ своему возу, взобрался на тюкъ и легъ. Глядѣлъ онъ на небо и думалъ о счастливомъ Константинѣ и его женѣ. Зачѣмъ люди женятся? Къ чему на этомъ свѣтѣ женщины? Егорушка задавалъ себѣ неясные вопросы и думалъ, что мужчинѣ, навѣрное, хорошо, если возлѣ него постоянно живетъ ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и онъ подумалъ, что съ такой женщиной, вѣроятно, очень пріятно жить; онъ, пожалуй, съ удовольствіемъ женился бы на ней, если бы это не было такъ совѣстно. Онъ вспомнилъ ея брови, зрачки, коляску, часы со всадникомъ... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая жен-

щина склоняется къ нему, съ улыбкой глядитъ на него и хочетъ поцѣловать...

Отъ костра осталось только два маленькихъ красныхъ глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константинъ сидѣли около нихъ, темные, неподвижные, и казалось, что ихъ теперь было гораздо больше, чѣмъ раньше. Оба креста одинаково были видны и далеко-далеко, гдѣ-то на большой дорогѣ, свѣтился красный огонекъ—тоже, вѣроятно, кто-нибудь варилъ кашу.

«Наша матушка Расія всему свѣту га-ла-ва!» — запѣлъ вдругъ дикимъ голосомъ Кирюха, поперхнулся и умолкъ. Степное эхо подхватило его голосъ, понесло, и казалось, по степи на тяжелыхъ колесахъ покатила сама глупость.

— Время ѣхать!—сказалъ Пантелей.—Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константинъ ходилъ около подводъ и восхищался своей женой.

— Прощайте, братцы!—крикнулъ онъ, когда обозъ тронулся.—Спасибо вамъ за хлѣбъ за соль! А я опять пойду на огонь. Нѣтъ моей мочи!

И онъ скоро исчезъ во мглѣ, и долго было слышно, какъ онъ шагалъ туда, гдѣ свѣтился огонекъ, чтобы повѣдать чужимъ людямъ о своемъ счастьѣ.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обозъ стоялъ. Какой-то человѣкъ въ бѣлой фуражкѣ и въ костюмѣ изъ дешевой сѣрой матеріи, сидя на казачьемъ жеребчикѣ, у самаго передняго воза, разговаривалъ о чемъ-то съ Дымовымъ и Кирюхой. Впереди, версты за двѣ отъ обоза, бѣлѣли длинные, невысокіе амбары и домики съ черепичными крышами; около домиковъ не было видно ни дворовъ, ни деревьевъ.

— Дѣдъ, какая это деревня?—спросилъ Егорушка.

— Это, молодчикъ, армянскіе хутора,—отвѣчалъ Пантелей.—Тутъ армяшки живутъ. Народъ ничего... армяшки-то.

Человѣкъ въ сѣромъ кончилъ разговаривать съ Дымовымъ и Кирюхой, осадилъ своего жеребчика и поглядѣлъ на хутора.

— Экія дѣла, подумаешь!—вздохнулъ Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь отъ утренней свѣжести.—Послалъ онъ человѣка на хуторъ за какой-то бумагой, а тотъ не ѣдетъ... Степку послать бы!

— Дѣдъ, а кто это?—спросилъ Егорушка.

— Варламовъ.

Боже мой! Егорушка быстро вскочилъ, сталъ на колѣни и поглядѣлъ на бѣлую фуражку. Въ малоросломъ сѣромъ человѣчкѣ, обутомъ въ большіе сапоги, сидящемъ на некрасивой лошаденкѣ и разговаривающемъ съ мужиками въ такое время, когда всѣ порядочные люди спятъ, трудно было узнать таинственнаго, неуловимаго Варламова, котораго всѣ ищутъ, который всегда «кружится» и имѣетъ денегъ гораздо больше, чѣмъ графиня Драницкая.

— Ничего, хорошій человѣкъ... — говорилъ Пантелей, глядя на хутора.—Дай Богъ здоровья, славный господинъ... Варламовъ-то, Семенъ Александрычъ... На такихъ людяхъ, братъ, земля держится. Это вѣрно... Пѣтухи еще не поютъ, а онъ ужъ на ногахъ... Другой бы спалъ, или дома съ гостями тары-бары-растабары, а онъ цѣлый день по степу... Кружится... Этотъ ужъ не упуститъ дѣла... Нѣ-ѣтъ! Это молодчина...

Варламовъ не отрывалъ глазъ отъ хутора и о чемъ-то говорилъ; жеребчикъ нетерпѣливо переминался съ ноги на ногу.

— Семенъ Александрычъ,—крикнулъ Пантелей, снимая шляпу:—дозвольте Степку послать! Емельянъ, крикни, чтобъ Степку послать!

Но вотъ, наконецъ, отъ хутора отдѣлился верховой. Сильно накренившись на бокъ и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всѣхъ своей смѣлой ѣздой, онъ съ быстротою птицы полетѣлъ къ обозу.

— Это, должно, его объѣздчикъ,—сказалъ Пантелей.—У него ихъ, объѣздчиковъ-то, человѣкъ, можетъ, сто, а то и больше.

Поровнявшись съ переднимъ возомъ, верховой осадилъ лошадь и, снявши шапку, подалъ Варламову какую-то книжку. Варламовъ вынулъ изъ книжки нѣсколько бумажекъ, прочелъ ихъ и крикнулъ:

— А гдѣ же записка Иванчука?

Верховой взялъ назадъ книжку, оглядѣлъ бумажки и пожалъ плечами; онъ сталъ говорить о чемъ-то, вѣроятно, оправдывался и просилъ позволенія съѣздить еще разъ на хутора. Жеребчикъ вдругъ задвигался такъ, какъ будто Варламовъ сталъ тяжелѣе. Варламовъ тоже задвигался.

— Пошелъ вонъ!—крикнулъ онъ сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потомъ онъ повернулъ лошадь назадъ и, разсматривая въ книжкѣ бумаги, поѣхалъ шагомъ вдоль обоза. Когда онъ подъѣзжалъ къ заднему возу, Егорушка напрягъ свое зрѣніе, чтобы получше разсмотрѣть его. Варламовъ былъ уже старъ. Лицо его съ небольшой сѣдой бородкой, простое, русское, загорѣлое лицо, было красно, мокро отъ росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же дѣловую сухость, какъ лицо Ивана Иваныча, тотъ же дѣловой фанатизмъ. Но все-таки какая разница чувствовалась между нимъ и Иваномъ Иванычемъ! У дяди Кузьмичова рядомъ съ дѣловою сухостью всегда были на лицѣ забота и страхъ, что онъ не найдетъ Варламова, опоздаетъ, пропуститъ хорошую цѣну; ничего подобнаго, свойственнаго людямъ маленькимъ и зависимымъ, не было замѣтно ни на лицѣ, ни въ фигурѣ Варламова. Этотъ человѣкъ самъ создавалъ цѣны, никого не искалъ и ни отъ кого не зависѣлъ; какъ ни заурядна была его наружность, но во всемъ, даже въ манерѣ держать нагайку, чувствовалось сознаніе силы и привычной власти надъ степью.

Проѣзжая мимо Егорушки, онъ не взглянулъ на него; одинъ только жеребчикъ удостоилъ Егорушку своимъ вниманіемъ и поглядѣлъ на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тотъ замѣтилъ это и, не отрывая глазъ отъ бумажекъ, сказалъ картавя:

— Здгаствуй, стагикъ!

Бесѣда Варламова съ верховымъ и взмахъ нагайкой, повидимому, произвели на весь обозъ удручающее впечатлѣніе. У всѣхъ были серьезныя лица. Верховой, обезкураженный гнѣвомъ сильнаго человѣка, безъ шапки, опустивъ поводья, стоялъ у передняго воза, молчалъ и какъ будто не вѣрилъ, что для него такъ худо начался день.

— Крутой старикъ...—бормоталъ Пантелей.—Бѣда, какой крутой! А ничего, хорошій человѣкъ... Не обидитъ задаромъ... Ничего...

Осмотрѣвъ бумаги, Варламовъ сунулъ книжку въ карманъ; жеребчикъ, точно понявъ его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнулъ и понесся по большой дорогѣ.

VII.

И въ слѣдующую затѣмъ ночь подводчики дѣлали привалъ и варили кашу. На этотъ разъ съ самаго начала во всемъ чувствовалась какая-то неопредѣленная тоска. Было душно; всѣ много пили и никакъ не могли утолить жажду. Луна взошла сильно-багровая и хмурая, точно больная; звѣзды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнѣе. Природа какъ будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра ужъ не было вчерашняго оживленія и разговоровъ. Всѣ скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхалъ, жаловался на ноги и то и дѣло заводилъ рѣчь о наглой смерти.

Дымовъ лежалъ на животѣ, молчалъ и жевалъ соломенку; выраженіе лица у него было брезгливое, точно отъ соломенки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломитъ челюсть, и пророчилъ непогоду; Емельянъ не махалъ руками, а сидѣлъ неподвижно и угрюмо глядѣлъ на огонь. Томился и Егорушка. Ѣзда шагомъ утомила его, а отъ дневного зноя у него болѣла голова.

Когда сварилась каша, Дымовъ отъ скуки сталъ придираться къ товарищамъ.

— Разсѣлся, шишка, и первый лѣзетъ съ ложкой!—сказалъ онъ, глядя со злобой на Емельяна.—Жадность! Такъ и норовитъ первый за котелъ сѣсть. Пѣвчимъ былъ, такъ ужъ онъ думаетъ—баринъ! Много васъ такихъ пѣвчихъ по большому шляху милостыню проситъ!

— Да ты что присталъ?—спросилъ Емельянъ, глядя на него тоже со злобой.

— А то, что не суйся первый къ котлу. Не понимай о себѣ много.

— Дуракъ, вотъ и все,—просипѣлъ Емельянъ.

Зная по опыту, чѣмъ чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмѣшались и стали убѣждать Дымова не браниться попусту.

— Пѣвчій...—не унимался озорникъ, презрительно усмѣхаясь.—Этакъ всякій можетъ пѣть. Сиди себѣ въ церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа-ради!» Эхъ, вы!

Емельянъ промолчалъ. На Дымова его молчаніе подѣй-

ствовало раздражающимъ образомъ. Онъ еще съ бо́льшей ненавистью поглядѣлъ на бывшаго пѣвчаго и сказалъ:

— Не хочется только связываться, а то бъ я бъ тебѣ показалъ, какъ объ себѣ понимать!

— Да что ты ко мнѣ присталъ, мазепа? — вспыхнулъ Емельянъ.—Я тебя трогаю?

— Какъ ты меня обозвалъ?—спросилъ Дымовъ, выпрямляясь, и глаза его налились кровью.—Какъ? Я мазепа? Да? Такъ вотъ же тебѣ! Ступай ищи!

Дымовъ выхватилъ изъ рукъ Емельяна ложку и швырнулъ ее далеко въ сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побѣжали искать ее, а Емельянъ умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдругъ стало маленькимъ, поморщилось, заморгало, и бывшій пѣвчій заплакалъ, какъ ребенокъ.

Егорушка, давно уже ненавидѣвшій Дымова, почувствовалъ, какъ въ воздухѣ вдругъ стало невыносимо душно, какъ огонь отъ костра горячо жегъ лицо; ему захотѣлось скорѣе бѣжать къ обозу въ потемки, но злые, скучающіе глаза озорника тянули его къ себѣ. Страстно желая сказать что-нибудь въ высшей степени обидное, онъ шагнулъ къ Дымову и проговорилъ, задыхаясь:

— Ты хуже всѣхъ! Я тебя терпѣть не могу!

Послѣ этого надо было бы бѣжать къ обозу, а онъ никакъ не могъ сдвинуться съ мѣста и продолжалъ:

— На томъ свѣтѣ ты будешь горѣть въ аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смѣешь обижать Емельяна!

— Тоже, скажи пожалуйста!—усмѣхнулся Дымовъ.—Свиненокъ всякій, еще на губахъ молоко не обсохло, въ указчики лѣзетъ. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовалъ, что дышать уже нечѣмъ; онъ—никогда съ нимъ этого не было раньше—вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ, затопалъ ногами и закричалъ пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него изъ глазъ; ему стало стыдно, и онъ, пошатываясь, побѣжалъ къ обозу. Какое впечатлѣніе произвелъ его крикъ, онъ не видѣлъ. Лежа на тюкѣ и плача, онъ дергалъ руками и ногами и шепталъ:

— Мама! Мама!

И эти люди, и тѣни вокругъ костра, и темные тюки, и далекая молнія, каждую минуту сверкавшая вдали,—все то-

перь представлялось ему нелюдимымъ и страшнымъ. Онъ ужасался и въ отчаяніи спрашивалъ себя, какъ это и зачѣмъ попалъ онъ въ неизвѣстную землю, въ компанію страшныхъ мужиковъ? Гдѣ теперь дядя, о. Христофоръ и Дениска? Отчего они такъ долго не ѣдутъ? Не забыли ли они о немъ? Отъ мысли, что онъ забытъ и брошенъ на произволъ судьбы, ему становилось холодно и такъ жутко, что онъ нѣсколько разъ порывался спрыгнуть съ тюка и опрометью, безъ оглядки побѣжать назадъ по дорогѣ, но воспоминаніе о темныхъ, угрюмыхъ крестахъ, которые непремѣнно встрѣтятся ему на пути и сверкавшая вдали молнія останавливали его... И только когда онъ шепталъ: «мама! мама!»—ему становилось какъ будто легче...

Должно-быть, и подводчикамъ было жутко. Послѣ того, какъ Егорушка убѣжалъ отъ костра, они сначала долго молчали, потомъ вполголоса и глухо заговорили о чемъ-то, что оно идетъ, и что поскорѣе нужно собираться и уходить отъ него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По ихъ суетѣ и отрывистымъ фразамъ было замѣтно, что они предвидѣли какое-то несчастье.

Передъ тѣмъ, какъ трогаться въ путь, Дымовъ подошелъ къ Пантелею и спросилъ тихо:

— Какъ его звать?

— Егорій...—отвѣтилъ Пантелей.

Дымовъ сталъ одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой былъ перевязанъ тюкъ, и поднялся. Егорушка увидѣлъ его лицо и кудрявую голову. Лицо было блѣдно, утомленно и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера!—сказалъ онъ тихо.—На, бей!

Егорушка съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него; въ это время сверкнула молнія.

— Ничего, бей!—повторилъ Дымовъ.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будетъ бить его, или говорить съ нимъ, онъ спрыгнулъ внизъ и сказалъ:

— Скушно мнѣ!

Потомъ, переваливаясь съ ноги на ногу, двигая лопатками, онъ лѣниво поплелся вдоль обоза и не то плачущимъ, не то досадующимъ голосомъ повторилъ:

— Скушно мнѣ! Господи! А ты не обижайся, Емеля,—сказалъ онъ, проходя мимо Емельяна.—Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молнія и, точно отразившись въ зеркалѣ, она тотчасъ же сверкнула вдали.

— Егорій, возьми!—крикнулъ Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

— Что это?—спросилъ Егорушка.

— Рогожка! Будетъ дождикъ, такъ вотъ покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрѣлъ вокругъ себя. Даль замѣтно почернѣла и ужъ чаще, чѣмъ каждую минуту, мигала блѣднымъ свѣтомъ, какъ вѣками. Чернота ея, точно отъ тяжести, склонялась вправо.

— Дѣдъ, гроза будетъ?—спросилъ Егорушка.

— Ахъ, ножки мои больныя, стуженыя! — говорилъ нараспѣвъ Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налѣво, какъ будто кто чиркнулъ по небу спичкой, мелькнула блѣдная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, какъ гдѣ-то очень далеко кто-то прошелся по желѣзной крышѣ. Вѣроятно, по крышѣ шли босикомъ, потому что желѣзо проворчало глухо.

— А онъ обложной!—крикнулъ Кирюха.

Между далью и правымъ горизонтомъ мигнула молнія и такъ ярко, что освѣтила часть степи и мѣсто, гдѣ ясное небо граничило съ чернотой. Страшная туча надвигалась не спѣша, сплошной массой; на ея краю висѣли большія, черныя лохмотья; точно такія же лохмотья, давя другъ друга, громоздились на правомъ и на лѣвомъ горизонтѣ. Этотъ оборванный, разлохмаченный видъ тучи придавалъ ей какое-то пьяное, озорническое выраженіе. Явственно и не глухо проворчалъ громъ. Егорушка перекрестился и сталъ быстро надѣвать пальто.

— Скушно мнѣ! — донесся съ переднихъ возовъ крикъ Дымова, и по голосу его можно было судить, что онъ ужъ опять начиналъ злиться.—Скушно!

Вдругъ рванулъ вѣтеръ и съ такой силой, что едва не выхватилъ у Егорушки узелокъ и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во всѣ стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Вѣтеръ со свистомъ понесся по степи, безпорядочно закружился и поднялъ съ травою такой шумъ, что изъ-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колесъ. Онъ дулъ съ черной тучи, неся съ собой облака пыли и запахъ дождя и мокрой земли. Лунный свѣтъ затуманился, сталъ какъ будто грязнѣе, звѣзды еще больше

пахмурились, и видно было, какъ по краю дороги спѣшили куда-то назадъ облака пыли и ихъ тѣни. Теперь, по всей вѣроятности, вихри, кружась и увлекая съ земли пыль, сухую траву и перья, поднимались подъ самое небо; вѣроятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и какъ, должно-быть, имъ было страшно! Но сквозь пыль, залѣплявшую глаза, не было видно ничего, кромѣ блеска молній.

Егорушка, думая, что сію минуту польетъ дождь, сталъ на колѣни и укрылся рогожей.

— Пантелле-ей!—крикнулъ кто-то впереди.—А... а...ва!

— Не слыхать! — отвѣтилъ громко и нараспѣвъ Пантелей.

— А...а...ва! Аря...а!

Загремѣлъ сердито громъ, покатился по небу справа налѣво, потомъ назадъ и замеръ около переднихъ подводъ.

— Святъ, Святъ, Святъ, Господь Саваоѳъ, — прошепталъ Егорушка, крестясь:—исполнь небо и земля славы Твоея...

Чернота на небѣ раскрыла ротъ и дыхнула бѣлымъ огнемъ; тотчасъ же опять загремѣлъ громъ; едва онъ умолкъ, какъ молнія блеснула такъ широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидѣлъ вдругъ всю большую дорогу до самой дали, всѣхъ подводчиковъ и даже Кирюхину жилетку. Черныя лохмотья слѣва уже поднимались кверху, и одно изъ нихъ, грубое, неуклюжее, похожее на лапу съ пальцами, тянулось къ лунѣ. Егорушка рѣшилъ закрыть крѣпко глаза, не обращать вниманія и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, въ надеждѣ, что туча, быть-можетъ, уходитъ мимо, выглянулъ изъ рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидѣлъ ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился онъ туда, гдѣ была недавно луна, но тамъ чернѣла такая же тьма, какъ и на возу. А молніи въ потемкахъ казались болѣе и ослѣпительнѣе, такъ что глазамъ было больно.

— Пантелей!—позвалъ Егорушка.

Отвѣта не послѣдовало. Но вотъ, наконецъ, вѣтеръ въ послѣдній разъ рванулъ рогожу и убѣжалъ куда-то. Послышался ровный, спокойный шумъ. Большая, холодная капля *упала на колѣно* Егорушки, другая поползла по рукѣ. Онъ

замѣтилъ, что колѣни его не прикрыты и хотѣлъ-было поправить рогожу, но въ это время что-то посыпалось и застучало по дорогѣ, потомъ по оглоблямъ, по тюку. Это былъ дождь. Онъ и рогожа, какъ будто поняли другъ друга, заговорили о чемъ-то быстро, весело и препротивно, какъ двѣ сороки.

Егорушка стоялъ на колѣняхъ или, вѣрнѣе, сидѣлъ на сапогахъ. Когда дождь застучалъ по рогожѣ, онъ подался туловищемъ впередъ, чтобы заслонить собою колѣни, которыя вдругъ стали мокры; колѣни удалось прикрыть, но зато меньше чѣмъ черезъ минуту рѣзкая, непріятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрахъ. Онъ принялъ прежнюю позу, выставилъ колѣни подъ дождь и сталъ думать, что дѣлать, какъ поправить въ потемкахъ невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, въ рукава и за воротникъ текла вода, лопатки зябли. И онъ рѣшилъ ничего не дѣлать, а сидѣть неподвижно и ждать, когда все кончится.

— Святъ, Святъ, Святъ...—шепталъ онъ.

Вдругъ надъ самой головой его съ страшнымъ, оглушительнымъ трескомъ разломилось небо; онъ нагнулся и притаилъ дыханіе, ожидая, когда на его затылокъ и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и онъ увидѣлъ, какъ на его пальцахъ, мокрыхъ рукавахъ и струйкахъ, бѣжавшихъ съ рогожи, на тюкѣ и внизу на землѣ вспыхнулъ и разъ пять мигнулъ ослѣпительно-ѣдкій свѣтъ. Раздался новый ударъ, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремѣло, не грохотало, а издавало сухіе, трескучіе, похожіе на трескъ сухого дерева звуки.

«Тррахъ! тахъ! тахъ! тахъ!» — явственно отчеканивалъ громъ, катился по небу, спотыкался и гдѣ-нибудь у переднихъ возовъ, или далеко сзади, сваливался со злобнымъ, отрывистымъ—«трра!..»

Раньше молніи были только страшны, при такомъ же громѣ онѣ представлялись зловѣщими. Ихъ колдовской свѣтъ проникалъ сквозь закрытыя вѣки и холодомъ разливался по всему тѣлу. Что сдѣлать, чтобы не видѣть ихъ? Егорушка рѣшилъ обернуться лицомъ назадъ. Осторожно, какъ будто бы боясь, что за нимъ наблюдаютъ, онъ сталъ на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назадъ.

«Трахъ! тахъ! тахъ!»—понеслось надъ его головой, упало подъ возъ и разорвалось—«рррa!»

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидѣлъ новую опасность: за возомъ шли три громадныхъ великана съ длинными пиками. Молнія блеснула на остріяхъ ихъ пикъ и очень явственно освѣтила ихъ фигуры. То были люди громадныхъ размѣровъ, съ закрытыми лицами, поникшими головами и съ тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными въ раздумье. Быть-можетъ, шли они за обозомъ не для того, чтобы причинить вредъ, но все-таки въ ихъ близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся впередъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, закричалъ:

— Пантелей! Дѣдъ!

«Трахъ! тахъ! тахъ!»—отвѣтило ему небо.

Онъ открылъ глаза, чтобы поглядѣть, тутъ ли подводчики. Молнія сверкнула въ двухъ мѣстахъ и освѣтила дорогу до самой дали, весь обозъ и всѣхъ подводчиковъ. По дорогѣ текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагалъ около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни безпокойства, какъ будто онъ оглохъ отъ грома и ослѣпъ отъ молніи.

— Дѣдъ, великаны!—крикнулъ ему Егорушка, плача.

Но дѣдъ не слышалъ. Далѣе шелъ Емельянъ. Этотъ былъ покрытъ большой рогожей съ головы до ногъ и имѣлъ теперь форму треугольника. Вася, ничѣмъ не покрытый, шагалъ такъ же деревянно, какъ всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колѣнъ. При блескѣ молніи казалось, что обозъ не двигался и подводчики застыли, что у Васи онѣмѣла поднятая нога...

Егорушка еще позвалъ дѣда. Не добившись отвѣта, онъ сѣлъ неподвижно и ужъ не ждалъ, когда все кончится. Онъ былъ увѣренъ, что сію минуту его убьетъ громъ, что глаза нечаянно откроются и онъ увидитъ страшныхъ великановъ. И онъ ужъ не крестился, не звалъ дѣда, не думалъ о матери и только коченѣлъ отъ холода и увѣренности, что гроза никогда не кончится.

Но вдругъ послышались голоса.

— Егорій, да ты спишь, что ли?—крикнулъ внизу Пантелей.—*Слѣзай!* Оглохъ, дурачокъ!..

— Вотъ такъ гроза!—сказалъ какой-то незнакомый басъ и крякнулъ такъ, какъ будто выпилъ хорошій стаканъ водки.

Егорушка открылъ глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольникъ-Емельянъ и великаны. Послѣдніе были теперь много ниже ростомъ и, когда вглядѣлся въ нихъ Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечахъ не пики, а желѣзныя вилы. Въ промежуткѣ между Пантелеемъ и треугольникомъ свѣтилось окно невысокой избы. Значитъ, обозъ стоялъ въ деревнѣ. Егорушка сбросилъ съ себя рогожу, взялъ узелокъ и поспѣшилъ съ воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и свѣтилось окно, ему ужъ не было страшно, хотя громъ трещалъ попрежнему и молнія полосовала все небо.

— Гроза хорошая, ничего... — бормоталъ Пантелей. — Слава Богу... Ножки маленько промякли отъ дождичка, оно и ничего... Слѣзъ, Егорій? Ну, иди въ избу... Ничего...

— Святъ, Святъ, Святъ...—просипѣлъ Емельянъ.—Безпремѣнно гдѣ-нибудь ударило... Вы тутошніе?—спросилъ онъ великановъ.

— Нѣ, изъ Глинова... Мы глиновскіе. У господъ Плетеровъ работаемъ.

— Молотите, что ли?

— Разное. Покеда еще пшеницу убираемъ. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было...

Егорушка вошелъ въ избу. Его встрѣтила тощая, горбатая старуха съ острымъ подбородкомъ. Она держала въ рукахъ сальную свѣчку, щурилась и протяжно вздыхала.

— Грозу-то какую Богъ послалъ!—говорила она.—А наши въ степу ночуютъ, то-то натерпятся сердешные! Раздѣвайся, батюшка, раздѣвайся...

Дрожа отъ холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащилъ съ себя промокшее пальто, потомъ широко разставилъ руки и ноги и долго не двигался. Каждое малѣйшее движеніе вызывало въ немъ непріятное ощущеніе мокроты и холода. Рукава и спина на рубахѣ были мокры, брюки прилипли къ ногамъ, съ головы текло...

— Что жъ, хлопчикъ, раскорякой-то стоять? — сказала старуха.—Иди, садись!

Разставя широко ноги, Егорушка подошелъ къ столу и сѣлъ на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась,

пустила носомъ струю воздуха, пожевала и успокоилась. Отъ головы вдоль скамьи тянулся бугоръ, покрытый овчиннымъ тулупомъ. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась съ арбузомъ и дыней.

— Кушай, батюшка! Больше угощать нечѣмъ...—сказала она, зѣвая, затѣмъ порылась въ столѣ и достала оттуда длинный, острый ножикъ, очень похожій на тѣ ножи, какими на постоялыхъ дворахъ разбойники рѣжутъ купцовъ.— Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа какъ въ лихорадкѣ, съѣлъ ломоть дыни съ чернымъ хлѣбомъ, потомъ ломоть арбуза, и отъ этого ему стало еще холоднѣй.

— Наши въ степу ночуютъ...—вздыхала старуха, пока онъ ѣлъ.—Страсти Господни... Свѣчечку бы передъ образомъ засвѣтить, да не знаю, куда Степанида дѣвала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зѣвнула и, закинувъ назадъ правую руку, почесала ею лѣвое плечо.

— Должно, часа два теперь, — сказала она. — Скоро и вставать пора. Наши-то въ степу ночуютъ... Небось, вымокли всѣ...

— Бабушка,—сказалъ Егорушка:—я спать хочу.

— Ложись, батюшка, ложись...—вздохнула старуха, зѣвая.—Господи Іисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, какъ будто кто стучитъ. Проснулась, гляжу, а это грозу Богъ послалъ... Свѣчечку бы засвѣтить, да не нашла.

Разговаривая съ собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вѣроятно, свою постель, сняла съ гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

— Гроза-то не унимается,—бормотала она.—Какъ бы, неровенъ часъ, чего не спалило. Наши-то въ степи ночуютъ... Ложись, батюшка, спи... Христосъ съ тобой, внучекъ... Дыню-то я убирать не стану, можетъ, вставши, покушаешь.

Вздохи и зѣванье старухи, мѣрное дыханіе спавшей бабы, сумерки избы и шумъ дождя за окномъ располагали ко сну. Егорушкѣ было совѣстно раздѣваться при старухѣ. Онъ снялъ только сапоги, легъ и укрылся овчиннымъ тулупомъ.

— Парнишка легъ?—послышался черезъ минуту шопотъ Пантелея.

— Легъ! — отвѣтила шопотомъ старуха. — Страсти-то, страсти Господни! Гремитъ, гремитъ, и конца не слыхать...

— Сейчасъ пройдетъ...—прошипѣлъ Пантелей, садясь.— Потише стало... Ребята пошли по избамъ, а двое при лошадяхъ остались... Ребята-то... Нельзя... Уведутъ лошадей... Вотъ посижу маленько и пойду на смѣну... Нельзя, уведутъ...

Пантелей и старуха сидѣли рядомъ у ногъ Егорушки и говорили шипящимъ шопотомъ, прерывая свою рѣчь вздохами и зѣвками. А Егорушка никакъ не могъ согрѣться. На немъ лежалъ теплый, тяжелый тулупъ, но все тѣло тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали... Онъ раздѣлся подъ тулупомъ, но и это не помогло. Ознобъ становился все сильнѣй и сильнѣй.

Пантелей ушелъ на смѣну и потомъ опять вернулся, а Егорушка все еще не спалъ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и онъ не зналъ, что это: шопотъ ли стариковъ, или тяжелый запахъ овчины? Отъ съѣденныхъ арбуза и дыни во рту былъ непріятный, металлическій вкусъ. Къ тому же еще кусались блохи.

— Дѣдъ, мнѣ холодно!—сказалъ онъ и не узналъ своего голоса.

— Спи, внучекъ, спи...—вздохнула старуха.

Титъ на тонкихъ ножкахъ подошелъ къ постели и замахалъ руками, потомъ выросъ до потолка и обратился въ мельницу. О. Христофоръ, не такой, какимъ онъ сидѣлъ въ бричкѣ, а въ полномъ облаченіи и съ кропиломъ въ рукѣ, прошелся вокругъ мельницы, покропилъ ее святой водой и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бредъ, открылъ глаза.

— Дѣдъ!—позвалъ онъ.—Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушкѣ стало невыносимо душно и неудобно лежать. Онъ всталъ, одѣлся и вышелъ изъ избы. Уже наступило утро! Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь въ мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался къ тишинѣ; на глаза ему попался маленькій хлѣвокъ съ камы-

шевой, на половину открытой дверкой. Онъ заглянулъ въ этотъ хлѣвокъ, вошелъ въ него и сѣлъ въ темномъ углу на кизякъ.

Въ его тяжелой головѣ путались мысли, во рту было сухо и противно отъ металлическаго вкуса. Онъ оглядѣлъ свою шляпу, поправилъ на ней павлинье перо и вспомнилъ, какъ ходилъ съ мамашей покупать эту шляпу. Сунулъ онъ руку въ карманъ и досталъ оттуда комокъ бурой, липкой замазки. Какъ эта замазка попала ему въ карманъ? Онъ подумалъ, понюхалъ: пахнетъ медомъ. Ага, это еврейскій пряникъ! Какъ онъ, бѣдный, размокъ!

Егорушка оглядѣлъ свое пальто. А пальто у него было сѣренькое, съ большими костяными пуговицами, сшитое на манеръ сюртука. Какъ новая и дорогая вещь, дома висѣло оно не въ передней, а въ спальной, рядомъ съ мамашиными платьями; надѣвать его позволялось только по праздникамъ. Поглядѣвъ на него, Егорушка почувствовалъ къ нему жалость, вспомнилъ, что онъ и пальто—оба брошены на произволъ судьбы, что имъ ужъ больше не вернуться домой, и зарыдалъ такъ, что едва не свалился съ кизяка.

Большая бѣлая собака, смоченная дождемъ, съ клочьями шерсти на мордѣ, похожими на папильотки, вошла въ хлѣвъ и съ любопытствомъ уставилась на Егорушку. Она, повидимому, думала: залаять, или нѣтъ? Рѣшивъ, что лаять не нужно, она осторожно подошла къ Егорушкѣ, съѣла замазку и вышла.

— Это варламовскіе!—крикнулъ кто-то на улицѣ.

Наплакавшись, Егорушка вышелъ изъ хлѣва и, обходя лужу, поплелся на улицу. Какъ разъ передъ воротами на дорогѣ стояли возы. Мокрые подводчики съ грязными ногами, вялые и сонные, какъ осеннія мухи, бродили возлѣ, или сидѣли на оглобляхъ. Егорушка поглядѣлъ на нихъ и подумалъ: «Какъ скучно и неудобно быть мужикомъ!» Онъ подошелъ къ Пантелею и сѣлъ съ нимъ рядомъ на оглоблю.

— Дѣдъ, мнѣ холодно!—сказалъ онъ, дрожа и засовывая руки въ рукава.

— Ничего, скоро до мѣста доѣдемъ, — зѣвнулъ Пантелей. — Оно ничего, согрѣешься.

Обозъ тронулся съ мѣста рано, потому что было не жарко. Егорушка лежалъ на тюкѣ и дрожалъ отъ холода,

хотя солнце скоро показалось на небѣ и высушило его одежду, тюкъ и землю. Едва онъ закрылъ глаза, какъ опять увидѣлъ Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всемъ тѣлѣ, онъ напрягалъ силы, чтобы отогнать отъ себя эти образы, но едва они исчезали, какъ на Егорушку съ ревомъ бросался озорникъ Дымовъ съ красными глазами и съ поднятыми кулаками, или же слышалось, какъ онъ тосковалъ: «Скушно мнѣ!». Проѣзжалъ на казачьемъ жеребчикѣ Варламовъ, проходилъ со своей улыбкой и съ дрохвой счастливый Константинъ. И какъ всѣ эти люди были тяжелы, несносны и надоѣдливы!

Разъ — это было уже передъ вечеромъ — онъ поднялъ голову, чтобы попросить пить. Обозъ стоялъ на большомъ мосту, тянувшемся черезъ широкую рѣку. Внизу надъ рѣкой темнѣлъ дымъ, а сквозь него виденъ былъ пароходъ, тащившій на буксирѣ баржу. Впереди за рѣкой пестрѣла громадная гора, усѣянная домами и церквами; у подножія горы около товарныхъ вагоновъ бѣгалъ локомотивъ...

Раньше Егорушка не видѣлъ никогда ни пароходовъ, ни локомотивовъ, ни широкихъ рѣкъ. Взглянувъ теперь на нихъ, онъ не испугался, не удивился; на лицѣ его не выразилось даже ничего похожаго на любопытство. Онъ только почувствовалъ дурноту и поспѣшилъ лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видѣвшій это, крякнулъ и покрутилъ головой.

— Захворалъ нашъ парнишка! — сказалъ онъ. — Должно, животъ застудилъ... парнишка-то... На чужой сторонѣ... Плохо дѣло!

VIII.

Обозъ остановился недалеко отъ пристани въ большомъ торговомъ подворьѣ. Слѣзая съ воза, Егорушка услышалъ чей-то очень знакомый голосъ. Кто-то помогалъ ему слѣзать и говорилъ:

— А мы еще вчера вечеромъ пріѣхали... Цѣлый день нынче васъ ждали. Хотѣли вчерась нагнать васъ, да не рука была, другой дорогой поѣхали. Эка, какъ ты свою пальтишку измялъ! Достанется тебѣ отъ дяденьки!

Егорушка вглядѣлся въ мраморное лицо говорившаго и вспомнилъ, что это Дениска.

— Дяденька и о. Христофоръ теперь въ номерѣ, — продолжалъ Дениска: — чай пьютъ. Пойдемъ!

И онъ повелъ Егорушку къ большому двухъэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведеніе. Пройдя сѣни, темную лѣстницу и длинный, узкій коридоръ, Егорушка и Дениска вошли въ маленькій номерокъ, въ которомъ, дѣйствительно, за чайнымъ столомъ сидѣли Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ. Увидѣвъ мальчика, оба старика изобразили на лицахъ удивленіе и радость.

— А-а, Егоръ Никола-аичъ! — пропѣлъ о. Христофоръ. — Господинъ Ломоносовъ!

— А, господа дворяне! — сказалъ Кузьмичовъ. — Милости просимъ.

Егорушка снялъ пальто, поцѣловалъ руку дядѣ и о. Христофору и сѣлъ за столъ.

— Ну, какъ доѣхалъ, puer bone? — засыпалъ его о. Христофоръ вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновенію, лучезарно улыбаясь. — Небось, надоѣло? И не дай Богъ на обозѣ или на волахъ ѣхать! Ѣдешь, ѣдешь, прости Господи, взглянешь впередъ, а степь все такая жъ протяженно-сложенная, какъ и была: конца краю не видать! Не ѣзда, а чистое поношеніе. Что жъ ты чаю не пьешь? Пей! А мы безъ тебя тутъ, пока ты съ обозомъ тащился, всѣ дѣла подъ орѣхъ раздѣлали. Слава Богу! Продали шерсть Черепахину и такъ, какъ дай Богъ всякому... Хорошо попользовались.

При первомъ взглядѣ на своихъ, Егорушка почувствовалъ непреодолимую потребность жаловаться. Онъ не слушалъ о. Христофора и придумывалъ, съ чего бы начать и на что собственно пожаловаться. Но голосъ о. Христофора, казавшійся непріятнымъ и рѣзкимъ, мѣшалъ ему сосредоточиться и путалъ его мысли. Не посидѣвъ и пяти минутъ, онъ всталъ изъ-за стола, пошелъ къ дивану и легъ.

— Вотъ-те на! — удивился о. Христофоръ. — А какъ же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка прижался лбомъ къ стѣнѣ дивана и вдругъ зарыдалъ.

— Вотъ-те на! — повторилъ о. Христофоръ, поднимаясь и идя къ дивану. — Георгій, что съ тобой? Что съ тобою?

— Я... я боленъ! — проговорилъ Егорушка.

— Боленъ? — смутился о. Христофоръ. — Вотъ это ужъ и не хорошо, братъ... Развѣ можно въ дорогѣ болѣть? Ай, ай, какой ты, братъ... а?

Онъ приложилъ руку къ Егорушкиной головѣ, потрогалъ щеку и сказалъ:

— Да, голова горячая... Это ты, должно-быть, простудился, или чего-нибудь покушалъ... Ты Бога призывай.

— Хинины ему дать... — сказалъ смущенно Иванъ Иванычъ.

— Нѣтъ, ему бы чего-нибудь горяченькаго покушать... Георгій, хочешь супчику? А?

— Не... не хочу... — отвѣтилъ Егорушка.

— Тебя знобитъ, что ли?

— Прежде знобило, а теперь... теперь жаръ. У меня все тѣло болитъ...

Иванъ Иванычъ подошелъ къ дивану, потрогалъ Егорушку за голову, смущенно крякнулъ и вернулся къ столу.

— Вотъ что, ты раздѣвайся и ложись спать, — сказалъ о. Христофоръ: — тебѣ выспаться надо.

Онъ помогъ Егорушкѣ раздѣться, далъ ему подушку и укрылъ его одѣяломъ, а поверхъ одѣяла пальтомъ Ивана Иваныча, затѣмъ отошелъ на цыпочкахъ и сѣлъ за столъ. Егорушка закрылъ глаза, и ему тотчасъ же стало казаться, что онъ не въ номерѣ, а на большой дорогѣ около костра; Емельянъ махнулъ рукой, а Дымовъ съ красными глазами лежалъ на животѣ и насмѣшливо глядѣлъ на Егорушку.

— Бейте его! Бейте его! — крикнулъ Егорушка.

— Бредитъ... — проговорилъ вполголоса о. Христофоръ.

— Хлопоты! — вздохнулъ Иванъ Иванычъ.

— Надо будетъ его масломъ съ уксусомъ смазать. Богъ дастъ, къ завтраму выздоровѣетъ.

Чтобы отвязаться отъ тяжелыхъ грезъ, Егорушка открылъ глаза и сталъ смотрѣть на огонь. О. Христофоръ и Иванъ Иванычъ уже напились чаю и о чемъ-то говорили шопотомъ. Первый счастливо улыбался и, повидимому, никакъ не могъ забыть о томъ, что взялъ хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, пріѣхавъ домой, онъ соберетъ всю свою большую семью, лукаво подмигнетъ и расхохочется; сначала онъ всѣхъ обманетъ и скажетъ, что продалъ шерсть дешевле

своей цѣны, потомъ же подастъ зятю Михайлѣ толстый бумажникъ и скажетъ: «На, получай! Вотъ какъ надо дѣла дѣлать!» Кузьмичовъ же не казался довольнымъ. Лицо его попрежнему выражало дѣловую сухость и заботу.

— Эхъ, кабы знатье, что Черепахинъ дастъ такую цѣну, — говорилъ онъ вполголоса: — то я бъ дома не продавалъ Макарову тѣхъ трехсотъ пудовъ! Такая досада! Но кто жъ его зналъ, что тутъ цѣну подняли?

Человѣкъ въ бѣлой рубахѣ убралъ самоваръ и зажегъ въ углу передъ образомъ лампадку. О. Христофоръ шепнулъ ему что-то на ухо; тотъ сдѣлалъ таинственное лицо, какъ заговорщикъ — понимаю молъ — вышелъ и, вернувшись немного погодя, поставилъ подъ диванъ посудину. Иванъ Иванычъ постлалъ себѣ на полу, нѣсколько разъ зѣвнулъ, лѣниво помолился и легъ.

— А завтра я въ соборъ думаю... — сказалъ о. Христофоръ. — Тамъ у меня ключарь знакомый. Къ преосвященному бы надо послѣ обѣдни, да говорятъ, боленъ.

Онъ зѣвнулъ и потушилъ лампу. Теперь ужъ свѣтила одна только лампадка.

— Говорятъ, не принимаетъ, — продолжалъ о. Христофоръ, разоблачаясь. — Такъ и уѣду, не повидавшись.

Онъ снялъ кафтанъ, и Егорушка увидѣлъ передъ собой Робинзона Крузе. Робинзонъ что-то размѣшалъ въ блюдечкѣ, подошелъ къ Егорушкѣ и зашепталъ:

— Ломоносовъ, ты спишь? Встань-ка! Я тебя масломъ съ уксусомъ смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сѣлъ. О. Христофоръ снялъ съ него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, какъ-будто ему самому было щекотно, сталъ растирать Егорушкѣ грудь.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа... — шепталъ онъ. — Ложись спиной кверху!.. Вотъ такъ. Завтра здоровъ будешь, только впередъ не согрѣшай... Какъ огонь, горячій! Небось въ грозу въ дорогѣ были?

— Въ дорогѣ.

— Еще бы не захворать! Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофоръ надѣлъ на него сорочку, укрылъ, перекрестилъ и отошелъ. Потомъ Егорушка

видѣлъ, какъ онъ молился Богу. Вѣроятно, старикъ зналъ наизусть очень много молитвъ, потому что долго стоялъ передъ образомъ и шепталъ. Помолившись, онъ перекрестилъ окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, легъ безъ подушки на диванчикъ и укрылся своимъ кафтаномъ. Въ коридорѣ часы пробили десять. Егорушка вспомнилъ, какъ еще много времени осталось до утра, въ тоскѣ припалъ лбомъ къ спинкѣ дивана и ужъ не старался отдѣлаться отъ туманныхъ угнетающихъ грезъ. Но утро наступило гораздо раньше, чѣмъ онъ думалъ.

Ему казалось, что онъ недолго лежалъ, припавши лбомъ къ спинкѣ дивана, но когда онъ открылъ глаза, изъ обоихъ оконъ номерка уже тянулись къ полу косые солнечные лучи. О. Христофора и Ивана Иваныча не было. Въ номеркѣ было прибрано, свѣтло, уютно и пахло о. Христофоромъ, который всегда издавалъ запахъ кипариса и сухихъ васильковъ (дома онъ дѣлалъ изъ васильковъ кропила и украшенія для кіотовъ, отчего и пропахъ ими насквозь). Егорушка поглядѣлъ на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышкомъ около дивана, и засмѣялся. Ему казалось страннымъ, что онъ не на тюкѣ, что кругомъ все сухо и на потолкѣ нѣтъ молній и грома.

Онъ прыгнулъ съ дивана и сталъ одѣваться. Самочувствіе у него было прекрасное; отъ вчерашней болѣзни осталась одна только небольшая слабость въ ногахъ и въ шеѣ. Значитъ, масло и уксусъ помогли. Онъ вспомнилъ пароходъ, локомотивъ и широкую рѣку, которые смутно видѣлъ вчера, и теперь спѣшилъ поскорѣе одѣться, чтобы побѣжать на пристань и поглядѣть на нихъ. Когда онъ, умывшись, надѣвалъ кумачовую рубаху, вдругъ щелкнулъ въ дверяхъ замокъ, и на порогѣ показался о. Христофоръ въ своемъ цилиндрѣ, съ посохомъ и въ шелковой коричневой рясѣ поверхъ парусинковаго кафтана. Улыбаясь и сіяя (старики, только-что вернувшіеся изъ церкви, всегда испускаютъ сіяніе), онъ положилъ на столъ просфору и какой-то свертокъ, помолился и сказалъ:

— Богъ милости прислалъ! Ну, какъ здоровье?

— Теперь хорошо, — отвѣтилъ Егорушка, цѣлуя ему руку.

— Слава Богу... А я изъ обѣдни... Ходилъ съ знако-

мымъ ключарёмъ повидаться. Звалъ онъ меня къ себѣ чай пить, да я не пошелъ. Не люблю по гостямъ ходить спозаранку. Богъ съ ними!

Онъ снялъ рясу, погладилъ себя по груди и, не спѣша, развернулъ свертокъ. Егорушка увидѣлъ жестяночку съ зернистой икрой, кусочекъ балыка и французскій хлѣбъ.

— Вотъ, шелъ мимо живорыбной лавки и купилъ, — сказалъ о. Христофоръ. — Въ будень не изъ чего бы роскошествовать, да подумалъ, дома болящій, такъ оно какъ будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человѣкъ въ бѣлой рубахѣ принесъ самоваръ и подносъ съ посудой.

— Кушай, — сказалъ о. Христофоръ, намазывая икру на ломтикъ хлѣба и подавая Егорушкѣ. — Теперь кушай и гуляй, а настанетъ время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманіемъ и прилежаніемъ, чтобы толкъ былъ. Что наизусть надо, то учи наизусть, а гдѣ нужно разсказать своими словами внутренній смыслъ, не касаясь наружнаго, тамъ своими словами. И старайся такъ, чтобъ всѣ науки выучить. Иной математику знаетъ отлично, а про Петра Могилу не слыхалъ, а иной про Петра Могилу знаетъ, а не можетъ про луну объяснить. Нѣтъ, ты такъ учись, чтобы все понимать! Выучись по-латински, по-французски, по-нѣмецки... географію, конечно, исторію, богословіе, философію, математику... А когда всему выучишься, не спѣша, да съ молитвою, да съ усердіемъ, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебѣ на всякой стезѣ легко будетъ. Ты только учись да благодати набирайся, а ужъ Богъ укажетъ, кѣмъ тебѣ быть. Докторомъ ли, судьей ли, инженеромъ ли...

О. Христофоръ намазалъ на маленькій кусочекъ хлѣба немножко икры, положилъ его въ ротъ и сказалъ:

— Апостолъ Павелъ говоритъ: «На ученія странна и различна не прилагайтеся». Конечно, если чернокнижіе, буесловіе, или духовъ съ того свѣта вызывать, какъ Саулъ, или такія науки учить, что отъ нихъ пользы ни себѣ, ни людямъ, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Богъ благословилъ. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всѣхъ языкахъ — и ты учи языки; Василій Великій училъ математику и философію — и ты учи, святый

Несторъ писалъ исторію — и ты учи и пиши исторію. Со святыми соображайся...

О. Христофоръ отхлебнулъ изъ блюдечка, вытеръ усы и покрутилъ головой.

— Хорошо! — сказалъ онъ. — Я по-старинному обученъ, многое ужъ забылъ, да и то живу иначе, чѣмъ прочіе. И сравнивать даже нельзя. Напримѣръ, гдѣ-нибудь въ большомъ обществѣ, за обѣдомъ ли, или въ собраніи скажешь что-нибудь по-латынски, или изъ исторіи, или философіи, а людямъ и пріятно, да и мнѣ самому пріятно... Или вотъ тоже, когда пріѣзжаетъ окружный судъ и нужно приводить къ присягѣ; всѣ прочіе священники стѣсняются, а я съ судьями, съ прокурорами, да съ адвокатами за панибрата: по-ученому поговорю, чайку съ ними попью, посмѣюсь, разспрошу, чего не знаю... И имъ пріятно. Такъ-то вотъ, братъ... Ученье свѣтъ, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: въ теперешнее время ученье дорого обходится... Маменька твоя вдовица, пенсіей живетъ, ну да вѣдь...

О. Христофоръ испуганно поглядѣлъ на дверь и продолжалъ шопотомъ:

— Иванъ Иванычъ будетъ помогать. Онъ тебя не оставитъ. Дѣтей у него своихъ нѣту, и онъ тебѣ поможетъ. Не безпокойся.

Онъ сдѣлалъ серьезное лицо и зашепталъ еще тише:

— Только ты смотри, Георгій, Боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велитъ заповѣдь, а Иванъ Иванычъ тебѣ благодѣтель и вмѣсто отца. Ежели ты выйдешь въ ученые и, не дай Богъ, станешь тяготиться и пренебрегать людями по той причинѣ, что они глупѣе тебя, то горе, горе тебѣ!

О. Христофоръ поднялъ вверхъ руку и повторилъ тонкимъ голоскомъ:

— Горе! Горе!

О. Христофоръ разговорился и, что называется, вошелъ во вкусъ; онъ не окончилъ бы до обѣда, но отворилась дверь, и вошелъ Иванъ Иванычъ. Дядя торопливо поздоровался, сѣлъ за столъ и сталъ быстро глотать чай.

— Ну, со всѣми дѣлами справился, — сказалъ онъ. — Сегодня бы и домой ѣхать, да вотъ съ Егоромъ еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тутъ гдѣ-то ея

подружка живетъ, Настасья Петровна, такъ вотъ, можетъ, она его къ себѣ на квартиру возьметъ.

Онъ порылся въ своемъ бумажникѣ, досталъ оттуда измятое письмо и прочелъ:

— «Малая Нижняя улица, Настасьѣ Петровнѣ Тоскуновой, въ собственномъ домѣ». Надо будетъ сейчасъ пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскорѣ послѣ чаю Иванъ Иванычъ и Егорушка ужъ выходили изъ подворья.

— Хлопоты!—бормоталъ дядя.—Привязался ты ко мнѣ, какъ репейникъ, и ну тебя совсѣмъ къ Богу! Вамъ ученье да благородство, а мнѣ одна мука съ вами...

Когда они проходили дворомъ, то возовъ и подводчиковъ уже не было, всѣ они еще рано утромъ уѣхали на пристань. Въ дальнемъ углу двора темнѣла знакомая бричка; возлѣ нея стояли гнѣдыя и ѣли овесъ.

«Прощай, бричка!»—подумалъ Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потомъ идти черезъ большую базарную площадь; тутъ Иванъ Иванычъ справился у городового, гдѣ Малая Нижняя улица.

— Эва! — усмѣхнулся городовой. — Она далече, туда къ выгону!

На пути попадались навстрѣчу извозчичьи пролетки, но такую слабость, какъ ѣзда на извозчикахъ, дядя позволялъ себѣ только въ исключительныхъ случаяхъ и по большимъ праздникамъ. Онъ и Егорушка долго шли по мощенымъ улицамъ, потомъ шли по улицамъ, гдѣ были одни только тротуары, а мостовыхъ не было, и въ концѣ-концовъ попали на такія улицы, гдѣ не было ни мостовыхъ, ни тротуаровъ. Когда ноги и языкъ довели ихъ до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, снявъ шляпы, вытирали потъ.

— Скажите, пожалуйста,—обратился Иванъ Иванычъ къ одному старичку, сидѣвшему у воротъ на лавочкѣ: — гдѣ тутъ домъ Настасьи Петровны Тоскуновой?

— Никакой тутъ Тоскуновой нѣтъ,—отвѣтилъ старикъ, подумавъ.—Можетъ, Тимошенко?

— Нѣтъ, Тоскунова...

— Извините, Тоскуновой нѣту...

Иванъ Иванычъ пожалъ плечами и поплелся дальше.

— Да не ищите!—крикнулъ ему сзади старикъ.—Говорю—нѣту, значитъ — нѣту!

— Послушай, тетенька,—обратился Иванъ Иванычъ къ старухѣ, продававшей на углу въ лоткѣ подсолнухи и груши:—гдѣ тутъ домъ Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядѣла на него съ удивленіемъ и засмѣялась.

— Да нешто Настасья Петровна теперь въ своемъ домѣ живетъ?—спросила она.—Господи, ужъ годовъ восемь, какъ она дочку выдала и домъ свой зятю отказала! Тамъ теперь зять живетъ.

А глаза ее говорили:—«Какъ же вы, дураки, такого пустяка не знаете?».

— А гдѣ она теперь живетъ?—спросилъ Иванъ Иванычъ.

— Господи!—удивилась старуха, всплескивая руками.—Она ужъ давно на квартирѣ живетъ! Ужъ годовъ восемь, какъ свой домъ зятю отказала. Что вы!

Она, вѣроятно, ожидала, что Иванъ Иванычъ тоже удивится и воскликнетъ: «Да не можетъ быть!!», но тотъ очень покойно спросилъ:

— Гдѣ жъ ея квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительнымъ тонкимъ голосомъ:

— Идите все прямо, прямо, прямо... Вотъ какъ пройдете красненькій домичекъ, такъ на лѣвой рукѣ будетъ переулочекъ. Такъ вы идите въ этотъ переулочекъ и глядите третьи ворота справа...

Иванъ Иванычъ и Егорушка дошли до краснаго домика, повернули налѣво въ переулокъ и направились къ третьимъ воротамъ справа. По обѣ стороны этихъ сѣрыхъ, очень старыхъ воротъ тянулся сѣрый заборъ съ широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась впередъ и грозила паденіемъ, лѣвая покосилась назадъ во дворъ, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда имъ удобнѣе свалиться впередъ, или назадъ. Иванъ Иванычъ отворилъ калитку и вмѣстѣ съ Егорушкой увидѣлъ большой дворъ, поросшій бурьяномъ и репейникомъ. Въ ста шагахъ отъ воротъ стоялъ небольшой домикъ съ красной крышей и съ зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, съ засученными рукавами и съ поднятымъ фартукомъ, стояла

среди двора, сыпала что-то на землю и кричала такъ же пронзительно-тонко, какъ и торговка:

— Цыпъ!.. цыпъ! цыпъ!

Сзади нея сидѣла рыжая собака съ острыми ушами. Увидѣвъ гостей, она побѣжала къ калиткѣ и залаяла теноромъ (всѣ рыжія собаки лаютъ теноромъ).

— Кого вамъ?—крикнула женщина, заслоняя рукой глаза отъ солнца.

— Здравствуйте!—тоже крикнулъ ей Иванъ Иванычъ, отмахиваясь палкой отъ рыжей собаки.—Скажите, пожалуйста, здѣсь живетъ Настасья Петровна Тоскунова?

— Здѣсь! А на что вамъ?

Иванъ Иванычъ и Егорушка подошли къ ней. Она подозрительно оглядѣла ихъ и проговорила:

— На что она вамъ?

— Да можетъ, вы сами Настасья Петровна?

— Ну, я!

— Очень пріятно... Видите ли, кланялась вамъ ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вотъ это ея сынокъ. А я, можетъ, помните, ея родной братъ, Иванъ Иванычъ... Вы вѣдь наша N—ская... Вы у насъ и родились, и замужъ выходили...

Наступило молчаніе. Полная женщина уставилась безсмысленно на Ивана Иваныча, какъ бы не вѣря или не понимая, потомъ вся вспыхнула и всплеснула руками; изъ фартука ея посыпался овесъ, изъ глазъ брызнули слезы.

— Ольга Ивановна!—взвизгнула она, тяжело дыша отъ волненія.—Голубушка моя родная! Ахъ, батюшки, такъ что же я, какъ дура, стою? Ангельчикъ ты мой хорошенькій...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсѣмъ заплакала.

— Господи!—сказала она, ломая руки.—Олечкинъ сыночекъ! Вотъ радость-то! Совсѣмъ мать! Чистая мать! Да что жъ вы на дворѣ стоите? Пожалуйте въ комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспѣшила къ дому; гости поплелись за ней.

— У меня не прибрано!—говорила она, вводя гостей въ маленькій душный залъ, весь уставленный образами и цвѣточными горшками. Ахъ, Матерь Божія! Василиса, поди, хоть ставни отвори! Ангельчикъ мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночекъ!

Когда она успокоилась и привыкла къ гостямъ, Иванъ Иванычъ пригласилъ ее поговорить наединѣ. Егорушка вышелъ въ другую комнатку; тутъ стояла швейная машина, на окнѣ висѣла клѣтка со скворцомъ и было такъ же много образовъ и цвѣтовъ, какъ и въ залѣ. Около машины неподвижно стояла какая-то дѣвочка, загорѣлая, со щеками пухлыми, какъ у Тита, и въ чистенькомъ ситцевомъ платьицѣ. Она, не мигая, глядѣла на Егорушку и, повидимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядѣлъ на нее, помолчалъ и спросилъ:

— Какъ тебя звать?

Дѣвочка пошевелила губами, сдѣлала плачущее лицо и тихо отвѣтила:

— Атька...

Это значило: Катька.

— Онъ у васъ будетъ жить, — шепталъ въ залѣ Иванъ Иванычъ:—ежели вы будете такія добрыя, а мы вамъ будемъ по десяти рублей въ мѣсяцъ платить. Онъ у насъ мальчикъ не балованный, тихій...

— Ужъ не знаю, какъ вамъ и сказать, Иванъ Иванычъ!— плаксиво вздыхала Настасья Петровна. — Десять рублей деньги хорошія, да вѣдь чужого-то ребенка брать страшно! Вдругъ заболѣетъ, или что...

Когда Егорушку опять позвали въ залъ, Иванъ Иванычъ уже стоялъ со шляпой въ рукахъ и прощался.

— Что жъ? Значитъ, пускай теперь и остается у васъ,— говорилъ онъ. — Прощайте! Оставайся, Егоръ! — сказалъ онъ, обращаясь къ племяннику.—Не балуй тутъ, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И онъ ушелъ. Настасья Петровна еще разъ обняла Егорушку, обозвала его ангельчикомъ и, заплаканная, стала собирать на столъ. Черезъ три минуты Егорушка ужъ сидѣлъ рядомъ съ ней, отвѣчалъ на ея безконечные разспросы и ѣлъ жирныя, горячія щи.

А вечеромъ онъ сидѣлъ опять за тѣмъ же столомъ и, положивъ голову на руку, слушалъ Настасью Петровну. Она, то смѣясь, то плача, разсказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своихъ дѣтей... Въ печкѣ кричалъ сверчокъ и едва слышно гудѣла горѣлка въ лампѣ. Хозяйка говорила вполголоса и то и дѣло отъ волненія роняла наперстокъ, а Катя, ея внучка, лазала за

нимъ подъ столъ и каждый разъ долго сидѣла подъ столомъ, вѣроятно разсматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушалъ, дремалъ и разсматривалъ лицо старухи, ея бородавку съ волосками, полоски отъ слезъ... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундукѣ и предупредили, что если онъ ночью захочетъ покушать, то чтобы самъ вышелъ въ коридорчикъ и взялъ тамъ на окнѣ цыпленка, накрытаго тарелкой.

На другой день утромъ приходили прощаться Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самоваръ, но Иванъ Иванычъ, очень спѣшившій, махнулъ рукой и сказалъ:

— Некогда намъ съ чаями да съ сахарами! Мы сейчасъ уйдемъ.

Передъ прощаньемъ всѣ сѣли и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядѣла на образа.

— Ну,—началъ Иванъ Иванычъ, поднимаясь:—значитъ, ты остаешься...

Съ лица его вдругъ исчезла дѣловая сухость, онъ немножко покраснѣлъ, грустно улыбнулся и сказалъ:

— Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егоръ, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Онъ вынулъ изъ кармана кошелекъ, повернулся къ Егорушкѣ спиной, долго рылся въ мелкой монетѣ и, найдя гривенникъ, далъ его Егорушкѣ. О. Христофоръ вздохнулъ и, не спѣша, благословилъ Егорушку.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа... Учись,—сказалъ онъ.—Трудись, братъ... Ежели помру, поминай. Вотъ прими и отъ меня гривенничекъ...

Егорушка поцѣловалъ ему руку и заплакалъ. Что-то въ душѣ шепнуло ему, что ужъ онъ больше никогда не увидится съ этимъ старикомъ.

— Я, Настасья Петровна, ужъ подалъ въ гимназію прошеніе,—сказалъ Иванъ Иванычъ такимъ голосомъ, какъ будто въ залѣ былъ покойникъ.—Седьмого августа вы его на экзаменъ сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь съ Богомъ. Прощай, Егоръ!

— Да вы бы хоть чайку покушали!—простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшія глаза, Егорушка не видѣлъ, какъ вышли дядя и о. Христофоръ. Онъ бросился къ окну, но во дворѣ ихъ уже не было, и отъ воротъ съ выраженіемъ исполненнаго долга бѣжала назадъ только-что лаявшая рыжая собака. Егорушка, самъ не зная зачѣмъ, рванулся съ мѣста и полетѣлъ изъ комнатъ. Когда онъ выбѣжалъ за ворота, Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ, помахивая — первый палкой съ крючкомъ, второй посохомъ, поворачивали уже за уголъ. Егорушка почувствовалъ, что съ этими людьми для него исчезло навсегда, какъ дымъ, все то, что до сихъ поръ было пережито; онъ опустился въ изнеможеніи на лавочку и горькими слезами привѣтствовалъ новую, невѣдомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будетъ эта жизнь?

Оглавленіе

V ТОМА.

	стр.		стр.
Враги	3	Ванька	59
Кошмаръ	17	Свирѣль	63
Святою ночью	31	Перекати-поле	71
Счастье	42	Задача	86
Тифъ	52	Степь	93

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Тина.—Тайный совѣтникъ.—Письмо.—Поцѣлуй.—Пассажиръ 1-го класса.—Воры.—Парн.- -Именины.—Безъ заглавія.—Каштанка.—Почта.—Непріятность.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ТИНА.

I.

Въ большой дворъ водочнаго завода «наслѣдниковъ М. Е. Ротштейнъ», граціозно покачиваясь на сѣдлѣ, въѣхалъ молодой человѣкъ въ бѣлоснѣжномъ офицерскомъ кителѣ. Солнце беззаботно улыбалось на звѣздочкахъ поручика, на бѣлыхъ стволахъ березъ, на кучахъ битаго стекла, разбросанныхъ тамъ и сямъ по двору. На всемъ лежала свѣтлая здоровая красота лѣтняго дня и ничто не мѣшало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться съ яснымъ, голубымъ небомъ. Даже грязный, закопченый видъ кирпичныхъ сараевъ и душный запахъ сивушнаго масла не портили общаго хорошаго настроенія. Поручикъ весело спрыгнулъ съ сѣдла, передалъ лошадь подбѣжавшему человѣку и, поглаживая пальцемъ свои тонкіе, черные усики, вошелъ въ парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но свѣтлой и мягкой лѣстницы его встрѣтила горничная съ немолодымъ, нѣсколько надменнымъ лицомъ. Поручикъ молча подалъ ей карточку.

Идя въ покои съ карточкой, горничная могла прочесть: «Александръ Григорьевичъ Сокольскій». Черезъ минуту она вернулась и сказала поручику, что барышня принять его не можетъ, такъ какъ чувствуетъ себя не совсѣмъ здоровой. Сокольскій поглядѣлъ на потолокъ и вытянулъ нижнюю губу.

— Досадно! — сказалъ онъ.—Послушайте, моя милая,— живо заговорилъ онъ:—подите и скажите Сусаннѣ Моисеевнѣ, что мнѣ очень нужно поговорить съ ней. Очень! Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинитъ меня.

Горничная пожала однимъ плечомъ и лѣниво пошла къ барышнѣ.

— Хорошо! — вздохнула она, вернувшись немного погодя.—Пожалуйте!

Поручикъ прошелъ за ней пять-шесть большихъ, роскошно-убранныхъ комнатъ, коридоръ и въ концѣ-концовъ очутился въ просторной квадратной комнатѣ, гдѣ съ перваго же шага его поразило изобиліе цвѣтущихъ растеній и сладковатый, густой до отвращенія запахъ жасмина. Цвѣты шпалерами тянулись вдоль стѣнъ, заслоняя окна, свѣшивались съ потолка, вились по угламъ, такъ что комната походила больше на оранжерею, чѣмъ на жилое помѣщеніе. Синицы, канарейки и щеглята съ пискомъ возились въ зелени и бились объ оконныя стекла.

— Простите, пожалуйста, что я васъ здѣсь принимаю!— услышалъ поручикъ сочный женскій голосъ, не безъ пріятности картавящій звукъ *р*.—Вчера у меня была мигрень и, чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?

Какъ разъ противъ входа, въ большомъ стариковскомъ креслѣ, откинувши голову назадъ на подушку, сидѣла женщина въ дорогомъ китайскомъ шлафрокѣ и съ укутанной головой. Изъ-за вязаннаго шерстяного платка виденъ былъ только блѣдный, длинный носъ съ острымъ кончикомъ и маленькой горбинкой, да одинъ большой, черный глазъ. Просторный шлафрокъ скрывалъ ея ростъ и формы, но по бѣлой красивой рукѣ, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше 26—28 лѣтъ.

— Простите, что я такъ настойчивъ...—началъ поручикъ, звякая шпорами.—Честь имѣю представиться: Сокольскій! Пріѣхалъ я по порученію моего кузена, а вашего сосѣда, Алексѣя Ивановича Крюкова, который...

— Ахъ, знаю!—перебила Сусанна Моисеевна.—Я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоитъ что нибудь большое.

— Мой двоюродный братъ поручилъ мнѣ просить васъ объ одномъ одолженіи, — продолжалъ поручикъ, еще разъ звякнувъ шпорами и садясь. — Дѣло въ томъ, что вашъ покойный батюшка покупалъ зимою у брата овесъ и остался ему долженъ небольшую сумму. Срокъ векселямъ будетъ только черезъ недѣлю, но братъ убѣдительно просилъ васъ, не можете ли вы уплатить этотъ долгъ сегодня?

Поручикъ говорилъ, а самъ искоса поглядывалъ въ стороны. «Да никакъ я въ спальнѣ?»—думалъ онъ.

Въ одномъ изъ угловъ комнаты, гдѣ зелень была гуще и выше, подъ розовымъ, точно погребальнымъ балдахиномъ, стояла кровать съ измятой, еще не прибранной постелью. Тутъ же на двухъ креслахъ лежали кучи скомканнаго женскаго платья. Подолы и рукава, съ помятыми кружевами и оборками, свѣшивались на коверъ, по которому тамъ и сямъ бѣлѣли тесемки, два-три окурка, бумажки отъ карамели... Изъ-подъ кровати глядѣли тупые и острые носы длиннаго ряда всевозможныхъ туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запахъ идетъ не отъ цвѣтовъ, а отъ постели и ряда туфель.

— А на какую сумму векселя? — спросила Сусанна Моисеевна.

— На двѣ тысячи триста.

— Ого!—сказала еврейка, показывая и другой большой черный глазъ. — А вы говорите — немного! Впрочемъ, все равно, что сегодня платить, что черезъ недѣлю, но у меня въ эти два мѣсяца послѣ смерти отца было такъ много платежей... столько глупыхъ хлопотъ, что голова кружится! Прошу покорнѣйше, мнѣ за границу нужно ѣхать, а меня заставляютъ заниматься глупостями. Водка, овесъ... — забормотала она, наполовину закрывая глаза:—овесъ, векселя, проценты или, какъ говоритъ мой главный приказчикъ, «прученты»... Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизнаго. Пристаетъ ко мнѣ со своимъ Траллесомъ. Я ему и говорю: убирайтесь вы къ чорту съ вашимъ Траллесомъ, я никого не принимаю! Поцѣловалъ руку и ушелъ. Послушайте, не можетъ ли вашъ братъ подождать мѣсяца два-три?

— Жестокій вопросъ!—засмѣялся поручикъ.—Братъ можетъ и годъ ждать, но я-то не могу ждать! Вѣдь это я, надо вамъ сказать, ради себя хлопочу. Мнѣ нужны во что бы то ни стало деньги, а у брата, какъ нарочно, ни одного свободнаго рубля. Приходится поневолѣ ѣздить и собирать долги. Сейчасъ былъ у арендатора-мужика, теперь вотъ у васъ сижу, отъ васъ еще куда-нибудь поѣду и такъ, пока не соберу пяти тысячъ. Ужасно нужны деньги!

— Полноте, на что молодому человѣку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокутились, проигрались, женитесь?

— Вы угадали! — засмѣялся поручикъ и, слегка приподнявшись, звякнулъ шпорами. — Дѣйствительно, я женюсь...

Сусанна Моисеевна пристально поглядѣла на гостя, сдѣлала кислое лицо и вздохнула.

— Не понимаю, что за охота у людей жениться! — сказала она, ища вокругъ себя носовой платокъ. — Жизнь такъ коротка, такъ мало свободы, а они еще связываютъ себя.

— У всякаго свой взглядъ...

— Да, да, конечно, у всякаго свой взглядъ... Но, послушайте, развѣ вы женитесь на бѣдной? По страстной любви? И почему вамъ нужно непремѣнно пять тысячъ, а не четыре, не три?

«Какой, однако, у нея длинный языкъ!» — подумалъ поручикъ и отвѣтилъ:

— Исторія въ томъ, что по закону офицеръ не можетъ жениться раньше 28 лѣтъ. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же взноси пять тысячъ залога.

— Ага, теперь понимаю. Послушайте, вотъ вы сейчасъ сказали, что у каждаго свой взглядъ... Можетъ-быть, ваша невѣста какая-нибудь особенная, замѣчательная, но... я рѣшительно не понимаю, какъ это порядочный человѣкъ можетъ жить съ женщиной? Не понимаю, хоть убейте. Живу я уже, слава тебѣ Господи, 27 лѣтъ, но ни разу въ жизни не видѣла ни одной сносной женщины. Всѣ ломаки, безнравственныя, лгуньи... Я терплю только горничныхъ и кухарокъ, а такъ-называемыхъ порядочныхъ я къ себѣ и на пушечный выстрѣлъ не подпускаю. Да слава Богу, онѣ сами меня ненавидятъ и не лѣзутъ ко мнѣ. Коли ей нужны деньги, такъ она мужа пришлетъ, а сама ни за что не поѣдетъ, не изъ гордости, нѣтъ, а просто изъ трусости, боится, чтобъ я ей сцены не сдѣлала. Ахъ, я отлично понимаю ихъ ненависть! Еще бы! Я откровенно выставляю на видъ то, что онѣ всѣми силами стараются спрятать отъ Бога и людей. Какъ же послѣ этого не ненавидѣть? Навѣрное, вамъ про меня ужъ съ три короба наговорили...

— Я такъ недавно сюда пріѣхалъ, что...

— Но, но, но... по глазамъ вижу! А развѣ жена вашего брата не снабдила васъ напутствіемъ? Отпускать молодого человѣка къ такой ужасной женщинѣ и не предостеречь —

какъ можно? Ха-ха... Но что, какъ вашъ братъ? Онъ у васъ молодецъ, такой красивый мужчина... Я его нѣсколько разъ въ обѣднѣ видѣла. Что вы на меня такъ глядите? Я очень часто бываю въ церкви! У всѣхъ одинъ Богъ. Для образованнаго человѣка не такъ важна внѣшность, какъ идея... Не правда ли?

— Да, конечно...—улыбнулся поручикъ.

— Да, идея... А вы совсѣмъ не похожи на вашего брата. Вы тоже красивы, но вашъ братъ гораздо красивѣе. Удивительно, какъ мало сходства!

— Немудрено: вѣдь мы не родные, а двоюродные.

— Да, правда. Такъ вамъ непремѣнно сегодня нужны деньги? Почему сегодня?

— На-дняхъ кончается срокъ моего отпуска.

— Ну, что жъ съ вами дѣлать! — вздохнула Сусанна Моисеевна. — Такъ и быть ужъ, дамъ вамъ денегъ, хотя и знаю, что будете бранить меня. Поссоритесь послѣ свадьбы съ женой и скажете: «Если бъ та пархатая жидовка не дала мнѣ денегъ, такъ я, можетъ-быть, былъ бы теперь свободенъ, какъ птица!» Ваша невѣста хороша собой?

— Да, ничего...

— Гм!.. Все-таки лучше хоть что-нибудь, хоть красота, чѣмъ ничего. Впрочемъ, никакой красотой женщина не можетъ заплатить мужу за свою пустоту.

— Это оригинально!—засмѣялся поручикъ. — Вы сами женщина, а такая женофобка!

— Женщина... — усмѣхнулась Сусанна. — Развѣ я виновата, что Богъ послалъ мнѣ такую оболочку? Въ этомъ я такъ же виновата, какъ вы въ томъ, что у васъ есть усы. Не отъ скрипки зависитъ выборъ футляра. Я себя очень люблю, но когда мнѣ напоминаютъ, что я женщина, то я начинаю ненавидѣть себя. Ну, вы уйдите отсюда, я одѣнусь. Подождите меня въ гостиной.

Поручикъ вышелъ и первымъ дѣломъ глубоко вздохнулъ, чтобы отдѣлаться отъ тяжелаго жасминнаго запаха, отъ котораго у него уже начинало кружить голову и першить въ горлѣ. Онъ былъ удивленъ.

«Какая странная!—думалъ онъ, осматриваясь.—Говоритъ складно, но... ужъ черезчуръ много и откровенно. Психопатка какая-то».

Гостиная, въ которой онъ стоялъ теперь, была убрана

нимъ подъ столъ и каждый разъ долго сидѣла подъ столомъ, вѣроятно разсматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушалъ, дремалъ и разсматривалъ лицо старухи, ея бородавку съ волосками, полоски отъ слезъ... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундукѣ и предупредили, что если онъ ночью захочетъ покушать, то чтобы самъ вышелъ въ коридорчикъ и взялъ тамъ на окнѣ цыпленка, накрытаго тарелкой.

На другой день утромъ приходили прощаться Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самоваръ, но Иванъ Иванычъ, очень спѣшившій, махнулъ рукой и сказалъ:

— Некогда намъ съ чаями да съ сахарами! Мы сейчасъ уйдемъ.

Передъ прощаньемъ всѣ сѣли и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядѣла на образа.

— Ну,—началъ Иванъ Иванычъ, поднимаясь:—значитъ, ты остаешься...

Съ лица его вдругъ исчезла дѣловая сухость, онъ немножко покраснѣлъ, грустно улыбнулся и сказалъ:

— Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егоръ, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Онъ вынулъ изъ кармана кошелекъ, повернулся къ Егорушкѣ спиной, долго рылся въ мелкой монетѣ и, найдя гривенникъ, далъ его Егорушкѣ. О. Христофоръ вздохнулъ и, не спѣша, благословилъ Егорушку.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа... Учись,—сказалъ онъ.—Трудись, братъ... Ежели помру, поминай. Вотъ прими и отъ меня гривенничекъ...

Егорушка поцѣловалъ ему руку и заплакалъ. Что-то въ душѣ шепнуло ему, что ужъ онъ больше никогда не увидится съ этимъ старикомъ.

— Я, Настасья Петровна, ужъ подалъ въ гимназію прошеніе,—сказалъ Иванъ Иванычъ такимъ голосомъ, какъ будто въ залѣ былъ покойникъ.—Седьмого августа вы его на экзаменъ сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь съ Богомъ. Прощай, Егоръ!

— Да вы бы хоть чайку покушали!—простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшія глаза, Егорушка не видѣлъ, какъ вышли дядя и о. Христофоръ. Онъ бросился къ окну, но во дворѣ ихъ уже не было, и отъ воротъ съ выраженіемъ исполненнаго долга бѣжала назадъ только-что лаявшая рыжая собака. Егорушка, самъ не зная зачѣмъ, рванулся съ мѣста и полетѣлъ изъ комнатъ. Когда онъ выбѣжалъ за ворота, Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ, помахивая — первый палкой съ крючкомъ, второй посохомъ, поворачивали уже за уголъ. Егорушка почувствовалъ, что съ этими людьми для него исчезло навсегда, какъ дымъ, все то, что до сихъ поръ было пережито; онъ опустился въ изнеможеніи на лавочку и горькими слезами привѣтствовалъ новую, невѣдомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будетъ эта жизнь?

Оглавленіе

V ТОМА.

	стр.		стр.
Враги	3	Ванька	59
Кошмаръ	17	Свирѣль	63
Святою ночью	31	Перекати-поле	71
Счастье	42	Задача	86
Тифъ	52	Степь	93

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Тина.—Тайный совѣтникъ.—Письмо.—Поцѣлуй.—Пассажиръ 1-го класса.—Воры.—Парц.—Именины.—Безъ заглавія.—Каштанка.—Почта.—Непріятность.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ТИНА.

I.

Въ большой дворъ водочнаго завода «наслѣдниковъ М. Е. Ротштейнъ», граціозно покачиваясь на сѣдлѣ, въѣхалъ молодой человѣкъ въ бѣлоснѣжномъ офицерскомъ кителѣ. Солнце беззаботно улыбалось на звѣздочкахъ поручика, на бѣлыхъ стволахъ березъ, на кучахъ битаго стекла, разбросанныхъ тамъ и сямъ по двору. На всемъ лежала свѣтлая здоровая красота лѣтняго дня и ничто не мѣшало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться съ яснымъ, голубымъ небомъ. Даже грязный, закопченый видъ кирпичныхъ сараевъ и душный запахъ сивушнаго масла не портили общаго хорошаго настроенія. Поручикъ весело спрыгнулъ съ сѣдла, передалъ лошадь подбѣжавшему человѣку и, поглаживая пальцемъ свои тонкіе, черные усики, вошелъ въ парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но свѣтлой и мягкой лѣстницы его встрѣтила горничная съ немолодымъ, нѣсколько надменнымъ лицомъ. Поручикъ молча подалъ ей карточку.

Идя въ покои съ карточкой, горничная могла прочесть: «Александръ Григорьевичъ Сокольскій». Черезъ минуту она вернулась и сказала поручику, что барышня принять его не можетъ, такъ какъ чувствуетъ себя не совсѣмъ здоровой. Сокольскій поглядѣлъ на потолокъ и вытянулъ нижнюю губу.

— Досадно! — сказалъ онъ.—Послушайте, моя милая,— живо заговорилъ онъ:—подите и скажите Сусаннѣ Моисеевнѣ, что мнѣ очень нужно поговорить съ ней. Очень! Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинитъ меня.

Горничная пожала однимъ плечомъ и лѣниво пошла къ барышнѣ.

— Хорошо! — вздохнула она, вернувшись немного погодя.—Пожалуйте!

Поручикъ прошелъ за ней пять-шесть большихъ, роскошно-убранныхъ комнатъ, коридоръ и въ концѣ-концовъ очутился въ просторной квадратной комнатѣ, гдѣ съ перваго же шага его поразило изобиліе цвѣтущихъ растеній и сладковатый, густой до отвращенія запахъ жасмина. Цвѣты шпалерами тянулись вдоль стѣнъ, заслоняя окна, свѣшивались съ потолка, вились по угламъ, такъ что комната походила больше на оранжерею, чѣмъ на жилое помѣщеніе. Синицы, канарейки и щеглята съ пискомъ возились въ зелени и бились объ оконныя стекла.

— Простите, пожалуйста, что я васъ здѣсь принимаю!— услышалъ поручикъ сочный женскій голосъ, не безъ пріятности картавящій звукъ *р*.—Вчера у меня была мигрень и, чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?

Какъ разъ противъ входа, въ большомъ стариковскомъ креслѣ, откинувши голову назадъ на подушку, сидѣла женщина въ дорогомъ китайскомъ шлафрокѣ и съ укутанной головой. Изъ-за вязаннаго шерстяного платка виденъ былъ только блѣдный, длинный носъ съ острымъ кончикомъ и маленькой горбинкой, да одинъ большой, черный глазъ. Просторный шлафрокъ скрывалъ ея ростъ и формы, но по бѣлой красивой рукѣ, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше 26—28 лѣтъ.

— Простите, что я такъ настойчивъ...—началъ поручикъ, звякая шпорами.—Честь имѣю представиться: Сокольскій! Пріѣхалъ я по порученію моего кузена, а вашего сосѣда, Алексѣя Ивановича Крюкова, который...

— Ахъ, знаю!—перебила Сусанна Моисеевна.—Я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоитъ что нибудь большое.

— Мой двоюродный братъ поручилъ мнѣ просить васъ объ одномъ одолженіи, — продолжалъ поручикъ, еще разъ звякнувъ шпорами и садясь. — Дѣло въ томъ, что вашъ покойный батюшка покупалъ зимою у брата овесъ и остался ему долженъ небольшую сумму. Срокъ векселямъ будетъ только черезъ недѣлю, но братъ убѣдительно просилъ васъ, не можете ли вы уплатить этотъ долгъ сегодня?

Поручикъ говорилъ, а самъ искоса поглядывалъ въ стороны. «Да никакъ я въ спальнѣ?»—думалъ онъ.

Въ одномъ изъ угловъ комнаты, гдѣ зелень была гуще и выше, подъ розовымъ, точно погребальнымъ балдахиномъ, стояла кровать съ измятой, еще не прибранной постелью. Тутъ же на двухъ креслахъ лежали кучи скомканнаго женскаго платья. Подолы и рукава, съ помятыми кружевами и оборками, свѣшивались на коверъ, по которому тамъ и сямъ бѣлѣли тесемки, два-три окурка, бумажки отъ карамели... Изъ-подъ кровати глядѣли тупые и острые носы длиннаго ряда всевозможныхъ туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запахъ идетъ не отъ цвѣтовъ, а отъ постели и ряда туфель.

— А на какую сумму векселя? — спросила Сусанна Моисеевна.

— На двѣ тысячи триста.

— Ого!—сказала еврейка, показывая и другой большой черный глазъ. — А вы говорите — немного! Впрочемъ, все равно, что сегодня платить, что черезъ недѣлю, но у меня въ эти два мѣсяца послѣ смерти отца было такъ много платежей... столько глупыхъ хлопотъ, что голова кружится! Прошу покорнѣйше, мнѣ за границу нужно ѣхать, а меня заставляютъ заниматься глупостями. Водка, овесъ... — забормотала она, наполовину закрывая глаза:—овесъ, векселя, проценты или, какъ говоритъ мой главный приказчикъ, «пруценты»... Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизнаго. Пристаетъ ко мнѣ со своимъ Траллесомъ. Я ему и говорю: убирайтесь вы къ чорту съ вашимъ Траллесомъ, я никого не принимаю! Поцѣловалъ руку и ушелъ. Послушайте, не можетъ ли вашъ братъ подождать мѣсяца два-три?

— Жестокій вопросъ!—засмѣялся поручикъ.—Братъ можетъ и годъ ждать, но я-то не могу ждать! Вѣдь это я, надо вамъ сказать, ради себя хлопочу. Мнѣ нужны во что бы то ни стало деньги, а у брата, какъ нарочно, ни одного свободнаго рубля. Приходится поневолѣ ѣздить и собирать долги. Сейчасъ былъ у арендатора-мужика, теперь вотъ у васъ сижу, отъ васъ еще куда-нибудь поѣду и такъ, пока не соберу пяти тысячъ. Ужасно нужны деньги!

— Полноте, на что молодому человѣку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокутились, проигрались, женитесь?

— Вы угадали! — засмѣялся поручикъ и, слегка приподнявшись, звякнулъ шпорами. — Дѣйствительно, я женюсь...

Сусанна Моисеевна пристально поглядѣла на гостя, сдѣлала кислое лицо и вздохнула.

— Не понимаю, что за охота у людей жениться! — сказала она, ища вокругъ себя носовой платокъ. — Жизнь такъ коротка, такъ мало свободы, а они еще связываютъ себя.

— У всякаго свой взглядъ...

— Да, да, конечно, у всякаго свой взглядъ... Но, послушайте, развѣ вы женитесь на бѣдной? По страстной любви? И почему вамъ нужно непремѣнно пять тысячъ, а не четыре, не три?

«Какой, однако, у нея длинный языкъ!»—подумалъ поручикъ и отвѣтилъ:

— Исторія въ томъ, что по закону офицеръ не можетъ жениться раньше 28 лѣтъ. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же взноси пять тысячъ залога.

— Ага, теперь понимаю. Послушайте, вотъ вы сейчасъ сказали, что у каждаго свой взглядъ... Можетъ-быть, ваша невѣста какая-нибудь особенная, замѣчательная, но... я рѣшительно не понимаю, какъ это порядочный человѣкъ можетъ жить съ женщиной? Не понимаю, хоть убейте. Живу я уже, слава тебѣ Господи, 27 лѣтъ, но ни разу въ жизни не видѣла ни одной сносной женщины. Всѣ ломаки, безнравственныя, лгуньи... Я терплю только горничныхъ и кухарокъ, а такъ-называемыхъ порядочныхъ я къ себѣ и на пушечный выстрѣлъ не подпускаю. Да слава Богу, онѣ сами меня ненавидятъ и не лѣзутъ ко мнѣ. Коли ей нужны деньги, такъ она мужа пришлетъ, а сама ни за что не поѣдетъ, не изъ гордости, нѣтъ, а просто изъ трусости, боится, чтобъ я ей сцены не сдѣлала. Ахъ, я отлично понимаю ихъ ненависть! Еще бы! Я откровенно выставляю на видъ то, что онѣ всѣми силами стараются спрятать отъ Бога и людей. Какъ же послѣ этого не ненавидѣть? Навѣрное, вамъ про меня ужъ съ три короба наговорили...

— Я такъ недавно сюда пріѣхалъ, что...

— Но, но, но... по глазамъ вижу! А развѣ жена вашего брата не снабдила васъ напутствіемъ? Отпускать молодого человѣка къ такой ужасной женщинѣ и не предостеречь—

какъ можно? Ха-ха... Но что, какъ вашъ братъ? Онъ у васъ молодецъ, такой красивый мужчина... Я его нѣсколько разъ въ обѣднѣ видѣла. Что вы на меня такъ глядите? Я очень часто бываю въ церкви! У всѣхъ одинъ Богъ. Для образованнаго человѣка не такъ важна внѣшность, какъ идея... Не правда ли?

— Да, конечно...—улыбнулся поручикъ.

— Да, идея... А вы совсѣмъ не похожи на вашего брата. Вы тоже красивы, но вашъ братъ гораздо красивѣе. Удивительно, какъ мало сходства!

— Немудрено: вѣдь мы не родные, а двоюродные.

— Да, правда. Такъ вамъ непремѣнно сегодня нужны деньги? Почему сегодня?

— На-дняхъ кончается срокъ моего отпуска.

— Ну, что жъ съ вами дѣлать! — вздохнула Сусанна Моисеевна. — Такъ и быть ужъ, дамъ вамъ денегъ, хотя и знаю, что будете бранить меня. Поссоритесь послѣ свадьбы съ женой и скажете: «Если бъ та пархатая жидовка не дала мнѣ денегъ, такъ я, можетъ-быть, былъ бы теперь свободенъ, какъ птица!» Ваша невѣста хороша собой?

— Да, ничего...

— Гм!.. Все-таки лучше хоть что-нибудь, хоть красота, чѣмъ ничего. Впрочемъ, никакой красотой женщина не можетъ заплатить мужу за свою пустоту.

— Это оригинально!—засмѣялся поручикъ. — Вы сами женщина, а такая женофобка!

— Женщина... — усмѣхнулась Сусанна. — Развѣ я виновата, что Богъ послалъ мнѣ такую оболочку? Въ этомъ я такъ же виновата, какъ вы въ томъ, что у васъ есть усы. Не отъ скрипки зависитъ выборъ футляра. Я себя очень люблю, но когда мнѣ напоминаютъ, что я женщина, то я начинаю ненавидѣть себя. Ну, вы уйдите отсюда, я одѣнусь. Подождите меня въ гостиной.

Поручикъ вышелъ и первымъ дѣломъ глубоко вздохнулъ, чтобы отдѣлаться отъ тяжелаго жасминнаго запаха, отъ котораго у него уже начинало кружить голову и першить въ горлѣ. Онъ былъ удивленъ.

«Какая странная!—думалъ онъ, осматриваясь.—Говоритъ складно, но... ужъ черезчуръ много и откровенно. Психопатка какая-то».

Гостиная, въ которой онъ стоялъ теперь, была убрана

богато, съ претензіей на роскошь и моду. Тутъ были тяжелыя бронзовыя блюда съ рельефами, виды Ниццы и Рейна на столахъ, старинныя бра, японскія статуетки, но всѣ эти поползновенія на роскошь и моду только оттѣняли ту безвкусицу, о которой неумолимо кричали золоченые карнизы, цвѣтистые обои, яркія бархатныя скатерти, плохія олеографіи въ тяжелыхъ рамахъ. Безвкусицу дополняли незаконченность и лишняя тѣснота, когда кажется, что чего-то недостаетъ и что многое слѣдовало бы выбросить. Замѣтно было, что вся обстановка заводилась не сразу, а частями, путемъ выгодныхъ случаевъ, распродажъ.

Поручикъ самъ обладалъ не Богъ вѣсть какимъ вкусомъ, но и онъ замѣтилъ, что вся обстановка носитъ на себѣ одну характерную особенность, какую нельзя стереть ни роскошью, ни модой, а именно—полное отсутствіе слѣдовъ женскихъ, хозяйскихъ рукъ, придающихъ, какъ извѣстно, убранству комнатъ оттѣнокъ теплоты, поэзіи и уютности. Здѣсь вѣяло холодомъ, какъ въ вокзальныхъ комнатахъ, клубахъ и театральныхъ фойэ.

Собственно еврейскаго въ комнатѣ не было почти ничего, кромѣ развѣ одной только большой картины, изображавшей встрѣчу Іакова съ Исавомъ. Поручикъ оглядывался кругомъ и, пожимая плечами, думалъ о своей новой, странной знакомкѣ, о ея развязности и манерѣ говорить. Но вотъ раскрылась дверь и на порогѣ появилась она сама, стройная, въ длинномъ черномъ платьѣ, съ сильно затянутой, точно выточенной таліей. Теперь ужъ поручикъ видѣлъ не только носъ и глаза, но и бѣлое, худощавое лицо, черную кудрявую, какъ барашекъ, голову. Она не понравилась ему, хотя и не показалась некрасивой. Вообще къ нерусскимъ лицамъ онъ питалъ предубѣжденіе, а тутъ къ тому же нашелъ, что къ чернымъ кудряшкамъ и густымъ бровямъ хозяйки очень не шло бѣлое лицо, своею бѣлизною напоминавшее ему почему-то приторный жасминный запахъ, что уши и носъ были поразительно блѣдны, какъ мертвые или вылитые изъ прозрачнаго воска. Улыбнувшись, она вмѣстѣ съ зубами показала блѣдныя десны, что тоже ему не понравилось.

«Блѣдная немочь... — подумалъ онъ.—Вѣроятно, нервна, какъ индюшка».

— А вотъ и я! Пойдемте!—сказала она, идя быстро впе-

реди его и обрывая на пути съ цвѣтовъ желтые листки.— Сейчасъ я дамъ вамъ деньги и, если хотите, покормлю завтракомъ. Двѣ тысячи триста рублей! Послѣ такого хорошаго гешефта вы съ аппетитомъ покушаете. Нравятся вамъ мои комнаты? Здѣшнія барыни говорятъ, что у меня пахнетъ чеснокомъ. Этой кухонной остротой исчерпывается все ихъ остроуміе. Спѣшу васъ увѣрить, что чесноку я даже въ погребѣ не держу, и когда однажды ко мнѣ пріѣхалъ съ визитомъ докторъ, отъ котораго пахло чеснокомъ, то я попросила его взять свою шляпу и ѣхать благоухать куда-нибудь въ другое мѣсто. Пахнетъ у меня не чеснокомъ, а лѣкарствами. Отецъ лежалъ въ параличѣ полтора года и весь домъ продушилъ лѣкарствами. Полтора года! Мнѣ жаль его, но я рада, что онъ умеръ: такъ онъ страдалъ!

Она провела офицера черезъ двѣ комнаты, похожія на гостиную, черезъ залу и остановилась въ своемъ кабинетѣ, гдѣ стоялъ женскій письменный столикъ, весь уставленный бездѣлушками. Около него, на коврѣ, валялось нѣсколько раскрытыхъ загнутыхъ книгъ. Изъ кабинета вела небольшая дверь, въ которую виденъ былъ столъ, накрытый для завтрака.

Не переставая болтать, Сусанна достала изъ кармана связку мелкихъ ключей и отперла какой-то мудреный шкапъ съ гнутой, покатой крышкой. Когда крышка поднялась, шкапъ прогудѣлъ жалобную мелодію, напоминавшую поручику Эолову арфу. Сусанна выбрала еще одинъ ключъ и вторично щелкнула.

— У меня здѣсь подземные ходы и потайныя двери,— сказала она, доставая небольшой сафьяновый портфель.— Смѣшной шкапъ, не правда ли? А въ этомъ портфелѣ четверть моего состоянія. Посмотрите какой онъ пузатенькій! Вѣдь вы меня не придушите?

Сусанна подняла на поручика глаза и добродушно засмѣялась. Поручикъ тоже засмѣялся.

«А она славная!»—подумалъ онъ, глядя, какъ ключи бѣгаютъ между ея пальцами.

— Вотъ онъ! — сказала она, выбравъ ключикъ отъ портфеля.—Ну-съ, г. кредиторъ, пожалуйте на сцену векселя. Въ сущности, какая глупость вообще деньги! Какое ничтожество, а вѣдь какъ любятъ ихъ женщины! Знаете,

я еврейка до мозга костей, безъ памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мнѣ противно въ нашей семитической крови, такъ это страсть къ наживѣ. Копятъ и сами не знаютъ, для чего копятъ. Нужно жить и наслаждаться, а они боятся потратить лишнюю копейку. Въ этомъ отношеніи я больше похожа на гусара, чѣмъ на Шмуля. Не люблю, когда деньги долго лежатъ на одномъ мѣстѣ. Да и вообще, кажется, я мало похожа на еврейку. Сильно выдаетъ меня мой акцентъ, а?

— Какъ вамъ сказать?—замялся поручикъ. — Вы говорите чисто, но картавите.

Сусанна засмѣялась и сунула ключикъ въ замочекъ портфеля. Поручикъ досталъ изъ кармана пачечку векселей и положилъ ее вмѣстѣ съ записной книжкой на столъ.

— Ничто такъ не выдаетъ еврея, какъ акцентъ,—продолжала Сусанна, весело глядя на поручика. — Какъ бы онъ ни корчилъ изъ себя русскаго или француза, но попросите его сказать слово пухъ, и онъ скажетъ вамъ: пэхxx... А я выговариваю правильно: пухъ! пухъ! пухъ!

Оба засмѣялись.

«Ей-Богу, она славная!»—подумалъ Сокольскій.

Сусанна положила портфель на стулъ, сдѣлала шагъ къ поручику и, приблизивъ свое лицо къ его лицу, весело продолжала:

— Послѣ евреевъ никого я такъ не люблю, какъ русскихъ и французовъ. Я плохо училась въ гимназіи и исторіи не знаю, но мнѣ кажется, что судьба земли находится въ рукахъ у этихъ двухъ народовъ. Я долго жила за границей... даже въ Мадридѣ прожила полгода... наглядѣлась на публику и вынесла такое убѣжденіе, что, кромѣ русскихъ и французовъ, нѣтъ ни одного порядочнаго народа. Возьмите вы языки... Нѣмецкій языкъ лошадиный, англійскій—глупѣе ничего нельзя себѣ представить: файть-фійть-фюйть! Итальянскій пріятенъ только, когда говоришь на немъ медленно, если же послушать итальянскихъ чечотокъ, то получается тотъ же еврейскій жаргонъ. А поляки? Боже мой, Господи! Нѣтъ противнѣе языка! «Не пепши, Петше, пепшемъ вепша, бо можешь пшепепшитсь вепша пепшемъ». Это значитъ: не перчи, Петръ, перцемъ поросенка, а то можешь переперчить поросенка перцемъ. Ха-ха-ха!

Сусанна Моисеевна закатила глаза и засмѣялась такимъ

хорошимъ, заразительнымъ смѣхомъ, что поручикъ, глядя на нее, весело и громко расхохотался. Она взяла гостя за пуговицу и продолжала:

— Вы, конечно, не любите евреевъ... Я не спорю, недостатковъ много, какъ и у всякой націи. Но развѣ евреи виноваты? Нѣтъ, не евреи виноваты, а еврейскія женщины! Онѣ недалеки, жадны, безъ всякой поэзіи, скучны... Вы никогда не жили съ еврейкой и не знаете, что это за прелесть!

Послѣднія слова проговорила Сусанна Моисеевна протяжно, уже безъ воодушевленія и смѣха. Она умолкла, точно испугалась своей откровенности, и лицо ея вдругъ исказилось страннымъ и непонятнымъ образомъ. Глаза, не мигая, уставились на поручика, губы открылись и обнаружили стиснутые зубы. На всемъ лицѣ, на шеѣ и даже на груди задрожало злое, кошачье выраженіе. Не отрывая глазъ отъ гостя, она быстро перегнула свой станъ въ сторону и порывисто, какъ кошка, схватила что-то со стола. Все это было дѣломъ нѣсколькихъ секундъ. Слѣдя за ея движеніями, поручикъ видѣлъ, какъ пять пальцевъ скомкали его векселя, какъ бѣлая шелестящая бумага мелькнула передъ его глазами и исчезла въ ея кулакѣ. Такой рѣзкій, необычайный поворотъ отъ добродушнаго смѣха къ преступленію такъ поразилъ его, что онъ поблѣднѣлъ и сдѣлалъ шагъ назадъ...

А она, не сводя съ него испуганныхъ, пытливыхъ глазъ, водила сжатымъ кулакомъ себя по бедру и искала кармана. Кулакъ судорожно, какъ пойманная рыба, бился около кармана и никакъ не попадалъ въ щель. Еще мгновеніе, и векселя исчезли бы въ тайникахъ женскаго платья, но тутъ поручикъ слегка вскрикнулъ и, побуждаемый больше инстинктомъ, чѣмъ разумомъ, схватилъ еврейку за руку около сжатаго кулака. Та, еще больше оскаливъ зубы, рванулась изо-всѣхъ силъ и вырвала руку. Тогда Сокольскій одной рукой плотно обхватилъ ея талію, другой—грудь, и у нихъ началась борьба. Боясь оскорбить женственность и причинить боль, онъ старался только не давать ей двигаться и уловить кулакъ съ векселями, а она, какъ угорь, извивалась въ его рукахъ своимъ гибкимъ, упругимъ тѣломъ, рвалась, била его въ грудь локтями, царапалась, такъ что руки его ходили по всему ея тѣлу и онъ поневолѣ причинялъ ей боль и оскорблялъ ея стыдливость.

«[illegible] необыкновенно! Какъ странно!»—думалъ онъ, [illegible] съ удивленія, не вѣря себѣ и чувствуя [illegible] существомъ, какъ его мутитъ отъ запаха [illegible].

[illegible], тяжело дыша, натыкаясь на мебель, они перехо[illegible] отъ мѣста на мѣсто. Сусанну увлекла борьба. Она рас[illegible] закрыла глаза и разъ даже, не помня себя, [illegible] прижалась своимъ лицомъ къ лицу поручика, такъ что на губахъ его остался сладковатый вкусъ. Наконецъ, [illegible] кулакъ... Разжавъ его, и не найдя въ немъ [illegible], онъ оставилъ еврейку. Красные, со встрепанными прическами, тяжело дыша, глядѣли они другъ на друга. [illegible] выраженіе на лицѣ еврейки мало-по-малу [illegible] добродушной улыбкой. Она расхохоталась и, по[illegible] на одной ногѣ, направилась въ комнату, гдѣ [illegible] приготовленъ завтракъ. Поручикъ поплелся за ней. [illegible] за столъ и, все еще красная, тяжело дыша, вы[illegible] [illegible] портвейна.

— Послушайте,—прервалъ молчаніе поручикъ:—вы, на[illegible], шутите?

— Нисколько,—отвѣтила она, запихивая въ ротъ кусо[illegible].

— Гм... Какъ же прикажете понять все это?

— Какъ угодно. Садитесь завтракать!

— Но... вѣдь это нечестно!

— Можетъ быть. Впрочемъ, не трудитесь читать мнѣ [illegible]. У меня свой собственный взглядъ на вещи.

— Вы не отдадите?

— Конечно, нѣтъ! Будь вы бѣдный, несчастный чело[illegible], которому ѣсть нечего, ну, тогда другое дѣло, а то— [illegible] захотѣлъ!

— Но вѣдь это не мои деньги, а брата!

— А брату вашему на что деньги? Женѣ на моды? А мнѣ рѣшительно все равно, есть ли у вашей belle-soeur [illegible], или нѣтъ.

Поручикъ уже не помнилъ, что онъ въ чужомъ домѣ, у [illegible] дамы, и не стѣснялъ себя приличіемъ. Онъ ша[illegible] по комнатѣ, хмурился и нервно теребилъ жилетку. От[illegible], что еврейка своимъ безчестнымъ поступкомъ уронила [illegible] въ его глазахъ, онъ чувствовалъ себя смѣлѣе и раз[illegible].

— Чортъ знаетъ что!—бормоталъ онъ.—Послушайте, я не уйду отсюда, пока не получу отъ васъ векселей!

— Ахъ, тѣмъ лучше! — смѣялась Сусанна. — Хоть жить здѣсь оставайтесь, мнѣ же будетъ веселѣе.

Возбужденный борьбою, поручикъ глядѣлъ на смѣющееся, наглое лицо Сусанны, на жующій ротъ, тяжело дышащую грудь и становился смѣлѣе и дерзче. Вмѣсто того, чтобы думать о векселяхъ, онъ почему-то съ какою-то жадностью сталъ припоминать разсказы своего брата о романическихъ похожденіяхъ еврейки, о ея свободномъ образѣ жизни, и эти воспоминанія только подзадорили его дерзость. Онъ порывисто сѣлъ рядомъ съ еврейкой и, не думая о векселяхъ, сталъ ѣсть...

— Вамъ водки, или вина?—спрашивала со смѣхомъ Сусанна. — Такъ вы останетесь ждать векселя? Бѣдняжка, столько дней и ночей придется вамъ провести у меня въ ожиданіи векселей! Ваша невѣста не будетъ въ претензіи?

II.

Прошло пять часовъ. Братъ поручика, Алексѣй Ивановичъ Крюковъ, облеченный въ халатъ и туфли, ходилъ у себя въ усадьбѣ по комнатамъ и нетерпѣливо посматривалъ въ окна. Это былъ высокій, плотный мужчина съ большой черной бородой, съ мужественнымъ лицомъ и, какъ сказала правду еврейка, красивый собой, хотя уже и перевалилъ въ тотъ возрастъ, когда мужчины излишне толстѣютъ, брюзгнутъ и плѣшивѣютъ. По духу и разуму принадлежалъ онъ къ числу натуръ, которыми такъ богата наша интеллигенція: сердечный и добродушный, воспитанный, не чуждый наукъ, искусствъ, вѣры, самыхъ рыцарскихъ понятій о чести, но не глубокій и лѣнивый. Онъ любилъ хорошо поѣсть и выпить, идеально игралъ въ винтъ, зналъ вкусъ въ женщинахъ и лошадяхъ, въ остальномъ же прочемъ былъ тугъ и неподвиженъ, какъ тюлень, и чтобы вызвать его изъ состоянія покоя, требовалось что-нибудь необыкновенное, слишкомъ возмутительное, и тогда ужъ онъ забывалъ все на свѣтѣ и проявлялъ крайнюю подвижность: вопилъ о дуэли, писалъ на семи листахъ прошеніе министру, сломя голову скакалъ по уѣзду, пускалъ публично «подлеца», судился и т. п.

— Что же это нашего Саши до сихъ поръ нѣтъ?— спрашивалъ онъ жену, заглядывая въ окна.—Вѣдь обѣдать пора!

Подождавъ поручика до шести часовъ, Крюковы сѣли обѣдать. Вечеромъ, когда уже была пора ужинать, Алексѣй Ивановичъ прислушивался къ шагамъ, къ стуку дверей и пожималъ плечами.

— Странно! — говорилъ онъ. — Должно-быть, канальскій фендрикъ у арендатора застрялъ.

Ложась послѣ ужина спать, Крюковъ такъ и рѣшилъ, что поручикъ загостился у арендатора, гдѣ послѣ хорошей попойки остался ночевать.

Александръ Григорьевичъ вернулся домой только на другой день утромъ. Видъ у него былъ крайне сконфуженный и помятый.

— Мнѣ нужно поговорить съ тобой наединѣ...—сказалъ онъ таинственно брату.

Пошли въ кабинетъ. Поручикъ заперъ дверь и, прежде чѣмъ начать говорить, долго шагалъ изъ угла въ уголъ.

— Такое, братецъ, случилось, — началъ онъ:—что я не знаю, какъ и сказать тебѣ. Не повѣришь ты...

И онъ, заикаясь, краснѣя и не глядя на брата, разсказалъ исторію съ векселями. Крюковъ, разставя ноги и опустивъ голову, слушалъ и хмурился.

— Ты это шутишь?—спросилъ онъ.

— Кой чортъ шучу? Какія тутъ шутки!

— Не понимаю! — пробормоталъ Крюковъ, багровѣя и разводя руками.—Это даже... безнравственно съ твоей стороны. Бабенка на твоихъ глазахъ творитъ чортъ знаетъ что, уголовщину, дѣлаетъ подлость, а ты лѣзешь цѣловаться!

— Но я самъ не понимаю, какъ это случилось!—зашепталъ поручикъ, виновато мигая глазами.—Честное слово, не понимаю! Первый разъ въ жизни наскочилъ на такое чудовище! Не красотой беретъ, не умомъ, а этой, понимаешь, наглостью, цинизмомъ...

— Наглостью, цинизмомъ... Какъ это чистоплотно! Ужъ если такъ тебѣ захотѣлось наглости и цинизма, то взялъ бы свинью изъ грязи и съѣлъ бы ее живьемъ! По крайней мѣрѣ дешевле, а то—двѣ тысячи триста!

— Какъ ты изящно выражаешься! — поморщился поручикъ.—Я тебѣ отдамъ эти двѣ тысячи триста!

— Знаю, что отдашь, но развѣ въ деньгахъ дѣло? Ну ихъ къ чорту, эти деньги! Меня возмущаетъ твоя тряпичность, дряблость... малодушество поганое! Женихъ! Имѣетъ невѣсту!

— Но не напоминай...—покраснѣлъ поручикъ.—Мнѣ теперь самому противно. Сквозь землю готовъ провалиться... Противно и досадно, что за пятью тысячами придется теперь къ теткѣ лѣзть...

Крюковъ долго еще возмущался и ворчалъ, потомъ, успокоившись, сѣлъ на софу и сталъ посмѣиваться надъ братомъ.

— Поручики! —говорилъ онъ съ презрительной ироніей въ голосѣ.—Женихи!

Вдругъ онъ вскочилъ, какъ ужаленный, топнулъ ногой и забѣгалъ по кабинету.

— Нѣтъ, я этого такъ не оставлю! — заговорилъ онъ, потрясая кулакомъ. — Векселя будутъ у меня! Будутъ! Я упеку ее! Женщинъ не бьютъ, но ее я изувѣчу... мокраго мѣста не останется! Я не поручикъ! Меня не тронешь наглостью и цинизмомъ! Нѣ-ѣтъ, чортъ ее подери! Мишка,— закричалъ онъ: — бѣги, скажи, чтобъ мнѣ бѣговыя дрожки заложили!

Крюковъ быстро одѣлся и, не слушая встревоженнаго поручика, сѣлъ на бѣговыя дрожки, рѣшительно махнулъ рукой и покатилъ къ Сусаннѣ Моисеевнѣ. Поручикъ долго глядѣлъ въ окно на облако пыли, бѣжавшее за его дрожками, потянулся, зѣвнулъ и пошелъ къ себѣ въ комнату. Черезъ четверть часа онъ спалъ крѣпкимъ сномъ.

Въ шестомъ часу его разбудили и позвали къ обѣду.

— Какъ это мило со стороны Алексѣя! —встрѣтила его въ столовой невѣстка.—Заставляетъ ждать себя обѣдать!

— А развѣ онъ еще не пріѣхалъ?—зѣвнулъ поручикъ.— Гм... вѣроятно къ арендатору заѣхалъ.

Но и къ ужину не вернулся Алексѣй Ивановичъ. Его жена и Сокольскій порѣшили, что онъ заигрался въ карты у арендатора и, по всей вѣроятности, останется у него ночевать. Случилось же совсѣмъ не то, что они предполагали.

Крюковъ вернулся на другой день утромъ и, ни съ кѣмъ не здороваясь, молча юркнулъ къ себѣ въ кабинетъ.

— Ну, что?—зашепталъ поручикъ, глядя на него большими глазами.

Крюковъ махнулъ рукой и фыркнулъ.

— Да что такое? Что ты смѣешься?

Крюковъ повалился на диванъ, уткнулъ голову въ подушку и затрясся отъ сдерживаемаго хохота. Черезъ минуту онъ поднялся и, глядя на удивленнаго поручика плачущими отъ смѣха глазами, заговорилъ:

— Прикрой-ка дверь. Ну, да и ба-а-ба же, я тебѣ доложу!

— Получилъ векселя?

Крюковъ махнулъ рукой и опять захохоталъ.

— Ну, да и баба!—продолжалъ онъ. — Мерси, братецъ, за знакомство! Это чортъ въ юбкѣ. Пріѣзжаю я къ ней, вхожу, знаешь, такимъ Юпитеромъ, что самому себя страшно... нахмурился, насупился, даже кулаки сжалъ для пущей важности... «Сударыня, говорю, со мной шутки плохи!» — и прочее въ такомъ родѣ. И судомъ грозилъ, и губернаторомъ... Она сначала заплакала, сказала, что пошутила съ тобой, и даже повела меня къ шкапу, чтобы отдать деньги, потомъ стала доказывать, что будущность Европы въ рукахъ русскихъ и французовъ, обругала женщинъ... Я по-твоему развѣсилъ уши, оселъ я этакій... Спѣла она панегирикъ моей красотѣ, потрепала меня за руку около плеча, чтобы посмотрѣть, какой я сильный и... какъ видишь, сейчасъ только отъ нея убрался... Ха-ха... Отъ тебя она въ восторгѣ!

— Хорошъ мальчикъ!—засмѣялся поручикъ.—Женатый, почтенный... Что, стыдно? Противно? Однако, братъ, не шутя говоря, у васъ въ уѣздѣ своя царица Тамара завелась...

— Кой чортъ въ уѣздѣ? Другого такого хамелеона во всей Россіи не сыщешь! Отродясь ничего подобнаго не видывалъ, а ужъ я ли не знатокъ по этой части? Кажется, съ вѣдьмами жилъ, а ничего подобнаго не видывалъ. Именно наглостью и цинизмомъ беретъ. Что въ ней завлекательно, такъ это рѣзкіе переходы, переливы красокъ, эта порывистость анаѳемская... Бррр! А векселя—фюйть! Пиши—пропало. Оба мы съ тобой великіе грѣшники, грѣхъ пополамъ. Считаю за тобою не 2.300, а половину. Чуръ, женѣ говорить, что у арендатора былъ.

Крюковъ и поручикъ уткнули головы въ подушки и принялись хохотать. Поднимутъ головы, взглянутъ другъ на друга и опять упадутъ на подушки.

— Женихи! — дразнилъ Крюковъ. — Поручики!

— Женатые! — отвѣчалъ Сокольскій. — Почтенные! Отцы семействъ.

За обѣдомъ они говорили намеками, перемигивались и то и дѣло, къ удивленію домочадцевъ, прыскали въ салфетки. Послѣ обѣда, все еще находясь въ отмѣнномъ настроеніи, они нарядились турками и, гоняясь съ ружьями другъ за другомъ, представляли дѣтямъ войну. Вечеромъ они долго спорили. Поручикъ доказывалъ, что низко и подло брать за женой приданое, даже въ случаѣ страстной любви съ обѣихъ сторонъ; Крюковъ же стучалъ кулаками по столу и говорилъ, что это абсурдъ, что мужъ, не желающій, чтобы жена имѣла собственность, эгоистъ и деспотъ. Оба кричали, кипятились, не понимали другъ друга, порядкомъ выпили и въ концѣ концовъ, подобравъ полы своихъ халатовъ, разошлись по спальнямъ. Уснули они скоро и спали крѣпко.

Жизнь потекла попрежнему—ровная, лѣнивая и безпечальная. Тѣни ложились на землю, въ облакахъ гремѣлъ громъ, изрѣдка жалобно стоналъ вѣтеръ, какъ бы желая показать, что и природа можетъ плакать, но ничто не тревожило привычнаго покоя этихъ людей. О Сусаннѣ Моисеевнѣ и о векселяхъ они не говорили. Обоимъ было какъ-то совѣстно говорить вслухъ объ этой исторіи. Зато вспоминали они и думали о ней съ удовольствіемъ, какъ о курьезномъ фарсѣ, который неожиданно и случайно разыграла съ ними жизнь и о которомъ пріятно будетъ вспомнить подъ старость...

На шестой или седьмой день послѣ свиданія съ еврейкой, утромъ Крюковъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и писалъ поздравительное письмо къ теткѣ. Около стола молча прохаживался Александръ Григорьевичъ. Поручикъ плохо спалъ ночь, проснулся не въ духѣ и теперь скучалъ. Онъ ходилъ и думалъ о срокѣ своего отпуска, объ ожидавшей его невѣстѣ, о томъ, какъ это не скучно людямъ весь вѣкъ жить въ деревнѣ. Остановившись у окна, онъ долго глядѣлъ на деревья, выкурилъ подъ рядъ три папиросы и вдругъ повернулся къ брату.

— У меня, Алеша, къ тебѣ просьба, — сказалъ онъ. — Одолжи мнѣ на сегодня верховую лошадь...

Крюковъ пытливо поглядѣлъ на него и, нахмурившись, продолжалъ писать.

— Такъ дашь? — спросилъ поручикъ.

Крюковъ опять поглядѣлъ на него, потомъ медленно выдвинулъ изъ стола ящикъ и, доставъ оттуда толстую пачку, подалъ ее брату.

— Вотъ тебѣ пять тысячъ... — сказалъ онъ. — Хоть и не мои онѣ, но Богъ съ тобой, все равно. Совѣтую тебѣ, посылай сейчасъ за почтовыми и уѣзжай. Право!

Поручикъ въ свою очередь пытливо поглядѣлъ на Крюкова и вдругъ засмѣялся.

— А вѣдь ты угадалъ, Алеша, — сказалъ онъ, краснѣя. — Я вѣдь именно къ ней хотѣлъ ѣхать. Какъ подала мнѣ вчера вечеромъ прачка этотъ проклятый китель, въ которомъ я былъ тогда, и какъ запахло жасминомъ, то... такъ меня и потянуло!

— Уѣхать надо.

— Да, дѣйствительно. Кстати ужъ и отпускъ кончился. Правда, поѣду сегодня! Ей-Богу! Сколько ни живи, а все уѣхать придется... Ѣду!

Въ тотъ же день передъ обѣдомъ были поданы почтовыя; поручикъ простился съ Крюковымъ и, сопровождаемый благими пожеланіями, уѣхалъ.

Прошла еще недѣля. Былъ пасмурный, но жаркій и душный день. Съ самаго ранняго утра Крюковъ безцѣльно бродилъ по комнатамъ, засматривалъ въ окна, или же перелистывалъ давно уже надоѣвшіе альбомы. Когда ему попадались на глаза жена или дѣти, онъ начиналъ сердито ворчать. Въ этотъ день ему почему-то казалось, что дѣти ведутъ себя отвратительно, жена плохо глядитъ за прислугой, что расходы ведутся несообразно съ доходами. Все это значило, что «господа» не въ духѣ.

Послѣ обѣда Крюковъ, недовольный супомъ и жаркимъ, велѣлъ заложить бѣговыя дрожки. Медленно выѣхалъ онъ со двора, проѣхалъ шагомъ четверть версты и остановился.

«Нешто къ той... къ тому чорту съѣздить?» — подумалъ онъ, глядя на пасмурное небо.

И Крюковъ даже засмѣялся, точно впервые за весь день задалъ себѣ этотъ вопросъ. Тотчасъ же отъ сердца его отлегла скука и въ лѣнивыхъ глазахъ заблестѣло удовольствіе. Онъ ударилъ по лошади...

Всю дорогу воображеніе его рисовало, какъ еврейка уди-

вится его пріѣзду, какъ онъ посмѣется, поболтаетъ и вернется домой освѣженный...

«Разъ въ мѣсяцъ надо освѣжать себя чѣмъ-нибудь... необыденнымъ, — думалъ онъ: — чѣмъ-нибудь такимъ, что производило бы въ застоявшемся организмѣ хорошую встрепку... реакцію... Будь то хоть выпивка, хоть... Сусанна. Нельзя безъ этого».

Уже темнѣло, когда онъ въѣхалъ во дворъ водочнаго завода. Изъ открытыхъ оконъ хозяйскаго дома слышались смѣхъ и пѣніе:

Ярррче молніи, жарррче пламени...

пѣлъ чей-то сильный, густой басъ.

«Эге, у нея гости!» — подумалъ Крюковъ.

И ему стало непріятно, что у нея гости. «Не вернуться ли?»—думалъ онъ, берясь за звонокъ, но все-таки позвонилъ и пошелъ вверхъ по знакомой лѣстницѣ. Изъ передней онъ заглянулъ въ залу. Тамъ было человѣкъ пять мужчинъ — все знакомые помѣщики и чиновники. Одинъ, высокій и тощій, сидѣлъ за роялью, стучалъ длинными пальцами по клавишамъ и пѣлъ. Остальные слушали и скалили отъ удовольствія зубы. Крюковъ оглядѣлся передъ зеркаломъ и хотѣлъ уже войти въ залу, какъ въ переднюю впорхнула сама Сусанна Моисеевна, веселая, въ томъ же черномъ платьѣ... Увидѣвъ Крюкова, она на мгновеніе окаменѣла, потомъ вскрикнула и просіяла отъ радости.

— Это вы? — сказала она, хватая его за руку. — Какой сюрпризъ!

— А, вотъ она! — улыбнулся Крюковъ, беря ее за талію. — Такъ какъ? Судьба Европы находится въ рукахъ русскихъ и французовъ?

— Я такъ рада! — засмѣялась еврейка, осторожно отводя его руку. — Ну, идите въ залу. Тамъ все знакомые... Я пойду скажу, чтобы вамъ чаю подали. Васъ Алексѣемъ зовутъ? Ну, ступайте, я сейчасъ...

Она сдѣлала ручкой и выбѣжала изъ передней, оставивъ послѣ себя запахъ того же приторнаго, сладковатаго жасмина. Крюковъ поднялъ голову и вошелъ въ залу. Онъ былъ пріятельски знакомъ со всѣми, кто былъ въ залѣ, но едва кивнулъ имъ головой; тѣ ему тоже едва отвѣтили, точно мѣсто, гдѣ они встрѣтились, было непристойно, или

они мысленно сговорились, что для нихъ удобнѣе не узнавать другъ друга.

Изъ залы Крюковъ прошелъ въ гостиную, отсюда въ другую гостиную. На пути попалось ему три-четыре гостя, тоже знакомыхъ, но едва узнавшихъ его. Лица ихъ были пьяны и веселы. Алексѣй Ивановичъ косился на нихъ и недоумѣвалъ, какъ это они, люди семейные, почтенные, испытанные горемъ и нуждою, могутъ унижать себя до такой жалкой, грошевой веселости! Онъ пожималъ плечами, улыбался и шелъ дальше.

«Есть мѣста, — думалъ онъ: — гдѣ трезваго тошнитъ, а у пьянаго духъ радуется. Помню, въ оперетку и къ цыганамъ я ни разу трезвымъ не ѣздилъ. Вино дѣлаетъ человѣка добрѣе и миритъ его съ порокомъ...»

Вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный, и обѣими руками ухватился за косякъ двери. Въ кабинетѣ Сусанны, за письменнымъ столомъ, сидѣлъ поручикъ Александръ Григорьевичъ. Онъ о чемъ-то тихо разговаривалъ съ толстымъ, обрюзглымъ евреемъ, а увидѣвъ брата, вспыхнулъ и опустилъ глаза въ альбомъ.

Чувство порядочности встрепенулось въ Крюковѣ, и кровь ударила ему въ голову. Не помня себя отъ удивленія, стыда и гнѣва, онъ молча прошелся около стола. Сокольскій еще ниже опустилъ голову. Лицо его перекосило выраженіемъ мучительнаго стыда.

— Ахъ, это ты, Алеша! — проговорилъ онъ, силясь поднять глаза и улыбнуться. — Я заѣхалъ сюда проститься и, какъ видишь... Но завтра я обязательно уѣзжаю!

«Ну, что я могу сказать ему? Что? — думалъ Алексѣй Ивановичъ. — Какой я для него судья, если я и самъ здѣсь?»

И ни слова не сказавъ, а только покрякавъ, онъ медленно вышелъ.

Не называй ее небесной и у земли не отнимай...

пѣлъ въ залѣ басъ. Немного погодя, бѣговыя дрожки Крюкова уже стучали по пыльной дорогѣ.

ТАЙНЫЙ СОВѢТНИКЪ.

Въ началѣ апрѣля 1870 года моя матушка Клавдія Архиповна, вдова поручика, получила изъ Петербурга, отъ своего брата Ивана, тайнаго совѣтника, письмо, въ которомъ между прочимъ, было написано: «Болѣзнь печени вынуждаетъ меня каждое лѣто жить за границей, а такъ какъ въ настоящее время у меня нѣтъ свободныхъ денегъ для поѣздки въ Маріенбадъ, то весьма возможно, что этимъ лѣтомъ я буду жить у тебя въ твоей Кочуевкѣ, дорогая сестра...»

Прочитавъ письмо, моя матушка поблѣднѣла и затряслась всѣмъ тѣломъ, потомъ на лицѣ ея появилось выраженіе смѣха и плача. Она заплакала и засмѣялась. Эта борьба плача со смѣхомъ всегда напоминаетъ мнѣ мельканье и трескъ ярко-горящей свѣчи, когда на нее брызжутъ водой. Прочитавъ письмо еще разъ, матушка созвала всѣхъ домочадцевъ и прерывающимся отъ волненія голосомъ стала объяснять намъ, что всѣхъ братьевъ Гундасовыхъ было четверо: одинъ Гундасовъ померъ еще младенцемъ, другой пошелъ по военной и тоже померъ, третій, не въ обиду будь ему сказано, актеръ, четвертый же...

— До четвертаго рукой не достанешь, — всхлипывала матушка. — Родной мнѣ братъ, вмѣстѣ росли, а я вся дрожу и дрожу... Вѣдь тайный совѣтникъ, генералъ! Какъ я его, ангела моего, встрѣчу? О чемъ я, дура необразованная, разговаривать съ нимъ стану? Пятнадцать лѣтъ его не видала! Андрюшенька, — обратилась ко мнѣ матушка: — радуйся, дурачокъ! Это на твое счастье Богъ его посылаетъ!

Послѣ того, какъ мы узнали самую подробную исторію Гундасовыхъ, въ усадьбѣ поднялась суматоха, какую я привыкъ видѣть только передъ святками. Были пощажены только небесный сводъ и вода въ рѣкѣ, все же остальное подверглось чисткѣ, мытью и окраскѣ. Если бы небо было ниже и меньше, а рѣка не бѣжала такъ быстро, то и ихъ бы поскребли кирпичомъ и потерли мочалкой. Стѣны были бѣлы, какъ снѣгъ, но ихъ побѣлили; полы сіяли и лоснились, но ихъ мыли каждый день. Кота Куцаго (въ бытность мою младенцемъ я ножомъ, которымъ колютъ сахаръ, отхватилъ ему добрую четверть хвоста, отчего онъ и получилъ прозвище Куцаго) отнесли изъ хоромъ въ кухню и отдали подъ начало Анисьи; Ѳедькѣ сказано было, что если собаки будутъ подходить близко къ крыльцу, то его «Богъ накажетъ». Но никому такъ не доставалось, какъ бѣднымъ диванамъ, кресламъ и коврамъ! Никогда въ другое время ихъ не били такъ сильно палками, какъ теперь, въ ожиданіи гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дѣло взлетали къ самому небу.

Приходилъ изъ Новостроевки портной Спиридонъ, единственный во всемъ уѣздѣ портной, дерзавшій шить на господъ. Это былъ человѣкъ не пьющій, работящій и способный, не лишенный нѣкоторой фантазіи и чувства пластики, но тѣмъ не менѣе шившій отвратительно. Все дѣло портили сомнѣнія... Мысль, что онъ шьетъ недостаточно модно, заставляла его передѣлывать каждую вещь по пяти разъ, ходить пѣшкомъ въ городъ спеціально за тѣмъ только, чтобы изучать франтовъ, и въ концѣ концовъ одѣвать насъ въ костюмы, которые даже карикатуристъ назвалъ бы утрировкой и шаржемъ. Мы щеголяли въ невозможно узкихъ брюкахъ и въ такихъ короткихъ пиджакахъ, что въ присутствіи барышенъ намъ всегда становилось совѣстно.

Этотъ Спиридонъ долго снималъ съ меня мѣрку. Онъ вымѣрилъ всего меня вдоль и поперекъ, точно собирался обить меня обручами, что-то долго записывалъ на бумажкѣ толстымъ карандашомъ и всю свою мѣрку иззубрилъ треугольными значками. Покончивъ со мной, онъ принялся за моего учителя Егора Алексѣевича Побѣдимскаго. Мой незабвенный учитель находился тогда въ порѣ, когда люди слѣдятъ за ростомъ своихъ усовъ и относятся критически къ платью, а потому можете себѣ представить священный

ужасъ, съ какимъ Спиридонъ приступилъ къ моему учителю! Егоръ Алексѣевичъ долженъ былъ откинуть назадъ голову и разставить ноги въ видѣ опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридонъ вымѣрялъ его нѣсколько разъ, для чего ходилъ вокругъ него, какъ влюбленный голубь около голубки, становился на одно колѣно, изгибался крючкомъ... Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угорѣвшая отъ утюговъ, глядѣла на всю эту длинную процедуру и говорила:

— Смотри же, Спиридонъ, Богъ съ тебя взыщетъ, если сукно испортишь! И счастья тебѣ не будетъ, коли не потрафишь!

Отъ словъ матушки Спиридона бросало то въ жаръ, то въ потъ, потому что онъ былъ увѣренъ, что не потрафитъ. За шитье моего костюма онъ взялъ 1 руб. 20 коп., а за костюмъ Побѣдимскаго 2 руб., причемъ сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не можетъ показаться дорого, тѣмъ болѣе, что отъ Новостроевки до насъ было девять верстъ, а портной приходилъ для примѣрки раза четыре. Когда мы, примѣряя, натягивали на себя узкія брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякій разъ брезгливо морщилась и удивлялась:

— Богъ знаетъ, какая нынче мода пошла! Даже глядѣть совѣстно. Не будь братецъ столичнымъ, право, не стала бы я шить вамъ по-модному!

Спиридонъ, радуясь, что бранятъ не его, а моду, пожималъ плечами и вздыхалъ, какъ бы желая сказать: «Ничего не подѣлаешь: духъ времени!»

Волненіе, съ которымъ мы ожидали пріѣзда гостя, можно сравнить только съ тѣмъ напряженіемъ, съ какимъ спириты съ минуты на минуту ожидаютъ появленія духа. Матушка носилась съ мигренью и ежеминутно плакала. Я потерялъ аппетитъ, плохо спалъ и не училъ уроковъ. Даже во снѣ меня не оставляло желаніе поскорѣе увидѣть генерала, то-есть человѣка съ эполетами, съ шитымъ воротникомъ, который претъ подъ самыя уши, и съ обнаженной саблей въ рукѣ—точь въ точь такого, какой висѣлъ у насъ въ залѣ надъ диваномъ и таращилъ страшные, черные глаза на всякаго, кто осмѣливался глядѣть на него. Одинъ только Побѣдимскій чувствовалъ себя въ своей тарелкѣ. Онъ не ужасался, не радовался, а только изрѣдка, выслу-

шивая отъ матушки исторію рода Гундасовыхъ, говорилъ:

— Да, пріятно будетъ поговорить со свѣжимъ человѣкомъ.

На моего учителя у насъ въ усадьбѣ глядѣли, какъ на натуру исключительную. Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, угреватый, лохматый, съ маленькимъ лбомъ и съ необычайно длиннымъ носомъ. Носъ былъ такъ великъ, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, долженъ былъ наклонять голову на бокъ по-птичьи. По нашимъ понятіямъ, во всей губерніи не было человѣка умнѣе, образованнѣе и галантнѣе. Кончилъ онъ шесть классовъ гимназіи, потомъ поступилъ въ ветеринарный институтъ, откуда былъ исключенъ, не проучившись и полугода. Причину исключенія онъ тщательно скрывалъ, что давало возможность всякому желающему видѣть въ моемъ воспитателѣ человѣка пострадавшаго и до нѣкоторой степени таинственнаго. Говорилъ онъ мало и только объ умномъ, ѣлъ въ постъ скоромное и на окружающую жизнь иначе не глядѣлъ, какъ только свысока и презрительно, что, впрочемъ, не мѣшало ему принимать отъ моей матушки подарки, въ видѣ костюмовъ, и рисовать на моихъ змѣяхъ глупыя рожи съ красными зубами. Матушка не любила его за «гордость», но преклонялась предъ его умомъ.

Гостя недолго ждали. Въ началѣ мая на двухъ возахъ прибыли со станціи большіе чемоданы. Эти чемоданы глядѣли такъ величественно, что, снимая ихъ съ возовъ, кучера машинально поснимали шапки.

«Должно-быть,—подумалъ я:—въ этихъ сундукахъ мундиры и порохъ...»

Почему порохъ? Вѣроятно, понятіе о генеральствѣ въ моей головѣ было тѣсно связано съ пушками и порохомъ.

Утромъ, десятаго мая, когда я проснулся, нянька шопотомъ объявила мнѣ, что «пріѣхали дяденька». Я быстро одѣлся и, кое-какъ умывшись, не молясь Богу, полетѣлъ изъ спальной. Въ сѣняхъ я наткнулся на высокаго, плотнаго господина, съ фешенебельными бакенами и въ франтовскомъ пальто. Помертвѣвъ отъ священнаго ужаса, я подошелъ къ нему и, припоминая составленный матушкою церемоніалъ, щаркнулъ передъ нимъ ножкой, низко поклонился и потянулся къ ручкѣ, но господинъ не далъ мнѣ *поцѣловать* руку и объявилъ, что онъ не дядя, а только

дядинъ камердинеръ Петръ. Видъ этого Петра, одѣтаго гораздо богаче, чѣмъ я и Побѣдимскій, повергъ меня въ крайнее изумленіе, не оставляющее меня, говоря по правдѣ, и до сегодня: неужели такіе солидные, почтенные люди, съ умными и строгими лицами, могутъ быть лакеями? И ради чего?

Петръ сказалъ мнѣ, что дядя съ матушкой въ саду. Я бросился въ садъ.

Природа, не знавшая исторіи рода Гундасовыхъ и чина моего дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнѣе и развязнѣе, чѣмъ я. Въ саду происходила возня, какая бываетъ только на ярмаркахъ. Безчисленные скворцы, разсѣкая воздухъ и прыгая по аллеямъ, съ крикомъ и шумомъ гонялись за майскими жуками. Въ сиреневыхъ кустахъ, которые своими нѣжными пахучими цвѣтами лѣзли прямо въ лицо, копошились воробьи. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пѣніе иволги, писканье удода и кобчика. Въ другое время я началъ бы гоняться за стрекозами или бросать камнями въ ворона, который сидѣлъ на невысокой копнѣ подъ осиной и поворачивалъ въ стороны свой тупой носъ, теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодѣло въ животѣ: я готовился увидѣть человѣка съ эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарованіе! Рядомъ съ матушкой гулялъ по саду тоненькій, маленькій франтъ въ бѣлой, шелковой парѣ и въ бѣлой фуражкѣ. Заложивъ руки въ карманы, откинувъ назадъ голову, то и дѣло забѣгая впередъ матушки, онъ казался совсѣмъ молодымъ человѣкомъ. Во всей фигурѣ его было столько движенія и жизни, что предательскую старость я могъ увидѣть только подойдя поближе сзади и взглянувъ на края фуражки, гдѣ серебрились коротко остриженные волосы. Вмѣсто солидности и генеральской тугоподвижности, я увидѣлъ почти мальчишескую вертлявость; вмѣсто воротника, прущаго подъ уши—обыкновенный, голубой галстукъ. Матушка и дядя гуляли по аллеѣ и бесѣдовали. Я тихо подошелъ къ нимъ сзади и сталъ ждать, когда кто-нибудь изъ нихъ оглянется.

— Какой у тебя здѣсь восторгъ, Кладя!—говорилъ дядя.— Какъ мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здѣсь такая прелесть, ни за что бы въ тѣ годы не ѣздилъ за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхалъ тюльпанъ. Что только ни попадалось ему на глаза, все возбуждало въ немъ вос-

торгъ и любопытство, словно отродясь онъ не видѣлъ сада и солнечнаго дня. Странный человѣкъ двигался какъ на пружинахъ и болталъ безъ умолку, не давая матушкѣ сказать ни одного слова. Вдругъ на поворотѣ аллеи изъ-за бузины показался Побѣдимскій. Появленіе его было такъ неожиданно, что дядя вздрогнулъ и отступилъ шагъ назадъ. Въ этотъ разъ мой учитель былъ въ своей парадной крылаткѣ съ рукавами, въ которой онъ, въ особенности сзади, очень походилъ на вѣтряную мельницу. Видъ у него былъ величественный и торжественный. Прижавъ по-испански шляпу къ груди, онъ сдѣлалъ шагъ къ дядѣ и поклонился, какъ кланяются маркизы въ мелодрамахъ: впередъ и нѣсколько на бокъ.

— Честь имѣю представиться вашему высокопревосходительству,—сказалъ онъ громко:—педагогъ и преподаватель вашего племянника, бывшій слушатель ветеринарнаго института, дворянинъ Побѣдимскій!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушкѣ. Она улыбнулась и замерла отъ сладкаго ожиданія, что онъ скажетъ еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавшій, что на его величественное обращеніе ему и отвѣтятъ величественно, т. е. скажутъ по-генеральски «гм» и протянутъ два пальца, сильно сконфузился и оробѣлъ, когда дядя привѣтливо засмѣялся и крѣпко пожалъ ему руку. Онъ пробормоталъ еще что-то несвязное, закашлялся и отошелъ въ сторону.

— Ну, не прелесть ли?—засмѣялся дядя.—Ты погляди: надѣлъ размахайку и думаетъ, что онъ очень умный человѣкъ! Нравится мнѣ это, клянусь Богомъ!.. Сколько вѣдь въ ней, въ этой глупой размахайкѣ, юнаго апломба, жизни! А это что за мальчикъ?—спросилъ онъ, вдругъ обернувшись и увидѣвъ меня.

— Это мой Андрюшенька, — отрекомендовала меня матушка, зардѣвшись.—Утѣшеніе мое...

Я шаркнулъ по песку ножкой и низко поклонился.

— Молодецъ мальчикъ... молодецъ мальчикъ...—забормоталъ дядя, отнимая отъ моихъ губъ руку и гладя меня по головѣ.—Тебя Андрюшей зовутъ? Такъ, такъ... Мда... клянусь Богомъ... Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, какъ всѣ матери, *начала* описывать мои успѣхи по наукамъ и благонравіе,

а я шелъ около дяди и, согласно церемоніалу, не переставалъ отвѣшивать низкіе поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тотъ счетъ, что съ моими замѣчательными способностями мнѣ не мѣшало бы поступить въ кадетскій корпусъ на казенный счетъ, и когда я, согласно церемоніалу, долженъ былъ заплакать и попросить у дядюшки протекціи, дядя вдругъ остановился и въ изумленіи разставилъ руки.

— Б-батюшки! Это же что?—спросилъ онъ.

Прямо на насъ по аллеѣ шла Татьяна Ивановна, жена Ѳедора Петровича, нашего управляющаго. Она несла бѣлую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо насъ, она робко, сквозь рѣсницы взглянула на гостя и зардѣлась.

— Часъ отъ часу не легче... — процѣдилъ дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслѣдъ. — У тебя, сестра, что ни шагъ, то сюрпризъ... клянусь Богомъ.

— Она у насъ красавица...—сказала матушка.—Ѳедору ее изъ посада высватали... за сто верстъ отсюда...

Татьяну Ивановну не всякій назвалъ бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лѣтъ двадцати, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лицѣ и во всей фигурѣ ея не было ни одной крупной черты, ни одного смѣлаго штриха, на которомъ могъ бы остановиться глазъ, точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновенія и увѣренности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, рѣдко смѣялась, и вся жизнь ея была такъ же ровна и плоска, какъ лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя щурилъ ей вслѣдъ глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрѣла на его улыбающееся лицо и сдѣлалась серьезной.

— А вы, братецъ, такъ-таки и не женились! — вздохнула она.

— Не женился...

— Почему?—тихо спросила матушка.

— Какъ тебѣ сказать, жизнь такъ сложилась. Смолоду слишкомъ заработался, не до жизни было, а когда жить захотѣлось — оглянулся, но за моей спиной ужъ 50 лѣтъ стояло. Не успѣлъ! Впрочемъ, говорить объ этомъ... скучно.

Матушка и дядя, оба разомъ, вздохнули и пошли дальше,

а я отсталъ отъ нихъ и побѣжалъ искать учителя, чтобы подѣлиться съ нимъ своими впечатлѣніями. Побѣдимскій стоялъ посреди двора и величественно глядѣлъ на небо.

— Замѣтно, что развитой человѣкъ! — сказалъ онъ, покрутивъ головой.—Надѣюсь, что мы съ нимъ сойдемся.

Черезъ часъ подошла къ намъ матушка.

— А у меня, голубчики, горе!—начала она, задыхаясь.— Вѣдь братецъ съ лакеемъ пріѣхалъ, а лакей такой, Богъ съ нимъ, что ни въ кухню его не сунешь, ни въ сѣни, а непремѣнно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мнѣ дѣлать! Вотъ что развѣ, дѣточки, не перебраться ли вамъ покуда во флигель къ Ѳедору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы отвѣтили полнымъ согласіемъ, потому что жить во флигелѣ гораздо свободнѣе, чѣмъ въ домѣ, на глазахъ у матушки.

— Горе, да и только! — продолжала матушка. — Братецъ сказалъ, что онъ будетъ обѣдать не въ полдень, а въ седьмомъ часу, по-столичному. Просто у меня съ горя умъ за разумъ зашелъ! Вѣдь къ 7 часамъ весь обѣдъ перепарится въ печкѣ. Право, мужчины совсѣмъ ничего не понимаютъ въ хозяйствѣ, хотя они и большого ума. Придется, горе мое, два обѣда стряпать! Вы, дѣточки, обѣдайте попрежнему въ полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата, до семи часовъ.

Затѣмъ матушка глубоко вздохнула, приказала мнѣ понравиться дядюшкѣ, котораго Богъ прислалъ на мое счастье, и побѣжала въ кухню. Въ тотъ же день я и Побѣдимскій переселились во флигель. Насъ помѣстили въ проходной комнатѣ, между сѣнями и спальней управляющаго.

Несмотря на пріѣздъ дяди и новоселье, жизнь, сверхъ ожиданія, потекла прежнимъ порядкомъ, вялая и однообразная. Отъ занятій, «по случаю гостя», мы были освобождены. Побѣдимскій, который никогда ничего не читалъ и ничѣмъ не занимался, сидѣлъ обыкновенно у себя на кровати, водилъ по воздуху своимъ длиннымъ носомъ и о чемъ-то думалъ. Изрѣдка онъ поднимался, примѣривалъ свой новый костюмъ и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которымъ онъ нещадно хлопалъ ладонями. Послѣ обѣда онъ обыкновенно «*отдыхалъ*», причемъ храпомъ наводилъ тоску на всю

усадьбу. Я отъ утра до вечера бѣгалъ по саду или сидѣлъ у себя во флигелѣ и клеилъ змѣевъ. Дядю въ первыя двѣ-три недѣли мы видѣли рѣдко. По цѣлымъ днямъ онъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и работалъ, несмотря ни на мухъ, ни на жару. Его необыкновенная способность сидѣть и приростать къ столу производила на насъ впечатлѣніе необъяснимаго фокуса. Для насъ, лѣнтяевъ, не знавшихъ систематическаго труда, его трудолюбіе было просто чудомъ. Проснувшись часовъ въ 9, онъ садился за столъ и не вставалъ до самаго обѣда; пообѣдавъ, опять принимался за работу и такъ до поздней ночи. Когда я заглядывалъ къ нему въ замочную скважину, то всегда видѣлъ неизмѣнно одно и то же: дядя сидѣлъ за столомъ и работалъ. Работа заключалась въ томъ, что онъ одной рукой писалъ, другой перелистывалъ книгу и, какъ это ни странно, весь двигался: качалъ ногой, какъ маятникомъ, насвистывалъ и кивалъ въ тактъ головой. Видъ у него при этомъ былъ крайне разсѣянный и легкомысленный, точно онъ не работалъ, а игралъ въ нули и крестики. Каждый разъ я видѣлъ на немъ короткій, щегольской пиджакъ и ухарски завязанный галстукъ, и каждый разъ, даже сквозь замочную скважину, отъ него пахло тонкими женскими духами. Выходилъ онъ изъ своей комнаты только обѣдать, но обѣдалъ плохо.

— Не пойму я братца!—жаловалась на него матушка.— Каждый день нарочно для него рѣжемъ индѣйку и голубей, сама своими руками дѣлаю компотъ, а онъ скушаетъ тарелочку бульону да кусочекъ мясца съ палецъ и идетъ изъ-за стола. Стану умолять его, чтобъ ѣлъ, онъ воротится къ столу и выпьетъ молочка. А что въ немъ, въ молокѣ-то? Тѣ же помои! Умрешь отъ такой ѣды... Начнешь его уговаривать, а онъ только смѣется, да шутитъ... Нѣтъ, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у насъ гораздо веселѣе, чѣмъ дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинныя тѣни, мы, то-есть Татьяна Ивановна, Побѣдимскій и я, уже сидѣли на крылечкѣ флигеля. До самыхъ потемокъ мы молчали. Да и о чемъ прикажете говорить, когда уже все переговорено? Была одна новость — пріѣздъ дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель все время не отрывалъ глазъ отъ лица Татьяны Ивановны и глубоко

вздыхалъ... Тогда я не понималъ этихъ вздоховъ и не доискивался ихъ смысла, теперь же они объясняютъ мнѣ очень многое.

Когда тѣни на землѣ сливались въ одну сплошную тѣнь, съ охоты или съ поля возвращался управляющій Ѳедоръ. Этотъ Ѳедоръ производилъ на меня впечатлѣніе человѣка дикаго и даже страшнаго. Сынъ обрусѣвшаго изюмскаго цыгана, черномазый, съ большими черными глазами, кудрявый, со всклоченной бородой, онъ иначе и не назывался у нашихъ кучуевскихъ мужиковъ, какъ «чертякой». Да и кромѣ наружности, въ немъ было много цыганскаго. Такъ, онъ не могъ сидѣть дома и по цѣлымъ днямъ пропадалъ въ полѣ или на охотѣ. Онъ былъ мраченъ, желченъ, молчаливъ и никого не боялся и не признавалъ надъ собой ничьей власти. Матушкѣ онъ грубилъ, мнѣ говорилъ «ты», а къ учености Побѣдимскаго относился презрительно. Все это мы прощали ему, считая его человѣкомъ вспыльчивымъ и болѣзненнымъ. Матушка же любила его, потому что онъ, несмотря на свою цыганскую натуру, былъ идеально честенъ и трудолюбивъ. Свою Татьяну Ивановну онъ любилъ страстно, какъ цыганъ, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При насъ онъ никогда не ласкалъ своей жены, а только злобно таращилъ на нее глаза и кривилъ ротъ.

Возвратившись съ поля, онъ со стукомъ и со злобой ставилъ во флигелѣ ружье, выходилъ къ намъ на крылечко и садился рядомъ съ женой. Отдышавшись, онъ задавалъ женѣ нѣсколько вопросовъ по части хозяйства и погружался въ молчаніе.

— Давайте пѣть,—предлагалъ я.

Учитель настраивалъ гитару и густымъ, дьячковскимъ басомъ затягивалъ «Среди долины ровныя». Начиналось пѣніе. Учитель пѣлъ басомъ, Ѳедоръ едва слышнымъ теноркомъ, а я дискантомъ въ одинъ голосъ съ Татьяной Ивановной.

Когда все небо покрывалось звѣздами и умолкали лягушки, изъ кухни приносили намъ ужинъ. Мы шли во флигель и принимались за ѣду. Учитель и цыганъ ѣли съ жадностью, съ трескомъ, такъ что трудно было понять, *хрустѣли то* кости, или ихъ скулы, и мы съ Татьяной Ива-

повной едва успѣвали съѣсть свои доли. Послѣ ужина флигель погружался въ глубокій сонъ.

Однажды, было это въ концѣ мая, мы сидѣли на крыльцѣ и ожидали ужина. Вдругъ мелькнула тѣнь и передъ нами, словно изъ земли выросши, предсталъ Гундасовъ. Онъ долго глядѣлъ на насъ, потомъ всплеснулъ руками и весело засмѣялся.

— Идиллія!—сказалъ онъ.—Поютъ и мечтаютъ на луну! Прелестно, клянусь Богомъ! Можно мнѣ сѣсть съ вами и помечтать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сѣлъ на нижнюю ступеньку, зѣвнулъ и поглядѣлъ на небо. Наступило молчаніе. Побѣдимскій, который давно уже собирался потолковать со свѣжимъ человѣкомъ, обрадовался случаю и первый нарушилъ молчаніе. Для умныхъ разговоровъ у него была одна только тема—эпизоотіи. Случается, что когда вы попадете въ тысячную толпу, вамъ почему-то изъ тысячи физіономій врѣзывается надолго въ память только одна какая-нибудь, такъ и Побѣдимскій изъ всего того, что онъ успѣлъ услышать въ ветеринарномъ институтѣ за полгода, помнилъ только одно мѣсто:

«Эпизоотіи приносятъ громадный ущербъ народному хозяйству. Въ борьбѣ съ ними общество должно идти рука объ руку съ правительствомъ».

Прежде чѣмъ сказать это Гундасову, мой учитель раза три крякнулъ и нѣсколько разъ въ волненіи запахивался въ крылатку. Услышавъ про эпизоотіи, дядя пристально поглядѣлъ на учителя и издалъ носомъ смѣющійся звукъ.

— Ей-Богу, это мило...—пробормоталъ онъ, разглядывая насъ, какъ манекеновъ.—Это именно и есть жизнь... Такою въ сущности и должна быть дѣйствительность. А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? — обратился онъ къ Татьянѣ Ивановнѣ.

Та сконфузилась и кашлянула.

— Говорите, господа, пойте... играйте! Не теряйте времени. Вѣдь канальское время бѣжитъ, не ждетъ! Клянусь Богомъ, не успѣете оглянуться, какъ наступитъ старость... Тогда ужъ поздно будетъ жить! Такъ-то, Пелагея Ивановна... Не нужно сидѣть неподвижно и молчать...

Тутъ изъ кухни принесли ужинъ. Дядя пошелъ за нами во флигель и за компанію съѣлъ пять творожниковъ и

утиное крылышко. Онъ ѣлъ и глядѣлъ на насъ. Всѣ мы возбуждали въ немъ восторгъ и умиленіе. Какую бы глупость ни сморозилъ мой незабвенный учитель и что бы ни сдѣлала Татьяна Ивановна, все находилъ онъ милымъ и восхитительнымъ. Когда послѣ ужина Татьяна Ивановна смиренно сѣла въ уголокъ и принялась за вязанье, онъ не отрывалъ глазъ отъ ея пальчиковъ и болталъ безъ умолку.

— Вы, друзья, какъ можно скорѣе спѣшите жить...— говорилъ онъ.—Храни васъ Богъ жертвовать настоящимъ для будущаго! Въ настоящемъ молодость, здоровье, пылъ, а будущее—это обманъ, дымъ! Какъ только стукнетъ двадцать лѣтъ, такъ и начинайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочилъ, поднялъ иглу и съ поклономъ подалъ ее Татьянѣ Ивановнѣ и тутъ я впервые узналъ, что на свѣтѣ есть люди потоньше Побѣдимскаго.

— Да... — продолжалъ дядя. — Любите, женитесь... дѣлайте глупости. Глупость гораздо жизненнѣе и здоровѣе, чѣмъ наши потуги и погоня за осмысленной жизнью.

Дядя говорилъ много и долго, до того долго, что надоѣлъ намъ, а я сидѣлъ въ сторонѣ на сундукѣ, слушалъ его и дремалъ. Мучило меня, что за все время онъ ни разу не обратилъ на меня вниманія. Ушелъ онъ изъ флигеля въ два часа ночи, когда я, не справившись съ дремотою, уже крѣпко спалъ.

Съ этого времени дядя сталъ ходить къ намъ во флигель каждый вечеръ. Онъ пѣлъ съ нами, ужиналъ и всякій разъ просиживалъ до двухъ часовъ, безъ умолку болталъ все объ одномъ и томъ же. Вечернія и ночныя работы были имъ оставлены, а къ концу іюня, когда тайный совѣтникъ научился ѣсть матушкины индѣйки и компоты, были брошены и дневныя занятія. Дядя оторвался отъ стола и втянулся въ «жизнь». Днемъ онъ шагалъ по саду, насвистывалъ и мѣшалъ рабочимъ, заставляя ихъ разсказывать ему разныя исторіи. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, онъ подбѣгалъ къ ней и, если она несла что-нибудь, предлагалъ ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чѣмъ дальше вглубь уходило лѣто, тѣмъ легкомысленнѣе,

вертлявѣе и разсѣяннѣе становился мой дядюшка. Побѣдимскій въ немъ совсѣмъ разочаровался.

— Слишкомъ односторонній человѣкъ...—говорилъ онъ.— Ни капли незамѣтно, чтобъ онъ стоялъ на высшихъ ступеняхъ іерархіи. И говорить даже не умѣетъ. Послѣ каждаго слова: «клянусь Богомъ». Нѣтъ, не нравится мнѣ онъ!

Съ тѣхъ поръ, какъ дядя началъ посѣщать нашъ флигель, въ Ѳедорѣ и въ моемъ учителѣ произошла замѣтная перемѣна. Ѳедоръ пересталъ ходить на охоту, рано возвращался домой, сдѣлался еще молчаливѣе и какъ-то особенно злобно пялилъ глаза на жену. Учитель же пересталъ въ присутствіи дяди говорить объ эпизоотіяхъ, хмурился и даже насмѣшливо улыбался.

— Идетъ нашъ мышиный жеребчикъ!—проворчалъ онъ однажды, когда дядя подходилъ къ флигелю.

Такую перемѣну въ обоихъ я объяснялъ себѣ тѣмъ, что они обидѣлись на дядю. Разсѣянный дядя путалъ ихъ имена, до самаго отъѣзда не научился различать, кто изъ нихъ учитель, а кто мужъ Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величалъ то Настасьей, то Пелагеей, то Евдокіей. Умиляясь и восторгаясь нами, онъ смѣялся и держалъ себя словно съ малыми ребятами... Все это, конечно, могло оскорблять молодыхъ людей. Но дѣло было не въ обидѣ, а, какъ теперь я понимаю, въ болѣе тонкихъ чувствахъ.

Помню, въ одинъ изъ вечеровъ я сидѣлъ на сундукѣ и боролся съ дремотой. На глаза мои ложился вязкій клей, и тѣло, утомленное цѣлодневной бѣготней, клонило въ сторону. Но я боролся со сномъ и старался глядѣть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смиренная, какъ всегда, сидѣла у маленькаго столика и шила мужу рубаху. Изъ одного угла пялилъ на нее глаза Ѳедоръ, мрачный и угрюмый, а въ другомъ сидѣлъ Побѣдимскій, уходившій въ высокіе воротнички своей сорочки и сердито сопѣвшій. Дядя ходилъ изъ угла въ уголъ и о чемъ-то думалъ. Царило молчаніе, только слышно было, какъ въ рукахъ Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдругъ дядя остановился передъ Татьяной Ивановной и сказалъ:

— Такіе вы всѣ молодые, свѣжіе, хорошіе, такъ безмятежно живется вамъ въ этой тишинѣ, что я завидую вамъ.

Я привязался къ этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уѣхать отсюда... Вѣрьте моей искренности!

Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то стукъ разбудилъ меня, дядя стоялъ передъ Татьяной Ивановной и глядѣлъ на нее съ умиленіемъ. Щеки у него разгорѣлись.

— Моя жизнь пропала, — говорилъ онъ. — Я не жилъ! Ваше молодое лицо напоминаетъ мнѣ мою погибшую юность, и я бы согласился до самой смерти сидѣть здѣсь и глядѣть на васъ. Съ удовольствіемъ я взялъ бы васъ съ собой въ Петербургъ.

— Зачѣмъ это?—спросилъ хриплымъ голосомъ Ѳедоръ.

— Поставилъ бы у себя на рабочемъ столѣ подъ стекломъ, любовался бы и другимъ показывалъ. Вы знаете, Пелагея Ивановна, такихъ, какъ вы, тамъ у насъ нѣтъ. У насъ есть богатство, знатность, иногда красота, но нѣтъ этой жизненной правды... этого здороваго покоя...

Дядя сѣлъ передъ Татьяной Ивановной и взялъ ее за руку.

— Такъ не хотите со мной въ Петербургъ?—засмѣялся онъ.—Въ такомъ случаѣ дайте мнѣ туда хоть вашу ручку... Прелестная ручка! Не дадите? Ну, скупая, позвольте хоть поцѣловать ее...

Въ это время послышался трескъ стула. Ѳедоръ вскочилъ и мѣрными, тяжелыми шагами подошелъ къ женѣ. Лицо его было блѣдно-сѣро и дрожало. Онъ со всего размаха ударилъ кулакомъ по столику и сказалъ глухимъ голосомъ:

— Я не позволю!

Одновременно съ нимъ вскочилъ со стула и Побѣдимскій. Этотъ, тоже блѣдный и злой, подошелъ къ Татьянѣ Ивановнѣ и тоже ударилъ кулакомъ по столику...

— Я... я не позволю!—сказалъ онъ.

— Что? Что такое?—удивился дядя.

— Я не позволю!—повторилъ Ѳедоръ, стукнувъ по столу.

Дядя вскочилъ и трусливо замигалъ глазами. Онъ хотѣлъ говорить, но отъ изумленія и перепуга не сказалъ ни слова, конфузливо улыбнулся и старчески засѣменилъ изъ флигеля, оставивъ у насъ свою шляпу. Когда, немного погодя, во флигель прибѣжала встревоженная матушка, Ѳедоръ и

Побѣдимскій все еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю!»

— Что у васъ тутъ случилось? — спросила матушка.— Отчего съ братцемъ сдѣлалось дурно? Что такое?

Поглядѣвъ на блѣдную, испуганную Татьяну Ивановну и на ея разсвирѣпѣвшаго мужа, матушка, вѣроятно, догадалась, въ чемъ дѣло. Она вздохнула и покачала головой.

— Ну, будетъ, будетъ бухотѣть по столу! — сказала она. — Перестань, Ѳедоръ! А вы-то чего стучите, Егоръ Алексѣевичъ? Вы-то тутъ при чемъ?

Побѣдимскій спохватился и сконфузился. Ѳедоръ пристально поглядѣлъ на него, потомъ на жену и зашагалъ по комнатѣ. Когда матушка вышла изъ флигеля, я видѣлъ то, что долго потомъ считалъ за сонъ. Я видѣлъ, какъ Ѳедоръ схватилъ моего учителя, поднялъ его на воздухъ и вышвырнулъ въ дверь...

Когда я проснулся утромъ, постель учителя была пуста. На мой вопросъ, гдѣ учитель, нянька шопотомъ сказала мнѣ, что его рано утромъ отвезли въ больницу лѣчить сломанную руку. Опечаленный этимъ извѣстіемъ и припоминая вчерашній скандалъ, я вышелъ на дворъ. Погода стояла пасмурная. Небо заволокло тучами и по землѣ гулялъ вѣтеръ, поднимая съ земли пыль, бумажки и перья... Чувствовалась близость дождя. На людяхъ и на животныхъ была написана скука. Когда я пошелъ въ домъ, меня попросили не стучать ногами, сказавъ, что матушка больна мигренью и лежитъ въ постели. Что дѣлать? Я пошелъ за ворота, сѣлъ тамъ на лавочку и сталъ искать смысла въ томъ, что я вчера видѣлъ и слышалъ. Отъ нашихъ воротъ шла дорога, которая, обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала въ большую, почтовую дорогу... Я глядѣлъ на телеграфные столбы, около которыхъ кружились облака пыли, на сонныхъ птицъ, сидѣвшихъ на проволокахъ, и мнѣ вдругъ стало такъ скучно, что я заплакалъ.

По почтовой дорогѣ проѣхала пыльная линейка, биткомъ набитая горожанами, ѣхавшими, вѣроятно, на богомолье. Не успѣла линейка исчезнуть изъ вида, какъ показалась легкая пролетка, запряженная въ пару. Въ ней, стоя и держась за поясъ кучера, ѣхалъ становой Акимъ Никитичъ. Къ великому моему удивленію, пролетка свернула

на нашу дорогу и пролетѣла мимо меня въ ворота. Пока я недоумѣвалъ, зачѣмъ это прикатилъ къ намъ становой, послышался шумъ, и на дорогѣ показалась тройка. Въ коляскѣ стоялъ исправникъ и показывалъ кучеру на наши ворота.

«А этотъ зачѣмъ? — думалъ я, разглядывая покрытаго пылью исправника. — Это, вѣроятно, Побѣдимскій имъ на Ѳедора пожаловался, и они пріѣхали взять его въ острогъ».

Но загадку не такъ легко было рѣшить. Становой и исправникъ были только предтечи, потому что не прошло и пяти минутъ, какъ къ намъ въ ворота въѣхала карета. Она такъ быстро мелькнула мимо меня, что, заглянувъ въ каретное окно, я увидѣлъ одну только рыжую бороду.

Теряясь въ догадкахъ и предчувствуя что-то недоброе, я побѣжалъ къ дому. Въ передней прежде всего я увидѣлъ матушку. Она была блѣдна и съ ужасомъ глядѣла на дверь, изъ-за которой слышались мужскіе голоса. Гости застали ее врасплохъ, въ самый разгаръ мигрени.

— Кто пріѣхалъ, мама?—спросилъ я.

— Сестра!—послышался голосъ дяди.—Дай-ка намъ съ губернаторомъ закусить чего-нибудь!

— Легко сказать: закусить!—прошептала матушка, млѣя отъ ужаса.—Что я теперь успѣю приготовить? Осрамилась на старости лѣтъ!

Матушка схватила себя за голову и побѣжала въ кухню. Внезапный пріѣздъ губернатора поднялъ на ноги и ошеломилъ всю усадьбу. Поднялась ожесточенная рѣзня. Зарѣзали штукъ десять куръ, пять индѣекъ, восемь утокъ и впопыхахъ обезглавили стараго гусака, родоначальника нашего гусинаго стада и любимца матери. Кучера и поваръ словно обезумѣли и рѣзали птицъ зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради какого-то соуса у меня погибла пара дорогихъ турмановъ, которые мнѣ были такъ же дороги, какъ матушкѣ гусакъ. Смерти ихъ я долго не прощалъ губернатору.

Вечеромъ, когда губернаторъ и его свита, сытно пообѣдавъ, сѣли въ свои экипажи и уѣхали, я пошелъ въ домъ поглядѣть на остатки пиршества. Заглянувъ изъ передней въ залу, я увидѣлъ и дядю, и матушку. Дядя, заложивъ руки назадъ, нервно шагалъ вдоль стѣнъ и пожималъ плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудѣвшая, си-

дѣла на диванѣ и больными глазами слѣдила за движеніями брата.

— Извини, сестра, но такъ нельзя... — брюзжалъ дядя, морща лицо.—Я представляю тебѣ губернатора, а ты ему руки не подаешь! Ты его сконфузила, несчастнаго! Нѣтъ, это не годится... Простота хорошая вещь, но вѣдь и она должна имѣть предѣлы... клянусь Богомъ... И потомъ этотъ обѣдъ! Развѣ можно такими обѣдами кормить? Напримѣръ, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?

— Это утка подъ сладкимъ соусомъ...—тихо отвѣтила матушка.

— Утка... Прости, сестра, но... но у меня вотъ изжога! Я боленъ!

Дядя сдѣлалъ кислое, плачущее лицо и продолжалъ:

— И чортъ принесъ этого губернатора! Очень мнѣ нуженъ его визитъ! Пф... изжога! Я не могу ни спать, ни работать... Совсѣмъ развинтился... И какъ это, не понимаю, вы можете жить тутъ безъ работы... въ этой скучищѣ! Вотъ ужъ у меня и боль начинается подъ ложечкой!..

Дядя нахмурился и быстрѣе зашагалъ.

— Братецъ,—тихо спросила матушка:—а сколько стоитъ поѣхать за границу?

— По меньшей мѣрѣ три тысячи...—отвѣтилъ плачущимъ голосомъ дядя.—Я бы поѣхалъ, а гдѣ ихъ взять? У меня ни копейки! Пф... изжога!

Дядя остановился, поглядѣлъ съ тоской на сѣрое, пасмурное окно и опять зашагалъ.

Наступило молчаніе... Матушка долго глядѣла на икону, что-то раздумывая, потомъ заплакала и сказала:

— Я, братецъ, дамъ вамъ три тысячи...

Дня черезъ три величественные чемоданы были отправлены на станцію, а вслѣдъ за ними укатилъ и тайный совѣтникъ. Прощаясь съ матушкой, онъ заплакалъ и долго не могъ оторвать губъ отъ ея руки, когда же онъ сѣлъ въ экипажъ, лицо его освѣтилось дѣтскою радостью... Сіяющій, счастливый, онъ усѣлся поудобнѣй, сдѣлалъ на прощанье плачущей матушкѣ ручкой и вдругъ неожиданно остановилъ свой взглядъ на мнѣ. На лицѣ его появилось выраженіе крайняго удивленія.

— А это что за мальчикъ?—спросилъ онъ.

Матушку, увѣрявшую меня, что дядюшку Богъ послалъ,

къ намъ на мое счастье, этотъ вопросъ сильно покоробилъ. Мнѣ же было не до вопросовъ. Я глядѣлъ на счастливое лицо дяди и мнѣ почему-то было страшно жаль его. Я не выдержалъ, вскочилъ въ экипажъ и горячо обнялъ этого легкомысленнаго и слабаго, какъ всѣ люди, человѣка. Глядя ему въ глаза и желая сказать что-нибудь пріятное, я спросилъ:

— Дядя, вы были хоть разъ на войнѣ?

— Ахъ, милый мальчикъ...—засмѣялся дядя, цѣлуя меня:— милый мальчикъ, клянусь Богомъ. Такъ все это естественно, жизненно... клянусь Богомъ...

Коляска тронулась... Я глядѣлъ ей вслѣдъ и долго слышалъ это прощальное «клянусь Богомъ».

ПИСЬМО.

Благочинный о. Ѳедоръ Орловъ, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лѣтъ пятидесяти, какъ всегда важный и строгій, съ привычнымъ, никогда не сходящимъ съ лица выраженіемъ достоинства, но до крайности утомленный, ходилъ изъ угла въ уголъ по своей маленькой залѣ и напряженно думалъ объ одномъ: когда, наконецъ, уйдетъ его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отецъ Анастасій, священникъ одного изъ подгороднихъ селъ, часа три тому назадъ пришелъ къ нему по своему дѣлу, очень непріятному и скучному, засидѣлся и теперь, положивъ локоть на толстую счетную книгу, сидѣлъ въ углу за круглымъ столикомъ и, повидимому, не думалъ уходить, хотя уже былъ девятый часъ вечера.

Не всякій умѣетъ во-время замолчать и во-время уйти. Нерѣдко случается, что даже свѣтски воспитанные, политичные люди не замѣчаютъ, какъ ихъ присутствіе возбуждаетъ въ утомленномъ или занятомъ хозяинѣ чувство, похожее на ненависть, и какъ это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отецъ же Анастасій отлично видѣлъ и понималъ, что его присутствіе тягостно и неумѣстно, что благочинный, служившій ночью утреню, а въ полдень длинную обѣдню, утомленъ и хочетъ покоя: каждую минуту онъ собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидѣлъ и какъ будто ждалъ чего-то. Это былъ старикъ 65-ти лѣтъ, дряхлый не по лѣтамъ, костлявый и сутуловатый, съ старчески-темнымъ, исхудалымъ лицомъ, съ красными вѣками и длинной, узкой, какъ у рыбы, спи

ной; одѣтъ онъ былъ въ щегольскую свѣтло-лиловую, но слишкомъ просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершаго молодого священника), въ суконный кафтанъ съ широкимъ кожанымъ поясомъ и въ неуклюжіе сапоги, размѣръ и цвѣтъ которыхъ ясно показывалъ, что о. Анастасій обходился безъ калошъ. Несмотря на санъ и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, сѣдыя съ зеленымъ отливомъ косички на затылкѣ, большія лопатки на тощей спинѣ... Онъ молчалъ, не двигался и кашлялъ съ такою осторожностью, какъ будто боялся, чтобы отъ звуковъ кашля его присутствіе не стало замѣтнѣе.

У благочиннаго старикъ бывалъ по дѣлу. Мѣсяца два назадъ ему запретили служить впредь до разрѣшенія и назначили надъ нимъ слѣдствіе. Грѣховъ за нимъ числилось много. Онъ велъ нетрезвую жизнь, не ладилъ съ причтомъ и съ міромъ, небрежно велъ метрическія записи и отчетность—въ этомъ его обвиняли формально, но кромѣ того, еще съ давнихъ поръ носились слухи, что онъ вѣнчалъ за деньги недозволенные браки и продавалъ пріѣзжавшимъ къ нему изъ города чиновникамъ и офицерамъ свидѣтельства о говѣніи. Эти слухи держались тѣмъ упорнѣе, что онъ былъ бѣденъ и имѣлъ девять человѣкъ дѣтей, жившихъ на его шеѣ и такихъ же неудачниковъ, какъ и онъ самъ. Сыновья были необразованы, избалованы и сидѣли безъ дѣла, а некрасивыя дочери не выходили замужъ.

Не имѣя силы быть откровеннымъ, благочинный ходилъ изъ угла въ уголъ, молчалъ, или же говорилъ намеками.

— Значитъ, вы нынче не поѣдете къ себѣ домой?— спросилъ онъ, останавливаясь около темнаго окна и просовывая мизинецъ къ спящей, надувшейся канарейкѣ.

О. Анастасій встрепенулся, осторожно кашлянулъ и сказалъ скороговоркой:

— Домой? Богъ съ нимъ, не поѣду, Ѳедоръ Ильичъ. Сами знаете, служить мнѣ нельзя, такъ что же я тамъ буду дѣлать? Нарочито я уѣхалъ, чтобъ людямъ въ глаза не глядѣть. Сами знаете, совѣстно не служить. Да и дѣло тутъ мнѣ есть, Ѳедоръ Ильичъ. Хочу завтра послѣ розговѣнья съ отцомъ-слѣдователемъ обстоятельно поговорить.

— Такъ... — зѣвнулъ благочинный. — А вы гдѣ остановились?

— У Зявкина.

О. Анастасій вдругъ вспомнилъ, что часа черезъ два благочинному предстоитъ служить пасхальную утреню, и ему стало такъ стыдно своего непріятнаго, стѣсняющаго присутствія, что онъ рѣшилъ немедленно уйти и дать утомленному человѣку покой. И старикъ поднялся, чтобы уйти, но прежде чѣмъ начать прощаться, онъ минуту откашливался и пытливо, все съ тѣмъ же выраженіемъ неопредѣленнаго ожиданія во всей фигурѣ, глядѣлъ на спину благочиннаго; на лицѣ его заиграли стыдъ, робость и жалкій, принужденный смѣхъ, какимъ смѣются люди, не уважающіе себя. Какъ-то рѣшительно махнувъ рукой, онъ сказалъ съ сиплымъ дребезжащимъ смѣхомъ:

— Отецъ Ѳедоръ, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мнѣ... рюмочку водочки!

— Не время теперь пить водку,—строго сказалъ благочинный.—Стыдъ надо имѣть.

Отецъ Анастасій еще больше сконфузился, засмѣялся и, забывъ про свое рѣшеніе уходить домой, опустился на стулъ. Благочинный взглянулъ на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тѣло, и ему стало жаль старика.

— Богъ дастъ завтра выпьемъ, — сказалъ онъ, желая смягчить свой строгій отказъ.—Все хорошо во-время.

Благочинный вѣрилъ въ исправленіе людей, но теперь, когда въ немъ разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этотъ подслѣдственный, испитой, опутанный грѣхами и немощами старикъ погибъ для жизни безвозвратно, что на землѣ нѣтъ уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать непріятный, робкій смѣхъ, какимъ онъ нарочно смѣялся, чтобы сгладить хотя немного производимое имъ на людей отталкивающее впечатлѣніе.

Старикъ казался уже о. Ѳедору не виновнымъ и не порочнымъ, а униженнымъ, оскорбленнымъ, несчастнымъ; вспомнилъ благочинный его попадью, девять человѣкъ дѣтей, грязныя нищенскія полати у Зявкина, вспомнилъ почему-то тѣхъ людей, которые рады видѣть пьяныхъ священниковъ и уличаемыхъ начальниковъ, и подумалъ, что самое лучшее, что могъ бы сдѣлать теперь о. Анастасій,

это—какъ можно скорѣе умереть, навсегда уйти съ этого свѣта.

Послышались шаги.

— О. Ѳедоръ, вы не отдыхаете? — спросилъ изъ передней басъ.

— Нѣтъ, дьяконъ, войди.

Въ залу вошелъ сослуживецъ Орлова, дьяконъ Любимовъ, человѣкъ старый, съ плѣшью во все темя, но еще крѣпкій, черноволосый и съ густыми черными, какъ у грузина бровями. Онъ поклонился Анастасію и сѣлъ.

— Что скажешь хорошаго?—спросилъ благочинный.

— Да что хорошаго? — отвѣтилъ дьяконъ и, помолчавъ немного, продолжалъ съ улыбкой:—Малыя дѣти—малое горе, большія дѣти—большое горе. Тутъ такая исторія, о. Ѳедоръ, что никакъ не опомнюсь. Комедія, да и только.

Онъ еще немного помолчалъ, улыбнулся шире и сказалъ:

— Нынче Николай Матвѣичъ изъ Харькова вернулся. Про моего Петра мнѣ разсказывалъ. Былъ, говоритъ, у него раза два.

— Что же онъ тебѣ разсказывалъ?

— Встревожилъ, Богъ съ нимъ. Хотѣлъ меня порадовать, а какъ я раздумался, то выходитъ, что мало тутъ радости. Скорбѣть надо, а не радоваться... «Твой, говоритъ, Петрушка шибко живетъ, рукой, говоритъ, до него теперь не достанешь». Ну, и слава Богу, говорю. «Я, говоритъ, у него обѣдалъ и весь образъ его жизни видѣлъ. Живетъ, говоритъ, благородно, лучше и не надо». Мнѣ, извѣстно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обѣдомъ у него подавали? «Сначала, говоритъ, рыбное, словно какъ бы на манеръ ухи, потомъ языкъ съ горошкомъ, а потомъ, говоритъ, индѣйку жареную». Это въ постъ-то индѣйку? Хороша, говорю, радость. Въ Великій постъ-то индѣйку? А?

— Удивительнаго мало,—сказалъ благочинный, насмѣшливо щуря глаза.

И заложивъ большіе пальцы обѣихъ рукъ за поясъ, онъ выпрямился и сказалъ тономъ, какимъ говорилъ обыкновенно проповѣди или объяснялъ ученикамъ въ уѣздномъ училищѣ Законъ Божій:

— Люди, не соблюдающіе постовъ, дѣлятся на двѣ различныя категоріи: одни не исполняютъ по легкомыслію,

другіе же по невѣрію. Твой Петръ не исполняетъ по невѣрію. Да.

Дьяконъ робко поглядѣлъ на строгое лицо о. Өедора и сказалъ:

— Дальше—больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой невѣряка-сынокъ съ какой-то мадамой живетъ, съ чужой женой. Она у него на квартирѣ замѣсто жены и хозяйки, чай разливаетъ, гостей принимаетъ и остальное прочее, какъ вѣнчаная. Уже третій годъ, какъ съ этой гадюкой хороводится. Комедія, да и только. Три года живутъ, а дѣтей нѣту.

— Стало-быть, въ цѣломудріи живутъ! — захихикалъ о. Анастасій, сипло кашляя. — Есть дѣти, отецъ дьяконъ, есть, да дома не держатъ! Въ воспитательные пріюты отсылаютъ! Хе-хе-хе... (Анастасій закашлялся).

— Не суйтесь, о. Анастасій, — строго сказалъ благочинный.

— Николай Матвѣичъ и спрашиваетъ его: «Какая это такая у васъ мадама за столомъ супъ разливаетъ?»—продолжалъ дьяконъ, мрачно оглядывая согнутое тѣло Анастасія. — А онъ ему: это, говоритъ, моя жена. А тотъ и спроси: «Давно ли изволили вѣнчаться?» Петръ и отвѣчаетъ: «Мы вѣнчались въ кондитерской Куликова».

Глаза благочиннаго гнѣвно вспыхнули и на вискахъ выступила краска. Помимо своей грѣховности, Петръ былъ ему несимпатиченъ, какъ человѣкъ вообще. О. Өедоръ имѣлъ противъ него, что называется, зубъ. Онъ помнилъ его еще мальчикомъ-гимназистомъ, помнилъ отчетливо, потому что и тогда еще онъ казался ему ненормальнымъ. Петруша-гимназистъ стыдился помогать въ алтарѣ, обижался, когда говорили ему «ты», входя въ комнаты, не крестился и, что памятнѣе всего, любилъ много и горячо говорить, а, по мнѣнію о. Өедора, многословіе дѣтямъ неприлично и вредно; кромѣ того, Петруша презрительно и критически относился къ рыбной ловлѣ, до которой благочинный и дьяконъ были большіе охотники. Студентъ же Петръ вовсе не ходилъ въ церковь, спалъ до полудня, смотрѣлъ свысока на людей и съ какимъ-то особеннымъ задоромъ любилъ поднимать щекотливые, неразрѣшимые вопросы.

— Что же ты хочешь?—спросилъ благочинный, подходя къ дьякону и сердито глядя на него.—Что же ты хочешь?

Этого слѣдовало ожидать! Я всегда зналъ и былъ увѣренъ, что изъ твоего Петра ничего путнаго не выйдетъ! Говорилъ я тебѣ и говорю. Что посѣялъ, то и пожинай теперь! Пожинай!

— Да что же я посѣялъ, о. Ѳедоръ? — тихо спросилъ дьяконъ, глядя снизу вверхъ на благочиннаго.

— А кто же виноватъ, какъ не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты долженъ былъ наставлять, внушать страхъ Божій. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грѣхъ! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забылъ про свое утомленіе, шагалъ и продолжалъ говорить. На голомъ темени и на лбу дьякона выступили мелкія капли. Онъ поднялъ виноватые глаза на благочиннаго и сказалъ:

— Да развѣ я не наставлялъ, о. Ѳедоръ? Господи помилуй, развѣ я не отецъ своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалѣлъ, всю жизнь старался и Бога молилъ, чтобъ ему настоящее образованіе дать. Онъ у меня и въ гимназіи былъ, и репетиторовъ я ему нанималъ, и въ университетѣ онъ кончилъ. А что ежели я его умъ направить не могъ, о. Ѳедоръ, такъ вѣдь, судите сами, на это у меня способности нѣтъ! Бывало, когда онъ студентомъ сюда пріѣзжалъ, я начну ему по-своему внушать, а онъ не слушаетъ. Скажешь ему: ходи въ церковь, а онъ: «зачѣмъ ходить?» Станешь ему объяснять, а онъ: «почему? зачѣмъ?» Или похлопаетъ меня по плечу и скажетъ: «Все на этомъ свѣтѣ относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничесоже не знаете, папаша».

О. Анастасій сипло разсмѣялся, закашлялся и шевельнулъ въ воздухѣ пальцами, какъ бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянулъ на него и сказалъ строго:

— Не суйтесь, о. Анастасій.

Старикъ смѣялся, сіялъ и видимо съ удовольствіемъ слушалъ дьякона, точно радъ былъ, что на этомъ свѣтѣ и кромѣ него есть еще грѣшные люди. Дьяконъ говорилъ искренно, съ сокрушеннымъ сердцемъ и даже слезы выступили у него на глазахъ. О. Ѳедору стало жаль его.

— Виноватъ ты, дьяконъ, виноватъ, — сказалъ онъ, но *уже не* такъ строго и горячо.—Умѣлъ родить, умѣй и на-

ставить. Надо было еще въ дѣтствѣ его наставлять, а студента поди-ка, исправь!

Наступило молчаніе. Дьяконъ всплеснулъ руками и сказалъ со вздохомъ:

— А вѣдь мнѣ же за него отвѣчать придется!

— То-то вотъ оно и есть!

Помолчавъ немного, благочинный и зѣвнулъ, и вздохнулъ въ одно и то же время, и спросилъ:

— Кто «Дѣянія» читаетъ?

— Евстратъ. Всегда Евстратъ читаетъ.

Дьяконъ поднялся и, умоляюще глядя на благочиннаго, спросилъ:

— О. Ѳедоръ, что же мнѣ теперь дѣлать?

— Что хочешь, то и дѣлай. Не я отецъ, а ты. Тебѣ лучше знать.

— Ничего я не знаю, о. Ѳедоръ! Научите меня, сдѣлайте милость! Вѣрите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидѣть спокойно, и праздникъ мнѣ не въ праздникъ. Научите, о. Ѳедоръ!

— Напиши ему письмо.

— Что же я ему писать буду?

— А напиши, что такъ нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долгъ и успокоишься.

— Это вѣрно, но что же я ему напишу? Въ какихъ смыслахъ? Я ему напишу, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: «почему? зачѣмъ? почему это грѣхъ?»

О. Анастасій опять сипло засмѣялся и шевельнулъ пальцами.

— Почему? Зачѣмъ? Почему это грѣхъ? — визгливо заговорилъ онъ.— Исповѣдую я разъ одного господина и говорю ему, что излишнее упованіе на милосердіе Божіе есть грѣхъ, а онъ спрашиваетъ: почему? Хочу ему отвѣтить, а тутъ,—Анастасій хлопнулъ себя по лбу:—а тутъ-то у меня и нѣту! Хи-и-хе-хе-хе...

Слова Анастасія, его сиплый, дребезжащій смѣхъ надъ тѣмъ, что не смѣшно, подѣйствовали на благочиннаго и дьякона непріятно. Благочинный хотѣлъ было сказать старику «не суйтесь», но не сказалъ, а только поморщился.

— Не могу я ему писать!—вздохнулъ дьяконъ.

— Ты не можешь, такъ кто же можетъ?

— О. Өедоръ!—сказалъ дьяконъ, склоняя голову на бокъ и прижимая руку къ сердцу.—Я человѣкъ необразованный, слабоумный, васъ же Господь надѣлилъ разумомъ и мудростью. Вы все знаете и понимаете, до всего умомъ доходите, я же путемъ слова сказать не умѣю. Будьте великодушны, наставьте меня въ разсужденіи письма! Научите, какъ его и что...

— Что жъ тутъ учить? Учить нечему. Сѣлъ да написалъ.

— Нѣтъ, ужъ сдѣлайте милость, отецъ-настоятель! Молю васъ. Я знаю, вашего письма онъ убоится и послушается, потому вѣдь вы тоже образованный. Будьте такіе добрые! Я сяду, а вы мнѣ подиктуйте. Завтра писать грѣхъ, а нынче бы самое въ пору, я бы успокоился.

Благочинный поглядѣлъ на умоляющее лицо дьякона, вспомнилъ несимпатичнаго Петра и согласился диктовать. Онъ усадилъ дьякона за свой столъ и началъ:

— Ну, пиши... Христосъ воскресъ, любезный сынъ... знакъ восклицанія. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далѣе въ скобкахъ... а изъ какого источника, тебя это не касается... скобка... Написалъ?.. что ты ведешь жизнь несообразную ни съ божескими, ни съ человѣческими законами. Ни комфортабельность, ни свѣтское великолѣпіе, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могутъ скрыть твоего языческаго вида. Именемъ ты христіанинъ, но по сущности своей язычникъ, столь же жалкій и несчастный, какъ и всѣ прочіе язычники, даже еще жалчѣе, ибо: тѣ язычники, не зная Христа, погибаютъ отъ невѣдѣнія, ты же погибаешь отъ того, что обладаешь сокровищемъ, но небрежешь имъ. Не стану перечислять здѣсь твоихъ пороковъ, кои тебѣ достаточно извѣстны, скажу только, что причину твоей погибели вижу я въ твоемъ невѣріи. Ты мнишь себя мудрымъ быти, похваляешься знаніемъ наукъ, а того не хочешь понять, что наука безъ вѣры не только не возвышаетъ человѣка, но даже низводитъ его на степень низменнаго животнаго, ибо...

Все письмо было въ такомъ родѣ. Кончивъ писать, дьяконъ прочелъ его вслухъ, просіялъ и вскочилъ.

— Даръ, истинно даръ!—сказалъ онъ, восторженно глядя на благочиннаго и всплескивая руками. — Пошлетъ же

Господь такое дарованіе! А? Мать Царица! Во сто лѣтъ бы, кажется, такого письма не сочинилъ! Спаси васъ Господи!

О. Анастасій тоже пришелъ въ восторгъ.

— Безъ дара такъ не напишешь! — сказалъ онъ, вставая и шевеля пальцами. — Не напишешь! Тутъ такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и въ носъ ткнуть. Умъ! Свѣтлый умъ! Не женились бы, о. Ѳедоръ, давно бы вы въ архіереяхъ были, истинно, были бы!

Изливъ свой гнѣвъ въ письмѣ, благочинный почувствовалъ облегченіе. Къ нему вернулись и утомленіе, и разбитость. Дьяконъ былъ свой человѣкъ, и благочинный не постѣснился сказать ему:

— Ну, дьяконъ, ступай съ Богомъ. Я съ полчасика на диванѣ подремлю, отдохнуть надо.

Дьяконъ ушелъ и увелъ съ собою Анастасія. Какъ всегда бываетъ наканунѣ Свѣтлаго дня, на улицѣ было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звѣздами. Въ тихомъ неподвижномъ воздухѣ пахло весной и праздникомъ.

— Сколько времени онъ диктовалъ? — изумлялся дьяконъ. — Минутъ десять, не больше! Другой бы и въ мѣсяцъ такого письма не сочинилъ. А? Вотъ умъ! Такой умъ, что я и сказать не умѣю! Удивленіе! Истинно, удивленіе!

— Образованіе!—вздохнулъ Анастасій, при переходѣ черезъ грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы.— Не намъ съ нимъ равняться. Мы изъ дьячковъ, а вѣдь онъ науки проходилъ. Да. Настоящій человѣкъ, что и говорить.

— А вы послушайте, какъ онъ нынче въ обѣднѣ Евангеліе будетъ читать по-латынски! И по-латынски онъ знаетъ, и по-гречески знаетъ... А Петруха, Петруха!—вдругъ вспомнилъ дьяконъ. — Ну, теперь онъ поче-ешется! Закуситъ языкъ! Будетъ помнить Кузькину мать! Теперь уже не спроситъ: «почему?» Вотъ ужъ именно дока на доку наскочилъ! Ха-ха-ха!

Дьяконъ весело и громко разсмѣялся. Послѣ того, какъ письмо къ Петру было написано, онъ повеселѣлъ и успокоился. Сознаніе исполненнаго родительскаго долга и вѣра въ силу письма вернули къ нему и его смѣшливость, и добродушіе.

— Петръ въ переводѣ значитъ камень,—говорилъ онъ, подходя къ своему дому. — Мой же Петръ не камень, а тряпка. Гадюка на него насѣла, а онъ съ ней няньчится, спихнуть ее не можетъ. Тьфу! Есть же, прости Господи, такія женщины! А? Гдѣ жъ въ ней стыдъ? Насѣла на парня, прилипла и около юбки держитъ... къ шутамъ ее на пасѣку!

— А можетъ, не она его держитъ, а онъ ее?

— Все-таки, значитъ, въ ней стыда нѣтъ! А Петра я не защищаю... Ему достанется... Прочтетъ письмо и почешетъ затылокъ! Сгоритъ со стыда!

— Письмо славное, но только того... не посылать бы его, отецъ дьяконъ. Богъ съ нимъ!

— А что?—испугался дьяконъ.

— Да такъ! Не посылай, дьяконъ! Что толку? Ну, ты пошлешь, онъ прочтетъ, а... а дальше что? Встревожишь только. Прости, Богъ съ нимъ!

Дьяконъ удивленно поглядѣлъ на темное лицо Анастасія, на его распахнувшуюся рясу, похожую въ потемкахъ на крылья, и пожалъ плечами.

— Какъ же такъ прощать?—спросилъ онъ.—Вѣдь я же за него Богу отвѣчать буду.

— Хоть и такъ, а все же прости. Право! А Богъ за твою доброту и тебя проститъ.

— Да вѣдь онъ мнѣ сынъ? Долженъ я его учить, или нѣтъ?

— Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачѣмъ язычникомъ обзывать? Вѣдь ему, дьяконъ, обидно...

Дьяконъ былъ вдовъ и жилъ въ маленькомъ, трехъоконномъ домикѣ. Хозяйствомъ у него завѣдывала его старшая сестра, дѣвушка, года три тому назадъ лишившаяся ногъ и потому не сходившая съ постели; онъ ея боялся, слушался и ничего не дѣлалъ безъ ея совѣтовъ. О. Анастасій зашелъ къ нему. Увидѣвъ у него столъ, уже покрытый куличами и красными яйцами, онъ почему-то, вѣроятно вспомнивъ про свой домъ, заплакалъ и, чтобы обратить эти слезы въ шутку, тотчасъ же сипло засмѣялся.

— Да, скоро разговляться,—сказалъ онъ.—Да... Оно бы, дьяконъ, и сейчасъ не мѣшало... рюмочку выпить. Можно? Я такъ выпью, — зашепталъ онъ, косясь на дверь: — что старушка... не услышитъ... ни-ни...

Дьяконъ молча пододвинулъ къ нему графинъ и рюмку, развернулъ письмо и сталъ читать вслухъ. И теперь письмо ему такъ же понравилось, какъ и въ то время, когда благочинный диктовалъ его. Онъ просіялъ отъ удовольствія и, точно попробовавъ что-то очень сладкое, покрутилъ головой.

— Ну, письмо-о!—сказалъ онъ.—И не снилось Петрухѣ такое письмо. Такое вотъ и надо ему, чтобъ въ жаръ его бросило... во!

— Знаешь, дьяконъ? Не посылай! — сказалъ Анастасій, наливая какъ бы въ забывчивости вторую рюмку.—Прости, Богъ съ нимъ! Я тебѣ... вамъ по совѣсти. Ежели отецъ родной его не проститъ, то кто жъ его проститъ? Такъ и будетъ, значитъ, безъ прощенія жить? А ты, дьяконъ, разсуди: наказующіе и безъ тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующихъ поискалъ! Я... я, братушка, выпью... Послѣдняя... Прямо такъ возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петръ! Онъ пойме-етъ! Почу-увствуетъ! Я, братъ... я, дьяконъ, по себѣ это понимаю. Когда жилъ какъ люди, и горя мнѣ было мало, а теперь, когда образъ и подобіе потерялъ, только одного и хочу, чтобъ меня добрые люди простили. Да и то разсуди, не праведниковъ прощать надо, а грѣшниковъ. Для чего тебѣ старушку твою прощать, ежели она не грѣшная? Нѣтъ, ты такого прости, на котораго глядѣть жалко... да!

Анастасій подперъ голову кулакомъ и задумался.

— Бѣда, дьяконъ,—вздохнулъ онъ, видимо борясь съ желаніемъ выпить.—Бѣда! Во грѣсѣхъ роди мя мати моя, во грѣсѣхъ жилъ, во грѣсѣхъ и помру... Господи, прости меня грѣшнаго! Запутался я, дьяконъ! Нѣтъ мнѣ спасенія! И не то чтобы въ жизни запутался, а въ самой старости передъ смертью... Я...

Старикъ махнулъ рукой и еще выпилъ, потомъ всталъ и пересѣлъ на другое мѣсто. Дьяконъ, не выпуская изъ рукъ письма, заходилъ изъ угла въ уголъ. Онъ думалъ о своемъ сынѣ. Недовольство, скорбь и страхъ уже не безпокоили его: все это ушло въ письмо. Теперь онъ только воображалъ себѣ Петра, рисовалъ его лицо, вспоминалъ прошлые годы, когда сынъ пріѣзжалъ гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чемъ можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сынѣ,

онъ еще разъ прочелъ письмо и вопросительно поглядѣлъ на Анастасія.

— Не посылай!—сказалъ тотъ, махнувъ кистью руки.

— Нѣтъ, все-таки... надо. Все-таки оно его того... немножко на умъ наставитъ. Не лишнее...

Дьяконъ досталъ изъ стола конвертъ, но прежде чѣмъ вложить въ него письмо, сѣлъ за столъ, улыбнулся и прибавилъ отъ себя внизу письма: «А къ намъ новаго штатнаго смотрителя прислали. Этотъ пошустрѣй прежняго. И плясунъ, и говорунъ, и на всѣ руки, такъ что говоровскія дочки отъ него безъ ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорятъ, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской онъ въ конецъ испортилъ строгое письмо, дьяконъ написалъ адресъ и положилъ письмо на самое видное мѣсто стола.

ПОЦѢЛУЙ.

20-го мая, въ 8 часовъ вечера, всѣ шесть батарей N-ой резервной артиллерійской бригады, направлявшейся въ лагерь, остановились на ночевку въ селѣ Мѣстечкахъ. Въ самый разгаръ суматохи, когда одни офицеры хлопотали около пушекъ, а другіе, съѣхавшись на площади около церковной ограды, выслушивали квартирьеровъ, изъ-за церкви показался верховой въ штатскомъ платьѣ и на странной лошади. Лошадь буланая и маленькая, съ красивой шеей и съ короткимъ хвостомъ, шла не прямо, а какъ-то бокомъ и выдѣлывала ногами маленькія, плясовыя движенія, какъ будто ее били хлыстомъ по ногамъ. Подъѣхавъ къ офицерамъ, верховой приподнялъ шляпу и сказалъ:

— Его превосходительство генералъ-лейтенантъ фонъ-Раббекъ, здѣшній помѣщикъ, приглашаетъ господъ офицеровъ пожаловать къ нему сію минуту на чай...

Лошадь поклонилась, затанцовала и попятилась бокомъ назадъ; верховой еще разъ приподнялъ шляпу и черезъ мгновеніе вмѣстѣ со своею странною лошадью исчезъ за церковью.

— Чортъ знаетъ что такое! — ворчали нѣкоторые офицеры, расходясь по квартирамъ. — Спать хочется, а тутъ этотъ фонъ-Раббекъ со своимъ чаемъ! Знаемъ, какой тутъ чай!

Офицерамъ всѣхъ шести батарей живо припомнился прошлогодній случай, когда во время маневровъ они, и съ ними офицеры одного казачьяго полка, такимъ же вотъ образомъ были приглашены на чай однимъ помѣщикомъ-графомъ, отставнымъ военнымъ; гостепріимный и радушный графъ обласкалъ ихъ, накормилъ, напоилъ и не пустилъ въ деревню на квартиры, а оставилъ ночевать у

себя. Все это, конечно, хорошо, лучшаго и не нужно, но бѣда въ томъ, что отставной военный обрадовался молодежи не въ мѣру. Онъ до самой зари разсказывалъ офицерамъ эпизоды изъ своего хорошаго прошлаго, водилъ ихъ по комнатамъ, показывалъ дорогія картины, старыя гравюры, рѣдкое оружіе, читалъ подлинныя письма высокопоставленныхъ людей, а измученные, утомленные офицеры слушали, глядѣли и, тоскуя по постелямъ, осторожно зѣвали въ рукава; когда, наконецъ, хозяинъ отпустилъ ихъ, спать было уже поздно.

Не таковъ ли и этотъ фонъ-Раббекъ? Таковъ или не таковъ, но дѣлать было нечего. Офицеры пріодѣлись, почистились и гурьбою пошли искать помѣщичій домъ. На площади, около церкви, имъ сказали, что къ господамъ можно пройти низомъ—за церковью спуститься къ рѣкѣ и идти берегомъ до самаго сада, а тамъ аллеи доведутъ куда нужно, или же вѐрхомъ—прямо отъ церкви по дорогѣ, которая въ полуверстѣ отъ деревни упирается въ господскіе амбары. Офицеры рѣшили идти верхомъ.

— Какой же это фонъ-Раббекъ?—разсуждали они дорогой. — Не тотъ ли, что подъ Плевной командовалъ N-й кавалерійской дивизіей?

— Нѣтъ, тотъ не фонъ-Раббекъ, а просто Раббе, и безъ фонъ.

— А какая хорошая погода!

У перваго господскаго амбара дорога раздваивалась: одна вѣтвь шла прямо и исчезала въ вечерней мглѣ, другая — вела вправо къ господскому дому. Офицеры повернули вправо и стали говорить тише... По обѣ стороны дороги тянулись каменные амбары съ красными крышами, тяжелые и суровые, очень похожіе на казармы уѣзднаго города. Впереди свѣтились окна господскаго дома.

— Господа, хорошая примѣта!—сказалъ кто-то изъ офицеровъ.—Нашъ сетеръ идетъ впереди всѣхъ; значитъ, чуетъ, что будетъ добыча!..

Шедшій впереди всѣхъ поручикъ Лобытко, высокій и плотный, но совсѣмъ безусый (ему было болѣе 25 лѣтъ, но на его кругломъ, сытомъ лицѣ почему-то еще не показывалась растительность), славившійся въ бригадѣ своимъ чутьемъ и умѣньемъ угадывать на разстояніи присутствіе женщинъ, обернулся и сказалъ:

— Да, здѣсь женщины должны быть. Это я инстинктомъ чувствую.

У порога дома офицеровъ встрѣтилъ самъ фонъ-Раббекъ, благообразный старикъ лѣтъ шестидесяти, одѣтый въ штатское платье. Пожимая гостямъ руки, онъ сказалъ, что онъ очень радъ и счастливъ, но убѣдительно, ради Бога, проситъ господъ офицеровъ извинить его за то, что онъ не пригласилъ ихъ къ себѣ ночевать; къ нему пріѣхали двѣ сестры съ дѣтьми, братья и сосѣди, такъ что у него не осталось ни одной свободной комнаты.

Генералъ пожималъ всѣмъ руки, просилъ извиненія и улыбался, но по лицу его видно было, что онъ былъ далеко не такъ радъ гостямъ, какъ прошлогодній графъ, и что пригласилъ онъ офицеровъ только потому, что этого, по его мнѣнію, требовало приличіе. И сами офицеры, идя вверхъ по мягкой лѣстницѣ и слушая его, чувствовали, что они приглашены въ этотъ домъ только потому, что было бы неловко не пригласить ихъ, и при видѣ лакеевъ, которые спѣшили зажигать огни внизу у входа и наверху въ передней, имъ стало казаться, что они внесли съ собою въ этотъ домъ безпокойство и тревогу. Тамъ, гдѣ, вѣроятно ради какого-нибудь семейнаго торжества или событія, съѣхались двѣ сестры съ дѣтьми, братья и сосѣди, можетъ ли понравиться присутствіе девятнадцати незнакомыхъ офицеровъ?

Наверху, у входа въ залу, гости были встрѣчены высокой и стройной старухой съ длиннымъ чернобровымъ лицомъ, очень похожей на императрицу Евгенію. Привѣтливо и величественно улыбаясь, она говорила, что рада и счастлива видѣть у себя гостей, и извинялась, что она и мужъ лишены на этотъ разъ возможности пригласить гг. офицеровъ къ себѣ ночевать. По ея красивой, величественной улыбкѣ, которая мгновенно исчезала съ лица всякій разъ, когда она отворачивалась зачѣмъ-нибудь отъ гостей, видно было, что на своемъ вѣку она видѣла много гг. офицеровъ, что ей теперь не до нихъ, а если она пригласила ихъ къ себѣ въ домъ и извиняется, то только потому, что этого требуютъ ея воспитаніе и положеніе въ свѣтѣ.

Въ большой столовой, куда вошли офицеры, на одномъ краю длиннаго стола сидѣло за чаемъ съ десятокъ мужчинъ и дамъ, пожилыхъ и молодыхъ. За ихъ стульями,

окутанная легкимъ сигарнымъ дымомъ, темнѣла группа мужчинъ; среди нея стоялъ какой-то худощавый молодой человѣкъ съ рыжими бачками и, картавя, о чемъ-то громко говорилъ по-англійски. Изъ-за группы, сквозь дверь, видна была свѣтлая комната съ голубою мебелью.

— Господа, васъ такъ много, что представлять нѣтъ никакой возможности! — сказалъ громко генералъ, стараясь казаться очень веселымъ.—Знакомьтесь, господа, сами попросту!

Офицеры—одни съ очень серьезными и даже строгими лицами, другіе, натянуто улыбаясь, и всѣ вмѣстѣ чувствуя себя очень неловко, кое-какъ раскланялись и сѣли за чай.

Больше всѣхъ чувствовалъ себя неловко штабсъ-капитанъ Рябовичъ, маленькій, сутуловатый офицеръ, въ очкахъ и съ бакенами, какъ у рыси. Въ то время, какъ одни изъ его товарищей дѣлали серьезныя лица, а другіе натянуто улыбались, его лицо, рысьи бакены и очки какъ бы говорили: «Я самый робкій, самый скромный и самый безцвѣтный офицеръ во всей бригадѣ!» На первыхъ порахъ, входя въ столовую и потомъ сидя за чаемъ, онъ никакъ не могъ остановить своего вниманія на какомъ-нибудь одномъ лицѣ или предметѣ. Лица, платья, граненые графинчики съ коньякомъ, паръ отъ стакановъ, лѣпные карнизы—все это сливалось въ одно общее, громадное впечатлѣніе, вселявшее въ Рябовича тревогу и желаніе спрятать свою голову. Подобно чтецу, впервые выступающему передъ публикой, онъ видѣлъ все, что было у него передъ глазами, но видимое какъ-то плохо понималось (у физіологовъ такое состояніе, когда субъектъ видитъ, но не понимаетъ, называется «психической слѣпотой»). Немного же погодя, освоившись, Рябовичъ прозрѣлъ и сталъ наблюдать. Ему, какъ человѣку робкому и необщественному, прежде всего бросилось въ глаза то, чего у него никогда не было, а именно—необыкновенная храбрость новыхъ знакомыхъ. Фонъ-Раббекъ, его жена, двѣ пожилыя дамы, какая-то барышня въ сиреневомъ платьѣ и молодой человѣкъ съ рыжими бачками, оказавшійся младшимъ сыномъ Раббека, очень хитро, точно у нихъ ранѣе была репетиція, размѣстились среди офицеровъ и тотчасъ же подняли горячій споръ, въ который не могли не вмѣшаться гости. Сиреневая барышня стала горячо доказывать, что артиллеристамъ живется гораздо легче, чѣмъ

кавалеріи и пѣхотѣ, а Раббекъ и пожилыя дамы утверждали противное. Начался перекрестный разговоръ. Рябовичъ глядѣлъ на сиреневую барышню, которая очень горячо спорила о томъ, что было для нея чуждо и вовсе не интересно, и слѣдилъ, какъ на ея лицѣ появлялись и исчезали неискреннія улыбки.

Фонъ-Раббекъ и его семья искусно втягивали офицеровъ въ споръ, а сами между тѣмъ зорко слѣдили за ихъ стаканами и ртами, всѣ ли они пьютъ, у всѣхъ ли сладко, и отчего такой-то не ѣстъ бисквитовъ или не пьетъ коньяку. И чѣмъ больше Рябовичъ глядѣлъ и слушалъ, тѣмъ больше нравилась ему эта неискренняя, но прекрасно дисциплинированная семья.

Послѣ чая офицеры пошли въ залъ. Чутье не обмануло поручика Лобытко: въ залѣ было много барышенъ и молодыхъ дамъ. Сетеръ-поручикъ уже стоялъ около одной очень молоденькой блондинки въ черномъ платьѣ и, ухарски изогнувшись, точно опираясь на невидимую саблю, улыбался и кокетливо игралъ плечами. Онъ говорилъ, вѣроятно, какой-нибудь очень интересный вздоръ, потому что блондинка снисходительно глядѣла на его сытое лицо и равнодушно спрашивала: «Неужели?» И по этому безстрастному «неужели» сетеръ, если бы былъ уменъ, могъ бы заключить, что ему едва ли крикнутъ «пиль!»

Загремѣлъ рояль; грустный вальсъ изъ залы полетѣлъ въ настежь открытыя окна, и всѣ почему-то вспомнили, что за окнами теперь весна, майскій вечеръ. Всѣ почувствовали, что въ воздухѣ пахнетъ молодой листвой тополя, розами и сиренью. Рябовичъ, въ которомъ, подъ вліяніемъ музыки, заговорилъ выпитый коньякъ, покосился на окно, улыбнулся и сталъ слѣдить за движеніями женщинъ, и ему уже казалось, что запахъ розъ, тополя и сирени идетъ не изъ сада, а отъ женскихъ лицъ и платьевъ.

Сынъ Раббека пригласилъ какую-то тощую дѣвицу и сдѣлалъ съ нею два тура. Лобытко, скользя по паркету, подлетѣлъ къ сиреневой барышнѣ и понесся съ нею по залѣ. Танцы начались... Рябовичъ стоялъ около двери среди нетанцующихъ и наблюдалъ. Во всю свою жизнь онъ ни разу не танцовалъ и ни разу въ жизни ему не приходилось обнимать талію порядочной женщины. Ему ужасно нравилось, когда человѣкъ у всѣхъ на глазахъ бралъ незнако-

мую дѣвушку за талію и подставлялъ ей для руки свое плечо, но вообразить себя въ положеніи этого человѣка онъ никакъ не могъ. Было время, когда онъ завидовалъ храбрости и прыти своихъ товарищей и болѣлъ душою; сознаніе, что онъ робокъ, сутуловатъ и безцвѣтенъ, что у него длинная талія и рысьи бакены, глубоко оскорбляло его, но съ лѣтами это сознаніе стало привычнымъ, и теперь онъ, глядя на танцующихъ или громко говорящихъ, уже не завидовалъ, а только грустно умилялся.

Когда началась кадриль, молодой фонъ-Раббекъ подошелъ къ нетанцующимъ и пригласилъ двухъ офицеровъ сыграть на билліардѣ. Офицеры согласились и пошли съ нимъ изъ залы. Рябовичъ отъ нечего дѣлать, желая принять хоть какое-нибудь участіе въ общемъ движеніи, поплелся за ними. Изъ залы они прошли въ гостиную, потомъ въ узкій стеклянный коридоръ, отсюда въ комнату, гдѣ, при появленіи ихъ, быстро вскочили съ дивановъ три сонныя лакейскія фигуры. Наконецъ, пройдя цѣлый рядъ комнатъ, молодой Раббекъ и офицеры вошли въ небольшую комнату, гдѣ стоялъ билліардъ. Началась игра.

Рябовичъ, никогда не игравшій ни во что, кромѣ картъ, стоялъ возлѣ билліарда и равнодушно глядѣлъ на игроковъ, а они, въ разстегнутыхъ сюртукахъ, съ кіями въ рукахъ, шагали, каламбурили и выкрикивали непонятныя слова. Игроки не замѣчали его, и только изрѣдка кто-нибудь изъ нихъ, толкнувъ его локтемъ, или зацѣпивъ нечаянно кіемъ, оборачивался и говорилъ: «pardon!» Первая партія еще не кончилась, а ужъ онъ соскучился и ему стало казаться, что онъ лишній и мѣшаетъ... Его потянуло обратно въ залу, и онъ вышелъ.

На обратномъ пути ему пришлось пережить маленькое приключеніе. На полдорогѣ онъ замѣтилъ, что идетъ не туда, куда нужно. Онъ отлично помнилъ, что на пути ему должны встрѣтиться три сонныя лакейскія фигуры, но прошелъ онъ пять-шесть комнатъ, эти фигуры точно сквозь землю провалились. Замѣтивъ свою ошибку, онъ прошелъ немного назадъ взялъ вправо и очутился въ полутемномъ кабинетѣ, какого не видалъ, когда шелъ въ билліардную; постоявъ здѣсь полминуты, онъ рѣшительно отворилъ первую попавшуюся ему на глаза дверь и вошелъ въ совершенно *темную* комнату. Прямо видна была дверная щель, въ ко-

торую билъ яркій свѣтъ; изъ-за двери доносились глухіе звуки грустной мазурки. Тутъ такъ же, какъ и въ залѣ, окна были открыты настежь и пахло тополемъ, сиренью и розами...

Рябовичъ остановился въ раздумьи... Въ это время неожиданно для него послышались торопливые шаги и шуршанье платья, женскій задыхающійся голосъ прошепталъ: «наконецъ-то!» и двѣ мягкія, пахучія, несомнѣнно женскія руки охватили его шею; къ его щекѣ прижалась теплая щека и одновременно раздался звукъ поцѣлуя. Но тотчасъ же цѣловавшая слегка вскрикнула и, какъ показалось Рябовичу, съ отвращеніемъ отскочила отъ него. Онъ тоже едва не вскрикнулъ и бросился къ яркой дверной щели...

Когда онъ вернулся въ залу, сердце его билось. и руки дрожали такъ замѣтно, что онъ поторопился спрятать ихъ за спину. На первыхъ порахъ его мучили стыдъ и страхъ, что весь залъ знаетъ о томъ, что его сейчасъ обнимала и цѣловала женщина, онъ ежился и безпокойно оглядывался по сторонамъ, но, убѣдившись, что въ залѣ попрежнему преспокойно пляшутъ и болтаютъ, онъ весь предался новому, до сихъ поръ ни разу въ жизни неиспытанному ощущенію. Съ нимъ дѣлалось что-то странное... Его шея, которую только-что обхватывали мягкія пахучія руки, казалось ему, была вымазана масломъ; на щекѣ около лѣваго уса, куда поцѣловала незнакомка, дрожалъ легкій, пріятный холодокъ, какъ отъ мятныхъ капель, и чѣмъ больше онъ теръ это мѣсто, тѣмъ сильнѣе чувствовался этотъ холодокъ, весь же онъ отъ головы до пятъ былъ полонъ новаго страннаго чувства, которое все росло и росло... Ему захотѣлось плясать, говорить, бѣжать въ садъ, громко смѣяться... Онъ совсѣмъ забылъ, что онъ сутуловатъ и безцвѣтенъ, что у него рысьи бакены и «неопредѣленная наружность» (такъ однажды была названа его наружность въ дамскомъ разговорѣ, который онъ нечаянно подслушалъ). Когда мимо него проходила жена Раббека, онъ улыбнулся ей такъ широко и ласково, что она остановилась и вопросительно поглядѣла на него.

— Вашъ домъ мнѣ ужасно нравится!..—сказалъ онъ, поправляя очки.

Генеральша улыбнулась и разсказала, что этотъ домъ принадлежалъ еще ея отцу, потомъ она спросила, живы ли

его родители, давно ли онъ на службѣ, отчего такъ тощъ и проч. Получивъ отвѣты на свои вопросы, она пошла дальше, а онъ послѣ разговора съ нею сталъ улыбаться еще ласковѣе и думать, что его окружаютъ великолѣпнѣйшіе люди...

За ужиномъ Рябовичъ машинально ѣлъ все, что ему предлагали, пилъ и, не слыша ничего, старался объяснить себѣ недавнее приключеніе... Это приключеніе носило характеръ таинственный и романическій, но объяснить его было не трудно. Навѣрное, какая-нибудь барышня или дама назначила кому-нибудь свиданіе въ темной комнатѣ, долго ждала и, будучи нервно возбуждена, приняла Рябовича за своего героя; это тѣмъ болѣе вѣроятно, что Рябовичъ, проходя черезъ темную комнату, остановился въ раздумьи, то-есть имѣлъ видъ человѣка, который тоже чего-то ждетъ... Такъ и объяснилъ себѣ Рябовичъ полученный поцѣлуй.

«А кто же она?—думалъ онъ, оглядывая женскія лица.—Она должна быть молода, потому что старыя не ходятъ на свиданія. Затѣмъ, что она интеллигентна, чувствовалось по шороху платья, по запаху, по голосу...»

Онъ остановилъ взглядъ на сиреневой барышнѣ, и она ему очень понравилась; у нея были красивыя плечи и руки, умное лицо и прекрасный голосъ. Рябовичу, глядя на нее, захотѣлось, чтобы именно она, а не кто другая, была тою незнакомкой... Но она какъ-то неискренно засмѣялась и поморщила свой длинный носъ, который показался ему старообразнымъ; тогда онъ перевелъ взглядъ на блондинку въ черномъ платьѣ. Эта была моложе, попроще и искреннѣе, имѣла прелестные виски и очень красиво пила изъ рюмки. Рябовичу теперь захотѣлось, чтобы она была тою. Но скоро онъ нашелъ, что ея лицо плоско, и перевелъ глаза на ея сосѣдку...

«Трудно угадать,—думалъ онъ, мечтая.—Если отъ сиреневой взять только плечи и руки, прибавить виски блондинки, а глаза взять у этой, что сидитъ налѣво отъ Лобытко, то...»

Онъ сдѣлалъ въ умѣ сложеніе и у него получился образъ дѣвушки, цѣловавшей его, тотъ образъ, котораго онъ хотѣлъ, но никакъ не могъ найти за столомъ...

Послѣ ужина гости, сытые и охмелѣвшіе, стали прощаться и благодарить. Хозяева опять начали извиняться, что не *могутъ* оставить ихъ у себя ночевать.

— Очень, очень радъ, господа!—говорилъ генералъ, и на этотъ разъ искренно (вѣроятно оттого, что, провожая гостей, люди бываютъ гораздо искреннѣе и добрѣе, чѣмъ встрѣчая).—Очень радъ! Милости просимъ на обратномъ пути! Безъ церемоніи! Куда же вы? Хотите вѣрхомъ идти? Нѣтъ, идите черезъ садъ, низомъ—здѣсь ближе.

Офицеры вышли въ садъ. Послѣ яркаго свѣта и шума въ саду показалось имъ очень темно и тихо. До самой калитки шли они молча. Были они полупьяны, веселы, довольны, но потемки и тишина заставили ихъ на минуту призадуматься. Каждому изъ нихъ, какъ Рябовичу, вѣроятно, пришла одна и та же мысль: настанетъ ли и для нихъ когда-нибудь время, когда они, подобно Раббеку, будутъ имѣть большой домъ, семью, садъ, когда и они будутъ имѣть также возможность, хотя бы неискренно, ласкать людей, дѣлать ихъ сытыми, пьяными, довольными?

Выйдя изъ калитки, они всѣ сразу заговорили и безъ причины стали громко смѣяться. Теперь ужъ они шли по тропинкѣ, которая спускалась внизъ къ рѣкѣ и потомъ бѣжала у самой воды, огибая прибрежные кусты, промоины и вербы, нависшія надъ водой. Берегъ и тропинка были еле видны, а другой берегъ весь тонулъ въ потемкахъ. Кое-гдѣ на темной водѣ отражались звѣзды; онѣ дрожали и расплывались—и только по этому можно было догадаться, что рѣка текла быстро. Было тихо. На томъ берегу стонали сонные кулики, а на этомъ, въ одномъ изъ кустовъ, не обращая никакого вниманія на толпу офицеровъ, громко заливался соловей. Офицеры постояли около куста, потрогали его, а соловей все пѣлъ.

— Каковъ?—послышались одобрительные возгласы.—Мы стоимъ возлѣ, а онъ ноль вниманія! Этакая шельма!

Въ концѣ пути тропинка шла вверхъ и около церковной ограды впадала въ дорогу. Здѣсь офицеры, утомленные ходьбой на гору, посидѣли, покурили. На другомъ берегу показался красный, тусклый огонекъ, и они отъ нечего дѣлать долго рѣшали, костеръ ли это, огонь ли въ окнѣ, или что-нибудь другое... Рябовичъ тоже глядѣлъ на огонь, и ему казалось, что этотъ огонь улыбался и подмигивалъ ему съ такимъ видомъ, какъ будто зналъ о поцѣлуѣ.

Придя на квартиру, Рябовичъ поскорѣе раздѣлся и легъ. Въ одной избѣ съ нимъ остановились Лобытко и поручикъ

Мерзляковъ, тихій, молчаливый малый, считавшійся въ своемъ кружкѣ образованнымъ офицеромъ и всегда, гдѣ только было возможно, читавшій «Вѣстникъ Европы», который возилъ всюду съ собою. Лобытко раздѣлся, долго ходилъ изъ угла въ уголъ, съ видомъ человѣка, который не удовлетворенъ, и послалъ денщика за пивомъ. Мерзляковъ легъ, поставилъ у изголовья свѣчу и погрузился въ чтеніе «Вѣстника Европы».

«Кто же она?»—думалъ Рябовичъ, глядя на закопченый потолокъ.

Шея его все еще, казалось ему, была вымазана масломъ и около рта чувствовался холодокъ, какъ отъ мятныхъ капель. Въ воображеніи его мелькали плечи и руки сиреневой барышни, виски и искренніе глаза блондинки въ черномъ, таліи, платья, броши. Онъ старался остановить свое вниманіе на этихъ образахъ, а они прыгали, расплывались, мигали. Когда на широкомъ черномъ фонѣ, который видитъ каждый человѣкъ, закрывая глаза, совсѣмъ исчезали эти образы, онъ начиналъ слышать торопливые шаги, шорохъ платья, звукъ поцѣлуя и—сильная, безпричинная радость овладѣвала имъ... Предаваясь этой радости, онъ слышалъ, какъ денщикъ вернулся и доложилъ, что пива нѣтъ. Лобытко страшно возмутился и опять зашагалъ.

— Ну, не идіотъ ли?—говорилъ онъ, останавливаясь то передъ Рябовичемъ, то передъ Мерзляковымъ.—Какимъ надо быть болваномъ и дуракомъ, чтобы не найти пива! А? Ну, не каналья ли?

— Конечно, здѣсь нельзя найти пива,—сказалъ Мерзляковъ, не отрывая глазъ отъ «Вѣстника Европы».

— Да? Вы такъ думаете?—приставалъ Лобытко.—Господи, Боже мой, забросьте меня на луну, такъ я сейчасъ же найду вамъ и пива, и женщинъ! Вотъ пойду сейчасъ и найду... Назовите меня подлецомъ, если не найду!

Онъ долго одѣвался и натягивалъ большіе сапоги, потомъ молча выкурилъ папироску и пошелъ.

— Раббекъ, Граббекъ, Лаббекъ,—забормоталъ онъ, останавливаясь въ сѣняхъ.—Не хочется идти одному, чортъ возьми. Рябовичъ, не хотите ли променажъ сдѣлать? А?

Не получивъ отвѣта, онъ вернулся, медленно раздѣлся и легъ. Мерзляковъ вздохнулъ, сунулъ въ сторону «Вѣстникъ Европы» и потушилъ свѣчу.

— Н-да-съ...—пробормоталъ Лобытко, закуривая въ потемкахъ папиросу.

Рябовичъ укрылся съ головой и, свернувшись калачикомъ, сталъ собирать въ воображеніи мелькающіе образы и соединять ихъ въ одно цѣлое. Но у него ничего не получилось. Скоро онъ уснулъ и послѣдней его мыслью было то, что кто-то обласкалъ и обрадовалъ его, что въ его жизни совершилось что-то необыкновенное, глупое, но чрезвычайно хорошее и радостное. Эта мысль не оставляла его и во снѣ.

Когда онъ проснулся, ощущенія масла на шеѣ и мятнаго холодка около губъ ужъ не было, но радость по-вчерашнему волной ходила въ груди. Онъ съ восторгомъ поглядѣлъ на оконныя рамы, позолоченныя восходящимъ солнцемъ, и прислушался къ движенію, происходившему на улицѣ. У самыхъ оконъ громко разговаривали. Батарейный командиръ Рябовича, Лебедецкій, только-что догнавшій бригаду, очень громко, отъ непривычки говорить тихо, бесѣдовалъ со своимъ фельдфебелемъ.

— А еще что?—кричалъ командиръ.

— При вчерашней перековкѣ, ваше высокоблагородіе, Голубчика заковали. Фельдшеръ приложилъ глины съ уксусомъ. Ведутъ теперь въ поводу сторонкой. А также, ваше высокоблагородіе, вчерась мастеровой Артемьевъ напился, и поручикъ велѣли посадить его на передокъ запасного лафета.

Фельдфебель доложилъ еще, что Карповъ забылъ новые шнуры къ трубамъ и колья къ палаткамъ, и что гг. офицеры вчерашній вечеръ изволили быть въ гостяхъ у генерала фонъ-Раббека. Среди разговора въ окнѣ показалась рыжебородая голова Лебедецкаго. Онъ пощурилъ близорукіе глаза на сонныя физіономіи офицеровъ и поздоровался.

— Все благополучно?—спросилъ онъ.

— Коренная подсѣдельная набила себѣ холку,—отвѣтилъ Лобытко, зѣвая:—новымъ хомутомъ.

Командиръ вздохнулъ, подумалъ и сказалъ громко:

— А я еще думаю къ Александрѣ Евграфовнѣ съѣздить. Надо ее провѣдать. Ну, прощайте. Къ вечеру я васъ догоню.

Черезъ четверть часа бригада тронулась въ путь. Когда она двигалась по дорогѣ мимо господскихъ амбаровъ, Ря-

бовичъ поглядѣлъ вправо на домъ. Окна были закрыты жалюзи. Очевидно, въ домѣ всѣ еще спали. Спала и та, которая вчера цѣловала Рябовича. Онъ захотѣлъ вообразить ее спящею. Открытое настежь окно спальни, зеленыя вѣтки, заглядывающія въ это окно, утреннюю свѣжесть, запахъ тополя, сирени и розъ, кровать, стулъ и на немъ платье, которое вчера шуршало, туфельки, часики на столѣ—все это нарисовалъ онъ себѣ ясно и отчетливо, но черты лица, милая сонная улыбка, именно то, что важно и характерно, ускользало отъ его воображенія, какъ ртуть изъ-подъ пальца. Проѣхавъ полверсты, онъ оглянулся назадъ: желтая церковь, домъ, рѣка и садъ были залиты свѣтомъ; рѣка со своими ярко-зелеными берегами, отражая въ себѣ голубое небо и кое-гдѣ серебрясь на солнцѣ, была очень красива. Рябовичъ взглянулъ въ послѣдній разъ на Мѣстечки, и ему стало такъ грустно, какъ будто онъ разставался съ чѣмъ-то очень близкимъ и роднымъ.

А на пути передъ глазами лежали однѣ только давно знакомыя, неинтересныя картины... Направо и налѣво поля молодой ржи и гречихи съ прыгающими грачами; взглянешь впередъ—видишь пыль и затылки, оглянешься назадъ—видишь ту же пыль и лица... Впереди всѣхъ шагаютъ четыре человѣка съ шашками—это авангардъ. За ними толпа пѣсельниковъ, а за пѣсельниками трубачи верхами. Авангардъ и пѣсельники, какъ факельщики въ похоронной процессіи, то и дѣло забываютъ объ уставномъ разстояніи и заходятъ далеко впередъ... Рябовичъ находится у перваго орудія пятой батареи. Ему видны всѣ четыре батареи, идущія впереди его. Для человѣка невоеннаго эта длинная, тяжелая вереница, какою представляется движущаяся бригада, кажется мудреной и мало понятной кашей; непонятно, почему около одного орудія столько людей и почему его везутъ столько лошадей, опутанныхъ странной сбруей, точно оно и въ самомъ дѣлѣ такъ страшно и тяжело. Для Рябовича же все понятно, а потому крайне неинтересно. Онъ давно уже знаетъ, для чего впереди каждой батареи рядомъ съ офицеромъ ѣдетъ солидный фейерверкеръ и почему онъ называется уноснымъ; вслѣдъ за спиной этого фейерверкера видны ѣздовые перваго, потомъ средняго выноса; Рябовичъ знаетъ, что лѣвыя лошади, на которыхъ они сидятъ, *называются* подсѣдельными, а правыя подручными—это

очень неинтересно. За ѣздовымъ слѣдуютъ двѣ коренныя лошади. На одной изъ нихъ сидитъ ѣздовой со вчерашней пылью на спинѣ и съ неуклюжей, очень смѣшной деревяшкой на правой ногѣ; Рябовичъ знаетъ назначеніе этой деревяшки, и она не кажется ему смѣшною. Ѣздовые, всѣ, сколько ихъ есть, машинально взмахиваютъ нагайками и изрѣдка покрикиваютъ. Само орудіе некрасиво. На передкѣ лежали мѣшки съ овсомъ, прикрытые брезентомъ, а орудіе все завѣшано чайниками, солдатскими сумками, мѣшочками и имѣетъ видъ маленькаго безвреднаго животнаго, которое неизвѣстно для чего окружили люди и лошади. По бокамъ его, съ подвѣтреной стороны, размахивая руками, шагаютъ шесть человѣкъ прислуги. За орудіемъ опять начинаются новые уносные, ѣздовые, коренные, а за ними тянется новое орудіе, такое же некрасивое и невнушительное, какъ и первое. За вторымъ слѣдуетъ третье, четвертое; около четвертаго офицеръ и т. д. Всѣхъ батарей въ бригадѣ шесть, а въ каждой батареѣ по четыре орудія. Вереница тянется на полверсты. Заканчивается она обозомъ, около котораго задумчиво, понуривъ свою длинноухую голову, шагаетъ въ высшей степени симпатичная рожа—оселъ Магаръ, вывезенный однимъ батарейнымъ командиромъ изъ Турціи.

Рябовичъ равнодушно глядѣлъ впередъ и назадъ, на затылки и на лица; въ другое время онъ задремалъ бы, но теперь онъ весь погрузился въ свои новыя, пріятныя мысли. Сначала, когда бригада только-что двинулась въ путь, онъ хотѣлъ убѣдить себя, что исторія съ поцѣлуемъ можетъ быть интересна только какъ маленькое, таинственное приключеніе, что по существу она ничтожна и думать о ней серьезно, по меньшей мѣрѣ, глупо; но скоро онъ махнулъ на логику рукой и отдался мечтамъ... То онъ воображалъ себя въ гостиной у Раббека, рядомъ съ дѣвушкой, похожей на сиреневую барышню и на блондинку въ черномъ; то закрывалъ глаза и видѣлъ себя съ другою, совсѣмъ незнакомою дѣвушкою съ очень неопредѣленными чертами лица; мысленно онъ говорилъ, ласкалъ, склонялся къ плечу, представлялъ себѣ войну и разлуку, потомъ встрѣчу, ужинъ съ женой, дѣтей...

— Къ валькамъ!—раздавалась команда всякій разъ при спускѣ съ горы.

Онъ тоже кричалъ «къ валькамъ!» и боялся, чтобы этотъ

крикъ не порвалъ его мечты и не вызвалъ бы его къ дѣйствительности...

Проѣзжая мимо какого-то помѣщичьяго имѣнія, Рябовичъ поглядѣлъ черезъ палисадникъ въ садъ. На глаза ему попалась длинная, прямая, какъ линейка, аллея, посыпанная желтымъ пескомъ и обсаженная молодыми березками... Съ жадностью размечтавшагося человѣка онъ представилъ себѣ маленькія женскія ноги, идущія по желтому песку, и совсѣмъ неожиданно въ его воображеніи ясно вырисовалась та, которая цѣловала его и которую онъ сумѣлъ представить себѣ вчера за ужиномъ. Этотъ образъ остановился въ его мозгу и ужъ не оставлялъ его.

Въ полдень, сзади, около обоза, раздался крикъ:

— Смирно! Глаза налѣво! Гг. офицеры!

Въ коляскѣ, на парѣ бѣлыхъ лошадей, прокатилъ бригадный генералъ. Онъ остановился около второй батареи и закричалъ что-то такое, чего никто не понялъ. Къ нему поскакали нѣсколько офицеровъ, въ томъ числѣ и Рябовичъ.

— Ну, какъ? Что?—спросилъ генералъ, моргая красными глазами.—Есть больные?

Получивъ отвѣты, генералъ, маленькій и тощій, пожевалъ, подумалъ и сказалъ, обращаясь къ одному изъ офицеровъ:

— У васъ коренной ѣздовой третьяго орудія снялъ наколѣнникъ и повѣсилъ его, каналья, на передокъ. Взыщите съ него.

Онъ поднялъ глаза на Рябовича и продолжалъ:

— А у васъ, кажется, нашильники слишкомъ длинны...

Сдѣлавъ еще нѣсколько скучныхъ замѣчаній, генералъ поглядѣлъ на Лобытко и усмѣхнулся.

— А у васъ, поручикъ Лобытко, сегодня очень грустный видъ,—сказалъ онъ.—По Лопуховой скучаете? А? Господа, онъ по Лопуховой соскучился!

Лопухова была очень полная и очень высокая дама, давно уже перевалившая за сорокъ. Генералъ, питавшій пристрастіе къ крупнымъ особамъ, какого бы возраста онѣ ни были, подозрѣвалъ въ этомъ пристрастіи и своихъ офицеровъ. Офицеры почтительно улыбнулись. Бригадный, довольный тѣмъ, что сказалъ что-то очень смѣшное и ядовитое, громко захохоталъ, коснулся кучерской спины и сдѣлалъ подъ козырекъ. Коляска покатила дальше...

«Все, о чемъ я теперь мечтаю и что мнѣ теперь кажется невозможнымъ и неземнымъ, въ сущности очень обыкно-

венно,—думалъ Рябовичъ, глядя на облака пыли, бѣжавшія за генеральской коляской. — Все это очень обыкновенно и переживается всѣми... Напримѣръ, этотъ генералъ въ свое время любилъ, теперь женатъ, имѣетъ дѣтей. Капитанъ Вахтеръ тоже женатъ и любимъ, хотя у него очень некрасивый красный затылокъ и нѣтъ таліи... Сальмановъ грубъ и слишкомъ татаринъ, но у него былъ романъ, кончившійся женитьбой... Я такой же, какъ и всѣ, и переживу рано или поздно то же самое, что и всѣ...»

И мысль, что онъ обыкновенный человѣкъ и что жизнь его обыкновенна, обрадовала и подбодрила его. Онъ уже смѣло, какъ хотѣлъ, рисовалъ *ее* и свое счастье и ничѣмъ не стѣснялъ своего воображенія...

Когда вечеромъ бригада прибыла къ мѣсту и офицеры отдыхали въ палаткахъ, Рябовичъ, Мерзляковъ и Лобытко сидѣли вокругъ сундука и ужинали. Мерзляковъ не спѣшалъ и, медленно жуя, читалъ «Вѣстникъ Европы», который держалъ на колѣняхъ. Лобытко безъ умолку говорилъ и подливалъ въ стаканъ пиво, а Рябовичъ, у котораго отъ цѣлодневныхъ мечтаній стоялъ туманъ въ головѣ, молчалъ и пилъ. Послѣ трехъ стакановъ онъ охмелѣлъ, ослабѣлъ и ему неудержимо захотѣлось подѣлиться съ товарищами своимъ новымъ ощущеніемъ.

— Странный случился со мной случай у этихъ Раббековъ...—началъ онъ, стараясь придать своему голосу равнодушный и насмѣшливый тонъ. — Пошелъ я, знаете ли, въ билліардную...

Онъ сталъ разсказывать очень подробно исторію съ поцѣлуемъ и черезъ минуту умолкъ... Въ эту минуту онъ разсказалъ все, и его страшно удивило, что для разсказа понадобилось такъ мало времени. Ему казалось, что о поцѣлуѣ можно разсказывать до самаго утра. Выслушавъ его, Лобытко, много лгавшій, а потому никому не вѣрившій, недовѣрчиво посмотрѣлъ на него и усмѣхнулся. Мерзляковъ пошевелилъ бровями и покойно, не отрывая глазъ отъ «Вѣстника Европы», сказалъ:

— Богъ знаетъ что!... Бросается на шею, не окликнувъ... Должно-быть, психопатка какая-нибудь.

— Да, должно-быть, психопатка...—согласился Рябовичъ.

— Подобный же случай былъ однажды со мной...—сказалъ Лобытко, дѣлая испуганные глаза.—Ѣду я въ прош-

ломъ году въ Ковно... Беру билетъ II класса... Вагонъ биткомъ набитъ и спать невозможно. Даю кондуктору полтину... Тотъ беретъ мой багажъ и ведетъ меня въ купэ... Ложусь и укрываюсь одѣяломъ... Темно, понимаете ли. Вдругъ слышу, кто-то трогаетъ меня за плечо и дышитъ мнѣ на лицо. Я этакъ сдѣлалъ движеніе рукой и чувствую чей-то локоть... Открываю глаза и, можете себѣ представить,— женщина! Черные глаза, губы красныя, какъ хорошая семга, ноздри дышатъ страстью, грудь—буфера.

— Позвольте,—перебилъ покойно Мерзляковъ:—насчетъ груди я понимаю, но какъ вы могли увидѣть губы, если было темно?

Лобытко сталъ изворачиваться и смѣяться надъ несообразительностью Мерзлякова. Это покоробило Рябовича. Онъ отошелъ отъ сундука, легъ и далъ себѣ слово никогда не откровенничать.

Наступила лагерная жизнь... Потекли дни, очень похожіе другъ на друга. Во всѣ эти дни Рябовичъ чувствовалъ, мыслилъ и держалъ себя, какъ влюбленный. Каждое утро, когда денщикъ подавалъ ему умываться, онъ, обливая голову холодной водой, всякій разъ вспоминалъ, что въ его жизни есть что-то хорошее и теплое.

Вечерами, когда товарищи начинали разговоръ о любви и о женщинахъ, онъ прислушивался, подходилъ ближе и принималъ такое выраженіе, какое бываетъ на лицахъ солдатъ, когда они слушаютъ разсказъ о сраженіи, въ которомъ сами участвовали. А въ тѣ вечера, когда подгулявшее оберъ-офицерство, съ сетеромъ-Лобытко во главѣ, дѣлало донъ-жуанскіе набѣги на «слободку», Рябовичъ, принимавшій участіе въ набѣгахъ, всякій разъ бывалъ грустенъ, чувствовалъ себя глубоко виноватымъ и мысленно просилъ у *нея* прощенія... Въ часы бездѣлья или въ безсонныя ночи, когда ему приходила охота вспоминать дѣтство, отца, мать, вообще родное и близкое, онъ непремѣнно вспоминалъ и Мѣстечки, странную лошадь, Раббека, его жену, похожую на императрицу Евгенію, темную комнату, яркую щель въ двери...

31-го августа онъ возвращался изъ лагеря, но уже не со всей бригадой, а съ двумя батареями. Всю дорогу онъ мечталъ и волновался, точно ѣхалъ на родину. Ему страстно *хотѣлось опять* увидѣть странную лошадь, церковь, не-

искреннюю семью Раббековъ, темную комнату; «внутренній голосъ», такъ часто обманывающій влюбленныхъ, шепталъ ему почему-то, что онъ непремѣнно увидитъ ее... И его мучили вопросы: какъ онъ встрѣтится съ ней? о чемъ будетъ съ ней говорить? не забыла ли она о поцѣлуѣ? На худой конецъ, думалъ онъ, если бы даже она не встрѣтилась ему, то для него было бы пріятно уже одно то, что онъ пройдется по темной комнатѣ и вспомнитъ...

Къ вечеру на горизонтѣ показались знакомая церковь и бѣлые амбары. У Рябовича забилось сердце... Онъ не слушалъ офицера, ѣхавшаго рядомъ и что-то говорившаго ему, про все забылъ и съ жадностью всматривался въ блестѣвшую вдали рѣку, въ крышу дома, въ голубятню, надъ которой кружились голуби, освѣщенные заходившимъ солнцемъ.

Подъѣзжая къ церкви и потомъ выслушивая квартирьера, онъ ждалъ каждую секунду, что изъ-за ограды покажется верховой и пригласитъ офицеровъ къ чаю, но... докладъ квартирьеровъ кончился, офицеры спѣшились и побрели въ деревню, а верховой не показывался...

«Сейчасъ Раббекъ узнаетъ отъ мужиковъ, что мы пріѣхали, и пришлетъ за нами»,—думалъ Рябовичъ, входя въ избу и не понимая, зачѣмъ это товарищъ зажигаетъ свѣчу и зачѣмъ денщики спѣшатъ ставить самовары...

Тяжелое безпокойство овладѣло имъ. Онъ легъ, потомъ всталъ и поглядѣлъ въ окно, не ѣдетъ ли верховой? Но верхового не было. Онъ опять легъ, черезъ полчаса всталъ и, не выдержавъ безпокойства, вышелъ на улицу и зашагалъ къ церкви. На площади, около ограды, было темно и пустынно... Какіе-то три солдата стояли рядомъ у самаго спуска и молчали. Увидѣвъ Рябовича, они встрепенулись и отдали честь. Онъ откозырялъ имъ въ отвѣтъ и сталъ спускаться внизъ по знакомой тропинкѣ.

На томъ берегу все небо было залито багровой краской: восходила луна; какія-то двѣ бабы, громко разговаривая, ходили по огороду и рвали капустные листья; за огородами темнѣло нѣсколько избъ... А на этомъ берегу было все то же, что и въ маѣ: тропинка, кусты, вербы, нависшія надъ водой... только не слышно было храбраго соловья, да не пахло тополемъ и молодой травой.

Дойдя до сада. Рябовичъ заглянулъ въ калитку. Въ саду было темно и тихо... Видны были только бѣлые стволы

ближайшихъ березъ, да кусочекъ аллеи, все же остальное мѣшалось въ черную массу. Рябовичъ жадно вслушивался и всматривался, но, простоявъ съ четверть часа и не дождавшись ни звука, ни огонька, поплелся назадъ...

Онъ подошелъ къ рѣкѣ. Передъ нимъ бѣлѣли генеральская купальня и простыни, висѣвшія на перилахъ мостика... Онъ взошелъ на мостикъ, постоялъ и безъ всякой надобности потрогалъ простыню. Простыня оказалась шаршавой и холодной. Онъ поглядѣлъ внизъ на воду... Рѣка бѣжала быстро и едва слышно журчала около сваенъ купальни. Красная луна отражалась у лѣваго берега; маленькія волны бѣжали по ея отраженію, растягивали его, разрывали на части и, казалось, хотѣли унести...

«Какъ глупо! Какъ глупо! — думалъ Рябовичъ, глядя на бѣгущую воду.—Какъ все это не умно!»

Теперь, когда онъ ничего не ждалъ, исторія съ поцѣлуемъ, его нетерпѣніе, неясныя надежды и разочарованіе представлялись ему въ ясномъ свѣтѣ. Ему ужъ не казалось страннымъ, что онъ не дождался генеральскаго верховаго и что никогда не увидитъ той, которая случайно поцѣловала его вмѣсто другого; напротивъ, было бы странно, если бы онъ увидѣлъ ее...

Вода бѣжала неизвѣстно куда и зачѣмъ. Бѣжала она такимъ же образомъ и въ маѣ; изъ рѣчки въ маѣ мѣсяцѣ она влилась въ большую рѣку, изъ рѣки въ море, потомъ испарилась, обратилась въ дождь и, быть-можетъ, она, та же самая вода, опять бѣжитъ теперь передъ глазами Рябовича... Къ чему? Зачѣмъ?

И весь міръ, вся жизнь показались Рябовичу непонятной, безцѣльной шуткой... А отведя глаза отъ воды и взглянувъ на небо, онъ опять вспомнилъ, какъ судьба въ лицѣ незнакомой женщины нечаянно обласкала его, вспомнилъ свои лѣтніе мечты и образы, и его жизнь показалась ему необыкновенно скудной, убогой и безцвѣтной...

Когда онъ вернулся къ себѣ въ избу, то не засталъ ни одного товарища. Денщикъ доложилъ ему, что всѣ они ушли къ «генералу Фонтрябкину», приславшему за ними верховаго!.. На мгновеніе въ груди Рябовича вспыхнула радость, но онъ тотчасъ же потушилъ ее, легъ въ постель и на зло своей судьбѣ, точно желая досадить ей, не пошелъ къ генералу.

ПАССАЖИРЪ I-го КЛАССА.

— —

Пассажиръ перваго класса, только-что пообѣдавшій на вокзалѣ и слегка охмелѣвшій, разлегся на бархатномъ диванѣ, сладко потянулся и задремалъ. Подремавъ не больше пяти минутъ, онъ поглядѣлъ масляными глазами на своего vis-à-vis, ухмыльнулся и сказалъ:

— Блаженныя памяти родитель мой любилъ, чтобы ему послѣ обѣда бабы пятки чесали. Я весь въ него, съ тою, однако, разницею, что всякій разъ послѣ обѣда чешу себѣ не пятки, а языкъ и мозги. Люблю, грѣшный человѣкъ, пустословить на сытый желудокъ. Разрѣшаете поболтать съ вами?

— Сдѣлайте одолженіе,—согласился vis-à-vis.

— Послѣ хорошаго обѣда для меня достаточно самаго ничтожнаго повода, чтобы въ голову полѣзли чертовски крупныя мысли. Напримѣръ-съ, сейчасъ мы съ вами видѣли около буфета двухъ молодыхъ людей, и вы слышали, какъ одинъ изъ нихъ поздравлялъ другого съ извѣстностью. «Поздравляю, вы, говоритъ, уже извѣстность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопическіе газетчики. Но не въ нихъ дѣло. Меня, сударь, занимаетъ теперь вопросъ, что̀ собственно нужно разумѣть подъ словомъ *слава* или *извѣстность*? Какъ по-вашему-съ? Пушкинъ называлъ славу яркой заплатой на рубищѣ, всѣ мы понимаемъ ее по-пушкински, то-есть болѣе или менѣе субъективно, но никто еще не далъ яснаго, логическаго опредѣленія этому слову. Дорого бы я далъ за такое опредѣленіе!

— На что оно вамъ такъ понадобилось?

— Видите ли, знай мы, что̀ такое слава, намъ, быть-можетъ, были бы извѣстны и способы ея достиженія, — сказалъ пассажиръ перваго класса, подумавъ.—Надо вамъ замѣтить, сударь, что когда я былъ помоложе, я всѣми фибрами души моей стремился къ извѣстности. Популярность была моимъ, такъ сказать, сумасшествіемъ. Для нея я учился, работалъ, ночей не спалъ, куска не доѣдалъ и здоровье потерялъ. И кажется, насколько я могу судить безпристрастно, у меня были всѣ данныя къ ея достиженію. Во-первыхъ-съ, по профессіи я инженеръ. Пока живу, я построилъ на Руси десятка два великолѣпныхъ мостовъ, соорудилъ въ трехъ городахъ водопроводы, работалъ въ Россіи, въ Англіи, въ Бельгіи... Во-вторыхъ, я написалъ много спеціальныхъ статей по своей части. Въ-третьихъ, сударь мой, я съ самаго дѣтства былъ подверженъ слабости къ химіи; занимаясь на досугѣ этой наукой, я нашелъ способы добыванія нѣкоторыхъ органическихъ кислотъ, такъ что имя мое вы найдете во всѣхъ заграничныхъ учебникахъ химіи. Все время я находился на службѣ, дослужился до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника и формуляръ имѣю не замаранный. Не стану утруждать вашего вниманія перечисленіемъ своихъ заслугъ и работъ, скажу только, что я сдѣлалъ гораздо больше, чѣмъ иной извѣстный. И что же? Вотъ я уже старъ, околѣвать собираюсь, можно сказать, а извѣстенъ я столь же, какъ вонъ та черная собака, что бѣжитъ по насыпи.

— Почемъ знать? Можетъ-быть, вы и извѣстны.

— Гм!.. А вотъ мы сейчасъ попробуемъ... Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилію Крикунова?

Vis-à-vis поднялъ глаза къ потолку, подумалъ и засмѣялся.

— Нѣтъ, не слыхалъ...—сказалъ онъ.

— Это моя фамилія. Вы человѣкъ интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня—доказательство убѣдительное! Очевидно, добиваясь извѣстности, я дѣлалъ совсѣмъ не то, что̀ слѣдовало. Я не зналъ настоящихъ способовъ и, желая схватить славу за хвостъ, зашелъ не съ той стороны.

— Какіе же это настоящіе способы?

— А чортъ ихъ знаетъ! Вы скажете: талантъ? геніальность? недюжинность? Вовсе нѣтъ, сударь мой... Параллельно

со мной жили и дѣлали свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они въ тысячу разъ меньше меня, изъ кожи не лѣзли, талантами не блистали и извѣстности не добивались, а поглядите на нихъ! Ихъ фамиліи то и дѣло попадаются въ газетахъ и въ разговорахъ! Если вамъ не надоѣло слушать, то я поясню примѣромъ-съ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я дѣлалъ въ городѣ К. мостъ. Надо вамъ сказать, скучища въ этомъ паршивомъ К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я съ ума бы, кажется, сошелъ. Ну-съ, дѣло прошлое, сошелся я тамъ, скуки ради, съ одной пѣвичкой. Чортъ ее знаетъ, всѣ приходили въ восторгъ отъ этой пѣвички, по-моему же,—какъ вамъ сказать?—это была обыкновенная, дюжинная натуришка, какихъ много. Дѣвчонка пустая, капризная, жадная, притомъ еще и дура. Она много ѣла, много пила, спала до пяти часовъ вечера—и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой,—это была ея профессія, — когда же хотѣли выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и пѣвицей. Прежде я былъ завзятымъ театраломъ, а потому эта мошенническая игра званіемъ актрисы чортъ знаетъ какъ возмущала меня! Называться актрисой или даже пѣвицей моя пѣвичка не имѣла ни малѣйшаго права. Это было существо, совершенно безталанное, безчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пѣла она отвратительно, вся же прелесть ея «искусства» заключалась въ томъ, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда къ ней входили въ уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, съ пѣніемъ, и такіе, гдѣ можно было щегольнуть въ мужскомъ костюмѣ въ обтяжку. Однимъ словомъ—тьфу! Ну-съ, прошу вниманія. Какъ теперь помню, происходило у насъ торжественное открытіе движенія по вновь устроенному мосту. Былъ молебенъ, рѣчи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего дѣтища и все боялся, какъ бы сердце у меня не лопнуло отъ авторскаго волненія. Дѣло прошлое и скромничать нечего, а потому скажу вамъ, что мостъ получился у меня великолѣпный! Не мостъ, а картина, одинъ восторгъ! И извольте-ка не волноваться, когда на открытіи весь городъ. «Ну, думалъ, теперь публика на меня всѣ глаза проглядитъ. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, безпокоился—увы! На

меня, кромѣ офиціальныхъ лицъ, никто не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. Стоятъ толпой на берегу, глядятъ, какъ бараны, на мостъ, а до того, кто строилъ этотъ мостъ, имъ и дѣла нѣтъ. И, чортъ бы ихъ дралъ, съ той поры, кстати сказать, возненавидѣлъ я эту нашу почтеннѣйшую публику. Но будемъ продолжать. Вдругъ публика заволновалась: шу-шу-шу... Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно-быть, увидѣли»,—подумалъ я. Какъ же, держи карманъ! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя пѣвичка, вслѣдъ за нею ватага шалопаевъ; въ тылъ всему этому шествію торопливо бѣгутъ взгляды толпы. Начался тысячеголосый шопотъ: «Это такая-то... Прелестна! Обворожительна!» Тутъ и меня замѣтили... Двое какихъ-то молокососовъ,—должно-быть, мѣстные любители сценическаго искусства,—поглядѣли на меня, переглянулись и зашептали: «Это ея любовникъ!» Какъ это вамъ понравится? А какая-то плюгавая фигура въ цилиндрѣ, съ давно небритой рожей, долго переминалась около меня съ ноги на ногу, потомъ повернулась ко мнѣ со словами:

— Знаете, кто эта дама, что идетъ по тому берегу? Это такая-то... Голосъ у нея ниже всякой критики-съ, но владѣетъ она имъ въ совершенствѣ!..

— Не можете ли вы сказать мнѣ,—спросилъ я плюгавую фигуру:—кто строилъ этотъ мостъ?

— Право, не знаю!—отвѣчала фигура. — Инженеръ какой-то!

— А кто,—спрашиваю,—въ вашемъ К. соборъ строилъ?

— И этого не могу вамъ сказать.

Далѣе я спросилъ, кто въ К. считается самымъ лучшимъ педагогомъ, кто лучшій архитекторъ, и на всѣ мои вопросы плюгавая фигура отвѣтила незнаніемъ.

— А скажите, пожалуйста,—спросилъ я въ заключеніе:—съ кѣмъ живетъ эта пѣвица?

— Съ какимъ-то инженеромъ Крикуновымъ.

Ну, сударь мой, какъ вамъ это понравится? Но далѣе... Миннезенгеровъ и баяновъ теперь на бѣломъ свѣтѣ нѣтъ, и извѣстность дѣлается почти исключительно только газетами. На другой же день послѣ освященія моста, съ жадностью хватаю мѣстный «Вѣстникъ» и ищу въ немъ про свою особу. Долго бѣгаю глазами по всѣмъ четыремъ страницамъ *и наконецъ*—вотъ оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при

отличной погодѣ и при громадномъ стеченіи народа, въ присутствіи его превосходительства господина начальника губерніи такого-то и прочихъ властей, происходило освященіе вновь построеннаго моста и т. д.». Въ концѣ же: «На освященіи, блистая красотой, присутствовала, между прочимъ, либимица к—ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумѣется, что появленіе ея произвело сенсацію. Звѣзда была одѣта, и т. д.» Обо мнѣ же хоть бы одно слово! Хоть полсловечка! Какъ это ни мелко, но вѣрите ли, я даже заплакалъ тогда отъ злости!

Успокоилъ я себя на томъ, что провинція-де глупа, съ нея и требовать нечего, а что за извѣстностью нужно ѣхать въ умственные центры, въ столицы. Кстати въ тѣ поры въ Питерѣ лежала одна моя работка, поданная на конкурсъ. Приближался срокъ конкурса.

Простился я съ К. и поѣхалъ въ Питеръ. Отъ К. до Питера дорога длинная, и вотъ, чтобъ скучно не было, я взялъ отдѣльное купэ, ну... конечно, и пѣвичку. Ѣхали мы и всю дорогу ѣли, шампанское пили и—тру-ла-ла! Но вотъ мы пріѣзжаемъ въ умственный центръ. Пріѣхалъ я туда въ самый день конкурса и имѣлъ, сударь мой, удовольствіе праздновать побѣду: моя работа была удостоена первой преміи. Ура! На другой же день иду на Невскій и покупаю на семь гривенъ разныхъ газетъ. Спѣшу къ себѣ въ номеръ, ложусь на диванъ и, пересиливая дрожь, спѣшу читать. Пробѣгаю одну газетину—ничего! Пробѣгаю другую—ни Боже мой! Наконецъ, въ четвертой наскакиваю на такое извѣстіе: «Вчера съ курьерскимъ поѣздомъ прибыла въ Петербургъ извѣстная провинціальная артистка такая-то. Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ, что южный климатъ благотворно подѣйствовалъ на нашу знакомку; ея прекрасная сценическая наружность...»—и не помню что дальше! Много ниже подъ этимъ извѣстіемъ самымъ мельчайшимъ петитомъ напечатано: «Вчера на такомъ-то конкурсѣ первой преміи удостоенъ инженеръ такой-то». Только! И вдобавокъ, еще мою фамилію переврали: вмѣсто Крикунова написали Киркуновъ. Вотъ вамъ и умственный центръ. Но это не все... Когда я черезъ мѣсяцъ уѣзжалъ изъ Питера, то всѣ газеты наперерывъ толковали о «нашей несравненной, божественной, высокоталантливой» и ужъ мою любовницу величали не по фамиліи, а по имени и отчеству...

Нѣсколько лѣтъ спустя, я былъ въ Москвѣ. Вызванъ былъ я туда собственноручнымъ письмомъ городского головы по дѣлу, о которомъ Москва со своими газетами кричитъ уже болѣе ста лѣтъ. Между дѣломъ я прочелъ тамъ въ одномъ изъ музеевъ пять публичныхъ лекцій съ благотворительною цѣлью. Кажется, достаточно, чтобы стать извѣстнымъ городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мнѣ не обмолвилась словечкомъ ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящихъ гласныхъ, про пьяныхъ купцовъ — про все есть, а о моемъ дѣлѣ, проектѣ, о лекціяхъ—ни гу-гу. А милая московская публика! Ѣду я на конкѣ... Вагонъ биткомъ набитъ: тутъ и дамы, и военные, и студенты, и курсистки—всякой твари по парѣ.

— Говорятъ, что дума вызвала инженера по такому-то дѣлу!—говорю я сосѣду такъ громко, чтобы весь вагонъ слышалъ.—Вы не знаете, какъ фамилія этого инженера?

Сосѣдъ отрицательно мотнулъ головой. Остальная публика поглядѣла на меня мелькомъ и во всѣхъ взглядахъ я прочелъ «не знаю».

— Говорятъ, кто-то читаетъ лекціи въ такомъ-то музеѣ!—пристаю я къ публикѣ, желая завязать разговоръ. — Говорятъ, интересно!

Никто даже головой не кивнулъ. Очевидно, не всѣ слышали про лекціи, а госпожи дамы не знали даже о существованіи музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдругъ вскакиваетъ и ломитъ къ окнамъ. Что такое? Въ чемъ дѣло?

— Глядите, глядите!—затолкалъ меня сосѣдъ. — Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это извѣстный скороходъ Кингъ!

И весь вагонъ, захлебываясь, заговорилъ о скороходахъ, занимавшихъ тогда московскіе умы.

Много и другихъ примѣровъ я могъ бы привести вамъ, но, полагаю, и этихъ довольно. Теперь допустимъ, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кромѣ себя, я могъ бы указать вамъ на множество своихъ современниковъ, людей замѣчательныхъ по талантамъ и трудолюбію, но умершихъ въ неизвѣстности. Всѣ эти русскіе мореплаватели, химики, физики, механики, сельскіе хозяева—популярны ли они? Извѣстны ли нашей *образованной* массѣ русскіе художники, скульпторы, литера-

турные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обиваетъ редакціонные пороги, исписываетъ чортъ знаетъ сколько бумаги, разъ двадцать судится за диффамацію, а все-таки не шагаетъ дальше своего муравейника! Назовите мнѣ хоть одного корифея нашей литературы, который сталъ бы извѣстенъ раньше, чѣмъ не прошла по землѣ слава, что онъ убитъ на дуэли, сошелъ съ ума, пошелъ въ ссылку, не чисто играетъ въ карты!

Пассажиръ 1-го класса такъ увлекся, что выронилъ изо рта сигару и приподнялся.

— Да-съ, — продолжалъ онъ свирѣпо: — и въ параллель этимъ людямъ я приведу вамъ сотни всякаго рода пѣвичекъ, акробатовъ и шутовъ, извѣстныхъ даже груднымъ младенцамъ. Да-съ!

Скрипнула дверь, пахнулъ сквознякъ и въ вагонъ вошла личность угрюмаго вида, въ крылаткѣ, въ цилиндрѣ и синихъ очкахъ. Личность оглядѣла мѣста, нахмурилась и прошла дальше.

— Знаете, кто это?—послышался робкій шопотъ изъ далекаго угла вагона.—Это N. N., извѣстный тульскій шулеръ, привлеченный къ суду по дѣлу Y—го банка.

— Вотъ вамъ! — засмѣялся пассажиръ 1-го класса. — Тульскаго шулера знаетъ, а спросите его, знаетъ ли онъ Семирадскаго, Чайковскаго, или философа Соловьева, такъ онъ вамъ башкой замотаетъ... Свинство!

Прошло минуты три въ молчаніи.

— Позвольте васъ спросить, въ свою очередь, — робко закашлялъ vis-à-vis:—вамъ извѣстна фамилія Пушкова?

— Пушкова? Гм!.. Пушкова... Нѣтъ, не знаю!

— Это моя фамилія... — проговорилъ vis-à-vis, конфузясь. — Стало-быть, не знаете? А я уже 35 лѣтъ состою профессоромъ одного изъ русскихъ университетовъ... членъ академіи наукъ-съ... неоднократно печатался...

Пассажиръ 1-го класса и vis-à vis переглянулись и принялись хохотать.

ВОРЫ.

Фельдшеръ Ергуновъ, человѣкъ пустой, извѣстный въ уѣздѣ за большого хвастуна и пьяницу, какъ-то въ одинъ изъ святыхъ вечеровъ возвращался изъ мѣстечка Рѣпина, куда ѣздилъ за покупками для больницы. Чтобы онъ не опоздалъ и пораньше вернулся домой, докторъ далъ ему самую лучшую свою лошадь.

Сначала погода стояла ничего себѣ, тихая, но часамъ къ восьми поднялась сильная метель, и когда до дому оставалось всего верстъ семь, фельдшеръ совершенно сбился съ пути...

Править лошадью онъ не умѣлъ, дороги не зналъ и ѣхалъ на авось, куда глаза глядятъ, надѣясь, что сама лошадь вывезетъ. Прошло такъ часа два, лошадь замучилась, самъ онъ озябъ, и ужъ ему казалось, что онъ ѣдетъ не домой, а назадъ въ Рѣпино; но вотъ сквозь шумъ метели послышался глухой собачій лай, и впереди показалось красное, мутное пятно, мало-по-малу обозначились высокія ворота и длинный заборъ, на которомъ остріями вверхъ торчали гвозди, потомъ изъ-за забора вытянулся кривой колодезный журавль. Вѣтеръ прогналъ передъ глазами снѣговую мглу, и тамъ, гдѣ было красное пятно, выросъ небольшой, приземистый домикъ съ высокой камышевой крышей. Изъ трехъ окошекъ одно, завѣшанное изнутри чѣмъ-то краснымъ, было освѣщено.

Что это былъ за дворъ? Фельдшеръ вспомнилъ, что вправо отъ дороги, на седьмой или шестой верстѣ отъ больницы долженъ былъ находиться постоялый дворъ Андрея Чирикова. Вспомнилъ онъ также, что послѣ этого Чирикова, убитаго недавно ямщиками, осталась старуха и дочка Любка, *которая* года два назадъ пріѣзжала въ больницу лѣчиться.

Дворъ пользовался дурной славой, и заѣхать въ него поздно вечеромъ, да еще съ чужою лошадью, было не безопасно. Но дѣлать было нечего. Фельдшеръ нащупалъ у себя въ сумкѣ револьверъ и, строго кашлянувъ, постучалъ кнутовищемъ по оконной рамѣ.

— Эй, кто здѣсь есть?—крикнулъ онъ.—Старушка Божья, пусти-ка погрѣться!

Черная собака съ хриплымъ лаемъ, кубаремъ покатилась подъ ноги лошади, потомъ другая бѣлая, потомъ еще черная—этакъ штукъ десять! Фельдшеръ высмотрѣлъ самую крупную, размахнулся и изо-всей силы хлестнулъ по ней кнутомъ. Небольшой песикъ на высокихъ ногахъ поднялъ вверхъ острую морду и завылъ тонкимъ, пронзительнымъ голоскомъ.

Долго стоялъ фельдшеръ у окна и стучалъ. Но вотъ за заборомъ, около дома, на деревьяхъ зардѣлся иней, ворота заскрипѣли и показалась закутанная женская фигура съ фонаремъ въ рукахъ.

— Пусти, бабушка, погрѣться, — сказалъ фельдшеръ.— Ѣхалъ въ больницу и съ дороги сбился. Погода, не приведи Богъ. Ты не бойся, мы люди свои, бабушка.

— Свои всѣ дома, а чужихъ мы не звали,—сурово проговорила фигура.—И что стучать зря? Ворота не заперты.

Фельдшеръ въѣхалъ во дворъ и остановился у крыльца.

— Вели-ка, бабка, работнику, чтобъ лошадь мою убралъ,— сказалъ онъ.

— Я не бабка.

И въ самомъ дѣлѣ, это была не бабка. Когда она тушила фонарь, лицо ея освѣтилось, и фельдшеръ увидѣлъ черныя брови и узналъ Любку.

— Какіе теперь работники? — проговорила она, идя въ домъ.—Которые пьяные спятъ, а которые еще съ утра въ Рѣпино поуходили. Дѣло праздничное...

Привязывая подъ навѣсомъ свою лошадь, Ергуновъ услышалъ ржанье и разглядѣлъ въ потемкахъ еще чью-то лошадь и нащупалъ на ней казацкое сѣдло. Значитъ, въ домѣ кромѣ хозяекъ былъ и еще кто-то. На всякій случай фельдшеръ разсѣдлалъ свою лошадь и, идя въ домъ, захватилъ съ собой и покупки и сѣдло.

Въ первой комнатѣ, куда онъ вошелъ, было просторно, жарко натоплено и пахло недавно вымытыми полами. За

столомъ подъ образами сидѣлъ невысокій, худощавый мужикъ лѣтъ сорока, съ небольшой русой бородкой и въ синей рубахѣ. Это былъ Калашниковъ, отъявленный мошенникъ и конокрадъ, отецъ и дядя котораго держали въ Богалёвкѣ трактиръ и торговали, гдѣ придется, крадеными лошадями. Въ больницѣ и онъ бывалъ не разъ, но пріѣзжалъ не лѣчиться, а потолковать съ докторомъ насчетъ лошадей: нѣтъ ли продажной и не пожелаетъ ли его высокоблагородіе господинъ докторъ промѣнять гнѣдую кобылку на буланаго меринка. Теперь голова у него была напомажена и въ ухѣ блестѣла серебряная серьга, и вообще видъ былъ праздничный. Нахмурясь и опустивъ нижнюю губу, онъ внимательно глядѣлъ въ большую, истрепанную книгу съ картинками. Растянувшись на полу около печки, лежалъ другой мужикъ; лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубкомъ—должно-быть спалъ; около его новыхъ сапоговъ съ блестящими подковами темнѣли двѣ лужи отъ растаявшаго снѣга.

Увидѣвъ фельдшера, Калашниковъ поздоровался.

— Да, погода...—сказалъ Ергуновъ, потирая ладонями озябшія колѣна. — За шею снѣгу понабилось, весь я промокъ, это самое, какъ хлющъ. И револьверъ мой, кажется, того...

Онъ вынулъ револьверъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и положилъ опять въ сумку. Но револьверъ не произвелъ никакого впечатлѣнія: мужикъ продолжалъ глядѣть въ книгу.

— Да, погода... Съ дороги сбился и, если бъ не здѣшнія собаки, то, кажется, смерть. Была бы исторія. А гдѣ же хозяйки?

— Старуха въ Рѣпино поѣхала, а дѣвка вечерять готовитъ...—отвѣтилъ Калашниковъ.

Наступило молчаніе. Фельдшеръ, дрожа и всхлипывая, дулъ на ладони и весь ежился, и дѣлалъ видъ, что онъ очень озябъ и замучился. Слышно было, какъ завывали на дворѣ не унимавшіяся собаки. Стало скучно.

— Ты самъ изъ Богалёвки, что ли? — спросилъ фельдшеръ строго у мужика.

— Да, изъ Богалёвки.

И отъ нечего дѣлать фельдшеръ сталъ думать объ этой Богалёвкѣ. Деревня большая и лежитъ она въ глубокомъ оврагѣ, такъ что, когда ѣдешь въ лунную ночь по большой

дорогѣ и взглянешь внизъ, въ темный оврагъ, а потомъ вверхъ на небо, то кажется, что луна виситъ надъ бездонной пропастью и что тутъ конецъ свѣта. Дорога ведетъ внизъ крутая, извилистая и такая узкая, что когда ѣдешь въ Богалёвку на эпидемію или прививать оспу, то все время нужно кричать во все горло или свистать, а то иначе, если встрѣтишься съ телѣгой, то потомъ ужъ не разъѣдешься. Мужики богалёвскіе слывутъ за хорошихъ садоводовъ и конокрадовъ; сады у нихъ богатые: весною вся деревня тонетъ въ бѣлыхъ вишневыхъ цвѣтахъ, а лѣтомъ вишни продаются по три копейки за ведро. Заплати три копейки и рви. Бабы у мужиковъ красивыя и сытыя и любятъ наряжаться, и даже въ будни ничего не дѣлаютъ, а все сидятъ на заваленкахъ и ищутъ въ головахъ другъ у друга.

Но вотъ послышались шаги. Въ комнату вошла Любка, дѣвушка лѣтъ двадцати, въ красномъ платьѣ и босая... Она искоса поглядѣла на фельдшера и раза два прошлась изъ угла въ уголъ. Ходила она не просто, а мелкими шажками, выпятивъ впередъ грудь; видимо, ей нравилось шлепать босыми ногами по недавно вымытому полу и разулась она нарочно для этого.

Калашниковъ чему-то усмѣхнулся и поманилъ ее къ себѣ пальцемъ. Она подошла къ столу, и онъ показалъ ей въ книгѣ на пророка Илію, который правилъ тройкою лошадей, несущихся къ небу. Любка облокотилась на столъ; коса ея перекинулась черезъ плечо,—длинная коса, рыжая, перевязанная на концѣ красной ленточкой,—и едва не коснулась пола. И она тоже усмѣхнулась.

— Отличная, замѣчательная картина!—сказалъ Калашниковъ. — Замѣчательная! — повторилъ онъ и сдѣлалъ руками такъ, какъ будто хотѣлъ вмѣсто Иліи забрать въ руки вожжи.

Въ печкѣ гудѣлъ вѣтеръ; что-то зарычало и пискнуло, точно большая собака задушила крысу.

— Ишь, нечистые расходились!—проговорила Любка.

— Это вѣтеръ,—сказалъ Калашниковъ; онъ помолчалъ, поднялъ глаза на фельдшера и спросилъ: — Какъ, по-вашему, по-ученому, Осипъ Васильичъ, есть на этомъ свѣтѣ черти, или нѣтъ?

— Какъ тебѣ, братецъ, сказать? — отвѣтилъ фельдшеръ

[illegible] плечомъ. — Ежели разсуждать по наукѣ, [illegible] чертей нѣту, потому что это предразсудокъ; а [illegible] попросту, какъ вотъ мы сейчасъ съ то[illegible] чертей есть, короче говоря... Я въ своей жизни [illegible]... Послѣ ученія я опредѣлился въ военные [illegible] въ драгунскій полкъ и былъ, конечно, на войнѣ, [illegible] медаль и знакъ отличія «Краснаго Креста», а послѣ [illegible] договора вернулся въ Россію и поступилъ [illegible]. И по причинѣ такой громадной циркуляціи [illegible], могу сказать, видѣлъ столько, что другому [illegible] не снилось. Случалось и чертей видѣть, то-есть [illegible] чтобы чертей съ рогами или хвостомъ — это однѣ [illegible], а такъ, собственно говоря, какъ будто въ родѣ.

— Гдѣ? — спросилъ Калашниковъ.

— Въ разныхъ мѣстахъ. Нечего далеко ходить, лѣтошній годъ, не къ ночи онъ будь помянутъ, встрѣтилъ я его [illegible], почитай, у самаго двора. Ѣхалъ я, это самое, [illegible] въ Голышино, ѣхалъ оспу прививать. Извѣстно, [illegible] всегда, бѣговыя дрожки, ну, лошадь и необходимые [illegible], да кромѣ того, часы при мнѣ и все прочее, [illegible] что ѣду и остерегаюсь, какъ бы неровенъ часъ не [illegible]. Мало ли всякихъ бродягъ. Подъѣзжаю я къ Змѣиной [illegible], будь она проклята, начинаю спускаться и [illegible], это самое, идетъ кто-то такой. Волосы черные, [illegible] черные и все лицо словно отъ дыму закоптѣло... Подходитъ къ лошади и прямо беретъ за лѣвую вожжу: стой! Осадилъ лошадь, потомъ, значитъ, меня, потомъ [illegible] вожжу и не говоря худого слова: «Ты куда ѣдешь?» А у самого зубы оскалены, глаза злобные... Ахъ ты, думаю, нутъ этакій! «Ѣду, говорю, оспу прививать. А тебѣ какое дѣло?» Онъ и говоритъ: «Коли такъ, говоритъ, то привей и мнѣ оспу». Оголилъ руку и суетъ мнѣ ее подъ носъ. Конечно, не сталъ я съ нимъ разговаривать, взялъ и привилъ оспу, чтобъ отвязаться. Послѣ того гляжу на свой ланцетъ, а онъ весь заржавѣлъ.

Мужикъ, спавшій около печки, вдругъ заворочался и сбросилъ съ себя полушубокъ, и фельдшеръ, къ великому своему удивленію, увидѣлъ того самаго незнакомца, котораго встрѣтилъ когда-то на Змѣиной балочкѣ. Волосы, борода и глаза у этого мужика были черные, какъ сажа, лицо смуглое и вдобавокъ еще на правой щекѣ сидѣло

черное пятнышко величиной съ чечевицу. Онъ насмѣшливо поглядѣлъ на фельдшера и сказалъ:

— За лѣвую вожжу бралъ — это было, а насчетъ оспы сбрехалъ, сударь. И разговору даже насчетъ оспы у насъ съ тобой не было.

Фельдшеръ смутился.

— Я не про тебя говорю,—сказалъ онъ.—Лежи, когда лежишь.

Смуглый мужикъ ни разу не былъ въ больницѣ и фельдшеръ не зналъ, кто онъ и откуда, и теперь, глядя на него, рѣшилъ, что это, должно-быть, цыганъ. Мужикъ всталъ и, потягиваясь, громко зѣвая, подошелъ къ Любкѣ и Калашникову, сѣлъ рядомъ и тоже сталъ глядѣть въ книгу. На его заспанномъ лицѣ показались умиленіе и зависть.

— Вотъ, Мерикъ,—сказала ему Любка: — приведи мнѣ такихъ коней, я на небо поѣду.

— На небо грѣшнымъ нельзя... — сказалъ Калашниковъ.—Это за святость.

Потомъ Любка собрала на столъ и принесла большой кусокъ свиного сала, соленыхъ огурцовъ, деревянную тарелку съ вареным мясомъ, порѣзаннымъ на мелкіе кусочки, потомъ сковороду, на которой шипѣла колбаса съ капустой. Появился на столѣ и граненый графинъ съ водкой, отъ которой, когда налили по рюмкѣ, по всей комнатѣ пошелъ духъ апельсинной корки.

Фельдшеру было досадно, что Калашниковъ и смуглый Мерикъ говорили между собой и не обращали на него никакого вниманія, точно его и въ комнатѣ не было. А ему хотѣлось поговорить съ ними, похвастать, выпить, наѣсться и, если можно, то и пошалить съ Любкой, которая, пока ужинали, разъ пять садилась около него и, словно нечаянно, трогала его своими красивыми плечами и поглаживала руками свои широкія бедра. Это была дѣвка здоровая, смѣшливая, вертлявая, непосѣда: то сядетъ, то встанетъ, а сидя поворачивается къ сосѣду то грудью, то спиной, какъ егоза, и непремѣнно зацѣпитъ локтемъ или колѣномъ.

И не нравилось также фельдшеру, что мужики выпили только по одной рюмкѣ и больше ужъ не пили, а одному ему пить было какъ-то неловко. Но онъ не выдержалъ и выпилъ другую рюмку, потомъ третью и съѣлъ всю кол-

басу. Чтобы мужики не сторонились его, а приняли его въ свою компанію, онъ рѣшилъ польстить имъ.

— Молодцы у васъ въ Богалёвкѣ!—сказалъ онъ и покрутилъ головой.

— Насчетъ чего молодцы?—спросилъ Калашниковъ.

— Да вотъ, это самое, хоть насчетъ лошадей. Молодцы красть!

— Ну, нашелъ молодцовъ! Пьяницы только да воры.

— Было время, да прошло,—сказалъ Мерикъ послѣ нѣкотораго молчанія.—Только вотъ развѣ одинъ старый Филя у нихъ остался, да и тотъ слѣпой.

— Да, одинъ только Филя,—вздохнулъ Калашниковъ.—Ему, почитай, теперь годовъ семьдесятъ; одинъ глазъ нѣмцы-колонисты выкололи, а другимъ плохо видитъ. Бѣльмо. Прежде, бывало, завидитъ его становой и кричитъ: «Эй, ты, Шамиль!» и всѣ мужики такъ—Шамиль, да Шамиль, а теперь другого и званія ему нѣтъ, какъ кривой Филя. А молодчина былъ человѣкъ! Съ покойнымъ Андреемъ Григорьичемъ, съ Любашинымъ отцомъ, забрались разъ ночью подъ Рожново, — а тамъ конные полки въ ту пору стояли, — и угнали девять солдатскихъ лошадей, самыхъ какихъ получше, и часовыхъ не испугались, и утромъ же цыгану Афонькѣ всѣхъ лошадей за двадцать цѣлковыхъ продали. Да! А нынѣшній норовитъ угнать коня у пьянаго или соннаго, да Бога не побоится и съ пьянаго еще сапоги стащитъ, а потомъ жмется, ѣдетъ съ той лошадью верстъ за двѣсти и потомъ торгуется на базарѣ, торгуется, какъ жидъ, пока его урядникъ не заберетъ, дурака. Не гулянье, а одна срамота! Плевый народишко, что говорить.

— А Мерикъ?—спросила Любка.

— Мерикъ не нашъ, — сказалъ Калашниковъ. — Онъ харьковскій, изъ Мижирича. А что молодчина, это вѣрно, грѣхъ пожалиться, хорошій человѣкъ.

Любка лукаво и радостно поглядѣла на Мерика и сказала:

— Да, не даромъ его добрые люди въ проруби купали.

— Какъ такъ?—спросилъ фельдшеръ.

— А такъ...—сказалъ Мерикъ и усмѣхнулся. — Угналъ Филя у самойловскихъ арендателей трехъ лошадей, а они на меня подумали. Ихъ всѣхъ арендателей въ Самойловкѣ человѣкъ десять, а съ работниками и тридцать наберется, *и все молоканы*... Вотъ одинъ и говоритъ мнѣ на базарѣ:

«Приходи, Мерикъ, поглядѣть, мы съ ярмарки новыхъ лошадей пригнали». Мнѣ, извѣстно, любопытно, прихожу до нихъ, а они, сколько ихъ было, человѣкъ тридцать, скрутили мнѣ назадъ руки и повели на рѣку. Мы, говорятъ, тебѣ покажемъ лошадей. Прорубь одна была уже готовая, они рядомъ, этакъ на сажень, другую прорубили. Потомъ, значитъ, взяли веревку и надѣли мнѣ подъ мышки петлю, а къ другому концу привязали кривую палку, чтобъ, значитъ, сквозь обѣ прорубн доставала. Ну, просунули палку и потянули. Я, какъ былъ, въ шубѣ и въ сапогахъ—бултыхъ въ прорубь! а они стоятъ и меня попихиваютъ, кто ногой, а кто колуномъ, потомъ потащили подъ ледъ и вытащили въ другую прорубь.

Любка вздрогнула и вся сжалась.

— Сначала меня отъ холода въ жаръ бросило,—продолжалъ Мерикъ:—а когда вытащили наружу, не было никакой возможности, легъ я на снѣгъ, а молоканы стоятъ около и бьютъ палками по колѣнкамъ и локтямъ. Больно, страсть! Побили и ушли... А на мнѣ все мерзнетъ, одежа обледенѣла, всталъ я и нѣтъ мочи. Спасибо, ѣхала баба, подвезла.

Между тѣмъ фельдшеръ выпилъ рюмокъ пять или шесть; на душѣ у него посвѣтлѣло и захотѣлось тоже разсказать что-нибудь необыкновенное, чудесное, и показать, что онъ тоже молодецъ и ничего не боится.

— А вотъ какъ у насъ въ Пензенской губерніи...—началъ-было онъ.

Оттого, что онъ много пилъ и посоловѣлъ, и, быть-можетъ, оттого, что онъ раза два былъ уличенъ во лжи, мужики не обращали на него никакого вниманія и даже перестали отвѣчать на его вопросы. Мало того, въ его присутствіи они пустились въ такія откровенности, что ему становилось жутко и холодно, а это значило, что они его не замѣчали.

Манеры у Калашникова были солидныя, какъ у человѣка степеннаго и разсудительнаго, говорилъ онъ обстоятельно, а зѣвая, всякій разъ крестилъ себѣ ротъ, и никто бы не могъ подумать, что это воръ, безсердечный воръ, обирающій бѣдняковъ, который уже раза два сидѣлъ въ острогѣ, и общество уже составило приговоръ о томъ, чтобы сослать его въ Сибирь, да откупились отецъ и дядя, такіе же воры и негодяи, какъ онъ самъ. Мерикъ же держалъ

себя хватомъ. Онъ видѣлъ, что Любка и Калашниковъ любуются имъ, и самъ считалъ себя молодцомъ, и то подбоченивался, то выпячивалъ впередъ грудь, то вытягивался такъ, что трещала скамья...

Послѣ ужина Калашниковъ, не вставая, помолился на образъ и пожалъ руку Мерику; тотъ тоже помолился и пожалъ руку Калашникову. Любка убрала ужинъ и насыпала на столъ мятныхъ пряниковъ, каленыхъ орѣховъ, тыквенныхъ сѣмячекъ и поставила двѣ бутылки со сладкимъ виномъ.

— Царство небесное, вѣчный покой Андрею Григорьичу,— говорилъ Калашниковъ, чокаясь съ Мерикомъ.—Когда онъ былъ живъ, соберемся мы здѣсь, бывало, или у брата Мартына и — Боже мой, Боже мой!—какіе люди, какіе разговоры! Замѣчательные разговоры! Тутъ и Мартынъ, и Филя, и Стукотей Ѳедоръ... Все благородно, сообразно... А какъ гуляли! Такъ гуляли, такъ гуляли!

Любка вышла и немного погодя вернулась въ зеленомъ платочкѣ и въ бусахъ.

— Мерикъ, погляди, что мнѣ сегодня Калашниковъ привезъ!—сказала она.

Она поглядѣлась въ зеркало и нѣсколько разъ мотнула головой, чтобы зазвучали бусы. А потомъ открыла сундукъ и стала вынимать оттуда то ситцевое платье съ красными и голубыми глазочками, то другое—красное, съ оборками, которое шуршало и шелестѣло, какъ бумага, то новый платокъ, синій, съ радужнымъ отливомъ — и все это она показывала и, смѣясь, всплескивала руками, какъ будто изумлялась, что у нея такія сокровища.

Калашниковъ настроилъ балалайку и заигралъ, и фельдшеръ никакъ не могъ понять, какую онъ пѣсню играетъ, веселую или грустную, потому что было то очень грустно, даже плакать хотѣлось, то становилось весело. Мерикъ вдругъ вскочилъ и затопалъ на одномъ мѣстѣ каблуками, а затѣмъ, растопыривъ руки, прошелся на однихъ каблукахъ отъ стола къ печкѣ, отъ печки къ сундуку, потомъ привскочилъ, какъ ужаленный, щелкнулъ въ воздухѣ подковками и пошелъ валять въ присядку. Любка взмахнула обѣими руками, отчаянно взвизгнула и пошла за нимъ; сначала она прошлась бокомъ-бокомъ, ехидно, точно желая *подкрасться* къ кому-то и ударить сзади, застучала дробно

пятками, какъ Мерикъ каблуками, потомъ закружилась волчкомъ и присѣла, и ея красное платье раздулось въ колоколъ; злобно глядя на нее и оскаливъ зубы, понесся къ ней въ присядку Мерикъ, желая уничтожить ее своими страшными ногами, а она вскочила, закинула назадъ голову и, взмахивая руками, какъ большая птица крыльями, едва касаясь пола, поплыла по комнатѣ...

«Ахъ, что за огонь-дѣвка! — думалъ фельдшеръ, садясь на сундукъ и отсюда глядя на танцы.—Что за жаръ! Отдай все да и мало...»

И онъ жалѣлъ: зачѣмъ онъ фельдшеръ, а не простой мужикъ? Зачѣмъ на немъ пиджакъ и цѣпочка съ позолоченнымъ ключикомъ, а не синяя рубаха съ веревочнымъ пояскомъ? Тогда бы онъ могъ смѣло пѣть, плясать, пить, обхватывать обѣими руками Любку, какъ это дѣлалъ Мерикъ...

Отъ рѣзкаго стука, крика и гиканья въ шкапу звенѣла посуда, на свѣчкѣ прыгалъ огонь.

Порвалась нитка и бусы разсыпались по всему полу, свалился съ головы зеленый платокъ и вмѣсто Любки мелькало только одно красное облако, да сверкали темные глаза, а у Мерика, того и гляди, сейчасъ оторвутся руки и ноги.

Но вотъ Мерикъ стукнулъ въ послѣдній разъ ногами и сталъ, какъ вкопанный... Замучившись, еле дыша, Любка склонилась къ нему на грудь и прижалась, какъ къ столбу, а онъ обнялъ ее и, глядя ей въ глаза, сказалъ нѣжно и ласково, какъ бы шутя:

— Ужо узнаю, гдѣ у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебѣ горлышко ножичкомъ перерѣжу, а послѣ того зажгу постоялый дворъ... Люди будутъ думать, что вы отъ пожара пропали, а я съ вашими деньгами пойду въ Кубань, буду тамъ табуны гонять, овецъ заведу...

Любка ничего не отвѣтила, а только виновато поглядѣла на него и спросила:

— Мерикъ, а хорошо въ Кубани?

Онъ ничего не сказалъ, а пошелъ къ сундуку, сѣлъ и задумался; вѣроятно, сталъ мечтать о Кубани.

— Время мнѣ ѣхать одначе, — сказалъ Калашниковъ, поднимаясь. — Должно, Филя ужъ дожидается. Прощай, Люба!

Фельдшеръ вышелъ на дворъ поглядѣть: какъ бы не уѣхалъ Калашниковъ на его лошади. Метель все еще продолжалась. Бѣлыя облака, цѣпляясь своими длинными хвостами за бурьянъ и кусты, носились по двору, а по ту сторону забора, въ полѣ великаны въ бѣлыхъ саванахъ съ широкими рукавами кружились и падали, и опять поднимались, чтобы махать руками и драться. А вѣтеръ-то, вѣтеръ! Голыя березки и вишни, не вынося его грубыхъ ласкъ, низко гнулись къ землѣ и плакали: — Боже, за какой грѣхъ ты прикрѣпилъ насъ къ землѣ и не пускаешь на волю?

— Тирр!—строго сказалъ Калашниковъ и сѣлъ на свою лошадь; одна половинка воротъ была отворена и около нея навалило высокій сугробъ. — Ну, поѣхала, что ли! — прикрикнулъ Калашниковъ. Малорослая, коротконогая лошаденка его пошла, завязла по самый животъ въ сугробѣ. Калашниковъ побѣлѣлъ отъ снѣга и скоро вмѣстѣ со своею лошадью исчезъ за воротами.

Когда фельдшеръ вернулся въ комнату, Любка ползала по полу и собирала бусы. Мерика не было.

«Славная дѣвка!—думалъ фельдшеръ, ложась на скамью и кладя подъ голову полушубокъ.—Ахъ, если бъ Мерика тутъ не было!»

Любка раздражала его, ползая по полу около скамьи, и онъ подумалъ, что если бы здѣсь не было Мерика, то онъ непремѣнно вотъ всталъ бы и обнялъ ее, а что дальше, тамъ было бы видно. Правда, она еще дѣвушка, но едва ли честная; да хотя бы и честная — стоитъ ли церемониться въ разбойничьемъ вертепѣ? Любка собрала бусы и вышла. Свѣчка догорала, и огонь ужъ захватилъ бумажку въ подсвѣчникѣ. Фельдшеръ положилъ возлѣ себя револьверъ и спички и потушилъ свѣчу. Лампадка сильно мигала, такъ что было больно глазамъ, и пятна прыгали по потолку, по полу, по шкапу, и среди нихъ мерещилась Любка, крѣпкая, полногрудая: то вертится волчкомъ, то замучилась пляской и тяжело дышитъ...

«Ахъ, если бъ Мерика унесли нечистые!»—думалъ онъ.

Лампадка въ послѣдній разъ мигнула, затрещала и потухла. Кто-то, должно-быть, Мерикъ вошелъ въ комнату и сѣлъ на скамью. Онъ потянулъ изъ трубки, и на мгновеніе освѣтилась смуглая щека съ чернымъ пятнышкомъ.

Отъ противнаго табачнаго дыма у фельдшера зачесалось въ горлѣ.

— Да и поганый же у тебя табакъ, — будь онъ проклятъ!—сказалъ фельдшеръ.—Даже тошно.

— Я табакъ съ овсянымъ цвѣтомъ мѣшаю, — отвѣтилъ Мерикъ, помолчавъ.—Грудямъ легче.

Онъ покурилъ, поплевалъ и опять ушелъ. Прошло съ полчаса и въ сѣняхъ вдругъ блеснулъ свѣтъ; показался Мерикъ въ полушубкѣ и въ шапкѣ, потомъ Любка со свѣчой въ рукахъ.

— Останься, Мерикъ!—сказала Любка умоляющимъ голосомъ.

— Нѣтъ, Люба. Не держи.

— Послушай меня, Мерикъ,—сказала Любка и голосъ ея сталъ нѣженъ и мягокъ. — Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее, и меня, и пойдешь на Кубань любить другихъ дѣвушекъ, но Богъ съ тобой. Я тебя объ одномъ прошу, сердце: останься!

— Нѣтъ, гулять желаю... — сказалъ Мерикъ, подпоясываясь.

— И гулять тебѣ не на чемъ... Вѣдь ты пѣшкомъ пришелъ, на чемъ ты поѣдешь?

Мерикъ нагнулся къ Любкѣ и шепнулъ ей что-то на ухо; она поглядѣла на дверь и засмѣялась сквозь слезы.

— А онъ спитъ, сатана надутая...—сказала она.

Мерикъ обнялъ ее, крѣпко поцѣловалъ и вышелъ наружу. Фельдшеръ сунулъ револьверъ въ карманъ, быстро вскочилъ и побѣжалъ за нимъ.

— Пусти съ дороги! — сказалъ онъ Любкѣ, которая въ сѣняхъ быстро заперла дверь на засовъ и остановилась на порогѣ.—Пусти! Что стала?

— Зачѣмъ тебѣ туда?

— На лошадь поглядѣть.

Любка посмотрѣла на него снизу вверхъ лукаво и ласково.

— Что на нее глядѣть? Ты на меня погляди...—сказала она, потомъ нагнулась и дотронулась пальцемъ до золоченаго ключика, висѣвшаго на его цѣпочкѣ.

— Пусти, а то онъ уѣдетъ на моей лошади! — сказалъ фельдшеръ. — Пусти, чортъ! — крикнулъ онъ и, ударивъ ее со злобой по плечу, изо всей силы навалился грудью, чтобы

оттолкнуть ее отъ двери, но она крѣпко уцѣпилась за засовъ и была точно желѣзная.—Пусти!—крикнулъ онъ, замучившись.—Уѣдетъ, говорю!

— Гдѣ ему? Не уѣдетъ.

Она, тяжело дыша и поглаживая плечо, которое болѣло, опять поглядѣла на него снизу вверхъ, покраснѣла и засмѣялась.

— Не уходи, сердце...—сказала она.—Мнѣ одной скучно.

Фельдшеръ поглядѣлъ ей въ глаза, подумалъ и обнялъ ее, она не противилась.

— Ну, не балуй, пусти!—попросилъ онъ.

Она молчала.

— А я слышалъ,—сказалъ онъ, какъ ты сейчасъ говорила Мерику, что его любишь.

— Мало ли... Кого я люблю, про то моя думка знаетъ.

Она опять дотронулась пальцемъ до ключика и сказала тихо:

— Дай мнѣ это...

Фельдшеръ отцѣпилъ ключикъ и отдалъ ей. Она вдругъ вытянула шею, прислушалась и сдѣлала серьезное лицо, и взглядъ ея показался фельдшеру холоднымъ и лукавымъ; онъ вспомнилъ про коня, и уже легко отстранилъ ее и выбѣжалъ на дворъ. Подъ навѣсомъ мѣрно и лѣниво хрюкала засыпавшая свинья и стучала рогомъ корова... Фельдшеръ зажегъ спичку и увидѣлъ и свинью, и корову, и собакъ, которыя со всѣхъ сторонъ бросились къ нему на огонь, но лошади и слѣдъ простылъ. Крича и махая руками на собакъ, спотыкаясь о сугробы и увязая въ снѣгу, онъ выбѣжалъ за ворота и сталъ вглядываться въ потемки. Онъ напрягалъ зрѣніе и видѣлъ только, какъ леталъ снѣгъ и какъ снѣжинки явственно складывались въ разныя фигуры: то выглянетъ изъ потемокъ бѣлая смѣющаяся рожа мертвеца, то проскачетъ бѣлый конь, а на немъ амазонка въ кисейномъ платьѣ, то пролетитъ надъ головою вереница бѣлыхъ лебедей... Дрожа отъ гнѣва и холода, не зная, что дѣлать, фельдшеръ выстрѣлилъ изъ револьвера въ собакъ и не попалъ ни въ одну, потомъ бросился назадъ въ домъ.

Когда онъ входилъ въ сѣни, то ему ясно послышалось, какъ кто-то шмыгнулъ изъ комнаты и стукнулъ дверью. Въ комнатѣ было темно; фельдшеръ толкнулся въ дверь:

заперта; тогда зажигая спичку за спичкой, онъ бросился назадъ въ сѣни оттуда въ кухню, изъ кухни въ маленькую комнату, гдѣ всѣ стѣны были увѣшаны юбками и платьями, и пахло васильками и укропомъ, и въ углу около печи стояла чья-то кровать съ цѣлой горою подушекъ; тутъ, должно-быть, жила старуха, Любкина мать; отсюда прошелъ онъ въ другую комнату, тоже маленькую, и здѣсь увидѣлъ Любку. Она лежала на сундукѣ, укрытая пестрымъ, стеганымъ одѣяломъ, сшитымъ изъ ситцевыхъ лоскутиковъ, и представлялась спящею. Надъ ея изголовьемъ горѣла лампадка.

— Гдѣ моя лошадь?—строго спросилъ фельдшеръ.

Любка не шевелилась.

— Гдѣ моя лошадь, я тебя спрашиваю? — повторилъ фельдшеръ еще строже и сорвалъ съ нея одѣяло.—Я тебя спрашиваю, чертовка!—крикнулъ онъ.

Она вскочила, стала на колѣни и, одной рукой придерживая сорочку, а другой стараясь ухватить одѣяло, прижалась къ стѣнѣ... Глядѣла она на фельдшера съ отвращеніемъ, со страхомъ, и глаза у нея, какъ у пойманнаго звѣря, лукаво слѣдили за малѣйшимъ его движеніемъ.

— Говори, гдѣ лошадь, а то я изъ тебя душу вышибу!— крикнулъ фельдшеръ.

— Отойди, поганый!—сказала она хриплымъ голосомъ.

Фельдшеръ схватилъ ее за сорочку около шеи и рванулъ; и тутъ же не выдержалъ и изо-всѣхъ силъ обнялъ дѣвку. А она, шипя отъ злости, заскользила въ его объятіяхъ и, высвободивъ одну руку — другая запуталась въ порванной сорочкѣ, — ударила его кулакомъ по темени.

Въ головѣ у него помутилось отъ боли, въ ушахъ зазвенѣло и застучало, онъ попятился назадъ и въ это время получилъ другой ударъ, но уже по виску. Пошатываясь и хватаясь за косяки, чтобы не упасть, онъ пробрался въ комнату, гдѣ лежали его вещи, и легъ на скамью, потомъ, полежавъ немного, вынулъ изъ кармана коробку со спичками и сталъ жечь спичку за спичкой, безъ всякой надобности: зажжетъ, дунетъ и броситъ подъ столъ— и такъ, пока не вышли всѣ спички.

Между тѣмъ за окномъ сталъ синѣть воздухъ, заголосили пѣтухи, а голова все болѣла и въ ушахъ былъ такой шумъ, какъ будто Ергуновъ сидѣлъ подъ желѣзнодорожнымъ мо-

стомъ и слушалъ, какъ надъ головой его проходитъ поѣздъ. Кое-какъ онъ надѣлъ полушубокъ и шапку; сѣдла и узла съ покупками онъ не нашелъ, сумка была пуста: не даромъ кто-то шмыгнулъ изъ комнаты, когда онъ давеча входилъ со двора.

Онъ взялъ въ кухнѣ кочергу, чтобы оборониться отъ собакъ, и вышелъ на дворъ, оставивъ дверь настежь. Метель ужъ улеглась и на дворѣ было тихо... Когда онъ вышелъ за ворота, бѣлое поле представлялось мертвымъ, и ни одной птицы не было на утреннемъ небѣ. По обѣ стороны дороги и далеко вдали синѣлъ мелкій лѣсъ.

Фельдшеръ сталъ-было думать о томъ, какъ встрѣтятъ его въ больницѣ и что скажетъ ему докторъ; нужно было непремѣнно думать объ этомъ и приготовить заранѣе отвѣты на вопросы, но мысли эти расплывались и уходили прочь. Онъ шелъ и думалъ только о Любкѣ, о мужикахъ, съ которыми провелъ ночь; вспоминалъ онъ о томъ, какъ Любка, ударивъ его во второй разъ, нагнулась къ полу за одѣяломъ и какъ упала ея распустившаяся коса на полъ. У него путалось въ головѣ и онъ думалъ: къ чему на этомъ свѣтѣ доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же вѣдь вольныя птицы, вольные звѣри, вольный Мерикъ, и никого они не боятся; и никто имъ не нуженъ! И кто это выдумалъ, кто сказалъ, что вставать нужно утромъ, обѣдать въ полдень, ложиться вечеромъ, что докторъ старше фельдшера, что надо жить въ комнатѣ и можно любить только жену свою? А почему бы не наоборотъ: обѣдать бы ночью, а спать днемъ? Ахъ, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чортомъ въ перегонку съ вѣтромъ, по полямъ, лѣсамъ и оврагамъ, любить бы дѣвушекъ, смѣяться бы надъ всѣми людьми...

Фельдшеръ бросилъ кочергу въ снѣгъ, припалъ лбомъ къ бѣлому холодному стволу березы и задумался, и его сѣрая, однообразная жизнь, его жалованье, подчиненность, аптека, вѣчная возня съ банками и мушками казались ему презрѣнными, тошными.

— Кто говоритъ, что гулять грѣхъ? — спрашивалъ онъ себя съ досадой. — А вотъ которые говорятъ это, тѣ никогда не жили на волѣ, какъ Мерикъ или Калашниковъ, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили

безъ всякаго удовольствія и любили только своихъ женъ, похожихъ на лягушекъ.

И про себя онъ теперь думалъ такъ, что если самъ онъ до сихъ поръ не сталъ воромъ, мошенникомъ, или даже разбойникомъ, то потому только, что не умѣетъ, или не встрѣчаетъ еще подходящаго случая.

Прошло года полтора. Какъ-то весною, послѣ Святой, фельдшеръ, давно уже уволенный изъ больницы и ходившій безъ мѣста, поздно вечеромъ вышелъ въ Рѣпинѣ изъ трактира и побрелъ по улицѣ безъ всякой цѣли.

Вышелъ онъ въ поле. Тамъ пахло весною и дулъ теплый, ласковый вѣтерокъ. Тихая, звѣздная ночь глядѣла съ неба на землю. Боже мой, какъ глубоко небо и какъ неизмѣримо широко раскинулось оно надъ міромъ! Хорошо созданъ міръ, только зачѣмъ и съ какой стати, думалъ фельдшеръ, люди дѣлятъ другъ друга на трезвыхъ и пьяныхъ, служащихъ и уволенныхъ и пр.? Почему трезвый и сытый покойно спитъ у себя дома, а пьяный и голодный долженъ бродить по полю, не зная пріюта? Почему кто не служитъ и не получаетъ жалованья, тотъ непремѣнно долженъ быть голоденъ, раздѣтъ, не обутъ? Кто это выдумалъ? Почему же птицы и лѣсные звѣри не служатъ и не получаютъ жалованья, а живутъ въ свое удовольствіе?

Вдали на небѣ, распахнувшись надъ горизонтомъ, дрожало красивое багровое зарево. Фельдшеръ стоялъ и долго глядѣлъ на него и все думалъ: почему, если онъ вчера унесъ чужой самоваръ и прогулялъ его въ кабакѣ, то это грѣхъ? Почему?

Мимо по дорогѣ проѣхали двѣ телѣги: въ одной спала баба, въ другой сидѣлъ старикъ безъ шапки...

— Дѣдъ, гдѣ это горитъ?—спросилъ фельдшеръ.

— Дворъ Андрея Чирикова...—отвѣтилъ старикъ.

И вспомнилъ фельдшеръ, что случилось съ нимъ года полтора назадъ, зимою, въ этомъ самомъ дворѣ, и какъ хвасталъ Мерикъ; и вообразилъ онъ, какъ горятъ зарѣзанныя старуха и Любка, и позавидовалъ Мерику. И когда шелъ опять въ трактиръ, то, глядя на дома богатыхъ кабатчиковъ, прасоловъ и кузнецовъ, соображалъ: хорошо бы ночью забраться къ кому побогаче!

ПАРИ.

I.

Была темная, осенняя ночь. Старый банкиръ ходилъ у себя въ кабинетѣ изъ угла въ уголъ и вспоминалъ, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ, осенью онъ давалъ вечеръ. На этомъ вечерѣ было много умныхъ людей и велись интересные разговоры. Между прочимъ говорили о смертной казни. Гости, среди которыхъ было не мало ученыхъ и журналистовъ, въ большинствѣ относились къ смертной казни отрицательно. Они находили этотъ способъ наказанія устарѣвшимъ, непригоднымъ для христіанскихъ государствъ и безнравственнымъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ изъ нихъ, смертную казнь повсемѣстно слѣдовало бы замѣнить пожизненнымъ заключеніемъ.

— Я съ вами несогласенъ,—сказалъ хозяинъ-банкиръ.— Я не пробовалъ ни смертной казни, ни пожизненнаго заключенія, но если можно судить à priori, то, по-моему, смертная казнь нравственнѣе и гуманнѣе заключенія. Казнь убиваетъ сразу, а пожизненное заключеніе медленно. Какой же палачъ человѣчнѣе? Тотъ ли, который убиваетъ васъ въ нѣсколько минутъ, или тотъ, который вытягиваетъ изъ васъ жизнь въ продолженіе многихъ лѣтъ?

— То и другое одинаково безнравственно, — замѣтилъ кто-то изъ гостей: — потому что имѣетъ одну и ту же цѣль — отнятіе жизни. Государство — не Богъ. Оно не имѣетъ права отнимать то, чего не можетъ вернуть, если *захочетъ*.

Среди гостей находился одинъ юристъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти. Когда спросили его мнѣнія, онъ сказалъ:

— И смертная казнь, и пожизненное заключеніе одинаково безнравственны, но если бы мнѣ предложили выбирать между казнью и пожизненнымъ заключеніемъ, то, конечно, я выбралъ бы второе. Жить какъ-нибудь лучше, чѣмъ никакъ.

Поднялся оживленный споръ. Банкиръ, бывшій тогда помоложе и нервнѣе, вдругъ вышелъ изъ себя, ударилъ кулакомъ по столу и крикнулъ, обращаясь къ молодому юристу:

— Неправда! Держу пари на два милліона, что вы не высидите въ казематѣ и пяти лѣтъ.

— Если это серьезно,—отвѣтилъ ему юристъ:—то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать.

— Пятнадцать? Идетъ! — крикнулъ банкиръ:—Господа, я ставлю два милліона!

— Согласенъ! Вы ставите милліоны, а я свою свободу!— сказалъ юристъ.

И это дикое, безсмысленное пари состоялось! Банкиръ, не знавшій тогда счета своимъ милліонамъ, избалованный и легкомысленный, былъ въ восторгѣ отъ пари. За ужиномъ онъ шутилъ надъ юристомъ и говорилъ:

— Образумьтесь, молодой человѣкъ, пока еще не поздно. Для меня два милліона составляютъ пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучшихъ года вашей жизни. Говорю— три-четыре, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточеніе гораздо тяжелѣе обязательнаго. Мысль, что каждую минуту вы имѣете право выйти на свободу, отравитъ вамъ въ казематѣ все ваше существованіе. Мнѣ жаль васъ!

И теперь банкиръ, шагая изъ угла въ уголъ, вспоминалъ все это и спрашивалъ себя:

— Къ чему это пари? Какая польза отъ того, что юристъ потерялъ пятнадцать лѣтъ жизни, а я брошу два милліона? Можетъ ли это доказать людямъ, что смертная казнь хуже или лучше пожизненнаго заключенія? Нѣтъ и нѣтъ. Вздоръ и безсмыслица. Съ моей стороны то была прихоть сытаго человѣка, а со стороны юриста — простая алчность къ деньгамъ...

Далѣе вспоминалъ онъ о томъ, что произошло послѣ описаннаго вечера. Рѣшено было, что юристъ будетъ отбывать свое заключеніе подъ строжайшимъ надзоромъ въ одномъ изъ флигелей, построенныхъ въ саду банкира. Условились, что въ продолженіе пятнадцати лѣтъ онъ будетъ лишенъ права переступать порогъ флигеля, видѣть живыхъ людей, слышать человѣческіе голоса и получать письма и газеты. Ему разрѣшалось имѣть музыкальный инструментъ, читать книги, писать письма, пить вино и курить табакъ. Съ внѣшнимъ міромъ, по условію, онъ могъ сноситься не иначе, какъ молча, черезъ маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Все, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, онъ могъ получать по запискѣ въ какомъ угодно количествѣ, но только черезъ окно. Договоръ предусматривалъ всѣ подробности и мелочи, дѣлавшія заключеніе строго одиночнымъ, и обязывалъ юриста высидѣть *ровно* пятнадцать лѣтъ съ 12-ти часовъ 14 ноября 1870 г. и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885 г. Малѣйшая попытка со стороны юриста нарушить условія, хотя бы за двѣ минуты до срока, освобождала банкира отъ обязанности платить ему два милліона.

Въ первый годъ заключенія юристъ, насколько можно было судить по его короткимъ запискамъ, сильно страдалъ отъ одиночества и скуки. Изъ его флигеля постоянно днемъ и ночью слышались звуки рояля! Онъ отказался отъ вина и табаку. Вино, писалъ онъ, возбуждаетъ желанія, а желанія—первые враги узника; къ тому же нѣтъ ничего скучнѣе, какъ пить хорошее вино и никого не видѣть. А табакъ портитъ въ его комнатѣ воздухъ. Въ первый годъ юристу посылались книги преимущественно легкаго содержанія: романы съ сложной любовной интригой, уголовные и фантастическіе разсказы, комедіи и т. п.

Во второй годъ музыка уже смолкла во флигелѣ, и юристъ требовалъ въ своихъ запискахъ только классиковъ. Въ пятый годъ снова послышалась музыка, и узникъ попросилъ вина. Тѣ, которые наблюдали за нимъ въ окошко, говорили, что весь этотъ годъ онъ только ѣлъ, пилъ и лежалъ на постели, часто зѣвалъ, сердито разговаривалъ самъ съ собою. Книгъ онъ не читалъ. Иногда по ночамъ онъ садился писать, писалъ долго и подъ утро разрывалъ на клочки все написанное. Слышали не разъ, какъ онъ плакалъ.

Во второй половинѣ шестого года узникъ усердно занялся изученіемъ языковъ, философіей и исторіей. Онъ жадно принялся за эти науки, такъ что банкиръ едва успѣвалъ выписывать для него книги. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ по его требованію было выписано около шестисотъ томовъ. Въ періодъ этого увлеченія банкиръ между прочимъ получилъ отъ своего узника такое письмо: «Дорогой мой тюремщикъ! Пишу вамъ эти строки на шести языкахъ. Покажите ихъ свѣдущимъ людямъ. Пусть прочтутъ. Если они не найдутъ ни одной ошибки, то умоляю васъ, прикажите выстрѣлить въ саду изъ ружья. Выстрѣлъ этотъ скажетъ мнѣ, что мои усилія не пропали даромъ. Геніи всѣхъ вѣковъ и странъ говорятъ на различныхъ языкахъ, но горитъ во всѣхъ ихъ одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытываетъ теперь моя душа оттого, что я умѣю понимать ихъ!» Желаніе узника было исполнено. Банкиръ приказалъ выстрѣлить въ саду два раза.

Затѣмъ послѣ десятаго года юристъ неподвижно сидѣлъ за столомъ и читалъ одно только Евангеліе. Банкиру казалось страннымъ, что человѣкъ, одолѣвшій въ четыре года шестьсотъ мудреныхъ томовъ, потратилъ около года на чтеніе одной удобопонятной и не толстой книги. На смѣну Евангелію пошли исторія религій и богословіе.

Въ послѣдніе два года заточенія узникъ читалъ чрезвычайно много, безъ всякаго разбора. То онъ занимался естественными науками, то требовалъ Байрона или Шекспира. Бывали отъ него такія записки, гдѣ онъ просилъ прислать ему въ одно и то же время и химію, и медицинскій учебникъ, и романъ, и какой-нибудь философскій или богословскій трактатъ. Его чтеніе было похоже на то, какъ будто онъ плавалъ въ морѣ среди обломковъ корабля и, желая спасти себѣ жизнь, жадно хватался то за одинъ обломокъ, то за другой!

II.

Старикъ банкиръ вспоминалъ все это и думалъ:

«Завтра въ 12 часовъ онъ получаетъ свободу. По условію, я долженъ буду уплатить ему два милліона. Если я уплачу, то все погибло: я окончательно разоренъ...»

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ онъ не зналъ счета своимъ

милліонамъ, теперь же онъ боялся спросить себя, чего у него больше—денегъ или долговъ? Азартная биржевая игра, рискованныя спекуляціи и горячность, отъ которой онъ не могъ отрѣшиться даже въ старости, мало-по-малу привели въ упадокъ его дѣла, и безстрашный, самонадѣянный, гордый богачъ превратился въ банкира средней руки, трепещущаго при всякомъ повышеніи и пониженіи бумагъ.

— Проклятое пари! — бормоталъ старикъ, въ отчаяніи хватая себя за голову...—Зачѣмъ этотъ человѣкъ не умеръ? Ему еще сорокъ лѣтъ. Онъ возьметъ съ меня послѣднее, женится, будетъ наслаждаться жизнью, играть на биржѣ, а я, какъ нищій, буду глядѣть съ завистью и каждый день слышать отъ него одну и ту же фразу: «Я обязанъ вамъ счастьемъ моей жизни, позвольте мнѣ помочь вамъ!» Нѣтъ, это слишкомъ! Единственное спасеніе отъ банкротства и позора—смерть этого человѣка!

Пробило три часа. Банкиръ прислушался: въ домѣ всѣ спали и только слышно было, какъ за окнами шумѣли озябшія деревья. Стараясь не издавать ни звука, онъ досталъ изъ несгораемаго шкапа ключъ отъ двери, которая не отворялась въ продолженіе пятнадцати лѣтъ, надѣлъ пальто и вышелъ изъ дому.

Въ саду было темно и холодно. Шелъ дождь. Рѣзкій сырой вѣтеръ съ воемъ носился по всему саду и не давалъ покоя деревьямъ. Банкиръ напрягалъ зрѣніе, но не видѣлъ ни земли, ни бѣлыхъ статуй, ни флигеля, ни деревьевъ. Подойдя къ тому мѣсту, гдѣ находился флигель, онъ два раза окликнулъ сторожа. Отвѣта не послѣдовало. Очевидно, сторожъ укрылся отъ непогоды и теперь спалъ гдѣ-нибудь на кухнѣ или въ оранжереѣ.

«Если у меня хватитъ духа исполнить свое намѣреніе,—подумалъ старикъ:—то подозрѣніе прежде всего падетъ на сторожа».

Онъ нащупалъ въ потемкахъ ступени и дверь и вошелъ въ переднюю флигеля, затѣмъ ощупью пробрался въ небольшой коридоръ и зажегъ спичку. Тутъ не было ни души. Стояла чья-то кровать безъ постели да темнѣла въ углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей въ комнату узника, были цѣлы.

Когда потухла спичка, старикъ, дрожа отъ волненія, заглянулъ въ маленькое окно.

Въ комнатѣ узника тускло горѣла свѣча. Самъ онъ сидѣлъ у стола. Видны были только его спина, волосы на головѣ да руки. На столѣ, на двухъ креслахъ и на коврѣ, возлѣ стола, лежали раскрытыя книги.

Прошло пять минутъ, и узникъ ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилѣтнее заточеніе научило его сидѣть неподвижно. Банкиръ постучалъ пальцемъ въ окно, и узникъ не отвѣтилъ на этотъ стукъ ни однимъ движеніемъ. Тогда банкиръ осторожно сорвалъ съ двери печати и вложилъ ключъ въ замочную скважину. Заржавленный замокъ издалъ хриплый звукъ и дверь скрипнула. Банкиръ ожидалъ, что тотчасъ же послышится крикъ удивленія и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо попрежнему. Онъ рѣшился войти въ комнату.

За столомъ неподвижно сидѣлъ человѣкъ, непохожій на обыкновенныхъ людей. Это былъ скелетъ, обтянутый кожею, съ длинными женскими кудрями и съ косматой бородой. Цвѣтъ лица у него былъ желтый, съ землистымъ оттѣнкомъ, щеки впалыя, спина длинная и узкая, а рука, которою онъ поддерживалъ свою волосатую голову, была такъ тонка и худа, что на нее было жутко смотрѣть. Въ волосахъ его уже серебрилась сѣдина и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не повѣрилъ бы, что ему только сорокъ лѣтъ. Онъ спалъ... Передъ его склоненною головой на столѣ лежалъ листъ бумаги, на которомъ было что-то написано мелкимъ почеркомъ.

«Жалкій человѣкъ!—подумалъ банкиръ.—Спитъ и, вѣроятно, видитъ во снѣ милліоны! А стоитъ мнѣ только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой и самая добросовѣстная экспертиза не найдетъ знаковъ насильственной смерти. Однако, прочтемъ сначала, что онъ тутъ написалъ...

Банкиръ взялъ со стола листъ и прочелъ слѣдующее:

«Завтра въ 12 часовъ дня я получаю свободу и право общенія съ людьми. Но прежде, чѣмъ оставить эту комнату и увидѣть солнце, я считаю нужнымъ сказать вамъ нѣсколько словъ. По чистой совѣсти и передъ Богомъ, который видитъ меня, заявляю вамъ, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье и все то, что въ вашихъ книгахъ называется благами міра.

«Пятнадцать лѣтъ я внимательно изучалъ земную жизнь.

Правда, я не видѣлъ земли и людей, но въ вашихъ книгахъ я пилъ ароматное вино, пѣлъ пѣсни, гонялся въ лѣсахъ за оленями и дикими кабанами, любилъ женщинъ... Красавицы воздушныя, какъ облако, созданныя волшебствомъ вашихъ геніальныхъ поэтовъ посѣщали меня ночью и шептали мнѣ чудныя сказки, отъ которыхъ пьянѣла моя голова. Въ вашихъ книгахъ я взбирался на вершины Эльборуса и Монблана и видѣлъ оттуда, какъ по утрамъ восходило солнце и какъ по вечерамъ заливало оно небо, океанъ и горныя вершины багрянымъ золотомъ; я видѣлъ оттуда, какъ надо мной, разсѣкая тучи, сверкали молніи; я видѣлъ зеленые лѣса, поля, рѣки, озера, города, слышалъ пѣніе сиренъ и игру пастушескихъ свирѣлей, осязалъ крылья прекрасныхъ дьяволовъ, прилетавшихъ ко мнѣ бесѣдовать о Богѣ... Въ вашихъ книгахъ я бросался въ бездонныя пропасти, творилъ чудеса, убивалъ, сжигалъ города, проповѣдывалъ новыя религіи, завоевывалъ цѣлыя царства...

«Ваши книги дали мнѣ мудрость. Все то, что вѣками создавала неутомимая человѣческая мысль, сдавлено въ моемъ черепѣ въ небольшой комъ. Я знаю, что я умнѣе всѣхъ васъ.

«И я презираю ваши книги, презираю всѣ блага міра и мудрость. Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, какъ миражъ. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотретъ васъ съ лица земли наравнѣ съ подпольными мышами, а потомство ваше, исторія, безсмертіе вашихъ геніевъ замерзнутъ или сгорятъ вмѣстѣ съ земнымъ шаромъ.

«Вы обезумѣли и идете не по той дорогѣ. Ложь принимаете вы за правду и безобразіе за красоту. Вы удивились бы, если бы вслѣдствіе какихъ-нибудь обстоятельствъ на яблоняхъ и апельсинныхъ деревьяхъ вмѣсто плодовъ вдругъ выросли лягушки и ящерицы, или розы стали издавать запахъ вспотѣвшей лошади; такъ я удивляюсь вамъ, промѣнявшимъ небо на землю. Я не хочу понимать васъ.

«Чтобъ показать вамъ на дѣлѣ презрѣніе къ тому, чѣмъ живете вы, я отказываюсь отъ двухъ милліоновъ, о которыхъ я когда-то мечталъ, какъ о раѣ, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на нихъ, я выйду от-

сюда за пять часовъ до условленнаго срока и такимъ образомъ нарушу договоръ...»

Прочитавъ это, банкиръ положилъ листъ на столъ, поцѣловалъ страннаго человѣка въ голову, заплакалъ и вышелъ изъ флигеля. Никогда въ другое время, даже послѣ сильныхъ проигрышей на биржѣ, онъ не чувствовалъ такого презрѣнія къ самому себѣ, какъ теперь. Придя домой, онъ легъ въ постель, но волненіе и слезы долго не давали ему уснуть...

На другой день утромъ прибѣжали блѣдные сторожа и сообщили ему, что они видѣли, какъ человѣкъ, живущій во флигелѣ, пролѣзъ черезъ окно въ садъ, пошелъ къ воротамъ, затѣмъ куда-то скрылся. Вмѣстѣ со слугами банкиръ тотчасъ же отправился во флигель и удостовѣрилъ бѣгство своего узника. Чтобы не возбуждать лишнихъ толковъ, онъ взялъ со стола листъ съ отреченіемъ и, вернувшись къ себѣ, заперъ его въ несгораемый шкапъ.

ИМЕНИНЫ.

I.

Послѣ имениннаго обѣда, съ его восемью блюдами и безконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла въ садъ. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звонъ посуды, безтолковость прислуги, длинные обѣденные антракты и корсетъ, который она надѣла, чтобы скрыть отъ гостей свою беременность, утомили ее до изнеможенія. Ей хотѣлось уйти подальше отъ дома, посидѣть въ тѣни и отдохнуть на мысляхъ о ребенкѣ, который долженъ былъ родиться у нея мѣсяца черезъ два. Она привыкла къ тому, что эти мысли приходили къ ней, когда она съ большой аллеи сворачивала влѣво на узкую тропинку; тутъ въ густой тѣни сливъ и вишенъ сухія вѣтки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а въ мысляхъ выросталъ образъ маленькаго человѣчка неопредѣленнаго пола, съ неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочетъ лицо и шею, а этотъ человѣчекъ; когда же въ концѣ тропинки показывался жидкій плетень, а за нимъ пузатые ульи съ черепяными крышками, когда въ неподвижномъ, застоявшемся воздухѣ начинало пахнуть и сѣномъ, и медомъ, и слышалось кроткое жужжанье пчелъ, маленькій человѣчекъ совсѣмъ овладѣвалъ Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечкѣ около шалаша, сплетеннаго изъ лозы, и принималась думать.

И на этотъ разъ она дошла до скамеечки, сѣла и стала думать; но въ ея воображеніи вмѣсто маленькаго человѣчка

вставали большіе люди, отъ которыхъ она только-что ушла. Ее сильно безпокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспомнила она, какъ за обѣдомъ ея мужъ Петръ Дмитричъ и ея дядя Николай Николаичъ спорили о судѣ присяжныхъ, о печати и о женскомъ образованіи; мужъ по обыкновенію спорилъ для того, чтобы щегольнуть передъ гостями своимъ консерватизмомъ, а главное — чтобы не соглашаться съ дядей, котораго онъ не любилъ; дядя же противорѣчилъ ему и придирался къ каждому его слову для того, чтобы показать обѣдающимъ, что онъ, дядя, несмотря на свои 59 лѣтъ, сохранилъ еще въ себѣ юношескую свѣжесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна подъ конецъ обѣда не выдержала и стала неумѣло защищать женскіе курсы,—не потому, что эти курсы нуждались въ защитѣ, а просто потому, что ей хотѣлось досадить мужу, который, по ея мнѣнію, былъ несправедливъ. Гостей утомилъ этотъ споръ, но всѣ они нашли нужнымъ вмѣшаться и говорили много, хотя всѣмъ имъ не было никакого дѣла ни до суда присяжныхъ, ни до женскаго образованія...

Ольга Михайловна сидѣла по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздухъ хмурились, какъ передъ дождемъ, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сѣно, скошенное подъ деревьями наканунѣ Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрѣя своими поблекшими цвѣтами и испуская тяжелый приторный запахъ. Было тихо. За плетнемъ монотонно жужжали пчелы...

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шелъ по тропинкѣ къ пасѣкѣ.

— Душно!—сказалъ женскій голосъ.—Какъ по-вашему, будетъ дождь, или нѣтъ?

— Будетъ, моя прелесть, но не раньше ночи,—отвѣтилъ томно очень знакомый мужской голосъ.—Хорошій дождь будетъ.

Ольга Михайловна разсудила, что если она поспѣшитъ спрятаться въ шалашъ, то ея не замѣтятъ и пройдутъ мимо, и ей не нужно будетъ говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла въ шалашъ. Тотчасъ же лицо, шею и руки ея обдало горячимъ и душнымъ, какъ паръ, воздухомъ. Если бы не духота и

не спертый запахъ ржаного хлѣба, укропа и лозы, отъ котораго захватывало дыханіе, то тутъ, подъ соломенною крышей и въ сумеркахъ, отлично можно было бы прятаться отъ гостей и думать о маленькомъ человѣчкѣ. Уютно и тихо.

— Какое здѣсь хорошенькое мѣстечко!—сказалъ женскій голосъ.—Посидимте здѣсь, Петръ Дмитричъ.

Ольга Михайловна стала глядѣть въ щель между двумя хворостинами. Она увидала своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллеръ, семнадцатилѣтнюю дѣвочку, недавно кончившую въ институтѣ. Петръ Дмитричъ, со шляпой на затылкѣ, томный и лѣнивый оттого, что много пилъ за обѣдомъ, въ развалку ходилъ около плетня и ногой сгребалъ въ кучу сѣно; Любочка, розовая отъ жары и, какъ всегда, хорошенькая, стояла, заложивъ руки назадъ, и слѣдила за лѣнивыми движеніями его большого красиваго тѣла.

Ольга Михайловна знала, что ея мужъ нравится женщинамъ, и не любила видѣть его съ ними. Ничего особеннаго не было въ томъ, что Петръ Дмитричъ лѣниво сгребалъ сѣно, чтобы посидѣть на немъ съ Любочкой и поболтать о пустякахъ; ничего не было особеннаго и въ томъ, что хорошенькая Любочка кротко глядѣла на него, но все же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страхъ и удовольствіе оттого, что ей можно сейчасъ подслушать.

— Садитесь, очаровательница,—сказалъ Петръ Дмитричъ, опускаясь на сѣно и потягиваясь.—Вотъ такъ. Ну, разскажите мнѣ что-нибудь.

— Вотъ еще! Я стану разсказывать, а вы уснете.

— Я усну? Аллахъ керимъ! Могу ли я уснуть, когда на меня глядятъ такіе глазки?

Въ словахъ мужа и въ томъ, что онъ въ присутствіи гостьи сидѣлъ развалясь и со шляпой на затылкѣ, не было тоже ничего особеннаго. Онъ былъ избалованъ женщинами, зналъ, что нравится имъ, и въ обращеніи съ ними усвоилъ себѣ особый тонъ, который, какъ всѣ говорили, былъ ему къ лицу. Съ Любочкой онъ держалъ себя такъ же, какъ со всѣми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.

— Скажите, пожалуйста,—начала Любочка послѣ нѣкотораго молчанія:—правду ли говорятъ, что вы попали подъ *судъ?*

— Я? Да, попалъ... Къ злодѣямъ сопричтенъ, моя прелесть.

— Но за что?

— Ни за что, а такъ... все больше изъ-за политики,— зѣвнулъ Петръ Дмитричъ. — Борьба лѣвой и правой. Я, обскурантъ и рутинеръ, осмѣлился употребить въ офиціальной бумагѣ выраженія, оскорбительныя для такихъ непогрѣшимыхъ Гладстоновъ, какъ нашъ участковый мировой судья Кузьма Григорьевичъ Востряковъ и Владиміръ Павловичъ Владиміровъ.

Петръ Дмитричъ еще разъ зѣвнулъ и продолжалъ:

— А у насъ такой порядокъ, что вы можете неодобрительно отзываться о солнцѣ, о лунѣ, о чемъ угодно, но храни васъ Богъ трогать либераловъ! Боже васъ сохрани! Либералъ, это—тотъ самый поганый сухой грибъ, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцемъ, обдастъ васъ облакомъ пыли.

— Что у васъ произошло?

— Ничего особеннаго. Весь сыръ-боръ загорѣлся изъ-за чистѣйшаго пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность колокольнаго происхожденія, подаетъ Вострякову прошеніе на трактирщика, обвиняя его въ оскорбленіи словами и дѣйствіемъ въ публичномъ мѣстѣ. Изъ всего видно, что и учитель, и трактирщикъ оба были пьяны, какъ сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбленіе, то во всякомъ случаѣ взаимное. Вострякову слѣдовало бы оштрафовать обоихъ за нарушеніе тишины и прогнать ихъ изъ камеры, — вотъ и все. Но у насъ какъ? У насъ на первомъ планѣ стоитъ всегда не лицо, не фактъ, а фирма и ярлыкъ. Учитель, какой бы онъ негодяй ни былъ, всегда правъ, потому что онъ учитель; трактирщикъ же всегда виноватъ, потому что онъ трактирщикъ и кулакъ. Востряковъ приговорилъ трактирщика къ аресту, тотъ перенесъ дѣло въ съѣздъ. Съѣздъ торжественно утвердилъ приговоръ Вострякова. Ну, я остался при особомъ мнѣніи... Немножко погорячился... Вотъ и все.

Петръ Дмитричъ говорилъ покойно, съ небрежною ироніей. На самомъ же дѣлѣ предстоящій судъ сильно безпокоилъ его. Ольга Михайловна помнила, какъ онъ, вернувшись съ злополучнаго съѣзда, всѣми силами старался скрыть отъ домашнихъ, что ему тяжело и что онъ недоволенъ со-

бой. Какъ умный человѣкъ, онъ не могъ не чувствовать, что въ своемъ особомъ мнѣніи онъ зашелъ слишкомъ далеко, и сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрывать отъ себя и отъ людей это чувство! Сколько было ненужныхъ разговоровъ, сколько брюзжанья и неискренняго смѣха надъ тѣмъ, что не смѣшно! Узнавъ же, что его привлекаютъ къ суду, онъ вдругъ утомился и палъ духомъ, сталъ плохо спать, чаще, чѣмъ обыкновенно, стоялъ у окна и барабанилъ пальцами по стекламъ. И онъ стыдился сознаться передъ женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

— Говорятъ, вы были въ Полтавской губерніи?—спросила Любочка.

— Да, былъ,—отвѣтилъ Петръ Дмитричъ.—Третьяго дня вернулся оттуда.

— Небось, хорошо тамъ?

— Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вамъ сказать, попалъ туда какъ разъ на сѣнокосъ, а на Украйнѣ сѣнокосъ самое поэтическое время. Тутъ у насъ большой домъ, большой садъ, много людей и суеты, такъ что вы не видите, какъ косятъ; тутъ все проходитъ незамѣтно. Тамъ же у меня на хуторѣ пятнадцать десятинъ луга какъ на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косятъ, въ саду косятъ, гостей нѣтъ, суеты тоже, такъ что вы поневолѣ видите, слышите и чувствуете одинъ только сѣнокосъ. На дворѣ и въ комнатахъ пахнетъ сѣномъ, отъ зари до зари звенятъ косы. Вообще Хохландія милая страна. Вѣрите ли, когда я пилъ у колодцевъ съ журавлями воду, а въ жидовскихъ корчмахъ—поганую водку, когда въ тихіе вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль—засѣсть у себя на хуторѣ и жить въ немъ, пока живется, подальше отъ этихъ съѣздовъ, умныхъ разговоровъ, философствующихъ женщинъ, длинныхъ обѣдовъ...

Петръ Дмитричъ не лгалъ. Ему было тяжело и въ самомъ дѣлѣ хотѣлось отдохнуть. И въ Полтавскую губернію ѣздилъ онъ только затѣмъ, чтобы не видѣть своего кабинета, прислуги, знакомыхъ и всего, что могло бы напоминать ему объ его раненомъ самолюбіи и ошибкахъ.

Любочка вдругъ вскочила и въ ужасѣ замахала руками.

— *Ахъ, пчела, пчела!*—взвизгнула она.—Укуситъ!

— Полноте, не укуситъ! — сказалъ Петръ Дмитричъ. — Какая вы трусиха!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! — крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назадъ.

Петръ Дмитричъ уходилъ за нею и смотрѣлъ ей вслѣдъ съ умиленіемъ и грустью. Должно-быть, глядя на нее, онъ думалъ о своемъ хуторѣ, объ одиночествѣ и — кто знаетъ? — быть-можетъ, даже думалъ о томъ, какъ бы тепло и уютно жилось ему на хуторѣ, если бы женой его была эта дѣвочка — молодая, чистая, свѣжая, не испорченная курсами, не беременная...

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла изъ шалаша и направилась къ дому. Ей хотѣлось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петръ Дмитричъ утомился, былъ недоволенъ собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся прежде всего отъ близкихъ и откровенничаютъ съ чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, какъ и всѣ тѣ женщины, которыя пили теперь въ домѣ кофе. Но въ общемъ все было непонятно, страшно, и Ольгѣ Михайловнѣ уже казалось, что Петръ Дмитричъ не принадлежитъ ей наполовину...

— Онъ не имѣетъ права! — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа. — Онъ не имѣетъ никакого права. Я ему сейчасъ все выскажу!

Она рѣшила сейчасъ же найти мужа и высказать ему все: гадко, безъ конца гадко, что онъ нравится чужимъ женщинамъ и добивается этого, какъ манны небесной; несправедливо и нечестно, что онъ отдаетъ чужимъ то, что по праву принадлежитъ его женѣ, прячетъ отъ жены свою душу и совѣсть, чтобы открывать ихъ первому встрѣчному хорошенькому личику. Что худого сдѣлала ему жена? Въ чемъ она провинилась? Наконецъ, ужъ въ уже надоѣло его лганье: онъ постоянно рисуется, кокетничаетъ, говоритъ не то, что думаетъ, и старается казаться съ такъ, что онъ есть и кѣмъ ему быть должно. Къ чему дѣтей за Пристала ли она порядочному человѣку? Если на него, то оскорбляетъ и себя, и тѣхъ, кому лжетъ, и не ждетъ ее съ того, о чемъ лжетъ. Неужели ему не понятно, что только онъ кокетничаетъ и ломается за судейскимъ столомъ или, сидя за обѣдомъ, трактуетъ о прерогативахъ власти только

для того, чтобы насолить дядѣ, неужели ему не понятно, что этимъ самымъ онъ ставитъ ни въ грошъ и судъ, и себя, и всѣхъ, кто его слушаетъ и видитъ?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себѣ такое выраженіе, какъ будто уходила сейчасъ по хозяйственнымъ надобностямъ. На террасѣ мужчины пили ликеръ и закусывали ягодами; одинъ изъ нихъ, судебный слѣдователь, толстый пожилой человѣкъ, балагуръ и острякъ, должно-быть, разсказывалъ какой-нибудь нецензурный анекдотъ, потому что, увидѣвъ хозяйку, онъ вдругъ схватилъ себя за жирныя губы, выпучилъ глаза и присѣлъ. Ольга Михайловна не любила уѣздныхъ чиновниковъ. Ей не нравились ихъ неуклюжія церемонныя жены, сплетни, частыя поѣздки въ гости, лесть передъ ея мужемъ, котораго всѣ они ненавидѣли. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уѣзжать, она чувствовала, что ихъ присутствіе утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она привѣтливо улыбнулась судебному слѣдователю и погрозила ему пальцемъ. Черезъ залу и гостиную она прошла улыбаясь и съ такимъ видомъ, какъ будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай Богъ, если кто остановитъ!»—думала она, но сама заставила себя остановиться въ гостиной, чтобы изъ приличія послушать молодого человѣка, который сидѣлъ за піанино и игралъ; постоявъ минутку, она крикнула: «Браво, браво, m-r Жоржъ!» и, хлопнувъ два раза въ ладоши, пошла дальше.

Мужа нашла она въ кабинетѣ. Онъ сидѣлъ у стола и о чемъ-то думалъ. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это ужъ былъ не тотъ Петръ Дмитричъ, который спорилъ за обѣдомъ и котораго знаютъ гости, а другой— утомленный, виноватый и недовольный собой, котораго знаетъ одна только женщина, въ кабинетъ пришелъ онъ, должно-быть, для того, чтобы курилось папиросъ. Передъ нимъ лежалъ открытый портсигаръ, набитый папиросами, и одна рука была опущена подъ столъ. Какъ бралъ папиросы, такъ и застылъ. Петръ Дмитричъ. Въ этомъ дѣлѣ Ольгѣ Михайловнѣ стало жаль его. Было ясно, какъ день, что онъ томился и не находилъ мѣста, быть-можетъ, ѣздилъ онъ, нета, присъ собой. Ольга Михайловна молча подошла къ нему, желая показать, что она не помнитъ обѣденнаго спора и уже не сердится, она закрыла портсигаръ и положила его мужу въ боковой карманъ.

«Что сказать ему?—думала она.—Я скажу, что ложь тотъ же лѣсъ: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ труднѣе выбраться изъ него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашелъ слишкомъ далеко; ты оскорбилъ людей, которые были къ тебѣ привязаны и не сдѣлали тебѣ никакого зла. Поди же, извинись передъ ними, посмѣйся надъ самимъ собой, и тебѣ станетъ легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уѣдемъ отсюда вмѣстѣ».

Встрѣтясь глазами съ женой, Петръ Дмитричъ вдругъ придалъ своему лицу выраженіе, какое у него было за обѣдомъ и въ саду,—равнодушное и слегка насмѣшливое, зѣвнулъ и поднялся съ мѣста.

— Теперь шестой часъ,—сказалъ онъ, взглянувъ на часы.—Если гости смилостивятся и уѣдутъ въ одиннадцать, то и тогда намъ остается ждать еще шесть часовъ. Весело, нечего сказать.

И, что-то насвистывая, онъ медленно, своею обычною солидною походкой, вышелъ изъ кабинета. Слышно было, какъ онъ, солидно ступая, прошелъ черезъ залу, потомъ черезъ гостиную, чему-то солидно засмѣялся и сказалъ игравшему молодому человѣку: «бра-о! бра-о!» Скоро шаги его затихли; должно-быть, вышелъ въ садъ. И ужъ не ревность и не досада, а настоящая ненависть къ его шагамъ, неискреннему смѣху и голосу овладѣла Ольгой Михайловной. Она подошла къ окну и поглядѣла въ садъ. Петръ Дмитричъ шелъ уже по аллеѣ. Заложивъ одну руку въ карманъ и щелкая пальцами другой, слегка откинувъ назадъ голову, онъ шелъ солидно, въ развалку и съ такимъ видомъ, какъ будто былъ очень доволенъ и собой, и обѣдомъ, и пищевареніемъ, и природой...

На аллеѣ показались два маленькихъ гимназиста, дѣти помѣщицы Чижевской, только-что пріѣхавшіе, а съ ними студентъ-гувернеръ въ бѣломъ кителѣ и въ очень узкихъ брюкахъ. Поровнявшись съ Петромъ Дмитричемъ, дѣти и студентъ остановились и, вѣроятно, поздравили его съ ангеломъ. Красиво поводя плечами, онъ потрепалъ дѣтей за щеки и подалъ студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно-быть, студентъ похвалилъ погоду и сравнилъ ее съ петербургской, потому что Петръ Дмитричъ сказалъ громко и такимъ тономъ, какъ будто говорилъ не съ гостемъ, а *съ судебнымъ приставомъ* или со свидѣтелемъ:

— Что-съ? У васъ въ Петербургѣ холодно? А у насъ тутъ, батенька мой, благорастворенiе воздуховъ и изобилiе плодовъ земныхъ. А? Что?

И, заложивъ въ карманъ одну руку и щелкнувъ пальцами другой, онъ зашагалъ дальше. Пока онъ не скрылся за кустами орѣшника, Ольга Михайловна все время смотрѣла ему въ затылокъ и недоумѣвала. Откуда у тридцатичетырехлѣтняго человѣка эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрацiя въ голосѣ, откуда всѣ эти «что-съ», «н-да-съ» и «батенька»?

Ольга Михайловна вспомнила, какъ она, чтобы не скучать одной дома, въ первые мѣсяцы замужества ѣздила въ городъ на съѣздъ, гдѣ иногда вмѣсто ея крестнаго отца, графа Алексѣя Петровича, предсѣдательствовалъ Петръ Дмитричъ. На предсѣдательскомъ креслѣ, въ мундирѣ и съ цѣпью на груди, онъ совершенно мѣнялся. Величественные жесты, громовый голосъ, «что-съ», «н-да-съ», небрежный тонъ... Все обыкновенное человѣческое, свое собственное, что привыкла видѣть въ немъ Ольга Михайловна дома, исчезало въ величiи, и на креслѣ сидѣлъ не Петръ Дмитричъ, а какой-то другой человѣкъ, котораго всѣ звали господиномъ предсѣдателемъ. Сознанiе, что онъ — власть, мѣшало ему покойно сидѣть на мѣстѣ, и онъ искалъ случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть... Откуда брались близорукость и глухота, когда онъ вдругъ начиналъ плохо видѣть и слышать и, величественно морщась, требовалъ, чтобы говорили громче и поближе подходили къ столу. Съ высоты величiя онъ плохо различалъ лица и звуки, такъ что если бы, кажется, въ эти минуты подошла къ нему сама Ольга Михайловна, то онъ и ей бы крикнулъ: «Какъ ваша фамилiя?» Свидѣтелямъ-крестьянамъ онъ говорилъ «ты», на публику кричалъ такъ, что его голосъ былъ слышенъ даже на улицѣ, а съ адвокатами держалъ себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному повѣренному, то Петръ Дмитричъ сидѣлъ къ нему нѣсколько бокомъ и щурилъ глаза въ потолокъ, желая этимъ показать, что присяжный повѣренный тутъ вовсе не нуженъ, и что онъ его не признаетъ и не слушаетъ; если же говорилъ сѣро-одѣтый частный повѣренный, то Петръ Дмитричъ весь превращался въ слухъ и

измѣрялъ повѣреннаго насмѣшливымъ, уничтожающимъ взглядомъ: вотъ, молъ, какіе теперь адвокаты! — «Что же вы хотите этимъ сказать?» — перебивалъ онъ. Если витіеватый повѣренный употреблялъ какое-нибудь иностранное слово и, напримѣръ, вмѣсто «фиктивный» произносилъ фактивный, то Петръ Дмитричъ вдругъ оживлялся и спрашивалъ: «Что-съ? Какъ? Фактивный? А что это значитъ?» и потомъ наставительно замѣчалъ: «Не употребляйте тѣхъ словъ, которыхъ вы не понимаете». И повѣренный, кончивъ свою рѣчь, отходилъ отъ стола красный и весь въ поту, а Петръ Дмитричъ, самодовольно улыбаясь, торжествуя побѣду, откидывался на спинку кресла. Въ своемъ обращеніи съ адвокатами онъ нѣсколько подражалъ графу Алексѣю Петровичу, но у графа, когда тотъ, напримѣръ, говорилъ: «Защита, помолчите немножко!» — это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

II.

Послышались аплодисменты. Это молодой человѣкъ кончилъ играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась въ гостиную.

— Я васъ заслушалась, — сказала она, подходя къ піанино. — Я васъ заслушалась. У васъ удивительныя способности! Но не находите ли вы, что нашъ піанино разстроенъ?

Въ это время въ гостиную входили два гимназиста и съ ними студентъ.

— Боже мой, Митя и Коля! — сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя къ нимъ навстрѣчу. — Какіе большіе стали! Даже не узнаешь васъ! А гдѣ же ваша мама?

— Поздравляю васъ съ именинникомъ, — началъ развязно студентъ: — и желаю всего лучшаго. Екатерина Андреевна поздравляетъ и проситъ извиненія. Она не совсѣмъ здорова.

— Какая же она не добрая! Я ее весь день ждала. А вы давно изъ Петербурга? — спросила Ольга Михайловна студента. — Какая теперь тамъ погода? — и, не дожидаясь отвѣта, она ласково взглянула на гимназистовъ и повторила: — Какіе большіе выросли! Давно ли они пріѣзжали

сюда съ нянею, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растетъ... Вы обѣдали?

— Ахъ, не безпокойтесь, пожалуйста!—сказалъ студентъ.

— Вѣдь вы не обѣдали?

— Ради Бога, не безпокойтесь!

— Но вѣдь вы хотите ѣсть? — спросила Ольга Михайловна грубымъ и жесткимъ голосомъ, нетерпѣливо и съ досадой — это вышло у нея нечаянно, но тотчасъ же она закашлялась, улыбнулась, покраснѣла. — Какіе большіе выросли!—сказала она мягко.

— Не безпокойтесь, пожалуйста! — сказалъ еще разъ студентъ.

Студентъ просилъ не безпокоиться, дѣти молчали; очевидно, всѣ трое хотѣли ѣсть. Ольга Михайловна повела ихъ въ столовую и приказала Василію накрыть на столъ.

— Не добрая ваша мама!—говорила она, усаживая ихъ.— Совсѣмъ меня забыла. Не добрая, не добрая, не добрая... Такъ и скажите ей. А вы на какомъ факультетѣ? — спросила она у студента.

— На медицинскомъ.

— Ну, а у меня слабость къ докторамъ, представьте. Я очень жалѣю, что мой мужъ не докторъ. Какое надо имѣть мужество, чтобы, напримѣръ, дѣлать операціи или рѣзать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла отъ страха. Вы, конечно, выпьете водки?

— Не безпокойтесь, пожалуйста.

— Съ дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьютъ малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какіе они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила безъ умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнѣе говорить, чѣмъ слушать. Когда говоришь, нѣтъ надобности напрягать вниманіе, придумывать отвѣты на вопросы и мѣнять выраженіе лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопросъ, студентъ сталъ говорить длинно, и ей поневолѣ пришлось слушать. Студентъ зналъ, что она когда-то была на курсахъ, а потому, обращаясь къ ней, старался казаться серьезнымъ.

— Вы на какомъ факультетѣ? — спросила она, забывъ, что однажды уже задавала этотъ вопросъ.

— На медицинскомъ.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была съ дамами.

— Да? Значитъ, вы докторомъ будете? — сказала она, поднимаясь. — Это хорошо. Я жалѣю, что сама не пошла на медицинскіе курсы. Такъ вы тутъ обѣдайте, господа, и выходите въ садъ. Я васъ познакомлю съ барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было безъ пяти минутъ шесть. И она удивилась, что время идетъ такъ медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъѣдутся гости, осталось еще шесть часовъ. Куда убить эти шесть часовъ? Какія фразы говорить? Какъ держать себя съ мужемъ?

Въ гостиной и на террасѣ не было ни души. Всѣ гости разбрелись по саду.

«Нужно будетъ предложить имъ до чая прогулку въ березнякъ или катанье на лодкахъ, — думала Ольга Михайловна, торопясь къ крокету, откуда слышались голоса и смѣхъ.—А стариковъ усадить играть въ винтъ...»

Отъ крокета навстрѣчу ей шелъ лакей Григорій съ пустыми бутылками.

— Гдѣ же барыни?—спросила она.

— Въ малинникѣ. Тамъ и баринъ.

— А, Господи Боже мой! — съ ожесточеніемъ крикнулъ кто-то на крокетѣ.—Да я же тысячу разъ же говорилъ вамъ то же самое! Чтобы знать болгаръ, надо ихъ видѣть! Нельзя судить по газетамъ!

Отъ этого ли крика или отъ чего другого, Ольга Михайловна вдругъ почувствовала сильную слабость во всемъ тѣлѣ, особенно въ ногахъ и въ плечахъ. Ей вдругъ захотѣлось не говорить, не слышать, не двигаться.

— Григорій,—сказала она томно и съ усиліемъ:—когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мнѣ, не спрашивайте, не говорите ни о чемъ... Дѣлайте все сами и... и не стучите ногами. Умоляю... Я не могу, потому что...

Она не договорила и пошла дальше къ крокету, но по дорогѣ вспомнила о барыняхъ и повернула къ малиннику. Небо, воздухъ и деревья попрежнему хмурились и обѣщали дождь; было жарко и душно; громадныя стаи воронъ, предчувствуя непогоду, съ крикомъ носились надъ садомъ. Чѣмъ

ближе къ огороду, тѣмъ аллеи становились запущеннѣе, темнѣе и уже; на одной изъ нихъ, прятавшейся въ густой заросли дикихъ грушъ, кислицъ, молодыхъ дубковъ, хмеля, цѣлыя облака мелкихъ черныхъ мошекъ окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленькаго человѣчка... Въ воображеніи пронеслись Григорій, Митя, Коля, лица мужиковъ, приходившихъ утромъ поздравлять...

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. Къ ней навстрѣчу быстро шелъ дядя Николай Николаичъ.

— Это ты, милая? Очень радъ... — началъ онъ задыхаясь.—На два слова...—Онъ вытеръ платкомъ свой бритый красный подбородокъ, потомъ вдругъ отступилъ шагъ назадъ, всплеснулъ руками и выпучилъ глаза. — Матушка, до какихъ же поръ это будетъ продолжаться?—заговорилъ онъ быстро, захлебываясь. — Я тебя спрашиваю: гдѣ границы? Не говорю уже о томъ, что его держимордовскіе взгляды деморализуютъ среду, что онъ оскорбляетъ во мнѣ и въ каждомъ честномъ, мыслящемъ человѣкѣ все святое и лучшее — не говорю, но пусть онъ будетъ хоть приличенъ! Что такое? Кричитъ, рычитъ, ломается, корчитъ изъ себя какого-то Бонапарта, не даетъ слова сказать... чортъ его знаетъ! Какіе-то величественные жесты, генеральскій смѣхъ, снисходительный тонъ! Да позвольте васъ спросить: кто онъ такой? Я тебя спрашиваю: кто онъ такой? Мужъ своей жены, мелкопомѣстный титуляръ, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкеръ, какихъ много! Щедринскій типъ! Клянусь Богомъ, что-нибудь изъ двухъ: или онъ страдаетъ маніей величія, или въ самомъ дѣлѣ права эта старая, выжившая изъ ума, крыса, графъ Алексѣй Петровичъ, когда говоритъ, что теперешнія дѣти и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лѣтъ играютъ въ извозчики и въ генералы!

— Это вѣрно, вѣрно...—согласилась Ольга Михайловна.— Позволь мнѣ пройти.

— Теперь ты разсуди, къ чему это поведетъ?—продолжалъ дядя, загораживая ей дорогу. — Чѣмъ кончится эта игра въ консерватизмъ и въ генералы? Уже подъ судъ попалъ! Попалъ! Я очень радъ! Докричался и достукался до того, что угодилъ на скамью подсудимыхъ. И не то чтобы окружный судъ или что, а судебная палата! Хуже этого,

кажется, и придумать нельзя! Во-вторыхъ, со всѣми разссорился! Сегодня именины, а погляди: не пріѣхали ни Востряковъ, ни Яхонтовъ, ни Владиміровъ, ни Шевудъ, ни графъ... На что, кажется, консервативнѣе графа Алексѣя Петровича, да и тотъ не пріѣхалъ. И никогда больше не пріѣдетъ! Увидишь, что не пріѣдетъ!

— Ахъ, Боже мой, да я-то тутъ при чемъ? — спросила Ольга Михайловна.

— Какъ при чемъ? Ты его жена! Ты умна, была на курсахъ, и въ твоей власти сдѣлать изъ него честнаго работника!

— На курсахъ не учатъ, какъ вліять на тяжелыхъ людей. Я должна буду, кажется, просить у всѣхъ васъ извиненія, что была на курсахъ! — сказала Ольга Михайловна рѣзко. — Послушай, дядя, если у тебя цѣлый день надъ ухомъ будутъ играть однѣ и тѣ же гаммы, то ты не усидишь на мѣстѣ и сбѣжишь. Я ужъ круглый годъ по цѣлымъ днямъ слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконецъ, имѣть сожалѣніе!

Дядя сдѣлалъ очень серьезное лицо, потомъ пытливо поглядѣлъ на нее и покривилъ ротъ насмѣшливою улыбкой.

— Вотъ оно что! — пропѣлъ онъ старушечьимъ голосомъ. — Виноватъ-съ! — сказалъ онъ и церемонно раскланялся. — Если ты сама подпала подъ его вліяніе и измѣнила убѣжденія, то такъ бы и сказала раньше. Виноватъ-съ!

— Да, я измѣнила убѣжденія! — крикнула она. — Радуйся!

— Виноватъ-съ!

Дядя въ послѣдній разъ церемонно поклонился какъ-то въ бокъ и, весь съежившись, шаркнулъ ногой и пошелъ назадъ.

«Дуракъ, — подумала Ольга Михайловна. — И ѣхалъ бы себѣ домой».

Дамъ и молодежь нашла она на огородѣ въ малинникѣ. Одни ѣли малину, другіе, кому уже надоѣла малина, бродили по грядамъ клубники или рылись въ сахарномъ горошкѣ. Нѣсколько въ сторонѣ отъ малинника, около вѣтвистой яблони, кругомъ подпертой палками, повыдерганными изъ стараго палисадника, Петръ Дмитричъ косилъ траву. Волосы его падали на лобъ, галстукъ развязался, часовая

цѣпочка выпала изъ петли. Въ каждомъ его шагѣ и взмахѣ косой чувствовались умѣнье и присутствіе громадной физической силы. Возлѣ него стояли Любочка и дочери сосѣда, полковника Букрѣева, Наталья и Валентина, или, какъ ихъ всѣ звали, Ната и Вата, анемичныя и болѣзненно-полныя блондинки лѣтъ 16—17, въ бѣлыхъ платьяхъ, поразительно похожія другъ на друга. Петръ Дмитричъ училъ ихъ косить.

— Это очень просто... — говорилъ онъ. — Нужно только умѣть держать косу и не горячиться, то-есть не употреблять силы больше, чѣмъ нужно. Вотъ такъ... Не угодно ли теперь вамъ?—предложилъ онъ косу Любочкѣ.— Ну-ка!

Любочка неумѣло взяла въ руки косу, вдругъ покраснѣла и засмѣялась.

— Не робѣйте, Любовь Александровна!—крикнула Ольга Михайловна такъ громко, чтобы ее могли слышать всѣ дамы и знать, что она съ ними. — Не робѣйте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставитъ.

Любочка подняла косу, но опять засмѣялась и, обезсилѣвъ отъ смѣха, тотчасъ же опустила ее. Ей было стыдно и пріятно. что съ нею говорятъ, какъ съ большой. Ната, не улыбаясь и не робѣя, съ серьезнымъ, холоднымъ лицомъ, взяла косу, взмахнула и запутала ее въ травѣ; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, какъ сестра, молча взяла косу и вонзила ее въ землю. Продѣлавъ это, обѣ сестры взялись подъ руки и молча пошли къ малинѣ.

Петръ Дмитричъ смѣялся и шалилъ, какъ мальчикъ, и это дѣтски-шаловливое настроеніе, когда онъ становился чрезмѣрно добродушенъ, шло къ нему гораздо болѣе, чѣмъ что-либо другое. Ольга Михайловна любила его такимъ. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Такъ и на этотъ разъ, пошаливъ съ косой, онъ почему-то нашелъ нужнымъ придать своей шалости серьезный оттѣнокъ.

— Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровѣе и нормальнѣе,—сказалъ онъ.—Если бы меня заставили довольствоваться одною только умственной жизнью, то я бы, кажется, съ ума сошелъ. Чувствую, что я не родился культурнымъ человѣкомъ! Мнѣ бы косить, пахать, сѣять, лошадей выѣзжать...

И у Петра Дмитрича съ дамами начался разговоръ о преимуществахъ физическаго труда, о культурѣ, потомъ о вредѣ денегъ, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своемъ приданомъ.

«А вѣдь будетъ время, — подумала она: — когда онъ не проститъ мнѣ, что я богаче его. Онъ гордъ и самолюбивъ. Пожалуй, возненавидитъ меня за то, что многимъ обязанъ мнѣ».

Она остановилась около полковника Букрѣева, который ѣлъ малину и тоже принималъ участіе въ разговорѣ.

— Пожалуйте, — сказалъ онъ, давая дорогу Ольгѣ Михайловнѣ и Петру Дмитричу.—Тутъ самая спѣлая... Итакъ-съ, по мнѣнію Прудона, — продолжалъ онъ, возвысивъ голосъ: — собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философомъ его не считаю. Для меня французы не авторитетъ, Богъ съ ними!

— Ну, что касается Прудоновъ и всякихъ тамъ Боклей, то я тутъ швахъ, — сказалъ Петръ Дмитричъ. — Насчетъ философіи обращайтесь вотъ къ ней, къ моей супругѣ. Она была на курсахъ и всѣхъ этихъ Шопенгауэровъ и Прудоновъ насквозь...

Ольгѣ Михайловнѣ опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночкѣ, мимо яблонь и грушъ, и опять у нея былъ такой видъ, какъ будто шла она по очень важному дѣлу. А вотъ изба садовника... На порогѣ сидѣла жена садовника Варвара и ея четверо маленькихъ ребятишекъ съ большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ея вычисленіямъ, къ Ильѣ пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядѣла ее и дѣтей и спросила:

— Ну, какъ ты себя чувствуешь?

— А ничего...

Наступило молчаніе. Обѣ женщины молча какъ будто понимали другъ друга.

— Страшно родить въ первый разъ,—сказала Ольга Михайловна, подумавъ:—мнѣ все кажется, что я не перенесу, умру.

— И мнѣ представлялось, да вотъ жива же... Мало ли чего!

Варвара, беременная уже въ пятый разъ и опытная, глядѣла на свою барыню нѣсколько свысока и говорила съ

нею наставительнымъ тономъ, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ея авторитетъ; ей хотѣлось говорить о своемъ страхѣ, о ребенкѣ, объ ощущеніяхъ, но она боялась, чтобы это не показалось Варварѣ мелочнымъ и наивнымъ. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажетъ что-нибудь.

— Оля, домой идемъ!—крикнулъ изъ малинника Петръ Дмитричъ.

Ольгѣ Михайловнѣ нравилось молчать, ждать и глядѣть на Варвару. Она согласилась бы простоять такъ, молча и безъ всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла отъ избы, какъ ужъ къ ней навстрѣчу бѣжали Любочка, Вата и Ната. Двѣ послѣднія не добѣжали до нея на цѣлую сажень и обѣ разомъ остановились, какъ вкопанныя; Любочка же добѣжала и повисла къ ней на шею.

— Милая! Хорошая! Безцѣнная!—заговорила она, цѣлуя ее въ лицо и въ шею.—Поѣдемте чай пить на островъ!

— На островъ! На островъ!—сказали обѣ разомъ одинаковыя Вата и Ната, не улыбаясь.

— Но вѣдь дождь будетъ, мои милыя.

— Не будетъ, не будетъ! — крикнула Любочка, дѣлая плачущее лицо.—Всѣ согласны ѣхать! Милая, хорошая!

— Тамъ всѣ собираются ѣхать чай пить на островъ, — сказалъ Петръ Дмитричъ, подходя. — Распорядись... Мы всѣ поѣдемъ на лодкахъ, а самовары и все прочее надо отправить съ прислугой въ экипажѣ.

Онъ пошелъ рядомъ съ женой и взялъ ее подъ руку. Ольгѣ Михайловнѣ захотѣлось сказать мужу что-нибудь непріятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданомъ, чѣмъ жестче, тѣмъ, казалось, лучше. Она подумала и сказала:

— Отчего это графъ Алексѣй Петровичъ не пріѣхалъ? Какъ жаль!

— Я очень радъ, что онъ не пріѣхалъ, — солгалъ Петръ Дмитричъ. — Мнѣ этотъ юродивый надоѣлъ пуще горькой рѣдьки.

— Но вѣдь ты до обѣда ждалъ его съ такимъ нетерпѣніемъ!

III.

Черезъ полчаса всѣ гости уже толпились на берегу око. о *свай*, гдѣ были привязаны лодки. Всѣ много говорили,

смѣялись и отъ излишней суеты никакъ не могли усѣсться въ лодки. Три лодки были уже биткомъ набиты пассажирами, а двѣ стояли пустыя. Отъ этихъ двухъ пропали куда-то ключи, и отъ рѣки то и дѣло бѣгали во дворъ посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григорія, другіе — что они у приказчика, третьи совѣтовали призвать кузнеца и отбить замки. И всѣ говорили разомъ, перебивая и заглушая другъ друга. Петръ Дмитричъ нетерпѣливо шагалъ по берегу и кричалъ:

— Это чортъ знаетъ что такое! Ключи должны всегда лежать въ передней на окнѣ! Кто смѣлъ взять ихъ оттуда? Приказчикъ можетъ, если ему угодно, завести себѣ свою лодку!

Наконецъ, ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватаетъ двухъ веселъ. Снова поднялась суматоха. Петръ Дмитричъ, которому наскучило шагать, прыгнулъ въ узкій и длинный челнъ, выдолбленный изъ тополя, и, покачнувшись, едва не упалъ въ воду, отчалилъ отъ берега. За нимъ одна за другою, при громкомъ смѣхѣ и визгѣ барышенъ, поплыли и другія лодки.

Бѣлое облачное небо, прибрежныя деревья, камышъ и лодки съ людьми и съ веслами отражались въ водѣ, какъ въ зеркалѣ; подъ лодками, далеко въ глубинѣ, въ бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Одинъ берегъ, на которомъ стояла усадьба, былъ высокъ, крутъ и весь покрытъ деревьями; на другомъ, отлогомъ, зеленѣли широкіе заливные луга и блестѣли заливы. Проплыли лодки саженей пятьдесятъ, и изъ-за печально склонившихся вербъ на отлогомъ берегу показались избы, стадо коровъ; стали слышаться пѣсни, пьяные крики и звуки гармоники.

Тамъ и сямъ по рѣкѣ шныряли челны рыболововъ, плывшихъ ставить на ночь свои перемоты. Въ одномъ челнокѣ сидѣли подгулявшіе музыканты-любители и играли на самодѣлковыхъ скрипкахъ и віолончели.

Ольга Михайловна сидѣла у руля. Она привѣтливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Онъ плылъ на своемъ челнѣ впереди всѣхъ, стоя и работая однимъ весломъ. Легкій остроносый челнокъ, который всѣ гости звали душегубкой, а самъ Петръ Дмитричъ почему-то Пендеракліей, бѣжалъ быстро; онъ имѣлъ живое, хитрое выраженіе и, казалось,

ненавидѣлъ тяжелаго Петра Дмитрича и ждалъ удобной минуты, чтобы выскользнуть изъ-подъ его ногъ. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всѣмъ, затылокъ, его поза, фамильярное обращеніе съ женщинами; она ненавидѣла всѣхъ женщинъ, сидѣвшихъ въ лодкѣ, ревновала и въ то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкій челнокъ не опрокинулся и не надѣлалъ бѣдъ.

— Тише, Петръ! — кричала она, и сердце ея замирало отъ страха. — Садись въ лодку! Мы и такъ вѣримъ, что ты смѣлъ!

Безпокоили ее и тѣ люди, которые сидѣли съ нею въ лодкѣ. Все это были обыкновенные, недурные люди, какихъ много, но теперь каждый изъ нихъ представлялся ей необыкновеннымъ и дурнымъ. Въ каждомъ она видѣла одну только неправду. «Вотъ, — думала она: — работаетъ весломъ молодой шатэнъ въ золотыхъ очкахъ и съ красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькинъ сынокъ, котораго всѣ считаютъ честнымъ, свободомыслящимъ, передовымъ человѣкомъ. Еще года нѣтъ, какъ онъ кончилъ въ университетѣ и пріѣхалъ на житье въ уѣздъ, но ужъ говоритъ про себя: «Мы земскіе дѣятели». Но пройдетъ годъ, и онъ, какъ многіе другіе, соскучится, уѣдетъ въ Петербургъ и, чтобы оправдать свое бѣгство, будетъ всюду говорить, что земство никуда не годится и что онъ обманутъ. А съ другой лодки, не отрывая глазъ, глядитъ на него молодая жена и вѣритъ, что онъ «земскій дѣятель», какъ черезъ годъ повѣритъ тому, что земство никуда не годится. А вотъ полный, тщательно выбритый господинъ въ соломенной шляпѣ съ широкою лентой и съ дорогою сигарой въ зубахъ. Этотъ любитъ говорить: «Пора намъ бросить фантазіи и приняться за дѣло!» У него іоркширскія свиньи, бутлеровскіе ульи, рапсъ, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерія. Но каждое лѣто, чтобы осенью жить съ любовницей въ Крыму, онъ продаетъ на срубъ свой лѣсъ и закладываетъ по частямъ землю. А вотъ дядюшка Николай Николаичъ, который сердитъ на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уѣзжаетъ домой!

Ольга Михайловна поглядывала на другія лодки и тамъ она видѣла однихъ только неинтересныхъ чудаковъ, акте-

ровъ или недалекихъ людей. Вспомнила она всѣхъ, кого только знала въ уѣздѣ, и никакъ не могла вспомнить ни одного такого человѣка, о которомъ могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Всѣ, казалось ей, бездарны, блѣдны, недалеки, узки, фальшивы, безсердечны, всѣ говорили не то, что думали, и дѣлали не то, что хотѣли. Скука и отчаяніе душили ее; ей хотѣлось вдругъ перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мнѣ надоѣли!» и потомъ прыгнуть изъ лодки и поплыть къ берегу.

— Господа, возьмемъ Петра Дмитрича на буксиръ! — крикнулъ кто-то.

— На буксиръ! На буксиръ! — подхватили остальные. — Ольга Михайловна, берите на буксиръ вашего мужа!

Чтобы взять на буксиръ, Ольга Михайловна, сидѣвшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклію у носа за цѣпь. Когда она нагибалась за цѣпью, Петръ Дмитричъ поморщился и испуганно посмотрѣлъ на нее.

— Какъ бы ты не простудилась тутъ! — сказалъ онъ.

«Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачѣмъ же ты меня мучишь?»—подумала Ольга Михайловна.

Петръ Дмитричъ призналъ себя побѣжденнымъ и, не желая плыть на буксирѣ, прыгнулъ съ Пендеракліи въ лодку, и безъ того ужъ набитую пассажирами, прыгнулъ такъ неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и всѣ вскрикнули отъ ужаса.

«Это онъ прыгнулъ, чтобы нравиться женщинамъ, — подумала Ольга Михайловна. — Онъ знаетъ, что это красиво...»

У нея, какъ думала она, отъ скуки, досады, отъ напряженной улыбки и отъ неудобства, какое чувствовалось во всемъ тѣлѣ, началась дрожь въ рукахъ и ногахъ. И чтобы скрыть отъ гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смѣяться, двигаться...

«Въ случаѣ, если я вдругъ заплачу, — думала она: — то скажу, что у меня болятъ зубы...»

Но вотъ, наконецъ, лодки пристали къ острову «Доброй Надежды». Такъ назывался полуостровъ, образовавшійся вслѣдствіе загиба рѣки подъ острымъ угломъ, покрытый старою рощей изъ березы, дуба, вербы и тополя. Подъ деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около по-

суды уже хлопотали Василій и Григорій, въ своихъ фракахъ и въ бѣлыхъ вязаныхъ перчаткахъ. На другомъ берегу, противъ «Доброй Надежды», стояли экипажи, пріѣхавшіе съ провизіей. Съ экипажей корзины и узлы съ провизіей переправлялись на островъ въ челнокѣ, очень похожемъ на Пендераклію. У лакеевъ, кучеровъ и даже у мужика, который сидѣлъ въ челнокѣ, выраженіе лицъ было торжественное, именинное, какое бываетъ только у дѣтей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потомъ же началась суматоха, обычная на пикникахъ во время чаепитія, очень скучная и утомительная для хозяекъ. Едва Григорій и Василій успѣли разнести, какъ къ Ольгѣ Михайловнѣ уже потянулись руки съ пустыми стаканами. Одинъ просилъ безъ сахару, другой—покрѣпче, третій—пожиже, четвертый благодарилъ. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потомъ кричать: «Иванъ Петровичъ, это вамъ безъ сахару?» или: «Господа, кто просилъ пожиже?» Но тотъ, кто просилъ пожиже или безъ сахару, ужъ не помнилъ этого и, увлекшись пріятными разговорами, бралъ первый попавшійся стаканъ. Въ сторонѣ отъ стола бродили, какъ тѣни, унылыя фигуры и дѣлали видъ, что ищутъ въ травѣ грибовъ или читаютъ этикеты на коробкахъ, — это тѣ, которымъ не хватило стакановъ. «Вы пили чай?» — спрашивала Ольга Михайловна, и тотъ, къ кому относился этотъ вопросъ, просилъ не безпокоиться и говорилъ: «Я подожду», хотя для хозяйки было удобнѣе, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другіе же, въ особенности кто много пилъ за обѣдомъ, не отходили отъ стола и выпивали стаканъ за стаканомъ, такъ что Ольга Михайловна едва успѣвала наливать. Одинъ молодой шутникъ пилъ чай въ прикуску и все приговаривалъ: «Люблю, грѣшный человѣкъ, побаловать себя китайскою травкой». То и дѣло просилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ: «Позвольте еще одну черепушечку!» Пилъ онъ много, сахаръ кусалъ громко и думалъ, что все это смѣшно и оригинально и что онъ *отлично* подражаетъ купцамъ. Никто не понималъ, что всѣ *эти мелочи* были мучительны для хозяйки, да и трудно

было понять, такъ какъ Ольга Михайловна все время привѣтливо улыбалась и болтала вздоръ.

А она чувствовала себя нехорошо... Ее раздражали многолюдство, смѣхъ, вопросы, шутникъ, ошеломленные и сбившіеся съ ногъ лакеи, дѣти, вертѣвшіяся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто изъ нихъ пилъ уже чай, а кто еще нѣтъ. Она чувствовала, что ея напряженная привѣтливая улыбка переходитъ въ злое выраженіе, и ей каждую минуту казалось, что она сейчасъ заплачетъ.

— Господа, дождь! — крикнулъ кто-то.

Всѣ посмотрѣли на небо.

— Да, въ самомъ дѣлѣ дождь... — подтвердилъ Петръ Дмитричъ и вытеръ щеку.

Небо уронило только нѣсколько капель, настоящаго дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала всѣ хотѣли ѣхать въ экипажахъ, но раздумали и направились къ лодкамъ. Ольга Михайловна, подъ предлогомъ, что ей нужно поскорѣе распорядиться насчетъ ужина, попросила позволенія отстать отъ общества и ѣхать домой въ экипажѣ.

Сидя въ коляскѣ, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу отъ улыбки. Съ злымъ лицомъ она ѣхала черезъ деревню и съ злымъ лицомъ отвѣчала на поклоны встрѣчныхъ мужиковъ. Пріѣхавъ домой, она прошла чернымъ ходомъ къ себѣ въ спальню и прилегла на постель мужа.

— Господи, Боже мой, — шептала она: — къ чему эта каторжная работа? Къ чему эти люди толкутся здѣсь и дѣлаютъ видъ, что имъ весело? Къ чему я улыбалась и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

«Пусть,—подумала Ольга Михайловна. — Я еще полежу».

Но въ спальню вошла горничная и сказала:

— Барыня, Марья Григорьевна уѣзжаетъ!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспѣшила изъ спальни.

— Марья Григорьевна, что же это такое? — начала она обиженнымъ голосомъ, идя навстрѣчу Марьѣ Григорьевнѣ.— Куда вы это торопитесь?

— Нельзя, голубчикъ, нельзя! Я и такъ уже засидѣлась. Меня дома дѣти ждутъ.

— Не добрая вы! Отчего же вы дѣтей съ собой не взяли?

— Милая, если позволите, я привезу ихъ къ вамъ какъ-нибудь въ будень, но сегодня...

— Ахъ, пожалуйста, — перебила Ольга Михайловна: — я буду очень рада! Дѣти у васъ такія милыя! Поцѣлуйте ихъ всѣхъ... Но, право, вы меня обижаете! Зачѣмъ торопиться, не понимаю!

— Нельзя, нельзя... Прощайте, милая. Берегите себя. Вы вѣдь въ такомъ теперь положеніи...

И обѣ поцѣловались. Проводивъ гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла въ гостиную къ дамамъ. Тамъ ужъ огни были зажжены, и мужчины усаживались играть въ карты.

IV.

Гости стали разъѣзжаться послѣ ужина, въ четверть перваго. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльцѣ и говорила:

— Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свѣжо. Не дай Богъ, простудитесь!

— Не безпокойтесь, Ольга Михайловна!—отвѣчали гости, усаживаясь. — Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждемъ васъ! Не обманите!

— Тпррр! — сдерживалъ кучеръ лошадей.

— Трогай, Денисъ! Прощайте, Ольга Михайловна!

— Дѣтей поцѣлуйте!

Коляска трогалась съ мѣста и тотчасъ же исчезала въ потемкахъ. Въ красномъ кругѣ, бросаемомъ лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпѣливыхъ лошадей и силуэтъ кучера съ протянутыми впередъ руками. Опять начинались поцѣлуи, упреки и просьбы пріѣхать еще разъ или взять шаль. Петръ Дмитричъ выбѣгалъ изъ передней и помогалъ дамамъ сѣсть въ коляску.

— Ты поѣзжай теперь на Ефремовщину, — училъ онъ кучера. — Черезъ Манькино ближе, да тамъ дорога хуже. Чего добраго, опрокинешь... Прощайте, моя прелесть! Mille compliments вашему художнику!

— Прощайте, душечка, Ольга Михайловна! Уходите въ комнаты, а то простудитесь! Сыро!

— *Тпррр!* Балуешься!

— Это какія же у васъ лошади? — спрашивалъ Петръ Дмитричъ.

— Въ Великомъ посту у Хайдарова купили, — отвѣчалъ кучеръ.

— Славные конячки...

И Петръ Дмитричъ хлопалъ пристяжную по крупу.

— Ну, трогай! Дай Богъ часъ добрый!

Наконецъ, уѣхалъ послѣдній гость. Красный кругъ на дорогѣ закачался, поплылъ въ сторону, сузился и погасъ — это Василій унесъ съ крыльца лампу. Въ прошлые разы обыкновенно, проводивъ гостей, Петръ Дмитричъ и Ольга Михайловна начинали прыгать въ залѣ другъ передъ другомъ, хлопать въ ладоши и пѣть: «Уѣхали! уѣхали! уѣхали!» Теперь же Ольгѣ Михайловнѣ было не до того. Она пошла въ спальню, раздѣлась и легла въ постель.

Ей казалось, что она уснетъ тотчасъ же и будетъ спать крѣпко. Ноги и плечи ея болѣзненно ныли, голова отяжелѣла отъ разговоровъ, и во всемъ тѣлѣ попрежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись съ головой, она полежала минуты три, потомъ взглянула изъ-подъ одѣяла на лампадку, прислушалась къ тишинѣ и улыбнулась.

— Хорошо, хорошо... — зашептала она, подгибая ноги, которыя, казалось ей, оттого, что она много ходила, стали длиннѣе.—Спать, спать...

Ноги не укладывались, всему тѣлу было неудобно, и она повернулась на другой бокъ. По спальнѣ съ жужжаньемъ летала большая муха и безпокойно билась о потолокъ. Слышно было также, какъ въ залѣ Григорій и Василій, осторожно ступая, убирали столы; Ольгѣ Михайловнѣ стало казаться, что она уснетъ и ей будетъ удобно только тогда, когда утихнутъ эти звуки. И она опять нетерпѣливо повернулась на другой бокъ.

Послышался изъ гостиной голосъ мужа. Должно-быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петръ Дмитричъ къ кому-то обращался и громко говорилъ:

— Я не скажу, чтобы графъ Алексѣй Петровичъ былъ фальшивый человѣкъ. Но онъ поневолѣ кажется такимъ, потому что всѣ вы, господа, стараетесь видѣть въ немъ не то, что онъ есть на самомъ дѣлѣ. Въ его юродивости видятъ оригинальный умъ, въ фамильярномъ обращеніи — *добродушіе*, въ полномъ отсутствіи взглядовъ видятъ кон-

серватизмъ. Допустимъ даже, что онъ въ самомъ дѣлѣ консерваторъ восемьдесятъ четвертой пробы. Но что такое въ сущности консерватизмъ?

Петръ Дмитричъ, сердитый и на графа Алексѣя Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводилъ теперь душу. Онъ бранилъ и графа, и гостей, и съ досады на самого себя готовъ былъ высказывать и проповѣдывать, что угодно. Проводивъ гостя, онъ походилъ изъ угла въ уголъ по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потомъ опять по гостиной, и вошелъ въ спальню. Ольга Михайловна лежала на спинѣ, укрытая одѣяломъ только по поясъ (ей уже казалось жарко) и со злымъ лицомъ слѣдила за мухой, которая стучала по потолку.

— Развѣ кто остался ночевать?—спросила она.

— Егоровъ.

Петръ Дмитричъ раздѣлся и легъ на свою постель. Онъ молча закурилъ папиросу и тоже сталъ слѣдить за мухой. Взглядъ его былъ суровъ и безпокоенъ. Молча, минутъ пять Ольга Михайловна глядѣла на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы мужъ вдругъ повернулся къ ней лицомъ и сказалъ: «Оля, мнѣ тяжело!», то она заплакала бы или засмѣялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноютъ и всему ея тѣлу неудобно оттого, что у нея напряжена душа.

— Петръ, о чемъ ты думаешь?—спросила она.

— Такъ, ни о чемъ...—отвѣтилъ мужъ.

— У тебя въ послѣднее время завелись отъ меня какія-то тайны. Это нехорошо.

— Почему же нехорошо? — отвѣтилъ Петръ Дмитричъ сухо и не сразу. — У каждаго изъ насъ есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

— Личная жизнь, свои тайны... все это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь!—сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. — Если у тебя тяжело на душѣ, то почему ты скрываешь это отъ меня? И почему ты находишь болѣе удобнымъ откровенничать съ чужими женщинами, а не съ женой? Я вѣдь слышала, какъ ты сегодня на пасѣкѣ изливался передъ Любочкой.

— Ну, и поздравляю. Очень радъ, что слышала.

Это значило: оставь меня въ покоѣ, не мѣшай мнѣ *думать!* Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть

и гнѣвъ, которые накоплялись у нея въ теченіе дня, вдругъ точно запѣнились; ей хотѣлось сейчасъ же, не откладывая до завтра, высказать мужу все, оскорбить его, отомстить... Дѣлая надъ собой усилія, чтобы не кричать, она сказала:

— Такъ знай же, что все это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидѣла тебя весь день, — вотъ что ты надѣлалъ!

Петръ Дмитричъ тоже поднялся и сѣлъ.

— Гадко, гадко, гадко!—продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыдъ, срамъ! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться съ женой въ одной комнатѣ! Фальшивый ты человѣкъ! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шагъ!

— Оля, когда ты бываешь не въ духѣ, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать въ кабинетѣ.

Сказавши это, Петръ Дмитричъ взялъ подушку и вышелъ изъ спальни. Ольга Михайловна не предвидѣла этого. Нѣсколько минутъ она молча, съ открытымъ ртомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ, глядѣла на дверь, за которою скрылся мужъ, и старалась понять, что значитъ это. Есть ли это одинъ изъ тѣхъ пріемовъ, которые употребляютъ въ спорахъ фальшивые люди, когда бываютъ неправы, или же это оскорбленіе, обдуманно нанесенное ея самолюбію? Какъ понять? Ольгѣ Михайловнѣ припомнился ея двоюродный братъ, офицеръ, веселый малый, который часто со смѣхомъ разсказывалъ ей, что когда ночью «супружница начинаетъ пилить» его, то онъ обыкновенно беретъ подушку и, посвистывая, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ, а жена остается въ глупомъ и смѣшномъ положеніи. Этотъ офицеръ женатъ на богатой, капризной и глупой женщинѣ, которую онъ не уважаетъ и только терпитъ.

Ольга Михайловна вскочила съ постели. По ея мнѣнію, теперь ей оставалось только одно: поскорѣй одѣться и навсегда уѣхать изъ этого дома. Домъ былъ ея собственный, но тѣмъ хуже для Петра Дмитрича. Не разсуждая, нужно это или нѣтъ, она быстро пошла въ кабинетъ, чтобы сообщить мужу о своемъ рѣшеніи («Бабья логика!»—мелькнуло у нея въ мысляхъ) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, ѣдкое...

Петръ Дмитричъ лежалъ на диванѣ и дѣлалъ видъ, что читаетъ газету. Возлѣ него на стулѣ горѣла свѣча. Изъ-за газеты не было видно его лица.

— Потрудитесь мнѣ объяснить, что это значитъ? Я васъ спрашиваю!

— Васъ...—передразнилъ Петръ Дмитричъ, не показывая лица.—Надоѣло, Ольга! Честное слово, я утомленъ и мнѣ теперь не до этого... Завтра будемъ браниться.

— Нѣтъ, я тебя отлично понимаю!—продолжала Ольга Михайловна.—Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мнѣ этого и всегда будешь лгать мнѣ! («Бабья логика!»—опять мелькнуло въ ея мысляхъ). Сейчасъ, я знаю, ты смѣешься надо мной... Я даже увѣрена, что ты и женился на мнѣ только затѣмъ, чтобы имѣть цензъ и этихъ подлыхъ лошадей... О, я несчастная!

Петръ Дмитричъ уронилъ газету и приподнялся. Неожиданное оскорбленіе ошеломило его. Онъ дѣтски-безпомощно улыбнулся, растерянно поглядѣлъ на жену и, точно защищая себя отъ ударовъ, протянулъ къ ней руки и сказалъ умоляюще:

— Оля!

И ожидая, что она скажетъ еще что-нибудь ужасное, онъ прижался къ спинкѣ дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же безпомощно-дѣтскою, какъ и улыбка.

— Оля, какъ ты могла это сказать?—прошепталъ онъ.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдругъ почувствовала свою безумную любовь къ этому человѣку, вспомнила, что онъ ея мужъ, Петръ Дмитричъ, безъ котораго она не можетъ прожить ни одного дня, и который ее любитъ тоже безумно. Она зарыдала громко, не своимъ голосомъ, схватила себя за голову и побѣжала назадъ въ спальню.

Она упала въ постель, и мелкія, истеричныя рыданія, мѣшающія дышать, отъ которыхъ сводитъ руки и ноги, огласили спальню. Вспомнивъ, что черезъ три-четыре комнаты ночуетъ гость, она спрятала голову подъ подушку, чтобы заглушить рыданія, но подушка свалилась на полъ, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она къ лицу одѣяло, но руки не слушались и судорожно рвали все, за что она хваталась.

Ей казалось, что все уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ея жизнь. Мужъ не проститъ ея. Оскорбленіе, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами... Какъ она убѣдитъ мужа, что сама не вѣрила тому, что говорила?

— Кончено, кончено!—кричала она, не замѣчая, что подушка опять свалилась на полъ.—Ради Бога, ради Бога!

Должно-быть, разбуженные ея криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уѣздъ будетъ знать, что съ нею была истерика, и всѣ обвинятъ въ этомъ Петра Дмитрича. Она дѣлала усилія, чтобы сдержать себя, но рыданія съ каждою минутой становились все громче и громче.

— Ради Бога! — кричала она не своимъ голосомъ и не понимала, для чего кричитъ это.—Ради Бога!

Ей показалось, что подъ нею провалилась кровать и ноги завязли въ одѣялѣ. Вошелъ въ спальню Петръ Дмитричъ въ халатѣ и со свѣчой въ рукахъ.

— Оля, полно!—сказалъ онъ.

Она поднялась и, стоя въ постели на колѣняхъ, жмурясь отъ свѣчи, выговорила сквозь рыданія:

— Пойми... пойми...

Ей хотѣлось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ея ложь, что у нея накипѣло, но она могла только выговорить:

— Пойми... пойми!

— На, выпей!—сказалъ онъ, подавая ей воды.

Она послушно взяла стаканъ и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колѣни... «Должно-быть, я теперь ужасно безобразна!»—подумала она. Петръ Дмитричъ молча уложилъ ее въ постель и укрылъ одѣяломъ, потомъ взялъ свѣчу и вышелъ.

— Ради Бога! — крикнула опять Ольга Михайловна. — Петръ, пойми, пойми!

Вдругъ что-то сдавило ее внизу живота и спины съ такою силой, что плачъ ея оборвался, и она отъ боли укусила подушку. Но боль тотчасъ же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одѣяло, спросила встревоженно:

— Барыня, голубушка, что съ вами?

— Убирайтесь отсюда!—строго сказалъ Петръ Дмитричъ, подходя къ постели.

— Пойми, пойми...—начала Ольга Михайловна.

— Оля, прошу тебя, успокойся! — сказалъ онъ. — Я не хотѣлъ тебя обидѣть. Я не ушелъ бы изъ спальни, если бы зналъ, что это на тебя такъ подѣйствуетъ. Мнѣ просто было тяжело. Говорю тебѣ, какъ честный человѣкъ...

— Пойми... Ты лгалъ, я лгала...

— Я понимаю... Ну, ну, будетъ! Я понимаю... — говорилъ Петръ Дмитричъ нѣжно, садясь на ея постель. — То сказала ты сгоряча, понятно... Клянусь Богомъ, я люблю тебя больше всего на свѣтѣ и, когда женился на тебѣ, ни разу не вспомнилъ, что ты богата. Я безконечно любилъ и только... Увѣряю тебя. Никогда я не нуждался и не зналъ цѣны деньгамъ, а потому не умѣю чувствовать разницу между твоимъ состояніемъ и моимъ. Мнѣ всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я въ мелочахъ фальшивилъ, то это... конечно, правда. Жизнь у меня до сихъ поръ была устроена такъ несерьезно, что какъ-то нельзя было обойтись безъ мелкой лжи. Мнѣ теперь самому тяжело. Оставимъ этотъ разговоръ, Бога ради!..

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукавъ.

— Больно... больно, больно... — сказала она быстро. — Ахъ, больно!

— Чортъ бы взялъ этихъ гостей!—пробормоталъ Петръ Дмитричъ, поднимаясь. — Ты не должна была ѣздить сегодня на островъ! — крикнулъ онъ. — И какъ это я, дуракъ, не остановилъ тебя? Господи, Боже мой!

Онъ досадливо почесалъ себѣ голову, махнулъ рукой и вышелъ изъ спальни.

Потомъ онъ нѣсколько разъ входилъ, садился къ ней на кровать и говорилъ много, то очень нѣжно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыданія чередовались у нея съ страшною болью, и каждая новая боль была сильнѣе и продолжительнѣе. Сначала во время боли она задерживала дыханіе и кусала подушку, но потомъ стала кричать неприличнымъ, раздирающимъ голосомъ. Разъ, увидѣвъ около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его и, не разсуждая, бредъ ли это, или настоящій Петръ Дмитричъ, *схватила* обѣими руками его руку и стала цѣловать ее.

— Ты лгалъ, я лгала... — начала она оправдываться. — Пойми, пойми... Меня замучили, вывели изъ терпѣнья...

— Оля, мы тутъ не одни!—сказалъ Петръ Дмитричъ.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидѣла Варвару, которая стояла на колѣняхъ около комода и выдвигала нижній ящикъ. Верхніе ящики были уже выдвинуты. Кончивъ съ комодомъ, Варвара поднялась и, красная отъ напряженія, съ холоднымъ, торжественнымъ лицомъ, принялась отпирать шкатулку.

— Марья, не отопру!—сказала она шопотомъ.—Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами въ подсвѣчникѣ, чтобы вставить новую свѣчу; она подошла къ Варварѣ и помогла ей отпереть шкатулку.

— Чтобъ ничего запертаго не было... — шептала Варвара. — Отопри, мать моя, и этотъ коробокъ. Баринъ, — обратилась она къ Петру Дмитричу: — вы бы послали къ отцу Михаилу, чтобъ царскія врата отперъ! Надо!

— Дѣлайте, что хотите,—сказалъ Петръ Дмитричъ, прерывисто дыша: — только ради Бога скорѣй доктора или акушерку! Поѣхалъ Василій? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

«Я рожу»,—сообразила Ольга Михайловна.—Варвара,— простонала она:—но вѣдь онъ родится неживой!

— Ничего, ничего, барыня... — зашептала Варвара. — Богъ дастъ, живой бундить (такъ она выговаривала слово «будетъ»)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна въ другой разъ очнулась отъ боли, то ужъ не рыдала и не металась, а только стонала. Отъ стоновъ она не могла удержаться даже въ тѣ промежутки, когда не было боли. Свѣчи еще горѣли, но уже сквозь шторы пробивался утренній свѣтъ. Было, вѣроятно, около пяти часовъ утра. Въ спальнѣ за круглымъ столикомъ сидѣла какая-то незнакомая женщина въ бѣломъ фартукѣ и съ очень скромною физіономіей. По выраженію ея фигуры видно было, что она давно уже сидитъ. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

— Скоро кончится?—спросила она и въ своемъ голосѣ услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нея никогда не было. «Должно-быть, я умираю отъ родовъ»,—подумала она.

Въ спальню осторожно вошелъ Петръ Дмитричъ, одѣтый, какъ днемъ, и сталъ у окна, спиной къ женѣ. Онъ приподнялъ штору и поглядѣлъ въ окно.

— Какой дождь!—сказалъ онъ.

— А который часъ?—спросила Ольга Михайловна, чтобы еще разъ услышать въ своемъ голосѣ незнакомую нотку.

— Безъ четверти шесть,—отвѣчала акушерка.

«А что, если я въ самомъ дѣлѣ умираю?—подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконныя стекла, по которымъ стучалъ дождь.—Какъ онъ безъ меня будетъ жить? Съ кѣмъ онъ будетъ чай пить, обѣдать, разговаривать по вечерамъ, спать?»

И онъ показался ей маленькимъ, осиротѣвшимъ; ей стало жаль его и захотѣлось сказать ему что-нибудь пріятное, ласковое, утѣшительное. Она вспомнила, какъ онъ весною собирался купить себѣ гончихъ, и какъ она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помѣшала ему сдѣлать это.

— Петръ, купи себѣ гончихъ!—простонала она.

Онъ опустилъ штору и подошелъ къ постели, хотѣлъ что-то сказать, но въ это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличнымъ, раздирающимъ голосомъ.

Отъ боли, частыхъ криковъ и стоновъ она отупѣла. Она слышала, видѣла, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчасъ будетъ больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а какъ будто годъ назадъ, и что ея новая болевая жизнь продолжается дольше, чѣмъ ея дѣтство, ученье въ институтѣ, курсы, замужество, и будетъ продолжаться еще долго-долго, безъ конца. Она видѣла, какъ акушеркѣ принесли чай, какъ позвали ее въ полдень завтракать, а потомъ обѣдать; видѣла, какъ Петръ Дмитричъ привыкъ входить, стоять подолгу у окна и выходить, какъ привыкли входить какіе-то чужіе мужчины, горничная, Варвара... Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигалъ ящики въ комодѣ. Ольга Михайловна видѣла, какъ въ комнатѣ и въ окнахъ мѣнялся свѣтъ: то онъ былъ сумеречный, то мутный, какъ туманъ, то ясный, дневной, какой былъ вчера за обѣдомъ, то опять сумеречный... И каждая изъ этихъ перемѣнъ продолжалась такъ же долго, *какъ дѣтство*, ученье въ институтѣ, курсы...

Вечеромъ два доктора—одинъ костлявый, лысый, съ широкою рыжею бородою, другой съ еврейскимъ лицомъ, черномазый и въ дешевыхъ очкахъ—дѣлали Ольгѣ Михайловнѣ какую-то операцію. Къ тому, что чужіе мужчины касались ея тѣла, она относилась совершенно равнодушно. У нея уже не было ни стыда, ни воли, и каждый могъ дѣлать съ нею, что хотѣлъ. Если бы въ это время кто-нибудь бросился на нее съ ножомъ, или оскорбилъ Петра Дмитрича, или отнялъ бы у нея права на маленькаго человѣчка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операціи ей дали хлороформу. Когда она потомъ проснулась, боли все еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь съ тишиною, съ лампадкой, съ акушеркой, неподвижно сидящей у постели, съ выдвинутыми ящиками комода, съ Петромъ Дмитричемъ, стоящимъ у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно...

V.

«Я не умерла»...—подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было.

Въ два настежь открытыя окна спальни глядѣлъ ясный лѣтній день; въ саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики въ комодѣ были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было въ спальнѣ ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; одинъ только Петръ Дмитричъ попрежнему стоялъ неподвижно у окна и глядѣлъ въ садъ. Не слышно было дѣтскаго плача, никто не поздравлялъ и не радовался, очевидно, маленькій человѣчекъ родился неживой.

— Петръ!—окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петръ Дмитричъ оглянулся. Должно-быть, съ того времени, какъ уѣхалъ послѣдній гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, такъ какъ Петръ Дмитричъ замѣтно осунулся и похудѣлъ.

— Что тебѣ?—спросилъ онъ, подойдя къ постели.

Онъ глядѣлъ въ сторону, шевелилъ губами и улыбался дѣтски-безпомощно.

— Все уже кончилось?—спросила Ольга Михайловна.

Петръ Дмитричъ хотѣлъ что-то отвѣтить, но губы его

задрожали, и ротъ покривился старчески, какъ у беззубаго дяди Николая Николаича.

— Оля! — сказалъ онъ, ломая руки, и изъ глазъ его вдругъ брызнули крупныя слезы.—Оля! Не нужно мнѣ ни твоего ценза, ни съѣздовъ (онъ всхлипнулъ)... ни особыхъ мнѣній, ни этихъ гостей, ни твоего приданаго... ничего мнѣ не нужно! Зачѣмъ мы не берегли нашего ребенка? Ахъ, да что говорить!

Онъ махнулъ рукой и вышелъ изъ спальни.

А для Ольги Михайловны было уже рѣшительно все равно. Въ головѣ у нея стоялъ туманъ отъ хлороформа, на душѣ было пусто... То тупое равнодушіе къ жизни, какое было у нея, когда два доктора дѣлали ей операцію, все еще не покидало ея.

БЕЗЪ ЗАГЛАВІЯ.

Въ V вѣкѣ, какъ и теперь, каждое утро вставало солнце и каждый вечеръ оно ложилось спать. Утромъ, когда съ росою цѣловались первые лучи, земля оживала, воздухъ наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечеромъ та же земля затихала и тонула въ суровыхъ потемкахъ. День походилъ на день, ночь на ночь. Изрѣдка набѣгала туча и сердито гремѣлъ громъ, или падала съ неба зазѣвавшаяся звѣзда, или пробѣгалъ блѣдный монахъ и разсказывалъ братіи, что недалеко отъ монастыря онъ видѣлъ тигра—и только, а потомъ опять день походилъ на день, ночь на ночь.

Монахи работали и молились Богу, а ихъ настоятель старикъ игралъ на органѣ, сочинялъ латинскіе стихи и писалъ ноты. Этотъ чудный старикъ обладалъ необычайнымъ даромъ. Онъ игралъ на органѣ съ такимъ искусствомъ, что даже самые старые монахи, у которыхъ къ концу жизни притупился слухъ, не могли удержать слезъ, когда изъ его кельи доносились звуки органа. Когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь, даже самомъ обыкновенномъ, напримѣръ, о деревьяхъ, звѣряхъ или о морѣ, его нельзя было слушать безъ улыбки или безъ слезъ, и казалось, что въ душѣ его звучали такія же струны, какъ и въ органѣ. Если же онъ гнѣвался, или предавался сильной радости, или начиналъ говорить о чемъ-нибудь ужасномъ и великомъ, то страстное вдохновеніе овладѣвало имъ, на сверкающихъ глазахъ выступали слезы, лицо румянилось, голосъ гремѣлъ, какъ громъ, и монахи, слушая его, чув-

ствовали, какъ его вдохновеніе сковывало ихъ души; въ такія великолѣпныя, чудныя минуты власть его бывала безгранична, и если бы онъ приказалъ своимъ старцамъ броситься въ море, то они всѣ до одного съ восторгомъ поспѣшили бы исполнить его волю.

Его музыка, голосъ и стихи, въ которыхъ онъ славилъ Бога, небо и землю, были для монаховъ источникомъ постоянной радости. Бывало такъ, что при однообразіи жизни имъ прискучивали деревья, цвѣты, весна, осень, шумъ моря утомлялъ ихъ слухъ, становилось непріятнымъ пѣніе птицъ, но таланты старика-настоятеля, подобно хлѣбу, нужны были каждый день.

Проходили десятки лѣтъ, и все день походилъ на день, ночь на ночь. Кромѣ дикихъ птицъ и звѣрей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человѣческое жилье находилось далеко и, чтобы пробраться къ нему отъ монастыря или отъ него въ монастырь, нужно было пройти верстъ сто пустыней. Проходить пустыню рѣшались только люди, которые презирали жизнь, отрекались онъ нея и шли въ монастырь, какъ въ могилу.

Каково же поэтому было удивленіе монаховъ, когда однажды ночью въ ихъ ворота постучался человѣкъ, который оказался горожаниномъ и самымъ обыкновеннымъ грѣшникомъ, любящимъ жизнь! Прежде чѣмъ попросить у настоятеля благословенія и помолиться, этотъ человѣкъ потребовалъ вина и ѣсть. На вопросъ, какъ онъ попалъ изъ города въ пустыню, онъ отвѣчалъ длинной охотничьей исторіей: пошелъ на охоту, выпилъ лишнее и заблудился. На предложеніе поступить въ монахи и спасти свою душу, онъ отвѣтилъ улыбкой и словами: «Я вамъ не товарищъ».

Наѣвшись и напившись, онъ оглядѣлъ монаховъ, которые прислуживали ему, покачалъ укоризненно головой и сказалъ:

— Ничего вы не дѣлаете, монахи. Только и знаете, что ѣдите да пьете. Развѣ такъ спасаютъ душу? Подумайте: въ то время, какъ вы сидите тутъ въ покоѣ, ѣдите, пьете и мечтаете о блаженствѣ, ваши ближніе погибаютъ и идутъ въ адъ. Поглядите-ка, что дѣлается въ городѣ! Одни умираютъ съ голоду, другіе, не зная, куда дѣвать свое золото, топятъ себя въ развратѣ и гибнутъ, какъ мухи, вязнущія въ меду. Нѣтъ въ людяхъ ни вѣры, ни правды! Чье же

дѣло спасать ихъ? Чье дѣло проповѣдывать? Не мнѣ ли, который отъ утра до вечера пьянъ? Развѣ смиренный духъ, любящее сердце и вѣру Богъ далъ вамъ на то, чтобы вы сидѣли здѣсь въ четырехъ стѣнахъ и ничего не дѣлали?

Пьяныя слова горожанина были дерзки и неприличны, но страннымъ образомъ подѣйствовали на настоятеля. Старикъ переглянулся со своими монахами, поблѣднѣлъ и сказалъ:

— Братья, а вѣдь онъ правду говоритъ! Въ самомъ дѣлѣ, бѣдные люди по неразумію и слабости гибнутъ въ порокѣ и невѣріи, а мы не двигаемся съ мѣста, какъ будто насъ это не касается. Отчего бы мнѣ не пойти и не напомнить имъ о Христѣ, котораго они забыли?

Слова горожанина увлекли старика; на другой же день онъ взялъ свою трость, простился съ братіей и отправился въ городъ. И монахи остались безъ музыки, безъ его рѣчей и стиховъ.

Проскучали они мѣсяцъ, другой, а старикъ не возвращался. Наконецъ, послѣ третьяго мѣсяца послышался знакомый стукъ его трости. Монахи бросились къ нему навстрѣчу и осыпали его вопросами, но онъ вмѣсто того, чтобы обрадоваться имъ, горько заплакалъ и не сказалъ ни одного слова. Монахи замѣтили: онъ сильно состарился и похудѣлъ; лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда онъ заплакалъ, то имѣлъ видъ человѣка, котораго оскорбили.

Монахи тоже заплакали и съ участіемъ стали разспрашивать, зачѣмъ онъ плачетъ, отчего лицо его такъ угрюмо, но онъ не сказалъ ни слова и заперся въ своей кельѣ. Семь дней сидѣлъ онъ у себя, ничего не ѣлъ, не пилъ, не игралъ на органѣ и плакалъ. На стукъ въ его дверь и на просьбы монаховъ выйти и подѣлиться съ ними своею печалью онъ отвѣчалъ глубокимъ молчаніемъ.

Наконецъ, онъ вышелъ. Собравъ вокругъ себя всѣхъ монаховъ, онъ съ заплаканнымъ лицомъ и съ выраженіемъ скорби и негодованія началъ разсказывать о томъ, что было съ нимъ въ послѣдніе три мѣсяца. Голосъ его былъ спокоенъ, и глаза улыбались, когда онъ описывалъ свой путь отъ монастыря до города. На пути, говорилъ онъ, ему пѣли птицы, журчали ручьи, и сладкія, молодыя надежды волновали его душу; онъ шелъ и чувствовалъ себя солда-

томъ, который идетъ на бой и увѣренъ въ побѣдѣ; мечтая, онъ шелъ и слагалъ стихи и гимны и не замѣтилъ, какъ кончился путь.

Но голосъ его дрогнулъ, глаза засверкали, и весь онъ распалился гнѣвомъ, когда сталъ говорить о городѣ и людяхъ. Никогда въ жизни онъ не видѣлъ, даже не дерзалъ воображать себѣ то, что онъ встрѣтилъ, войдя въ городъ. Только тутъ, первый разъ въ жизни, на старости лѣтъ, онъ увидѣлъ и понялъ, какъ могучъ дьяволъ, какъ прекрасно зло и какъ слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности, первое жилище, въ которое онъ вошелъ, былъ домъ разврата. Съ полсотни человѣкъ, имѣющихъ много денегъ, ѣли и безъ мѣры пили вино. Опьяненные виномъ, они пѣли пѣсни и смѣло говорили страшныя, отвратительныя слова, которыхъ не рѣшится сказать человѣкъ, боящійся Бога; безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни Бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и дѣлали все, что хотѣли, и шли туда, куда гнала ихъ похоть. А вино, чистое, какъ янтарь, подернутое золотыми искрами, вѣроятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пившій блаженно улыбался и хотѣлъ еще пить. На улыбку человѣка оно отвѣчало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таитъ оно въ своей сладости.

Старикъ, все больше распаляясь и плача отъ гнѣва, продолжалъ описывать то, что онъ видѣлъ. На столѣ, среди пировавшихъ, говорилъ онъ, стояла полунагая блудница. Трудно представить себѣ и найти въ природѣ что-нибудь болѣе прекрасное и плѣнительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, съ черными глазами и съ жирными губами, безстыдная и наглая, оскалила свои бѣлые, какъ снѣгъ, зубы и улыбалась, какъ будто хотѣла сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелкъ и парча красивыми складками спускались съ ея плечъ, но красота не хотѣла прятаться подъ одеждой, а какъ молодая зелень изъ весенней почвы жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пила вино, пѣла пѣсни и отдавалась всякому, кто только хотѣлъ.

Далѣе старикъ, гнѣвно потрясая руками, описалъ конскія ристалища, бой быковъ, театры, мастерскія художниковъ, *гдѣ пишутъ* и лѣпятъ изъ глины нагихъ женщинъ. Гово-

рилъ онъ вдохновенно, красиво и звучно, точно игралъ на невидимыхъ струнахъ, а монахи, оцѣпенѣвшіе, жадно внимали его рѣчамъ и задыхались отъ восторга... Описавъ всѣ прелести дьявола, красоту зла и плѣнительную грацію отвратительнаго женскаго тѣла, старикъ проклялъ дьявола, повернулъ назадъ и скрылся за своею дверью...

Когда онъ на другое утро вышелъ изъ кельи, въ монастырѣ не оставалось ни одного монаха. Всѣ они бѣжали въ городъ.

КАШТАНКА.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Дурное поведеніе.

Молодая, рыжая собака—помѣсь такса съ дворняжкой-очень похожая мордой на лисицу, бѣгала взадъ и впередъ по тротуару и безпокойно оглядывалась по сторонамъ. Изрѣдка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себѣ отчетъ: какъ это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, какъ она провела день и какъ, въ концѣ концовъ, попала на этотъ незнакомый тротуаръ.

День начался съ того, что ея хозяинъ, столяръ Лука Александрычъ, надѣлъ шапку, взялъ подъ мышку какую-то деревянную штуку, завернутую въ красный платокъ, и крикнулъ:

— Каштанка, пойдемъ!

Услыхавъ свое имя, помѣсь такса съ дворняжкой вышла изъ-подъ верстака, гдѣ она спала на стружкахъ, сладко потянулась и побѣжала за хозяиномъ. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, такъ что, прежде чѣмъ дойти до каждаго изъ нихъ, столяръ долженъ былъ по нѣсколько разъ заходить въ трактиръ и подкрѣпляться. Каштанка помнила, что по дорогѣ она вела себя крайне неприлично. Отъ радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась съ лаемъ на вагоны конно-желѣзки, забѣгала во дворы и гонялась за собаками. Столяръ то и дѣло терялъ ее изъ виду, останавливался и сердито кричалъ на нее.

Разъ даже онъ съ выраженіемъ алчности на лицѣ забралъ въ кулакъ ея лисье ухо, потрепалъ и проговорилъ съ разстановкой:

— Чтобъ... ты... из...дох...ла, холера!

Побывавъ у заказчиковъ, Лука Александрычъ зашелъ на минутку къ сестрѣ, у которой пилъ и закусывалъ; отъ сестры пошелъ онъ къ знакомому переплетчику, отъ переплетчика въ трактиръ, изъ трактира къ куму и т. д. Однимъ словомъ, когда Каштанка попала на незнакомый тротуаръ, то уже вечерѣло и столяръ былъ пьянъ, какъ сапожникъ. Онъ размахивалъ руками и, глубоко вздыхая, бормоталъ:

— Во грѣсѣхъ роди мя мати во утробѣ моей! Охъ, грѣхи, грѣхи! Теперь вотъ мы по улицѣ идемъ и на фонарики глядимъ, а какъ помремъ — въ гіенѣ огненной горѣть будемъ...

Или же онъ впадалъ въ добродушный тонъ, подзывалъ къ себѣ Каштанку и говорилъ ей:

— Ты, Каштанка, насѣкомое существо и больше ничего. Супротивъ человѣка ты все равно, что плотникъ супротивъ столяра...

Когда онъ разговаривалъ съ нею такимъ образомъ, вдругъ загремѣла музыка. Каштанка оглянулась и увидѣла, что по улицѣ прямо на нее шелъ полкъ солдатъ. Не вынося музыки, которая разстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. Къ великому ея удивленію, столяръ вмѣсто того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунтъ и всей пятернѣй сдѣлалъ подъ козырёкъ. Видя, что хозяинъ не протестуетъ, Каштанка ещё громче завыла и, не помня себя, бросилась черезъ дорогу на другой тротуаръ.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебѣжала дорогу къ тому мѣсту, гдѣ оставила хозяина, но, увы! столяра уже тамъ не было. Она бросилась впередъ, потомъ назадъ, ещё разъ перебѣжала дорогу, но столяръ точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуаръ, надѣясь найти хозяина по запаху его слѣдовъ, но раньше какой-то негодяй прошелъ въ новыхъ резиновыхъ калошахъ, и теперь всѣ тонкіе запахи мѣшались съ острою каучуковою вонью, такъ что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бѣгала взадъ и впередъ и не находила хо-

зяина, а между тѣмъ становилось темно. По обѣ стороны улицы зажглись фонари и въ окнахъ домовъ показались огни. Шелъ крупный, пушистый снѣгъ и красилъ въ бѣлое мостовую, лошадиныя спины, шапки извозчиковъ, и чѣмъ больше темнѣлъ воздухъ, тѣмъ бѣлѣе становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрѣнія и толкая ее ногами, безостановочно взадъ и впередъ проходили незнакомые заказчики. (Все человѣчество Каштанка дѣлила на двѣ очень неравныя части: на хозяевъ и на заказчиковъ; между тѣми и другими была существенная разница: первые имѣли право бить её, а вторыхъ она сама имѣла право хватать за икры). Заказчики куда-то спѣшили и не обращали на нее никакого вниманія.

Когда стало совсѣмъ темно, Каштанкою овладѣли отчаяніе и ужасъ. Она прижалась къ какому-то подъѣзду и стала горько плакать. Цѣлодневное путешествіе съ Лукой Александрычемъ утомило её, уши и лапы ея озябли, и къ тому же ещё она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да въ одномъ изъ трактировъ около прилавка нашла колбасную кожицу—вотъ и все. Если бы она была человѣкомъ, то навѣрное подумала бы:

«Нѣтъ, такъ жить невозможно! Нужно застрѣлиться!»

II.

Таинственный незнакомецъ.

Но она ни о чемъ не думала и только плакала. Когда мягкій, пушистый снѣгъ совсѣмъ облѣпилъ ея спину и голову, и она отъ изнеможенія погрузилась въ тяжелую дремоту, вдругъ подъѣздная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Изъ отворенной двери вышелъ какой-то человѣкъ, принадлежащій къ разряду заказчиковъ. Такъ какъ Каштанка взвизгнула и попала ему подъ ноги, то онъ не могъ не обратить на нее вниманія. Онъ нагнулся къ ней и спросилъ:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушибъ? О, бѣдная, бѣдная... Ну, не сердись, не сердись... Виноватъ.

Каштанка поглядѣла на незнакомца сквозь снѣжинки, нависшія на рѣсницы, и увидѣла передъ собой коротенькаго и толстенькаго человѣчка съ бритымъ, пухлымъ лицомъ, въ цилиндрѣ и въ шубѣ нараспашку.

— Что же ты скулишь?—продолжалъ онъ, сбивая пальцемъ съ ея спины снѣгъ.—Гдѣ твой хозяинъ? Должно-быть, ты потерялась? Ахъ, бѣдный песикъ! Что же мы теперь будемъ дѣлать?

Уловивъ въ голосѣ незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнѣе.

— А ты хорошая, смѣшная! — сказалъ незнакомецъ. — Совсѣмъ лисица! Ну, что жъ, дѣлать нечего, пойдемъ со мной! Можетъ-быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Онъ чмокнулъ губами и сдѣлалъ Каштанкѣ знакъ рукой, который могъ означать только одно: «пойдемъ!» Каштанка пошла.

Не больше, какъ черезъ полчаса, она уже сидѣла на полу въ большой, свѣтлой комнатѣ и, склонивъ голову на бокъ, съ умиленіемъ и съ любопытствомъ глядѣла на незнакомца, который сидѣлъ за столомъ и обѣдалъ. Онъ ѣлъ и бросалъ ей кусочки... Сначала онъ далъ ей хлѣба и зеленую корочку сыра, потомъ кусочекъ мяса, полъ-пирожка, куриныхъ костей, а она съ голодухи все это съѣла такъ быстро, что не успѣла разобрать вкуса. И чѣмъ больше она ѣла, тѣмъ сильнѣе чувствовался голодъ.

— Однако, плохо же кормятъ тебя твои хозяева!—говорилъ незнакомецъ, глядя, съ какою свирѣпою жадностью она глотала неразжеванные куски. — И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съѣла много, но не наѣлась, а только опьянѣла отъ ѣды. Послѣ обѣда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всемъ тѣлѣ пріятную истому, завиляла хвостомъ. Пока ея новый хозяинъ, развалившись въ креслѣ, курилъ сигару, она виляла хвостомъ и рѣшала вопросъ: гдѣ лучше—у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бѣдная и некрасивая; кромѣ креселъ, дивана, лампы и ковровъ, у него нѣтъ ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира биткомъ набита вещами: у него есть столъ, верстакъ, куча стружекъ, рубанки, стамезки, пилы, клѣтка съ чижикомъ, лохань... У незнакомца не пахнетъ ничѣмъ, у столяра же въ квартирѣ всегда стоитъ туманъ и великолѣпно пахнетъ клеемъ, лакомъ и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество—онъ даетъ много ѣсть и, надо отдать

ему полную справедливость, когда Каштанка сидѣла передъ столомъ и умильно глядѣла на него, онъ ни разу не ударилъ её, не затопалъ ногами и ни разу не крикнулъ: «По-ошла вонъ, треклятая!»

Выкуривъ сигару, новый хозяинъ вышелъ и черезъ минуту вернулся, держа въ рукахъ маленькій матрасикъ.

— Эй, ты, песъ, поди сюда!—сказалъ онъ, кладя матрасикъ въ углу около дивана.—Ложись здѣсь. Сиди!

Затѣмъ онъ потушилъ лампу и вышелъ. Каштанка разлеглась на матрасикѣ и закрыла глаза; съ улицы послышался лай, и она хотѣла отвѣтить на него, но вдругъ неожиданно ею овладѣла грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Ѳедюшку, уютное мѣстечко подъ верстакомъ... Вспомнила она, что въ длинные зимніе вечера, когда столяръ строгалъ или читалъ вслухъ газету, Ѳедюшка обыкновенно игралъ съ нею... Онъ вытаскивалъ ее за заднія лапы изъ-подъ верстака и выдѣлывалъ съ нею такіе фокусы, что у нея зеленѣло въ глазахъ и болѣло во всѣхъ суставахъ. Онъ заставлялъ ее ходить на заднихъ лапахъ, изображалъ изъ нея колоколъ, т. е. сильно дергалъ ее за хвостъ, отчего она визжала и лаяла, давалъ ей нюхать табаку... Особенно мучителенъ былъ слѣдующій фокусъ: Ѳедюшка привязывалъ на ниточку кусочекъ мяса и давалъ его Каштанкѣ, потомъ же, когда она проглатывала, онъ съ громкимъ смѣхомъ вытаскивалъ его обратно изъ ея желудка. И чѣмъ ярче были воспоминанія, тѣмъ громче и тоскливѣе скулила Каштанка.

Но скоро утомленіе и теплота взяли верхъ надъ грустью... Она стала засыпать. Въ ея воображеніи забѣгали собаки; пробѣжалъ, между прочимъ, и мохнатый, старый пудель, котораго она видѣла сегодня на улицѣ, съ бѣльмомъ на глазу и съ клочьями шерсти около носа. Ѳедюшка, съ долотомъ въ рукѣ, погнался за пуделемъ, потомъ вдругъ самъ покрылся мохнатой шерстью, весело залаялъ и очутился около Каштанки. Каштанка и онъ добродушно понюхали другъ другу носы и побѣжали на улицу...

III.

Новое, очень пріятное знакомство.

Когда Каштанка проснулась, было уже свѣтло, и съ улицы доносился шумъ, какой бываетъ только днемъ. Въ

комнатѣ не было ни души. Каштанка потянулась, зѣвнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнатѣ. Она обнюхала углы и мебель, заглянула въ переднюю и не нашла ничего интереснаго. Кромѣ двери, которая вела въ переднюю, была еще одна дверь. Подумавъ, Каштанка поцарапала ее обѣими лапами, отворила и вошла въ слѣдующую комнату. Тутъ на кровати, укрывшись байковымъ одѣяломъ, спалъ заказчикъ, въ которомъ она узнала вчерашняго незнакомца.

— Рррр...—заворчала она, но, вспомнивъ про вчерашній обѣдъ, завиляла хвостомъ и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнутъ лошадью. Изъ спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчасъ же почувствовала странный, очень подозрительный запахъ. Предчувствуя непріятную встрѣчу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла въ маленькую комнатку съ грязными обоями и въ страхѣ попятилась назадъ. Она увидѣла нѣчто неожиданное и страшное. Пригнувъ къ землѣ шею и голову, растопыривъ крылья и шипя, прямо на нее шелъ сѣрый гусь. Нѣсколько въ сторонѣ отъ него, на матрасикѣ, лежалъ бѣлый котъ; увидѣвъ Каштанку, онъ вскочилъ, выгнулъ спину въ дугу, задралъ хвостъ, взъерошилъ шерсть и тоже зашипѣлъ. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась къ коту... Котъ еще сильнѣе выгнулъ спину, зашипѣлъ и ударилъ Каштанку лапой по головѣ. Каштанка отскочила, присѣла на всѣ четыре лапы и, протягивая къ коту морду, залилась громкимъ, визгливымъ лаемъ; въ это время гусь подошелъ сзади и больно долбанулъ ее клювомъ въ спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

— Это что такое?—послышался громкій, сердитый голосъ, и въ комнату вошелъ незнакомецъ въ халатѣ и съ сигарой въ зубахъ.—Что это значитъ? На мѣсто!

Онъ подошелъ къ коту, щелкнулъ его по выгнутой спинѣ и сказалъ:

— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, это что значитъ? Драку подняли? Ахъ, ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись къ гусю, онъ крикнулъ:

— Иванъ Иванычъ, на мѣсто!

Котъ покорно легъ на свой матрасикъ и закрылъ глаза.

Судя по выраженію его морды и усовъ, онъ самъ былъ недоволенъ, что погорячился и вступилъ въ драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянулъ шею и заговорилъ о чемъ-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно!—сказалъ хозяинъ, зѣвая.—Надо жить мирно и дружно.—Онъ погладилъ Каштанку и продолжалъ: — А ты, рыжикъ, не бойся... Это хорошая публика, не обидитъ. Постой, какъ же мы тебя звать будемъ? Безъ имени нельзя, братъ.

Незнакомецъ подумалъ и сказалъ:

— Вотъ что... Ты будешь—Тетка... Понимаешь? Тетка?

И, повторивъ нѣсколько разъ слово «Тетка», онъ вышелъ. Каштанка сѣла и стала наблюдать. Котъ неподвижно сидѣлъ на матрасикѣ и дѣлалъ видъ, что спитъ. Гусь, вытягивая шею и топчась на одномъ мѣстѣ, продолжалъ говорить о чемъ-то быстро и горячо. Повидимому, это былъ очень умный гусь; послѣ каждой длинной тирады, онъ всякій разъ удивлённо пятился назадъ и дѣлалъ видъ, что восхищается своею рѣчью... Послушавъ его и отвѣтивъ ему: «рррр...», Каштанка принялась обнюхивать углы. Въ одномъ изъ угловъ стояло маленькое корытце, въ которомъ она увидѣла мочёный горохъ и размокшія ржаныя корки. Она попробовала горохъ — не вкусно, попробовала корки — и стала ѣсть. Гусь нисколько не обидѣлся, что незнакомая собака поѣдаетъ его кормъ, а, напротивъ, заговорилъ еще горячѣе и, чтобы показать своё довѣріе, самъ подошелъ къ корытцу и съѣлъ нѣсколько горошинокъ.

IV.

Чудеса въ рѣшетѣ.

Немного погодя, опять вошёлъ незнакомецъ и принесъ съ собою какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладинѣ этого деревяннаго, грубо сколоченнаго П висѣлъ колоколъ и былъ привязанъ пистолетъ; отъ языка колокола и отъ курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомецъ поставилъ П посреди комнаты, долго что-то развязывалъ и завязывалъ, потомъ посмотрѣлъ на гуся и сказалъ:

— Иванъ Иванычъ, пожалуйте!

Гусь подошелъ къ нему и остановился въ ожидательной позѣ.

— Ну-съ, — сказалъ незнакомецъ: — начнемъ съ самаго начала. Прежде всего поклонись и сдѣлай реверансъ! Живо!

Иванъ Иванычъ вытянулъ шею, закивалъ во всѣ стороны и шаркнулъ лапкой.

— Такъ, молодецъ... Теперь умри!

Гусь легъ на спину и задралъ вверхъ лапы. Продѣлавъ еще нѣсколько подобныхъ неважныхъ фокусовъ, незнакомецъ вдругъ схватилъ себя за голову, изобразилъ на своемъ лицѣ ужасъ и закричалъ:

— Караулъ! Пожаръ! Горимъ!

Иванъ Иванычъ подбѣжалъ къ П, взялъ въ клювъ веревку и зазвонилъ въ колоколъ.

Незнакомецъ остался очень доволенъ. Онъ погладилъ гуся по шеѣ и сказалъ:

— Молодецъ, Иванъ Иванычъ! Теперь представь, что ты ювелиръ и торгуешь золотомъ и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь къ себѣ въ магазинъ и застаешь въ немъ воровъ. Какъ бы ты поступилъ въ данномъ случаѣ?

Гусь взялъ въ клювъ другую веревочку и потянулъ, отчего тотчасъ же раздался оглушительный выстрѣлъ. Каштанкѣ очень понравился звонъ, а отъ выстрѣла она пришла въ такой восторгъ, что забѣгала вокругъ П и залаяла.

— Тетка, на мѣсто! — крикнулъ ей незнакомецъ. — Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрѣльбой. Цѣлый часъ потомъ незнакомецъ гонялъ его вокругъ себя на кордѣ и хлопалъ бичомъ, причемъ гусь долженъ былъ прыгать черезъ барьеръ и сквозь обручъ, становиться на дыбы, т. е. садиться на хвостъ и махать лапками. Каштанка не отрывала глазъ отъ Ивана Иваныча, завывала отъ восторга и нѣсколько разъ принималась бѣгать за нимъ со звонкимъ лаемъ. Утомивъ гуся и себя, незнакомецъ вытеръ со лба потъ и крикнулъ:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Черезъ минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый видъ и на всякій случай подошла поближе къ незнакомцу. Отворилась дверь, въ комнату поглядѣла какая-то старуха и, сказавъ что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого вниманія на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверхъ свой пятачокъ и весело захрюкала. Повидимому, ей

было очень пріятно видѣть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла къ коту и слегка толкнула его подъ животъ своимъ пятачкомъ и потомъ о чемъ-то заговорила съ гусемъ, въ ея движеніяхъ, въ голосѣ и въ дрожаніи хвостика чувствовалось много добродушія. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на такихъ субъектовъ—безполезно.

Хозяинъ убралъ П и крикнулъ:

— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, пожалуйте!

Котъ поднялся, лѣниво потянулся и нехотя, точно дѣлая одолженіе, подошелъ къ свиньѣ.

— Ну-съ, начнемъ съ египетской пирамиды, — началъ хозяинъ.

Онъ долго объяснялъ что-то, потомъ скомандовалъ: «разъ... два... три!» Иванъ Иванычъ при словѣ «три» взмахнулъ крыльями и вскочилъ на спину свиньи... Когда онъ, балансируя крыльями и шеей, укрѣпился на щетинистой спинѣ, Ѳедоръ Тимоѳеичъ вяло и лѣниво, съ явнымъ пренебреженіемъ и съ такимъ видомъ, какъ будто онъ презираетъ и ставитъ ни въ грошъ свое искусство, полѣзъ на спину свиньи, потомъ нехотя взобрался на гуся и сталъ на заднія лапы. Получилось то, что незнакомецъ называлъ египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула отъ восторга, но въ это время старикъ-котъ зѣвнулъ и, потерявъ равновѣсіе, свалился съ гуся. Иванъ Иванычъ пошатнулся и тоже свалился. Незнакомецъ закричалъ, замахалъ руками и сталъ опять что-то объяснять. Провозившись цѣлый часъ съ пирамидой, неутомимый хозяинъ принялся учить Ивана Иваныча ѣздить верхомъ на котѣ, потомъ сталъ учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тѣмъ, что незнакомецъ вытеръ со лба потъ и вышелъ, Ѳедоръ Тимоѳеичъ брезгливо фыркнулъ, легъ на матрасикъ и закрылъ глаза, Иванъ Иванычъ направился къ корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массѣ новыхъ впечатлѣній, день прошелъ для Каштанки незамѣтно, а вечеромъ она со своимъ матрасикомъ была уже водворена въ комнаткѣ съ грязными обоями и ночевала въ обществѣ Ѳедора Тимоѳеича и гуся.

V.

Талантъ! Талантъ!

Прошелъ мѣсяцъ.

Каштанка уже привыкла къ тому, что ее каждый вечеръ

кормили вкуснымъ обѣдомъ и звали Теткой. Привыкла она и къ незнакомцу, и къ своимъ новымъ сожителямъ. Жизнь потекла, какъ по маслу.

Всѣ дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всѣхъ просыпался Иванъ Иванычъ и тотчасъ же подходилъ къ Теткѣ или къ коту, выгибалъ шею и начиналъ говорить о чемъ-то горячо и убѣдительно, но попрежнему непонятно. Иной разъ онъ поднималъ вверхъ голову и произносилъ длинные монологи. Въ первые дни знакомства Каштанка думала, что онъ говоритъ много потому, что очень уменъ, но прошло немного времени, и она потеряла къ нему всякое уваженіе; когда онъ подходилъ къ ней со своими длинными рѣчами, она ужъ не виляла хвостомъ, а третировала его, какъ надоѣдливаго болтуна, который не даетъ никому спать, и безъ всякой церемоніи отвѣчала ему: «рррр»...

Ѳедоръ же Тимоѳеичъ былъ иного рода господинъ. Этотъ, проснувшись, не издавалъ никакого звука, не шевелился и даже не открывалъ глазъ. Онъ охотно бы не просыпался, потому что, какъ видно было, онъ не долюбливалъ жизни. Ничто его не интересовало, ко всему онъ относился вяло и небрежно, все презиралъ и даже, поѣдая свой вкусный обѣдъ, брезгливо фыркалъ.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатамъ и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартирѣ; гусь же не имѣлъ права переступать порогъ комнатки съ грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила гдѣ-то на дворѣ въ сарайчикѣ и появлялась только во время ученья. Хозяинъ просыпался поздно и, напившись чаю, тотчасъ же принимался за свои фокусы. Каждый день въ комнатку вносились П, бичъ, обручи и каждый день продѣлывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, такъ что иной разъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ отъ утомленія пошатывался, какъ пьяный, Иванъ Иванычъ раскрывалъ клювъ и тяжело дышалъ, а хозяинъ становился краснымъ и никакъ не могъ стереть со лба потъ.

Ученье и обѣдъ дѣлали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяинъ уѣзжалъ куда-то и увозилъ съ собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасикъ и начинала грустить... Грусть подкрадывалась къ ней какъ-то незамѣтно и

овладѣвала ею постепенно, какъ потемки комнатой. Начиналось съ того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, ѣсть, бѣгать по комнатамъ и даже глядѣть, затѣмъ въ воображеніи ея появлялись какія-то двѣ неясныя фигуры, не то сабаки, не то люди, съ физіономіями симпатичными, милыми, но непонятными; при появленіи ихъ, Тетка виляла хвостомъ и ей казалось, что она ихъ гдѣ-то когда-то видѣла и любила... А засыпая, она всякій разъ чувствовала, что отъ этихъ фигуръ пахнетъ клеемъ, стружками и лакомъ.

Когда она совсѣмъ уже свыклась съ новой жизнью и изъ тощей, костлявой дворняжки обратилась въ сытаго, выхоленнаго пса, однажды передъ ученьемъ хозяинъ погладилъ ее и сказалъ:

— Пора намъ, Тетка, дѣломъ заняться. Довольно тебѣ бить баклуши. Я хочу изъ тебя артистку сдѣлать... Ты хочешь быть артисткой?

И онъ сталъ учить ее разнымъ наукамъ. Въ первый урокъ она училась стоять и ходить на заднихъ лапахъ, что ей ужасно нравилось. Во второй урокъ она должна была прыгать на заднихъ лапахъ и хватать сахаръ, который высоко надъ ея головой держалъ учитель. Затѣмъ въ слѣдующіе уроки она плясала, бѣгала на кордѣ, выла подъ музыку, звонила и стрѣляла, а черезъ мѣсяцъ уже могла съ успѣхомъ замѣнять Ѳедора Тимоѳеича въ «египетской пирамидѣ». Училась она очень охотно и была довольна своими успѣхами; бѣганье съ высунутымъ языкомъ на кордѣ, прыганье въ обручъ и ѣзда верхомъ на старомъ Ѳедорѣ Тимоѳеичѣ доставляли ей величайшее наслажденіе. Всякій удавшійся фокусъ она сопровождала звонкимъ, восторженнымъ лаемъ, а учитель удивлялся, приходилъ тоже въ восторгъ и потиралъ руки.

— Талантъ! Талантъ!—говорилъ онъ.—Несомнѣнный талантъ! Ты положительно будешь имѣть успѣхъ!

И Тетка такъ привыкла къ слову «талантъ», что всякій разъ, когда хозяинъ произносилъ его, вскакивала и оглядывалась, какъ будто оно было ея кличкой.

VI.

Безпокойная ночь.

Теткѣ приснился собачій сонъ, будто за нею гонится *дворникъ* съ метлой, и она проснулась отъ страха.

Въ комнаткѣ было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемокъ, но теперь почему-то ей стало жутко и захотѣлось лаять. Въ сосѣдней комнатѣ громко вздохнулъ хозяинъ, потомъ, немного погодя, въ своемъ сарайчикѣ хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь объ ѣдѣ, то на душѣ становится легче, и Тетка стала думать о томъ, какъ она сегодня украла у Ѳедора Тимоѳеича куриную лапку и спрятала её въ гостиной между шкапомъ и стѣной, гдѣ очень много паутины и пыли. Не мѣшало бы теперь пойти и посмотрѣть: цѣла эта лапка, или нѣтъ? Очень можетъ быть, что хозяинъ нашелъ ее и скушалъ. Но раньше утра нельзя выходить изъ комнатки — такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорѣе уснуть, такъ какъ она знала по опыту, что чѣмъ скорѣе уснешь, тѣмъ скорѣе наступитъ утро. Но вдругъ недалеко отъ нея раздался странный крикъ, который заставилъ ее вздрогнуть и вскочить на всѣ четыре лапы. Это крикнулъ Иванъ Иванычъ, и крикъ его былъ не болтливый и убѣдительный, какъ обыкновенно, а какой-то дикій, пронзительный и неестественный, похожій на скрипъ отворяемыхъ воротъ. Ничего не разглядѣвъ въ потемкахъ и не понявъ, Тетка почувствовала еще большій страхъ и проворчала:

— Рррр...

Прошло много времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крикъ не повторялся. Тетка мало-по-малу успокоилась и задремала. Ей приснились двѣ большія черныя собаки съ клочьями прошлогодней шерсти на бедрахъ и на бокахъ; онѣ изъ большой лохани съ жадностью ѣли помои, отъ которыхъ шелъ бѣлый паръ и очень вкусный запахъ; изрѣдка онѣ оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: — «А тебѣ мы не дадимъ!» Но изъ дому выбѣжалъ мужикъ въ шубѣ и прогналъ ихъ кнутомъ; тогда Тетка подошла къ лохани и стала кушать, но какъ только мужикъ ушелъ за ворота, обѣ черныя собаки съ ревомъ бросились на нее, и вдругъ опять раздался пронзительный крикъ.

— К-ге! К-ге-ге! — крикнулъ Иванъ Иванычъ.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя съ матрасика, залилась воющимъ лаемъ. Ей уже казалось, что кричитъ

не Иванъ Иванычъ, а кто-то другой, посторонній. И почему-то въ сарайчикѣ опять хрюкнула свинья.

Но вотъ послышалось шарканье туфель, и въ комнатку вошелъ хозяинъ въ халатѣ и со свѣчой. Мелькающій свѣтъ запрыгалъ по грязнымъ обоямъ и по потолку и прогналъ потемки. Тетка увидѣла, что въ комнаткѣ нѣтъ никого посторонняго. Иванъ Иванычъ сидѣлъ на полу и не спалъ. Крылья у него были растопырены и клювъ раскрытъ, и вообще онъ имѣлъ такой видъ, какъ будто очень утомился и хотѣлъ пить. Старый Ѳедоръ Тимоѳеичъ тоже не спалъ. Должно-быть, и онъ былъ разбуженъ крикомъ.

— Иванъ Иванычъ, что съ тобой?—спросилъ хозяинъ у гуся.—Что ты кричишь? Ты боленъ?

Гусь молчалъ. Хозяинъ потрогалъ его за шею, погладилъ по спинѣ и сказалъ:

— Ты чудакъ. И самъ не спишь, и другимъ не даешь.

Когда хозяинъ вышелъ и унесъ съ собою свѣтъ, опять наступили потемки. Теткѣ было страшно. Гусь не кричалъ, но ей опять стало чудиться, что въ потемкахъ стоитъ кто-то чужой. Страшнѣе всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, такъ какъ онъ былъ невидимъ и не имѣлъ формы. И почему-то она думала, что въ эту ночь должно непремѣнно произойти что-то очень худое. Ѳедоръ Тимоѳеичъ тоже былъ не покоенъ. Тетка слышала, какъ онъ возился на своемъ матрасикѣ, зѣвалъ и встряхивалъ головой.

Гдѣ-то на улицѣ застучали въ ворота и въ сарайчикѣ хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула переднія лапы и положила на нихъ голову. Въ стукѣ воротъ, въ хрюканьѣ не спавшей почему-то свиньи, въ потемкахъ и въ тишинѣ почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, какъ въ крикѣ Ивана Иваныча. Все было въ тревогѣ и въ безпокойствѣ, но отчего? Кто этотъ чужой, котораго не было видно? Вотъ около Тетки на мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя искорки. Это въ первый разъ за все время знакомства подошелъ къ ней Ѳедоръ Тимоѳеичъ. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачѣмъ онъ пришелъ, завыла тихо и на разные голоса.

— К-ге!—крикнулъ Иванъ Иванычъ.—К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошелъ хозяинъ со свѣчой.

Гусь сидѣлъ въ прежней позѣ, съ разинутымъ клювомъ и растопыривъ крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иванъ Иванычъ!—позвалъ хозяинъ.

Гусь не шевельнулся. Хозяинъ сѣлъ передъ нимъ на полу, минуту глядѣлъ на него молча и сказалъ:

— Иванъ Иванычъ! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ахъ, я теперь вспомнилъ, вспомнилъ! — вскрикнулъ онъ и схватилъ себя за голову. — Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, Боже мой!

Тетка не понимала, что говоритъ хозяинъ, но по его лицу видѣла, что и онъ ждетъ чего-то ужаснаго. Она протянула морду къ темному окну, въ которое, какъ казалось ей, глядѣлъ кто-то чужой, и завыла.

— Онъ умираетъ, Тетка! — сказалъ хозяинъ и всплеснулъ руками. — Да, да, умираетъ! Къ вамъ въ комнату пришла смерть. Что намъ дѣлать?

Блѣдный, встревоженный хозяинъ, вздыхая и покачивая головой, вернулся къ себѣ въ спальню. Теткѣ жутко было оставаться въ потемкахъ, и она пошла за нимъ. Онъ сѣлъ на кровать и нѣсколько разъ повторилъ:

— Боже мой, что же дѣлать?

Тетка ходила около его ногъ и, не понимая, отчего это у нея такая тоска и отчего всѣ такъ безпокоятся, и стараясь понять, слѣдила за каждымъ его движеніемъ. Ѳедоръ Тимоѳеичъ, рѣдко покидавшій свой матрасикъ, тоже вошелъ въ спальню хозяина и сталъ тереться около его ногъ. Онъ встряхивалъ головой, какъ будто хотѣлъ вытряхнуть изъ нея тяжелыя мысли, и подозрительно заглядывалъ подъ кровать.

Хозяинъ взялъ блюдечко, налилъ въ него изъ рукомойника воды и опять пошелъ къ гусю.

— Пей, Иванъ Иванычъ! — сказалъ онъ нѣжно, ставя передъ нимъ блюдечко. — Пей, голубчикъ.

Но Иванъ Иванычъ не шевелился и не открывалъ глазъ. Хозяинъ пригнулъ его голову къ блюдечку и окунулъ клювъ въ воду, но гусь не пилъ, еще шире растопырилъ крылья и голова его такъ и осталась лежать въ блюдечкѣ.

— Нѣтъ, ничего уже нельзя сдѣлать! — вздохнулъ хозяинъ. — Все кончено. Пропалъ Иванъ Иванычъ!

И по его щекамъ поползли внизъ блестящія капельки

какія бываютъ на окнахъ во время дождя. Не понимая, въ чемъ дѣло, Тетка и Ѳедоръ Тимоѳеичъ жались къ нему и съ ужасомъ смотрѣли на гуся.

— Бѣдный Иванъ Иванычъ! — говорилъ хозяинъ, печально вздыхая. — А я-то мечталъ, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять съ тобой по зеленой травкѣ. Милое животное, хорошій мой товарищъ, тебя уже нѣтъ! Какъ же я теперь буду обходиться безъ тебя?

Теткѣ казалось, что и съ нею случится то же самое, то-есть, что и она тоже вотъ такъ, неизвѣстно отчего, закроетъ глаза, протянетъ лапы, оскалитъ ротъ, и всѣ на нее будутъ смотрѣть съ ужасомъ. Повидимому, такія же мысли бродили и въ головѣ Ѳедора Тимоѳеича. Никогда раньше старый котъ не былъ такъ угрюмъ и мраченъ, какъ теперь.

Начинался разсвѣтъ, и въ комнаткѣ уже не было того невидимаго чужого, который пугалъ такъ Тетку. Когда совсѣмъ разсвѣло, пришелъ дворникъ, взялъ гуся за лапы и унесъ его куда-то. А немного погодя, явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла въ гостиную и посмотрѣла за шкапъ: хозяинъ не скушалъ куриной лапки, она лежала на своемъ мѣстѣ, въ пыли и паутинѣ. Но Теткѣ было скучно, грустно и хотѣлось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла подъ диванъ, сѣла тамъ и начала скулить тихо, тонкимъ голоскомъ:

— Ску-ску-ску...

VII.

Неудачный дебютъ.

Въ одинъ прекрасный вечеръ хозяинъ вошелъ въ комнатку съ грязными обоями и, потирая руки, сказалъ:

— Ну-съ...

Что-то онъ хотѣлъ еще сказать, но не сказалъ и вышелъ. Тетка, отлично изучившая во время уроковъ его лицо и интонацію, догадалась, что онъ былъ взволнованъ, озабоченъ и, кажется, сердитъ. Немного погодя, онъ вернулся и сказалъ:

— Сегодня я возьму съ собой Тетку и Ѳедора Тимоѳеича. Въ египетской пирамидѣ ты, Тетка, замѣнишь сегодня покойнаго Ивана Иваныча. Чортъ знаетъ что! Ни-

чего не готово, не выучено, репетицій было мало! Осрамимся, провалимся!

Затѣмъ онъ опять вышелъ и черезъ минуту вернулся въ шубѣ и въ цилиндрѣ. Подойдя къ коту, онъ взялъ его за переднія лапы, поднялъ и спряталъ его на груди подъ шубу, причемъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ казался очень равнодушнымъ и даже не потрудился открыть глазъ. Для него, повидимому, было рѣшительно все равно: лежать ли, или быть поднятымъ за ноги, валяться ли на матрасикѣ, или покоиться на груди хозяина подъ шубой...

— Тетка пойдемъ, — сказалъ хозяинъ.

Ничего не понимая и виляя хвостомъ, Тетка пошла за нимъ. Черезъ минуту она уже сидѣла въ саняхъ около ногъ хозяина и слушала, какъ онъ, пожимаясь отъ холода и волненія, бормоталъ:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого, страннаго дома, похожаго на опрокинутый супникъ. Длинный подъѣздъ этого дома съ тремя стеклянными дверями былъ освѣщенъ дюжиной яркихъ фонарей. Двери со звономъ отворялись и, какъ рты, глотали людей, которые сновали у подъѣзда. Людей было много, часто къ подъѣзду подбѣгали и лошади, но собакъ не было видно.

Хозяинъ взялъ на руки Тетку и сунулъ ее на грудь, подъ шубу, гдѣ находился Ѳедоръ Тимоѳеичъ. Тутъ было темно и душно, но тепло. На мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя искорки — это открылъ глаза котъ, обезпокоенный холодными, жесткими лапами сосѣдки. Тетка лизнула его ухо и, желая усѣсться возможно удобнѣе, безпокойно задвигалась, смяла его подъ себя холодными лапами и нечаянно высунула изъ-подъ шубы голову, но тотчасъ же сердито заворчала и нырнула подъ шубу. Ей показалось, что она увидѣла громадную, плохо освѣщенную комнату, полную чудовищъ; изъ-за перегородокъ и рѣшетокъ, которыя тянулись по обѣ стороны комнаты, выглядывали страшныя рожи: лошадиныя, рогатыя, длинноухія и какая-то одна толстая, громадная рожа съ хвостомъ вмѣсто носа и съ двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Котъ сипло замяукалъ подъ лапами Тетки, но въ это время шуба распахнулась, хозяинъ сказалъ «тсъ!» и Ѳе-

доръ Тимоѳеичъ съ Теткою прыгнули на полъ. Они уже были въ маленькой комнатѣ съ сѣрыми, досчатыми стѣнами; тутъ, кромѣ небольшого столика съ зеркаломъ, табурета и тряпья, развѣшаннаго по угламъ, не было никакой другой мебели, и вмѣсто лампы или свѣчи, горѣлъ яркій вѣерообразный огонекъ, придѣланный къ трубочкѣ, вбитой въ стѣну. Ѳедоръ Тимоѳеичъ облизалъ свою шубу, помятую Теткой, пошелъ подъ табуретъ и легъ. Хозяинъ, все еще волнуясь и потирая руки, сталъ раздѣваться... Онъ раздѣлся такъ, какъ обыкновенно раздѣвался у себя дома, готовясь лечь подъ байковое одѣяло, т. е. снялъ все, кромѣ бѣлья, потомъ сѣлъ на табуретъ и, глядя въ зеркало, началъ выдѣлывать надъ собой удивительныя штуки. Прежде всего онъ надѣлъ на голову парикъ съ проборомъ и съ двумя вихрами, похожими на рога, потомъ густо намазалъ лицо чѣмъ-то бѣлымъ и сверхъ бѣлой краски нарисовалъ еще брови, усы и румяны. Затѣи его этимъ не кончились. Опачкавши лицо и шею, онъ сталъ облачаться въ какой-то необыкновенный, ни съ чѣмъ несообразный костюмъ, какого Тетка никогда не видала раньше ни въ домахъ, ни на улицѣ. Представьте вы себѣ широчайшія панталоны, сшитыя изъ ситца съ крупными цвѣтами, какой употребляется въ мѣщанскихъ домахъ для занавѣсокъ и обивки мебели, панталоны, которыя застегиваются у самыхъ подмышекъ; одна панталона сшита изъ коричневаго ситца, другая изъ свѣтло-желтаго. Утонувши въ нихъ, хозяинъ надѣлъ еще ситцевую курточку съ большимъ зубчатымъ воротникомъ и съ золотой звѣздой на спинѣ, разноцвѣтные чулки и зеленые башмаки...

У Тетки запестрило въ глазахъ и въ душѣ. Отъ бѣлолицей, мѣшковатой фигуры пахло хозяиномъ, голосъ у нея былъ тоже знакомый, хозяйскій, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнѣнія, и тогда она готова была бѣжать отъ пестрой фигуры и лаять. Новое мѣсто, вѣерообразный огонекъ, запахъ, метаморфоза, случившаяся съ хозяиномъ— все это вселяло въ нее неопредѣленный страхъ и предчувствіе, что она непремѣнно встрѣтится съ какимъ-нибудь ужасомъ въ родѣ толстой рожи съ хвостомъ вмѣсто носа. А тутъ еще гдѣ-то за стѣной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный ревъ. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Ѳедора Тимоѳеича.

Онъ преспокойно дремалъ подъ табуретомъ и не открывалъ глазъ, даже когда двигался табуретъ.

Какой-то человѣкъ во фракѣ и въ бѣлой жилеткѣ заглянулъ въ комнатку и сказалъ:

— Сейчасъ выходъ миссъ Арабеллы. Послѣ нея — вы.

Хозяинъ ничего не отвѣтилъ. Онъ вытащилъ изъ-подъ стола небольшой чемоданъ, сѣлъ и сталъ ждать. По губамъ и по рукамъ его было замѣтно, что онъ волновался, и Тетка слышала, какъ дрожало его дыханіе.

— M-r Жоржъ, пожалуйте! — крикнулъ кто-то за дверью.

Хозяинъ всталъ и три раза перекрестился, потомъ досталъ изъ-подъ табурета кота и сунулъ его въ чемоданъ.

— Иди, Тетка! — сказалъ онъ тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла къ его рукамъ; онъ поцѣловалъ ее въ голову и положилъ рядомъ съ Ѳедоромъ Тимоѳеичемъ. За симъ наступили потемки... Тетка топталась по коту, царапала стѣнки чемодана и отъ ужаса не могла произнести ни звука, а чемоданъ покачивался, какъ на волнахъ, и дрожалъ...

— А вотъ и я! — громко крикнулъ хозяинъ. — А вотъ и я!

Тетка почувствовала, что послѣ этого крика чемоданъ ударился о что-то твердое и пересталъ качаться. Послышался громкій густой рёвъ: по комъ-то хлопали и этотъ кто-то, вѣроятно рожа съ хвостомъ вмѣсто носа, ревѣлъ и хохоталъ такъ громко, что задрожали замочки у чемодана. Въ отвѣтъ на ревъ раздался пронзительный, визгливый смѣхъ хозяина, какимъ онъ никогда не смѣялся дома.

— Га! — крикнулъ онъ, стараясь перекричать ревъ. — Почтеннѣйшая публика! Я сейчасъ только съ вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мнѣ наслѣдство! Въ чемоданѣ что-то очень тяжелое — очевидно, золото... Га-а! И вдругъ здѣсь милліонъ! Сейчасъ мы откроемъ и посмотримъ...

Въ чемоданѣ щелкнулъ замокъ. Яркій свѣтъ ударилъ Тетку по глазамъ; она прыгнула вонъ изъ чемодана и, оглушенная ревомъ, быстро, во всю прыть забѣгала вокругъ своего хозяина и залилась звонкимъ лаемъ.

— Га! — закричалъ хозяинъ. — Дядюшка Ѳедоръ Тимоѳеичъ! Дорогая Тетушка! Милые родственники, чортъ бы васъ взялъ!

Онъ упалъ животомъ на песокъ, схватилъ кота и Тетку и принялся обнимать ихъ. Тетка, пока онъ тискалъ ее въ

своихъ объятіяхъ, мелькомъ оглядѣла тотъ міръ, въ который занесла ее судьба, и, пораженная его грандіозностью, на минуту застыла отъ удивленія и восторга, потомъ вырвалась изъ объятій хозяина и отъ остроты впечатлѣнія, какъ волчокъ, закружилась на одномъ мѣстѣ. Новый міръ былъ великъ и полонъ яркаго свѣта; куда ни взглянешь, всюду, отъ пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

— Тетушка, прошу васъ сѣсть! — крикнулъ хозяинъ.

Помня, что это значитъ, Тетка вскочила на стулъ и сѣла. Она поглядѣла на хозяина. Глаза его, какъ всегда, глядѣли серьезно и ласково, но лицо, въ особенности ротъ и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Самъ онъ хохоталъ, прыгалъ, подергивалъ плечами и дѣлалъ видъ, что ему очень весело въ присутствіи тысячей лицъ. Тетка повѣрила его веселости, вдругъ почувствовала всѣмъ своимъ тѣломъ, что на нее смотрятъ эти тысячи лицъ, подняла вверхъ свою лисью морду и радостно завыла.

— Вы, Тетушка, посидите, — сказалъ ей хозяинъ: — а мы съ дядюшкой попляшемъ камаринскаго.

Ѳедоръ Тимоѳеичъ въ ожиданіи, когда его заставятъ дѣлать глупости, стоялъ и равнодушно поглядывалъ по сторонамъ. Плясалъ онъ вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движеніямъ, по хвосту и по усамъ, что онъ глубоко презиралъ и толпу, и яркій свѣтъ, и хозяина, и себя... Протанцовавъ свою порцію, онъ зѣвнулъ и сѣлъ.

— Ну-съ, Тетушка,—сказалъ хозяинъ:—сначала мы съ вами споемъ, а потомъ попляшемъ. Хорошо?

Онъ вынулъ изъ кармана дудочку и заигралъ. Тетка, не вынося музыки, безпокойно задвигалась на стулѣ и завыла. Со всѣхъ сторонъ послышались ревъ и аплодисменты. Хозяинъ поклонился и, когда все стихло, продолжалъ играть... Во время исполненія одной очень высокой ноты, гдѣ-то наверху среди публики кто-то громко ахнулъ.

— Тятька! — крикнулъ дѣтскій голосъ. — А вѣдь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердилъ пьяненькій дребезжащій тенорокъ.—Каштанка! Ѳедюшка, это, накажи Богъ, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галлереѣ свистнулъ, и два голоса, одинъ—*дѣтскій*, *другой* — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрѣла туда, гдѣ кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и испуганное — ударили ее по глазамъ, какъ раньше ударилъ яркій свѣтъ... Она вспомнила, упала со стула и забилась на пескѣ, потомъ вскочила и съ радостнымъ визгомъ бросилась къ этимъ лицамъ. Раздался оглушительный ревъ, пронизанный насквозь свистками и пронзительнымъ дѣтскимъ крикомъ:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула черезъ барьеръ, потомъ черезъ чье-то плечо, очутилась въ ложѣ; чтобы попасть въ слѣдующій ярусъ, нужно было перескочить высокую стѣну; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назадъ по стѣнѣ. Затѣмъ она переходила съ рукъ на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и, наконецъ, попала на галерку...

Спустя полчаса, Каштанка шла уже по улицѣ за людьми, отъ которыхъ пахло клеемъ и лакомъ. Лука Александрычъ покачивался и инстинктивно, наученный опытомъ, старался держаться подальше отъ канавы.

— Въ безднѣ грѣховней валяюся во утробѣ моей... — бормоталъ онъ. — А ты, Каштанка, — недоумѣніе. Супротивъ человѣка ты все равно, что плотникъ супротивъ столяра.

Рядомъ съ нимъ шагалъ Ѳедюшка въ отцовскомъ картузѣ. Каштанка глядѣла имъ обоимъ въ спины, и ей казалось, что она давно уже идетъ за ними и радуется, что жизнь ея не обрывалась ни на минуту.

Вспоминала она комнатку съ грязными обоями, гуся, Ѳедора Тимоѳеича, вкусные обѣды, ученье, циркъ, но все это представлялось ей теперь, какъ длинный, перепутанный, тяжелый сонъ...

ПОЧТА.

Было три часа ночи. Почтальонъ, совсѣмъ уже готовый въ дорогу, въ фуражкѣ, въ пальто и съ заржавленной саблей въ рукахъ, стоялъ около двери и ждалъ, когда ямщики кончатъ укладывать почту на только-что поданную тройку. Заспанный пріемщикъ сидѣлъ за своимъ столомъ, похожимъ на прилавокъ, что-то писалъ на бланкѣ и говорилъ:

— Мой племянникъ студентъ просится сейчасъ ѣхать на станцію. Такъ ты того, Игнатьевъ, посади его съ собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтобъ постороннихъ съ почтой возить, ну, да что жъ дѣлать! Чѣмъ лошадей для него нанимать, такъ пусть лучше даромъ проѣдетъ.

— Готово!—послышался крикъ со двора.

— Ну, поѣзжай съ Богомъ,—сказалъ пріемщикъ.—Который ямщикъ ѣдетъ?

— Семенъ Глазовъ.

— Поди распишись.

Почтальонъ расписался и вышелъ. У входа въ почтовое отдѣленіе темнѣла тройка. Лошади стояли неподвижно, только одна изъ пристяжныхъ безпокойно переминалась съ ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изрѣдка позвякивалъ колокольчикъ. Тарантасъ съ тюками казался чернымъ пятномъ, возлѣ него лѣниво двигались два силуэта: студентъ съ чемоданомъ въ рукахъ и ямщикъ. Послѣдній курилъ носогрѣйку; огонекъ носогрѣйки двигался въ потемкахъ, потухалъ и вспыхивалъ; на мгновеніе освѣщалъ онъ

то кусокъ рукава, то мохнатые усы съ большимъ, мѣднокраснымъ носомъ, то нависшія, суровыя брови.

Почтальонъ помялъ руками тюки, положилъ на нихъ саблю и вскочилъ на тарантасъ. Студентъ нерѣшительно полѣзъ за нимъ и, толкнувъ его нечаянно локтемъ, сказалъ робко и вѣжливо: «Виноватъ!» Носогрѣйка потухла. Изъ почтоваго отдѣленія вышелъ пріемщикъ, какъ былъ, въ одной жилеткѣ и въ туфляхъ; пожимаясь отъ ночной сырости и покрякивая, онъ прошелся около тарантаса и сказалъ:

— Ну, съ Богомъ! Кланяйся, Михайло, матери! Всѣмъ кланяйся. А ты, Игнатьевъ, не забудь передать пакетъ Быстрецову... Трогай!

Ямщикъ забралъ вожжи въ одну руку, высморкался и, поправивъ подъ собою сидѣнье, чмокнулъ.

— Кланяйся же!—повторилъ пріемщикъ.

Колокольчикъ что-то прозвякалъ бубенчикамъ, бубенчики ласково отвѣтили ему. Тарантасъ взвизгнулъ, тронулся, колокольчикъ заплакалъ, бубенчики засмѣялись. Ямщикъ, приподнявшись, два раза хлестнулъ по безпокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дорогѣ. Городишка спалъ. По обѣ стороны широкой улицы чернѣли дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. По небу, усѣянному звѣздами, кое-гдѣ тянулись узкія облака и тамъ, гдѣ скоро долженъ былъ начаться разсвѣтъ, стоялъ узкій лунный серпъ; но ни звѣзды, которыхъ было много, ни полумѣсяцъ, казавшійся бѣлымъ, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро и пахло осенью.

Студентъ, считавшій долгомъ вѣжливости ласково поговорить съ человѣкомъ, который не отказался взять его съ собой, началъ:

— Лѣтомъ въ это время уже свѣтло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лѣто!

Студентъ поглядѣлъ на небо и продолжалъ:

— Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите направо. Видите три звѣзды, которыя стоятъ рядомъ по одной линіи? Это созвѣздіе Оріона, которое появляется на нашемъ полушаріи только въ сентябрѣ.

Почтальонъ, засунувшій руки въ рукава и по уши ушедшій въ воротникъ своего пальто, не пошевельнулся и не взглянулъ на небо. Повид[illegible]му, со[illegible]звѣздіе Оріона не инте-

ресовало его. Онъ привыкъ видѣть звѣзды и, вѣроятно, онѣ давно уже надоѣли ему. Студентъ помолчалъ немного и сказалъ:

— Холодно! Пора бы ужъ быть разсвѣту. Вамъ извѣстно, въ которомъ часу восходитъ теперь солнце?

— Что-съ?

— Въ которомъ часу восходитъ солнце?

— Въ шестомъ!—отвѣтилъ ямщикъ.

Тройка выѣхала изъ города. Теперь уже по обѣ стороны видны были только плетни огородовъ и одинокія ветлы, а впереди все застилала мгла. Здѣсь на просторѣ полумѣсяцъ казался болѣе и звѣзды сіяли ярче. Но вотъ пахнуло сыростью; почтальонъ глубже ушелъ въ воротникъ, и студентъ почувствовалъ, какъ непріятный холодъ пробѣжалъ сначала около ногъ, потомъ по тюкамъ, по рукамъ, по лицу. Тройка пошла тише; колокольчикъ замеръ, точно и онъ озябъ. Послышался плескъ воды, и подъ ногами лошадей, и около колесъ запрыгали звѣзды, отражавшіяся въ водѣ.

А минутъ черезъ десять стало такъ темно, что ужъ не было видно ни звѣздъ, ни полумѣсяца. Это тройка въѣхала въ лѣсъ. Колючія еловыя вѣтви то и дѣло били студента по фуражкѣ и паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищамъ и тарантасъ покачивался, какъ пьяный.

— Вези по дорогѣ!—сказалъ сердито почтальонъ.—Что по краю везешь? Мнѣ всю рожу вѣтками расцарапало! Бери правѣй!

Но тутъ едва не произошло несчастье. Тарантасъ вдругъ подскочилъ, точно его передернула судорога, задрожалъ и съ визгомъ, сильно накреняваясь то вправо, то влѣво, съ страшной быстротой понесся по просѣкѣ. Лошади чего-то испугались и понесли.

— Тпррр! Тпррр! — испуганно закричалъ ямщикъ. — Тпррр... дьяволы!

Подскакивавшій студентъ, чтобы сохранить равновѣсіе и не вылетѣть изъ тарантаса, нагнулся впередъ и сталъ искать, за что бы ухватиться, но кожаные тюки были скользки, и ямщикъ, за поясъ котораго ухватился было студентъ, самъ подскакивалъ и каждое мгновеніе готовъ былъ свалиться. Сквозь шумъ колесъ и визгъ тарантаса послышалось, какъ слетѣвшая с[illegible] ударилась о землю, потомъ,

немного погодя, что-то раза два глухо ударилось позади тарантаса.

— Тпррр! — раздирающимъ голосомъ кричалъ ямщикъ, перегибаясь назадъ.—Стой!

Студентъ упалъ лицомъ на его сидѣнье и ушибъ себѣ лобъ, но тотчасъ же его перегнуло назадъ, подбросило, и онъ сильно ударился спиной о задокъ тарантаса. «Падаю!»— мелькнуло въ его головѣ, но въ это время тройка вылетѣла изъ лѣса на просторъ, круто повернула направо и, застучавъ по бревенчатому мосту, остановилась, какъ вкопанная, и отъ такой внезапной остановки студента по инерціи опять перегнуло впередъ.

Ямщикъ и студентъ—оба задыхались. Почтальона въ тарантасѣ не было. Онъ вылетѣлъ вмѣстѣ съ саблей, чемоданомъ студента и однимъ тюкомъ.

— Стой, подлецъ! Сто-ой! — послышался изъ лѣса его крикъ. — Сволочь проклятая! — кричалъ онъ, подбѣгая къ тарантасу, и въ его плачущемъ голосѣ слышались боль и злоба.—Анаѳема, чтобъ ты издохъ!—крикнулъ онъ, подскакивая къ ямщику и замахиваясь на него кулакомъ.

— Экая исторія, Господи помилуй!—бормоталъ ямщикъ виноватымъ голосомъ, поправляя что-то около лошадиныхъ мордъ. — А все чортова пристяжная! Молодая проклятая, только недѣля, какъ въ упряжкѣ ходитъ. Ничего идетъ, а какъ только съ горы—бѣда! Ссадить бы ей морду раза три, такъ не стала бы баловать... Сто-ой! А, чортъ!

Пока ямщикъ приводилъ въ порядокъ лошадей и искалъ по дорогѣ чемоданъ, тюкъ и саблю, почтальонъ продолжалъ плачущимъ, визжащимъ отъ злобы голосомъ осыпать его ругательствами. Уложивъ кладь, ямщикъ безъ всякой надобности провелъ лошадей шаговъ сто, поворчалъ на безпокойную пристяжную и вскочилъ на козлы.

Когда страхъ прошелъ, студенту стало смѣшно и весело. Первый разъ въ жизни ѣхалъ онъ ночью на почтовой тройкѣ, и только-что пережитая встряска, полетъ почтальона и боль въ спинѣ ему казались интереснымъ приключеніемъ. Онъ закурилъ папиросу и сказалъ со смѣхомъ:

— А вѣдь этакъ можно себѣ шею свернуть! Я едва-едва не слетѣлъ и даже не замѣтилъ, какъ вы вылетѣли. Воображаю, какая ѣзда должна быть осенью!

Почтальонъ молчалъ.

— А вы давно ѣздите съ почтой?—спросилъ студентъ.

— Одиннадцать лѣтъ.

— Ого! Каждый день?

— Каждый. Отвезу эту почту и сейчасъ же назадъ ѣхать. А что?

За одиннадцать лѣтъ, при ежедневной ѣздѣ, навѣрное, было пережито не мало интересныхъ приключеній. Въ ясныя лѣтнія и въ суровыя осеннія ночи, или зимою, когда тройку съ воемъ кружитъ злая метель, трудно уберечься отъ страшнаго, жуткаго. Небось, не разъ носили лошади, увязалъ въ промоинѣ тарантасъ, нападали злые люди, сбивала съ пути вьюга...

— Воображаю, сколько приключеній было у васъ за одиннадцать лѣтъ!—сказалъ студентъ.—Что, должно-быть, страшно ѣздить?

Онъ говорилъ и ждалъ, что почтальонъ разскажетъ ему что-нибудь, но тотъ угрюмо молчалъ и уходилъ въ свой воротникъ. Начинало между тѣмъ свѣтать. Было не замѣтно, какъ небо мѣняло свой цвѣтъ; оно все еще казалось темнымъ, но уже видны были и лошади, и ямщикъ, и дорога. Лунный серпъ становился все бѣлѣе и бѣлѣе, а растянувшееся подъ нимъ облако, похожее на пушку съ лафетомъ, чуть-чуть желтѣло на своемъ нижнемъ краѣ. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокро отъ росы, сѣро и неподвижно, какъ у мертваго. На немъ застыло выраженіе тупой, угрюмой злобы, точно почтальонъ все еще чувствовалъ боль и продолжалъ сердиться на ямщика.

— Слава Богу, уже свѣтаетъ!—сказалъ студентъ, вглядываясь въ его злое, озябшее лицо.—Я совсѣмъ замерзъ. Ночи въ сентябрѣ холодныя, а стоитъ только взойти солнцу, и холода какъ не бывало. Мы скоро пріѣдемъ на станцію?

Почтальонъ поморщился и сдѣлалъ плачущее лицо.

— Какъ вы любите говорить, ей-Богу!—сказалъ онъ.—Развѣ не можете молча ѣхать?

Студентъ сконфузился и ужъ не трогалъ его всю дорогу. Утро наступало быстро. Мѣсяцъ поблѣднѣлъ и слился съ мутнымъ, сѣрымъ небомъ, облако все стало желто, звѣзды потухли, но востокъ все еще былъ холоденъ, такого же цвѣта, какъ и все небо, такъ что не вѣрилось, что за нимъ *пряталось* солнце...

Холодъ утра и угрюмость почтальона сообщились мало-

по-малу и озябшему студенту. Онъ апатично глядѣлъ на природу, ждалъ солнечнаго тепла и думалъ только о томъ, какъ, должно-быть, жутко и противно бѣднымъ деревьямъ и травѣ переживать холодныя ночи. Солнце взошло мутное, заспанное и холодное. Верхушки деревьевъ не золотились отъ восходящаго солнца, какъ пишутъ обыкновенно, лучи не ползли по землѣ и въ полетѣ сонныхъ птицъ не замѣтно было радости. Каковъ былъ холодъ ночью, такимъ онъ остался и при солнцѣ...

Студентъ сонно и хмуро поглядѣлъ на завѣшенныя окна усадьбы, мимо которой проѣзжала тройка. За окнами, подумалъ онъ, вѣроятно, спятъ люди самымъ крѣпкимъ, утреннимъ сномъ и не слышатъ почтовыхъ звонковъ, не ощущаютъ холода, не видятъ злого лица почтальона; а если и разбудитъ колокольчикъ какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бокъ, улыбнется отъ избытка тепла и покоя и, поджавъ ноги, положивъ руку подъ щеку, заснетъ еще крѣпче.

Поглядѣлъ студентъ на прудъ, который блестѣлъ около усадьбы, и вспомнилъ о карасяхъ и щукахъ, которые находятъ возможнымъ жить въ холодной водѣ...

— Постороннихъ не велѣно возить...—заговорилъ неожиданно почтальонъ. — Не дозволено! А ежели не дозволено, то и не зачѣмъ садиться... Да. Мнѣ, положимъ, все равно, а только я этого не люблю и не желаю.

— Отчего же вы раньше молчали, если это вамъ не нравится?

Почтальонъ ничего не отвѣтилъ и продолжалъ глядѣть недружелюбно, со злобой. Когда, немного погодя, тройка остановилась у подъѣзда станціи, студентъ поблагодарилъ и вылѣзъ изъ тарантаса. Почтовый поѣздъ еще не приходилъ. На запасномъ пути стоялъ длинный товарный поѣздъ; на тендерѣ машинистъ и его помощникъ, съ лицами влажными отъ росы, пили изъ грязнаго жестяного чайника чай. Вагоны, платформа, скамьи — все было мокро и холодно. До прихода поѣзда студентъ стоялъ у буфета и пилъ чай, а почтальонъ, засунувъ руки въ рукава, все еще со злобой на лицѣ, одиноко шагалъ по платформѣ и глядѣлъ себѣ подъ ноги.

На кого онъ сердился? На людей, на нужду, на осенніе ночи?

НЕПРІЯТНОСТЬ.

Земскій врачъ Григорій Ивановичъ Овчинниковъ, человѣкъ лѣтъ 35, худосочный и нервный, извѣстный своимъ товарищамъ небольшими работами по медицинской статистикѣ и горячею привязанностью къ такъ-называемымъ «бытовымъ вопросамъ», какъ-то утромъ дѣлалъ у себя въ больницѣ обходъ палатъ. За нимъ, по обыкновенію, слѣдовалъ его фельдшеръ Михаилъ Захаровичъ, пожилой человѣкъ, съ жирнымъ лицомъ, плоскими сальными волосами и съ серьгой въ ухѣ.

Едва докторъ началъ обходъ, какъ ему стало казаться очень подозрительнымъ одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась въ складки и упрямо задиралась вверхъ, несмотря на то, что фельдшеръ то и дѣло обдергивалъ и поправлялъ ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черномъ, длинномъ сюртукѣ, на панталонахъ и даже на галстукѣ кое-гдѣ бѣлѣлъ пухъ... Очевидно, фельдшеръ спалъ всю ночь не раздѣваясь и, судя по выраженію, съ какимъ онъ теперь обдергивалъ жилетку и поправлялъ галстукъ, одежа стѣсняла его.

Докторъ пристально поглядѣлъ на него и понялъ, въ чемъ дѣло. Фельдшеръ не шатался, отвѣчалъ на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробѣгавшая по шеѣ и рукамъ, безпорядокъ въ одеждѣ, а главное—напряженныя усилія надъ самимъ собой и желаніе замаскировать свое состояніе свидѣтельствовали, что онъ только-что всталъ съ постели, не выспался и былъ пьянъ, пьянъ тяжело, со вчерашняго... Онъ переживалъ мучительное со-

стояніе «перегара», страдалъ и, повидимому, былъ очень недоволенъ собой.

Докторъ, не любившій фельдшера и имѣвшій на то свои причины, почувствовалъ сильное желаніе сказать ему:—«Я вижу, вы пьяны!» Ему вдругъ стали противны жилетка, длиннополый сюртукъ, серьга въ мясистомъ ухѣ, но онъ сдержалъ свое злое чувство и сказалъ мягко и вѣжливо, какъ всегда:

— Давали Герасиму молока?

— Давали-съ... — отвѣтилъ Михаилъ Захарычъ тоже мягко.

Разговаривая съ больнымъ Герасимомъ, докторъ взглянулъ на листокъ, гдѣ записывалась температура, и, почувствовавъ новый приливъ ненависти, сдержалъ дыханіе, чтобы не говорить, но не выдержалъ и спросилъ грубо и задыхаясь!

— Отчего температура не записана?

— Нѣтъ, записана-съ!—сказалъ мягко Михаилъ Захарычъ, но, поглядѣвъ въ листокъ и убѣдившись, что температура въ самомъ дѣлѣ не записана, онъ растерянно пожалъ плечами и пробормоталъ:—Не знаю-съ, это, должно-быть, Надежда Осиповна...

— И вчерашняя вечерняя не записана! — продолжалъ докторъ.—Только пьянствуете, чортъ васъ возьми! И сейчасъ вы пьяны, какъ сапожникъ! Гдѣ Надежда Осиповна?

Акушерки Надежды Осиповны не было въ палатахъ, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязкахъ. Докторъ поглядѣлъ вокругъ себя, и ему стало казаться, что въ палатѣ не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сдѣлано и что все такъ же топорщится, мнется и покрыто пухомъ, какъ противная жилетка фельдшера, и ему захотѣлось сорвать съ себя бѣлый фартукъ, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе и продолжалъ обходъ.

За Герасимомъ слѣдовалъ хирургическій больной съ воспаленіемъ клѣтчатки во всей правой рукѣ. Этому нужно было сдѣлать перевязку. Докторъ сѣлъ передъ нимъ на табуретъ и занялся рукой.

«Это вчера они гуляли на именинахъ...—думалъ онъ, медленно снимая повязку.—Погодите, я покажу вамъ именины! Впрочемъ, что я могу сдѣлать? Ничего я не могу».

Онъ нащупалъ на вспухшей, багровой рукѣ гнойникъ и сказалъ:

— Скальпель!

Михаилъ Захарычъ, старавшійся показать, что онъ крѣпко стоитъ на ногахъ и годенъ для дѣла, рванулся съ мѣста и быстро подалъ скальпель.

— Не этотъ! Дайте изъ новыхъ,—сказалъ докторъ.

Фельдшеръ засѣменилъ къ стулу, на которомъ стоялъ ящикъ съ перевязочнымъ матеріаломъ, и сталъ торопливо рыться въ немъ. Онъ долго шептался о чемъ-то съ сидѣлками, двигалъ ящикомъ по стулу, шуршалъ, что-то раза два уронилъ, а докторъ сидѣлъ, ждалъ и чувствовалъ въ своей спинѣ сильное раздраженіе отъ шопота и шороха.

— Скоро же?—спросилъ онъ.—Вы, должно-быть, ихъ внизу забыли...

Фельдшеръ подбѣжалъ къ нему и подалъ два скальпеля, причемъ не уберегся и дыхнулъ въ его сторону.

— Это не тѣ!—сказалъ раздраженно докторъ.—Я говорю вамъ русскимъ языкомъ, дайте изъ новыхъ. Впрочемъ, ступайте и проспитесь, отъ васъ несетъ, какъ изъ кабака! Вы невмѣняемы!

— Какихъ же вамъ еще ножей нужно?—спросилъ раздраженно фельдшеръ и медленно пожалъ плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него въ упоръ глядятъ больные и сидѣлки, и чтобы показать, что ему не стыдно, онъ принужденно усмѣхнулся и повторилъ:

— Какихъ же вамъ еще ножей нужно?

Докторъ почувствовалъ на глазахъ слезы и дрожь въ пальцахъ. Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и проговорилъ дрожащимъ голосомъ:

— Ступайте проспитесь! Я не желаю говорить съ пьянымъ...

— Вы можете только за дѣло съ меня взыскивать,—продолжалъ фельдшеръ:—а ежели я, положимъ, выпивши, то никто не имѣетъ права мнѣ указывать. Вѣдь я служу? Что жъ вамъ еще! Вѣдь служу?

Докторъ вскочилъ и, не отдавая себѣ отчета въ своихъ движеніяхъ, размахнулся и изо всей силы ударилъ фельдшера по лицу. Онъ не понималъ, для чего онъ это дѣлаетъ, но почувствовалъ большое удовольствіе оттого, что ударъ кулака пришелся какъ разъ по лицу и что человѣкъ солид-

ный, положительный, семейный, набожный и знающій себѣ цѣну, покачнулся, подпрыгнулъ, какъ мячикъ, и сѣлъ на табуретъ. Ему страстно захотѣлось ударить еще разъ, но, увидѣвъ около ненавистнаго лица блѣдныя, встревоженныя лица сидѣлокъ, онъ пересталъ ощущать удовольствіе, махнулъ рукой и выбѣжалъ изъ палаты.

Во дворѣ встрѣтилась ему шедшая въ больницу Надежда Осиповна, дѣвица лѣтъ 27, съ блѣдно-желтымъ лицомъ и съ распущенными волосами. Ея розовое ситцевое платье было сильно стянуто въ подолѣ и отъ этого шаги ея были очень мелки и часты. Она шуршала платьемъ, подергивала плечами въ тактъ каждому своему шагу и покачивала головой такъ, какъ будто напѣвала мысленно что-то веселенькое.

«Ага, русалка!»—подумалъ докторъ, вспомнивъ, что въ больницѣ акушерку дразнятъ русалкой, и ему стало пріятно отъ мысли, что онъ сейчасъ оборветъ эту мелкошагающую, влюбленную въ себя франтиху.

— Гдѣ это вы пропадаете? — крикнулъ онъ, поровнявшись съ ней.—Отчего вы не въ больницѣ? Температура не записана, вездѣ безпорядокъ, фельдшеръ пьянъ, вы спите до двѣнадцати часовъ!.. Извольте искать себѣ другое мѣсто! Здѣсь вы больше не служите!

Придя на квартиру, докторъ сорвалъ съ себя бѣлый фартукъ и полотенце, которымъ былъ подпоясанъ, со злобой швырнулъ то и другое въ уголъ и заходилъ по кабинету.

— Боже, что за люди, что за люди!—проговорилъ онъ.— Это не помощники, а враги дѣла! Нѣтъ силъ служить больше! Не могу! Я уйду!

Сердце его сильно билось, онъ весь дрожалъ и хотѣлъ плакать и, чтобы избавиться отъ этихъ ощущеній, онъ началъ успокаивать себя мыслями о томъ, какъ онъ правъ и какъ хорошо сдѣлалъ, что ударилъ фельдшера. Прежде всего гадко то, думалъ докторъ, что фельдшеръ поступилъ въ больницу не просто, а по протекціи своей тетки, служащей въ нянюшкахъ у предсѣдателя земской управы (противно бываетъ глядѣть на эту вліятельную тетушку, когда она, пріѣзжая лѣчиться, держитъ себя въ больницѣ какъ дома и претендуетъ на то, чтобы ее принимали не въ очередь). Дисциплинированъ фельдшеръ плохо, знаетъ мало и совсѣмъ не понимаетъ того, что знаетъ. Онъ

нетрезвъ, дерзокъ, нечистоплотенъ, беретъ съ больныхъ взятки и тайкомъ продаетъ земскія лѣкарства. Всѣмъ также извѣстно, что онъ занимается практикой и лѣчитъ у молодыхъ мѣщанъ секретныя болѣзни, причемъ употребляетъ какія-то собственныя средства. Добро бы это былъ просто шарлатанъ, какихъ много, но это шарлатанъ убѣжденный и втайнѣ протестующій. Тайкомъ отъ доктора онъ ставитъ приходящимъ больнымъ банки и пускаетъ имъ кровь, на операціяхъ присутствуетъ съ неумытыми руками, ковыряетъ въ ранахъ всегда грязнымъ зондомъ — этого достаточно, чтобы понять, какъ глубоко и храбро презираетъ онъ докторскую медицину съ ея ученостью и педантизмомъ.

Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, докторъ сѣлъ за столъ и написалъ письмо къ предсѣдателю управы: «Уважаемый Левъ Трофимовичъ! Если, по полученіи этого письма, ваша управа не уволитъ фельдшера Смирновскаго и не предоставитъ мнѣ права самому выбирать себѣ помощниковъ, то я сочту себя вынужденнымъ (не безъ сожалѣнія, конечно) просить васъ не считать уже меня болѣе врачомъ N—ской больницы и озаботиться пріисканіемъ мнѣ преемника. Почтеніе Любовь Ѳедоровнѣ и Юсу. Уважающій Г. Овчинниковъ». Прочитавъ это письмо, докторъ нашелъ, что оно коротко и недостаточно холодно. Къ тому же почтеніе Любовь Ѳедоровнѣ и Юсу (такъ дразнили младшаго сына предсѣдателя) въ дѣловомъ, офиціальномъ письмѣ было болѣе чѣмъ неумѣстно.

«Какой тутъ къ чорту Юсъ?»—подумалъ докторъ, изорвалъ письмо и сталъ придумывать другое.—«Милостивый государь»...—думалъ онъ, садясь у открытаго окна и глядя на утокъ съ утятами, которыя, покачиваясь и спотыкаясь, спѣшили по дорогѣ, должно-быть, къ пруду; одинъ утенокъ подобралъ на дорогѣ какую-то кишку, подавился и поднялъ тревожный пискъ; другой подбѣжалъ къ нему, вытащилъ у него изо рта кишку и тоже подавился... Далеко около забора въ кружевной тѣни, какую бросали на траву молодыя липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленыхъ щей... Слышались голоса... Кучеръ Зотъ съ уздечкой въ рукѣ и больничный мужикъ Мануйло въ грязномъ фартукѣ стояли около сарая, о чемъ-то разговаривали и смѣялись.

«*Это* они о томъ, что я фельдшера ударилъ... — думалъ

докторъ.—Сегодня уже весь уѣздъ будетъ знать объ этомъ скандалѣ... Итакъ: Милостивый государь! Если вашъ управа не уволитъ»...

Докторъ отлично зналъ, что управа ни въ какомъ случаѣ не промѣняетъ его на фельдшера и скорѣе согласится не имѣть ни одного фельдшера во всемъ уѣздѣ, чѣмъ лишиться такого превосходнаго человѣка, какъ докторъ Овчинниковъ. Навѣрное, тотчасъ же по полученіи письма Левъ Трофимовичъ прикатитъ къ нему на тройкѣ и начнетъ:— «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое. Христосъ съ вами? Зачѣмъ? Съ какой стати? Гдѣ онъ? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтобъ завтра же его, подлеца, здѣсь не было!»— Потомъ онъ пообѣдаетъ съ докторомъ, а послѣ обѣда ляжетъ вотъ на этомъ малиновомъ диванѣ животомъ вверхъ, закроетъ лицо газетой и захрапитъ; выспавшись, напьется чаю и увезетъ къ себѣ доктора ночевать. И вся исторія кончится тѣмъ, что и фельдшеръ останется въ больницѣ, и докторъ не подастъ въ отставку.

Доктору же въ глубинѣ души хотѣлось не такой развязки. Ему хотѣлось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, не взирая на его восьмилѣтнюю, добросовѣстную службу, безъ разговоровъ и даже съ удовольствіемъ приняла бы его отставку. Онъ мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ уѣзжать изъ больницы, къ которой привыкъ, какъ напишетъ письмо въ газету «Врачъ», какъ товарищи поднесутъ ему сочувственный адресъ...

На дорогѣ показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьемъ, она подошла къ окну и спросила:

— Григорій Иванычъ, сами будете принимать больныхъ, или безъ васъ прикажете?

А глаза ея говорили:—«Ты погорячился, но теперь успокоился и тебѣ стыдно, но я великодушна и не замѣчаю этого».

— Хорошо, я сейчасъ,—сказалъ докторъ.

Онъ опять надѣлъ фартукъ, подпоясался полотенцемъ и пошелъ въ больницу.

«Не хорошо, что я убѣжалъ, когда ударилъ его...—думалъ онъ дорогой.—Вышло, какъ будто я сконфузился или испугался... Гимназиста разыгралъ... Очень нехорошо!»

Ему казалось, что когда онъ войдетъ въ палату, то боль-

нымъ будетъ неловко глядѣть на него и ему самому станетъ совѣстно, но когда онъ вошелъ, больные покойно лежали на кроватяхъ и едва обратили на него вниманіе. Лицо чахоточнаго Герасима выражало совершенное равнодушіе и какъ бы говорило:—«Онъ тебѣ не потрафилъ, ты его маненько поучилъ... безъ этого, батюшка, нельзя».

Докторъ вскрылъ на багровой рукѣ два гнойника и наложилъ повязку, потомъ отправился въ женскую половину, гдѣ сдѣлалъ одной бабѣ операцію въ глазу, и все время за нимъ ходила русалка и помогала ему съ такимъ видомъ, какъ будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. Послѣ обхода палатъ началась пріемка приходящихъ больныхъ. Въ маленькой пріемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сѣсть на подоконникъ и немножко нагнуться, чтобы увидѣть на аршинъ отъ себя молодую траву. Вчера вечеромъ былъ сильный ливень съ грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бѣжитъ недалеко отъ окна и ведетъ къ оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонамъ ея битая аптекарская посуда, тоже умытая, играетъ на солнцѣ и испускаетъ ослѣпительно-яркіе лучи. А дальше за тропинкой жмутся другъ къ другу молодыя елки, одѣтыя въ пышныя, зеленыя платья, за ними стоятъ березы съ бѣлыми, какъ бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую отъ вѣтра зелень березъ видно голубое, бездонное небо. Когда выглянешь въ окно, то скворцы, прыгающіе по тропинкѣ, поворачиваютъ въ сторону окна свои глупые носы и рѣшаютъ: испугаться, или нѣтъ? И, рѣшивъ испугаться, они одинъ за другимъ, съ веселымъ крикомъ, точно потѣшаясь надъ докторомъ, не умѣющимъ летать, несутся къ верхушкамъ березъ...

Сквозь тяжелый запахъ іодоформа чувствуется свѣжесть и ароматъ весенняго дня... Хорошо дышать!

— Анна Спиридонова!—вызвалъ докторъ.

Въ пріемную вошла молодая баба въ красномъ платьѣ и помолилась на образъ.

— Что болитъ?—спросилъ докторъ.

Баба недовѣрчиво покосилась на дверь, въ которую вошла, и на дверцу, ведущую въ аптеку, подошла поближе къ доктору и шепнула:

— Дѣтей нѣту!

— Кто еще не записывался?—крикнула въ аптекѣ русалка.—Подходите записываться!

«Онъ уже тѣмъ скотина,—думалъ докторъ, изслѣдуя бабу:—что заставилъ меня драться первый разъ въ жизни. Я отродясь не дрался».

Анна Спиридонова ушла. Послѣ нея пришелъ старикъ съ дурной болѣзнью, потомъ баба съ тремя ребятишками въ чесоткѣ, и работа закипѣла. Фельдшеръ не показывался. За дверцей въ аптекѣ, шурша платьемъ и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дѣло она входила въ пріемную, чтобы помочь на операціи или взять рецепты, и все съ такимъ видомъ, какъ будто все было благополучно.

«Она рада, что я ударилъ фельдшера,—думалъ докторъ, прислушиваясь къ голосу акушерки.—Вѣдь она жила съ фельдшеромъ, какъ кошка съ собакой, и для нея праздникъ, если его уволятъ. И сидѣлки, кажется, рады... Какъ это противно!»

Въ самый разгаръ пріемки ему стало казаться, что и акушерка, и сидѣлки, и даже больные нарочно стараются придать себѣ равнодушное и веселое выраженіе. Они какъ будто понимали, что ему стыдно и больно, но изъ деликатности дѣлали видъ, что не понимаютъ. И онъ, желая показать имъ, что ему вовсе не стыдно, кричалъ сердито:

— Эй, вы, тамъ! Затворяйте дверь, а то сквозитъ!

А ему ужъ было стыдно и тяжело. Принявши сорокъ пять больныхъ, онъ не спѣша вышелъ изъ больницы. Акушерка, уже успѣвшая побывать у себя на квартирѣ и надѣть на плечи ярко-пунцовый платокъ, съ папироской въ зубахъ и съ цвѣткомъ въ распущенныхъ волосахъ, спѣшила куда-то со двора, вѣроятно, на практику или въ гости. На порогѣ больницы сидѣли больные и молча грѣлись на солнышкѣ. Скворцы попрежнему шумѣли и гонялись за жуками. Докторъ глядѣлъ по сторонамъ и думалъ, что среди всѣхъ этихъ ровныхъ, безмятежныхъ жизней, какъ два испорченныхъ клавиша въ фортепіано, рѣзко выдѣлялись и никуда не годились только двѣ жизни: фельдшера и его. Фельдшеръ теперь, навѣрное, легъ, чтобы проспаться, но никакъ не можетъ уснуть отъ мысли, что онъ виноватъ, оскорбленъ и потерялъ мѣсто. Положеніе его мучительно. Докторъ же, ранѣе никогда никого не бившій, чувствовалъ себя такъ, какъ будто навсегда потерялъ невинность. Онъ

уже не обвинялъ фельдшера и не оправдывалъ себя, а только недоумѣвалъ: какъ это могло случиться, что онъ, порядочный человѣкъ, никогда не бившій даже собакъ, могъ ударить? Придя къ себѣ на квартиру, онъ легъ въ кабинетѣ на диванъ, лицомъ къ спинкѣ, и сталъ думать такимъ образомъ:

«Онъ человѣкъ нехорошій, вредный для дѣла; за три года, пока онъ служитъ, у меня накипѣло въ душѣ, но тѣмъ не менѣе мой поступокъ ничѣмъ не можетъ быть оправданъ. Я воспользовался правомъ сильнаго. Онъ мой подчиненный, виноватъ и къ тому же пьянъ, а я его начальникъ, правъ и трезвъ... Значитъ, я сильнѣе. Во-вторыхъ, я ударилъ его при людяхъ, которые считаютъ меня авторитетомъ, и такимъ образомъ я подалъ имъ отвратительный примѣръ»...

Доктора позвали обѣдать... Онъ съѣлъ нѣсколько ложекъ щей и, вставши изъ-за стола, опять легъ на диванъ.

«Что же теперь дѣлать?—продолжалъ онъ думать.—Надо возможно скорѣе дать ему удовлетвореніе... Но какимъ образомъ? Дуэли онъ, какъ практическій человѣкъ, считаетъ глупостью или не понимаетъ ихъ. Если въ той самой палатѣ, при сидѣлкахъ и больныхъ попросить у него извиненія, то это извиненіе удовлетворитъ только меня, а не его; онъ, человѣкъ дурной, пойметъ мое извиненіе какъ трусость и боязнь, что онъ пожалуется на меня начальству. Къ тому же, это мое извиненіе въ конецъ расшатаетъ больничную дисциплину. Предложить ему денегъ? Нѣтъ, это безнравственно и похоже на подкупъ. Если теперь, положимъ, обратиться за разрѣшеніемъ вопроса къ нашему прямому начальству, т. е. къ управѣ... Она могла бы объявить мнѣ выговоръ, или уволить меня... Но этого она не сдѣлаетъ. Да и не совсѣмъ удобно вмѣшивать въ интимныя дѣла больницы управу, которая кстати же не имѣетъ на это никакого права»...

Часа черезъ три послѣ обѣда докторъ шелъ къ пруду купаться и думалъ:

«А не поступить ли мнѣ такъ, какъ поступаютъ всѣ при подобныхъ обстоятельствахъ? То-есть, пусть онъ подастъ на меня въ судъ. Я безусловно виноватъ, оправдываться не стану, и мировой присудитъ меня къ аресту. Такимъ образомъ оскорбленный будетъ удовлетворенъ и тѣ, которые

считаютъ меня авторитетомъ, увидятъ, что я былъ не правъ».

Эта идея улыбнулась ему. Онъ обрадовался и сталъ думать, что вопросъ рѣшенъ благополучно и что болѣе справедливаго рѣшенія не можетъ быть.

«Что жъ, превосходно!—думалъ онъ, полѣзая въ воду и глядя, какъ отъ него убѣгали стаи мелкихъ, золотистыхъ карасиковъ.—Пусть подаетъ... Это для него тѣмъ болѣе удобно, что наши служебныя отношенія уже порваны и одному изъ насъ послѣ этого скандала все равно ужъ нельзя оставаться въ больницѣ»...

Вечеромъ докторъ приказалъ заложить шарабанъ, чтобы ѣхать къ воинскому начальнику играть въ винтъ. Когда онъ, въ шляпѣ и въ пальто, совсѣмъ уже готовый въ путь, стоялъ у себя посреди кабинета и надѣвалъ перчатки, наружная дверь со скрипомъ отворилась, и кто-то безшумно вошелъ въ переднюю.

— Кто тамъ?—спросилъ докторъ.

— Это я-съ...—глухо отвѣтилъ вошедшій.

У доктора вдругъ застучало сердце и весь онъ похолодѣлъ отъ стыда и какого-то непонятнаго страха. Фельдшеръ Михаилъ Захарычъ (это былъ онъ) тихо кашлянулъ и несмѣло вошелъ въ кабинетъ. Помолчавъ немного, онъ сказалъ глухимъ, виноватымъ голосомъ:

— Простите меня, Григорій Иванычъ!

Докторъ растерялся и не зналъ, что сказать. Онъ понялъ, что фельдшеръ пришелъ къ нему унижаться и просить прощенія не изъ христіанскаго смиренія и не ради того, чтобы своимъ смиреніемъ уничтожить оскорбителя, а просто изъ расчета: «сдѣлаю надъ собой усиліе, попрошу прощенія и, авось, меня не прогонятъ и не лишатъ куска хлѣба»... Что можетъ быть оскорбительнѣй для человѣческаго достоинства?

— Простите...—повторилъ фельдшеръ.

— Послушайте...—заговорилъ докторъ, стараясь не глядѣть на него и все еще не зная, что сказать.—Послушайте... Я васъ оскорбилъ и... и долженъ понести наказаніе, то-есть удовлетворить васъ... Дуэлей вы не признаете... Впрочемъ, я самъ не признаю дуэлей. Я васъ оскорбилъ и вы... вы можете подать на меня жалобу мировому судьѣ, и я понесу наказаніе... А оставаться намъ

тутъ вдвоемъ нельзя... Кто-нибудь изъ насъ, я или вы, долженъ выйти! (Боже мой! Я не то говорю!—ужаснулся докторъ.—Какъ глупо, какъ глупо!) Однимъ словомъ, подавайте прошеніе! А служить вмѣстѣ мы уже не можемъ!.. Я, или вы... Завтра же подавайте!

Фельдшеръ поглядѣлъ исподлобья на доктора, и въ его темныхъ, мутныхъ глазахъ вспыхнуло самое откровенное презрѣніе. Онъ всегда считалъ доктора не практическимъ, капризнымъ мальчишкой, а теперь презиралъ его за дрожь, за непонятную суету въ словахъ...

— И подамъ,—сказалъ онъ угрюмо и злобно.

— Да, и подавайте!

— А что жъ вы думаете? Не подамъ? И подамъ... Вы не имѣете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный...

Въ груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и онъ закричалъ не своимъ голосомъ:

— Убирайтесь вонъ!

Фельдшеръ нехотя тронулся съ мѣста (ему какъ будто хотѣлось еще что-то сказать), пошелъ въ переднюю и остановился тамъ въ раздумьѣ. И что-то надумавъ, онъ рѣшительно вышелъ...

— Какъ глупо, какъ глупо!—бормоталъ докторъ по уходѣ его.—Какъ все это глупо и пошло!

Онъ чувствовалъ, что велъ себя сейчасъ съ фельдшеромъ какъ мальчишка, и ужъ понималъ, что всѣ его мысли насчетъ суда не умны, не рѣшаютъ вопроса, а только осложняютъ его.

«Какъ глупо!—думалъ онъ, сидя въ шарабанѣ и потомъ играя у воинскаго начальника въ винтъ.—Неужели я такъ мало образованъ и такъ мало знаю жизнь, что не въ состояніи рѣшить этого простого вопроса? Ну, что дѣлать?»

На другой день утромъ докторъ видѣлъ, какъ жена фельдшера садилась въ повозку, чтобы куда-то ѣхать, и подумалъ: «Это она къ тетушкѣ. Пусть!»

Больница обходилась безъ фельдшера. Нужно было написать заявленіе въ управу, но докторъ все еще никакъ не могъ придумать формы письма. Теперь смыслъ письма долженъ былъ быть таковъ: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноватъ не онъ, а я». Изложить же эту мысль такъ, чтобы

вышло не глупо и не стыдно—для порядочнаго человѣка почти невозможно.

Дня черезъ два или три доктору донесли, что фельдшеръ былъ съ жалобой у Льва Трофимовича. Предсѣдатель не далъ ему сказать ни одного слова, затопалъ ногами и проводилъ его крикомъ: «Знаю я тебя! Вонъ! Не желаю слушать!» Отъ Льва Трофимовича фельдшеръ поѣхалъ въ управу и подалъ тамъ ябеду, въ которой, не упоминая о пощечинѣ и ничего не прося для себя, доносилъ управѣ, что докторъ нѣсколько разъ въ его присутствіи неодобрительно отзывался объ управѣ и предсѣдателѣ, что лѣчитъ докторъ не такъ, какъ нужно, ѣздитъ на участки неисправно и проч. Узнавъ объ этомъ, докторъ засмѣялся и подумалъ: «Этакій дуракъ!» и ему стало стыдно и жаль, что фельдшеръ дѣлаетъ глупости; чѣмъ больше глупостей дѣлаетъ человѣкъ въ свою защиту, тѣмъ онъ, значитъ, беззащитнѣе и слабѣе.

Ровно черезъ недѣлю послѣ описаннаго утра докторъ получилъ повѣстку отъ мирового судьи.

«Это ужъ совсѣмъ глупо...—думалъ онъ, расписываясь въ полученіи.—Глупѣе и придумать ничего нельзя».

И когда онъ въ пасмурное, тихое утро ѣхалъ къ мировому, ему ужъ было не стыдно, а досадно и противно. Онъ злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства...

— Возьму и скажу на судѣ: убирайтесь вы всѣ къ чорту!—злился онъ.—Вы всѣ ослы и ничего вы не понимаете!

Подъѣхавъ къ камерѣ мирового, онъ увидѣлъ на порогѣ трехъ своихъ сидѣлокъ, вызванныхъ въ качествѣ свидѣтельницъ, и русалку. При видѣ сидѣлокъ и жизнерадостной акушерки, которая отъ нетерпѣнія переминалась съ ноги на ногу и даже вспыхнула отъ удовольствія, когда увидѣла главнаго героя предстоящаго процесса, сердитому доктору захотѣлось налетѣть на нихъ ястребомъ и ошеломить: «Кто вамъ позволилъ уходить изъ больницы? Извольте сію минуту убираться домой!» но онъ сдержалъ себя и, стараясь казаться покойнымъ, пробрался сквозь толпу мужиковъ въ камеру. Камера была пуста и цѣпь мирового висѣла на спинкѣ кресла. Докторъ пошелъ въ комнатку письмоводителя. Тутъ онъ увидѣлъ молодого человѣка съ тощимъ лицомъ и въ коломенковомъ пиджакѣ съ оттопыренными кар-

манами—это былъ письмоводитель, и фельдшера, который сидѣлъ за столомъ и отъ нечего дѣлать перелистывалъ справки о судимости. При входѣ доктора, письмоводитель поднялся; фельдшеръ сконфузился и тоже поднялся.

— Александръ Архиповичъ еще не приходилъ?—спросилъ докторъ, конфузясь.

— Нѣтъ еще. Они дома...—отвѣтилъ письмоводитель.

Камера помѣщалась въ усадьбѣ мирового судьи, въ одномъ изъ флигелей, а самъ судья жилъ въ большомъ домѣ. Докторъ вышелъ изъ камеры и не спѣша направился къ дому. Александра Архиповича засталъ онъ въ столовой за самоваромъ. Мировой безъ сюртука и безъ жилетки, съ разстегнутой на груди рубахой стоялъ около стола и, держа въ обѣихъ рукахъ чайникъ, наливалъ себѣ въ стаканъ темнаго, какъ кофе, чаю; увидѣвъ гостя, онъ быстро придвинулъ къ себѣ другой стаканъ, налилъ его и, не здороваясь, спросилъ:

— Вамъ съ сахаромъ или безъ сахару?

Когда-то, очень давно, мировой служилъ въ кавалеріи; теперь ужъ онъ за свою долголѣтнюю службу по выборамъ состоялъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго, но все еще не бросалъ ни своего военнаго мундира, ни военныхъ привычекъ. У него были длинные, полицмейстерскіе усы, брюки съ кантами, и всѣ его поступки и слова были проникнуты военной граціей. Говорилъ онъ, слегка откинувъ назадъ голову и уснащая рѣчь сочнымъ, генеральскимъ «мнэ-э-э...», поводилъ плечами и игралъ глазами; здороваясь или давая закурить, шаркалъ подошвами и при ходьбѣ такъ осторожно и нѣжно звякалъ шпорами, какъ будто каждый звукъ шпоръ причинялъ ему невыносимую боль. Усадивъ доктора за чай, онъ погладилъ себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Н-да-съ... Можетъ-быть, желаете мнэ-э... водки выпить и закусить? Мнэ-э?

— Нѣтъ, спасибо, я сытъ.

Оба чувствовали, что имъ не миновать разговора о больничномъ скандалѣ, и обоимъ было неловко. Докторъ молчалъ. Мировой граціознымъ маніемъ руки поймалъ комара, укусившаго его въ грудь, внимательно оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и выпустилъ, потомъ глубоко вздохнулъ, поднялъ глаза на доктора и спросилъ съ разстановкой:

— Послушайте, отчего вы его не прогоните?

Докторъ уловилъ въ его голосѣ сочувственную нотку; ему вдругъ стало жаль себя и онъ почувствовалъ утомленіе и разбитость отъ передрягъ, пережитыхъ въ послѣднюю недѣлю. Съ такимъ выраженіемъ, какъ будто терпѣніе его наконецъ лопнуло, онъ поднялся изъ-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказалъ:

— Прогнать! Какъ вы всѣ разсуждаете, ей-Богу... Удивительно, какъ вы всѣ разсуждаете! Да развѣ я могу его прогнать? Вы тутъ сидите и думаете, что въ больницѣ я у себя хозяинъ и дѣлаю все, что хочу! Удивительно, какъ вы всѣ разсуждаете! Развѣ я могу прогнать фельдшера, если его тетка служитъ въ нянькахъ у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такіе шептуны и лакеи, какъ этотъ Захарычъ? Что я могу сдѣлать, если земство ставитъ насъ, врачей, ни въ грошъ, если оно на каждомъ шагу бросаетъ намъ подъ ноги полѣнья? Чортъ ихъ подери, я не желаю служить, вотъ и все! Не желаю!

— Ну, ну, ну... Вы, душа моя, придаете ужъ слишкомъ много значенія, такъ сказать...

— Предводитель изо всѣхъ силъ старается доказать, что всѣ мы нигилисты, шпіонитъ и третируетъ насъ, какъ своихъ писарей. Какое онъ имѣетъ право пріѣзжать въ мое отсутствіе въ больницу и допрашивать тамъ сидѣлокъ и больныхъ? Развѣ это не оскорбительно? А этотъ вашъ юродивый Семенъ Алексѣичъ, который самъ пашетъ и не вѣруетъ въ медицину, потому что здоровъ и сытъ, какъ быкъ, громогласно и въ глаза обзываетъ насъ дармоѣдами и попрекаетъ кускомъ хлѣба! Да чортъ его возьми! Я работаю отъ утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнѣе здѣсь, чѣмъ всѣ эти вмѣстѣ взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочіе клоуны! Я потерялъ на работѣ здоровье, а меня вмѣсто благодарности попрекаютъ кускомъ хлѣба! Покорнѣйше васъ благодарю! И каждый считаетъ себя въ правѣ совать свой носъ не въ свое дѣло, учить, контролировать! Этотъ вашъ членъ управы Камчатскій въ земскомъ собраніи дѣлалъ врачамъ выговоръ за то, что у насъ выходитъ много іодистаго калія и рекомендовалъ намъ быть осторожными при употребленіи кокаина! Что онъ понимаетъ, я васъ спрашиваю? Какое ему дѣло? Отчего онъ не учитъ васъ судить?

— Но... но вѣдь онъ хамъ, душа моя, холуй... На него нельзя обращать вниманіе...

— Хамъ, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна въ члены и позволяете ему всюду совать свой носъ! Вы вотъ улыбаетесь! По-вашему все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этихъ мелочей такъ много, что изъ нихъ сложилась вся жизнь, какъ изъ песчинокъ гора! Я больше не могу! Силъ нѣтъ, Александръ Архипычъ! Еще немного и, увѣряю васъ, я не только бить по мордасамъ, но и стрѣлять въ людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человѣкъ, какъ и вы...

Глаза доктора налились слезами и голосъ дрогнулъ; онъ отвернулся и сталъ глядѣть въ окно. Наступило молчаніе.

— Н-да-съ, почтеннѣйшій... — пробормоталъ мировой въ раздумьѣ.—Съ другой же стороны, если разсудить хладнокровно, то... (мировой поймалъ комара и, сильно прищуривъ глаза, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ, придавилъ и бросилъ въ полоскательную чашку)... то, видите ли, и прогонять его нѣтъ резона. Прогоните, а на его мѣсто сядетъ другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемѣните вы сто человѣкъ, а хорошаго не найдете... Всѣ мерзавцы (мировой погладилъ себя подъ мышками и медленно закурилъ папиросу). Съ этимъ зломъ надо мириться. Я долженъ вамъ сказать, что-о въ настоящее время честныхъ и трезвыхъ работниковъ, на которыхъ вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенціи и мужиковъ, то-есть среди двухъ этихъ крайностей и только. Вы, такъ сказать, можете найти честнѣйшаго врача, превосходнѣйшаго педагога, честнѣйшаго пахаря или кузнеца, но средніе люди, то-есть, если такъ выразиться, люди, ушедшіе отъ народа и не дошедшіе до интеллигенціи, составляютъ элементъ ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честнаго и трезваго фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-съ въ юстиціи со временъ царя Гороха и во все время своей службы не имѣлъ еще ни разу честнаго и трезваго писаря, хотя и прогналъ ихъ на своемъ вѣку видимо-невидимо. Народъ безъ всякой моральной дисциплины, не говоря ужъ о-о-о-о принципахъ, такъ сказать...

«Зачѣмъ онъ это говоритъ?—подумалъ докторъ.—Не то мы съ нимъ говоримъ, что нужно».

— Вотъ не дальше, какъ въ прошлую пятницу, — продолжалъ мировой: — мой Дюжинскій учинилъ такую, можете

себѣ представить, штуку. Созвалъ онъ къ себѣ вечеромъ какихъ-то пьяницъ, чортъ ихъ знаетъ, кто они такіе, и всю ночь пропьянствовалъ съ ними въ камерѣ. Какъ вамъ это понравится? Я ничего не имѣю противъ питья. Чортъ съ тобой, пей, но зачѣмъ пускать въ камеру неизвѣстныхъ людей? Вѣдь, судите сами, выкрасть изъ дѣлъ какой-нибудь документъ, вексель и прочее — минутное дѣло! И что жъ вы думаете? Послѣ той оргіи я долженъ былъ дня два провѣрять всѣ дѣла, не пропало ли что... Ну, что жъ вы подѣлаете со стервецомъ? Прогнать? Хорошо-съ... А чѣмъ вы поручитесь, что другой не будетъ хуже?

— Да и какъ его прогонишь? — сказалъ докторъ. — Прогнать человѣка легко только на словахъ... Какъ я прогоню и лишу его куска хлѣба, если знаю, что онъ семейный, голодный? Куда онъ дѣнется со своей семьей?

«Чортъ знаетъ что, не то я говорю! — подумалъ онъ, и ему показалось страннымъ, что онъ никакъ не можетъ укрѣпить свое сознаніе на какой-нибудь одной, опредѣленной мысли, или на какомъ-нибудь одномъ чувствѣ. — Это оттого, что я не глубокъ и не умѣю мыслить»,—подумалъ онъ.

— Средній человѣкъ, какъ вы назвали, не надеженъ, — продолжалъ онъ. — Мы его гонимъ, бранимъ, бьемъ по физіономіи, но вѣдь надо же войти и въ его положеніе. Онъ ни мужикъ, ни баринъ, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, въ настоящемъ у него только 25 рублей въ мѣсяцъ, голодная семья и подчиненность, въ будущемъ тѣ же 25 рублей и зависимое положеніе, прослужи онъ хоть сто лѣтъ. У него ни образованія, ни собственности; читать и ходить въ церковь ему некогда, насъ онъ не слышитъ, потому что мы не подпускаемъ его къ себѣ близко. Такъ и живетъ изо дня въ день до самой смерти безъ надеждъ на лучшее, обѣдая впроголодь, боясь, что вотъ-вотъ его прогонятъ изъ казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своихъ дѣтей. Ну, какъ тутъ, скажите, не пьянствовать, не красть? Гдѣ тутъ взяться принципамъ!

«Мы, кажется, ужъ соціальные вопросы рѣшаемъ, — подумалъ онъ. — И какъ нескладно, Господи! Да и къ чему все это?»

Послышались звонки. Кто-то въѣхалъ во дворъ и подкатилъ сначала къ камерѣ, потомъ къ крыльцу большого дома.

— Самъ пріѣхалъ, — сказалъ мировой, поглядѣвъ въ окно. — Ну, будетъ вамъ на орѣхи!

— А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорѣе... — попросилъ докторъ. — Если можно, то разсмотрите мое дѣло не въ очередь. Ей-Богу, некогда.

— Хорошо, хорошо... Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мнѣ это дѣло. Отношенія вѣдь у васъ съ фельдшеромъ, такъ сказать, служебныя и къ тому же вы смазали его при исполненіи служебныхъ обязанностей. Впрочемъ, не знаю хорошенько. Спросимъ сейчасъ у Льва Трофимовича.

Послышались торопливые шаги и тяжелое дыханіе, и въ дверяхъ показался Левъ Трофимовичъ, предсѣдатель, сѣдой и лысый старикъ съ длинной бородой и красными вѣками.

— Мое почтеніе... — сказалъ онъ, задыхаясь. — Уфъ, батюшки! Вели-ка, судья, подать мнѣ квасу! Смерть моя...

Онъ опустился въ кресло, но тотчасъ же быстро вскочилъ, подбѣжалъ къ доктору и, сердито таращa на него глаза, заговорилъ визгливымъ теноромъ:

— Очень и чрезвычайно вамъ благодаренъ, Григорій Иванычъ! Одолжили, благодарю васъ! Во-вѣки-вѣковъ аминь не забуду! Такъ пріятели не дѣлаютъ! Какъ угодно, а это даже недобросовѣстно съ вашей стороны! Отчего вы меня не извѣстили? Что я вамъ? Кто? Врагъ, или посторонній человѣкъ? Врагъ я вамъ? Развѣ я вамъ когда-нибудь въ чемъ отказывалъ? А?

Таращa глаза и шевеля пальцами, предсѣдатель напился квасу, быстро вытеръ губы и продолжалъ:

— Очень, очень вамъ благодаренъ! Отчего вы меня не извѣстили? Если бы вы имѣли ко мнѣ чувства, пріѣхали бы ко мнѣ и по-дружески: — «Голубушка, Левъ Трофимычъ, такъ и такъ, молъ... Такого сорта исторія и прочее...» Я бы вамъ въ одинъ мигъ все устроилъ и не понадобилось бы этого скандала... Тотъ дуракъ, словно бѣлены объѣлся, шляется по уѣзду, кляузничаетъ да сплетничаетъ съ бабами, а вы, срамъ сказать, извините за выраженіе, затѣяли чортъ знаетъ что, заставили того дурака подать въ судъ! Срамъ, чистый срамъ! Всѣ меня спрашиваютъ, въ чемъ дѣло, какъ и что, а я, предсѣдатель, и ничего не знаю, *что* у васъ тамъ дѣлается. Вамъ до меня и надобности *нѣтъ!* Очень, очень вамъ благодаренъ, Григорій Иванычъ!

Предсѣдатель поклонился такъ низко, что даже побагровѣлъ весь, потомъ подошелъ къ окну и крикнулъ:

— Жигаловъ, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтобъ сію минуту сюда шелъ! Не хорошо-съ! — сказалъ онъ, отходя отъ окна. — Даже жена моя обидѣлась, а ужъ на что, кажется, благоволитъ къ вамъ. Ужъ очень вы, господа, умствуете! Все норовите, какъ бы это по-умному, да по принципамъ, да со всякими выкрутасами, а выходитъ у васъ только одно: тѣнь наводите...

— Вы норовите все не по-умному, а у васъ-то что выходитъ? — спросилъ докторъ.

— Что у насъ выходитъ? А то выходитъ, что если бы я сейчасъ сюда не пріѣхалъ, то вы бы и себя осрамили, и насъ... Счастье ваше, что я пріѣхалъ!

Вошелъ фельдшеръ и остановился у порога. Предсѣдатель сталъ къ нему бокомъ, засунулъ руки въ карманы, откашлялся и сказалъ:

— Проси сейчасъ у доктора прощенія!

Докторъ покраснѣлъ и выбѣжалъ въ другую комнату.

— Вотъ видишь, докторъ не хочетъ принимать твоихъ извиненій!—продолжалъ предсѣдатель.—Онъ желаетъ, чтобъ ты не на словахъ, а на дѣлѣ выказалъ свое раскаяніе. Даешь слово, что съ сегодняшняго дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?

— Даю... — угрюмо пробасилъ фельдшеръ.

— Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня въ одинъ мигъ потеряешь мѣсто! Если что случится, не проси милости... Ну, ступай домой...

Для фельдшера, который уже помирился со своимъ несчастьемъ, такой поворотъ дѣла былъ неожиданнымъ сюрпризомъ. Онъ даже поблѣднѣлъ отъ радости. Что-то онъ хотѣлъ сказать и протянулъ впередъ руку, но ничего не сказалъ, а тупо улыбнулся и вышелъ.

— Вотъ и все! — сказалъ предсѣдатель. — И суда никакого не нужно.

Онъ облегченно вздохнулъ и съ такимъ видомъ, какъ будто только-что совершилъ очень трудное и важное дѣло, оглядѣлъ самоваръ и стаканы, потеръ руки и сказалъ:

— Блажени миротворцы... Налей-ка мнѣ, Саша, стаканчикъ. А впрочемъ, вели сначала дать чего-нибудь закусить... Ну, и водочки...

— Господа, это невозможно! — сказалъ докторъ, входя въ столовую, все еще красный и ломая руки. — Это... это комедія! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать разъ судиться, чѣмъ рѣшать вопросы такъ водевильно. Нѣтъ, я не могу!

— Что же вамъ нужно? — огрызнулся на него предсѣдатель. — Прогнать? Извольте, я прогоню...

— Нѣтъ, не прогнать... Я не знаю, что мнѣ нужно, но такъ, господа, относиться къ жизни... ахъ, Боже мой! Это мучительно!

Докторъ нервно засуетился и сталъ искать своей шляпы и, не найдя ея, въ изнеможеніи опустился въ кресло.

— Гадко! — повторилъ онъ.

— Душа моя, — зашепталъ мировой: — отчасти я васъ не понимаю, такъ сказать... Вѣдь вы виноваты въ этомъ инцидентѣ! Хлобыстать по физіономіи въ концѣ девятнадцатаго вѣка — это, нѣкоторымъ образомъ, какъ хотите, не того... Онъ мерзавецъ, но-о-о, согласитесь, и вы поступили неосторожно...

— Конечно! — согласился предсѣдатель.

Подали водку и закуску. На прощанье докторъ машинально выпилъ рюмку и закусилъ редиской. Когда онъ возвращался къ себѣ въ больницу, мысли его заволакивались туманомъ, какъ трава въ осеннее утро.

«Неужели, — думалъ онъ: — въ послѣднюю недѣлю было такъ много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось такъ нелѣпо и пошло! Какъ глупо! Какъ глупо!»

Ему было стыдно, что въ свой личный вопросъ онъ впуталъ постороннихъ людей, стыдно за слова, которыя онъ говорилъ этимъ людямъ, за водку, которую онъ выпилъ по привычкѣ пить и жить зря, стыдно за свой не понимающій, не глубокій умъ... Вернувшись въ больницу, онъ тотчасъ же принялся за обходъ палатъ. Фельдшеръ ходилъ около него, ступая мягко, какъ котъ, и мягко отвѣчая на вопросы... И фельдшеръ, и русалка, и сидѣлки дѣлали видъ, что ничего не случилось и что все было благополучно. И самъ докторъ изо всѣхъ силъ старался казаться равнодушнымъ. Онъ приказывалъ, сердился, шутилъ съ больными, а въ мозгу его копошилось:

— Глупо, глупо, глупо...

Оглавленіе

VI ТОМА.

	стр.
Тина	3
Тайный совѣтникъ	21
Письмо	39
Поцѣлуй	51
Пассажиръ I-го класса	69
Воры	76
Пари	92
Именины	100
Безъ заглавія	133
Каштанка	138
Почта	158
Непріятность	164

.RY

ned on
w.

Stanford University Libraries
3 6105 013 503 086
511
V.4-6
19 '94
11 '98
Stanford University Library
Stanford, California
In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.